

ПУШКИН

ПУШКИН





А. С. Пушкин
Портрет работы В. Тропинина (масло)



БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

О С Н О В А Н А М. Г О Р Ь К И М

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

М. ГОРЬКИЙ, П. А. ГРУЗДЕВ,
Б. Л. ПАСТЕРНАК, В. М. САЯНОВ,
Н. С. ТИХОНОВ, Ю. Н. ТЫНЯНОВ

А. С. ПУШКИН

СТИХОТВОРЕНИЯ

РЕДАКЦИЯ ТЕКСТА И ПРИМЕЧАНИЯ

Н. В. ИЗМАЙЛОВА, Б. С. МЕЙЛАХА,
Н. И. МОРДОВЧЕНКО И А. Л. СЛОНИМСКОГО

ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ
А. Л. СЛОНИМСКОГО

Т. I

ОТ РЕДАКТОРА

Настоящее издание имеет целью предложить читателю собрание стихотворных произведений Пушкина. Издание не является полным в точном смысле этого слова. Сюда не вошли некоторые черновые наброски (преимущественно лирические), не представляющие особого интереса и не дающие достаточно ясного представления о характере и содержании задуманного произведения. Из черновых вариантов приводятся (частью в сносках в самом тексте, частью в примечаниях) только самые существенные. Значительно сокращен отдел лицейской лирики (1814—1816). Здесь помещены, в первую очередь, стихотворения, печатавшиеся самим Пушкиным; к ним присоединены стихотворения, не печатавшиеся при жизни Пушкина, но имеющие важное биографическое или историко-литературное значение.

В основу печатного текста — в той части, которая соответствует вышедшим уже томам сочинений Пушкина, издаваемым Академией Наук СССР, — положен текст академического издания (лицейская лирика, поэмы до «Цыган» включительно, «Борис Годунов» и другие стихотворные драмы). По первоисточникам подготовлены «Граф Нулин» — Б. М. Эйхенбаумом, стихотворения 1831—1836 гг., «Полтава», «Медный всадник», «Домик в Коломне» и «Езерский» — Н. В. Измайловым, «Сказка о царе Салтане» и «Сказка о мертвой царевне» — А. Л. Слонимским и «Евгений Онегин» — Г. О. Винокуром.* Текст остальных произведений (не появившихся еще в академическом издании) печатается на основе последних проверенных изданий (шеститомник Государственного издательства художественной литературы, два издания «Academia», однотомник под ред. Б. В. Томашевского). При этом лицейские стихотворения печатаются в их позднейшей, окончательной редакции, а не в первоначальной, как это принято в академическом издании, в изданиях «Academia» и в шеститомнике Гос. изд-ва художественной литературы.**

Орфография и пунктуация пушкинской эпохи, за немногими исключениями, заменены современными. Не сохранено и безударное окончание прилагательных на *ой* после гортанных (*гой, кой, зой*) даже в тех случаях, когда оно стоит в конце стиха. Это отступление от пушкинского правописания оправдывается тем, что ни в рукописях Пушкина, ни в печатных изданиях его эпохи в этом отношении не видно строгой последовательности. Что же касается

* Том VI академического издания, заключающий «Евгения Онегина», вышел после подготовки данного издания.

** Лицейские стихотворения, напечатанные в позднейшей переделке, отмечены в тексте звездочкой.

Рифмы, то для Пушкина она имела не зрительное, а звуковое значение. Поэтому он, как показывают его черновые рукописи, свободно писал, например, «скучно» (вместо произносимого «скушно»), рифмуя это слово с «душно» и «простодушно» (III глава «Евгения Онегина»). В то же время в настоящем издании сохранены те особенности в написании слов, которые имеют не орфографический, а лексический и морфологический смысл, как, например, «героина», «противуречие», «нежданный» и т. п. Не приводится к единству и непоследовательность, которая наблюдается в этих случаях у Пушкина («противуречие» и «противоречие», «нежданный» и «нежданнный», «в волненъе» и «в волненьи» и т. д.).

Примечания носят преимущественно историко-литературный характер и не ставят задачей полноту справочного материала, который можно найти в других изданиях. Особенное внимание уделяется эволюции стихотворных жанров у Пушкина, в связи с расширением стоявших перед ним общественно-литературных задач.

Подбор иллюстраций выполнен Е. П. Населенко.

Александр Слонимский.

А. С. ПУШКИН

I

Александр Сергеевич Пушкин родился в Москве 26 мая (6 июня) 1799 г. Он происходил из старинного боярского рода. Свое родословие Пушкины вели с XIII в. В XVII в., при царе Алексее Михайловиче, Пушкины принадлежали к высшей боярской знати. Котшихин называет их среди бояр второго разряда — тех, которые «бывают в окольных и в боярех» (бояре первого разряда «бывали» только «в боярех»). Историческая роль Пушкиных кончается при Петре Великом. Они, по словам поэта, были при Петре «в оппозиции». Пушкины отходят на задний план, смешиваясь с массой нечиновных помещиков. Прадед поэта, Александр Петрович Пушкин, выключенный из службы, умер под судом за убийство жены. Дед, Лев Александрович, в 1762 г., после свержения Петра III, попал в крепость, так как не пожелал присягать Екатерине, и по освобождении жил неслужащим помещиком в Москве или в своих деревнях.

В пушкинское время вопрос о дворянстве и его взаимоотношениях с народом и самодержавием приобрел особую важность в связи с ростом буржуазных влияний и пошатнувшимся экономическим положением дворянства. Этим и объясняется интерес Пушкина к истории его рода, проявившийся у него около 1824 г. в связи с занятиями русской историей. Свое «шестисотлетнее дворянство» поэт противопоставлял новой придворной аристократии — аристократии чинов и пожалований. В потомственном дворянстве он видел «sauve garde (защиту) трудолюбивого класса», «отборную часть нации», «представителей народа», оплот против царского деспотизма. Привилегии дворянства отстаивались им совсем не по отношению к народу, а только по отношению к царской власти. Говоря о своих предках, он подчеркивал их «оппозиционность», «неукротимый» характер, свойственный им «дух упрямства» и, вместе с тем, указывал на их связь с народом, на их роль «представителей народа». Так, он с некоторой гордостью сообщает, что его боковой родич Гаврила Пушкин, тот самый, который выведен им в «Борисе Годунове», был одним из начальников, руководивших защитой Москвы от польских интервентов в 1612 г., и заседал потом в Думе бок-о-бок с народным героем Кузьмой Мининым. Он упоминает и о том, что несколько Пушкиных подписались под грамотой об избрании царя Михаила Романова, отмечая при этом, что в данном случае они были исполнителями желаний народа.

Смирив крामолу и коварство
И ярость бравных вешегод,

Когда Романовых на царство
Звал в грамоте своей народ,
Зы к оной руку приложили...

«Суровый» род Пушкиных «присмрел» после Петра. Но зато предки Пушкина со стороны матери, Ганнибалы, целиком обязаны были своим возвышением новым петровским порядкам. Прадед поэта, Абрам Петров, позднее получивший фамилию Ганнибал, выходец из Абиссинии, будто бы сын одного из абиссинских князей, а в сущности «арап» без роду и племени, присланный Петру из Константинополя, службой и личными способностями достиг высших чинов и умер в 1781 г. генерал-аншефом и владельцем пожалованных ему крупных поместий под Петербургом и в Псковской губернии. В числе его псковских владений находилось и село Михайловское, перешедшее потом к его внучке, Надежде Осиповне Ганнибал, матери поэта.

Сергей Львович Пушкин, отец поэта, был светский человек, образованный и остроумный, но легкомысленный и крайне безалаберный. Благодаря неумению и нежеланию хозяйничать он совершенно запустил богатое родовое имение Пушкиных, село Болдино Нижегородской губернии, и поэтому постоянно нуждался в деньгах. Однако в Болдине в 1837 г., в момент смерти его сына, за ним числилось больше восьми тысяч десятин земли и свыше тысячи душ крестьян. За вычетом казенных и частных долгов это все же было крупное состояние, оценивавшееся в триста тысяч рублей. *

Сергей Львович в молодости служил в Петербурге офицером гвардии. В 1796 г., двадцати шести лет, он женился на Надежде Осиповне Ганнибал, которой было тогда девятнадцать лет. Между Пушкиными и Ганнибалами были давние родственные связи. Мать Надежды Осиповны, Марья Алексеевна Ганнибал, урожденная Пушкина, приходилась Сергею Львовичу троюродной сестрой. Жила она с дочерью в принадлежавшей ей деревне Кобринно (под Петербургом), другой частью которой владел Сергей Львович.

От брака с Надеждой Осиповной у Сергея Львовича было трое детей: дочь Ольга и два сына — старший Александр и младший Лев, родившийся в 1805 г. Были и другие дети, но они умирали в младенчестве. В 1798 г., незадолго до рождения Александра, Сергей Львович бросил службу и переехал с женой и маленькой Ольгой в Москву. ** Здесь, в Москве, и прошли детские годы Александра. Зиму все семейство проводило в городе, а лето в селе Захарове, подмосковном имении Марьи Алексеевны, купленном ею в 1805 г. взамен проданного Кобринно. Захарову Пушкин обязан был своими первыми деревенскими впечатлениями. Ему он посвятил несколько строк в лицейском послании к Юдину («Мне видится мое селенье, мое Захарово...»), а позднее, летом 1830 г., перед свадьбой, совершил туда, по выражению Надежды Осиповны, «сентиментальное путешествие» — поехал, как она пишет, совсем один, только для того, «чтобы увидеть то место, где он провел несколько лет своего детства».

* «Летопись Литературного музея», «Пушкин», М., 1936, стр. 89.

** Потом Сергей Львович служил в комиссариатском департаменте; окончательно вышел в отставку в 1817 г.

Дом Пушкиных в Москве был своего рода литературным салоном. Здесь бывали все корифеи карамзинского круга: сам Карамзин, Дмитриев, Жуковский, позднее Батюшков. Бывали также и иностранцы, как, например, французский писатель граф Ксавье де Мэтр. Старший брат Сергея Львовича, Василий Львович, известный поэт, читал здесь свои послания и басни. Сам Сергей Львович не чужд был авторства — он писал гладкие стихи по-французски. Вообще, вся пушкинская семья отличалась литературными способностями. Родные впоследствии умели ценить произведения Пушкина по достоинству, многие знали на память, а Лев Сергеевич был как бы ходячим собранием сочинений своего брата.

Эта литературная атмосфера сыграла положительную роль в развитии Пушкина. Но воспитание и учение шли так же беспорядочно, как и все остальное в пушкинском семействе. Дети были предоставлены самим себе и постоянно сменявшимся французам-губернерам и иностранным гувернанткам. Учился Пушкин лениво, но зато увлекался чтением и, обладая необыкновенной памятью, знал все прочитанное чуть не наизусть. В полном распоряжении мальчика была богатая французская библиотека Сергея Львовича, где были, между прочим, и сочинения французских философов-просветителей XVIII в. Несомненно, что еще дома Пушкин читал и Вольтера и Руссо. В связи с этим понятно, что уже в 1811 г., тотчас по поступлении в Лицей, у него возникают собственные «философические мысли» (программа автобиографических записок).

Подражая взрослым, Пушкин рано принялся за авторство. Первыми его поэтическими опытами были французские эпиграммы, басни и маленькие комедии, которые он разыгрывал перед сестрой. Содержание этих комедий он брал из Мольера, которого Сергей Львович, соединявший со всеми своими светскими талантами и актерский талант, превосходно читал детям вслух. Сестра поэта сообщает еще об «ирои-комической» поэме «La Tolyade», которую Пушкин написал в подражание Вольтеру.

В доме Пушкиных господствовал французский язык, который был для детей, как и для родителей, как бы вторым родным языком. Впоследствии Пушкин бранил свое «проклятое» французское воспитание, недостатки которого старался вознаградить в Михайловском сказками няни (письмо к брату 1824 г.). Однако в воспитании детей Пушкиных все же был и русский народный элемент. Первоначальной русской грамоте обучала детей бабушка Мария Алексеевна. Она, по свидетельству Ольги Сергеевны, знакомила их с русской стариной, говорила и писала прекрасным русским языком. Но особенно важно было влияние Арины Родионовны (1760—1828), пушкинской няни. Это была крепостная крестьянка из деревни Кобрино. По словам Ольги Сергеевны, она «мастерски говорила сказки, знала народные поверья, сыпала пословицами, поговорками». Пушкин вполне оценил свою няню позднее, когда провел с нею два года в Михайловском, но и в ранние годы роль ее в его развитии была значительна. Об этом свидетельствует отрывок из лицейской элегии Пушкина «Сон», где дан романтизированный образ Арины Родионовны:

Но детских лет люблю воспоминанье.
Ах! Умолчу ль о мамушке моей;

О прелести таинственных ночей,
 Когда в чепце, в старинном одеянье,
 Она, духов молитвой уклоня,
 С усердием перекрестит меня
 И шопотом рассказывать мне станет
 О мертвецах, о подвигах Бовы...
 От ужаса не шелохнусь бывало,
 Едва дыша, прижмусь под одеяло,
 Не чувствуя ни ног, ни головы...
 Я трепетал — и тихо наконец
 Томленья сна на очи упадало.
 Тогда толпой с лазурной высоты
 На лонке роз крылатые мечты,
 Волшебники, волшебницы слетали,
 Обманами мой сон обворожали.
 Терялся я в порыве сладких дум;
 В глуши лесной, средь муромских пустыней
 Встречал лихих Полканов и Добрыней,
 И в вымыслах носился юный ум...

Осенью 1811 г. Пушкин поступил в Царскосельский лицей — только что возникшее закрытое дворянское учебное заведение нового типа. Лицей подчинен был непосредственному надзору министра народного просвещения. Программа Лицея, рассчитанная на шесть лет, охватывала и гимназический («начальный») и университетский («окончательный») курсы. Воспитанники должны были круглый год жить в Лицее и не отпускаясь домой даже на каникулы. Пушкин попал в число кандидатов благодаря литературным связям Сергея Львовича и Василия Львовича. Главное содействие оказал при этом А. И. Тургенев. 19 октября 1811 г. состоялось в присутствии Александра I торжественное открытие Лицея. Этот день стал потом ежегодным лицейским праздником.

Проект организации Лицея принадлежал Сперанскому и связан был с его планами государственных реформ. * Лицей должен был в короткий срок приготовить государственных деятелей, удовлетворяющих предполагаемым новым порядкам. Сообразно с этим подбирались профессоры и строилась программа Лицея, в которой важное место отводилось наукам политическим. В действительности ничего из этого не вышло, да и не могло выйти. Под своим изящным именем во вкусе «ампир» Лицей совмещал начала европейского либерализма с самой ординарной казенщиной. После ссылки Сперанского (в марте 1812 г.) и поворота Александра I в сторону реакции Лицей вообще потерял свой смысл. Однако первоначальное направление, данное Лицею, частично сохранялось и в программе и в преподавании. Самым выдающимся представителем лицейского либерализма был А. П. Куницын, товарищ Николая Тургенева по Геттингенскому университету. ** Лекции Куницына по философии права и политической экономии, читавшиеся в старших, студенческих классах, представляли собой смелую пропаганду конституционных идей. Свой курс Куницын строил на теории «общественного договора» Руссо, причем в «примерах», которыми он оживлял свое изложение, касался иногда русской действительности. Царскую власть, «своевластие», он выводил из «общественного договора», кото-

* М о д. К о р ф, Жизнь Сперанского, 1861, стр. 172.

** Они слушали там лекции в 1808—1811 гг.

рый предшествует «договору подданства». «Верховный властитель» должен поэтому соблюдать «естественные и законные ограничения». В противном случае он «тиран», и «договор подданства» расторгается; этим самым, хотя и в скрытой форме, санкционировалось право восстания против «тирана». Само собой разумеется, что Куницын в корне отрицал крепостное право. «Холопство», «произвольное закрепощение» он прямо называл «действием противозаконным», так как «никто не может лишить другого права личности даже с его собственного на то согласия». При этом он, ссылаясь на Англию, указывал на выгоды наемного труда и рекомендовал «владельцам», т. е. помещикам, обработку земли «через откупщиков», т. е. путем сдачи ее в аренду крестьянам. * Это был тот самый способ разрешения земельного вопроса, который выдвигался умеренными декабристами — Николаем Тургеневым и Якушкиным. Курс Куницына в переработанном виде был издан в 1818 г. в двух частях под заглавием «Право естественное»; вскоре, в 1821 г., книга Куницына была запрещена, а сам автор навсегда отстранен был от преподавания. Лекции Куницына имели очень серьезное значение для Пушкина. Они послужили «краеугольным камнем» его политического мирозерцания и повлияли на его лицейскую поэзию, в которой начинают звучать гражданские мотивы.

В таком же духе влияли на лицезистов и некоторые другие профессора — преподаватель французского языка и литературы де Будри, брат Марата, откровенно делившийся с учениками своими «демократическими мыслями» и воспоминаниями о своем брате, и философ Галич, замещавший в 1814—1815 гг. заболевшего преподавателя русской словесности и латинского языка Н. Ф. Кошанского.

Пушкин и его товарищи росли под впечатлением великих событий 1812—1815 гг., действовавших на патриотическое чувство и вызывавших ряд крупных политических вопросов. Освободительные идеи, охватившие передовые круги русского дворянства, нашли подходящую почву в Лицее. Лицеисты посещали офицеров гусарского полка, расквартированного в Царском Селе осенью 1814 г. Среди офицеров полка были Чаадаев, Каверин, юный герой народной войны Николай Раевский — все люди, примыкавшие к будущим декабристам; они стали ближайшими друзьями Пушкина. По мере того как усиливалась правительственная реакция, рос и оппозиционный дух Лицея, крепло «святое братство» лицейской молодежи, основанное на общности политических симпатий. Лицей сделался рассадником «вольнодумства», хранилищем запрещенной литературы. Лицейский «союз» выдвинул из своей среды трех декабристов: Пущина, Кюхельбекера и лицейского лауреата Вальховского. Но общий лицейский дух сказывался в большей или

* Лекция по записи князя А. М. Горчачова, «Красный Архив», 1937, № 1 (80), стр. 122. Этот пункт перефразирован в одной из лицейских «национальных песен»:

Известен третий способ —
Через откупщиков.
В сем случае помещик —
Владелец лишь земли.

меньшей степени у всего пушкинского выпуска. Каков был этот дух, видно из представленной в 1826 г. Николаю I записки Булгарина, которая, главным образом, метила на Пушкина как на самого яркого его представителя. «В свете называется лицейским духом, — говорится в записке, — когда молодой человек не уважает старших, обходится фамильярно с начальниками... Молодой вертопрах должен при сем порицать... все меры правительства, знать наизусть или сам быть сочинителем эпиграмм, пасквилей и песен предосудительных на русском языке, а на французском знать все самые дерзкие и возмутительные стихи и места самые сильные из революционных сочинений. Пророчество перемен, хула всех мер... суть отличительные черты сих господ в обществах. В е р н о п о д д а н н ы й значит укоризну на их языке; е в р о п е е ц, л и б е р а л — почетные названия».

Наряду с политическими, в Лицее процветали и литературные интересы. Среди товарищей Пушкина были будущие поэты — Дельвиг, Кюхельбекер, Илличевский. Писали стихи и многие другие. Лицейисты издавали свои рукописные журналы («Лицейский мудрец», 1815, и др.), для которых всегда находилось достаточно сотрудников; с 1814 г. произведения лицейских поэтов — в первую очередь Дельвига, затем Пушкина, Илличевского и Кюхельбекера — стали появляться и в печати. Первым печатным выступлением Пушкина было послание «К другу стихотворцу», напечатанное в июле 1814 г. в «Вестнике Европы». В январе 1815 г. на публичном экзамене при переходе на «окончательный» курс Пушкин читал перед Державиным свои «Воспоминания в Царском Селе», которыми привел в восторг патриарха русской поэзии. После триумфа на экзамене Пушкин — уже признанный поэт, не только лицейского масштаба. Когда ода была напечатана, под ней впервые была поставлена его полная подпись: Александр Пушкин (прежде он подписывался анаграммой или шифром). Товарищи видели в Пушкине будущую славу Лицея. «Лучи славы его будут отсвечиваться и в его товарищах» — пророчески писал о нем в 1815 г. Илличевский. Дельвиг в 1815 г. не стеснялся печатно пророчить ему бессмертие:

Пушкин! Он и в лесах не укроется;
Лира выдаст его громким пением,
И от смертных восхитит бессмертного
Аполлон на Олимп торжествующий!

Жуковский в начале 1817 г. подарил Пушкину своего «Певца в Кремле» с надписью: «Поэту-товарищу». * Его посещали в Лицее и Батюшков и князь Вяземский. Молодым поэтом заинтересовался и Карамзин, поселившийся весной 1816 г. в Царском Селе. С самого начала Пушкин примкнул к карамзинской школе, ярым адептом которой был его дядюшка. Еще до окончания Лицея он был принят в «Арзамас», причем получил, согласно арзамасскому обычаю, прозвище «Сверчок».

* «Красный Архив», 1936, № 6 (79), стр. 193.

В ряду старших поэтов, своих современников, Пушкин сразу же занял особое положение. Подчиняясь влиянию Жуковского и Батюшкова, отчасти подражая им, он, однако, «брел своим путем». Поэзия Жуковского и Батюшкова служила ему только исходной точкой. Его лирика уже с лицейского времени — ближе к жизни, к окружающей действительности. В ней отчетливее, чем у его учителей-поэтов, выступает авторское лицо. В языке молодого поэта определеннее звучат интонации живой, разговорной речи, мелькают уже выразительные «простонародные» обороты. Притом творчество Пушкина-лицеиста было шире, — оно не ограничивалось лирикой. Пушкин пробует различные жанры, в том числе и прозаические (комедия в стихах «Философ»; роман «Цыган»; философский роман в духе Вольтера «Фатам, или Разум человеческий»).

Между тем успехи Пушкина в науках были невелики. Почти все преподаватели отмечали «отличные дарования» Пушкина, его понятливость, прекрасную память, но, вместе с тем, и полное отсутствие «прилежания». Так же отзывался о Пушкине-ученике и профессор Кошанский, преподаватель латинского языка и русской словесности, впоследствии автор популярных школьных «риторик». По выразительной характеристике Кошанского, у Пушкина «больше вкуса к изящному, чем прилежания к основательному», и успехи его «не столько тверды, сколько блистательны». Отдельные учебные недочеты Пушкин, однако, возмещал обильным чтением русских и французских авторов. Своеобразный каталог его лицейской библиотеки представлен в «Городке» (1815).

С начальством Пушкин ладил плохо. Он удивлял губернеров-воспитателей странностями своего поведения: необычными для мальчика дерзостями, неожиданными гневными вспышками и резкими переходами от одного настроения к другому. Еще в первые годы они отмечали в нем «вспыльчивость с гневом» и, вместе с тем, «добродушие». Не поладил Пушкин даже и с таким мягким человеком, как Е. А. Энгельгардт, назначенный директором Лицея в 1816 г. На это, впрочем, были особые причины. Энгельгардт был пиелист протестантского толка, чрезвычайно щепетильный в вопросах морали. Он претендовал на роль руководителя совести молодых людей и очень резко оценивал нравственность Пушкина, который не желал подчиняться его руководству и упорно ствергал все его попытки в этом направлении.

Приближалось окончание Лицея. Лицеисты были озабочены своей будущей карьерой. Даже Пушкин беспокоился о том, будет ли он, как говорилось о нем в лицейской песне, «впущен в гвардию. Пушкин как будто ни о чем этом не думал. «Не рвусь я грудью в капитаны и не ползу в ассессора» — писал он. Его карьера была выбрана — это была карьера поэта. В литературу он входил уверенно и свободно. Он рано осознал свое призвание и как бы предвидел свое значение. Об этом свидетельствуют знаменательные строки из «Городка», предвещающие позднейший «Памятник»:

Не весь я предан тленью;
С моей, быть может, тенью...
Мой правнук просвещенный
Бессловать придет...

9 июня 1817 г., после экзаменов, состоялся выпускной акт. Из двадцати девяти воспитанников Пушкин по успехам был на девятнадцатом месте. По окончании Лицея он был зачислен на службу в ведомство иностранных дел.

2

Пушкин провел в Петербурге три года (1817—1820), причем два раза — в 1817 г. и в 1819 г. — ездил летом в Михайловское. Служба в коллегии иностранных дел была только номинальной и несколько не обременяла поэта, который с головой окунулся в развлечения света. Это, впрочем, был не высший свет, в который Пушкин вошел позднее, в 30-х годах. Он вращался среди столичной дворянской интеллигенции — преимущественно среди литераторов и артистов. Малый театр, «чердак» князя Шаховского, где писатели-театралы встречались с актерами и актрисами, дом Никиты Всеволожского, где происходили заседания «Зеленой лампы», салон «Princesse Nocturne» («Княгини полунощницы»), Авдотьи Голицыной, за которой Пушкин одно время ухаживал, дом А. Н. Оленина, где произошла первая встреча с А. П. Керн, — вот, в сущности, те места, где протекала «светская» жизнь Пушкина, которую он сам потом называл «рассеянной». Он посещал, кроме того, «общество умных», собиравшееся у Николая Тургенева и Никиты Муравьева, бывал также у Чаадаева, Дельвига, Катенина, Жуковского. Легкомысленное и серьезное не отделялось в быту столичной молодежи, так было и с Пушкиным. Дело не обходилось без карт, шампанского, любовных «проказ» и всякого рода «шалостей». «Шалости» эти у Пушкина, при его «африканском» темпераменте, выражались в резких, несдержанных формах, что и давало повод его покровителям, Жуковскому и А. И. Тургеневу, упрекать его в «беспутстве».

Однако это «беспутство» не мешало творческому и умственному росту Пушкина. Правда, имя его редко появлялось в печати за эти три года, но это объяснялось прежде всего тем, что он занят был работой над поэмой «Руслан и Людмила», начатой еще в Лицее. Лирические же произведения, которые он писал в это время, не предназначались для печати. Это были или дружеские послания, связанные с личными отношениями и приправленные колкостями по адресу правительства, или же стихотворения чисто политического содержания, как «Вольность» и «Деревня».

Тотчас по выходе из Лицея Пушкин, как выразился о нем Карамзин, стал «под знамена либералистов». Он был первым и остался навсегда самым ярким и огненным певцом декабристов. Его ода «Вольность», представляющая собой как бы поэтическую иллюстрацию к лекциям Куницына, написана в 1817 г., когда только что сформировался «Союз спасения», отличавшийся более радикальным характером, чем основанный потом (в 1818 г.) «Союз благоденствия». Любопытно, что пушкинская ода совпала по времени с возникновением первых замыслов царевубийства: как раз в 1817 г. Якушкин вызывался убить Александра I. В основу «Вольности» положена куницынская теория конституционной монархии. Пушкин не требует здесь республики, о которой не думал тогда и «Союз спасения».

Он требует только, чтобы «цари» «склонились под сень надежную закона», угрожая им в противном случае участью Людовика XVI и Павла I. Казнь короля, как и убийство Павла, при этом осуждаются Пушкиным как преступление против «закона». В этом отношении пушкинская ода гораздо умереннее якобинской оды Радищева, где восхваляется без всяких оговорок «право мщенное природы», которое «на плаху возвело царя». Но с той же точки зрения, как и Пушкин, смотрели на царубийство и деятели «Союза спасения»: признавая преступным царубийство, они решались на него под давлением необходимости.

Пушкин находился в постоянном общении с членами тайного общества, с которыми сталкивался повсюду — в частности, у Николая Тургенева, Никиты Муравьева и Чаадаева. Он не раз делал попытки проникнуть в тайное общество через своего лицейского друга Пущина, который вступил в общество тотчас по окончании Лицея. Однако эти попытки не увенчались успехом. Препятствием являлся образ жизни молодого поэта, внушавший его другу сомнение в том, сможет ли он целиком отдаться делу тайного общества. У Пущина, кроме того, возникал вопрос, почему о принятии Пушкина не думает никто из руководителей общества. Настойчивые «спросы и расспросы» Пушкина заставили было поколебаться Пущина, но какая-то новая его «проказа», о которой Пущин узнал от Сергея Львовича, произвела на него такое впечатление, что мысль о том, чтобы открыться Пушкину, как рассказывает Пущин в своих записках, сама собой испарилась у него из головы. Надо, впрочем, иметь в виду, что записки Пущина писались в такое время (1859), когда еще неудобно было говорить всю правду ни о Пушкине, ни о тайном обществе. Причины, по которым Пушкин не был принят в общество, были, несомненно, сложнее, чем это изображает Пущин. Дело в том, что в «Союзе благоденствия», основанном после ликвидации «Союза спасения», возобладало умеренное крыло, руководимое Николаем Тургеневым и Никитой Муравьевым. К этому умеренному крылу принадлежал и Пущин. Умеренные ставили своей задачей исключительно «медленное действие на мнения» и старались воздерживать общество от активных революционных мероприятий, к которым тянула группа Пестеля. Между тем от Пушкина в эту пору менее всего можно было ожидать сдержанности и благоразумия.

Политические события на Западе (в Германии убийство реакционного писателя Коцебу в марте 1819 г., испанская революция в январе 1820 г., убийство герцога Беррийского молодым рабочим Лувелем во Франции в феврале 1820 г.) отозвались и в России, с одной стороны, усилением правительственной реакции, с другой — активизацией наиболее передовых элементов дворянского общества. Мистицизм, давно уже свивший гнездо при дворе, с 1819 г. становится основой правительственной политики и стремится, в лице деятелей «Библейского общества», задуть просвещение и погасить всякую свободную мысль. Между тем как всеильный граф Аракчеев хозяйничал в военных поселениях и водил поротно и повзводно крестьян, переодетых в солдатскую форму, на полевые работы, — министр народного просвещения князь А. Н. Голицын, в то же время и президент «Библейского

общества», занимался «спасением душ» и внедрением христианского благочестия. Высший свет, подражая двору, тоже обратился к религии. В великосветских гостиных заговорили об «излиянии святого духа», о новых мощах, чудесных видениях и т. д.

Как раз в это время, в начале 1819 г., организуется «Зеленая лампа», вольный кружок, которым пользовался «Союз благоденствия» в своих целях. Постоянным участником «Зеленой лампы» становится Пушкин. Здесь читались стихи, статьи, театральные отчеты, велись за ужином либеральные разговоры. В своих стихотворениях, связанных с «Зеленой лампой», Пушкин бросал вызов воинствующему мистицизму. Официальному ханжеству и лицемерию он противопоставлял «грешные» любовные радости и вольные шутки.

Этим же духом бодрости и веселья проникнута его поэма «Руслан и Людмила», законченная в марте 1820 г. Поэма Пушкина была торжеством «Арзамаса», литературным событием огромного значения. Это была первая поэма крупного жанра на русский былинно-исторический сюжет. Она канонизировала применение в больших жанрах лирического четырехстопного ямба. С «Руслана и Людмилы» начинается новый период русской литературы — период романтизма, но романтизма не пассивно-мечтательного и подражательного, как это было у Жуковского, а боевого и протестующего и в то же время до известной степени самобытного. Победа Пушкина была признана его литературным учителем Жуковским, который подарил ему свой портрет с надписью: «Победителю-ученику от побежденного учителя, в сей высокаторжественный день, в который он окончил поэму Руслан и Людмила. 1820, марта 26, великая пятница».

Между тем то беззаботное настроение, в каком был начат «Руслан», отошло уже в прошлое, когда Пушкин его заканчивал. Он перерос свою поэму к моменту ее окончания. «Поэму свою я кончил, — писал он Вяземскому, — и только последний, т. е. окончательный, стих принес мне истинное удовольствие... Она так мне надоела, что не могу решиться переписывать ее клочками для тебя».

Кончался первый, ранний период молодости Пушкина. Душевное состояние его весной 1820 г. было тревожным. Он стал раздражителен, резок, крайне неустоим. Под влиянием европейских известий усиливалось его революционное возбуждение. Он сыпал резкими эпиграммами, большая часть которых до нас не дошла. Рассказывали, что он открыто показывал в театре портрет Лувеля с надписью: «Урок царям». Вместе с тем Пушкин сделался предметом городских сплетен, которые доходили до его отца и вызывали тяжелые семейные сцены. Причиной домашних неприятностей была также и скупость Сергея Львовича, на которую жаловались все дети. В конце концов Петербург стал невыносим Пушкину. Как сообщает (со слов Чаадаева) П. И. Вартенев, Пушкин еще в Петербурге познакомился с сочинениями Байрона. Какою-то роль в ознакомлении Пушкина с поэзией Байрона играл князь Вяземский; по поводу пушкинской элегии «Погасло дневное светило», присланной с юга, Вяземский высказывал предположение, что это он «наговорил» Пушкину эту «байронщину». В апреле 1820 г. Пушкин писал князю Вяземскому совершенно в байроническом тоне: «Пе-

гербург душен для поэта; я жажду краев чужих — авось, полуденный воздух оживит мою душу». Повидимому, тогда он и условился с семейством генерала Н. Н. Раевского ехать вместе на Кавказ. Желание Пушкина скоро исполнилось, но не так, как он думал.

До правительства дошла, наконец, его «Вольность». Ходили слухи, что Александр I хочет посадить Пушкина в крепость или сослать в Соловецкий монастырь. Жуковский, А. И. Тургенев, Чаадаев уговорили осторожного Карамзина заступиться за молодого поэта. Пушкин был вызван к Карамзину и дал обещание не писать ничего против правительства в течение двух лет. По ходатайству Карамзина, наказание, грозившее Пушкину, было смягчено. Он был назначен на службу в Екатеринослав, к генералу Инзову, попечителю колонистов Южного края. 6 мая 1820 г. Пушкин покинул Петербург. Печатание «Руслана» взяли на себя Жуковский и Гнедич.

5

Раевские застали Пушкина в Екатеринославе и взяли с собой на Кавказ полубольного, — по приезде в Екатеринослав он схватил горячку. Два месяца, с июня по август, он провел в Пятигорске и Кисловодске, а затем, в начале августа, поехал с Раевскими в Феодосию, а оттуда на корабле в Гурзуф, где провел три недели, которые он в письме к брату называл «счастливейшими» в своей жизни. В Крыму и на Кавказе Пушкин читал Байрона вместе с Николаем Раевским и его сестрами, которые знали английский язык. Тогда же он сошелся и со старшим сыном генерала Раевского, Александром Раевским.

Тем временем управление колонистов было переведено в Бессарабию, в Кишинев, куда Пушкин и приехал 21 сентября 1820 г. Разноплеменное бессарабское население, среди которого, кроме коренных жителей, молдаван, были и турки, и румыны, и греки, и евреи, и цыганы, вызывало любопытство Пушкина, который однажды побывал в далеком цыганском таборе. Пушкин собирал местный фольклор и серьезно принялся за изучение истории края по книгам, которые давал ему И. П. Липранди, внаток Бессарабии (тогда член тайного общества). Начальник Пушкина, старый генерал Инзов, в юности был масоном и соприкасался с кружком Новикова. Пушкина он поселил у себя в доме, наблюдал за тем, чтобы он ходил в церковь, журил его с добродушным снисхождением за проказы и, когда все же приходилось сажать его под арест за столкновения с молдаванскими «боярами», приходил к нему потолковать о «гишпанской революции» и «конституции кортесов».

Бессарабия была местом расположения второй армии, при штабе которой, в Тульчине, находилось средоточие Южного общества. В январе 1821 г. «Союз благоденствия» был распущен по решению его членов, но Южное общество, входившее в него прежде, не подчинилось этому решению и еще энергичнее продолжило свою деятельность. Южные декабристы придерживались, в большинстве,

республиканской программы, стояли за революционный метод борьбы и вели пропаганду среди солдат, подготавливая их для переворота. Кишинев был одним из важных центров Южного общества. Там стояла дивизия Михаила Орлова, где, кроме самого начальника, членами общества были и некоторые офицеры, в том числе майор В. Ф. Раевский, стойкий революционер, которого Пушкин прозвал в шутку «спартанцем». В. Ф. Раевский, обладавший обширными историческими и политическими знаниями, был очень полезен Пушкину. По рассказу Липранди, Пушкин нарочно втягивал Раевского в споры, чтобы заставить его выкладывать свои сведения, а потом доставал книги по затронутым вопросам. Сильное впечатление произвел на Пушкина глава Южного общества — Пестель, приезжавший в Кишинев в апреле 1821 г. В пушкинском кишиневском дневнике записано под 9 апреля: «Утро провел я с Пестелем; умный человек во всем смысле этого слова... Мы с ним имели разговор метафизический, политический, нравственный и проч. Он один из самых оригинальных умов, которых я знаю». Был еще один декабристский центр, с которым связан был Пушкин. Это — Каменка, имение братьев Давыдовых, в трехстах километрах от Киева в юго-восточном направлении. В Каменке Пушкин провел всю зиму 1820—1821 г. (с ноября по март). Здесь он закончил «Кавказского пленника». Один из хозяев Каменки, В. Л. Давыдов, был главой особой, Каменской, «управы» Южного общества.

Революционное возбуждение, которое Пушкин вывел из Петербурга, долго не утихало. Он попрежнему кипел жаждой деятельности и стремился попасть в тайное общество, существование которого угадывал. Якушкин описывает любопытную сцену, происшедшую в Каменке в ноябре 1820 г., когда здесь был Пушкин. Присутствовало четверо декабристов — Якушкин, Михаил Орлов, Охотников и сам хозяин, В. Л. Давыдов. С целью сбить с толку Александра Раевского они затеяли спор о том, могло ли бы принести пользу тайное общество. Пушкин с жаром ухватился за эту мысль и стал доказывать, что это имело бы огромное значение. Когда же выяснилось, что весь разговор был только шуткой, Пушкин, по словам Якушкина, чуть не заплакал. Пушкин не знал, что тайное общество тогда переживало кризис и было накануне самоликвидации и что поэтому принятие новых членов в это время было бы неуместно. А в дальнейшем принятие Пушкина было невозможно, в виду его поднадзорного положения, да и он сам больше не подымал об этом вопроса. Не будучи членом общества, Пушкин, однако, содействовал его целям не только в литературном смысле, но и путем личной агитации. Один полицейский агент писал в своем донесении: «Пушкин ругает публично и даже в кофейных домах не только военное начальство, но даже и правительство». А вот какие речи Пушкина сообщает в дневнике кишиневский его сослуживец Долгоруков: «Штатские чиновники — подлецы и воры, генералы — скоты большей частью, один класс земледельцев почтенный. На дворян русских особенно нападал Пушкин. Их надобно всех повесить, а если б это было, то он с удовольствием затягивал бы петли».

Пушкин с напряженным вниманием следил за революционной борьбой за пределами России. В апреле 1821 г. вспыхнуло гре-

ческое восстание, которое Пушкин приветствовал с восторгом, ожидая от него важных последствий и для России и для всей Европы. Он лично знал в Кишиневе деятелей «гетерии», греческого революционного общества, в том числе и предводителя восстания, князя Александра Ипсиланти. Однако реакция в Европе торжествовала. В 1821 г. австрийцы подавили революцию в Неаполе и Пьемонте. В 1823 г. французские войска сокрушили революционную Испанию. На эти события Пушкин отозвался несколькими стихотворениями пессимистического характера, где сурово клеймил «мирные народы», покорно несущие рабское ярмо с гремушками». Для него наступил момент отрезвления и некоторого разочарования. В обычном для него полушутливым тоне он писал А. И. Тургеневу, что он «закаялся» и отказался от «либерального бреда» (1 декабря 1823 г.). Это был, однако, отказ не от революции, а от слишком легкомысленных надежд на ее быстрое осуществление, особенно в условиях дворянской России. На это пессимистическое настроение повлияли также и кишиневские происшествия: в феврале 1822 г. был арестован и увезен в Тираспольскую крепость В. Ф. Раевский, а вслед затем отрешен от службы Михаил Орлов. Правительство чужло заговор и принимало свои меры. О предстоящем аресте предупредил Раевского Пушкин, узнавший об этом за несколько часов от Инзова. Благодаря этому Раевскому удалось уничтожить компрометирующие его документы.

По хлопотам петербургских друзей, Пушкин в июле 1823 г. был переведен на службу в Одессу, в канцелярию новороссийского генерал-губернатора графа М. С. Воронцова. Воронцов имел репутацию просвещенного, либерального человека. Жена его, Елизавета Ксаверьевна, была в родстве с Раевскими. Там же, в Одессе, служил приятель Пушкина Александр Раевский. Все это давало основание предполагать, что Пушкину в Одессе будет хорошо, не говоря уже о преимуществах красивого и оживленного приморского города. Однако Пушкин сразу же стал во враждебные отношения с Воронцовым. Воронцов видел в нем только «коллежского секретаря», а Пушкин, как он говорил, думал о себе «что-то другое». Пушкин принимал свои семьсот рублей годового жалованья как «паек сылочного невольника», а Воронцов требовал от него исполнения служебных обязанностей. Ко всему присоединялась ревность Воронцова, в жену которого Пушкин серьезно влюбился.

Пушкин тяготился неопределенностью своего положения. Несколько раз он обращался к царю с просьбой об отпуске в Петербург, на что имел право как чиновник, но каждый раз получал отказ. У него возникла мысль о побеге за границу. Он писал брату в январе 1823 г.: «Осталось одно — писать прямо на его имя: такому-то в Зимнем Дворце, что против Петропавловской крепости; не то взять тихонько трость и шляпу и поехать посмотреть на Константинополь. Святая Русь мне становится невтерпез».

Между тем Пушкин с необыкновенной быстротой шел вперед в своем творчестве. Он работал упорно, не останавливаясь на достигнутом. Каждое новое произведение его становилось новым литературным завоеванием. Совершенно новым видом поэмы явился «Кавказский пленник» (1821). Это была лирическая поэма в духе Байрона, с которым Пушкина связывало идейное сродство; оба

поэта были представителями общеевропейского освободительного движения эпохи Наполеона и реставрации. Вся поэма шла непрерывным лирическим потоком, образуя как бы лирический монолог, проникнутый единым лирическим дыханием. Несмотря на зависимость от Байрона, «Кавказский пленник» был произведением чисто русским, отражавшим и личность автора и русскую жизнь. Характер пленника имел русскую реально-историческую основу; в нем Пушкин хотел воплотить «отличительные черты молодежи XIX века». В описаниях Кавказа сказалось тщательное внимание, с каким Пушкин наблюдал новую для него обстановку. Интересы его простирались и на природу края, и на местные нравы, и на местный фольклор; в одном из примечаний он давал, например, характеристику грузинских песен.

Реалистическая тенденция, присущая Пушкину, сказалась и в образе черкешенки. Если пленник, лирически слишком близкий автору, был обрисован неясно, на что указывала современная критика, то черкешенка, напротив, изображена была довольно выпукло и ярко, с необыкновенной для того времени психологической правдой. Русская литература не знала еще такой пластики и эмоциональной выразительности, какие показаны были Пушкиным в образе черкешенки, в описании ее жестов и мимики:

И долго, долго перед ним
Она, задумчива, сидела,
Как бы участием немым
Утешить пленника хотела;
Уста невольно каждый час
С начатой речью открывались,
Она вдыхала, и не раз
Слезами очи наполнялись...

Раскрыв уста, без слез рыдая,
Сидела дева молодая.
Туманный, неподвижный взор
Везомлвный выражал укор.
Вледна, как тень, она дрожала;
В руках любовника лежала
Ее холодная рука...

От черкешенки, первого реалистического женского образа, пока еще очерченного отдельными штрихами, был вполне естественным переход к законченному реализму образа Татьяны, русской деревенской барышни, которая «отдается безусловно любви, как милое дитя» и радуется «простодушно» встрече с разочарованным героем. Вместе с тем и самый сюжет «Евгения Онегина» представляет собой не что иное, как углубленную, реалистическую разработку ситуации, намеченной в «Кавказском пленнике».

«Бахчисарайский фонтан» (1823) ближе к Байрону, чем «Кавказский пленник». Пушкин переходит здесь на байроновскую почву, вступает в байроновский мир исключительных страстей, мрачных характеров, убийств, казней и мелодраматических эффектов. Но все это смягчено лиризмом, который здесь проявляется еще сильнее, чем в «Кавказском пленнике». Лирическую основу «Бахчисарайского фонтана» составляет элегический тон личных воспоминаний. Все образы окрашены поэтом лирически. Это не конкретные «характеры», как в «Кавказском пленнике», а как бы «видения»,

свободно возникающие в воображении поэта. Однако и в «Бахчисарайском фонтане» проявилась пушкинская наблюдательность. В татарской старине, которую Пушкин воскрешал в своей поэме, отразились его живые крымские впечатления.

Новым шагом вперед были начаты в Одессе «Цыганы». Это была поэма проблемного типа, в которой давалась самостоятельная морально-общественная оценка байроновского «гордого человека». В Одессе закончены были и две главы «Евгения Онегина», лирического романа, представлявшего собой мастерское соединение лирики и иронии с бытоописательным материалом.

Влияние Байрона не захватывало пушкинского творчества целиком. Оно выразилось, главным образом, в лирических поэмах Пушкина. Характерно, что в апреле 1821 г., тотчас после «Кавказского пленника», Пушкин пишет «Гавриилиаду», пародийную антицерковную поэму в духе Вольтера и Парни. Тогда же (в 1821—1822 гг.) он задумывает ряд произведений русского содержания — исторического и сказочного (планы поэм о Мстиславе и Бове, наброски сказок о царе Никите и царе Салтане).

Расширялась и крепла лирика Пушкина, которая очень мало вратонута была байроновским влиянием. В его политических стихотворениях («Кинжал», «Наполеон») выражался не только политический темперамент, но и зрелый взгляд на современность; вопросы политические получали здесь историческое освещение. Пушкин свободно избирал темы и жанры. Политические стихотворения и любовные элегии, пластические миниатюры в духе А. Шенье и ироническая «Телега жизни», байронический «Узник» и русская историческая баллада «Песнь о вещем Олеге» — все это шло параллельно в пушкинской лирике периода южной ссылки.

Пушкин влезал умами читателей, количество которых, можно сказать без преувеличения, благодаря ему удвоилось. Дельвиг писал ему: «Никто из писателей русских не поворачивал так каменными сердцами нашими, как ты» (сентябрь 1824 г.). Произведения Пушкина стали приносить порядочный доход. За «Бахчисарайский фонтан», вышедший в 1824 г., ему было уплачено три тысячи рублей, т. е. больше пяти рублей за стих, — гонорар в те времена неслыханный. Пушкин чувствовал свою силу, видел, что может жить своей «стишистой торговлей», и положение человека на «привязи» делалось для него тем более несносным.

В мае 1824 г. Воронцов командировал Пушкина в уезды, пораженные саранчой. Пушкин в командировку поехал, но по возвращении подал заявление об отставке. Неизвестно, дошло ли это заявление по назначению. Развязка пришла с другой стороны. Давно уже Воронцов посылал в Петербург письма, в которых просил избавить его от Пушкина. Одновременно до правительства дошло какое-то письмо Пушкина с атеистическими суждениями. Письмо это было доложено Александру I, и в начале июля 1824 г. граф Нессельроде уведомил Воронцова о высочайшем повелении «коллежского секретаря Пушкина уволить в расце от службы» и выслать его в имение его родителей под надзор местного начальства, взяв с него подписку прямо следовать к месту своего назначения, не останавливаясь нигде по пути. 30 июля 1824 г. Пушкин выехал из Одессы и через десять дней, 9 августа, прибыл в Михайловское

Ссылка в Михайловское продолжалась два года (до сентября 1826 г.). Почти все это время Пушкин пребывал в полном уединении. Единственной его «подругой», как он писал одному приятелю, была старая няня Арина Родионовна, которая ведала его скромным хозяйством. С соседями Пушкин почти не знался и бывал только в Тригорском, имении П. А. Осиповой, находившемся в трех километрах. Сюда привлекало его женское общество — две дочери Осиповой, Анна Николаевна и Евпраксия Николаевна Вульф, и ее падчерица, Александра Ивановна Осипова. В июне 1825 г. к женской компании присоединилась еще Анна Петровна Керн, кузина тригорских барышень; ей посвящено стихотворение «Я помню чудное мгновенье». Временами жил здесь сын Осиповой, Алексей Вульф, дерптский студент, который стал приятелем Пушкина. Летом 1826 г. в Тригорском гостил поэт Н. М. Языков. Два раза навестили Пушкина его лицейские друзья — в январе 1825 г. Пущин, в апреле Дельвиг. Вот ограниченный круг людей, разнообразивших михайловское уединение поэта.

Еще в Одессе Пушкин решил во что бы то ни стало добиться свободы или бежать за границу. С этим намерением он приехал и в Михайловское. Приготовления к побегу начались с декабря 1824 г. и продолжались до августа 1825 г. В свои планы Пушкин посвятил брата и Алексея Вульфа, с которыми вел зашифрованную переписку. Параллельно он хотел испробовать и законные средства и затеял хлопоты через посредство матери и петербургских друзей об освобождении из ссылки, выставляя предлогом вымышленный «аневризм», будто бы требовавший немедленной операции. В случае невозможности добиться полного освобождения Пушкин просил, чтобы ему позволили поехать по крайней мере в Дерпт, к знаменитому хирургу Мойеру. Оттуда он предполагал с помощью Вульфа перебраться в чужие края. Однако наивность Жуковского расстроила этот план. Жуковский поверил всерьез в «аневризм» Пушкина и, так как был близок с Мойером, то договорился с ним об операции и известил Пушкина, что тот сам придет к нему. Пушкин писал Вяземскому: «Жуковский со мной так проказит, что нельзя его не обожать и не сердиться на него». Можно думать, впрочем, что так или иначе «молодой орел», по выражению П. А. Осиповой, все равно не улетел бы в чужие края — слишком кровно, всем своим творчеством, он связан был со своей родиной.

Михайловская ссылка была временем необыкновенного подъема творческих и умственных сил Пушкина. Здесь, в Михайловском, созрел вполне его гений. Богатейший опыт европейской мысли и европейского художественного слова, усвоенный им в предшествующие годы, он применяет теперь к русскому материалу, к русской действительности, к русским общественным задачам. Пушкин михайловского периода — это уже зрелый художник-реалист. В центре михайловского творчества Пушкина — «Борис Годунов» и средние главы «Евгения Онегина» (с третьей по шестую), в которых вполне раскрывается реалистический характер и богатый общественный смысл романа. Здесь же (осенью 1824 г.) закончены «Цыганы», начатые в Одессе, и написан (в декабре 1825 г.) «Граф Ну-

лин», шутливая поэма с демонстративно подчеркнутым бытовым реализмом.

«Цыганами» завершается байроновская полоса в творчестве Пушкина. Показав байроновского героя во всей его мрачной силе и идейной значительности, Пушкин, вместе с тем, совершенно перемосмыслил его, вскрыв заключавшееся в нем противоречие. Свою поэму он превратил в суд над «гордым человеком», противопоставив ему «смирненную вольность» идеализированной в духе Руссо цыганской общины. В «Цыганах» Пушкин выступал не только как поэт, но и как мыслитель. Отсюда необыкновенная логическая стройность поэмы и ее предельная сжатость.

Развенчивая байроновского героя в «Цыганах», Пушкин в то же время вводил его в реалистически-бытовые рамки в «Евгении Онегине». В михайловских главах романа он изображал его в обстановке русской деревни. Его разочарованному отрицанию противопоставлялась здесь жизненная сила Татьяны, имеющая источником народную стихию. Связь ее с народом подчеркивалась сопутствующим ей образом няни Филипьевны, оригиналом которой послужила, по собственному признанию поэта, его няня Арина Родионовна. Имитация народной песни в финале третьей главы, картины русской зимы, описание народных гаданий, выдержанный в сказочном духе сон Татьяны — все это придавало роману народно-реалистический характер.

Такой же народно-реалистический характер имела и трагедия «Борис Годунов». Черновой фрагмент «Бориса Годунова», написанный четырехстопным рифмованным ямбом, указывает на переходный момент, когда Пушкин еще не расстался с первоначальным планом «романтической трагедии», которую представлял себе в виде драматизированной поэмы. Изучение документального материала и «народных законов» театра Шекспира заставило Пушкина отказаться и от выбранного первоначально размера и от романтической трактовки героев.

Вместе с тем Пушкин стремился теоретически обосновать новые свои литературные позиции. В переписке с князем Вяземским и А. А. Бестужевым он полемизировал с узким пониманием романтизма как искусства, идеализирующего действительность и питающегося только чувством и «воображением». «Истинный» романтизм он определял как освобождение от классической условности и обращение к живой действительности, отождествляя его, таким образом, с реализмом (термина этого тогда еще не было). В понятие «истинного» романтизма включалось им и требование «народности», понимаемой в смысле национальной самобытности. В изучении народного языка, народной поэзии, народной жизни и истории он видел ту школу, через которую должна пройти русская литература для того, чтобы стать зрелой, самостоятельной, независимой от чужеземных влияний. Эта мысль, повидимому, созрела у Пушкина еще на юге. Он высказал ее в наброске 1822—1824 гг.: «Но есть у нас свой язык; смелей! — обычаи, история, песни, сказки и проч.». В Михайловское Пушкин приехал уже с готовым интересом к фольклору. Здесь он собирал народные песни, записывал сказки Арины Родионовны, которые пленяли его своей художественностью. Он писал брату в октябре 1824 г.: «Что за прелесть

эти сказки! Каждая есть поэма!» К михайловскому периоду относится его первая «простонародная сказка» «Жених», образец великодушного народного стиля. В «Зимнем вечере» переданы впечатления от песен Арины Родионовны.

Пушкин много и систематически читал в своем уединении. Он заваливал брата поручениями по книжной части. Работая над своей трагедией, он изучал исторический материал — Карамзина, летописи, Четьи-Минеи. При этом он специально занимался вопросами драмы — штудировал «Драматургию» Августа Шлегеля и читал Шекспира (во французском переводе Летурнёра, под редакцией Гизо). В связи с этими чтениями вырабатывались его теоретические взгляды на литературу.

В пушкинской лирике этого периода преобладает элемент размышлений. Поэт как бы осматривается, подводит итоги. Такой оценочный, итоговый характер имеют «19 октября» (1825) и эпическая элегия «Андрей Шенье в темнице», где устами французского поэта говорит о себе сам автор. В «Вакхической песне» раскрывается та точка зрения, с которой поэт судит и себя и действительность: это «разум», «бессмертное солнце ума». Композиционная стройность, необыкновенная сжатость языка, свободная смена интонаций и связанное со всем этим богатство музыкальных оттенков составляют отличительные черты михайловской лирики Пушкина. Образцом той силы, какой достигает в этот период язык Пушкина, являются его «Подражания Корану» и переложения библейских мотивов («В крови горит огонь желанья» и «Вертоград моей сестры»). Совершенно иначе звучит «Прозерпина», по поводу которой Дельвиг писал Пушкину: «это пеняе райской птички, которое слушая не увидишь, как пройдет тысяча лет».

Из написанного в Михайловском далеко не все сразу увидело свет. О «Борисе Годунове» и дальнейших главах «Евгения Онегина» знали одни ближайшие друзья. Отрывки из «Цыган» распространились в копиях благодаря Льву Сергеевичу, который читал их наизусть и позволял записывать. Ходили по рукам и многие стихотворения. В печати появились только первая глава «Евгения Онегина» с приложением «Разговора книгопродавца с поэтом» (в начале 1825 г.) и сборник лирических стихотворений (1826).

Под влиянием исторических изучений взгляд Пушкина на русское революционное движение делается глубже и серьезнее. Перед ним встает вопрос о роли народной массы в революции, о значении «мнения народного», — вопрос, который обходило большинство декабристов. Из размышлений на эту тему, повидимому, и возник первоначальный замысел «Бориса Годунова». Основную политическую проблему современности, проблему народной революции, Пушкин хотел разрешить на материале истории. Недаром X и XI томы Карамзина, где описывается «смутное время», воспринимались им как «животрепещущие листы вчерашней газеты». С целью ознакомиться с крестьянскими восстаниями прошлого, он в октябре — ноябре 1824 г., т. е. еще до начала работы над «Борисом Годуновым», просил брата достать ему «Жизнь Пугачева» и «сухое известие» о Разине, которого называл «единственным поэтическим лицом русской истории». Можно предположить, что, прежде чем приступить за «Бориса Годунова», Пушкин колебался в выборе темы.

В январе 1825 г. Пущин осведомляет Пушкина о существовании тайного общества и, вероятно, о предстоящем восстании, которое намечалось южанами на 1826 г. Этим объясняются «пророчества» Пушкина в «Андрее Шенье» с скором «падении тирана» и в стихотворении «19 октября» о свидании с друзьями по истечении года. Когда до Михайловского дошла весть о смерти Александра I, Пушкин отправился было самовольно в Петербург, очевидно, в предвидении возможного переворота, но по дороге опомнился и повернул обратно. Рассказ о заявлении, сделанном Пушкиным при свидании с Николаем I, о том, что очутись он 14 декабря в Петербурге, то был бы на площади с друзьями, вполне правдоподобен.

Восстание 14 декабря, суд, казнь пятерых, каторга ста двадцати «друзей, братьев, товарищей», в том числе Пущина и Кюхельбекера, — все это произвело неизгладимое впечатление на Пушкина. В обстановке всеобщего террора поведение его поражает своим необыкновенным достоинством. Обращаясь в январе 1826 г. к посредничеству Жуковского с целью выяснить свое личное положение и заявляя при этом о своем согласии «условливаться» с правительством, он, вместе с тем, предупреждает своих друзей, чтобы они «не отвечали» и «не ручались» за него. Он пишет: «Мое будущее поведение зависит от обстоятельств, от обхождения со мной правительства etc.». Ясно, какие тут разумеются «обстоятельства»: Пушкин имеет в виду тот или иной исход суда над декабристами. Только в марте 1826 г. он решился, наконец, возбудить через Жуковского ходатайство о своем освобождении и послал ему официальное письмо, по его выражению, «в треугольной шляпе и в башмаках», т. е. такое, чтобы его можно было показать императору. Он не отказывался от своего образа мыслей, религиозного и политического, а только обязывался держать его про себя и не противоречить безумно «общепринятому порядку и необходимости». Немудрено, что Жуковский нашел это письмо «безрассудным». Он писал ему: «Ты ни в чем не замешан — это правда. Но в бумагах каждого из действовавших находятся стихи твои. Это худой способ подружиться с правительством». Действительно, Пушкин далеко еще не «ушел от жандарма», как он сам говорил. Декабристы в своих показаниях часто называли революционные стихи Пушкина в числе источников своего «свободного образа мыслей». Но установить принадлежность Пушкина к тайному обществу не удалось. В середине июля 1826 г. в Псковскую губернию был послан полицейский агент Бошняк для «обстоятельного исследования» поведения Пушкина и проверки, не возбуждал ли он крестьян к «вольности». В случае надобности он имел полномочия арестовать его. Но и Бошняк не нашел ничего предосудительного, кроме того, что Пушкин «дружески обходился с крестьянами и брал за руку знакомых, здороваясь с ними». Николай I, вероятно, сам не читал Пушкина и знал только, что это автор «вольнодумческих» сочинений. Однако Жуковский, должно быть, говорил ему о значении Пушкина. С другой стороны, и граф Бенкендорф, шеф жандармов, был того мнения, что если бы удалось «направлять перо и разговоры» Пушкина, то в этом была бы «прямая выгода».*

* Письмо 12 июля 1827 г. Несомненно, что Бенкендорф так думал и раньше.

Николай принял все это во внимание: новому императору надо было успокоить встревоженное общественное мнение. Приговаривая к повешению пятерых дворян крупных фамилий, он, вместе с тем, «прочал» Пушкина.

В мае 1826 г., после окончания следствия над декабристами, Пушкин подал прошение на имя императора. Вяземскому это прошение показалось «сухим» и «холодным», и он советовал написать другое. Но тем временем совершилась казнь пятерых. Пушкин отвечал Вяземскому: «Ты находишь мое письмо холодным и сухим. Иначе и быть невозможно. Благо написано. Теперь у меня перо не повернулось бы». Однако Николай удовольствовался этим «холодным» и «сухим» прошением. В ночь на 4 сентября Пушкин был вызван к губернатору в Псков и отправлен на положении полуарестованного с фельдъегерем в Москву, где тогда находился император. Пушкина привезли в Кремлевский дворец и провели прямо в кабинет Николая. Подробности свидания точно неизвестны. Повидимому, Пушкин жаловался на цензуру, на что царь заявил ему, что отныне сам будет его цензором. В общем Николай сумел произвести благоприятное впечатление на Пушкина. Договор состоялся. Со стороны Пушкина это была не капитуляция, а вполне сознательный шаг. Еще в феврале 1826 г. Пушкин писал Дельвигу: «Не будем ни суеверны, ни односторонни, как французские трагики; но взглянем на трагедию взглядом Шекспира». «Взгляд Шекспира» обозначал на его языке трезвую, реалистическую оценку событий. Ту же мысль он повторил и в официальной записке о воспитании, написанной осенью 1826 г. по царскому заказу. Он писал там: «Вероятно, братья, друзья, товарищи погибших успокоятся временем и размышлением, поймут необходимость и простят оной в душе своей». По верному замечанию А. В. Луначарского, слова эти звучат совсем по-гегелевски.* Однако, покорившись «необходимости», т. е. силе, Пушкин ничего не уступил — по крайней мере, в данный момент — из своих основных убеждений. Он только изменил тактику в связи с переменной исторической ситуации. Декабристы до конца жизни остались его «друзьями, братьями, товарищами». Он вспоминал своих «каторжников» — Пущина и Кюхельбекера — и старался помогать им. Мысль о повешенных не выходила у него из головы. В пушкинских черновиках 1826—1828 гг. несколько раз повторяются рисунки, изображающие виселицу с качающимися на ней телами.

Триумф, каким встретила Пушкина Москва, мог показать императору, что Жуковский был прав и что с этим человеком, действительно, стоило договариваться. Когда Пушкин впервые после изгнания появился в Большом театре, по зрительному залу пронесся гул. Все повторяли его имя, все взоры, все бинокли были направлены на него, на сцену почти не глядели во все время спектакля. В антрактах и при разезде Пушкина окружала густая толпа знакомых и незнакомых. Эта небывалая популярность поэта, несомненно, смущала царя и Бенкендорфа и заставляла их следить за ним с особым вниманием. Николаю еще раз пришлось столкнуться с этой пугающей силой общественного мнения позже — при кончине поэта.

* Пушкин, Собрание сочинений, изд. ГИХЛ, т. I, вступ. статья, стр. 41.

Почти пять лет, от возвращения из ссылки до женитьбы (сентябрь 1826 г. — февраль 1831 г.), Пушкин провел в странствиях. «Вы всегда на больших дорогах» — как-то сказал ему Бенкендорф (письмо 21 марта 1830 г.). «На большой мне, знать, дороге умереть господь судил» — говорил и Пушкин («Дорожные жалобы», 1829). Пушкин кочевал все это время между Москвой и Петербургом, не имея собственного пристанища. В Петербурге он останавливался в гостинице Демута, в Москве — у Соболевского на Собачьей площадке или в гостинице «Англия». Два раза за эти годы был он в Михайловском (в ноябре 1826 г. и с июля по сентябрь 1827 г.). По дороге из Москвы или из Петербурга он обычно заезжал в Малинники, тверское имение Вульфов (в конце 1828 г., в январе и в октябре 1829 г., в марте 1830 г.). Наконец, летом 1829 г., во время турецкой войны, он совершил поездку на Кавказ и дошел с русскими войсками до Арзрума.

Недоразумение, которое лежало в основе соглашения Пушкина с правительством, обнаружилось очень быстро. Царь считал, что поэт, приспосабливаясь к благодарности, должен резко переменить фронт и доказать своим поведением, что он ценит оказанную ему снисходительность. Между тем Пушкин держал себя независимо, не соблюдая необходимой осторожности. В ноябре 1826 г. Бенкендорф, которому царь поручил наблюдение за Пушкиными, сделал ему выговор за то, что он читал в обществе своего «Бориса», напомнив, что, прежде чем печатать или распространять свои произведения, он должен представлять их на рассмотрение императору. Пушкин немедленно послал рукопись «Бориса Годунова» Бенкендорфу. Вместе с тем он принужден был «остановить» в московской цензуре все, что им дано было Погодину для «Московского Вестника». Пушкинская трагедия была передана на отзыв Булгарину. Булгарин указал несколько предосудительных в политическом отношении или нарушающих требования пристойности мест и, между прочим, писал, что трагедия сбивается больше на роман в духе Вальтер Скотта. Николай повторил это в своей резолюции. Он посоветовал Пушкину переделать трагедию «с нужным очищением» в роман. Пушкин вежливо отклонил высочайший совет в ответном письме Бенкендорфу. Фактически «Борис Годунов» оказался надолго под запретом.

В конце 1826 г. Николай поручил Пушкину составить записку о воспитании. Это являлось знаком доверия, а вместе с тем и своего рода политическим экзаменом. Аналогичное поручение, но касающееся специально лицейского воспитания, дано было тогда же и другому, столь же влиятельному, с точки зрения Николая, литератору, а именно — Булгарину. Булгарин написал в желательном духе, придав своей записке характер доноса, направленного прямо против Пушкина. Пушкин же не оправдал ожиданий. В то время как лицейское воспитание объявлялось — и не одним только Булгариным — источником революционной заразы, Пушкин предлагал распространить программу Лицея на все учебные заведения и ввести повсюду на «окончательном курсе» (лицейский термин) преподавание «высших политических наук»: «прав» (разумея под

этим и «естественное право»), политической экономии «по новейшей системе Сея и Сисмонди», статистики и истории, «особенно новейшей». При этом в преподавании истории рекомендовалось «не хитрить, не искажать республиканских рассуждений, не позорить убийства Кесаря, превознесенного 2000 лет, но представить Брута защитником и мстителем коренных постановлений отечества, а Кесаря честолюбивым возмутителем». Вся пушкинская записка была посвящена защите «просвещения», которое на языке того времени было однозначно «свободному образу мыслей». Это была попытка внушить Николаю кое-что из декабристской программы и косвенно обелить декабристов, представив их «несчастными» жертвами исторических обстоятельств. В уклончивых суждениях о декабристах сказывались невольные противоречия. С одной стороны, осуждались их «замыслы более или менее кровавые и безумные», с другой — выражалась надежда, что единомышленники их со временем «простят» «необходимости», олицетворяемой правительством. Выходило так, что не правительство должно «прощать», а наоборот — оно само нуждается в «прощении». Нечего и говорить, какое впечатление должна была произвести на Николая эта записка. Николай удовлетворялся сухим правоучием, переданным через Бенкендорфа. «Его величество, — писал Бенкендорф, — заметить изволил, что принятое вами правило, будто бы просвещение и гений служат исключительным основанием совершенству, есть правило опасное для общего спокойствия, завлекшее вас самих на край пропасти и повергшее в оную толикое число молодых людей. Нравственность, прилежное служение, усердие предпочсть должно просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному».

В сентябре 1826 г., когда Пушкин «договаривался» с царем, возникло дело об отрывке из «Андрея Шенье», не вошедшем в печатный текст сборника 1826 г. по цензурным причинам и распространенным в списках под произвольным заглавием «На 14 декабря». Пушкину два раза пришлось разъяснять, что инкриминируемые ему стихи относятся к французской революции и ничего не имеют общего с «несчастливым бунтом 14 декабря». Дело тянулось до 1828 г. и дошло до Государственного совета. Пушкину было поставлено в вину, что он в своих показаниях «равнодушно отозвался о бунте 14 декабря, назвав его несчастным, как будто без намерения сделанным»; согласно постановлению совета, «по неприличному выражению его в ответах насчет происшествия 14 декабря 1825 г.», за ним учрежден был секретный полицейский надзор. Таким образом, с 1828 г. Пушкин оказался под двойным надзором — высшим надзором со стороны Бенкендорфа и обычным полицейским надзором. Вместе с тем от Пушкина была отобрана подписка, чтобы он ничего не печатал без цензуры. Это требование стояло в прямом противоречии с категорическими обещаниями царя быть его единственным цензором. Сохранилось черновое письмо Пушкина к Бенкендорфу, где он протестует против «унизительной» для его чести «полицейской подписки» и ссылается на царское обещание 1826 г. Повидимому, письмо это не было послано, так как положение Пушкина значительно осложнилось новым, гораздо более серьезным обстоятельством. В июне 1828 г., еще до окончания дела об «Андрее Шенье», в полицию поступил донос о «Гавриилиаде». Пушкин первоначально

отрекся от авторства. Тогда Николай приказал призвать Пушкина и сказать ему от его имени, что, «зная лично Пушкина», он верит его слову, но желает, чтобы он помог открыть, «кто мог сочинить подобную мерзость и обидеть Пушкина, выпуская оную под его именем». Пушкин тогда передал письмо в запечатанном конверте, адресованное лично царю, после чего тот приказал прекратить следствие. Повидимому, в письме Пушкина заключалось признание. Этой «милостью» Николай надеялся сковать Пушкина по рукам и ногам. Тревога, которую пережил Пушкин в связи с этим делом, отразилась в его стихотворении «Предчувствие».

Все это очень слабо влияло, однако, на принципиальные позиции Пушкина. Он упорно делал вид, что его цели это и есть подлинные цели николаевского правительства. Похвалы по адресу царя являлись, в сущности, замаскированным призывом к постепенному и хотя бы частично осуществлению декабристской программы («В надежде славы и добра», 1826, «Нет, я не льстец», 1828). Пушкин приглашает Николая следовать по стопам Петра Великого — «смело сеять просвещение» (т. е. дать свободу мысли), не «презирать» народа (т. е. вести политику, соответствующую интересам народа) и «быть незлобным памятью» (другими словами, простить декабристов). Никакого противоречия между стансами, посвященными царю, и написанным почти одновременно «Посланием в Сибирь» (1827) не было. И там и тут шла речь о близком торжестве декабристских идеалов и возвращении сосланных. Катенин был прав, называя стихи Пушкина в честь царя «плутовскими». Однако новое царствование, с точки зрения Пушкина, представляло все же некоторые элементы прогресса, сравнительно с последними годами царствования Александра I. Деятельность Николая, как казалось Пушкину, отличалась более трезвым, деловым характером. При нем само собой уничтожилось влияние ханжеского мистицизма. Церковь заняла подчиненное положение в качестве одной из частей государственного аппарата. Войны с Персией (1828) и с Турцией (1828—1829) соответствовали взглядам декабристов, которые стояли за энергичную завоевательную политику на Востоке. Комитет 6 декабря 1826 г., образованный «для пересмотра государственного управления», возбуждал некоторые надежды в прогрессивных кругах. В число задач, поставленных перед комитетом, номинально входил и вопрос о состоянии крепостных крестьян. Все это поддерживало иллюзии Пушкина относительно намерений правительства. Отражением этих иллюзий являются строки из письма 1830 г. к князю Вяземскому: «Правительство действует или намерено действовать в смысле европейского просвещения. Ограждение дворян, подавление чиновничества, новые права мещан и крепостных — вот великие предметы».

Пушкин давно стремился к журнальной деятельности. После возвращения из ссылки он предлагал Вяземскому объединиться с ним и завладеть каким-нибудь журналом «самовластно и единовластно». Журнал нужен был ему для пропаганды новых литературных взглядов. Пушкин не замечал, что у него пока нет союзников даже среди ближайших друзей (за исключением, может быть, Дельвига). Вяземский был уже связан с «Московским Телеграфом» и отнесся холодно к предложению Пушкина. В Москве Пушкин сблизился с кругом молодых шеллингианцев-романтиков во главе

с Д. В. Веневитиновым, Иваном Киреевским и С. П. Шевыревым. В 1827 г. стали выходить орган этой группы, «Московский Вестник», редактирование которого было поручено М. П. Погодину. Пушкин был приглашен участвовать в журнале на особо выгодных условиях (десять тысяч рублей с каждых 1200 подписчиков и пять тысяч одновременно авансом). Предполагалось, что он будет играть в журнале руководящую роль. Однако скоро обнаружилось расхождение между ним и большинством сотрудников. Пушкин, с его ясным, полнократным умом, не мог мириться с шеллинговской метафизикой, в которой чувствовал привкус ненавистного ему с ранних лет мистицизма. Немецкой метафизике Пушкин противопоставлял положительную науку и реальные политические вопросы. После выхода первых номеров журнала Пушкин писал Дельвигу: «Ты пеняешь мне за Моск(овский) Вестник и за немецкую метафизику. Бог видит, как я ненавижу и презираю ее; да что делать! собрались ребята теплые, упрямые; поп свое, а черт свое. Я говорю: господа, охота вам из пустого в порожнее черпывать — все это хорошо для немцев, пресыщенных уже положительными познаниями, но мы... Моск(овский) Вестник сидит в яме и спрашивает: веревка вещь какая? [впрочем, на этот метафизический вопрос можно бы и отвечать, да №]. * А время вещь такая, которую с никаким вестником не стану я терять». «Московский Вестник» выходил до 1830 г., но Пушкин активного участия в нем не принимал.

Осенью 1828 г. написана была поэма «Полтава» (напечатана в 1829 г.). Она воскрешала тему «Войнаровского» Рыльева, но воскрешала в углубленном виде, в широких рамках эпической или исторической поэмы. Изображение Мазепы представляло в то время большие трудности, которые для Пушкина осложнялись еще его личным положением. Самое имя Мазепы ассоциировалось с поэмой повешенного декабриста. Пушкин счастливо обошел эти трудности. Настойчиво подчеркивая «злодейские» черты Мазепы и в печатной заметке и в самом тексте поэмы, в авторских характеристиках (как это требовалось официальной точкой зрения), он в то же время фактически изображал его как трагического героя, обреченного на поражение и своими «страстями» и исторической «необходимостью». В основном это совпадало с трактовкой Мазепы у Рыльева, который, хотя и выставлял на первый план борьбу Мазепы с «самовластием», все же указывал при этом устами Войнаровского и на его честолюбивые замыслы. Драма «страстей», составлявшая содержание поэмы, служила контрастом Петру, показанному исключительно в сфере народно-государственных целей. Образ Петра благодаря этому приобретал сверхличный, монументальный характер. В связи с этим понятно, почему Петр появляется только в III песне поэмы, после развязки личной драмы «страстей». Драма «страстей», на которой до сих пор сосредоточивалось художественное внимание, внезапно отводится этим на второй план. На первый план выступает динамический образ Петра: «Тогда-то, свыше вдохновенный» и пр. Апофеоз революционной воли Петра становится, таким образом, идейным центром поэмы. В масштабе широкой исторической пано-

* Намек на повешенных декабристов

рамы здесь было реализовано то, что в лирической форме высказывалось о Петре в пушкинских стихотворениях, обращенных к Николаю I. По духу «Полтава» являлась поэмой вполне декабристской. Кюхельбекер писал о ней Пушкину: «За твою Полтаву уважаю, сколько только можно уважать» (20 октября 1830 г.).

Той же осенью закончена была и седьмая глава «Евгения Онегина», давшая новый, неожиданный поворот всему роману (напечатана в 1830 г.). Онегин отсутствовал в этой главе; центральным лицом здесь являлась Татьяна. Скромная «уездная барышня», выросшая в непосредственной близости к народу, становилась здесь судьей столичного разочарованного героя. С ее же точки зрения подвергался сатирической оценке и московский свет.

К 1827 г. относится неоконченная повесть «Арап Петра Великого», первый опыт Пушкина в области художественной прозы. Петр являлся здесь в житейски-бытовой обстановке, но с теми же чертами неустанной энергии, которые легли в основу образа «героя Полтавы».

С 1828 г. отношение правительства к Пушкину заметно ухудшается. В апреле 1828 г. объявлена была война Турции. Пушкин просился в действующую армию, но получил отказ. Тогда он обратился с новой просьбой — отпустить его на шесть-семь месяцев в Париж; снова отказ. Чувствуя потребность в путешествии и не надеясь больше на позволение правительства, он самовольно, на правах частного лица, отправился в мае 1829 г. на кавказский фронт, в Грузию. По дороге он известил в Орле опального генерала А. П. Ермолова и имел с ним беседу, содержание которой Ермолов впоследствии отказывался сообщить. Одной из причин путешествия было желание повидаться с Н. Н. Раевским и декабристами, многие из которых служили солдатами в кавказской армии. Генерал Паскевич, командовавший кавказской армией, распорядился, по предписанию из Петербурга, учредить за Пушкиным надзор по пути его следования. Когда Пушкин присоединился к его штабу, надзор за ним он взял на себя. 27 июня 1829 г. Пушкин присутствовал при взятии Арарума. Поездка в действующую армию отразилась в ряде «кавказских» стихотворений («Кавказ», «Монастырь на Казбеке», «Обвал», «Делибаш» и др.). Во время путешествия Пушкин вел записки, которые позднее обработал в виде статьи «Путешествие в Арарум» («Современник», 1836). Помимо военных действий, Пушкин, как и в Бессарабии, очень интересовался нравами, литературой и историей тех народов, в среду которых попал. Так, например, в главе второй помещена в русском переводе грузинская песня. Песня эта представляет собой стихотворение Д. Туманишвили. Собранные материалы он использовал потом в неоконченной поэме «Тазит» и во многих стихотворениях. Характерно двойственное отношение Пушкина к вопросу о покорении Кавказа. Сочувствуя, согласно декабристским традициям, завоеванию Кавказа, он в то же время, как об этом свидетельствует незаконченный набросок пятой строфы стихотворения «Кавказ», сочувствовал и «буйной вольности» кавказских горцев, боровшихся против чужеземного ига.

В сентябре 1829 г. Пушкин вернулся в Москву, а в октябре, тотчас по приезде в Петербург, получил резкий выговор от Бенкендорфа за его самовольное путешествие. А затем последовали новые

знаки царского недовольства. В январе 1830 г. Пушкин просит при- числить его к миссии, посылаемой в Китай, или отпустить во Фран- цию, — снова отказ, мотивируемый тем, что состав миссии уже назначен, а поездка во Францию «запутала бы его дела» и «поме- шала бы его занятиям». Правительство, таким образом, входило даже в частные дела Пушкина. Фактически он лишен был права свобод- ного передвижения, права поездок за границу. Это была всесторон- няя мелочная опека, сопровождавшаяся постоянными выговорами: то за то, что он был на балу во фраке, а не в дворянском мундире (январь 1830 г.), то за то, что уехал в Москву без предупрежде- ния (март 1830 г.). Пушкин в 1830 г. писал с горечью Бенкендорфу: «Несмотря на четыре года смиренного поведения, я все же не мог за- служить доверия правительства! Я вижу с прискорбием, что малей- ший мой шаг возбуждает подозрения и недовольство».

Как раз в это время, весной 1830 г., решался вопрос о женитьбе Пушкина на Наталье Николаевне Гончаровой, семнадцатилетней московской красавице, и согласие родителей невесты обуславлива- лось положением Пушкина относительно правительства. Мать На- тальи Николаевны опасалась выдать дочь за человека политически неблагонадежного. Кроме того вставал вопрос и о материальном обес- печении будущей семьи. Это вынудило Пушкина обратиться к Ни- колаю с просьбой о своей политической реабилитации в глазах роди- телей невесты и о позволении на брак. Николай воспользовался благоприятным случаем, чтобы окончательно подчинить поэта ви- дам правительства. Он выразил через посредство Бенкендорфа свое полное удовлетворение по поводу намерения Пушкина жениться, выдал ему своего рода свидетельство о политической благонадеж- ности, удостоверив, наперекор истине, что он никогда не состоял под наблюдением полиции, но довольно прозрачно намекнул при этом, какие обязательства накладывает на него эта новая «милость». Бенкендорф писал по поручению Николая: «Его величество пола- гать изволит, что вы, конечно, основательно себя проверили, прежде чем решиться на этот шаг, и что вы нашли в себе те качества ума и характера, которые необходимы для того, чтобы составить сча- стье женщины, особенно такой милой и интересной женщины, ка- кова m-elle Гончарова». Вместе с тем, в целях материального обес- печения, дано было, наконец, позволение напечатать «Бориса Го- дунова», который и вышел в начале 1831 г. Таким образом, под контроль правительства поставлены были самые интимные чувства Пушкина.

Сергей Львович, в виду предстоящей женитьбы сына, выделил ему сельцо Кистеневку около Болдина, с двумястами душ крестьян. Пушкин отправился туда для ввода во владение и для залога име- ния. Начавшаяся холера и учрежденные повсюду карантинные за- перли Пушкина в Болдине. Всего он пробыл здесь три месяца (с начала сентября до самого конца ноября). Эти три месяца были временем необычайно интенсивной работы. По собственным его словам, он писал в Болдине, «как давно уже не писал». Здесь были написаны две последние главы «Онегина» (откинутая потом восьмая, заключавшая путешествие Онегина, и первоначальная девятая, потом ставшая восьмой), «Домик в Коломне», четыре «маленькие трагедии» («Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Пир во время

чумы» и «Каменный гость»), «Повести Белкина» и около тридцати стихотворений. Некоторые из этих произведений были начаты раньше, но в Болдине были закончены и подверглись окончательной обработке. Здесь же начата была десятая глава «Онегина» с намекавшейся хроникой декабрьского движения (там же сожженная).

В Болдине Пушкину впервые пришлось выступить в роли помещика и войти в непосредственные отношения с крестьянами. Его деревенские наблюдения отразились в «Повестях Белкина», в начатой тогда же «Истории села Горюхина» и в некоторых стихотворениях («Румяный критик мой»). Впоследствии Пушкин не раз возвращался к быту крепостной деревни (в «Дубровском», 1832—1833, в «Капитанской дочке», 1836).

Болдинская осень осталась памятной в истории русской литературы как период написания важнейших произведений Пушкина, открывавших новые жанры и вносящих в литературу новое содержание. «Повести Белкина» создали форму краткой, стилистически отделанной новеллы; они вводили, кроме того, в литературу маленьких людей, которые изображались здесь сочувственно и реалистически-правдиво (станционный смотритель, гробовщик). «Маленькие трагедии» давали образец эмоционально-подвижного диалога и многостороннего, психологически-правдивого изображения характеров: скупой барон сохраняет рыцарские черты, профессиональный обольститель Дон Гуан загорается истинной страстью и т. д. Наконец, последняя глава «Евгения Онегина» освещала по-новому весь роман благодаря тому, что в главных героях вскрывалось то, что ранее ощущалось только потенциально. Здесь снижается унцижигительная характеристика, которая дана была Онегину в главе седьмой, и выставляется в противовес ей то ценное, что заключается в онегинском отрицании. Вместе с тем вырастает образ Татьяны, обнаруживается его народная основа, глубокая связь его с идеалами народа. В знатной княгине, «законодательнице зал», внезапно открывается «простая дева, с мечтами, сердцем прежних дней», готовая отдать всю светскую «мишуру» за «полку книг, за дикий сад» да за «смирненное кладбище», где лежит ее няня. Не в онегинском страстном письме, а именно в этих лирических воспоминаниях Татьяны, в ее сердечной интонации слышал Кюхельбекер столь знакомый ему с детства пушкинский голос. Он записал в дневнике: «Поэт в своей восьмой главе похож сам на Татьяну. Для лицейского его товарища, для человека, который с ним вырос и его знает наизусть, как я, везде заметно чувство, коим Пушкин преисполнен, хотя он, подобно своей Татьяне, и не хочет, чтоб об этом чувстве знал свет». И далее: «Читал я... последнюю главу Онегина; в ней много чувства; несколько раз слезы навертывались у меня на глазах — нет, тут не одно искусство, тут сердце, тут душа».

Время от Михайловского до Болдина было временем расцвета пушкинской лирики. Особенно богаты лирическими произведениями 1829—1830 гг. Болдинская осень является завершением этого периода лирического расцвета. В 30-х годах лирика отходит на второй план, уступая место другим жанрам — преимущественно прозаическим. Болдинская лирика отличается теми же чертами,

что и лирика предшествующих лет: свободой в выборе тем и их разнообразием, строгостью композиции и динамикой в психологически оправданной смене эмоций, часто контрастных, сочетанием приемов разговорной речи с интимно-задушевной интонацией и с музыкальным движением стиха.

Ряд стихотворений этого периода посвящен темам политическим. Это, с одной стороны, стихотворения, касающиеся проблемы самодержавия («В надежде славы и добра», 1826, «Нет, я не льстец», 1828, «Герой», 1830); с другой — стихотворения, относящиеся к декабристам («Пушину», 1827, «Послание в Сибирь», 1827) и к собственной роли Пушкина как их «певца» («Арион», 1827). Антитеза силы и слабости, господства и подчинения положена в основу стихотворения «Анчар» (1828). В противопоставлении «непобедимого владыки», с его высшими государственными целями, и «бедного раба», погибающего ради их осуществления, намечается уже тема «Медного всадника». Несколько стихотворений («Пророк», 1826, «Поэт», 1827, «Поэт и толпа», 1828, сонет «Поэту», 1830) посвящено вопросу о призвании поэта и о его отношениях к «толпе» (в понятие которой включалось как светское общество, так и журналисты, чиновники и т. д.). Для всех этих стихотворений характерны сжатая речь и строгая музыка стиха; особенно замечателен в этом отношении «Анчар» («Но человека человек...»).

Иной тон отличает стихотворения, посвященные личным темам. В любовных элегиях («Не пой, красавица», 1828, «Для берегов отчизны дальной», 1830, и др.) преобладает напевный стих. Более строгий оттенок принимает тот же напевный стих в элегиях типа размышлений («Когда для смертного умолкнет шумный день», 1828, «Брожу ли я», 1829, «Безумных лет угасшее веселье», 1830); к этой же группе относятся и «Ангел» (1827). Напевность сочетается иногда с сердечными интонациями простой разговорной речи:

Все же мне вас жаль немножко,
Потому что здесь порой
Ходит маленькая ножка,
Вьется локон золотой...

(«Город пышный», 1828.)

Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.

(«Я вас любил», 1829.)

Будь же счастлива, Мерз,
Солнце жизни моей!
Ни тоски, ни потери,
Ни ненастных дней
Пусть не ведает Мерз!

(«Пью за здравие Мерз», 1830.)

По этому особенному лирическому тону, который звучит и у Татьяны в восьмой главе «Евгения Онегина», Кюхельбекер и узнал голос друга-поэта.

Картины русской зимы и зимней дороги («Зимняя дорога», 1826, «Зимнее утро», 1829, «Зима. Что делать нам в деревне?..»,

1829, «Бесы», 1830), дорожные размышления («Дорожные жалобы», 1829), народные поверья и народные песни (русская баллада «Утопленник», 1828, песни ямщика в «Зимней дороге» и пр.), скульптурные гекзаметры 1830 г., сонеты и испанские романсы — все это дополняет разнообразный и по содержанию и в жанровом отношении материал, который охватывает пушкинская лирика 1826—1830 гг.

В 1829 г. издано было в двух частях новое собрание стихотворений Пушкина, в которое, наряду с напечатанными ранее, вошли и некоторые новые стихотворения. В 1826—1828 гг. появились в свет произведения михайловского периода, читателям еще не известные: «Цыганы» (1827), «Граф Нулин» (1827), II—VI главы «Евгения Онегина». Но они не встретили того единодушного восхищения, какое вызывали ранние поэмы Пушкина. На это были особые причины. Пушкинский смелый реализм был многим непонятен. Кроме того почти одновременное появление в печати столь разных вещей, как, например, «Цыганы» (1827) и «Граф Нулин» (1827), немало способствовало путанице в суждениях о Пушкине. По поводу вышедших в 1828 г. двух глав «Евгения Онегина» (IV и V), обнаруживших резкий поворот к реализму, Баратынский писал Пушкину: «Вышли у нас еще две песни Онегина; но большее число его не понимают. Ищут романтической завязки... и, разумеется, не находят. Высокая простота создания кажется им бедностью мысли; они не замечают, что старая и новая Россия, жизнь во всех ее изменениях, проходит перед их глазами...»

Энтузиазм по отношению к Пушкину с 1828—1829 гг. сменяется скептицизмом. Этим воспользовались журналисты. В 1829 г. в «Вестнике Европы» появляются уничтожающие статьи Н. И. Надеждина о «Графе Нулине» и «Полтаве». С точки зрения «высокого» искусства якобы в шеллинговском, а в сущности в самом вульгарном классическом смысле, Надеждин обличал ничтожество предметов пушкинской поэзии. Он возмущался низменностью картины «грязного двора» в «Графе Нулине» и снижением важной темы в «Полтаве». Пушкина он объявлял «великим человеком на малые дела», «гением только на карикатуры». Неуклюжие статьи Надеждина, написанные с потугами на остроумие и с претензией на философское глубокоемыслие, крайне раздражили Пушкина и вызвали с его стороны ряд едких эпиграмм. В 1830 г., когда стала выходить «Литературная Газета», в которой принимал ближайшее участие Пушкин, против Пушкина выступил Булгарин. Булгарин в своих нападениях руководствовался исключительно личными мотивами: он был оскорблен устными отзывами Пушкина о его романе «Дмитрий Самозванец» и боялся конкуренции «Литературной Газеты» (она выходила раз в пять дней, а его «Северная Пчела» два раза в неделю). Взяв напрокат надеждинские суждения (ничтожество предметов, низменность картин и пр.), он приправил все это, по своему обычаю, доносительскими намеками и повторил в своей «Северной Пчеле», в статье о седьмой главе «Онегина». Здесь он торжественно провозгласил «полное падение» Пушкина. К бенкендорфовскому литературному агенту Булгарину вскоре примкнул и Полевой, напавший на Пушкина с точки зрения абстрактного либерализма.

Руководители «Литературной Газеты» — Пушкин, барон Дельвиг и князь Вяземский — причислены были их противниками к «аристократической» партии, причем Булгарин не упускал случая отмечать противоправительственное направление этой партии. Пушкин отвечал на булгаринские выходки «Моей родословной» (1830). «Литературная Газета» объединяла в то время все лучшие литературные силы. Своей задачей она ставила борьбу за поднятие художественной культуры, за независимость мнений, беспристрастие литературных оценок и освобождение литературы от торгашеских журнальных расчетов. Легковесному и непрочному либерализму Полевого и полицейскому булгаринскому «демократизму» «Литературная Газета» противопоставляла принцип прогресса на основе широкого просвещения и трезвого учета условий русской действительности. Характерно, впрочем, что Пушкин, не щадя Булгарина и преследуя его эпиграммами, проявлял сдержанность в отношении Полевого, несмотря на резкие выходки, которые тот позволял себе по его адресу. Так, по поводу пушкинского послания «К вельможе» (1830) Полевой поместил в прибавлении к «Московскому Телеграфу» («Новый Живописец», 1830, № 10) пасквиль, где изобразил Пушкина в виде лстивого стихотворца, набивающегося на обед к вельможе. Пушкин набросал несколько заметок в ответ на пасквиль, но ни одной из них не напечатал. Заметки эти написаны в очень умеренном тоне. В таком же умеренном тоне написаны и статьи об «Истории русского народа» Полевого в «Литературной Газете» (1830).

В июле 1831 г., вскоре после смерти Дельвига, * «Литературная Газета» прекратила свое существование. Пушкин два раза еще выступал против Булгарина, под шутливым псевдонимом «Феофилакты Косичкина», в «Телескопе» (1831).

6

Свадьба Пушкина состоялась 18 февраля 1831 г. в Москве. Вскоре после свадьбы он с молодой женой переехал в Царское Село, где и пробыл до октября. Здесь же проводила лето и царская фамилия, вместе с Жуковским. Первый год семейной жизни был временем некоторого успокоения для Пушкина. Всем невгодам он противопоставлял бодрый «шекспировский» оптимизм. В то лето с новой силой возобновилась холера, унесшая много жертв. По поводу недавней смерти Дельвига и холерных жертв Пушкин писал Плетневу: «Дельвиг умер, погоди, погоди, умрет и Жуковский, умрем и мы. Но жизнь все еще богата. Мы встретим еще новых знакомцев, новые созреют нам друзья... Мы будем старые хрычи, жены наши старые хрычовки, а детки будут славные, молодые, веселые ребята». Этот оптимистический взгляд выразился и в написанной в 1831 г. «Сказке о царе Салтане».

В Царском Селе произошло личное сближение Пушкина с царской фамилией, которая выказывала особенную любезность к На-

* Дельвиг умер в феврале 1831 г.

талье Николаевне. По предложению Николая, Пушкин вновь поступил на службу. Согласно его желанию ему открыт был доступ в государственные архивы для исторических занятий. Им намечались две актуальные для того времени темы — история Пугачева (которой он занят был в 1833—1834 гг.) и история Петра Великого (к которой он приступил в 1835 г.). Эти исторические работы и были его службой, за которую ему было назначено пять тысяч рублей жалования в год. * В письме к Плетневу Пушкин отзывается с благодушной иронией о царской любезности по отношению к нему, причины которой, повидимому, были ему понятны. Он пишет о царе: «Это очень мило с его стороны, не правда ли? Он сказал: он женат, богатства не имеет, стало быть, надо дать ему пропитание (*faire aller sa marmite*). Ей-богу, он со мной очень мил». В то же время Пушкин хлопотал о позволении издавать политический и литературный журнал, по поводу которого писал Бенкендорфу: «Около него я соединил бы писателей с дарованиями и, таким образом, приблизил бы к правительству людей полезных, которые все еще дичатся, напрасно полагая его неприязненным просвещению». Внутрь правительству, что оно является другом «просвещения» (т. е. прогрессивной мысли), было обычным тактическим приемом Пушкина. Журнал, однако, разрешен не был. Между Пушкиным и царем все время шла скрытая борьба: царь думал использовать Пушкина в своих целях, а Пушкин стремился использовать царя. Несмотря на ряд последующих разочарований, Пушкин не менял своего взгляда на роль правительства в русских условиях, который сложился у него с самого начала 30-х годов. В 1836 г., после всего тяжелого опыта своих отношений с правительством, Пушкин все же признавал, что оно «единственный европеец в России» и что, «как оно ни грубо (*brutal*), от него одного зависело бы быть в сотню раз грубее», так как «никто не обратил бы на это ни малейшего внимания» (письмо Чаадаеву). Все свое негодование Пушкин обращал против русских господствующих классов. Он называет современное ему общество «презренным» и «невежественным». «Отсутствие общественного мнения», «равнодушие ко всему, что есть долг, справедливость, право, истина», «циническое пренебрежение к мысли и человеческому достоинству» — вот черты, которыми он характеризует состояние господствующих классов в николаевскую эпоху (то же письмо Чаадаеву). В минуты досады у него вырывались фразы вроде: «Чорт догадал меня родиться в России с умом и талантом!» (1836).

В августе 1831 г. подавлено было, после долгого сопротивления, польское восстание, начавшееся в ноябре 1830 г. Восстание это преследовало не только национально-освободительные, но и завоевательные цели. Польские шовинисты требовали восстановления великой Польши «от моря до моря», т. е. отторжения от России частей Белоруссии, Украины и Литвы. За Польшей стояла Франция, готовившая коалицию европейских держав против России. Призывы к войне против России раздавались с трибуны

* Впрочем, уплаты этого жалования Пушкину удалось добиться только через год.

французской палаты депутатов и наполняли страницы французских газет. Положение представлялось Пушкину столь же грозным, как в 1812 г. Его тревожное настроение отразилось в стихотворении «Перед гробницею свято». Он считал, что дело идет, как и в 1812 г., о «спасении» России: «Встань и спасай царя и нас» (обращение к Кутузову). Этим объясняется и воинственный тон стихотворений «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина», написанных осенью 1831 г. и вышедших, вместе со стихами Жуковского, отдельной брошюрой. Торжествуя победу над поляками и угрожая европейским «клеветникам» «стальной щетиною» русских штыков, Пушкин следовал патриотическим традициям декабристов, которые стояли твердо на почве защиты русских государственных интересов. Однако времена были уже не те. В полонофильских кругах пушкинские патриотические стихи вызвали неудовольствие. Вяземский, в прежнее время долго служивший в Варшаве, назвал стихи Пушкина «шинельными» (т. е. поздравительными, в том роде, как сочиняли наемные стихотворцы, ходившие по домам в шинелях). Дурное впечатление произвели они и в некоторой части передовой публики, особенно среди молодежи, воспринимавшей их как «верноподданнические».

После женитьбы Пушкину пришлось бывать в большом свете. Между тем материальные его обстоятельства были не в блестящем состоянии. Деньги, полученные по залогоу Кистеневки, ушли на приданое Натальи Николаевны и на первоначальное обзаведение. Пяти тысяч жалованья и литературных доходов не хватало при том образе жизни, какой Пушкин должен был вести в Петербурге, начиная с зимы 1831—1832 г. Житейские заботы и светская жизнь утомляли Пушкина. Его снова тянуло к странствиям. В феврале 1833 г., в конце второй петербургской зимы, он писал Нащокину: «Жизнь моя в Петербурге ни то ни се. Заботы о жизни мешают мне скучать. Но нет у меня досуга, вольной холостой жизни, необходимой для писателя. Кружусь в свете, жена моя в большой моде — все это требует денег, деньги достаются мне через труды, а труды требуют уединения. Путешествие нужно мне морально и физическое».

Осенью того же года Пушкин привел свое намерение в исполнение. Для окончательной обработки «Истории Пугачева», которая черне была готова, ему нужно было объездить те места, где происходило восстание. Он побывал в Нижнем, в Казани, в Симбирске, в Оренбурге, в Уральске, а на обратном пути заехал в Болдино, где пробыл около шести недель (с 1 октября до середины ноября). Здесь им отредактирована «История Пугачева». Кроме того он закончил здесь «Медного всадника», «Анджело», «Сказку о рыбаке и рыбке» и «Сказку о мертвой царевне». Вся поездка заняла три месяца (с 18 августа по 20 ноября). Характерно, что по всему пути вдогонку за Пушкиным шли распоряжения о секретном надзоре. Петербургский обер-полицеймейстер поручал следить за ним нижегородскому военному губернатору, тот передавал распоряжение дальше — казанскому губернатору и оренбургскому военному губернатору. Впрочем, все эти распоряжения не поспевали вовремя и приходили уже после отъезда Пушкина. Полицейский надзор за Пушкиным, установленный в 1828 г., с тех пор так и не был снят. Административные власти, знавшие новое положение Пушкина,

недоумевали. Так, в апреле 1833 г. петербургский военный генерал-губернатор запрашивал московского генерал-губернатора, «по какому случаю признано нужным иметь господина Пушкина под надзором полиции». Московский генерал-губернатор отвечал, что сведений об этом у него не имеется.

К новому 1834 г. Пушкин неожиданно для себя назначен был камер-юнкером. По рассказу Нащокина, друзья должны были обливать холодной водой новоиспеченного камер-юнкера, — до того он был взбешен пожалованным ему придворным званием. Причины бешенства понятны: камер-юнкерский мундир превращал его в глазах публики в придворного поэта, служил как бы подтверждением злостных сплетен, давно уже распространявшихся Булгариным и Полевым, о том, что он якобы изменил своим убеждениям, пустился в высший свет, заискивает перед царем и т. д.

К этому присоединялись еще разговоры о «падении» таланта Пушкина. Надеждин и Полевой первые пустили в ход мысль о том, что значение поэзии Пушкина лишь временное, что в ней нет достаточного общественного и умственного содержания, что развитие Пушкина закончилось, и больше от него ничего ждать нельзя. Эту мысль усвоило молодое поколение, только что вступавшее на арену истории. Это были люди 1810—1814 гг. рождения, образовавшие новую интеллигенцию, уже не исключительно дворянскую, но со значительной примесью буржуазного и разночинного элемента. Представитель этого поколения, Белинский, вслед за Полевым и Надеждиным, говорил в своих первых статьях (1834) о «закате» Пушкина. Он не признавал значения пушкинской прозы (например, «Повестей Белкина») и отрицал пушкинские сказки как ложный род поэзии. Среди этого поколения прочно утвердилось легенда о «камер-юнкерстве» Пушкина. Много после, в 1847 г., Белинский, не знавший еще закулисной стороны дела, писал об этом Гоголю: «Разительный пример Пушкин, которому стоило написать только два-три верноподданныческих стихотворения и надеть камер-юнкерскую ливрею, чтобы вдруг лишиться народной любви».

Ложные суждения о «закате» Пушкина зависели отчасти от того, что публике известны были только его печатные произведения, которые не давали полной картины его творчества. В рукописи оставались «Медный всадник», «Дубровский», «Каменный гость», из лирики — такие стихотворения, как «Вновь я посетил», «Из Пиндемонти», «Памятник», «19 октября 1836 г.», «Пора, мой друг, пора» и т. д.

В печати с 1831 г. появились: «Моцарт и Сальери» (1832), «Сказка о царе Салтане» (1832), «Домик в Коломне» (1833), «Анджело» (1834), «Пиковая дама» (1834), «Сказка о рыбаке и рыбке» (1834), «Сказка о мертвой царевне» (1834), «История Пугачевского бунта» (1835), «Сказка о золотом петушке» (1835), «Капитанская дочка» (1836) и «Скупой рыцарь» (1836). В 1832 г. вышла VIII глава «Евгения Онегина», в следующем 1833 г. издан был полностью весь роман. В 1832 и 1835 гг. появились III и IV части собрания стихотворений Пушкина. Из лирики в 1831—1836 гг. напечатаны были «Песни западных славян» (1833) и всего девятнадцать новых стихотворений, — среди них два переводных из Мицкевича («Воевода» и «Будры») и несколько таких, которые передовой молодежи пред-

ставлялись «верноподданныческими» («Перед гробницею святою», «Клеветникам России», «Бородинская годовщина», «Пир Петра Первого»). Впечатление о Пушкине составлялось одностороннее. При этом на Пушкина смотрели преимущественно как на лирика. Поэтому его проза и особенно «История Пугачева» (вышедшая под измененным царем заглавием «История Пугачевского бунта») в глазах большинства служили свидетельством угасания его творческих сил.

В действительности обращение Пушкина к прозе вызывалось потребностями времени, которые он угадывал своим чутьем художника. Пушкинская проза служила тем же реалистическим целям, что и его поэзия. Здесь ставились широкие общественные задачи, изображались социальные отношения, давалась картина быта разных слоев общества. «Пиковая дама» (1834) продолжает линию «Повестей Белкина». Это такая же новелла, построенная на анекдоте, как и большинство «Повестей Белкина», но распространяемого объема и с более глубоким содержанием. Центральный образ Германа имеет огромное обобщающее значение. Романтика и наполеоновская «непреклонность желаний» сочетаются в нем с ограниченностью буржуазно-мещанских стремлений, что и делает его «колоссальным лицом», по выражению Достоевского, «типом из петербургского периода», т. е. периода быстрой капитализации. Жажда наживы — основной стимул его действий. Язык «Пиковой дамы» — образец сжатой, выразительной и обладающей, вместе с тем, своим особым внутренним ритмом прозаической речи. Неоконченный «Дубровский» (1832—1833) и «Капитанская дочка» (1836) относятся уже к жанру романа. Они дают развернутое действие с обилием приключений, резко меняющих судьбу героев. Здесь выводятся представители различных классов, получающие яркую социальную характеристику (крестьяне, чиновники, мелкие офицеры, вельможа Троекуров, бедный помещик Дубровский и т. д.). И там и тут — тема острого социального конфликта. Дубровский является романтическим разбойником, вроде Карла Моора, выступающим в союзе с крестьянами, на вооруженную борьбу против социальной несправедливости. «Капитанская дочка» — роман исторический. В основу его положены материалы по истории пугачевского восстания. Как и в «Истории Пугачева», Пугачев является здесь с чертами ума и великодушия. В ряде эпизодов обрисованы отношения дворянской власти к солдатам, крестьянам и местному населению. Эти эпизоды, вводимые исподволь, не бросающиеся в глаза и носящие чисто бытовой, совершенно реалистический характер, постепенно складываются в общую картину произвола и бесправия и явственно указывают на общие причины, породившие восстание (таковы суд капитанши, сцена пытки башкира и т. д.). Пушкинская реабилитация Пугачева — как в «Истории Пугачева», так и в «Капитанской дочке» — резко контрастировала с официальной историографией, изображавшей Пугачева «извергом» и «злодеем». Так же, например, «политические и нравственные размышления» о Пугачеве В. Броневского в «Истории Донского войска», над которыми иронизировал Пушкин («Об истории Пугачевского бунта», «Современник», 1836, кн. 3).

Стихотворная форма сохраняет, однако, свое первенствующее значение в творчестве Пушкина. В эти годы им создана поэма «Мед-

ный всадник» (1833) — самая короткая из его поэм, но, вместе с тем, самая глубокая по содержанию и самая совершенная по исполнению. Сложные композиционные и стилистические задачи получают здесь простое и гармоническое разрешение в полном соответствии с идейным замыслом. Тема «Медного всадника» — противоречие между общим и частным, высшими историческими целями и участью отдельного человека. Вся композиция поэмы определяется антитезой «мощного властелина судьбы» Петра, представленного в сверхличном плане, и «бедного» Евгения, живущего исключительно в сфере забот о личном маленьком счастье. С этим связаны контрасты в изображении Петербурга. Во вступлении он является в парадном облике мощи, богатства и силы; главная его черта здесь «стройность»: «Громады стройные теснятся», «Люблю твой строгий, стройный вид», «В их стройно-зыблемом строю». Наводнение обнажает изнанку Петербурга: «Обломки хижин, бревны, кровли... Пожитки бледной нищеты... Гроба с размытого кладбища...» Тот же контраст и в стиле поэмы, в котором, то сливаясь, то обособляясь, проходят два течения: прозаический сниженный рассказ, восходящий к жанру стихотворной повести (в части, относящейся к Евгению), и лирический пафос, близкий к тону «Полтавы» (в части, относящейся к памятнику Петра). В «Медном всаднике» впервые поставлена со всей остротой проблема маленького человека, которая стала одной из центральных в литературе 40-х годов. Пушкин сознательно выбрал единственным героем своей поэмы бедного чиновника и, предвидя негодование критиков, заранее иронизировал над их возражениями в одном из набросков:

Допросом музу беспокоя,
С усмешкой скажет критик мой:
«Куда завидного героя
Избрали вы! Кто ваш герой!»
— А что? Коллежский регистратор...
Его пою — зачем же нет?

Сказки Пушкина, не оцененные его современниками, были яркой иллюстрацией того, чем должна быть народность в литературе. Пушкин свободно черпал сказочные мотивы из самых разнообразных источников, русских и иностранных. Но, — будь то сказка Гриммов во французском переводе, арабская повесть Ирвинга или подлинная русская сказка, записанная со слов Арины Родионовны, — все в обработке Пушкина получало русский, народно-крестьянский характер. Это касается не только языка и приемов повествования, но и самого взгляда на вещи, выражаемого в пушкинских сказках. Народность сказок Пушкина не подражательная, не копирующая, а творческая и самостоятельная. В той же мере, как и его лирика и его лирические поэмы, они носят на себе отпечаток его личности, взглядов и настроений.

Субъективно-лирическая окраска является существенной особенностью пушкинских сказок. Царскоесельские сказки 1831 г. написаны в шутивно-ироническом тоне и проникнуты оптимизмом. Иное настроение господствует в болдинских сказках 1833 г., имеющих мрачный колорит. Последняя сказка — «Сказка о золотом петушке» (1834) — написана в плане гротеска, который благодаря эпизоду с сыновьями и катастрофической развязке (отсутствующими

в повести Ирвинга, послужившей Пушкину оригиналом) приобретает трагический оттенок.

Этот лиризм окрашивает и самый стих пушкинских сказок. Три из них написаны одним и тем же четырехстопным хореем, который каждый раз звучит иначе, в зависимости от общего лирического тона данной сказки. В «Сказке о царе Салтане» ритм хорей подчеркнут параллелизмами и повторяющимися на определенных этапах словесными формулами:

В синем небе звезды блещут,
В синем море волны хлещут...

Ветер весело шумит,
Судно весело бежит...

Стих замедляется в сцене объяснения Гвидона с царевной Лебедью и принимает мягкий, лирический оттенок:

Лебедь белая молчит
И, подумав, говорит:
Да, такая есть девица...

Тот же хорей звучит элегически в «Сказке о мертвой царевне» благодаря enjambement и особому звуковому подбору:

И с царевной на крыльцо
Пес бежит и ей в лицо
Жалко смотрит, грозно воет,
Словно сердце песью ноет,
Словно хочет ей сказать:
Брось! Она его ласкать...

Перед ним, во мгле печальной,
Гроб качается хрустальный,
И в хрустальном гробе том
Спят царевна вечным сном...

И совершенно своеобразный характер получает хорей в «Сказке о золотом петушке». Он здесь драматизируется и снижается до разговорного «просторечья». Вот, например, как выражается наивное недоумение Дадона:

Или бес в тебя ввернулся,
Или ты с ума рехнулся.
Что ты в голову забрал?
Я, конечно, обещал,
Но всему же есть граница.
И зачем тебе девица?

То же мы видим и в двух сказках, написанных вольным стихом. Чередование коротких и длинных строчек в «Сказке о попе» напоминает свободный размер народных раешников и соответствует ее юмористическому содержанию. Размер «Сказки о рыбаке и рыбке» — монотонный, заунывный, близкий к размеру «Песен западных славян».

В 30-х годах много говорилось о народности, причем обычно никак не определялось содержание этого понятия. Для большинства принцип народности обозначал идеализацию всех без различия верований и бытовых свойств крестьянства, мещанства и купечества в их настоящем состоянии, которое предполагалось

неизменным и постоянным. С этой точки зрения Н. И. Надеждин произнес, например, в статье «Европеизм и народность» целый панегирик «русскому кулаку» («Телескоп», 1836). При этом в официальном истолковании «народность» соединялась с «самодержавием» и «справославием» как с незыблемыми основами русской жизни. Только немногие (в том числе группа Белинского) отделили временное и преходящее в быту и сознании народа от того, что составляло его подлинную сущность. Та же неясность была и в рассуждениях о народности в литературе. Для большинства «народность» заключалась в простом подражании фольклору или в изображении быта низших классов, и лишь немногие, подобно Белинскому, определяли ее более широко: как выражение прогрессивных стремлений народа в целом, как художественное воплощение положительных сторон его культуры — его «высшей жизни» или «идеи». «Простонародность» темы и языка становилась, таким образом, частным, но отнюдь не обязательным, признаком «народности» произведения. Именно такова была и «простонародность» сказок Пушкина, имевшая подчиненное значение. Фольклорные приемы служили Пушкину только художественным средством для выражения его личных чувств и мыслей. Сказки Пушкина были не только «простонародны», но и «народны» в более общем смысле — в том самом, в каком народными являются его «Евгений Онегин» и «Борис Годунов». В противоположность реакционной «народности», народность пушкинских сказок имела оппозиционный характер; эта оппозиционность проявлялась в их сатирическом направлении и в заключающихся в них лукавых политических «намексах».

Элементы фольклора Пушкин переносил и в чуждые фольклору жанры — в драму и в поэму. К 1832 г. относится неоконченная народная драма «Русалка», в основу которой положено оперное либретто «Днепровской русалки», переделанное из немецкого либретто. Композиционные приемы сказки применены в поэме о Тазите (1833), также неоконченной. Типичны в этом отношении три поездки Тазита, дающие, как и в сказках, нарастающий эффект («тифлисский армянин с товаром» — «бежавший раб» — «убийца брата»). Исползованы при этом и сведения о кавказских народах, собранные Пушкиным во время путешествия в Арзрум. Так, в сцене похорон старшего брата Тазита воспроизведен подлинный похоронный обряд, описанный и в первой главе «Путешествия в Арзрум». Идея народности в обобщенном политическом аспекте выражена и в неоконченных «Сценах из рыцарских времен» (1835). Тема задуманной драмы — крушение европейского феодализма под напором буржуазии и крестьянства. Крестьянское восстание, руководимое бунтарем-горожанином, является здесь одним из центральных моментов.

Все пушкинское творчество 30-х годов является развитием тех художественных принципов, которые определились вполне в «Евгении Онегине» — особенно в последних его главах. Для Пушкина не было никаких ограничений в выборе предметов поэзии. Вся действительность, вплоть до мелочей повседневной жизни, свободно входила в его поэтический мир, освещаемая мыслью. Сочетание этих реалистических мелочей с огромной силой мысли и составляло специфику пушкинского реализма — не пассивно воспроизводящего, не копирующего, а творчески-сознательного,

типизирующего и обобщающего. Поразительная энергия мысли сказалась в том мужестве, с каким Пушкин переносил «смех толпы холодной» и невежественные окрики «глушцов»:

Глупец кричит: Куда? куда?
Дорога здесь. Но ты не слышишь...

Поэт идет; открыты вежды...

Мотив одинокого поэта-художника в 30-х годах является у Пушкина в ином контексте, чем раньше, и получает новый смысл. Тут речь идет не о праве на «звуки сладкие», ради которых поэт уходит в уединение по собственной воле, а об одиночестве человека, зашедшего слишком далеко вперед, работающего для будущих поколений и потому «не понимаемого никем». Таков образ поэта, представляющийся с различными вариациями в стихотворениях «Эхо» (1831) и «С Гомером долго ты беседовал один» (1832), в черновике «Родословной моего героя» (1833) и в наброске «Поэт идет» (1835). Участь поэта в этом отношении та же, что и участь всякого крупного деятеля, видящего дальше, чем его современники. Это высказано в стихотворении «Полководец» (1835): «О люди, жалкий род...» Цепь размышлений о судьбе поэта и о его подвиге, совершаемом во имя «грядущего поколения», замыкается стихотворением «Памятник» (1836).

В 30-х годах Пушкин — поэт мысли по преимуществу. Форма размышлений становится в это время господствующей в его лирике. В большинстве случаев эти стихотворения имеют определенный биографический смысл, написаны по определенному поводу («19 октября 1831 г.», «Пора, мой друг, пора», 1834, «19 октября 1836 г.»). При этом иногда они принимают характер как бы фрагментов интимного дневника. Таковы в особенности стихотворения «Вновь я посетил» (1835) и «Когда за городом задумчив я брожу» (1836). Сюда же относятся отчасти «Осень» (1833), «Отцы-пустынники» (1836) и др. Непосредственность чувства и необыкновенная простота языка составляют отличительную черту этого рода стихотворений. Скрытый автобиографический смысл угадывается и в стихотворениях с внешней тематикой, на первый взгляд, в том числе и переводных: «Странник» (из Беньяна, 1834), «Туча» (1835), «Из А. Шенье» (1835), «Подражание итальянскому» (из Джанни, 1836). Личный элемент проявляется здесь в особом подборе пессимистических мотивов (бегство, одиночество, гибель героя, предательство и т. д.).

7

Наступал кризис в отношениях Пушкина с двором. Алексей Вульф, приезжавший в Петербург в феврале 1834 г., сообщает, что застал поэта «сильно негодующим на царя за то, что он одел его в мундир, его, написавшего теперь повествование о бунте Пугачева и несколько новых русских сказок». «Он говорит, — прибавляет Вульф, — что он возвращается к оппозиции, но это едва ли не слишком поздно; к тому же, ее у нас нет, разве только среди молодежи». Пушкин неохотно и небрежно выполнял свои камер-юнкер-

ские обязанности. К выговорам Бенкендорфа присоединились теперь «головомытья» начальника по придворной службе графа Литта. С самого начала 1834 г. Пушкин принял твердое решение при первом удобном случае выйти в отставку и уехать в деревню. В связи с этим в марте 1834 г. он взял на себя управление Болдиным, которое Сергей Львович довел до разорения и собирался продать.

В апреле 1834 г. Пушкин сознательно уклонился от участия в торжествах по случаю совершеннолетия наследника (будущего Александра II), сказавшись больным. Об этом он написал жене, прибавив несколько горьких слов насчет царя, который «упек» его в «камер-пажи» под старость лет. Письмо это было вскрыто на почте и доставлено Николаю. Вмешался Жуковский и уладил все дело. Николай успокоился, но Пушкин не успокоился. Он был взбешен. В дневнике его записано 10 мая 1834 г.: «Государю не угодно было, что о своем камер-юнкерстве отзывался я не с умилением и благодарностью — но я могу быть подданным, даже рабом, но холопом и шутком не буду и у царя небесного. Однако, какая глупость безнравственность в привычках нашего правительства! Полница распечатывает письма мужа к жене и приносит их читать к царю (человеку благовоспитанному и честному), и царь не стыдится в том признаться — и давать ход интриге, достойной Видока и Булгарина! Что ни говори, мудроно быть самодержавным». Эта история побудила Пушкина не откладывать дальше своего намерения. 25 июня 1834 г., втайне от всех, не предупредив ни Жуковского, ни жену, он послал Бенкендорфу прошение об отставке. Это вызвало неслыханный скандал. Николай отлично понял смысл пушкинского поступка: при данных обстоятельствах это было заявление протеста. Положение получилось довольно сложное. Если Пушкин недоволен был, что его «упекли» в «камер-пажи», то легко можно было «упечь» его в ссылку или, по меньшей мере, уволить от службы. Однако это было бы гласной опалой, и тогда громкое имя Пушкина стало бы точкой притяжения для всех оппозиционных элементов общества, уничтожен был бы барьер, который отделил Пушкина от поколения Белинских. Этого нельзя было допустить. Николай избрал другой путь: он употребил в дело все того же доброго и наивного Жуковского. Самодержцу русской империи вторично пришлось вступить в переговоры с поэтом; посредничество было поручено Жуковскому. Жуковский обвинял Пушкина в неблагодарности, сравнивал с «щетиным животным, которое своим хрюканьем оскорбляет слух всякого благовоспитанного человека», и, в конце концов, принудил его взять назад свою просьбу об отставке. Мало того: Жуковский добивался с его стороны горячего выражения раскаяния. Но Пушкин не поддавался. Жуковский писал, что письма его (обращенные к царю через Бенкендорфа) «сухи». А Пушкин только отшучивался: «Да зачем же быть им сопливыми?» После длинной переписки Бенкендорф доложил Николаю: «Пред нами мерило человека. Лучше, чтобы он был в службе, нежели предоставлен самому себе». Николай написал на докладе Бенкендорфа: «Я ему прощаю, но позовите его, чтобы еще раз объяснить ему всю бессмысленность его поведения и чем все это может кончиться. То, что может быть простительно двадцатилетнему безумцу, не может применяться к человеку три-

дцати пяти лет, мужу и отцу семейства». Таким образом, вопрос ставился всерьез: Николай прямо напоминал Пушкину о ссылке 1820 г.

Материальные дела Пушкина после неудачной попытки «удраться на чистый воздух» все более запутывались. Родные обрадовались, что он взял в свои руки имение, и «наесли» на него: он должен был выдавать деньги родителям, оплачивать несчетные долги Льва Сергеевича, удовлетворять денежные нужды Ольги Сергеевны и ее мужа, Н. И. Павлицева. К тому же Пушкин оказался не лучшим хозяином, чем его отец. В июле 1835 г. он сложил с себя управление Болдыным и отказался от своих кистеневских доходов в пользу сестры. Для организации своего литературного заработка нужно было на несколько лет удалиться в деревню. В июне 1835 г. Пушкин обратился к Бенкендорфу с просьбой об отпуске на три-четыре года, ссылаясь на необходимость «поправления» своих обстоятельств. Однако, как верно догадался Николай, это было не что иное, как замаскированная вторичная просьба об отставке. Николай нашел выход: в виду того, что Пушкин выставлял мотивом денежную нужду, ему выдано было заимообразно тридцать тысяч рублей. Это была кабала, но Пушкин надеялся на себя и уверен был, что в короткий срок сможет расплатиться с самодержавным кредитором.

С 1836 г. он стал издавать журнал «Современник», в котором хотел объединить своих литературных единомышленников. Пушкин с огромной энергией принялся за интересовавшее его дело издателя-журналиста, рассчитывая, вместе с тем, обеспечить себе независимое существование. Ольга Сергеевна писала своему мужу в январе 1836 г.: «Он издает на-днях журнал, который ему приносить будет не меньше, он надеется, 60 000! Хорошо и завидно». Сам Пушкин писал жене в мае 1836 г.: «Вижу, что непременно нужно иметь мне 80 000 доходу. И буду их иметь. Не даром же пустился в журнальную спекуляцию — а ведь это все равно, что золотарство; очищать русскую литературу есть чистить нужники и зависеть от полиции».

«Современник», однако, не имел успеха. Он продолжал линию «Литературной Газеты» и преследовал преимущественно художественные цели. Между тем среди прогрессивной части читателей — главным образом, среди передовой молодежи — преобладали в это время общественно-философские интересы. Вместе с тем «Современник» не давал того легкого и разнообразного литературного материала, который обеспечивал успех «Библиотеки для Чтения» среди массы провинциальных помещиков; для среднего читателя «Современник» был слишком серьезен. Журналами «Современник» встречен был холодно, если не прямо враждебно. Его приняла дурно и московская группа Шевырева, издававшая с 1835 г. журнал «Московский Наблюдатель». Пушкин писал из Москвы Наталье Николаевне в мае 1836 г.: «С литературою московскою кокетничая, как умею; но Наблюдатели меня не жаждут».

Пушкин искал опоры в новом поколении, которого еще не знал, но к которому с интересом приглядывался. Среди этого «незнакомаго» ему «младого племени» он сразу отличил Белинского, первая статья которого, «Литературные мечтания», появившаяся в 1834 г., была им, несомненно, замечена. Основной тезис молодого критика,

заявлявшего с жаром, что у нас нет еще литературы как выражения общей жизни народа, послужил, может быть, отправной точкой для пушкинской статьи «О ничтожестве литературы русской», набросок которой датируется 1834 г. Пушкин сумел стать выше личного самолюбия, которое могло быть затронуто отрицательными суждениями Белинского о его повестях и сказках. В 1836 г. «тихонько от Наблюдателей», с которыми Белинский был во вражде, он хотел завязать с ним сношения. Уезжая из Москвы, он оставил у Нащокина экземпляр «Современника» для Белинского и передал свое сожаление, что «с ним не успел увидеться» (Белинского, по видимому, тогда в Москве не было). В «письме к издателю», напечатанном в «Современнике» от имени некоего «А. Б.» (1836, кн. 3), Пушкин сочувственно высказывался о критическом «таланте» Белинского, о «независимости» его «мнений», рекомендуя ему, однако, «более учености, более уважения к преданию, более осмотрительности» — словом, «более зрелости». В той же книге «Современника» он защищал молодое поколение от М. Е. Лобанова, старого классика, который произнес в Академии Наук целую филиппику против «вредного духа новейшей словесности» («Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности»). * В конце 1836 г., после закрытия «Телескопа», где работал Белинский, Пушкин собирался пригласить его в свой журнал. Смерть помешала ему исполнить свое намерение.

Порывы бодрости и энергии сменялись припадками хандры, которые становились все чаще с конца 1835 г. Лирика Пушкина окрашивалась трагической скорбью. Подводя итоги своей деятельности в «Памятнике», Пушкин как бы прощался с жизнью. В сентябре 1835 г., под влиянием хандры, он внезапно уехал в Михайловское без всякой видимой причины — только чтобы успокоиться и повидаться со своими тригорскими друзьями. Последний раз он побывал в Михайловском в апреле 1836 г., когда ездил хоронить свою мать, Надежду Осиповну.

Придворный мундир и материальная зависимость от императора поставили Пушкина в положение политической изоляции и отдали во власть высшего света, с которым он был во враждебных отношениях. Светские успехи Натальи Николаевны возбуждали в свете влюбную зависть. Еще в октябре 1835 г., во время болезни матери, Пушкин писал П. А. Осиповой: «В этих печальных обстоятельствах я имею еще горе — видеть мою бедную Наташу предметом ненависти света». Эта ненависть вскоре породила клевету и сплетню. Жену Пушкина, мать четверых детей, изображали женщиной свободных нравов. С осени 1836 г. возникли сплетни о связи Натальи Николаевны с Дантесом, молодым кавалергардским офицером, французом-эмигрантом, приемным сыном голландского посланника барона Геккерена. 4 ноября 1836 г. утром Пушкин получил гнусный пасквиль в виде диплома на звание «рогоносца». Подобные же пасквили, с извещением об избрании Пушкина в члены ордена «рогоносцев», были разосланы и многим его друзьям и знакомым.

* М. Е. Лобанов был раздражен отрицательным отзывом Белинского о его трагедии «Борис Годунов» (1835), написанной как бы в опровержение трактовок исторических событий в пушкинской трагедии.

4 ноября, тотчас по получении пасквиля, Пушкин послал вызов Дантесу, поведение которого послужило источником клеветы. Повидимому, Пушкин имел некоторое основание думать, что самый пасквиль исходил из кругов, близких к Дантесу и его приемному отцу, Геккерену. Вместе с тем он решил любой ценой вырваться из царской кабалы и обеспечить себе свободу действий, т. е. возможность оставить службу и уехать из Петербурга. 6 ноября, через два дня после получения диплома, он послал министру финансов графу Канкрину письмо, в котором заявлял о своем желании «сполна и немедленно» расплатиться с казной и предлагал в уплату долга свое нижегородское имение Кистеневку. При этом он просил не доводить этого дела до императора, так как, если бы император приказал простить ему долг, то он «был бы принужден отказаться от царской милости». Однако вмешательство Жуковского, к которому бросился старый Геккерен, на этот раз предотвратило дуэль. Пушкин взял свой вызов обратно, так как Дантес заявил, что его поведение было истолковано превратно и что ухаживания его относились не к Наталье Николаевне, а к ее старшей сестре, Екатерине Николаевне, которой он и намерен сделать официальное предложение. 10 января 1837 г. Дантес женился на Екатерине Николаевне Гончаровой. Но это не остановило клеветы, которая распространялась в салонах Нессельроде и Идалии Полетики, среди светских шалопаев, друзей Дантеса и т. д. В свете восхищались рыцарским поведением Дантеса, который якобы пожертвовал собой ради спасения чести любимой женщины, говорили, что не он первый влюбился в Наталью Николаевну, а она искала его, определенно утверждали, что они были в связи, и рассказывали подробности об их тайных свиданиях. Геккерен и Дантес всем своим поведением относительно Натальи Николаевны поддерживали эти сплетни. Дантас, секундант Пушкина и его лицейский товарищ, писал в своих показаниях: «Гг. Геккерены даже после свадьбы не переставали дерзким поведением с женою его (Пушкина — А. С.)... давать повод к усиленному мнению, поносительного как для его чести, так и для чести его жены». Дантес, на потеху злорадствующей светской черни, разыгрывал роль человека, не любящего своей жены и страдающего от любви к другой. Об этом свидетельствуют записи Жуковского: «После свадьбы. Два лица (т. е. у Дантеса — А. С.). Мрачность при ней (т. е. при Наталье Николаевне — А. С.). Веселость за ее спиной. При тетке (Заряжской — А. С.) ласка с женой (т. е. с Екатериной Николаевной — А. С.); при Александрине (Александре Николаевне — А. С.) и других, кои могли бы рассказать (Наталье Николаевне — А. С.), *des brusqueries* (резкости). Дома же веселость и большое согласие (с Екатериной Николаевной — А. С.)». Характерно, что старый Геккерен, уже после дуэли, в письме к Нессельроде продолжал чернить вдову Пушкина и прямо говорил о ее «роковой связи» («*funeste liaison*») с Дантесом, причем приписывал ей инициативу этой связи. Это была версия для русского общества. Между тем в письмах к своему министру иностранных дел он уверял «честью», что никакой «преступной связи» не было. Это было нужно для собственного оправдания в глазах начальства. Так же вел себя и Дантес, который позднее, при встречах с русскими знакомыми, неизменно намекал на свою связь с Пушкининой. Всем этим объясняется оскорбительное письмо, посланное

Пушкиным старому Геккерену 26 января 1837 г. и явившееся непосредственной причиной дуэли. Дуэль произошла в пятом часу дня 27 января. Пушкин был тяжело ранен и, после двухдневных страданий, скончался днем 29 января в три часа без четверти.

Замечательно, что во все время травли, инспирированной против Пушкина его скрытыми врагами, Николай и Бенкендорф сохраняли пассивное положение. Николай писал потом своему брату Михаилу Павловичу по поводу дуэли Пушкина с Дантесом: «Давно ожидать было должно, что дуэлью кончится их неловкое положение». Он предвидел это, однако не вмешивался, предоставив дело естественному течению. Зато после трагической развязки и Николай и Бенкендорф проявили достаточно энергии, чтобы унять то общественное возбуждение, какое было вызвано смертью поэта. Цензора получили предписание не позволять ничего печатать о Пушкине, не представив предварительно статьи председателю цензурного комитета или министру народного просвещения графу Уварову, который, как писал в дневнике цензор Никитенко, занят был «укрощением воплей по случаю смерти Пушкина». Греч получил строгий выговор от Бенкендорфа за слова, напечатанные в «Северной Пчеле»: «Россия обязана Пушкину благодарностью за 22-летние заслуги его на поприще словесности». Еще более резкий выговор, подкрепленный угрозой увольнения со службы, сделал Уваров Краевскому, редактору «Литературных прибавлений к Русскому Инвалиду», за некролог, начинавшийся словами: «Солнце нашей поэзии закатилось!» «И все это, — замечает Никитенко, — делалось среди всеобщего участия к умершему, среди всеобщего глубокого сожаления. Боялись — но чего?»

Страх перед популярностью Пушкина сказался и в тех мерах, какие были приняты во время похорон. В отчете корпуса жандармов за 1837 г. говорилось: «Имея в виду отзывы многих благорыслящих людей, что подобное как бы народное изъявление скорби о смерти Пушкина представляет некоторым образом неприличную картину торжества либералов, высшее наблюдение призвало своею обязанностью мерами негласными устранить все почести, что и было исполнено». Весть о кончине Пушкина обнаружила подлинное отношение к нему читательской массы, заслонявшееся до той поры пристрастным и ошибочным судом критики. В течение одного дня у гроба его в квартире на Мойке перебивало тридцать-сорок тысяч человек. Одна современница пишет: «Женщины, старики, дети, ученики, простолудины в тулупах, а иные даже в лохмотьях, приходили поклониться праху любимого народного поэта. Нельзя было без умиления смотреть на эти плебейские почести, тогда как в наших позолоченных салонах и раздушенных будуарах едва ли кто-нибудь думал и сожалел о краткости его блестящего поприща». «Это были, действительно, народные похороны» — замечает Никитенко. Все это приобрело характер невиданной в русских условиях того времени общественной манифестации. Опасаясь беспорядков, жандармское управление внезапно распорядилось о перемене места отпевания: вместо Исаакиевской церкви, как было объявлено, прах поэта был ночью перенесен в небольшую Ковышенную церковь. Все же стечение народа было огромное. После этого гроб с телом, в сопровождении А. И. Тургенева и старого слуги Пушкина, Никиты

Козлова, был отправлен в Пензенскую губернию. Погребение совершилось в Святых (ныне Пушкинских) Горах 6 февраля 1837 г.

После смерти Пушкина бумаги его были опечатаны. Разбор их первоначально был поручен Жуковскому, совместно с жандармским генералом Л. В. Дубельтом. Таким образом Жуковский сделан был невольным участником посмертного обыска, происходившего под высшим наблюдением Бенкендорфа. В бумагах Жуковского сохранилась такого рода записка: «Из-за плеч моих другие (т. е. жандармы — А. С.)». Он был оскорблен оказанным ему недоверием и тем неловким положением, в какое его поставили, принудив читать чужие письма.

По ходатайству Жуковского дано было разрешение на издание в пользу наследников полного собрания сочинений Пушкина. Разрешение дано было, однако, на известных условиях: Николай I потребовал, чтобы было исключено в изданных уже сочинениях все найденное им «неприличным», а чтобы новые сочинения были «строго рассмотрены». Благодаря этим суровым условиям первое посмертное издание в одиннадцати томах (1838—1841) не могло быть ни полным, ни точным. Впоследствии поколения редакторов (Анненков, Морозов, Венгеров) работали над восстановлением подлинного текста Пушкина. Но только в советское время литературное наследие Пушкина могло быть восстановлено полностью и полностью освобождено от всевозможных — цензурных и иных — искажений.

Александр Слонимский.

СТИХОТВОРЕНИЯ

К ДРУГУ СТИХОТВОРЦУ

Арист! и ты в толпе служителей Парнаса!
 Ты хочешь оседлать упрямого Пегаса;
 За лаврами спешишь опасною стезей
 И с строгой критикой вступаешь смело в бой!

Арист, поверь ты мне, оставь перо, чернилы,
 Забудь ручьи, леса, унылые могилы,
 В холодных песенках любовью не пылай;
 Чтоб не слететь с горы, скорее вниз ступай!
 Довольно без тебя поэтов есть и будет;
 Их напечатают — и целый свет забудет.
 Быть может, и теперь, от шума удалясь
 И с глупой музою навек соединишь,
 Под сенью мирною Минервиной эгиды *
 Сокрыт другой отец второй «Телемахиды».
 Страшися участи бессмысленных певцов,
 Нас убивающих громадою стихов!
 Потомков поздных дань поэтам справедлива:
 На Пинде лавры есть, но есть там и крапива.
 Страшися бесславия! — Что, если Аполлон,
 Услышав, что и ты полез на Геликон,
 С презреньем покачав кудрявой головою,
 Твой гений наградит спасительной лозою?

Но что? Ты хмуришься и отвечать готов:
 «Пожалуй, — скажешь мне, — не трать излишних
 слов;

Когда на что решусь, уж я не отступаю,
 И знай, мой жребий пал, я лиру избираю.

* Т. е. в школе. [Примечание Пушкина.]

Пусть судит обо мне, как хочет, целый свет,
Сердись, кричи, бранись, — а я таки поэт».

Арист, не тот поэт, кто рифмы плесть умеет
И, перьями скрыпя, бумаги не жалеет:
Хорошие стихи не так легко писать,
Как Витгенштейну французов побеждать.
Меж тем как Дмитриев, Державин, Ломоносов,
Певцы бессмертные, и честь, и слава россос,
Питают здравый ум и вместе учат нас,
Сколь много гибнет книг, на свет едва родясь!
Творенья громкие Рифматова, Графова
С тяжелым Бибрусом гниют у Глазунова;
Никто не вспомнит их, не станет вздор читать,
И Фебова на них проклятия печать.

Положим, что, на Пинд взобравшись счастливо,
Поэтом можешь ты назваться справедливо:
Все с удовольствием тогда тебя прочтут.
Но мнишь ли, что к тебе рекой уже текут
За то, что ты поэт, несметные богатства,
Что ты уже берешь на откуп государства,
В железных сундуках червонцы хоронишь
И, лежа на боку, покойно ешь и спишь?
Не так, любезный друг, писатели богаты;
Судьбой им не даны ни мраморны палаты,
Ни чистым золотом набиты сундуки:
Лачужка под землей, высоки чердаки —
Вот пышны их дворцы, великолепны залы.
Поэтов — хвалят все, питают — лишь журналы,
Катится мимо их Фортуны колесо;
Родился наг и наг ступает в гроб Руссо;
Камоэнс * с нищими постелю разделяет;
Костров на чердаке безвестно умирает;
Руками чуждыми могиле предан он.
Их жизнь — ряд горестей, гремящая слава — сон.
Ты, кажется, теперь задумался немного.
«Да что же, — говоришь, — судя о всех так
строго,

* Автор Луизианы умер в гофшпитале, питаясь милостынею. [Примечание Пушкина.]

Перебирая всё, как новый Ювенал,
Ты о поэзии со мною толковал;
А сам, поссорившись с парнасскими сестрами,
Мне проповедывать пришел сюда стихами?
Что сделалось с тобой? В уме ли ты, иль нет?
Арист, без дальних слов, вот мой тебе ответ:

В деревне, помнится, с мирянами простыми,
Священник пожилой и с кудрями седыми
В миру с соседями, в чести, довольстве жил
И первым мудрецом у всех издавна слыл.
Однажды, осушив бутылки и стаканы,
Со свадьбы, под вечер, он шел немного пьяный;
Попалися ему навстречу мужики.
«Послушай, батюшка, — сказали простяки, —
Настави грешных нас — ты пить ведь запрещаешь,
Быть трезвым всякому всегда повелеваешь,
И верим мы тебе: да что ж сегодня сам...» —
«Послушайте, — сказал священник мужикам, —
Как в церкви вас учу, так вы и поступайте,
Живите хорошо, а мне — не подражайте».

И мне то самое пришлось отвечать:
Я не хочу себя нисколько оправдать;
Счастлив, кто, ко стихам не чувствуя охоты,
Проводит тихий век без горя, без заботы,
Своими одами журналы не тягчит
И над экспромптами недели не сидит!
Не любит он гулять по высотам Парнаса,
Не ищет чистых муз, ни пылкого Пегаса;
Его с пером в руке Макаров* не страшит;
Спокоен, весел он. Арист, он — не пьет.

Но полно рассуждать — боюсь тебе наскучить
И сатирическим пером тебя замучить.
Теперь, любезный друг, я дал тебе совет;
Оставишь ли свирель, умолкнешь или нет?..
Подумай обо всем и выбери любое:
Быть славным — хорошо, спокойным — лучше вдвое

* Славный журналист. [Примечание Пушкина.]

КОЛЬНА

ПОДРАЖАНИЕ ОССИАНУ

Фингал послал Тоскара воздвигнуть на берегах источника Кроны памятник победы, одержанной им некогда на сем месте. Между тем как он занимался сим трудом, Карул, соседственный государь, пригласил его к пиршеству; Тоскар влюбился в дочь его, Кольну; нечаянный случай открыл взаимные их чувства и осчастливил Тоскара.

Источник быстрый Каломоны,
Бегущий к дальним берегам,
Я зрю, твои взмущенны волны
Потоком мутным по скалам
При блеске звезд ночных сверкают
Сквозь дремлющий пустынный лес,
Шумят и корни орошают
Сплетенных в темный кров древес.
Твой мшистый брег любила Кольна,
Когда по небу тень лилась;
Ты зрел, когда, в любви невольна,
Здесь другу Кольна отдалась.

В чертогах Сельмы царь могущих
Тоскару юному вещал:
«Гряди во мрак лесов дремучих,
Где Крона катит черный вал,
Шумящей прохлажден осиною. —
Там ряд является могил;
Там с верной, храброю дружиной
Полки врагов я расточил,
И много, много сильных пало;
Их гробы черный вран стрежет.
Гряди — и там, где их не стало,
Воздвигни памятник побед!»
Он рек, и в путь безвестный, дальный
Пустился с бардами Тоскар.
Идет во мгле ночи печальной,
В вечерний хлад, в полдневный жар.
Денница красная выводит
Златое утро в небеса,
И вот уже Тоскар подходит
К местам, где в темные леса

Бежит седой источник Кроны
И кроется в долины сонны.
Воспели барды гимн святой;
Тоскар обломок гор кремнистых
Усильно мощною рукой
Влечет из бездны волн сребристых,
И с шумом на высокий брег
В густой и дикий злак поверг;
На нем повесил черны латы,
Покрытый кровью предков меч,
И круглый щит, и шлем пернатый,
И обратил он к камню речь:

«Вещай, сын шумного потока,
О храбрых поздним временам!
Да в страшный час, как ночь глубока
В туманах ляжет по лесам,
Пришлец, дорогой утомленный,
Возлегли под надежный кров,
Вспомнит веки отдаленны
В мечтанье сладком легких снов!
С рассветом алыя денницы,
Лучами солнца пробужден,
Он узрит мрачные гробницы...
И грозным видом поражен,
Вопросит сын иноплеменный:
Кто памятник воздвиг надменный?
И старец, летами согбен,
Речет: Тоскар наш незабвенный,
Герой умчавшихся времен!»

Небес сокрылся вечный житель,
Заря потухла в небесах;
Луна в воздушную обитель
Спешит на темных облаках;
Уж ночь на холме — берег Кроны
С окрестной рощею заснул.
Владыко сильный Каломоны,
Иноплеменных друг, Карул
Призвал Морвенского героя
В жилище Кольны молодой

Вкусить приятности покоя
И пить из чаши круговой.

.
.

Близ пепелища все воссели;
Веселья барды песнь воспели;
И в пене кубок золотой
Кругом несется чередой.
Печален лишь пришелец Лоры,
Главу ко груди преклонил;
Задумчиво он страстны взоры
На нежну Кольну устремил —
И тяжко грудь его вздыхает,
В очах веселья блеск потух;
То огонь по членам пробегает,
То негою томится дух;
Тоскует, втайне ощущая
Волнение сильное в крови,
На юны прелести взирая,
Он полную чашу пьет любви.

Но вот уж дуб престал дымиться,
И тень мрачнее становится,
Чернеет тусклый небосклон,
И царствует в чертогах сон.

.
.

Редеет ночь; заря багряна
Лучами солнца возжена;
Пред ней златится твердь румяна.
Тоскар покинул ложе сна;
Быстротекущей Каломоны
Идет по влажным берегам,
Спешит узреть долины Кроны
И внемлет плещущим волнам.
И вдруг из сени темной рощи,
Как в час весенней полунощи
Из облак месяц золотой,
Выходит ратник молодой.
Меч острый на бедре сияет,
Копье десницу вооружает;

Надвинут на чело шелом,
И гибкий стан покрыт щитом;
Зарею латы серебруются
Сквозь утренний в долине пар.

«О юный ратник! — рек Тоскар, —
С каким врагом тебе сражаться?
Ужель и в сей стране война
Багрит ручьев струисты волны?
Но всё спокойно — тишина
Окрест жилища нежной Кольны». —
«Спокойны дебри Каломоны,
Цветет отчизны край злагой;
Но Кольна там не обитает
И ныне по стезе глухой
Пустыню с милым протекает,
Пленившим сердце красотой». —
«Что рек ты мне, молодой воитель?
Куда сокрылся похититель?
Подай мне щит твой!» И Тоскар
Приемлет щит, пылая мщеньем.
Но вдруг исчез геройства жар;
Что зрит он с сладким восхищеньем?
Не в силах в страсти воздохнуть,
Пылая вдруг восторгом новым...
Лилейна обнажилась грудь,
Под грозным дышуща покровом...
«Ты ль это?..» — возопил герой
И трепетно рукой дрожащей
С главы снимает шлем блестящий —
И Кольну видит пред собой.

РАССУДОК И ЛЮБОВЬ

Младой Дафнис, гоняясь за Доридой,
«Постой, — кричал, — прелестная, постой,
Скажи: «Люблю» — и бегать за тобой
Не стану я — клянуся в том Кипридой!»
«Молчи, молчи!» — Рассудок говорил;
А плут Эрот: «Скажи: ты сердцу мил».

«Ты сердцу мил!» — пастушка повторила,
И их сердца огнем любви зажглись,
И пал к ногам красавицы Дафнис,
И страстный взор Дорида потупила.
«Беги, беги!» — Рассудок ей твердил,
А плут Эрот: «Останься!» говорил.

Осталася — и трепетной рукою
Жал руку ей счастливый пастушок.
«Взгляни, — сказал, — с подругой голубок
Там обнялись под тенью лип густою».
«Беги, беги!» — Рассудок повторил,
«У них учись!» — Эрот ей говорил.

И нежная улыбка пробежала
Красавицы на пламенных устах,
И вот она с томлением в глазах
К любовнику в объятия упала.
«Будь счастлива!» — Эрот ей прошептал.
Рассудок что ж? Рассудок уж молчал.

К СЕСТРЕ

Ты хочешь, друг бесценный,
Чтоб я, поэт молодой,
Беседовал с тобой
И с лирою забвенной,
Мечтами окриленный,
Оставил монастырь
И край уединенный,
Где непрерывный мир
Во мраке опустился
И в пустыни глухой
Безмолвно воцарился
С угрюмой тишиной. *
И быстрою стрелой
На невский брег примчуся,
С подругой обнимуся
Весны моей златой.

* После этого стиха несколько стихов не сохранилось

И, как певец Людмилы,
Мечты невольник милый,
Взошед под отчий кров,
Несу тебе не злато
(Чернец я не богатый),
В подарок пук стихов.
Тайком взошед в диванну,
Хоть помощью пера,
О, как тебя застану,
Любезная сестра!
Чем сердце занимаешь
Вечернюю порой?
Жан-Жака ли читаешь,
Жанлис ли пред тобой?
Иль с резвым Гамильтоном
Смеешься всей душой?
Иль с Греем и Томсоном
Ты пренеслась мечтой
В поля, где от дубравы
В дол вѣет ветерок,
И шепчет лес кудрявый,
И мчится величавый
С вершины гор поток?
Иль моську престарелу,
В подушках поседелу,
Окутав в длинну шаль
И с нежностью лелея,
Ты к ней зовешь Морфея?
Иль смотришь в темну даль
Задумчивой Светланой
Над шумною Невою?
Иль звучным фортепяно
Под беглою рукой
Моцарта оживляешь?
Иль тоны повторяешь
Пиччини и Рамо?

Но вот уж я с тобою,
И в радости немой
Твой друг расцвел душою,
Как ясный вешний день.
Забыты дни разлуки,

Дни горести и скуки,
Исчезла грусти тень.

Но это лишь мечтанье!
Увы, в монастыре,
При бледном свеч сиянье,
Один пишу к сестре.
Всё тихо в мрачной келье:
Защелка на дверях,
Молчанье, враг веселий,
И скука — на часах!
Стул ветхий, необитый,
И шаткая постель,
Сосуд, водой налитый,
Соломенна свирель —
Вот всё, что пред собою
Я вижу, пробужден.
Фантазия, тобою
Одной я награжден,
Тобю пренесенный
К волшебной Иппокрене,
И в келье я блажен!

Что было бы со мною,
Богиня, без тебя?
Знакомый с суетою,
Приятной для меня,
Увлечен в даль судьбою,
Я вдруг в глухих стенах,
Как Леты на берегах,
Явился заключенным,
Навеки погребенным,
И скрыпнули врата,
Сомкнувшись за мною,
И мира красота
Оделась черной мглою!..
С тех пор гляжу на свет,
Как узник из темницы
На яркий блеск денницы.
Светило ль дня взойдет,
Луч кинув позлащенный
Сквозь узкое окно,

Но сердце помраченно
Не радуется оно.
Иль поздней порою,
Как луч на небесах,
Покрытых чернотою,
Темнеет в облаках, —
С унынием встречаю
Я сумрачную тень,
И с вздохом провожаю
Скрывающийся день!..
Сквозь слез смотрю в решотки,
Перебирая чотки.

Но время протечет,
И с каменных ворот
Падут, падут затворы,
И в пышный Петроград
Через долины, горы
Ретивые примчат;
Спеша на новоселье,
Оставлю темну келью,
Поля, сады свои;
Под стол клубок с веригой —
И прилечу расстригой
В объятия твои!

КАЗАК

Раз, полунощной порою,
Сквозь туман и мрак,
Ехал тихо над рекою
Удалой казак.

Черна шапка набекрене,
Весь жупан в пыли,
Пистолеты при колене,
Сабля до земли.

Верный конь, узды не чуя,
Шагом выступал;

Гриву долгую волную,
Углублялся вдаль.

Вот пред ним две, три избушки,
Выломан забор;
Здесь — дорога к деревушке,
Там — в дремучий бор.

«Не найду в лесу девицы, —
Думал хват Денис: —
Уж красавицы в светлицы
На ночь убрались».

Шевельнул донец уздою,
Шпорой прикольнул,
И помчался конь стрелою,
К избам завернул.

В облаках луна серебрила
Дальни небеса;
Под окном сидит уныла
Девица-краса.

Храбрый видит красну деву;
Сердце бьется в нем,
Конь тихонько к леву, к леву —
Вот уж под окном.

«Ночь становится темнее,
Скрылася луна.
Выдь, коханечка, скорее,
Напой коня». —

«Нет! к мужчине молодому
Страшно подойти,
Страшно выйти мне из дому,
Коню дать воды». —

«Ах, небось, девица красна,
С милым подружись!» —
«Ночь красавицам опасна». —
«Радость! не страшись!»

Верь, коханечка, пустое!
Ложный страх отбрось!
Тратишь время золотое;
Милая, небось!

Сядь на борзого; с тобою
В дальний еду край;
Будешь счастлива со мною:
С другом всюду рай!»

Что же девица? Склонилась,
Победила страх,
Робко ехать согласилась.
Счастлив стал казак.

Поскакали, полетели;
Дружку друг любил;
Был ей верен две недели,
В третью изменил.

КНЯЗЮ А. М. ГОРЧАКОВУ

Пускай, не знаясь с Аполлоном,
Поэт, придворный философ,
Вельможе знатному с поклоном
Подносит оду в двести строф;
Но я, любезный Горчаков,
Не просыпаюсь с петухами
И напыщенными стихами,
Набором громозвучных слов,
Я петь пустого не умею
Высоко, тонко и хитро,
И в лиру превращать не смею
Мое гусиное перо!
Нет, нет, любезный князь, не оду
Тебе намерен посвятить;
Что прибыли соваться в воду,
Сначала не спросившись броду,
И вслед Державину парить?
Пишу своим я складом ныне
Кой-как стихи на именины.

Что должен я, скажи, в сей час
Желать от чиста сердца другу?
Глубоку ль старость, милый князь,
Детей, любезную супругу,
Или богатства, громких дней,
Крестов, алмазных звезд, честей?
Не пожелать ли, чтобы славой
Ты увлечен был в путь кровавый,
Чтоб в лаврах и венцах сиял,
Чтоб в битвах гром из рук метал,
И чтоб победа за тобою,
Как древле невшкому герою,
Всегда, везде летела вслед?
Не сладострастия поэт
Такою песенкой поздравит,
Он лучше муз навек оставит!
Дай бог люсви, чтоб ты свой век
Питомцем нежным Эпикура
Провел меж Вакха и Амура!
А там — когда стигийский брег
Мелькнет в туманном отдаленьи,
Дай бог, чтоб в страстном упоеньи,
Ты с томной сладостью в очах,
Из рук младого Купидона,
Вступая в мрачный челн Харона,
Уснул... Ершовой на грудях!

ОПЫТНОСТЬ

Кто с минуту переможет
Хладным разумом любовь,
Бремя тягостных оков
Ей на крылья не возложит.
Пусть не смейся, не резвись,
С строгой мудростью дружись;
Но с рассудком вновь заступишь,
Хоть не рад, но дверь отворишь,
Как проказливый Эрот
Постучится у ворот.

Испытал я сам собою
Истину сих правых слов.
«Добрый путь! прости, любовь!
За богинею слепою,
Не за Хлоей полечу,
Счастье, счастье ухвачу!» —
Мнил я в гордости безумной.
Вдруг услышал хохот шумный,
Оглянулся... и Эрот
Постучался у ворот.

Нет! мне, видно, не придется
С богом сим в размолвке жить,
И покамест жизни нить
Старой Паркой *там* прядется,
Пусть владеет мною он!
Веселиться — мой закон.
Смерть откроет гроб ужасный,
Потемнеют взоры ясны,
И не стукнется Эрот
У могильных уж ворот!

ЛАНСА ВЕНЕРЕ, ПОСВЯЩАЯ ЕЙ СВОЕ ЗЕРКАЛО

Вот зеркало мое — прими его, Киприда!
Богиня красоты прекрасна будет век,
Седого времени не страшна ей обида:
Она — не смертный человек;
Но я, покорствуя судьбине,
Не в силах зреть себя в прозрачности стекла,
Ни той, которой я была,
Ни той, которой ныне.

К НАТАШЕ

Вянет, вянет лето красно,
Улетают ясны дни;
Стелется туман ненастный
Бора в дремлющей тени;

Опустели злачны нивы;
Хладен ручеек игривый,
Лес кудрявый поседел;
Свод небесный побледнел.

Свет-Наташа! где ты ныне?
Как мне горьких слез не лить?
Иль не хочешь час единый
С другом сердца разделить?
Ни над озером волнистым,
Ни под кровом лип душистым
Ранней, утренней порой
Не встречаюсь я с тобой.

Скоро, скоро холод зимный
Рошу, поле посетит;
Огонек в лачужке дымной
Скоро ярко заблестит.
Не увижу я прелестной!
И, как чижик в клетке тесной,
Стану дома горевать
И Наташу вспоминать!

ПИРУЮЩИЕ СТУДЕНТЫ

Друзья, досужный час настал,
Всё тихо, всё в покое;
Скорее скатерть и бокал!
Сюда, вино золотое!
Шипи, шампанское, в стекле;
Друзья, почто же с Кантом
Сенека, Тацит на столе,
Фольянт над фольянтом?
Под стол холодных мудрецов,
Мы полем овладеем,
Под стол ученых дураков,
Без них мы пить умеем.

Ужели трезвого найдем
За скатертью студента?

На всякий случай изберем
Скорее президента.
В награду пьяным он нальет
И пуиш, и грог душистый,
А вам, спартанцы, поднесет
Воды в стакане чистой.
Апостол неги и прохлад,
Мой добрый Галич, vale! *
Ты Эпикуров младший брат,
Душа твоя в бокале.
Главу венками убери,
Будь нашим президентом,
И станут самые цари
Завидовать студентам.

Дай руку, Дельвиг, что ты спишь?
Проснись, ленивец сонный,
Ты не под кафедрой сидишь,
Латынью усыпленный.
Взгляни, здесь круг твоих друзей,
Бутыль вином налита,
За здравье нашей Музы пей,
Парнасский волокита.
Остряк любезный, по рукам!
Полней бокал досуга,
И вылей сотню эпиграмм
На недруга и друга!

А ты, красавец молодой,
Сиятельный повеса,
Ты будешь Вакха жрец лихой,
На прочее — завеса!
Хотя студент, хотя я пьян,
Но скромность почитаю.
Придвинь же пенистый стакан,
На брань благословляю.

Товарищ милый, друг прямой,
Тряхнем рукою руку,

* Будь здоров!

Оставим в чаше круговой
 Педантам сродну скуку;
Не в первый раз мы вместе пьем,
 Нередко и бранимся,
Но чашу дружества нальем
 И тотчас помиримся.

А ты, который с детских лет
 Одним весельем дышишь,
Забавный, право, ты поэт,
 Хоть плохо басни пишешь.
С тобой тасуюсь без чинов,
 Люблю тебя душою,
Наполни кружку до краев, —
 Рассудок, бог с тобою!

А ты, повеса из повес,
 На шалости рожденный,
Удалый хват, головорез,
 Приятель задушевный,
Бутылки, рюмки разобьем
 За здравие Платова,
В казачью шапку пунш нальем,
 И пить давайте снова.

Приблизься, милый наш певец,
 Любимый Аполлоном,
Воспой властителя сердец
 Гитары тихим звоном.
Как сладостно в стесненну грудь
 Томленье звуков льется.
Но мне ли страстью воздохнуть?
 Нет! пьяный лишь смеется.

Не лучше ль, Роде записной,
 В честь Вакховой станицы
Теперь скрипеть тебе струной
 Расстроенной скрипицы?
Запойте хором, господа,
 Нет нужды, что нескладно.
Охрипли?.. это не беда:
 Для пьяных всё ведь ладно.

Но что я вижу всё вдвоем?
Двоится штоф с араком,
Вся комната пошла кругом,
Покрылись очи мраком.
Где вы, товарищи, где я?
Скажите, Вакха ради.
Вы дремлете, мои друзья,
Склонившись на тетради.
Писатель за свои грехи,
Ты с виду всех трезвее.
Вильгельм, прочти свои стихи,
Чтоб мне заснуть скорее.

БОВА

(отрывок из поэмы)

Часто, часто я беседовал
С болтуном страны Эллинския
И не смел осиплым голосом
С Шапеленом и с Рифматовым
Воспевать героев севера.
Несравненного Виргилия
Я читал и перечитывал,
Не стараясь подражать ему
В нежных чувствах и гармонии.
Разбирал я немца Клопштока
И не мог понять премудрого.
Не хотел я воспевать, как он;
Я хочу, чтоб меня поняли
Все от мала до великого.
За Мильтоном и Камоэнсом
Опасался я без крил парить;
Не дерзал в стихах бессмысленных
Херувимов жарить пушками,
С сатаною обитать в раю,
Иль святую богородицу
Вместе славить с Афродитю:
Не бывал я греховодником!
Но вчера, в архивах роясь,
Отыскал я книжку славную,
Золотую, незабвенную,

Катехизис остроумия,
Словом: Жанну Орлеанскую.
Прочитал, — и в восхищении
Про Бову пою царевича.

О Вольтер, о муж единственный!
Ты, которого во Франции
Почитали богом неким,
В Риме дьяволом, антихристом,
Обезьяною в Саксонии!
Ты, который на Радищева
Кинул было взор с улыбкою,
Будь теперь моею музою!
Петь я тоже вознамерился,
Но сравниюсь ли с Радищевым?

Не запомню, сколько лет спустя
После рождества спасителя,
Царь Дадон со славой царствовал
В Светомире, сильном городе.
Царь Дадон венец со скипетром
Не прямой достал дорогою,
Но убив царя законного,
Бендокира Слабоумного.
(Так бывало верноподданны
Величали королей своих,
Если короли беспечные
Не в постеле и не ночью
Почивали с камергерами.)
Царь Дадон не Слабоумного
Был достоин злого прозвища,
Но тирана неусыпного,
Хотя, впрочем, не имел его.
Лень мне все его достоинства
И пороки вам показывать:
Вы слышали, люди добрые,
О царе, что двадцать целых лет
Не снимал с себя оружия,
Не слезал с коня ретивого,
Всюду пролетал с победою,
Мир крещеный потопил в крови,
Не щадил и некрещеного,

И в ничтожество низверженный
Александром, грозным ангелом,
Жизнь проводит в унижении
И, забытый всеми, кличется
Ныне Эльбы императором: —
Вот таков-то был и царь Дадон.

Раз, собрав бородачей совет
(Безбородых не любил Дадон),
На престоле пригорюнившись,
Произнес он им такую речь:
«Вы, которые советами
Облегчили тяжесть скипетра,
Усладили участь царскую
(Не горька она была ему),
Мудрые друзья, сподвижники!
К вам прибегнуть я решаюся:
Что мне делать ныне? — слушайте».

Все привстали, важно хмурясь,
Низко, низко поклонились
И, подправя ус и бороду,
Сели на скамьи дубовые.

«Вам известно, — продолжал Дадон, —
Что искусством и неправдою
Я достиг престола шаткого
Бендокира Слабоумного,
Сочетался с Милитрисою,
С милой женой Бендокировой,
И в темницу посадил Бову,
Принца крови, сына царского.
Легче, легче захватить было
Слабоумного златой венец,
Чем, надев венец на голову,
За собою удержать его.
Вот уже народ бессмысленный,
Ходя в праздники по улицам,
Меж собой не раз говаривал:
Дай бог помочь королевичу.
Ведь Бова уже не маленький,
Не в отца своей головушкой,

Нужды нет, что за решеткою,
Он опасен моим замыслам.
Что мне делать с ним? скажите мне,
Не оставить ли в тюрьме его?»

Всё собранье призадумалось,
Все в молчанье потупили взор.
То-то, право, золотой совет!
Не болтали здесь, а думали:
Арзамор, муж старый, опытный,
Рот открыл было (советовать
Знать хотелось поседлому),
Громко крикнул, но одумался
И в молчанье закусил язык.
Ко лбу перст приставя тщательно,
Лекарь, славный Эскулапа внук,
Эзельдорф, обритый шваб, зевал,
Табакеркою поскрыпывал,
Но молчал, — своей премудрости
Он пред всеми не показывал.
Вихромах, Полкан с Дубынею,
Стража трона, славны рыцари,
Все сидели, будто вкопаны.
Громобурь, известный силою,
Но умом непроницательный,
Думал, думал и нечаянно
Задремал и захрапел в углу.
Что примера лучше действует?
Что людьми сильней ворочает?
Вот зевнули под перчаткою
Храбрый Мирозор с Ивашкою,
И Полкан, и Арзамор седой...
И ко груди преклонились
Тихо головами буйными...
Глядь, с Дадонем задремал совет...
Захрапели многомыслящи!

Долго спать было советникам,
Если б немцу не пришлось из рук
Табакерку на пол выронить.
Табакерка покатила
И о шпору вдруг ударила

Громобуря, крепко спавшего,
Загремела, раздвоилася,
Отлетела в разны стороны...
Храбрый воин пробуждается,
Озирает всё собрание...
Между тем табак рассыпался,
К носу рыцаря подьмелется,
И чихнул герой с досадою,
Так что своды потрясаются,
Окны все дрожат и сыплются,
И на петлях двери хлопают...
Пробуждается собрание!

«Что тут думать, — закричал герой: —
Царь, Бова тебе не надобен,
Ну, и к чорту королевича!
Решено: ему в живых не быть.
После, братцы, вы рассудите,
Как с ним надобно разделаться».
Тем и кончил: храбры воины
Речи любят лаконически.
«Ладно, мы тебя послушаем, —
Царь промолвил, потянувшись, —
Завтра, други, мы увидимся,
А теперь ступайте все домой».

Оплошал Дадон отсрочкою.
Не твердил он верно в азбуке:
*Не откладывай до завтраго
Что сегодня можешь выполнить.*
Разошлись все придворные.
Ночь меж тем уже сгущалася,
Царь Дадон в постелю царскую
Вместе с милой лег супругою,
С несравненной Милитрисою,
Но спиной оборотился к ней:
В эту ночь его величеству
Не играть, а спать хотелось.

Милитрисина служаночка,
Зоя, молодая девица,
Ангел станом, взором, личиком,

Белой ручкой, нежной ножкою,
С госпожи сняв платье шелково,
Юбку, чепчик, ленты, кружева,
Всё под ключ в шкатулку спрятала
И пошла тихонько в девичью.
Там она сама разделася,
Подняла с трудом окошечко
И легла в постель пуховую,
Ожидая друга милого,
Светозара, пажа царского:
К темной ночи обещался он
Из окна прыгнуть к ней в комнату.
Ждет, пождет девица красная;
Нет, как нет всё друга милого.
Чу! бьет полночь — что же Зоинька?
Видит — входят к ней в окошечко...
Кто же? друг ли сердца нежного?
Нет! совсем не то, читатели!
Видит тень иль призрак старого
Венценосца, с длинной шапкою,
В балахоне вместо мантии,
Опоясанный мочалкою,
Вид невинный, взор навывкате,
Рот разинут, зубы скалятся,
Уши длинные, ослиные
Над плечами громко хлопают;
Зоя видит и со трепетом
Узнает она, читатели,
Бендокира Слабоумного.

Трепетно, смятенья полная,
Стала на колени Зоинька,
Съединила ручку с ручкою,
Потушила очи ясные,
Прочитала скорым шопотом
То, что ввек не мог я выучить:
Отче наш и *Богородице*,
И тихохонько промолвила:
«Что я вижу? Боже! Господи...
О Никола! Савва мученик!
Осените беззащитную.
Ты ли это, царь наш батюшка?»

Отчего, скажи, оставил ты
Ныне царствие небесное?»
Глупым смехом осветившись,
Тень рекла прекрасной Зоиньке:
«Зоя, Зоя, не страшись, мой свет,
Не пугать тебя мне хочется,
Не на то сюда явился я
С того света привидением.
Весело пугать живых людей,
Но могу ли веселиться я,
Если сына Бендокирова,
Милого Бова-царевича,
На костре пжарят завтра же?»

Бедный царь заплакал жалобно.
Больно стало доброй девушке.
«Чем могу, скажи, помочь тебе,
Я во всем тебе покорствую». —
«Вот что хочется мне, Зоинька!
Из темницы сына выручи
И сама в жилище мрачное
Сядь на место королевича;
Пострадай ты за невинного,
Поклонюсь тебе низехонько
И скажу: спасибо, Зоинька!»

Зоинька тут призадумалась
За *спасибо* в темну яму сесть!
Это жестко ей казалось.
Но, имея чувства нежные,
Зоя втайне согласилась
На такое предложение.

Так ты прав, оракул Франции!
Говоря, что жены, слабые
Против стрел Эрота юного,
Все имеют душу добрую,
Сердце нежно непритворное.
«Но скажи, о царь возлюбленный! —
Зоя молвила покойнику: —
Как могу (ну, посуди ты сам)
Пренестись в темницу мрачную,

Где горюет твой любезный сын?
Пятьдесят отборных воинов
Днем и ночью стерегут его.
Мне ли, слабой, робкой женщине,
Обмануть их очи зоркие?» —
«Будь покойна, случай найдется,
Поклянись лишь только, милая,
Не отвергнуть сего случая,
Если сам тебе представится». —
«Я клянусь!» — сказала девица.
Вмиг исчезло привидение,
Из окошка быстро вылетев.
Воздыхая тихо, Зоинька
Опустила тут окошечко
И в постеле, успокоившись,
Скоро, скоро сном забылася.

К БАТЮШКОВУ

Философ резвый и пиит,
Парнасский счастливый ленивец,
Харит изнеженный любимец,
Наперсник милых аонид!
Почто на арфе златострунной
Умолкнул радости певец?
Ужель и ты, мечтатель юный,
Расстался с Фебом наконец?

Уже с венком из роз душистых
Меж кудрей вьющихся, златых,
Под тенью тополов ветвистых,
В кругу красавиц молодых,
Заздравным не стучишь фиалом,
Любовь и Вакха не поешь,
Довольный счастливым началом,
Цветов парнасских вновь не рвешь;
Не слышен наш Парни российский.
Пой, юноша! Певец тиисский
В тебя влиял свой нежный дух.

С тобою твой прелестный друг,
Лилета, красных дней отрада;
Певцу любви — любовь награда.
Настрой же лиру; по струнам
Летай игривыми перстами,
Как вешний зефир по цветам,
И сладострастными стихами,
И тихим шопотом любви
Лилету в свой шалаш зови;
И звезд ночных при бледном свете,
Плывущих в дальней вышине,
В уединенном кабинете,
Волшебной внемя тишине,
Слезами счастья грудь прекрасной,
Счастливец милый, орошай;
Но, упоен любовью страстной,
И нежных муз не забывай!
Любви нет боле счастья в мире:
Люби — и пой ее на лире.

Когда ж к тебе в досужный час
Друзья, знакомые сберутся,
И вины пенные польются,
От плена с треском свободясь,
Описывай в стихах игривых
Веселье, шум гостей болтливых
Вокруг накрытого стола,
Стакан, кипящий пеной белой,
И стук блестящего стекла;
И гости дружно стих веселый,
Бокал в бокал ударя в лад,
Нестройным хором повторят.

Поэт! в твоей предметы воле!
Во звучны струны смело грянь,
С Жуковским пой кроваву брань
И грозну смерть на ратном поле.
И ты в строях ее встречал,
И ты, постигнутый судьбою,
Как росс, питомцем славы пал!
Ты пал и хладною косою

Едва скошенный не увял!.. *
Иль, вдохновенный Ювенолом,
Вооружись сатиры жалом;
Подчас прими ее свисток,
Рази, осмеивай порок;
Шутя, показывай смешное
И, если можно, нас исправь,
Но Тредьяковского оставь
В столь часто рушимом покое.
Увы! довольно без него
Найдем бессмысленных поэтов,
Довольно в мире есть предметов,
Пера достойных твоего!

Но что? Цевницею моею,
Безвестный в мире сем поэт,
Я песни продолжать не смею.
Прости — но помни мой совет:
Доколе музами любимый,
Ты пизэрид горишь огнем,
Доколь сражен стрелой незримой,
В подземный ты не снидешь дом,
Мирские забывай печали,
Играй: тебя молодой Назон,
Эрот и грации венчали,
А лиру строил Аполлон.

ЭНИГРАММА

ПОДРАЖАНИЕ ФРАНЦУЗСКОМУ

Супругою твоей я так пленился,
Что если б три в удел достались мне,
Подобные во всем твоей жене,
То даром двух я б отдал сатане,
Чтоб третью лишь принять он
согласился.

* Кому неизвестны *Воспоминания на 1807 год?* [Примечание Пушкина.]

К И. Г. ЛОМОНОСОВУ

И ты, любезный друг, оставил
Надежду пристань тишины,
Челнок свой весело направил
По влаге бурной глубины;
Судьба на руль уже склонилась,
Спокойно светят небеса,
Ладья крылатая пустилась —
Расправит *счастье* паруса.
Дай бог, чтоб грозной непогоды
Вблизи ты ужас не видал,
Чтоб бурный вихорь не вздувал
Пред челноком шумящи воды!
Дай бог, под вечер к берегам
Тебе пристать благополучно
И отдохнуть спокойно там
С *любовью, дружбой* неразлучно!
Нет! ты не можешь их забыть!
Но что! Не скоро, может быть,
Увижусь я, мой друг, с тобою
Укромной хаты в тишине;
За чашей пунша круговую
Подчас вспомнишь обо мне;
Когда ж пойду на новоселье
(Заснуть ведь общий всем удел),
Скажи: «Дай бог ему веселье!
Он в жизни хоть любить умел».

НА РЫБУШКИНА

Бывало, прежних лет герой,
Окончив славну брань с противной стороной,
Повесит меч войны среди отческия кущи:
А трагик наш Бурун, скончав чернильный
бой,
Повесил уши.

ВОСПОМИНАНИЯ В ЦАРСКОМ СЕЛЕ

Навис покров угрюмой ночи
На своде дремлющих небес;
В безмолвной тишине почили дол и рощи,
В седом тумане дальний лес;
Чуть слышится ручей, бегущий в сень дубравы,
Чуть дышит ветерок, уснувший на листьях,
И тихая луна, как лебедь величавый,
Плывет в сребристых облаках.

0

Плывет — и бледными лучами
Предметы осветила вокруг.
Аллеи древних лип открылись пред очами.
Проглянули и холм и луг;
Здесь, вижу, с тополлом сплелась младая ива.
И отразилась в кристалле зыбких вод.
Царицей средь полей лилея горделива
В роскошной красоте цветет.

С холмов кремнистых водопады
Стекают бисерной рекой;
Там в тихом озере плескаются наяды
Его ленивою волной;
А там, в безмолвии, огромные чертоги,
На своды опершись, несутся к облакам.
Не здесь ли мирны дни вели земные боги?
Не се ль Минервы русской храм!

Не се ль Элизиум полнощный,
Прекрасный царскосельский сад,
Где, льва сразив, почил орел России мощный
На лоне мира и отрад?
Увы! промчались те времена златые,
Когда под скипетром великия жены
Венчалась славою счастливая Россия,
Цветя под кровом тишины!

Здесь каждый шаг в душе рождает
Воспоминанья прежних лет;
Возрев вокруг себя, со вздохом росс вещает:
«Исчезло всё, великой нет!»

И в думу углублен, над злчными берегами
Сидит в безмолвии, склоня ветрам слух;
Протекшие лета мелькают пред очами,
И в тихом восхищенье дух.

Он видит: окружен волнами,
Над твердой мшистою скалой
Вознесся памятник. Ширяся крылами,
Над ним сидит орел молодой.
И цепи тяжкие, и стрелы громовые
Вкруг грозного столпа трикраты обвились;
Вкругом подножия, шумя, валы седые
В блестящей пене улеглись.

В тени густой угрюмых сосен
Воздвигся памятник простой.
О, сколь он для тебя, кагульский брег, поносен
И славен родине драгой!
Бессмертны вы вовек, о росски исполины,
В боях воспитанны средь бранных непогод;
О вас, сподвижники, друзья Екатерины,
Пройдет молва из рода в род.

О громкий век военных споров,
Свидетель славы россиян!
Ты видел, как Орлов, Румянцев и Суворов,
Потомки грозные славян,
Перуном Зевсовым победу похищали.
Их смелым подвигам страхась дивился мир;
Державин и Петров героям песнь бряцали
Струнами громозвучных лир.

И ты промчался, незабвенный!
И вскоре новый век узрел
И брани новые, и ужасы военные;
Страдать — есть смертного удел.
Блеснул кровавый меч в неукротимой длани
Коварством, дерзостью венчанного царя.
Восстал вселенной бич — и вскоре лютой брани
Зарделась грозная заря.

И быстрым понеслись потоком
Враги на русские поля.
Пред ними мрачна степь лежит во сне глубоком,
Дымится кровию земля;
И селы мирные, и грады в мгле пылают,
И небо заревом оделося вокруг,
Леса дремучие бегущих укрывают,
И праздный в поле ржавит плуг.

Идут — их силе нет препоны,
Всё рушат, всё свергают в прах,
И тени бледные погибших чад Беллоны,
В воздушных съединясь полках,
В могилу мрачную нисходят непрестанно,
Иль бродят по лесам в безмолвии ночи...
Но клики раздались!.. Идут в дали туманной...
Звучат кольчуги и мечи!

Страшись, о рать иноплеменных!
России двинулись сыны;
Восстаи и стар и млад: летят на дерзновенных,
Сердца их мщением возжены. —
Вострепещи, тиран! уж близок час паденья!
Ты в каждом ратнике узришь богатыря;
Их цель иль победить, иль пасть в пылу сраженья
За веру, за царя.

Ретивы кони бранью пышат,
Усеян ратниками дол,
За строем строй течет; все мезью, славой дышат,
Восторг во грудь их перешел.
Летят на грозный пир; мечам добычи ищут,
И се — пылает брань; на холмах гром гремит,
В сгущенном воздухе с мечами стрелы свищут.
И брызжет кровь на щит.

Сразились. Русский — победитель!
И вепять бежит надменный галл,
Но сильного в боях небесный вседержитель
Лучом последним увенчал;
Не здесь его сразил воитель поседелый.
О бородинские кровавые поля!

Не вы неистовству и гордости пределы.
Убы! на башнях галл Кремля!..

Края Москвы, края родные,
Где на заре цветущих лет
Часы беспечности я тратил золотые,
Не зная горестей и бед,
И вы их видели, врагов моей отчизны,
И вас багрила кровь и пламень пожирал!
И в жертву не принес я мщенья вам и жизни...
Вотще лишь гневом дух пылал!

Где ты, краса Москвы стоглавой,
Родимой прелесть стороны?
Где прежде взору град являлся величавый,
Развалины теперь одни.
Москва! сколь русскому твой зрак унылый страшен,
Исчезли здания вельможей и царей,
Всё пламень истребил. Венцы затмились башен,
Чертоги пали богачей.

И там, где роскошь обитала,
В сенистых рощах и садах,
Где мирт благоухал, и липа трепетала,
Там ныне угли, пепел, прах.
В часы безмолвные прекрасной, летней нощи
Веселье шумное туда не полетит,
Не блещут уж в огнях берега и светлы рощи;
Всё мертво, всё молчит.

Утешься, мать градов России,
Возри на гибель пришлеца.
Отяготела днесь на их надменны выи
Десница мстящая творца.
Взгляни: они бегут, озреться не дерзают,
Их кровь не престаёт в снегах реками течь;
Бегут — и в тьме ночной их глад и смерть сретают,
А с тыла гонит россов меч.

О вы, которых трепетали
Европы сильны племена,

О галлы хищные! и вы в могилы пали.

О страх, о грозны времена,
Где ты, любимый сын и счастья и Беллоны,
Презревший правды глас, и веру, и закон,
В гордыне возмечтав мечом низвергнуть троны?
Исчез, как утром страшный сон!

В Париже рос! Где факел мщенья?
Поникни, Галлия, главой!
Но что я зрю? Герой с улыбкой примиренья
Грядет с оливою златой.
Еще военный гром грохочет в отдаленье,
Москва в унынии, как степь в полнощной мгле,
А он — несет врагу не гибель, но спасенье
И благотворный мир земле.

Достойный внук Екатерины!
Почто небесных аонид,
Как наших дней певец, славянской бард дружины,
Мой дух восторгом не горит!
О, если б Аполлон пиитов дар чудесный
Влиял мне ныне в грудь! тобою восхищен,
На лире б возгремел гармонией небесной
И воссиял во тьме времен!

О скальд России вдохновенный,
Воспевший ратных грозный строй!
В кругу друзей твоих, с душой воспламененной,
Взгреми на арфе золотой.
Да снова стройный глас герою в честь прольется,
И струны трепетны посыпят огонь в сердца,
И ратник молодой вскипит и содрогнется
При звуках бранного певца.

РОМАНС

Под вечер, осенью ненастной,
В далеких дева шла местах
И тайный плод любви несчастной
Держала в трепетных руках.

Всё было тихо — лес и горы.
Всё спало в сумраке ночном;
Она внимательные взоры
Водила с ужасом кругом.

И на невинное творенье,
Вздохнув, остановила их...
«Ты спишь, дитя, мое мученье,
Не знаешь горестей моих —
Откроешь очи и тоскуя
Ко груди не прильнешь моей,
Не встретишь завтра поцелуя
Несчастной матери твоей.

Ее манить напрасно будешь!
Стыд вечный мне вина моя —
Меня навеки ты забудешь...
Тебя не позабуду я;
Дадут покров тебе чужие
И скажут: «Ты для нас чужой!»
Ты спросишь: «Где ж мои родные?»
И не найдешь семьи родной!

Мой ангел будет грустной думой
Томиться меж других детей! —
И до конца с душой угрюмой
Взирать на ласки матерей;
Повсюду странник одинокий,
Предел неправедный кляня,
Услышит он упрек жестокий...
Прости, прости тогда меня...

Быть может, сирота унылый,
Узнаешь, обоймешь отца.
Увы, где он, предатель милый,
Мой незабвенный до конца? —
Утешь тогда страдальца муки,
Скажи: ее на свете нет —
Лаура не снесла разлуки
И бросила пустынный свет.

Но что сказала я?.. быть может
Виновную ты встретишь мать —
Твой скорбный взор меня встревожит!
Возможно ль сына не узнать?
Ах, если б рок неумолимый
Моею тронулся мольбой...
Но может быть пройдешь ты мимо —
Навек рассталась я с тобой.

Ты спишь — позволь себя, несчастный,
К груди прижать в последний раз.
Закон неправедный, ужасный
К страданью присуждает нас.
Пока лета не отогнали
Беспечной радости твоей —
Спи, милый! горькие печали
Не тронут детства тихих дней!»

Но вдруг за рощей осветила
Вблизи ей хижину луна...
С волненьем сына ухватила
И к ней приблизилась она;
Склонилась, тихо положила
Младенца на порог чужой,
Со страхом очи отвратила
И скрылась в темноте ночью,

* СТАРИК

Уж я не тот любовник страстный,
Кому дивился прежде свет:
Моя весна и лето красно
Навек прошли, пропал и след.
Амур, бог возраста молодого!
Я твой служитель верный был;
Ах, если б мог родиться снова,
Уж так ли б я тебе служил!

ГОРОДОК

K***

Прости мне, милый друг,
Двухлетнее молчанье;
Писать тебе посланье
Мне было недосуг.
На тройке пренесенный
Из родины смиренной
В великий град Петра,
От утра до утра
Два года всё кружился
Без дела в хлопотах,
Зевая веселился
В театре, на пирах;
Не ведал я покоя,
Увы! ни на часок,
Как будто у налоя
В великий четверток
Измученный дьячок.

Но слава, слава богу!
На ровную дорогу
Я выехал теперь;
Уж вытолкал за дверь
Заботы и печали,
Которые играли,
Стыжусь, столь долго мной;
И в тишине святой
Философом ленивым,
От шума вдалеке,
Живу я в городке,
Безвестностью счастливом.
Я нанял светлый дом,
С диваном, с камельком;
Три комнатки простые —
В них злата, бронзы нет,
И ткани выписные
Не кроют их паркет.
Окошки в сад веселый,
Где липы престарелы
С черемухой цветут;
Где мне в часы полдневны
Березок своды темны
Прохладну сень дают;
Где ландыш белоснежный
Сплелся с фиалкой нежной,
И быстрый ручеек,
В струях неся цветок,
Невидимый для взора,
Лепечет у забора.
Здесь добрый твой поэт
Живет благополучно;
Не ходит в модный свет;
На улице карет
Не слышит стук докучный;
Здесь грома вовсе нет;
Лишь изредка телега
Скрышит по мостовой,
Иль путник, в домик мой
Пришед искать ночлега,
Дорожною клюкой
В калитку постучится...

Блажен, кто веселится
В покое, без забот,
С кем втайне Феб дружится
И маленький Эрот;
Блажен, кто на просторе
В укромном уголке
Не думает о горе,
Гуляет в колпаке,
Пьет, ест, когда захочет,
О госте не хлопочет!
Никто, никто ему
Лениться одному
В постеле не мешает;
Захочет — аонид
Толпу к себе сзывает;
Захочет — сладко спит,
На *Рифмова* склоняясь
И тихо забываясь.
Так я, мой милый друг,
Теперь расположился;
С толпой бесстыдных слуг
Навеки распростился;
Укрывшись в кабинет,
Один я не скучаю
И часто целый свет
С восторгом забываю.
Друзья мне — мертвецы,
Парнасские жрецы;
Над полкою простою
Под тонкою тафтою
Со мной они живут.
Певцы красноречивы,
Прозаики шутливы
В порядке стали тут.
Сын Мома и Минервы,
Фернейский злой крикун,
Поэт в поэтах первый,
Ты здесь, седой шалун!
Он Фебом был воспитан,
Издетства стал пивит;
Всех больше перечитан,
Всех менее томит;

Соперник Еврипида,
Эраты нежный друг,
Арьоста, Тасса внук —
Скажу ль?.. отец Кандида —
Он всё, везде велик
Единственный старик!
На полке за Вольтером
Виргилий, Тасс с Гомером.
Все вместе предстоят.
В час утренний досуга
Я часто друг от друга
Люблю их отрывать.
Питомцы юных граций —
С Державным потом
Чувствительный Гораций
Является вдвоем.
И ты, певец любезный,
Поэзией прелестной
Сердца привлечший в плен,
Ты здесь, лентяй беспечный,
Мудрец простосердечный,
Ванюша Лафонтен!
Ты здесь — и Дмитриев нежный,
Твой вымысел любя,
Нашел приют надежный
С Крыловым близ тебя.
Но вот наперсник милый
Психеи златокрылой!
О добрый Лафонтен,
С тобой он смел сразиться..
Коль можешь ты дивиться,
Дивись: ты побежден!
Воспитанны Амуром
Вержье, Парни с Грекуром
Укрылись в уголок.
(Не раз они выходят
И сон от глаз отводят
Под зимний вечерок.)
Здесь Озеров с Расином,
Руссо и Карамзин,
С Мольером-исполином
Фонвизини и Княжнин.

За ними, хмурясь важно,
Их грозный Аристарх
Является отважно
В шестнадцати томах.
Хоть страшно стихоткачу
Лагарпа видеть вкус,
Но часто, признаюсь,
Над ним я время трачу.

Кладбище обрели
На самой нижней полке
Все школьнически толки,
Лежащие в пыли;
Визгова сочиненья,
Глугона псалмопенья,
Известные творенья
Увы! одним мышам.
Мир вечный и забвенье
И прозе и стихам!
Но ими огражденну
(Ты должен это знать)
Я спрятал потаенну
Сафьянную тетрадь.
Сей свиток драгоценный,
Веками сбереженный,
От члена русских сил,
Двоюродного брата,
Драгунского солдата
Я даром получил.
Ты, кажется, в сомненья...
Нетрудно отгадать;
Так, это сочиненья,
Презревшие печать.
Хвала вам, чады славы,
Враги парнасских уз!
О князь, наперсник муз,
Люблю твои забавы;
Люблю твой колкий стих
В посланиях твоих,
В сатире — знанье света
И слога чистоту,

И в резвости куплета
Игриву остроту.
И ты, насмешник смелый,
В ней место получил,
Чей в аде свист веселый
Поэтов раздражил,
Как в юношески леты
В волнах туманной Леты
Их гуртом потопил;
И ты, замысловатый
Буянова певец,
В картинах толь богатый
И вкуса образец;
И ты, шутник бесценный,
Который Мельпомены,
Котурны и кинжал
Игривой Талье дал!
Чья кисть мне нарисует,
Чья кисть скомпанирует
Такой оригинал!
Тут вижу я с *Чернавкой*
Подципа слезы льет;
Здесь князь дрожит под лавкой,
Там дремлет весь совет;
В трагическом смятеньи
Плененные цари,
Забыв войну, сраженьи,
Играют в кубари...
Но назову ль детину,
Что доброю порой
Тетради половину
Наполнил лишь собой!
О ты, высот Парнаса
Боярин небольшой,
Но пылкого Пегаса
Наездник удалой!
Намаранские оды,
Убранство чердаков,
Гласят из рода в роды:
Велик, велик — Свистов!
Твой дар ценить умею,
Хоть право не знаток;

Но здесь тебе не смею
Хвалы сплетать венки;
Свистовским должно слогом
Свистова воспевать;
Но, убирайся с богом,
Как ты, в том клясться рад,
Не стану я писать.

О вы, в моей пустыне
Любимые творцы!
Займите же отныне
Беспечности часы.
Мой друг! Весь день я с ними,
То в думу углублен,
То мыслями своими
В Элизий пренесен.
Когда же на закате
Потонет в ярком злате,
И светлые цари
Смеркающейся ночи
Плывут по небесам,
И тихо дремлют рощи,
И порох по лесам, —
Мой гений невидимкой
Летает надо мной;
И я в тиши ночной
Сливаю голос свой
С пастушьёю волынкой.
Ах! счастлив, счастлив тот,
Кто лиру в дар от Феба
Во цвете дней возьмет!
Как смелый житель неба,
Он к солнцу воспарит,
Превыше смертных станет,
И слава громко грянет:
«Бессмертен ввек пийт!»

Но ею мне ль гордиться,
Но мне ль бессмертьем льститься?..
До слез я спорить рад,

Не бьюсь лишь об заклад,
Как знать, и мне, быть может,
Печать свою наложит
Небесный Аполлон;
Сияя горним светом,
Бестрепетным полетом
Взлечу на Геликон.
Не весь я предан тленью;
С моей, быть может, тенью
Полунощной порой
Сын Феба молодой,
Мой правнук просвещенный,
Беседовать придет
И мною вдохновенный
На лире вздохнет.

Покамест, друг бесценный,
Камином освещенный,
Сажу я под окном
С бумагой и с пером;
Не слава предо мною,
Но дружбою одною
Я ныне вдохновен.
Мой друг, я счастлив ею.
Почто ж ее сестрой,
Любовию младой,
Напрасно пламенею?
Иль юности златой
Вотще даны мне розы,
И лить навеки слезы
В юдоли, где расцвел, ---
Мой горестный удел?..
Певца сопутник милый,
Мечтанье легкокрыло:
О, будь же ты со мной,
Дай руку сладострастью
И с чашей круговой
Веди меня ко счастью
Забвения тропой;
И в час безмолвной ночи,
Когда ленивый мак
Покроет томны очи,

На ветреных крылах
Примчись в мой домик тесный,
Тихонько постучись,
И в тишине прелестной
С любимцем обнимись!
Мечта! в волшебной сени
Мне милую яви,
Мой свет, мой добрый генкй,
Предмет моей любви,
И блеск очей небесный,
Ллющих огонь в сердца,
И граций стан прелестный,
И снег ее лица;
Представь, что на коленях
Покоясь у меня,
В порывистых томленьях
Склонилася она
Ко груди грудью страстной,
Устами на устах;
Горит лицо прекрасной,
И слезы на глазах!..
Почто стрелой незримой
Уже летишь ты вдаль?
Обманет — и пропал
Беглец невозвратимый!
Не слышит плач и стон,
И где крылатый сон?
Исчезнет обольститель,
И в сердце грусть-мучитель.

Но всё ли, милый друг,
Быть счастья в упоенье?
И в грусти томный дух
Находит наслажденье;
Люблю я в летний день
Бродить один с тоскою,
Встречать вечерню тень
Над тихою рекою
И с сладостной слезою
В даль сумрачну смотреть;
Люблю с моим Мароном
Под ясным небосклоном

Близ озера сидеть,
Где лебедь белоснежный,
Оставя знак прибрежный,
Любви и неги полн,
С подругою своею,
Закинув гордо шею,
Плывет во злате волн.
Или, для развлечения,
Оставя книг ученье,
В досужный мне часок
У добренькой старушки
Душистый пью чаек.
Не подхожу я к ручке,
Не шаркаю пред ней;
Она не приседает,
Но тотчас и вестей
Мне пропасть наболтает.
Газеты собирает
Со всех она сторон;
Всё сведает, узнает:
Кто умер, кто влюблен,
Кого жена по моде
Рогами убрала,
В котором огороде
Капуста цвет дала;
Фома свою хозяйку
Не за что наказал,
Автошка балалайку
Играя разломал, —
Старушка всё расскажет.
Меж тем как юбку вяжет,
Болтает всё свое;
А я сижу смиренно,
В мечтаньях углубленный,
Не слушая ее.
На рифмы удалого
Так некогда *Свистова*
В столице я внимал,
Когда свои творенья
Он с жаром мне читал.
Ах! видно, бог пытал
Тогда мое терпенье!

Иль добрый мой сосед,
Семидесяти лет,
Уволенный от службы
Майором отставным,
Зовет меня из дружбы
Хлеб-соль откусать с ним.
Вечернею пирушкой
Старик развеселясь,
За дедовскою кружкой
В прошедшем углубясь,
С очаковской медалью
На раненой груди,
Вспомнит ту баталью,
Где роты впереди
Летел навстречу славы,
Но встретился с ядром
И пал на дол кровавый
С булатным палашом.
Всегда я рад душою
С ним время провождать.
Но, боже, виноват!
Я каюсь пред тобою,
Служителей твоих,
Попов я городских
Боюсь, боюсь беседы
И свадебны обеды
Затем лишь не терплю,
Что сельских иереев,
Как папа иудеев,
Я вовсе не люблю,
А с ними крючковатый
Подьяческий народ,
Лишь взятками богатый
И ябеды оплот.
Но, друг мой, если вскоре
Увижусь я с тобой,
То мы уходим горе
За чашей круговой;
Тогда, клянусь богами
(И слово уж сдержу),
Я с сельскими попами
Молебен отслужу.

ВОДА И ВИНО

Люблю я в полдень воспаленный
Прохладу черпать из ручья
И в роще тихой, отдаленной
Смотреть, как плещет в брег струя.
Когда ж вино в края поскачет,
Напелясь в чаше круговой,
Друзья, скажите, — кто не плачет,
Заране радуясь душой?

Да будет проклят дерзновенный,
Кто первый грешною рукой,
Нечестьем буйным ослепленный,
О, страх!.. смешил вино с водой!
Да будет проклят род злодея!
Пускай не в силах будет пить
Или, стаканами владея,
Лафит с цымлянским различить!

ИЗМЕНЫ

«Всё миновалось!
Мимо промчалось
Время любви.
Страсти мученья!
В мраке забвенья
Скрылися вы.
Так я премены
Сладость вкусил;
Гордой Елены
Цепи забыл.
Сердце, ты в воле!
Всё позабуди.
В новой сей доле
Счастливо будь.
Только весною
Зэфир младую
Розой пленен;
В юности страстной

Был я прекрасной
В сеть увлечен.
Нет, я не буду
Впредь воздыхать,
Страсть позабуду:
Полно страдать!
Скоро печали
Встречу конец.
Ах! для тебя ли,
Юный перец,
Прелесть Елены
Розой цветет?..
Пусть весь народ,
Ею прельщенный,
Вслед за мечтой
Мчится толпой;
В мирном жилище,
На пепелище,
В чаше простой
Стану в смиренье
Черпать забвенья
И — для друзей
Резвой рукою
Двигать струною
Арфы моей».

В скучной разлуке
Так я мечтал,
В горести, в муке
Себя услаждал;
В сердце возженный
Образ Елены
Мнил истребить.
Прошлой весной
Юную Хлою
Вздумал любить.
Как ветерочек
Ранней порой
Гонит листочек
С резвой волной,
Так непрестанно
Непостоянный

Страстью играл,
Лилу, Темиру,
Всех обожал,
Сердце и лиру
Всем посвящал. —
Что же? — напрасно
С груди прекрасной
Шаль я срывал.
Тщетны измены!
Образ Елены
В сердце пылал!
Ах! возвратися,
Радость очей,
Хладна, тронися
Грустью моей. —
Тщетно взывает
Бедный певец!
Нет! не встречает
Мукам конец...
Так до могилы
Грустен, унылый,
Крова ищи!
Всеми забытый,
Терном увиты
Цепи влачи...

* ЛИЦИНИЮ

Лициний, зришь ли ты: на быстрой колеснице,
Вежанный лаврами, в блестящей багрянице,
Спесиво развалиясь, Ветулий молодой
В толпу народную летит по мостовой?
Смотри, как все пред ним смиренно спину клонят;
Смотри, как ликторы народ несчастный гонят!
Льстецов, сенаторов, прелестниц длинный ряд
Умильно вслед за ним стремится усердный взгляд:
Ждут, ловят с трепетом улыбки, глаз движенья,
Как будто дивного богов благословенья;
И дети малые и старцы в сединах,
Все ниц пред идолом безмолвно пали в прах:

Для них и след колес, в грязи напечатленный,
 Есть некий памятник почетный и священный.
 О Ромулов народ, скажи, давно ль ты пал?
 Кто вас поработил и властью оковал?
 Квириты гордые под иго преклонились.
 Кому ж, о небеса, кому поработились?
 Скажу ль? Ветулию! Отчизны стыд моей,
 Развратный юноша воссел в совет мужей;
 Любимец деспота сенатом слабым правит,
 На Рим простер ярем, отечество бесславит;
 Ветулий римлян царь!.. О стыд, о времена!
 Или вселенная на гибель предана?
 Но кто под портиком, с понекшею главою,
 В изорванном плаще, с дорожною клискою,
 Сквозь шумную толпу нахмуренный идет?
 «Куда ты, наш мудрец, друг истины, Дамет!» —
 «Куда: не знаю сам; давно молчу и вижу;
 Навек оставлю Рим: я рабство ненавижу».
 Лициний, добрый друг! Не лучше ли и нам,
 Смиренно поклонясь Фортуне и мечтам,
 Седого циника примером научиться?
 С развратным городом не лучше ль нам проститься,
 Где всё продажное: законы, правота,
 И консул, и трибун, и честь, и красота?
 Пускай Глицерия, красавица младая,
 Равно всем общая, как чаша круговая,
 Неопытность других в наемну ловит сеть!
 Нам стыдно слабости с морщинами иметь;
 Тщеславной юности оставим блеск веселий:
 Пускай бесстыдный Клит, слуга вельмож

Корнелий,

Торгуют подлостью и с дерзостным челом
 От знатных к богачам ползут из дома в дом!
 Я сердцем римлянин; кипит в груди свобода;
 Во мне не дремлет дух великого народа.
 Лициний, поспешим далеко от забот,
 Безумных мудрецов, обманчивых красот!
 Завистливой судьбы в душе презрев удары,
 В деревню пренесем отеческие лары!
 В прохладе древних роц, на берегу морском
 Найти нетрудно нам укромный, светлый дом,
 Где, больше не страшась народного волненья,

Под старость отдохнем в глуши уединенья,
И там, расположась в уютном уголке,
При дубе пламенном, возженном в камельке,
Вспомнив старину за дедовским фиалом,
Свой дух воспламеню жестоким Ювеналом,
В сатире праведной порок избражу
И нравы сих веков потомству обнажу.
О Рим, о гордый край разврата, злодеянья!
Придет ужасный день, день мщенья, наказанья.
Предвижу грозного величия конец:
Падет, падет во прах вселенныя венец.
Народы юные, сыны свирепой брани,
С мечами на тебя подымут мощны длани,
И горы, и моря оставят за собой
И хлынут на тебя кипящею рекой.
Исчезнет Рим; его покроет мрак глубокий;
И путник, устремив на груди камней око,
Воскликнет, в мрачное раздумье углублен:
«Свободой Рим возрос, а рабством погублен».

БАТЮШКОВУ

В пещерах Геликона
Я некогда рожден;
Во имя Аполлона
Тибуллом окрещен
И, светлой Ипокреной
С издетства напоенный,
Под кровом вешних роз
Поэтом я возрос.

Веселый сын Эрмия
Ребенка полюбил,
В дни резвости златые
Мне дудку подарил.
Знакомясь с нею рано,
Дудил я непрестанно;
Нескладно хоть играл
Но музам не сучал.

А ты, певец забавы
И друг пермесских дев,
Ты хочешь, чтобы, славы
Стезю полетев,
Простясь с Анакреоном,
Спешил я за Мароном
И пел при звуках лир
Войны кровавый пир.

Дано мне мало Фебом:
Охота, скудный дар.
Пою под чуждым небом,
Вдали домашних лар,
И, с дерзостным Икаром
Страпась летать, не даром
Бреду своим путем:
Будь всякий при своем.

НАПОЛЕОН НА ЭЛЬБЕ

(1815)

Вечерняя заря в пучине догорала,
Над мрачной Эльбою носилась тишина,
Сквозь тучи бледные тихонько пробегала
Туманная луна;
Уже на западе седой, одетый мглою,
С равниной синих вод сливался небосклон.
Один во тьме ночной над дикою скалою
Сидел Наполеон.
В уме губителя теснились мрачны думы,
Он новую в мечтах Европе цепь ковал
И, к дальним берегам возведши взор угрюмый,
Свирепо прошептал:
«Вокруг меня всё мертвым сном почило,
Легла в туман пучина бурных волн,
Не выплывет ни утлый в море челн,
Ни гладный зверь не взвоят над могилой —
Я здесь один, мятежной думы полн...
О, скоро ли, напелясь под рулями,
Меня помчит покорная волна,

И спящих вод прервется тишина?..
Волнуйся, ночь, над эльбскими скалами!
Мрачнее тмись за тучами, луна!
Там ждут меня бесстрашные дружины,
Уже сошлись, уже сомкнуты в строй!
Уж мир лежит в оковах предо мной!
Прейду я к вам сквозь черные пучины
И гряну вновь погибельной грозой!
И вспыхнет брань! за галльскими орлами
С мечом в руках победа полетит,
Кровавый ток в долинах закипит,
И троны в прах низвергну я громами
И сокрушу Европы дивный щит!..
Но вокруг меня всё мертвым сном почило,
Легла в туман пучина бурных волн,
Не выплывет ни утлый в море челн,
Ни гладный зверь не вззоет над могилой —
Я здесь один, мятежной думы полн...

О счастье! злобный обольститель,
И ты, как сладкий сон, сокрылось от очей,
Средь бурей тайный мой хранитель
И верный пестун с юных дней!
Давно ль невидимой стезею
Меня ко трону ты вело
И скрыло дерзостной рукою
В венцах лавровое чело!
Давно ли с трепетом народы
Несли мне робко дань свободы,
Знамена чести преклоня;
Дымилась грома вокруг меня,
И слава в блеске над главою
Неслась, прикрыв меня крылом?..
Но туча грозная нависла над Москвою,
И грянул мести гром!..
Полночи царь младой! ты двинул ополченья,
И гибель влелед пошла кровавым знаменам,
Отозвалось могущего паденье,
И мир земле, и радость небесам,
А мне — позор и заточенье!
И раздроблен мой звонкий щит,
Не блещет шлем на поле браней;

В прибрежном злаке меч забыт
И тускнет на тумане.
И тихо всё кругом. В безмолвии ночей
Напрасно чудится мне смерти завыванье,
И стук блистающих мечей,
И падших ярое стенанье —
Лишь плещущим волнам внимает жадный слух.
Умолк сражений клик знакомый,
Вражды кровавой гаснут громы,
И факел мщенья потух.
Но близок час! грядет минута роковая!
Уже летит ладья, где грозный трон сокрыт;
Кругом простерта мгла густая,
И, взором гибели сверкая,
Бледнеющий мятеж на палубе сидит.
Страшись, о Галлия! Европа! мщенье, мщенье!
Рыдай — твой бич восстал — и всё падет во прах,
Всё сгибнет — и тогда, в всеобщем разрушенье,
Царем воссяду на гробах!»

Умолк. На небесах лежали мрачны тени,
И месяц, дальних туч покинув темны сени,
Дрожащий, слабый свет на запад изливал;
Восточная звезда играла в океане,
И зрелась ладья, бегущая в тумане,
Под сводом эльбских грозных скал.
И Галлия тебя, о хищник, осенила;
Побегли с трепетом законные цари.
Но зришь ли? Гаснет день, мгновенно тьма сокрыла
Лицо пылающей зари,
Простерлась тишина над бездною седою,
Мрачится неба свод, гроза во мгле висит,
Всё смолкло... Трепещи! погибель над тобою,
И жребий твой еще сокрыт!

К ПУЩИНУ

4 мая

Любезный именник,
О Пущин дорогой!
Прибрел к тебе пустынный
С открытою душой.

С пришельцем обнимися,
Но доброго певца
Встречать не суетися
С парадного крыльца:
Он гость без этикета,
Не требует привета
Лукавой суеты.
Прими ж его лобзанья
И чистые желанья
Сердечной простоты!
Устрой гостям пирушку;
На столик воцаной
Поставь пивную кружку
И кубок пуншевой.
Старинный собутыльник!
Забудемся на час.
Пускай ума светильник
Погаснет ныне в нас,
Пускай старик крылатый
Летит на почтовых!
Нам дорог миг утраты
В забавах лишь одних.

Ты счастлив, друг сердечный;
В спокойствии златом
Течет твой век беспечный,
Проходит день за днем,
И ты в беседе граций,
Не зная черных бед,
Живешь, как жил Гораций,
Хотя и не поэт.
Под кровом небогатым
Ты вовсе не знаком
С зловещим Гипократом,
С нахмуренным попом;
Не видишь у порогу
Толпящихся забот;
Нашли к тебе дорогу
Веселость и Эрот;
Ты любишь звон стаканов
И трубки дым густой,
И демон метроманов

Не властвует тобой.
Ты счастлив в этой доле.
Скажи, чего же боле
Мне другу пожелать?
Придется замолчать...

Дай бог, чтоб я, с друзьями
Встречая сотый май,
Покрытый сединами,
Сказал тебе стихами:
Вот кубок; наливай!
Веселье! будь до гроба
Сопутник верный наш,
И пусть умрем мы оба
При стуке полных чаш!

* К ГАЛИЧУ

Когда печальный стихотвор,
Венчанный маком и крапивой,
На лире скучной и ретивой
Хвалебный напевая вздор,
Зовет обедать генерала, —
О Галич, верный друг бокала
И жирных утренних пиров,
Тебя зову, мудрец ленивый,
В приют поэзии счастливой,
Под отдаленный неги кров.

В тебе трудиться нет охоты.
Садись на тройку злых коней.
Оставь Петрополь и заботы,
Лети в счастливый городок,
Зайди в мой мирный уголок,
И с громом двери на замок
Запрет веселье молодое,
Явится на столе пирог,
И хлынет пиво золотое!

О Галич, близок, близок час
Когда, послыша славы глас,

Покину кельи кров пустынный,
Забыв волшебный свой Парнас,
Златой досуг и мир невинный.
Татарский сброшу свой халат;
Простите, девственные музы!
Прости, предел младых отрад! — —
Надену узкие рейтузы,
Завью в колечки гордый ус,
Заблещет пара эполетов,
И я, питомец важных муз,
В кругу пирующих корнетов!
О Галич, Галич! поспешай!
Тебя зовут досуг ленивый,
И друг ни скромный, ни спесивый,
И кубок полный через край.

МЕЧТАТЕЛЬ

По небу крадется луна,
На холме тьма седеет,
На воды пала тишина,
С долины ветер веет;
Молчит певица вешних дней
В пустыне темкой рощи,
Стада почили средь полей,
И тих полет полнощи;

И мирный неги уголок
Ночь сумраком одела,
В камине гаснет огонек,
И свечка нагорела;
Стоит богов домашних лик
В кивоте небогатом,
И бледный теплится ночник
Пред глиняным пенатом.

Главою на руку склонен,
В забвении глубоком,
Я в сладки думы погружен
На ложе одиноком;

С волшебной ночи темной,
При месячном сияньи,
Слетают резвою толпой
Крылатые мечтаны,

И тихий, тихий льется глас;
Дрожат золотые струны.
В глухой, безмолвный мрака час
Поет мечтатель юный;
Исполнен тайною тоской,
Молчаньем вдохновенный,
Летает резвою рукой
На лире оживленной.

Блажен, кто в низкий свой шалаш
В мольбах не просит счастья!
Ему Зевес надежный страж
От грозного ненастья;
На маках лени, в тихий час,
Он сладко засыпает,
И бранных труб ужасный глас
Его не пробуждает.

Пускай, удара в звучный щит
И с видом дерзновенным,
Мне Слава издали грозит
Перстом окровавленным,
И бранны вьются знамена,
И пышет бой кровавый —
Прелестна сердцу тишина;
Нейду, нейду за Славой.

Нашел в глуши я мирный кров
И дни веду смиренно;
Дана мне лира от богов,
Поэту дар бесценный;
И Муза верная со мной;
Хвала тебе, богиня!
Тобою красен домик мой
И дикая пустыня.

На слабом утре дней златых
Певца ты осеняла,
Венком из миртов молодых
Чело его покрыла
И, горним светом озарясь,
Влетала в скромну келью
И чуть дышала, преклонясь
Над детской колыбелью.

О, будь мне спутницей младой
До самых врат могилы!
Летай с мечтаньем надо мной,
Расправя легки крылы;
Гоните мрачную печаль,
Пленяйте ум... обманом,
И милой жизни светлу даль
Кажите за туманом!

И тих мой будет поздний час;
И смерти добрый гений
Шепнет, у двери постучась:
«Пора в жилище теней!..»
Так в зимний вечер сладкий сон
Приходит в мирны сени,
Венчанный маком и склонен
На посох томной лени...

ВОСПОМИНАНИЕ

(к пущину)

Помнишь ли, мой брат по чаше,
Как в отрадной тишине
Мы топили горе наше
В чистом, пеннистом вине?

Как, укрывшись молчаливо
В нашем тесном уголке,
С Вакхом нежились лениво,
Школьной стражи вдалеке?

Помнишь ли друзей шептанье
Вкруг бокалов пуншевых,
Рюмок грозное молчанье,
Пламя трубок грошевых!

Закипев, о, сколь прекрасно
Токи дымные текли!..
Вдруг педанта глас ужасный
Нам послышался вдали...

И бутылки вмиг разбиты,
И бокалы все в окно —
Всюду по полу разлиты
Пунш и светлое вино.

Убегаем торопливо —
Вмиг исчез минутный страх!
Щек румяных цвет игривый,
Ум и сердце на устах,

Хохот чистого веселья,
Неподвижный, тусклый взор
Изменяли час похмелья,
Сладкий Вакха заговор.

О друзья мои сердечны!
Вам клянуса, за столом
Всякий год, в часы беспечны
Поминать его вином.

К НЕЙ

Эльвина, милый друг, приходи, подай мне руку.
Я вяну, прекрати тяжелый жизни сон;
Скажи, увижу ли... на долгую ль разлуку
Я роком осужден?

Ужели никогда на друга друг не взглянет?
Иль вечной темнотой покрыты дни мои?
Ужели никогда нас утро не застанет
В объятиях любви?

Эльвина, почему в часы глубокой ночи
Я не могу тебя с весельем обнимать,
На милую стремить томленья полны очи
И страстью трепетать?

И в радости немой, в восторгах наслажденья
Твой шопот сладостный и тихий стон внимать
И тихо в скромной тьме для неги пробужденья
Близ милой засыпать?

ПОСЛАНИЕ К ГАЛИЧУ

Где ты, ленивец мой?
Любовник наслажденья!
Ужель уединенья
Не мил тебе покой?
Ужели мне с тобой
Лишь помощью бумаги
Минуты провождать
И больше не видать
Парнасского бродяги?
На Пинде мой сосед,
И ты от муз укрылся;
Минутный домосед,
С пенатами простился!
Уж темный уголок
И садик опустели,
Где мы под вечерок
За рюмками шумели;
Где Ком нас угощал
Форелью, пирогами,
И пенистый бокал
Нам Бахус подавал.
Бегут за днями дни
Без дружеских собраний;
Веселых пирований
Веселые сыны
С тобой разлучены;
И шумные беседы



Пушкин—лицеист
Гравюра Е. Гейтмана

И долгие обеды
Не столь оживлены.
Один в каморке тесной
Вечерней тишиной
Хочу, мудрец любезный,
Беседовать с тобой.
Уж темна ночь объемлет
Брега спокойных вод;
Мурлыча, в келье дремлет
Спесивый, старый кот.
Покамест сон прелестный,
Под сенью тихих крил;
В обители безвестной
Меня не усыпил,
Морфея в ожиданье
В постеле я лежу
И беглое посланье
Без строгого старанья
Предателю пишу.
Далече той станицы,
Где Фебовы сестрицы
Мне с негой выют досуг,
Скажи — среди столицы
Чем занят ты, мой друг?
Ужель приют поэта
Теперь средь вихря света,
Вдали родных полей
И ближних, и друзей?
Ужель в театре шумном,
Где дюжий Аполлон
Партером полуумным
Прославлен, оглушен,
Измученный напевом
Бессмысленных стихов,
Ты спишь под страшным ревом
Антеров и смычков?
Или, мудрец придворный,
С улыбкою притворной
Пред лентою цветной
Поникнув головой,
С вертушкой слепой
Знакомиться желаешь?

Иль Креза за столом
В куплете заказном
Трусливо величаешь?..
Нет, добрый Галич мой!
Поклону ты не сроден.
Друг мудрости прямой
Правдив и благороден;
Он любит тишину;
Судьбе своей послушный,
На барскую казну
Взирает равнодушно;
Рублям откупщика
Смеясь веселым часом,
Не снимет колпака
Философ пред Мидасом.
Пускай не дружен он
С Фортуною коварной,
Но Вакхом награжден
Философ благодарный,
Когда сей бог молодой
Вечернею порой
Лафит и грог янтарный
С улыбкой на устах
В стекле ему подносит
И каплю выпить просит,
Качаясь на ногах.
Мечтанье обнимая,
Любовь его ведет,
И дружба молодая
Венки ему плетет.
И счастлив он, признаться,
На деле, не в мечтах,
Когда минуты мчатся
Веселья на крылах;
Когда друзья-поэты
С утра до ночи с ним
Шумят, поют куплеты,
Пьют *мозель* разогретый,
Прятелям своим
Послания читают
И трубку разжигают
Безрифанным лихим!..

Оставь же город скучный,
С друзьями съединись
И с ними неразлучно
В пустыне уживись.
Беги, беги столицы,
О Галич мой, сюда!
Здесь розовой денницы
Не видя никогда,
Ленясь под одеялом,
С тибурским мудрецом
Мы часто за бокалом
Проснемся — и заснем.
Смотри: тебе в награду
Наш Дельвиг, наш поэт,
Несет свою балладу,
И стансы винограду,
И к лилии куплет;
И полон становится
Твой малый, тесный дом;
Вот с милым остряком
Наш песельник тащится
По лестнице с гудком,
И все к тебе нагрянем —
И снова каждый день
Стихами, прозой станем
Мы гнать печали тень.
Подруги молодые
Нас будут посещать;
Нам жизни дни златые
Не страшно расточать.
Поделится с забавой
Мы веком остальным,
С волшебницею-славой
И с Вакхом молодым.

МОЯ ЭПИТАФИЯ

Здесь Пушкин погребен; он с Музой молодою,
С любовью, ленью провел веселый век,
Не делал доброго — однако ж был душою,
Ей-богу, добрый человек.

К ДЕЛЬВИГУ

Послушай, муз невинных
Лукавый духовник!
Жилец полей пустынных,
Поэтов грешный лик
Умножил я собою,
И я главой цоник
Пред милою мечтою;
Мой дядюшка-поэт
На то мне дал совет
И с музами сосватал.
Сначала я шалил,
Шутя стихи кроил,
А там их напечатал —
И вот теперь я брат
Бестолкову пустому,
Тому, сему, другому,
Да я ж и виноват!

Спасибо за посланье,
Но что мне пользы в том?
На грешника потом
Ведь станут в посмеянье
Указывать перстом!
Изменник! с Аполлоном
Ты, видно, заодно;
А мне прослыть Прадоном
Отныне суждено.
Везде беды застану!
Увы, мне, метроману,
Куда сокроюсь я?
Предатели-друзья
Невинное творенье
Украдкой в город шлют
И плод уединенья
Тисненью предают —
Бумагу убивают!
Поэта окружают
С улыбкой остряки.
«Ах! сударь, — мне сказали, —
Вы пишете стишки,

Увидеть их нельзя ли?
Вы в них изображали,
Конечно, ручейки,
Конечно, василечек,
Иль тихий ветерочек,
И рощи, и цветки...»

О Дельвиг! Начертали
Мне музы мой удел;
Но ты ль мои печали
Умножить захотел?
В объятиях Морфея
Беспечный дух лелея,
Еще хоть год один
Позволь мне полениться
И негой насладиться;
Я, право, неги сын!
А там, хоть нет охоты,
Но придут уж заботы
Со всех ко мне сторон;
И буду принужден
С журналами сражаться,
С газетой торговаться,
С Графовым восхищаться...
Помилуй, Аполлон!

*** РОЗА**

Где наша роза?
Друзья мои!
Увяла роза,
Дитя зари!
Не говори:
Так вянет младость!
Не говори:
Вст жизни радость!
Цветку скажи:
Прости! жалею...
И на лилею
Нам укажи.

**НА ВОЗВРАЩЕНИЕ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА
ИЗ ПАРИЖА В 1815 ГОДУ**

Утихла брань племен; в пределах отдаленных
Не слышен битвы шум и голос труб военных;
С небесной высоты, при звуке стройных лир,
На землю мрачную нисходит светлый мир.
Свершилось!.. Русский царь, достиг ты славной
цели!

Вотще надменные на родину летели;
Вотще впереди знамен бесчисленных дружин
В могущей дерзости венчанный исполин
На гибель грозно шел, влек цепи за собою:
Меч огненный блеснул за дымною Москвою!
Звезда губителя потухла в вечной мгле,
И пламенный венец померкнул на челе!
Содрогся счастья сын, и, брошенный судьбою,
Он землю русскую не взвидел под собою.
Бежит... и мести гром слетел ему вослед;
И с трона гордый пал... и вновь восстал... и нет!

Тебе, наш храбрый царь, хвала, благодаренье!
Когда полки врагов покрыли отдаленье,
Во броню ополчась, взложив пернатый шлем,
Колена преклонив пред вышним алтарем,
Ты браней меч извлек и клятву дал святую
От ига оградить страну свою родную.
Мы вняли клятве сей; и гордые сердца
В восторге пламенном летели вслед отца
И смертью роковой горели и дрожали;
И россы пред врагом твердыней грозной стали!..
«К мечам!» раздался клик, и вихрем понеслись;
Знамена, восшумев, по ветру развились;
Обнялся с братом брат; и милым дали руку
Младые ратники на грустную разлуку;
Сразились. Воспылал свободы ярый бой,
И смерть хватала их холодною рукой!..
А я... вдали громов, в сени твоей надежной...
Я тихо расцветал, беспечный, безмятежный!
Увы! мне не судил таинственный предел
Сражаться за тебя под градом вражьих стрел!..

Сыны Бородина, о кульмские герои!
Я видел, как на брань летели ваши строи;
Душой восторженной за братьями спешил.
Почто ж на бранный дол я крови не пролил?
Почто, сжимая меч младенческой рукою,
Покрытый ранами, не пал я пред тобою
И славы под крылом на утре не почил?
Почто великих дел свидетелем не был?
О, сколь величествен, бессмертный, ты явился,
Когда на сильного с сынами устремился,
И, челы приподняв из мрачности гробов,
Народы, падшие под бременем оков,
Тяжелой цепию с восторгом потрясали
И с робкой радостью друг друга вопрошали:
«Ужель свободны мы?.. Ужели грозный пал?..
Кто смелый? Кто в громах на севере восстал?..»
И ветхую главу Европа преклонила,
Царя-спасителя колена окружила
Освобожденною от рабских уз рукою,
И власть мятежная исчезла пред тобой!

И ныне ты к сынам, о царь наш, возвратился,
И край полуночи восторгом озарился!
Склони на свой народ смиренья полный взгляд —
Все лица радостью, любовью блещут.
Внемли — повсюду весть отрадная несется,
Повсюду гордый клик веселья раздастся;
По стогнам шум, везде сияет торжество,
И ты среди толпы, России божество!
Встречать вождя побед летят твои дружины.
Старик, счастливый век забыв Екатерины,
Взирает на тебя с безмолвною слезой.
Ты наш, о русский царь! оставь же шлем стальной
И грозный меч войны, и щит — ограду нашу.
Излей пред Янусом священну мира чашу,
И, брани сокрушив могущею рукою,
Вселенну осени желанной тишиной!..
И придут времена спокойствия златые,
Покроет шлемы ржа, и стрелы каленые,
В колчанах скрытые, забудут свой полет;
Счастливый селянин, не зная бурных бед,
По нивам повлечет плуг, миром изощренный;

Суда летучие, торговлей окриленны,
Кормами рассекут свободный океан,
И юные сыны воинственных славян
Спокойной праздности с досадой предадутся,
И молча некогда вокруг старца соберутся,
Преклонят жадный слух, и ветхим костылем
И стан, и ратный строй, и дальний бор с холмом
На прахе начертит он медленно пред ними,
Словами истины, свободными, простыми,
Им славу прошлых лет в рассказах оживит
И доброго царя в слезах благословит.

СЛЕЗА

Вчера за чашей пуншевою
С гусаром я сидел
И молча с мрачною душою
На дальний путь глядел.

«Скажи, что смотришь на дорогу? —
Мой храбрый спросил. —
Еще по ней ты, слава богу,
Друзей не проводил».

К груди поникнув головою,
Я скоро прошептал:
«Гусар! уж нет ее со мною!..» —
Вздыхнул — и замолчал.

Слеза повисла на реснице
И канула в бокал.
«Дитя, ты плачешь о девице,
Стыдись!» — он закричал.

«Оставь, гусар! ох! сердцу больно —
Ты, знать, не горевал,
Увы! одной слезы довольно,
Чтоб отравить бокал!..»

* * *

Угрюмых тройка есть певцов —
Шихматов, Шаховской, Шишков.
Уму есть тройка супостатов —
Шишков наш, Шаховской, Шихматов.
Но кто глупей из тройки злой?
Шишков, Шихматов, Шаховской!

МОЕМУ АРИСТАРХУ

Помилуй, трезвый Аристарх
Моих бахических посланий,
Не осуждай моих мечтаний
И чувства в ветреных стихах.
Плоды веселого досуга
Не для бессмертья рождены,
Но разве так сбережены,
Для самого себя, для друга,
Или для Хлои молодой.
Помилуй, сжался надо мной!
Не нужны мне твои уроки.
Я знаю сам свои пороки.
Конечно, беден гений мой:
За рифмой часто холостой,
На зло законам сочетанья,
Бегут трестопные толпой
На *аю*, *ает* и на *ой*.
Еще немногие признанья:
Я ставлю (кто же без греха?)
Пустые часто восклицанья
И сряду лишних три стиха;
Нехорошо, но оправданья
Нельзя ли скромно принести?
Мои летучие посланья
В потомстве будут ли цвести?
Не думай, цензор мой угрюмый,

Что я, беснуясь по ночам,
Окован стихотворной думой,
Покоем жертвую стихам,
Что, бегая по всем углам,
Ерошу волосы клоками,
Подобно Фебовым жрецам
Сверкаю грозными очами,
Едва дыша, нахмуря взор
И засветив свою лампаду,
За шаткий стол кряхтя засяду,
Сижу, сижу три ночи сряду
И высижу — трестопный вздор...
Так пишет (молвить не в укор)
Конюший дряхлого Пегаса,
Свистов, Хлыстов или Графов,
Служитель отставной Парнаса,
Родитель стареньких стихов
И од не слишком громозвучных,
И сказочек довольно скучных.

Люблю я праздность и покой,
И мне досуг совсем не бремя,
И есть и пить найду я время.
Когда ж нечаянной порой
Стихи кропать найдет охота
На славу дружбы иль Эрота,
Я мигом труд окончу свой.
Сижу ли с добрыми друзьями,
Лежу ль в постеле пуховой,
Брожу ль над тихими водами
В дубраве темной и глухой,
Задумаюсь — взмахну руками,
На рифмах вдруг заговорю
И никого уж не морю
Моими резвыми стихами...
Но ежели когда-нибудь,
Желая в неге отдохнуть,
Расположась перед камином,
Один, свободным господином,
Поймаю прежнюю мысль мою, —
То не для имени поэта

Мараю два иль три куплета
И их вполголоса пою.

Но знаешь ли, о мой гонитель,
Как я беседую с тобой?
Беспечный Пинда посетитель,
Я с Музой нежусь молодой...
Уж утра яркое светило
Поля и рощи озарило;
Давно пропели петухи;
Вполглаза дремля — и зевая,
Шапеля в песнях призывая,
Пишу короткие стихи,
Среди приятного забвенья
Склонясь в подушку головой,
И в простоте, без украшения,
Мои слагаю извиненья
Немного сонною рукой.
Под сенью лени неизвестной
Так нежился певец прелестный,
Когда Вер-Вера воспевал,
Или с улыбкой рисовал
В непринужденном упоеньи
Уединенный свой чердак.
В таком ленивом положеньи
Стихи текут и так и сяк.
Возможно ли в свое творенье,
Уняв веселых мыслей шум,
Тогда вперять холодный ум,
Отделкой портить небылицы,
Плоды бродящих резвых дум,
И сокращать свои страницы?

Анакреон, Шолье, Парни,
Враги труда, забот, печали,
Не так, бывало, в прежни дни
Своих любовниц воспевали.
О вы, любезные певцы,
Сыны беспечности ленивой!
Давно вам отданы венцы
От музы праздности счастливой,

Но не блестящие дары
Поэзии трудолюбивой.
На верх фессальския горы
Вели вас тайные извивы;
Веселых граций перст игривый
Младые лиры оживлял
И ваши челы обвивал
Детей пафосских рой шуточный.
И я, неопытный поэт,
Небрежный ваших рифм наследник,
За вами крадуся вослед...
А ты, мой скучный проповедник,
Умерь ученый вкуса гнев!
Поди, кричи, брани другого
И брось ленивца молодого,
Об нем тихонько пожалев.

* ГРОБ АНАКРЕОНА

Всё в таинственном молчаньи;
Холм оделся темнотою;
Ходит в облачном сияньи
Полумесяц молодой.
Вижу: лира над могилой
Дремлет в сладкой тишине;
Лишь порою звон унылый,
Будто лени голос милый,
В мертвой слышится струне.
Вижу: горлица на лире,
В розах кубок и венец...
Други, здесь почует в мире
Сладострастия мудрец.
Посмотрите: на порфире
Оживил его резец!
Здесь он в зеркало глядится,
Говоря: «я сед и стар;
Жизнью дайте ж насладиться;
Жизнь, увы, не вечный дар!»
Здесь, подняв на лиру длани

И нахмуря важно бровь,
Хочет петь он бога брани,
Но поет одну любовь.
Здесь готовится природе
Долг последний заплатить:
Старец пляшет в хороводе,
Жажду просит утолить.
Вкруг любовника седого
Девы скачут и поют;
Он у времени скупого
Крадет несколько минут.
Вот и музы, и хариты
В гроб любимца увели;
Плющем, розами увиты,
Игры вслед за ним пошли.
Он исчез, как наслажденье,
Как веселый сон любви.
Смертный, век твой привиденье:
Счастье резвое лови;
Наслаждайся, наслаждайся;
Чаще кубок наливай;
Страстью пылкой утомляйся.
И за чашей отдыхай!

МОЕ ЗАВЕЩАНИЕ

(друзьям)

Хочу я завтра умереть.
И в мир волшебный наслажденья,
На тихий берег вод забвенья,
Веселой тенью отлететь...
Прости навек, очарованье,
Отрада жизни и любви!
Приблизьтесь, о друзья мои,
Благоговенье и вниманье!
Певец решился умереть.
Итак, с вечернею луною,
В саду нельзя ли дерн одеть
Узорной белой пеленою?

На темный берег сонных вод,
Где мы вели беседы наши,
Нельзя ль, устроив длинный ход,
Нести наполненные чаши?
Зовите на последний пир
Спесивой Семелеи сына,
Эрота, друга наших лир,
Богов и смертных властелина.
Пускай веселье прибежит,
Махая резвою гремяшкой,
И нас от сердца рассмешит
За полной пенистою кружкой.
Пускай игривою толпой
Слетят родные наши музы;
Им первый кубок круговой.
Друзья! священны нам их узы.
До ранней утренней звезды,
До тихого лучей рассвета
Не выйдут из руки поэта
Фиалы братской череды...
В последний раз мою цевницу,
Мечтаний сладостных певицу,
Прижму к восторженной груди.
В последний раз, томимый нежно,
Не вспомню вечность и друзей;
В последний раз на груди
снежной
Упьюсь отрадой юных дней!

Когда ж восток озолотится
Во тьме денницей молодой,
И белый топол озарится,
Покрытый утренней росой,
Подайте грозд Анакреона:
Он был учителем моим,
И я сойду путем одним
На грустный берег Ахерона.
Простите, милые друзья,
Подайте руку, до свиданья,
И дайте, дайте обещанье,
Когда навек укроюсь я,
Мое исполнить завещанье.

Приди, певец мой дорогой,
Воспевший Вакха и Темиру,
Тебе дарю я лень и лиру;
Да будут музы над тобой...
Ты не забудешь дружбы нашей,
О Пуцин, ветренный мудрец!
Прими с моей глубокой чашей
Увядший миртовый венец!
Друзья! вам сердце оставляю
И память прошлых красных дней,
Окованных счастливой ленью
На ложе маков и лилей;
Мои стихи дарю забвенью,
Последний вздох, о други, ей!..

На тихий праздник погребенья
Я вас обязан пригласить:
Веселость, друг уединенья,
Билеты будет разносить...
Стекийтесь резвою толпою,
Главы в венках, рука с рукою,
И пусть на гробе, где певец
Исчезнет в рощах Геликона,
Напишет беглый ваш резец:
*«Здесь дремлет юноша-мудрец:
Питомец нег и Аполлона».*

ПОСЛАНИЕ К ЮДИНУ

Ты хочешь, милый друг, узнать
Мои мечты, желанья, цели
И тихий глас простой свирели
С улыбкой дружества внимать.
Но можно ль резвости поэту,
Невольнику мечты молодой,
В картине быстрой и живой
Изобразить в порядке свету
Всё то, что в юности златой
Воображение мне кажет?

Теперь, когда в покое лень,
Укрыв меня в пустыню сень,
Своею цепью чувства вяжет,
И век мой тих, как ясный день,
Пустого неги украшенья
Не видя в хижине моей,
Смотрю с улыбкой сожаленья
На пышность бедных богачей.
И, счастливый самим собою,
Не жажду горы серебра,
Не знаю *завтра*, ни *вчера*,
Доволен скромною судьбою
И думаю: «К чему певцам
Алмазы, яхонты, топазы,
Порфирные пустые вазы,
Драгие куклы по углам?
К чему им сукны Альбиона
И пышные чехлы Лиона
На модных креслах и столах,
И ложе шалевое в спальней?
Не лучше ли в деревне дальней,
Или в смиренном городке,
Вдали столиц, забот и грома,
Укрыться в мирном уголке,
С которым роскошь незнакома,
Где можно в праздник отдохнуть!»
О, если бы когда-нибудь
Сбылись поэта сновиденья!
Ужель отрад уединенья
Ему вкушать не суждено?
Мне видится мое селенье,
Мое Захарово; оно
С заборами, в реке волнистой
С мостом и рощею тенистой
Зерцалом вод отражено.
На холме домик мой; с балкона
Могу сойти в веселый сад,
Где вместе Флора и Помона
Цветы с плодами мне дарят,
Где старых кленов темный ряд
Возносится до небосклона,
И глухо тополи шумят.

Туда с зарею поспешаю
С смиренным заступом в руках,
В лугах тропинку извиваю,
Тюльпан и розу поливаю —
И счастлив в утренних трудах;
Вот здесь под дубом наклоненным,
С Горацием и Лафонтеном
В приятных погружен мечтах.
Вблизи ручей шумит и скачет
И мчится в влажных берегах,
И светлый ток с досадой прячет
В соседних рощах и лугах.
Но вот уж полдень. В светлой зале
Весельем круглый стол накрыт;
Хлеб-соль на чистом покрывале,
Дымятся щи, вино в бокале,
И щука в скатерти лежит.
Соседи шумною толпою
Взошли, прервали тишину,
Садятся; чаш внимаем звону:
Все хвалят Вакха и Помону
И с ними красную весну...

Вот кабинет уединенный,
Где я, Москвою утомленный,
Вдали обманчивых красот,
Вдали нахмуренных забот
И той волшебницы лукавой,
Которая весь мир вертит,
В трубу немолчную гремит,
И, помнится, зовется Славой —
Живу с природной простотой,
С философической забавой
И с Музой резвой и младой...
Вот мой камин; под вечер темный,
Осенней бурною порой,
Люблю под сению укромной
Пред ним задумчиво мечтать,
Вольтера, Виланда читать,
Или в минуту вдохновенья
Небрежно стансы намарать
И жечь потом свои творенья.

Вот здесь... но быстро привиденья,
Родясь в волшебном фонаре,
На белом полотне мелькают,
Мечты находят, исчезают,
Как тень на утренней заре.
Меж тем, как в келье молчаливой
Во плен отдался я мечтам,
Рукой беспечной и ленивой
Разбросив рифмы здесь и там,
Я слышу топот, слышу ржанье.
Блеснув узорным чепраком,
В блестящем ментика сиянье
Гусар промчался под окном...
И где вы, мирные картины
Прелестной сельской простоты?
Среди воинственной долины
Ношусь на крыльях я мечты.
Огни во стане догорают;
Меж них, окутанный плащом,
С седым, усатым казаком
Лежу — вдали штыки сверкают,
Лихие ржут, бразды кусают,
Да изредка грохочет гром,
Летя с высокого раската...
Трепещет бранью грудь моя,
При блеске бранного булата
Огнем пылает взор, и я
Лечу на гибель супостата.
Мой конь в ряды врагов орлом
Несется с грозным седоком —
С размаха сыплются удары.
О вы, отеческие лары,
Спасите юношу в боях!
Там свищет саблей он зубчатой,
Там кивер зыблется пернатый;
С черкесской буркой на плечах,
И молча преклонясь ко гриве,
Он мчит стрелой по скользкой ниве
С цыгарой дымною в зубах...

Но лаврами побед увиты,
Бойцы из чаши мира пьют.

Военной славою забытый,
Спешу в смиренный свой приют;
Нашед на поле битв и чести
Одни болезни, костыли,
Навек оставил саблю мести...
Уж вижу в сумрачной дали
Мой тесный домик, рощи темны,
Калитку, садик, ближний пруд,
И снова я, философ скромный,
Укрылся в милый мне приют
И, мир забыв и им забвенный,
Покой души вкушаю вновь...

Скажи, о сердцу друг бесценный,
Мечта ль и дружба и любовь?
Доселе в резвости беспечной
Брели по розам дни мои;
В невинной ясности сердечной
Не знал мучений я любви,
Но быстро день за днем умчался;
Где ж детства ранние следы?
Прелестный возраст миновался,
Увяли первые цветы!
Уж сердце в радости не бьется
При милом виде мотылька,
Что в воздухе кружит и вьется
С дыханьем тихим ветерка,
И в беспокойстве непонятном
Пылаю, тлею, кровь горит,
И всё языком, сердцу внятным,
О нежной страсти говорит...
Подруга возраста златого,
Подруга красных детских лет,
Тебя ли вижу, взоров свет,
Друг сердца, милая (Сушкова)?
Везде со мною образ твой,
Везде со мною призрак милый:
Во тьме полуночи унылой,
В часы денницы золотой.
То на конце аллеи темной
Вечерней, тихую порой,
Одну, в задумчивости томной,

Тебя я вижу пред собой,
Твой шалью стан не покровенный,
Твой взор, на груди потупленный,
В щёках любви стыдливый цвет...
Всё тихо; брезжит лунный свет;
Нахмурясь топол шевелится,
Уж сумрак тусклой пеленой
На холмы дальние ложится,
И завес рощицы струится
Над тихо-спящею волной,
Осеребренною луной.
Одна ты в рощице со мною,
На костыли мои склоняясь,
Стоишь под ивою густою,
И ветер сумраков, резвясь,
На снежну грудь прохладой дует,
Играет локоном власов
И ногу стройную рисует
Сквозь белоснежный твой покров...
То часом полночи глубоким,
Пред теремом твоим высоким,
Угрюмой зимнею порой,
Я жду красавицу драгую —
Готовы сани; мрак густой;
Всё спит, один лишь я тоскую,
Зову часов ленивый бой...
И шорох чудится глухой,
И вот уж шопот слышу сладкий,
С крыльца прелестная сошла,
Чуть-чуть дыша, идет украдкой,
И дева друга обняла.
Помчались кони, вдалеку пустились,
По ветру гривы распустились,
Несутся в снежной глубине;
Прижалась робко ты ко мне,
Чуть-чуть дыша; мы обомлели,
В восторгах чувства онемели...
Но что! мечтанья отлетели!
Увы! я счастлив был во сне...

В отрадной музам тишине
Простыми звуками свирели,

Мой друг, я для тебя воспел
Мечту, молодых певцов удел.
Питомец муз и вдохновенья,
Стремясь фантазии вослед,
Находит в сердце наслажденья
И на пути грозящих бед.
Минуты счастья золотые
Пускай мне Клофо не совет;
В мечтах все радости земные!
Судьбы всемогщее поэт.

К ЖИВОПИСЦУ

Дитя харит и воображенья,
В порыве пламенной души,
Небрежной кистью наслажденья
Мне друга сердца напиши;

Красу невинности небесной,
Надежды робкия черты,
Улыбку душеньки прелестной
И взоры самой красоты.

Вкруг тонкого Гебел стана
Венерин пояс повяжи,
Сокрытой прелестью Альбана
Мою царицу окружи.

Прозрачны волны покрывала
Накинь на трепетную грудь,
Чтоб и под ним она дышала,
Хотела тайно вздохнуть.

Представь мечту любви стыдливой,
И той, которою дышу,
Рукой любовника счастливой
Внизу я имя подпишу.

ИЗ ДНЕВНИКА *

Итак, я счастлив был, итак, я наслаждался,
Отрадой тихую, восторгом упивался...

И где веселья быстрый день?

Промчался летом сновиденья,

Увяла прелесть наслажденья,

И снова вокруг меня угрюмой скуки тень!..**

* Запись 29 ноября 1815 г.

** Продолжение в дневнике: «Я счастлив был!.. нет, я вчера не был счастлив; поутру я мучился ожиданием, с неописанным волнением стоя под окошком, смотрел на снежную дорогу — ее не видно было! — Наконец, я потерял надежду, вдруг нечаянно встречаюсь с нею на лестнице. Сладкая минута!..» И далее (после цитаты из Жуковского): «Как она мила была! Как черное платье пристало к милой Бакуниной! Но я не видел ее 18 часов — ах! Какое положение, какая мука! — — — Но я был счастлив 5 минут — —».

* УСЫ

ФИЛОСОФИЧЕСКАЯ ОДА

Глаза скосив на ус кудрявый,
 Гусар с улыбкой величавой
 Вкруг пальца завитки мотал;
 Мудрец с обритой бородою,
 Качая лысой головою,
 Со вздохом усачу сказал:

«За уши ус твой закрученный,
 Вином и ромом окропленный,
 Гордится юной красотой,
 Не знает бритвы; выписною
 Он вечно лоснится сурьюю,
 Расправлен гребнем и рукой.

Гордись, гусар! но помни вечно,
 Что всё на свете скоротечно —
 Летят губительны часы!
 Румяны щеки пожелтеют,
 И черны кудри поседеют,
 И старость выбелит усы».

ИЗ ПИСЬМА К КН. П. А. ВЯЗЕМСКОМУ *

Блажен, кто в шуме городском
 Мечтает об уединенье,

* Датировано: «27 марта 1816». Стихам предшествуют следующие строки:
 . Что сказать вам о нашем уединенье? Никогда Лицей (или Лицей, только,

Кто видит только в отдаленье
Пустыню, садик, сельский дом,
Холмы с безмолвными лесами,
Долину с резвым ручейком
И даже... стадо с пастухом!
Блажен, кто с добрыми друзьями
Сидит до ночи за столом,
И над славенскими глупцами
Смеется русскими стихами.
Блажен, кто шумную Москву
Для хижинки не покидает...
И не во сне, а наяву
Свою любовницу ласкает!..

ИЗ ПИСЬМА К В. Л. ПУШКИНУ

Христос воскрес, питомец Феба!
Дай бог, чтоб милостию неба
Рассудок на Руси воскрес;
Он что-то, кажется, исчез.
Дай бог, чтобы во всей вселенной
Воскресли мир и тишина,
Чтоб в Академии почтенной
Воскресли члены ото сна;
Чтоб в наши грешны времена
Воскресли предков добродетель;
Чтобы Шихматовым на зло
Воскреснул новый Буало —
Расколов, глупости свидетель;
А с ним побольше серебра
И золота et caetera.

Но да не будет воскресенья
Усопшей прозы и стихов.

ради бога, не Л и ц е я) не казался мне так веселым, как в нынешнее время. Уверю вас, что уединенье в самом деле вещь очень глупая, на зло всем философам и поэтам, которые притворяются, будто бы живали в деревнях и влюблены в безмолвие и тишину».

Да не воскреснут от забвенья
Покойный господин Бобров,
Хвалы газетчика достойный,
И Николев, — поэт покойный,
И беспокойный граф Хвостов,
И все, которые на свете
Писали слишком мудро,
То есть и хладно, и темно,
Что очень стыдно и грешно!

К ЖУКОВСКОМУ

Благослови, поэт!.. В тиши парнасской сени
Я с трепетом склонил пред музами колени,
Опасною тропой с надеждой полетел;
Мне жребий вынул Феб, и лира мой удел.
Страшусь, неопытный, бесславного паденья,
Но пылкого смирить не в силах я влеченья.
Не грозный приговор на гибель внемлю я:
Сокрытого в веках священный судия, *
Страж верный прошлых лет, наперсник муз любимый
И бледной зависти предмет неколебимый
Приветливым меня вниманьем ободрил;
И Дмитрев слабый дар с улыбкой похвалил;
И славный старец наш, царей певец избранный, **
Крылатым Гением и Грацией венчанный,
В слезах обнял меня дрожащею рукой
И счастье мне предрек, незнаемое мной.
А ты, природою на песни обреченный!
Не ты ль мне руку дал в завет любви священный?
Могу ль забыть я час, когда перед тобой
Безмолвный я стоял, и молнийной струей
Душа к возвышенной душе твоей летела
И, тайно съединясь, в восторгах пламенела.
Нет, нет! решился я — без страха в трудный путь;
Отважной верою исполнилася грудь.

* Карамзин. [Примечание Пушкина.]

** Державин. [Примечание Пушкина.]

Творцы бессмертные, питомцы вдохновенья!..
Вы цель мне кажете в туманах отдаленья,
Лечу к *безвестному* отважною мечтой,
И, мнится, Гений ваш промчался надо мной!

Но что? Под грозною парнасскою скалою
Какое зрелище открылось предо мною?
В ужасной темноте пещерной глубины
Вражды и Зависти угрюмые сыны,
Возвышенных творцов зсилы записные
Сидят — Бессмыслицы дружины боевые.
Далеко диких лир несется резкий вой,
Варяжские стихи визжит варягов строй.
Смех общий им ответ; над мрачными толпами
Во мгле два призрака склонились главами.
Один на груди сел и прозы и стихов —
Тяжелые плоды полунощных трудов,
Усопших од, поэм забвенные могилы!
С улыбкой внемлет вой стопосложитель хилый:
Пред ним растерзанный стенает Тилимах;
Железное перо скрипит в его перстах
И тянет за собой гексаметры сухие,
Спондеи жесткие и дактилы тугие.
Ретивой Музою прославленный певец,
Гордись — ты Мевия надутый образец!
Но кто другой, в дыму безумного куренья,
Стоит среди толпы друзей непросвещенья?
Торжественной хвалы к нему несется шум:
А он — он рифмою поправил и Вкус и Ум;
Ты ль это, слабое дитя чужих уроков,
Завистливый гордец, холодный Сумароков,
Без силы, без огня, с посредственным умом,
Предрассуждениям обязанный венцом
И с Пинда сброшенный и проклятый Расином? —
Ему ли, карлику, тягаться с исполином?
Ему ль оспоривать тот лавровый венец,
В котором возблистал бессмертный наш певец,
Веселье россиян, полунощное диво?.. *
Нет! в тихой Лете он потонет молчаливо,

* Ломоносов. [Примечание Пушкина.]

Уж на челе его забвенная печать;
Предбудущим векам что мог он передать?
Страшилась Грация цинической свирели,
И персты грубые на лире костенели.
Пусть будет Мевием в речах превознесен —
Явится Депрео, исчезнет Шапелен.

И что ж? всегда смешным останется смешное;
Невежду пестует Невежество слепое.
Оно сокрыло их во мрачный свой приют;
Там прозу и стихи отважно все куют,
Там все враги наук, все глухи — лишь не немые.
Те слогом Никона печатают поэмы,
Одни славянских од громады громоздят,
Другие в бешеных трагедиях хрипят,
Тот, верный своему мятежному союзу,
На сцену возведя зевающую Музу,
Бессмертных гениев сорвать с Парнаса мнит.
Рука содрогнулась, удар его скользит,
Вотще бросается с завистливым кинжалом,
Куплетом ранен он, низвержен в прах журналом, —
При свистах критики к собратьям он бежит...
И маковый венец Феспису ими свет.
Все, руку положив на том «Тилимахиды»,
Клянутся отомстить сотрудников обиды,
Волнуясь восстают неистовой толпой.
Беда, кто в свет рожден с чувствительной душой!
Кто тайно мог пленить красавиц нежной лирой,
Кто смело просвистал шутливою сатирой,
Кто выражается правдивым языком
И русской Глупости не хочет бить челом!..
Он враг Отечества, он сеятель разврата!
И речи сыплются дождем на супостата.

И вы восстаньте же, парнасские жрецы,
Природой и трудом воспитанны певцы
В счастливой ереси и Вкуса и Ученья,
Разите дерзостных друзей непросвещенья.
Отмститель Геня, — друг истины, поэт!
Ллющая с небес и жизнь и вечный свет
Стрелой гибели десница Аполлона —
Сражает наконец ужасного Пифона.

Смотрите: поражен враждебными стрелами,
С потухшим факелом, с недвижными крылами
К вам Озерова дух взывает: други! мечь!..
Вам оскорбленный вкус, вам Знанья дали весть.
Летите на врагов: и Феб и музы с вами!
Разите варваров кровавыми стихами;
Невежество, смирясь, потупит хладный взор,
Спесивых риторов безграмотный собор...

Но вижу: возвещать нам истины опасно,
Уж Мевий на меня нахмурился ужасно,
И смертный приговор талантам возгремел.
Гонения терпеть ужель и мой удел?
Что нужды? смело *вдаль*, дорогою прямою,
Ученью руку дав, поддержанный тобою,
Их злобы не страшусь: мне твердый Карамзин,
Мне ты пример. Что крик безумных сих дружин?
Пускай беседуют отверженные Феба;
Им прозы, ни стихов не послан дар от неба.
Их слава — им же стыд; творенья — смех уму;
И в тьме возникшие низвергнутся во тьму.

В. Л. ПУШКИНУ

Тебе, о Нестор Арзамаса,
В боях воспитанный поэт,
Опасный для певцов сосед
На страшной высоте Парнаса,
Защитник вкуса, грозный *Вот!*
Тебе, мой дядя, в новый год
Веселья прежнего желанье
И слабый сердца перевод —
В стихах и прозою посланье.

В письме вашем вы называли меня братом, но я не осмелился
назвать вас этим именем, слишком для меня лестным.

Я не совсем еще рассудок потерял
От рифм бахических, шатаюсь на Пегасе.
Я знаю сам себя, хоть рад, хотя не рад,

Нет, нет, вы мне совсем не брат:
Вы дядя мой и на Парнасе. *

Итак, любезнейший из всех дядей-поэтов здешнего мира, можно ли мне надеяться, что вы простите девятимесячную беременность пера ленивейшего из поэтов-племянников?

Да, каюсь я; конечно, перед вами
Совершенно неправ пустынный-рифмоплет;
Он в лености сравнится лишь с богами,
Он виноват и прозой и стихами,
Но *старое* забудьте в *новый* год.

Кажется, что судьбою определены мне только два рода писем — *обещательные* и *извинительные*: первые в начале годовой переписки, а последние при последнем ее издыхании. К тому же приметил я, что и вся она состоит из двух посланий, — это мне кажется непростительным.

Но вы, которые умели
Простыми песнями свирели
Красавиц наших воспевать,
И с гневной Музой Ювенала
Глухого варварства начала
Сатирой грозной осмеять,
И мучить бедного Ослова
Священным Феба языком
И лоб угрюмый Шаховского
Клеймить единственным стихом!
О вы, которые умели
Любить, обедать и писать —
Скажите искренно, ужели
Вы не умеете прощать?

P. S. Напоминаю себя моим незабвенным. Не имею более времени писать; но — надобно ли еще обещать? Простите, вы все, которых любит мое сердце, и которые любите еще меня.

* Позднейшая (1817 г.) переделка последнего отрывка:

Дяде, назвавшему сочинителя братом

Я не совсем еще рассудок потерял
От рифм бахических — шатаюсь на Пегасе.
Я не забыл себя, хоть рад, хотя не рад.
Нет, нет! вы мне совсем не брат:
Вы дядя мне и на Парнасе.

Шапель Андреевич конечно
Меня забыл давным-давно,
Но я люблю его сердечно
За то, что любит он беспечно
И пить и пить свое вино,
И над всемирными глупцами
Своими резвыми стихами
Смеяться, право, пресмешно.

1816 г., 22 декабря.

* ЭЛЕГИЯ

Счастлив, кто в страсти сам себе
Без ужаса признаться смеет;
Кого в неведомой судьбе
Надежда робкая лелеет;
Но мне в унылой жизни нет
Отрады тайных наслаждений;
Увял надежды ранний цвет:
Цвет жизни сохнет от мучений!..
Печально младость улетит,
И с ней увянут жизни розы;
Но я, любовью позабыт,
Любви не позабуду слезы! —

ПЕВЕЦ

Слышали ль вы за рощей глас ночной
Певца любви, певца своей печали?
Когда поля в час утренний молчали,
Свирели звук унылый и простой —
Слышали ль вы?

Встречали ль вы в пустынной тьме лесной
Певца любви, певца своей печали?
Следы ли слез, улыбку ль замечали,
Иль тихий взор, исполненный тоской —
Встречали вы?

Вздохнули ль вы, внимая тихий глас
Певца любви, певца своей печали?
Когда в лесах вы юношу видали,
Встречая взор его потухших глаз —
Вздохнули ль вы?

* К МОРФЕЮ

Морфей, до утра дай отраду
Моей мучительной любви.
Приди, задуй мою лампаду,
Мои мечты благослови!
Сокрой от памяти унылой
Разлуки страшный приговор!
Пускай увижу милый взор,
Пускай услышу голос милый.
Когда ж умчится ночи мгла
И ты мои покинешь очи,
О, если бы душа могла
Забыть любовь до новой ночи!

СЛОВО МИЛОЙ

Я Лилу слушал у клавира;
Она приятнее поет,
Чем соловей близ тихих вод
Или полунощная лира.
Упали слезы из очей,
И я сказал певиче милой:
«Прелестен голос твой унылый,
Но слово милое мое
Прелестней томных песен Лилы».

* * *

Любовь одна — веселье жизни хладной,
Любовь одна — мучение сердец.

Она дарит один лишь миг отрадный,
А горестям не виден и конец.
Стократ блажен, кто в юности прелестной
Сей быстрый миг поймает на лету;
Кто к радостям и неге неизвестной
Стыдливую преклонит красоту!

Но кто любви не жертвовал собою?
Вы, чувствами свободные певцы!
Пред милыми смирялись вы душою,
Вы пели страсть — и гордою рукою
Красавицам несли свои венцы.
Слепой Амур, жестокий и пристрастный,
Вам терния и мирты раздавал;
С пермесскими царицами согласный,
Иным из вас на радость указал;
Других навек печальями связал
И в дар послал огонь любви несчастной.

Наследники Тибулла и Парни!
Вы знаете бесценной жизни сладость;
Как утра луч, сияют ваши дни.
Певцы любви! младую пойте радость.
Склонив уста к пылающим устам,
В объятиях любовниц умирайте;
Стихи любви тихонько вздыхайте!..
Завидовать уже не смею вам.

Певцы любви! вы ведали печали,
И ваши дни по терниям текли;
Вы свой конец с волненьем призывали;
Пришел конец, и в жизненной дали
Не зрели вы минутную забаву;
Но, не нашед блаженства ваших дней,
Вы встретили по крайней мере славу,
И мукою бессмертны вы своей!

Не тот удел судьбою мне назначен;
Под сумрачным навесом облаков,
В глуши долин, в печальной тьме лесов,
Один, один брожу уныл и мрачен.

В вечерний час над озером седым
В тоске, слезах нередко я стенаю;
Но ропот волн стенаниям моим
И шум дубрав в ответ лишь я внимаю.
Прервется ли души холодный сон,
Поэзии зажжется ль упоенье, —
Родится жар, и тихо стынет он:
Бесплодное проходит вдохновенье.
Пускай она прославится другим,
Один люблю, — он любит и любим!..
Люблю, люблю!.. но к ней уж не коснется
Страдальца глас; она не улыбнется
Его стихам небрежным и простым.
К чему мне петь? под кленом полевым
Оставил я пустынному зефиру
Уж навсегда покинутую лиру,
И слабый дар как легкий скрылся дым.

* ПОДРАЖАНИЕ

Я видел смерть; она сидела
У тихого порога моего.
Я видел гроб; открылась дверь его:
Туда, туда моя надежда полетела...
Умру, и младости моей
Никто следов пустынных не заметит,
И взора милого не встретит
Последний взор моих очей.

.
Прости, печальный мир, где темная стезя
Над бездной для меня лежала,
Где жизнь меня не утешала,
Где я любил, где мне любить нельзя!
Небес лазурная завеса,
Любимые холмы, ручья веселый глас,
Ты, утро — вдохновенья час,
Вы, тени мирные таинственного леса,
И всё — прости в последний раз.

* ЖЕЛАНИЕ

Я слезы лью; мне слезы утешенье;
И я молчу; не слышен ропот мой;
Моя душа, объятая тоской,
В ней горькое находит наслажденье.
О жизни сон! Лети, не жаль тебя,
Исчезни в тьме, пустое привиденье;
Мне дорого любви моей мученье.
Пускай умру, но пусть умру любя!

* ДРУЗЬЯМ

Богами вам еще даны
Златые дни, златые ночи,
И томных дев устремлены
На вас внимательные очи.
Играйте, пойте, о друзья!
Утрайте вечер скоротечный:
И вашей радости беспечной
Сквозь слезы улыбнуся я.

ЭЛЕГИЯ

Я думал, что любовь погасла навсегда,
Что в сердце злых страстей умолкнул глас
мятежный,
Что дружбы наконец отрадная звезда
Страдальца довела до пристани надежной.
Я мнил покоиться близ верных берегов,
Уж издали смотреть, указывать рукою
На парус бедственный пловцов,
Носимых яростной грозой.
И я сказал: «Стократ блажен,
Чей век, свободный и прекрасный,
Как век весны промчался ясной
И страстью не был омрачен,

Кто не страдал в любви напрасной,
Кому неведом грустный плен.
Блажен! но я блаженней боле.
Я цепь мученья разорвал,
Опять я дружбе... я на воле,
И жизни сумрачное поле
Веселый блеск очаровал!»
Но что я говорил... несчастный!
Минуту я заснул в неверной тишине,
Но мрачная любовь таилася во мне,
Не угасал мой пламень страстный.
Весельем позванный в толпу друзей моих,
Хотел на прежний лад настроить резву лиру,
Хотел еще воспеть прелестниц молодых,
Веселье, Вакха и Дельфиру.
Напрасно!.. я молчал; усталая рука
Лежала, томная, на лире непослушной,
Я всё еще горел — и в грусти равнодушной
На игры младости взирал издалека.
Любовь, отравя наших дней,
Беги с толпой обманчивых мечтаний.
Не сожигай души моей,
Огонь мучительных желаний.
Летите, призраки... Амур, уж я не твой,
Отдай мне радости, отдай мне мой покой...
Брось одного меня в бесчувственной природе,
Иль дай еще летать надежды на крылах,
Позволь еще заснуть и в тягостных цепях
Мечтать о сладостной свободе.

* ЗАЗДРАВНЫЙ КУБОК

Кубок янтарный
Полон давно —
Пеной угарной
Блещет вино.
Света дороже
Сердцу оно.
Но за кого же
Выпью вино?

Здравие славы
Выпью ли я?
Бранной забавы
Мы не друзья.
Это веселье
Не веселит,
Дружбы похмелье
Грома бежит.

Жители неба,
Феба жрецы,
Здравие Феба
Пейте, певцы!
Резвой Камены
Ласки — беда;
Ток Иппокрены
Просто вода.

Пейте за радость
Юной любви —
Скроется младость,
Дети мои...
Кубок янтарный
Полон давно.
Я — благодарный —
Пью за вино.

ПОСЛАНИЕ ЛИДЕ

Тебе, наперсница Венеры,
Тебе, которой Купидон
И дети резвые Цитеры
Украсили цветами трон,
Которой нежные примеры,
Улыбка, взоры, милый тон
Красноречивей, чем Вольтеры,
Нам проповедуют закон
И Аристиппов, и Глицеры, —
Тебе приветливый поклон,
Любви венок и лиры звон.
Презрев Платоновы химеры,

Твоей я святостью спасен,
И стал апостол мудрой веры
Анакреонов и Нинон:
Всего, но лишь известной меры.
Я вижу: хмурится Зенон,
И вся его седая свита;
И мудрый друг вина Катон,
И скучный раб Эпафродита,
Сенека, даже Цицерон
Кричат: «Ты лжешь, профан! мученье —
Прямое смертных наслажденье!»
Друзья, согласен: плач и стон
Стократ, конечно, лучше смеха;
Терпеть — великая утеха;
Совет ваш вовсе не смешон;
Но он мне, слышите ль, не нужен,
Затем что слишком он мудрен;
Дороже мне хороший ужин
Философов трех целых дюжин;
Я вами, право, не прельщен.
Собор угрюмый рассержен.
Но пусть кричат на супостата,
Их спор — лишь времени утрата:
Кто их примером обольщен?
Люблю я доброго Сократа!
Он в жизни жил, он был умен;
С своею важностью притворной
Любил пиры, театры, жен;
Он, между прочим, был влюблен
И у Аспазии в уборной
(Тому свидетель сам Платон),
Невольник робкий и покорный,
Вздыхал частехонько в хитон
И ей с улыбкою придворной
Шептал: «Все призрак, ложь и сон:
И мудрость, и народ, и слава.
Что ж истинно? Одна забава.
Поверь: одна любовь не сон!»
Так ладан жег прекрасной он,
И ею... бедная Ксантиппа!
Твой муж, совместник Аристиппа,
Бывал до неба вознесен.

Меж тем, на милых грозно лая,
Злой циник, негу презирая,
Один, всех радостей лишен,
Дышал от мира отлучен.
Но, с бочкой странствуя пустою
Вослед за мудростью слепую,
Пустой чудак был ослеплен;
И воду черпая рукою,
Не мог зачерпнуть счастья он.

* АМУР И ГИМЕНЕЙ

Сегодня, добрые мужья,
Повеселю вас новой сказкой.
Знавали ль вы, мои друзья,
Слепого мальчика с повязкой?
Слепого?.. Вот? Помилуй, Феб!
Амур совсем, друзья, не слеп.
Но шалуну пришла ж охота,
Чтоб, людам на смех и на зло,
Его безумие вело.
Безумие ведет Эрота,
Но вдруг, не знаю почему,
Оно наскучило ему.
Взялся за новую затею:
Повязку с милых сняв очей,
Идет проказник к Гименею...
А что такое Гименей?
Он сын Вулкана молчаливый,
Холодный, дряхлый и ленивый,
Ворчит и дремлет целый век,
А впрочем, добрый человек;
Да нрав имеет он ревнивый.
От ревности печальный бог
Спокойно подремать не мог;
Всё трусил маленького брата,
За ним подсматривал тайком
И караулил супостата
С своим докучным фонарем.
Вот мальчик мой к нему подходит

И речь коварную заводит:
«Развеселися, Гименей!
Ну, помиримся, будь умней!
Забудь, товарищ мой любезный,
Раздор смешной и бесполезный!
Да только навсегда, смотри!
Возьми ж повязку в память, милый,
А мне фонарь свой подари!»
И что ж? Поверил бог унылый.
Амур от радости прыгнул,
И на глаза со всей он силы
Обнову брату затянул.
Гимена скучные дозоры
С тех пор пресеклись по ночам;
Его завистливые взоры
Теперь не страшны красотам;
Спокоен он, но брат коварный,
Шутя над честью и над ним,
Войну ведет, неблагодарный,
С своим союзником слепым.
Лишь сон на смертных налетает,
Амур в молчании ночном
Фонарь любовнику вручает
И сам счастливца провожает
К уснувшему супругу в дом;
Сам от беспечного Гимена
Он охраняет тайну дверь...
Пойми меня, мой друг Елена,
И мудрой повести поверь!

* ПИШКОВУ

Шалун, увенчанный Эратой и Венерой,
Ты ль узника манишь в владения свои,
В поместье мирное меж Пиндом и Цитерой,
Где нежился Тибулл, Мелецкий и Парни?
Тебе, балованный питомец Аполлона,
С их лирой соглашать игривую свирель:
Веселье резвое и нимфы Геликона
Твою счастливую качали колыбель.

Друзей любить открытою душою,
В молчанье чувствовать, пленяться красотою —
Вот жребий мой; ему я следовать готов.

Но, милый, сжался надо мною,
Не требуй от меня стихов!

Не вечно нежиться в приятном ослепленьи:
Докучной истины я поздний вижу свет,
По доброте души я верил в упоеньи

Мечте, шепнувшей: «ты поэт» —

И, презря мудрые угрозы и советы,
С небрежной леностью нанизывал куплеты,
Игрушкою себя невинной веселил;
Угодник Бахуса, я, трезвый меж друзьями,
Бывало, пел вино водяными стихами;
Мечтательных Дорид и славил, и бранил,
Иль дружбе плел венок, и дружество зевало
И сонные стихи вприсонках величало.

Но долго ли меня лелеял Аполлон?

Душе наскучили парнасские забавы;
Недолго снились мне мечтанья муз и славы;
И, строгим опытом неволью пробужден,
Уснув меж розами, на тернах я проснулся,
Увидел, что еще не гения печать —

Охота смертная на рифмах лепетать,
Сравнив стихи твои с моими, улыбнулся:

И полно мне писать.

* ПРОБУЖДЕНЬЕ

Мечты, мечты!
Где ваша сладость?
Где ты, где ты,
Ночная радость?
Исчезнул он,
Веселый сон;
И одинокий
Во тьме глубокой
Я пробужден!..
Кругом постели
Немая ночь;

Вмиг охладели,
Вмиг улетели
Толпою прочь
Любви мечтанья;
Еще полна
Душа желанья
И ловит сна
Воспоминанья.
Любовь, любовь,
Внемли моленья:
Пошли мне вновь
Свои виденья! —
И поутру,
Вновь упоенный,
Пускай умру
Непробужденный...

НАДПИСЬ К БЕСЕДКЕ

С благоговейною душой
Приблизься, путник молодой,
Любви к пустынному приюту.
Здесь ею счастлив был я раз --
В восторге пламенном погас,
И время самое для нас
Остановилось на минуту.

**ЭПИГРАММА
НА СМЕРТЬ СТИХОТВОРЦА**

Покойник Клит в раю не будет:
Творил он тяжкие грехи.
Пусть бог дела его забудет,
Как свет забыл его стихи!

*** ЛЮБОпытный**

«Что ж нового?» — «Ей-богу ничего». —
«Эй, не хитри: ты верно что-то знаешь.
Не стыдно ли, от друга своего,
Как от врага, ты вечно всё скрываешь.
Иль ты сердит: помилуй, брат, за что?
Не будь упрям: скажи ты мне хоть слово...» —
«Ох! отвяжись, я знаю только то,
Что ты дурак, да это уж не ново».

* * *

Вот Виля — он любовью дышит,
Он песни пишет зло,
Как Геркулес сатиры пишет,
Влюблен, как Буало.

* К КАВЕРИНУ

Забудь, любезный мой Каверин,
Минутной резвости нескромные стихи.
Люблю я первый, будь уверен,
Твои счастливые грехи.
Всё чередой идет определенной,
Всему пора, всему свой миг:
Смешон и ветреный старик,
Смешон и юноша степенный.
Пока живется нам, живи,
Гуляй в мое воспоминанье;
Усердствуй Вакху и любви
И черни презирай ревнивое ропанье;
Она не ведает, что дружно можно жить
С Киферой, с портиком, и с книгой, и с бокалом;
Что ум высокий можно скрыть
Безумной шалости под легким покрывалом.

* ЭЛЕГИЯ

Опять я ваш, о юные друзья!
Печальные сокрылись дни разлуки:
И брату вновь простерлись ваши руки.
Ваш резвый круг увидел снова я.
Всё те же вы, но сердце уж не то же:
Уже не вы душе всего дороже,
Уж я не тот... Невидимой стезей
Ушла пора веселости беспечной,
Навек ушла — и жизни скоротечной
Луч утренний бледнеет надо мной.

Отверженный судьбой несправедливой,
И ласки муз, и радость, и покой —
Я всё забыл; печали молчаливой
Рука лежит над юною главой...
Перед собой одну печаль я вижу!
Мне скучен мир, мне страшен дневный свет;
Иду в леса, в которых жизни нет,
Где мертвый мрак — я радость ненавижу;
Во мне застыл ее минутный след.
Чтоб отогнать угрюмые страданья,
Напрасно вы несете лиру мне;
Минувших дней погаснули мечтанья,
И умер глас в бесчувственной струне.
Опали вы, листья вчерашней розы!
Не доцвели до завтрашних лучей.
Умчались вы, дни радости моей!
Умчались вы — невольно льются слезы,
И вяну я на темном утре дней.

О дружество! предай меня забвенью;
В безмолвии покорствую судьбам.
Оставь меня сердечному мученью,
Оставь меня пустыням и слезам.

К МОЛОДОЙ ВДОВЕ

Лида, друг мой неизменный,
Почему сквозь легкий сон
Часто, негой утомленный,
Слышу я твой тихий стон?
Почему, в любви счастливой
Видя страшную мечту,
Взор недвижный, боязливый
Устремляешь в темноту?
Почему, когда вкушаю
Быстрый обморок любви,
Иногда я замечаю
Слезы тайные твои?
Ты рассеянно внимаешь
Речи пламенной моей,

Хладно руку пожимаешь,
Хладен взор твоих очей...
О бесценная подруга!
Вечно ль слезы проливать,
Вечно ль мертвого супруга
Из могилы вызывать?
Верь мне: узников могилы
Там объемлет вечный сон;
Им не мил уж голос милый,
Не прискорбен скорби стон;
Не для них — весенни розы,
Сладость утра, шум пиров,
Откровенной дружбы слезы
И любовниц робкий зов...
Рано друг твой незабвенный
Вздохом смерти вздохнул
И блаженством упоенный
На груди твоей уснул.
Спит увенчанный счастливец;
Верь любви — невинны мы.
Нет! разгневанный ревнивец
Не придет из вечной тьмы;
Тихой ночью гром не грянет,
И завистливая тень
Близ любовников не станет,
Вызывая спящий день.

* ДЕЛЬВИГУ

Любовью, дружеством и ленью
Укрытый от забот и бед,
Живи под их надежной сенью;
В уединении ты счастлив: ты поэт.
Наперснику богов не страшны бури злые:
Над ним их промысел высокий и святой;
Его баюкают камни молодые
И с перстом на устах хранят его покой.
О милый друг, и мне богини песнопенья
Еще в младенческую грудь
Влияли искру вдохновенья

И тайный указали путь:
Я мирных звуков наслажденья
Младенцем чувствовать умел,
И лира стала мой удел.
Но где же вы, минуты упоенья,
Неизъяснимый сердца жар,
Одушевленный труд и слезы вдохновенья! —
Как дым исчез мой легкий дар.
Как рано зависти привлек я взор кровавый
И злобной клеветы невидимый кинжал!
Нет, нет, ни счастьем, ни славой,
Ни гордой жаждою похвал
Не буду увлечен! В бездействии счастливом
Забуду милых муз, мучительниц моих;
Но, может быть, вздохну в восторге молчаливом,
Внимая звуку струн твоих.

* СТАНСЫ

Ты мне велишь пылать душою:
Отдай же мне минувши дни,
И мой рассвет соедини
С моей вечернею зарею.

Мой век невидимо проходит,
Из круга смехов и харит
Уж время скрыться мне велит
И за руку меня выводит.

Пред ним смириться должно нам,
Кто применяться не умеет
К своим пременчивым годам,
Тот горесть их одну имеет.

Счастливым резвым, молодым
Оставим страсти заблужденья;
Живем мы в мире два мгновенья —
Одно рассудку отдадим.

Ужель навек вы убежали,
Любовь, мечтанья первых дней,
Вы, услаждавшие печали
Минутной младости моей?

Нам должно дважды умирать:
Проститься с сладостным мечтаньем —
Вот смерть ужасная страданьем!
Что значит после не дышать?

На сумрачном моем закате,
Среди вечерней темноты,
Так сожалел я об утрате
Обманов сладостной мечты.

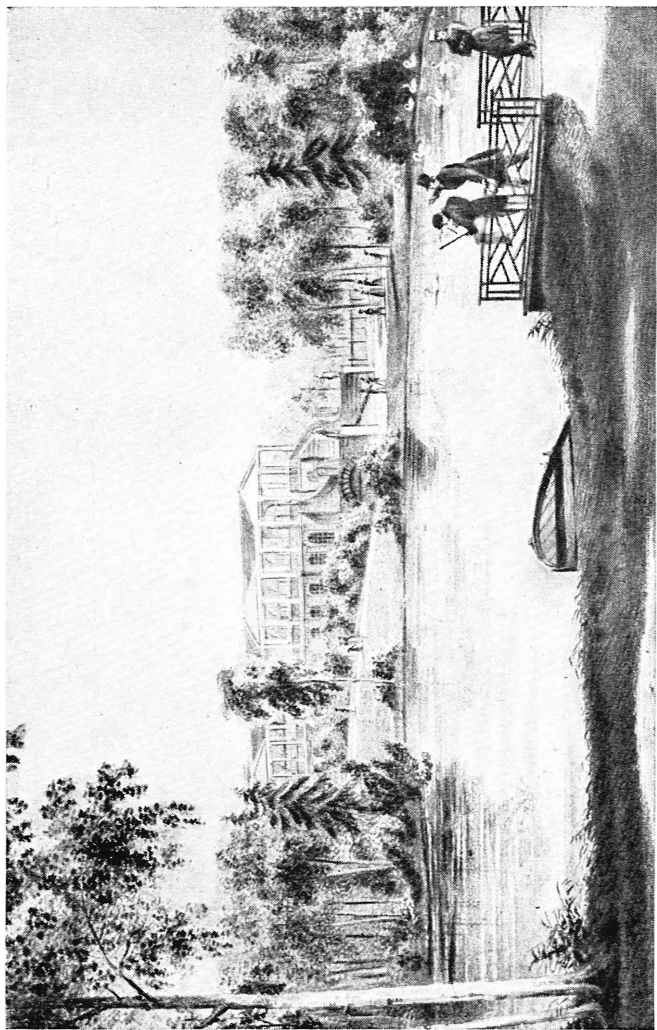
Тогда на голос мой унылый
Мне дружба руку подала;
Она любви подобна милой
В одной лишь нежности была.

Я ей принес увядши розы
Веселых юношества дней,
И вслед пошел, но лил я слезы,
Что мог итти вослед лишь ей!

*** В. Л. ПУШКИНУ**

(отрывок)

Что восхитительней, живей
Войны, сражений и пожаров,
Кровавых и пустых полей,
Бивака, рыцарских ударов?
И что завидней кратких дней
Не слишком мудрых усачей,
Но сердцем истинных гусаров?
Они живут в своих шатрах,
Вдали забав и нег и граций,
Как жил бессмертный трус Гораций
В тибурских сумрачных лесах;
Не знают света принужденья,



Царское село. Парк
Литография 1820-х годов

Не ведают, что скука, страх;
Дают обеды и сраженья,
Поют и рубятся в боях.
Счастлив, кто мил и страшен миру;
О ком за песни, за дела
Гремит правдивая хвала;
Кто славил Марса и Темиру
И бранную повесил лиру
Меж верной сабли и седла!

* ПИСЬМО К ЛИДЕ

Лишь благосклонный мрак раскинет
Над нами тихий свой покров,
И время к полночи придвинет
Стрелу медлительных часов,
В счастливой тишине природы
Когда не спит одна любовь,
Тогда моей темницы вновь
Покину я глухие своды,
И я в обители твоей...
По скорой поступи моей,
По сладострастному молчанью,
По смелым, трепетным рукам,
По воспаленному дыханью
И жарким, ласковым устам,
Узнай любовника — настали
Восторги, радости мои!..
О Лида, если б умирали
С восторгов пламенной любви!

ПОСЛАНИЕ КН. А. М. ГОРЧАКОВУ

Встречаюсь я с восемнадцатой весной.
В последний раз, быть может, я с тобой,
Задумчиво внимая шум дубравный,
Над озером иду рука с рукой.
Где вы, лета беспечности недавней?

С надеждами во цвете юных лет,
Мой милый друг, мы входим в новый свет;
Но там удел назначен нам не равный,
И розно наш оставим в жизни след.
Тебе рукой Фортуны своею равной
Указан путь и счастливый, и славный, —
Моя стезя печальна и темна;
И нежная краса тебе дана,
И нравиться блестящий дар природы,
И быстрый ум, и верный, милый нрав;
Ты сотворен для сладостной свободы,
Для радости, для славы, для забав.
Они пришли, твои златые годы,
Огня любви прелестная пора.
Спеши любить и, счастливый вчера,
Сегодня вновь будь счастлив осторожно,
Амур велит — и завтра, если можно,
Вновь миртами красавицу венчай...
О, скольких слез, предвижу, ты виновник!
Измены друг и ветреный любовник,
Будь верен всем — пленяйся и пленяй.

А мой удел... но пасмурным туманом
Зачем же мне грядущее скрывать?
Увы! нельзя мне вечным жить обманом
И счастья тень, забывшись, обнимать.
Вся жизнь моя — печальный мрак ненастья.
Две-три весны, младенцем, может быть,
Я счастлив был, не понимая счастья;
Они прошли, но можно ль их забыть?
Они прошли, и скорбными глазами
Смотря на путь, оставленный навек, —
На краткий путь, усыпанный цветами,
Которым я так весело протек,
Я слезы лью, я трачу век напрасно,
Мучительным желанием горя.

Твоя заря — заря весны прекрасной;
Моя ж, мой друг, — осенняя заря.
Я знал любовь, но не знавал надежды,
Страдал один, в безмолвии любил.
Безумный сон покинул томны вежды,

Но мрачные я грезы не забыл.
Душа полна невольной, грустной думой;
Мне кажется: на жизненном пиру
Один, с тоской, явлюсь я, гость угрюмый,
Явлюсь на час — и одинок умру.
И не придет друг сердца незабвенный
В последний миг мой томный взор сомкнуть,
И не придет на холм уединенный
В последний раз с любовью вздохнуть!
Ужель моя пройдет пустынно младость?
Иль мне чужда счастливая любовь?
Ужель умру, не ведая, что радость?
Зачем же жизнь дана мне от богов?
Чего мне ждать? В рядах забытый воин,
Среди толпы затерянный певец,
Каких наград я в будущем достоин
И счастья какой возьму венец?

Но что?.. Стыжусь!.. Нет, ропот — униженье;
Нет, праведно богов определенье!
Ужель лишь мне не ведать ясных дней?
Нет! и в слезах сокрыто наслажденье,
И в жизни сей мне будет утешенье:
Мой скромный дар и счастье друзей.

В АЛЬБОМ

Пройдет любовь, умрут желанья,
Разлучит нас холодный свет;
Кто вспомнит тайные свиданья,
Мечты, восторги прежних лет?..
Позволь в листах воспоминанья
Оставить им минутный след.

ТОВАРИЩАМ

Промчались годы заточенья;
Недолго, мирные друзья,
Нам видеть кров уединенья
И царскосельские поля.

Разлука ждет нас у порогу,
Зовет нас дальний света шум,
И каждый смотрит на дорогу
С волнением гордых, юных дум.
Иной, под кивер спрятав ум,
Уже в воинственном наряде
Гусарской саблею махнул —
В крещенской утренней прохладе
Красиво мерзнет на параде,
А греться едет в караул;
Другой, рожденный быть вельможей,
Не честь, а почести любя,
У плута знатного в прихожей
Покорным плутом зрит себя;
Лишь я, судьбе во всем послушный,
Счастливой лени верный сын,
Душой беспечный, равнодушный,
Я тихо задремал один...
Равны мне писари, уланы,
Равны законы, кивера,
Не рвусь я грудью в капитаны
И не ползу в ассессора;
Друзья! немного снисхожденья —
Оставьте красный мне колпак,
Пока его за прегрешенья
Не променял я на шишак,
Пока ленивому возможно,
Не опасаясь грозных бед,
Еще рукой неосторожной
В июле распахнуть жилет.

В АЛЬБОМ ИЛИЧЕВСКОМУ

Мой друг! не славный я поэт,
Хоть христианин православный.
Душа бессмертна, слова нет,
Моим стихам удел неравный —
И песни Музы своенравной,
Забавы резвых, юных лет,

Погибнут смертию забавной,
И нас не тронет здешний свет!

Ах! ведает мой добрый гений,
Что предпочел бы я скорей
Бессмертию души моей
Бессмертие своих творений. —

Не властны мы в судьбе своей,
По крайней мере, нет сомненья,
Сей плод небрежный вдохновенья,
Без подписи, в твоих руках
На скромных дружества листках
Уйдет от общего забвенья...
Но пусть напрасен будет труд,
Твоею дружбой оживленный —
Мои стихи пускай умрут —
Глас сердца, чувства неизменны
Наверно их переживут!

В АЛЬБОМ И. И. ПУЩИНУ

Взглянув когда-нибудь на тайный сей листок,
Исписанный когда-то мною,
На время улети в лицейский уголок
Всесильной, сладостной мечтою.
Ты вспомни быстрые минуты первых дней,
Неволю мирную, шесть лет соединенья,
Печали, радости, мечты души твоей,
Размолвки дружества и сладость примиренья —
Что было и не будет вновь...
И с тихими тоски слезами
Ты вспомни первую любовь.
Мой друг! она прошла... но с первыми друзьями
Не резвою мечтой союз твой заключен;
Пред грозным временем, пред грозными судьбами
О милый, вечен он!

* КЮХЕЛЬБЕКЕРУ

В последний раз, в сени уединенья,
Моим стихам внимают наш Пенат!
Лицейской жизни милый брат,
Делю с тобой последние мгновенья!
Прошли лета соединенья;
Разорван он, наш верный круг.
Прости! Хранимый небом,
Не разлучайся, милый друг,
С свободою и Фебом!
Узнай любовь, неведомую мне —
Любовь надежд, восторгов, упоенья.
И дни твои полетом сновиденья
Да пролетят в счастливой тишине!
Прости... где б ни был я: в огне ли смертной битвы,
При мирных ли брегах родимого ручья,
Святому братству верен я!
И пусть... (услышит ли Судьба мои молитвы?)
Пусть будут счастливы все, все твои друзья!

К ПОРТРЕТУ КАВЕРИНА

В нем пунша и войны кипит всегдашний жар.
На Марсовых полях он грозный был воитель,
Друзьям он верный друг, красавицам мучитель,
И всюду он гусар.

* * *

Простите, верные дубравы!
Прости, беспечный мир полей,
И легкокрылые забавы
Столь быстро улетевших дней!
Прости, Тригорское, где радость
Меня встречала столько раз!
На то ль узнал я вашу сладость,
Чтоб навсегда покинуть вас?

От вас беру воспоминанье,
А сердце оставляю вам.
Быть может (сладкое мечтанье!),
Я к вашим возвращусь полям,
Приду под липовые своды,
На скат тригорского холма,
Поклонник дружеской свободы,
Веселья, граций и ума.

**К ОГАРЕВОЙ, КОТОРОЙ МИТРОПОЛИТ ПРИСЛАЛ
ПЛОДОВ ИЗ СВОЕГО САДУ**

Митрополит, хвастун бесстыдный,
Тебе прислав своих плодов,
Хотел уверить нас, как видно,
Что будто сам он бог садов.

Чему дивиться тут? Харита
Улыбкой Дряхлость победит,
С ума сведет митрополита
И пыл желанья в нем родит.

И он, твой встретя взор волшебный,
Забудет о своем кресте,
И нежно станет петь молебны
Твоей небесной красоте.

ПОСЛАНИЕ К А. И. ТУРГЕНЕВУ

Тургенев, верный покровитель
Попов, евреев и скопцов,
Но слишком счастливый гонитель
И езуитов, и глушцов,
И лениости моей бесплодной,
Всегда беспечной и свободной,
Подруги благодатных снов!

К чему смеяться надо мною,
Когда я слабою рукою

По лире с трепетом вожу
И лишь изнеженные звуки
Любви, сей милой сердцу муки,
В струнах незвонких нахожу?
Душой предавшись наслажденью,
Я сладко-сладко задремал.

Один лишь ты с глубокой ленью
К трудам охоту сочелал;
Один лишь ты, любовник страстный
И Соломирской, и креста, *
То ночью прыгаешь с прекрасной,
То проповедуешь Христа.
На свадьбах и в Библейской зале,
Среди веселий и забот,
Роняешь Лунину на бале,
Подъемлешь трепетных сирот;
Ленивец милый на Парнасе,
Забыв любви своей печаль,
С улыбкой дремлешь в Арзамасе
И спишь у графа де-Лаваль.
Нося мучительное бремя
Пустых и тяжких должностей,
Один лишь ты находишь время
Смеяться лености моей.

Не вызывай меня ты боле
К навек оставленным трудам,
Ни к поэтической неволе,
Ни к обработанным стихам.
Что нужды, если и с ошибкой,
И слабо иногда пою?
Пускай Нинета лишь улыбкой
Любовь беспечную мою
Воспламенит и успокоит!
А труд и холоден, и пуст:
Поэма никогда не стоит
Улыбки сладострастных уст.

* Креста, сиречь не Анненского и не Владимирского, а честного и живо-
творящего. [Примечание Пушкина.]

Не спрашивай, зачем унылой думой
 Среди забав я часто омрачен,
 Зачем на всё подвемлю взор угрюмый,
 Зачем не мил мне сладкий жизни сон;
 Не спрашивай, зачем душой остылой
 Я разлюбил веселую любовь
 И никого не называю милой:
 Кто раз любил, уж не полюбит вновь;
 Кто счастье знал, уж не узнает счастья.
 На краткий миг блаженство нам дано:
 От юности, от нег и сладострастья
 Останется уныние одно.

* * *

Краев чужих неопытный любитель
 И своего всегдашний обвинитель,
 Я говорил: в отечестве моем
 Где верный ум, где гений мы найдем?
 Где гражданин с душою благородной,
 Возвышенной и пламенно свободной?
 Где женщина — не с хладной красотой,
 Но с пламенной, пленительной, живой?
 Где разговор найду непринужденный,
 Блистательный, веселый, просвещенный?
 С кем можно быть не хладным, не пустым?
 Отечество почти я ненавидел —
 Но я вчера Голицыну увидел
 И примирен с отечеством моим.

КРИВЦОВУ

Не пугай нас, милый друг,
 Гроба близким новосельем:
 Право, нам таким бездельем
 Заниматься недосуг.

Пусть остылой жизни чашу
Тянет медленно другой;
Мы ж утратим юность нашу
Вместе с жизнью дорогой;
Каждый у своей гробницы
Мы присядем на порог,
У пафосския царицы
Свежий выпросим венок,
Лишний миг у верной лени;
Круговой нальем сосуд,
И толпою наши тени
К тихой Лете убегут;
Смертный миг наш будет светел:
И подруги шалунов
Соберут их легкий пепел
В урны праздные пиров.

ТОРЖЕСТВО ВАКХА

Откуда чудный шум, неистовые клики?
Кого, куда зовут и бубны и тимпан?
Что значат радостные лики
И песни поселян?
В их круге светлая свобода
Прияла праздничный венок.
Но двинулись толпы народа...
Он приближается... Вот он, вот сильный бог!
Вот Бахус мирный, вечно юный!
Вот он, вот Индии герой!
О радость! Полные тобой
Дрожат, готовы грянуть струны
Нелицемерною хвалою.
Эван, эвое! Дайте чаши!
Несите свежие венцы!
Невольники, где тирсы наши?
Бежим на мирный бой, отважные бойцы!
Вот он, вот Вакх! О час отрадный!
Державный тирс в его руках;
Венец желтеет виноградный
В чернокудрявых волосах...
Течет. Его молодые тигры

С покорной яростью влекут;
Кругом летят эроты, игры,
И гимны в честь ему поют.
За ним теснится козлоногий
И фавнов и сатиров рой;
Плющом опутаны их роги;
Бегут смятенною толпой
Вослед за быстрой колесницей:
Кто с тростниковой цевницей,
Кто с верной кружкой своей;
Тот оступившись упадает
И бархатный ковер полей
Вином багровым обливает
При диком хохоте друзей.
Там дале вижу дивный ход:
Звучат веселые тимпаны;
Младые нимфы и сивльваны,
Составя шумный хоровод,
Несут недвижимого Силена...
Вино струится, брызжет пена,
И розы сыплются кругом;
Несут за спящим стариком
И тирс, символ победы мирной,
И кубок тяжко-золотой,
Венчанный крышкою сапфирной,
Подарок Вакха дорогой.

Но воеет берег отдаленный.
Власы раскинув по плечам,
Венчанны гроздьем, обнаженны,
Бегут вакханки по горам.

Тимпаны звонкие, кружась меж их перстами,
Гремят и вторят их ужасным голосам.
Промчались, летят, свиваются руками,
Волшебной пляской топчут луг,
И младость пылкая толпами
 Стекается вокруг.

Поют неистовые девы;
Их сладострастные напевы
В сердца вливают жар любви;
Их перси дышат вожделем;

Их очи, полные безумством и томленьем,
Сказали: счастье лови!
Их вдохновенные движенья
Сперва изображают нам
Стыдливость милого смятенья,
Желанье робкое, а там
Восторг и дерзость наслажденья.
Но вот рассыпались по холмам и полям;
Махая тирсами несутся;
Уж издали их вопли раздаются,
И гул им вторит по лесам.
Эван, эвое! Дайте чаши!
Несите свежие венцы!
Невольники, где тирсы наши?
Бежим на мирный бой, отважные бойцы!

Друзья, в сей день благословенный
Забвенью бросим суеты!
Теки, вино, струею пенной
В честь Вакха, муз и красоты!
Эван, эвое! Дайте чаши!
Несите свежие венцы!
Невольники, где тирсы наши?
Бежим на мирный бой, отважные бойцы!

К НЕЙ

В печальной праздности я лиру забывал,
Воображение в мечтах не разгоралось,
С дарами юности мой гений отлетал,
И сердце медленно хладело, закрывалось.
Вас вновь я призывал, о дни моей весны,
Вы, пролетевшие под сенью тишины
Дни дружества, любви, надежд и грусти нежной,
Когда, поэзии поклонник безмятежный,
На лире счастливой я тихо воспевал
Волнение любви, уныние разлуки,
И гул дубрав горам передавал
Мои задумчивые звуки.
Напрасно! Я влачил постыдной лени груз,

В дремоту хладную невольно погружался,
Бежал от радостей, бежал от милых муз
И — слезы на глазах — со славою прощался!
Но вдруг, как молнии стрела,
Зажглась в увядшем сердце младость,
Душа проснулась, ожила,
Узнала вновь любви надежду, скорбь и радость.
Всё снова расцвело! Я жизнью трепетал;
Природы вновь восторженный свидетель,
Живее чувствовал, свободнее дышал,
Сильней пленяла добродетель...
Хвала любви, хвала богам!
Вновь лиры сладостной раздался голос юный,
И с звонким трепетом воскреснувшие струны
Несу к твоим ногам!..

ИМЕНИНЫ

Умножайте шум и радость;
Пойте песни в добрый час:
Дружба, грация и младость
Именинницы у нас.
Между тем дитя крылато,
Вас приветствуя, друзья,
Втайне думает: когда-то
Именинник буду я?

ДОБРЫЙ СОВЕТ

Давайте пить и веселиться,
Давайте жизнь играть,
Пусть чернь слепая суетится,
Не нам безумной подражать.
Пусть наша ветреная младость
Потонет в неге и в вине,
Пусть изменяющая радость
Нам улыбнется хоть во сне.

Когда же юность легким дымом
Умчит веселья юных дней,
Тогда у старости отыдем
Всё, что отыметя у ней.

К. А. Б***

Что можем наскоро стихами молвить ей?
Мне истина всего дороже.
Подумать не успею, скажу: ты всех милей;
Подумаю, я скажу всё то же.

ИСТОРИЯ СТИХОТВОРЦА

Внимает он привычным ухом
Свист;
Марают он единым духом.
Лист;
Потом всему терзает свету
Слух;
Потом печатает: и в Лету
Бух!

К ПОРТРЕТУ ЧААДАЕВА

Он вышней волею небес
Рожден в оковах службы царской.
Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес,
А здесь он — офицер гусарский.

ВОЛЬНОСТЬ

ода

Беги, сокройся от очей,
Цитеры слабая царица!
Где ты, где ты, гроза царей,
Свободы гордая певица?

Приди, сорви с меня венок,
Разбей изнеженную лиру...
Хочу воспеть свободу миру,
На тронах поразить порок.

Открой мне благородный след
Того возвышенного галла,
Кому сама среди славных бед
Ты гимны смелые внушала.
Питомцы ветреной судьбы,
Тираны мира! трепещите!
А вы, мужайтесь и внимлите,
Восстаньте, падшие рабы!

Увы! куда ни брошу взор —
Везде бичи, везде железы,
Законов гибельный позор,
Неволи немощные слезы;
Везде неправедная власть
В сгущенной мгле предрассуждений
Воссела — рабства грозный гений
И славы роковая страсть.

Лишь там над царскою главой
Народов не легло страданье,
Где крепко с вольностью святой
Законов мощных сочетанье;
Где всем простерт их твердый щит,
Где сжатый верными руками
Граждан над равными главами
Их меч без выбора скользит

И преступленье свысока
Сражает праведным размахом;
Где неподкупна их рука
Ни алчной скупостью, ни страхом.
Владыки! вам венец и трон
Дает закон — а не природа —
Стоите выше вы народа,
Но вечный выше вас закон.

И горе, горе племенам,
Где дремлет он неосторожно,
Где иль народу иль царям
Законом властвовать возможно!
Тебя в свидетели зову,
О мученик ошибок славных,
За предков в шуме бурь недавних
Сложивший царскую главу.

Восходит к смерти Людовик
В виду безмолвного потомства.
Главой развенчанной приник
К кровавой плахе вероломства.
Молчит закон — народ молчит,
Падет преступная секира..
И се — злодейская порфира
На галлах скованных лежит.

Самовластительный злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостью вижу.
Читают на твоём челе
Печать проклятия народы,
Ты ужас мира, стыд природы,
Упрек ты богу на земле.

Когда на мрачную Неву
Звезда полуночи сверкает
И беззаботную главу
Спокойный сон отягощает,
Глядит задумчивый певец
На грозно спящий средь тумана
Пустынный памятник тирана,
Забвенью брошенный дворец,

И слышит Клии страшный глас;
За сими страшными стенами
Калигулы последний час
Он видит живо пред очами;
Он видит — в лентах и звездах,
Вином и злобой упоенны,

Идут убийцы потаенны;
На лицах дерзость, в сердце страх.

Молчит неверный часовой,
Опущен молча мост подъемный,
Врата отверсты в тьме ночной
Рукой предательства наемной...
О стыд! о ужас наших дней!
Как звери, вторглись янычары!..
Падут бесславные удары...
Погиб увенчанный злодей.

И днесь учитесь, о цари:
Ни наказанья, ни награды,
Ни кров темниц, ни алтари
Не верные для вас ограды.
Склонитесь первые главою
Под сень надежную закона,
И станут вечной стражей трона
Народов вольность и покой.

КН. ГОЛИЦЫНОЙ

посылая ей оду «вольность»

Простой воспитанник природы,
Так я бывало воспевал
Мечту прекрасную свободы
И ею сладостно дышал.
Но вас я вижу, вам внимаю,
И что же? слабый человек!..
Свободу потеряв навек,
Неволю сердцем обожаю.

* * *

Когда сожмешь ты снова руку,
Которая тебе дарит
На скучный путь и на разлуку
Святую библию харит?
Амур нашел ее в Цитере,
В архиве шалости молодой.
По ней молись своей Венере
Благочестивою душой.
Прости, эпикуреец мой!
Останься век, каков ты ныне,
Лети во мрачный Альбион!
Да сохранят тебя в чужбине
Христос и верный Купидон!
Неси в чужой предел пената,
Но, помня прежни дни свои,
Люби невественного брата,
Страдальца чувственной любви!

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

Тебя ль я видел, милый друг?
Или неверное то было сновиденье,
Мечтанье смутное, и пламенный недуг
Обманом волновал мое воображенье?
В минуты мрачные болезни роковой,
Ты ль, дева нежная, стояла надо мной
В одежде воина, с неловкостью приятной?
Так, видел я тебя; мой тусклый взор узнал

Знакомые красы под сей одеждой ратной,
И слабым шопотом подругу я назвал...
Но вновь в уме моем стеснились мрачны грезы:
Я слабою рукой искал тебя во мгле...
И вдруг я чувствую твое дыханье, слезы
И влажный поцелуй на пламенном челе...
 Бессмертные, с каким волненьем
Желанья, жизни огонь по сердцу пробежал!
 Я закипел, затрепетал:
 И скрылась ты прелестным привиденьем.
Жестокий друг, меня томишь ты упоеньем.
 Приди, меня мертвит любовь!
 В молчанье благосклонной ночи
Явись, волшебница: пускай увижу вновь
Под грозным кивером твои небесны очи,
 И плащ, и пояс боевой,
И бранной обувью украшенные ноги...
Не медли, поспешай, прелестный воин мой,
Приди, я жду тебя: здоровья дар благой
 Мне снова ниспослали боги,
 А с ним и сладкие тревоги
Любви таинственной и шалости молодой.

ЖУКОВСКОМУ

Когда, к мечтательному миру
Стремясь возвышенной душой,
Ты держишь на коленях лиру
Нетерпеливою рукой;
Когда сменяются виденья
Перед тобой в волшебной мгле,
И быстрый холод вдохновенья
Власы подъемлет на челе:
Ты прав, творишь ты *для немногих*,
Не для завистливых судей,
Не для сбирателей убогих
Чужих суждений и вестей,
Но для друзей таланта строгих,
Священной истины друзей.

Не всякого полюбит счастье,
Не все родились для венцов.
Блажен, кто знает сладострастье
Высоких мыслей и стихов,
Кто наслаждение прекрасным
В прекрасный получил удел
И твой восторг уразумел
Восторгом пламенным и ясным!

СКАЗКИ

НОЁЛ

Ура! в Россию скачет
Кочующий деспот.
Спаситель громко плачет,
А с ним и весь народ.
Мария в хлопотах спасителя страшает:
«Не плачь, дитя, не плачь, сударь:
Вот бука, бука — русский царь!»
Царь входит и вещает:

«Узнай, народ российский,
Что знает целый мир:
И прусский, и австрийский
Я шил себе мундир.
О, радуйся, народ: я сыт, здоров и тучен;
Меня газетчик прославлял;
Я ел, и пил, и обещал —
И делом не измучен.

Узнай еще, в прибавку,
Что сделаю потом:
Лаврову дам отставку,
А Соца — в желтый дом;
Закон постановлю на место вам Горголи
И людям все права людей,
По царской милости моей,
Отдам из доброй воли».

От радости в постеле
Запрыгало дитя:
«Неужто в самом деле?
Неужто не шутя?»
А мать ему: «Бай-бай! закрой свои ты глазки;
Пора уснуть бы наконец,
Послушавши, как царь-отец
Рассказывает сказки!»

К ПОРТРЕТУ ЖУКОВСКОГО

Его стихов пленительная сладость
Пройдет веков завистливую даль,
И, внемля им, вздохнет о славе младость,
Утешится безмолвная печаль,
И резвая задумается радость.

НА КАЧЕНОВСКОГО

Бессмертною рукою раздавленный зоил,
Позорного клейма ты вновь не заслужил!
Бесчестью твоему нужна ли перемена?
Наш Тацит на тебя захочет ли взглянуть?
Уймись — и прежним ты стихом доволен будь,
«Плюгавый выползок из гузна Дефонтена»!

МЕЧТАТЕЛЮ

Ты в страсти горестной находишь наслажденье,
Тебе приятно слезы лить,
Напрасным пламенем томить воображенье
И в сердце тихое уныние таить:
Поверь, не любишь ты, неопытный мечтатель.
О, если бы тебя, унылых чувств искатель,
Постигло страшное безумие любви;
Когда б весь яд ее кипел в твоей крови;

Когда бы в долгие часы бессонной ночи,
На ложе, медленно терзаемый тоской,
Ты звал обманчивый покой,
Вотще смыкая скорбны очи,
Покровы жаркие рыдая обнимал
И сохнул в бешенстве бесплодного желанья:
Поверь, тогда б ты не питал
Неблагодарного мечтанья.
Нет, нет: в слезах упав к ногам
Своей любовницы надменной,
Дрожащий, бледный, иступленный,
Тогда б воскликнул ты к богам:
Отдайте, боги, мне рассудок омраченный,
Возьмите от меня сей образ роковой;
Довольно я любил; отдайте мне покой...
Но мрачная любовь и образ незабвенный
Остались вечно бы с тобой.

К ***

Счастлив, кто близ тебя, любовник упоенный,
Без томной робости твой ловит светлый взор,
Движенья милые, игривый разговор
И след улыбки незабвенной.

**ОТВЕТ НА ВЫЗОВ НАПИСАТЬ СТИХИ В ЧЕСТЬ
ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ
ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИСАВЕТЫ АЛЕКСЕЕВНЫ**

На лире скромной, благородной
Земных богов я не хвалил;
И силе, в гордости свободной,
Кадилом лести не кадил.
Свободу лишь учась славить,
Стихами жертвуя лишь ей,
Я не рожден царей забавить
Стыдливой Музою моею.

Но, признаюсь, под Геликоном,
Где Касталийский ток шумел,
Я, вдохновенный Аполлоном,
Елисавету втайне пел.
Небесного земной свидетель,
Воспламененною душой
Я пел на троне добродетель
С ее приветною красой.
Любовь и тайная свобода
Внушали сердцу гимн простой;
И неподкупный голос мой
Был эхо русского народа.

ПРЕЛЕСТНИЦЕ

К чему нескромным сим убором,
Умильным голосом и взором
Младое сердце распалить
И тихим, сладостным укором
К победе легкой вызывать?
К чему обманчивая нежность,
Стыдливости притворный вид,
Движений томная небрежность
И трепет уст и жар ланит?
Напрасны хитрые старанья:
В порочном сердце жизни нет...
Невольный хлад негодованья
Тебе мой роковой ответ.
Твоею прелестью надменной
Кто не владел во тьме ночной?
Скажи: у двери оцененной
Твоей обители презренной
Кто смелой не стучал рукой?
Нет, нет, другому свой завялый
Неси, прелестница, венки;
Ласкай неопытный порок,
В твоих объятиях усталый;
Но гордый замысел забудь:
Не привлечешь питомца Музы
Ты на предательскую грудь.

Неси другим наемны узы,
Своей любви постыдный торг,
Корысти хладные лобзанья
И принужденные желанья,
И златом купленный восторг!

К ЧААДАЕВУ

Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман,
Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман;
Но в нас горит еще желанье;
Под гнетом власти роковой
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванье.
Мы ждем с томленьем упованья
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуту верного свиданья.
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

В АЛЬБОМ Е. Я. СОСНИЦКОЙ

Вы соединить могли с холодностью сердечной
Чудесный жар пленительных очей.
Кто любит вас, тот очень глуп, конечно;
Но кто не любит вас, тот во сто раз глупей.

* * *

И я слышал, что божий свет
Единой дружбою прекрасен,
Что без нее отрады нет,
Что жизни б путь нам был ужасен,
Когда б не тихий дружбы свет.
Но слушай — чувство есть другое:
Оно и нежит и томит,
В трудах, заботах и в покое
Всегда не дремлет и горит;
Оно мучительно, жестоко,
Оно всю душу в нас мертвит,
Коль язвы тяжелой и глубокой
Елей надежды не живит...
Вот страсть, которой я сгораю!..
Я вяну, гибну в цвете лет,
Но исцелиться не желаю...

ЭПИГРАММА НА КОЛОСОВУ

Всё пленяет нас в Эсфири:
Упоительная речь,
Поступь важная в порфире,
Кудри черные до плеч;
Голос нежный, взор любви...
Набеленная рука,
Размалеванные брови
И широкая нога.

27 МАЯ 1819

Веселый вечер в жизни нашей
Запомним, юные друзья;
Шампанского в стеклянной чаше
Шипела хладная струя.
Мы пили — и Венера с нами
Сидела, преля, за столом.
Когда ж вновь сядем четвером
С - -, вином и чубуками!

НА СТУРДЗУ

Холоп венчанного солдата,
Благодари свою судьбу:
Ты стоишь лавров Герострата,

Иль смерти немца Коцебу...
А впрочем, - - - - -.

К ЩЕРБИНИНУ

Житье тому, любезный друг,
Кто страстью глупою не болен,
Кому влюбиться недосуг,
Кто занят всем, и всем доволен;
Кто Наденьку под вечерок
За тайным ужином ласкает
И жирный страсбургский пирог
Вином душистым запивает;
Кто, удалив заботы прочь,
Как верный сын пафосской веры,
Проводит набожную ночь
С молодой монашенкой Цитеры.
Поутру сладко дремлет он,
Читая листик «Инвалида»;
Весь день веселью посвящен,
А в ночь — вновь царствует

Киприда!

И мы не так ли дни ведем,
Щербинин, резвый друг забавы,
С Амуром, шалостью, вином,
Покамест молоды и здоровы?
Но дни младые пролетят,
Веселья, нега нас покинут,
Желаньям чувства изменят,
Сердца иссохнут и остынут.
Тогда — без песен, без подруг,
Без наслаждений, без желаний —
Найдем отраду, милый друг,
В туманном сне воспоминаний!
Тогда, качая головой,
Скажу тебе у двери гроба:
«Ты помнишь Фанни, милый мой?»
И тихо улыбнемся оба.

В. В. ЭНГЕЛЬГАРДУ

Я ускользнул от Эскулапа
Худой, обритый, но живой:
Его мучительная лапа
Не тяготее надо мной.
Здоровье, легкий друг Приапа,
И сон, и сладостный покой,
Как прежде, посетили снова
Мой угол тесный и простой.
Утешь и ты полубольного!
Он жаждет видеться с тобой,
С тобой, счастливый беззаконник,
Ленивый Пинда гражданин,
Свободы, Вакха верный сын,
Венеры набожный поклонник
И наслаждений властелин!
От суеты столицы праздной,
От хладных прелестей Невы,
От вредной сплетницы молвы,
От скуки, столь разнообразной,
Меня зовут холмы, луга,
Тенисты клены огорода,
Пустынной речки берега
И деревенская свобода.
Дай руку мне. Приеду я
В начале мрачном октября:
С тобою пить мы будем снова,
Открытым сердцем говоря
Насчет глупца, вельможи злого,
Насчет холопа записного,
Насчет небесного царя,
А иногда насчет земного.

ОРЛОВУ

О ты, который сочетал
С душою пылкой, откровенной
(Хотя и русский генерал)
Любезность, разум просвещенный;

О ты, который, с каждым днем
Вставая на военну муку,
Усталым усачам верхом
Преподаешь царей науку,
Но не бесславишь сгоряча
Свою воинственную руку
Презренной палкой палача,
Орлов, ты прав: я забываю
Свои гусарские мечты
И с Соломоном восклицаю:
Мундир и сабля — суеты!
На генерала Киселева
Не положу своих надежд;
Он очень мил, о том ни слова,
Он враг коварства и невежд;
За шумным, медленным обедом
Я рад сидеть его соседом,
До ночи слушать рад его;
Но он придворный: обещанья
Ему не стоят ничего.
Смирив немирные желанья,
Без доломана, без усов,
Сокроюсь с тайною свободой,
С цевницей, негой и природой
Под сенью дедовских лесов;
Над озером, в спокойной хате,
Или в траве густых лугов,
Или холма на злачном скате,
В бухарской шапке и в халате
Я буду петь моих богов
И буду ждать. Когда ж восстанет
С одра покоя бог мечей;
И брани громкий вызов грянет,
Тогда покину мир полей;
Питомец пламенный Беллоны,
У трона верный гражданин!
Орлов, я стану под знамены
Твоих воинственных дружин;
В шатрах, среди сечи, среди пожаров,
С мечом и с лирой боевой
Рубиться буду пред тобой
И славу петь твоих ударов.

ДЕРЕВНЯ

Приветствую тебя, пустынный уголок,
Приют спокойствия, трудов и вдохновенья,
Где льется дней моих невидимый поток
На лоне счастья и забвенья!
Я твой — я променял порочный двор цирцей,
Роскошные пиры, забавы, заблужденья
На мирный шум дубров, на тишину полей,
На праздность вольную, подругу размышленья.
Я твой — люблю сей темный сад
С его прохладой и цветами,
Сей луг, уставленный душистыми скирдами,
Где светлые ручьи в кустарниках шумят;
Везде передо мной подвижные картины:
Здесь вижу двух озер лазурные равнины,
Где парус рыбака белеет иногда,
За ними ряд холмов и нивы полосаты,
Вдали рассыпанные хаты,
На влажных берегах бродящие стада,
Овины дымные и мельницы крылаты;
Везде следы довольства и труда.
Я здесь, от суетных окоя освобожденный,
Учуся в истине блаженство находить,
Свободною душой закон боготворить,
Роптанью не внимать толпы непросвещенной,
Участьем отвечать застенчивой мольбе
И не завидовать судьбе
Злодея иль глупца в величии неправом.
Оракулы веков, здесь вопрошаю вас!
В уединенье величавом
Слышнее ваш отрадный глас;
Он гонит лени сон угрюмый,
К трудам рождает жар во мне,
И ваши творческие думы
В душевной зреют глубине.

Но мысль ужасная здесь душу омрачает:
Среди цветущих нив и гор
Друг человечества печально замечает
Везде невежества убийственный позор.

Не видя слез, не внемля стона,
На пагубу людей избранное судьбой,
Здесь барство дикое, без чувства, без закона,
Себе присвоило насильственной лозой
И труд, и собственность, и время земледельца.
С поникшею главой, покорствуя бичам,
Здесь рабство тощее влачится по браздам
Неумолимого владельца.
Здесь тягостный ярем до гроба все влекут;
Надежд и склонностей в душе питать не смея,
Здесь девы юные цветут
Для прихоти бесчувственной злодея;
Опора милая стареющих отцов,
Младые сыновья, товарищи трудов,
Из хижины родной идут собой умножить
Дворовые толпы измученных рабов.
О, если б голос мой умел сердца тревожить!
Почто в груди моей горит бесплодный жар,
И не дан мне в удел витийства грозный дар?
Увижу ль, о друзья, народ неугнетенный
И рабство, падшее по манию царя,
И над отечеством свободы просвещенной
Взойдет ли наконец прекрасная заря?

ДОМОВОМУ

Поместья мирного незримый покровитель,
Тебя молю, мой добрый домовой,
Храни селенье, лес и дикий садик мой
И скромную семью моей обитель!
Да не вредят полям опасный хлад дождей
И ветра позднего осенние набеги:
Да в пору благотворны снега
Покроют влажный гук полей!
Останься, тайный страж, в наследственной сени,
Постигни робостью полуночного вора
И от недружеского взора
Счастливый домик охрани!
Ходи вокруг него заботливым дозором,

Люби мой малый сад и берег сонных вод,
И сей укромный огород
С калиткой ветхою, с обрушенным забором!
Люби зеленый скат холмов,
Луга, измятые моей бродящей ленью,
Прохладу лип и кленов шумный кров:
Они знакомы вдохновенью.

К Ф. Ф. ЮРЬЕВУ

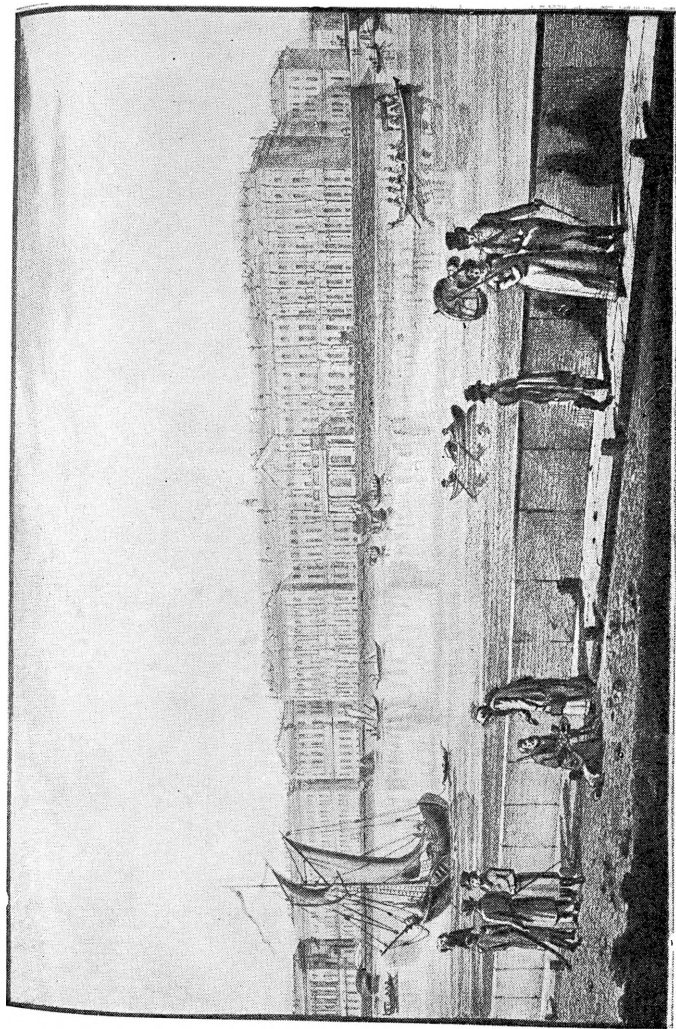
Здорово, Юрьев именинник!
Здорово, Юрьев лейб-улан!
Сегодня для тебя пустынный
Осушит пенистый стакан.
Здорово, Юрьев именинник!
Здорово, Юрьев лейб-улан!

Здорово, рыцари лихие
Любви, свободы и вина!
Для нас, союзники младые,
Надежды лампа зажжена.
Здорово, рыцари лихие
Любви, свободы и вина!

Здорово, молодость и счастье,
Застольный кубок и - -,
Где с громким смехом сладострастье
Ведет нас пьяных на постель.
Здорово, молодость и счастье,
Застольный кубок и - - !

ВСЕВОЛОЖСКОМУ

Прости, счастливый сын пиров,
Балованный дитя свободы!
Итак, от наших берегов,
От мертвой области рабов,



Петербург

Литография А. Плюшара 1826 г.

Капральства, прихотей и моды
Ты скачешь в мирную Москву,
Где наслажденьям знают цену,
Беспечно дремлют наяву
И в жизни любят перемену.
В сей азиатской стороне,
Нас уверяют, жизнь — игрушка!
В почтенной кичке, в шушуне,
Москва премилая старушка.
Разнообразной и живой
Она пленяет пестротой,
Старинной роскошью, пирами,
Невестами, колоколами,
Забавной, легкой суетой,
Невинной прозой и стихами.
Ты там на шумных вечерах
Увидишь важное безделье,
Жеманство в тонких кружевах
И глупость в золотых очках,
И тучной знатности похмелье,
И скуку, с картами в руках.
Всего минутный наблюдатель,
Ты посмеешься под рукой;
Но вскоре, верный обожатель
Забав и лени золотой,
Держася моего совета
И волю всей душой любя,
Оставишь круг большого света
И жить решишься для себя.
Уже в приюте отдаленном
Я вижу мысленно тебя:
Кипит в бокале опененном
Аи холодная струя;
В густом дыму ленивых трубок,
В халатах новые друзья
Шумят и пьют; задорный кубок
Обходит их безумный круг,
И мчится в радостях досуг;
А там египетские девы
Летают, вьются пред тобой;
Я слышу звонкие напевы,
Стон неги, вопли, дикий вой;

Их иступленные движенья,
Огонь неистовых очей,
И всё, мой друг, в душе твоей
Рождает трепет упоенья...
Но вспомни, милый: здесь одна,
Тебя всечасно ожидая,
Вздыхает пленница младая;
Весь день уныла и томна,
В своей задумчивости сладкой,
Тихонько плачет под окном,
От грозных аргусов украдкой,
И смотрит на пустынный дом,
Где мы так часто пировали
С Кипридой, Вакхом и тобой,
Куда с надеждой и тоской
Ее желанья улетали.
О, скоро ль милого найдут
Ее потупленные взоры,
И пред любовью упадут
Замков ревнивые затворы?

А наш осиротелый круг,
Товарищ, скоро ль оживится?
Когда прискачешь, милый друг?
Душа вослед тебе стремится.
Где б ни был ты, возьми венок
Из рук младого сладострастья
И докажи, что ты знаток
В неведомой науке счастья.

ВЕСЕЛЫЙ ПИР

Я люблю вечерний пир,
Где веселье председатель,
А свобода, мой кумир,
За столом законодатель,
Где до утра слово пей
Заглушает крики песен,
Где просторен круг гостей,
А кружок бутылок тесен.

УЕДИНЕНИЕ

Блажен, кто в отдаленной сени,
Вдали тиранов и невежд,
Дни делит меж трудов и лени,
Воспоминаний и надежд;
Кому судьба друзей послала,
Кто скрыт, по милости творца,
От усыпителя глупца,
От пробудителя нахала.

ЛИЛЕ

Лиля, Лиля, я страдаю
Безотрадною тоской,
Я томлюсь, я умираю,
Гасну пламенной душой;
Но любовь моя напрасна:
Ты смеешься надо мной.
Смейся, Лиля; ты прекрасна
И бесчувственной красой.

ПЛАТОНИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ

Я знаю, Лидинька, мой друг,
Кому в задумчивости сладкой
Ты посвятила свой досуг,
Кому ты жертвуешь украдкой
От подозрительных подруг.
Тебя страшит проказник милый,
Очарователь легкокрылый,
И хладной важностью своей
Тебе несносен Гименей.
Ты молишься другому богу,
Своей покорствуя судьбе;
Восторги нежные к тебе
Нашли пустынную дорогу.
Я понял слабый жар очей,

Я понял взор полузакрытый
И побледневшие ланиты,
И томность поступи твоей...
Твой бог не полною отрадой
Своих поклонников дарит.
Его таинственной наградой
Младая скромность дорожит.
Он любит сны воображенья,
Он терпит на дверях замок,
Он друг стыдливый наслажденья,
Он брат любви, но одинок.
Когда бессонницей унылой
Во тьме ночной томишься ты,
Он оживляет тайной силой
Твои неясные мечты,
Вздыхает нежно с бедной Лидой
И гонит тихою рукой
И сны, внушенные Кипридой,
И сладкий девственный покой.
В уединенном наслажденьи
Ты мыслишь обмануть любовь.
Напрасно! — в самом упоеньи
Вздыхаешь и томишься вновь.

Амур ужели не заглянет
В неосвященный свой приют?
Твоя краса, как роза, вянет;
Минуты юности бегут.
Ужель мольба моя напрасна?
Забудь преступные мечты,
Не вечно будешь ты прекрасна,
Не для себя прекрасна ты.

ЗАПИСКА К ЖУКОВСКОМУ

Раевский, *молоденец* врежний,
А там уже *отважный* сын,
И Пушкин, школьник неприлежный
Парнасских девственниц богинь,

К тебе, Жуковский, заезжали,
Но к неописанной печали
Поэта дома не нашли —
И, увенчавшись кипарисом,
С французской повестью *Борисом*
Домой уныло побрели.
Какой святой, какая сводня
Сведет Жуковского со мной?
Скажи, не будешь ли сегодня
С Карамзиным, с Карамзиной?
На всякий случай — ожидаю;
Тронися просьбою моей;
Тебя зовет на чашку чаю
Раевский — слава наших дней.

НЕДОКОНЧЕННАЯ КАРТИНА

Чья мысль восторгом угадала,
Постигла тайну красоты?
Чья кисть, о небо, означала
Сии небесные черты?

Ты, гений!.. Но любви страданья
Его сразили. Взор немой
Вперил он на свое созданье
И гаснет пламенной душой.

РУСАЛКА

Над озером, в глухих дубровах,
Спасался некогда монах,
Всегда в занятиях суровых,
В посте, молитве и трудах.
Уже лопаткою смиренной
Себе могилу старец рыл
И лишь о смерти вожделенной
Святых угодников молил.

Однажды летом у порогу
Поникшей хижины своей
Анахорет молился богу.
Дубравы делались черней;
Туман над озером дымился,
И красный месяц в облаках
Тихонько по небу катился.
На воды стал глядеть монах.

Глядит, невольно страха полный;
Не может сам себя понять...
И видит: закипели волны
И присмирели вдруг опять...
И вдруг... легка, как тень ночная,
Бела, как ранний снег холмов,
Выходит женщина нагая
И молча села у берегов.

Глядит на старого монаха
И чешет влажные власы.
Святой монах дрожит со страха
И смотрит на ее красы.
Она манит его рукою,
Кивает быстро головой...
И вдруг падучею звездою
Под сонной скрылася волной.

Всю ночь не спал старик угрюмый
И не молился целый день:
Перед собой с невольной думой
Всё видел чудной девы тень.
Дубравы вновь оделись тьмою;
Пошла по облакам луна,
И снова дева над водою
Сидит, прелестна и бледна.

Глядит, кивает головою,
Целует издали шутя,
Играет, плещется волною,
Хохочет, плачет, как дитя,
Зовет монаха, нежно стонет...
«Монах, монах! Ко мне, ко мне!..»

И вдруг в волнах прозрачных тонет;
И всё в глубокой тишине.

На третий день отшельник страстный
Близ очарованных берегов
Сидел и девы ждал прекрасной,
А тень ложилась средь дубров...
Заря прогнала тьму ночную:
Монаха не нашли нигде,
И только бороду седую
Мальчишки видели в воде.

СТАНСЫ ТОЛСТОМУ

Философ ранний, ты бежишь
Пиров и наслаждений жизни,
На игры младости глядишь
С молчаньем хладным укоризны.

Ты милые забавы света
На грусть и скуку променял
И на лампаду Эпиктета
Златой Горациев фиал.

Поверь, мой друг, она придет,
Пора унылых сожалений,
Холодной истины забот
И бесполезных размышлений.

Зевес, балуя смертных чад,
Всем возрастам дает игрушки:
Над сединами не гремят
Безумства резвые гремяшки.

Ах, младость не приходит вновь!
Зови же сладкое безделье
И легкокрылую любовь,
И легкокрылое похмелье!

До капли наслажденье пей,
Живи беспечен, равнодушен!
Мгновенью жизни будь послушен,
Будь молод в юности твоей!

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Художник-варвар кистью сонной
Картину гения чернит
И свой рисунок беззаконный
Над ней бессмысленно чертит.

Но краски чуждые, с годами,
Спадают ветхой чешуей:
Созданье гения пред нами
Выходит с прежней красотой.

Так исчезают заблужденья
С измученной души моей,
И возникают в ней виденья
Первоначальных, чистых дней.

ПОСЛАНИЕ К КН. А. М. ГОРЧАКОВУ

Питомец мод, большого света друг,
Обычаев блестящий наблюдатель,
Ты мне велишь оставить мирный круг,
Где, красоты беспечный обожатель,
Я провожу незнаемый досуг.
Как ты, мой друг, в неопытные лета,
Опасною прельщенный суетой,
Терял я жизнь и чувства и покой;
Но угорел в чаду большого света
И отдохнуть убрался я домой.
И, признаюся, мне во сто крат милее
Младых повес счастливая семья,
Где ум кипит, где в мыслях волен я,

Где спорю вслух, где чувствую живее,
И где мы все — прекрасного друзья,
Чем вялые, бездушные собрания,
Где ум хранит невольное молчанье,
Где холодом сердца поражены,
Где Бутурлин — невежд законодатель,
Где Шешинг — царь, а скука — председатель,
Где глупостью единой все равны.
Я помню их, детей честолюбивых,
Злых без ума, без гордости спесивых,
И, разглядев тиранов модных зал,
Чуждаюсь их укоров и похвал!..
Когда в кругу Лаис благочестивых
Затянутый невежда-генерал
Красавицам внимательным и сонным
С трудом острит французский мадригал,
Глядя на всех с нахальством благосклонным,
И все вокруг и дремлют, и молчат,
Крутят усы и шпорами бренчат,
Да изредка с улыбкою зевают, —
Тогда, мой друг, забытых шалунов
Свобода, Вакх и музы угощают.
Не слышу я бывало острых слов,
Политики смешного лепетанья,
Не вижу я изношенных глупцов,
Святых невежд, почетных подлецов
И мистики придворного кривлянья!..
И ты на миг оставь своих вельмож
И тесный круг друзей моих умножь,
О ты, харит любовник своевольный,
Приятный льстец, язвительный болтун,
Попрежнему остряк небогомольный,
Попрежнему философ и шалун.

* * *

Но я не тот, мои златые годы,
Безумства жар, веселость, острота,
Любовь стихов, любовь моей свободы —
Проходит всё, как легкая мечта.

Так иногда за чашей ликования
Найдешь меня объятого тоской,
Задумчива, с поникшею главой —
И ты поймешь души моей страданья.

* * *

Ольга, крестница Киприды,
Ольга, чудо красоты,
Как же ласки и обиды
Расточать привыкла ты!
Поцелуем сладострастья
Ты, тревожа сердце в нас,
Соблазнительного счастья
Назначаешь тайный час.
Мы с горячкою любовной
Прибегаем в час условный,
В дверь стучим — но в сотый раз
Слышим твой коварный шопот
И служанки сонный ропот,
И насмешливый отказ.

Ради резвого разврата
Приапических затей,
Ради неги, ради злата,
Ради прелести твоей,
Ольга, жрица наслажденья,
Внемли наш влюбленный плач —
Ночь восторгов, ночь забвенья
Нам наверное назначь.

П. Б. МАНСУРОВУ

Мансуров, закадычный друг,
Надень венок терновый!
Вздохни — и рюмку выпей вдруг
За здравие Крыловой.

Поверь, она верна тебе,
Как девственница Ласси,

Она покорствуеѣ судьбе
И госпоже Казасси.

Но скоро счастливой рукой
Набойку школы скинет,
На бархат ляжет пред тобой

ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК

Ты прав, несносен Фирс ученый,
Педант надутый и мудреный:
Он важно судит обо всем,
Всего он знает понемногу.
Люблю тебя, сосед Пахом:
Ты просто глуп, и слава богу.

МАДРИГАЛ М — ОЙ

О вы, которые любовью не горели,
Взгляните на нее: узнаете любовь.
О вы, которые уж сердцем охладели,
Взгляните на нее: полюбите вы вновь.

Е. П. БАКУНИНОЙ

Напрасно воспевать мне ваши именины
При всем усердии послушности моей:
Вы не милее в день святой Екатерины
Затем, что никогда нельзя быть вас милей.

ТЫ И Я

Ты богат, я очень беден;
Ты прозаик, я поэт;
Ты румян, как маков цвет,
Я, как смерть, и тощ, и бледен.

Не имея ввек забот,
Ты живешь в огромном доме;
Я ж среди горя и хлопот
Провожу дни на соломе.
Ешь ты сладко всякий день,
Тянешь вины на свободе,
И тебе нередко лень
Нужный долг отдать природе;
Я же с черствого куска,
От воды гнилой и пресной,
Сажень за сто с чердака
За нуждой бегу известной.
Окружен рабов толпой,
С грозным деспотизма взором,

Я же - - - - -
Не балую детской модой
И Хвостова жесткой одой,
Хоть и морщуся, - - .

ЦАРСКОЕ СЕЛО

Хранитель милых чувств и прошлых наслаждений,
О ты, певцу дубрав давно знакомый гений,
Воспоминание, рисуй передо мной
Волшебные места, где я живу душой,
Леса, где я любил, где чувство развивалось.
Где с первой юностью младенчество сливалось,
И где, взлелеянный природой и мечтой,
Я знал поэзию, веселость и покой...*

* В автографе далее начата была строфа:

Другой пускай поет героев и войну,
Я — скромно возлюбил природы тишину
И, чуждый призрака пленительных славы,
О Царского Села прекрасные дубравы,
Отныне посвятил вам, верный музы друг,
И песни мирные и сладостный досуг.

Веди, веди меня под липовые сени,
Всегда любезные моей свободной лени,
На берег озера, на тихий скат холмов!..
Да вновь увижу я ковры густых лугов
И дряхлый пук деревьев, и светлую долину,
И злчных берегов знакомую картину,
И в тихом озере, средь блестящих зыбей,
Станицу гордую спокойных лебедей.

ЭЛЕГИЯ

Воспоминаньем упоенный,
С благоговеньем и тоской
Объемлю грозный мрамор твой,
Кагула памятник надменный.
Не смелый подвиг россиян,
Не слава, дар Екатерине,
Не задунайский великан
Меня воспаменяют ныне...

.
.

ДОРИДЕ

Я верю: я любим; для сердца нужно верить.
Нет, милая моя не может лицемерить;
Всё непритворно в ней: желаний томный жар,
Стыдливость робкая, харит бесценный дар,
Нарядов и речей приятная небрежность
И ласковых имен младенческая нежность.

ДОРИДА

В Дориде нравятся и локоны златые,
И бледное лицо, и очи голубые.
Вчера, друзей моих оставя пир ночной,
В ее объятиях я негу пил душой;
Восторги быстрые восторгами сменялись,
Желанья гасли вдруг и снова разгорались.
Я таял; но среди неверной темноты
Другие милые мне виделась черты,
И весь я полон был таинственной печали,
И имя чуждое уста мои шептали.

* * *

Мне бой знаком — люблю я звук мечей;
От первых лет поклонник бранной славы,
Люблю войны кровавые забавы,
И смерти мысль мила душе моей.

Во цвете лет, свободы верный воин,
Перед собой кто смерти не видал,
Тот полного веселья не вкушал
И милых жен лобзаний не достоин.

ЮРЬЕВУ

Любимец ветреных Лаис,
Прелестный баловень Киприды,
Умей сносить, мой Адонис,
Ее минутные обиды!
Она дала красы младой
Тебе в удел очарованье,
И черный ус, и взгляд живой,
Любви улыбку и молчанье.
С тебя довольно, милый друг!
Пуускай, желаний пылких чуждый,
Ты поцелуями подруг
Не наслаждаешься, что нужды?
В чаду веселий городских,
На легких играх Терпсихоры,
К тебе красавиц молодых
Летят задумчивые взоры.
Увы! язык любви немой,
Сей вздох души красноречивый,
Быть должен сладок, милый мой,
Беспечности самолюбивой.
И счастлив ты своей судьбой.
А я, повеса вечно праздный,
Потомок негров безобразный,
Взрощенный в дикой простоте,
Любви не ведая страданий,
Я нравлюсь юной красоте
Бесстыдным бешенством желаний;
С невольным пламенем ланит
Украдкой нимфа молодая,
Сама себя не понимая,
На фавна иногда глядит.

НА АРАКЧЕЕВА

Всей России притеснитель,
Губернаторов мучитель
И Совета он учитель,
А царю он — друг и брат.
Полон злобы, полон мести,
Без ума, без чувств, без чести,
Кто ж он, «преданный без лести»?
- - грошевой солдат.

* * *

Се самый Дельвиг тот, что нам всегда твердил,
Что коль судьбой ему даны б Нерон и Тит,
То не в Нерона меч, но в Тита сей вонзил —
Нерон же без него правдиву смерть узрит.

ЭПИГРАММА

В жизни мрачной и презренной
Был он долго погружен,
Долго все концы вселенной
Осквернял развратом он.
Но, исправясь понемногу,
Он загладил свой позор,
И теперь он — слава богу, —
Только что картежный вор.

* * *

Увы, зачем она блистает
Минутной, нежной красотой?
Она приметно увядает
Во цвете юности живою...
Увянет! Жизнью молодою
Недолго наслаждаться ей;
Недолго радовать собою
Счастливый круг семьи своей,

Беспечной, милой острою
Беседы наши оживлять
И тихой, ясною душою
Страдальца душу улаждать.
Спешу в волненье дум тяжелых,
Сокрыв уныние мое,
Наслушаться речей веселых
И наглядеться на нее.
Смотрю на все ее движенья,
Внимаю каждый звук речей,
И миг единый разлученья
Ужасен для души моей.

* * *

Мне вас не жаль, года весны моей,
Протекшие в мечтах любви напрасной, —
Мне вас не жаль, о таинства ночей,
Воспетые цевницей сладострастной;

Мне вас не жаль, неверные друзья,
Венки пиров и чаши круговые,
Мне вас не жаль, изменницы младае, —
Задумчивый, забав чуждаюсь я.

Но где же вы, минуты умиленья,
Младых надежд, сердечной тишины,
Где прежний жар, где нега вдохновенья?..
Придите вновь, года моей весны!

* * *

Погасло дневное светило;
На море синее вечерний пал туман.
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан.
Я вижу берег отдаленный,
Земли полуденной волшебные края;

С волнением и тоской туда стремлюся я,
Воспоминаям упоенный...
И чувствую: в очах родились слезы вновь;
Душа кипит и замирает;
Мечта знакомая вокруг меня летает;
Я вспомнил прежних лет безумную любовь,
И всё, чем я страдал, и всё, что сердцу мило,
Желаний и надежд томительный обман...
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан.
Лети, корабль, носи меня к пределам дальным
По грозной прихоти обманчивых морей,
Но только не к берегам печальным
Туманной родины моей,
Страны, где пламенем страстей
Впервые чувства разгорались,
Где музы нежные мне тайно улыбались,
Где рано в бурях отцвела
Моя потерянная младость,
Где легкокрылая мне изменила радость
И сердце хладное страданью предала.
Искатель новых впечатлений,
Я вас бежал, отечески края;
Я вас бежал, питомцы наслаждений,
Минутной младости минутные друзья;
И вы, наперсницы порочных заблуждений,
Которым без любви я жертвовал собой,
Покоем, славою, свободой и душой,
И вы забыты мной, изменницы младые,
Подруги тайные моей весны златая,
И вы забыты мной... Но прежних сердца ран,
Глубоких ран любви, ничто не излечило...
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан...

К ***

Зачем безвременную скуку
Зловещей думою питать
И неизбежную разлуку

В унынье робком ожидать?
И так уж близок день страданья!
Один, в тиши пустых полей,
Ты будешь звать воспоминанья
Потерянных тобою дней:
Тогда изгнаньем и могилой,
Несчастный, будешь ты готов
Купить хоть слово девы милой,
Хоть легкий шум ее шагов.

ДОЧЕРИ КАРАГЕОРГИЯ

Гроза луны, свободы воин,
Покрытый кровию святой,
Чудесный твой отец, преступник и герой;
И ужаса людей, и славы был достоин.
Тебя младенца он ласкал
На пламенной груди рукой окровавленной;
Твоей игрушкой был кинжал,
Братоубийством изощренный.
Как часто, возбудив свирепой мести жар,
Он молча над твоей невинной колыбелью
Убийства нового обдумывал удар
И лепет твой внимал и не был чужд веселью.
Таков был: сумрачный, ужасный до конца.
Но ты, прекрасная, ты бурный век отца
Смиренной жизнью пред небом искупила:
С могилы грозной к небесам
Она, как сладкий фимиам,
Как чистая любви молитва, восходила.

ЧЕРНАЯ ШАЛЬ

Гляжу, как безумный, на черную шаль,
И хладную душу терзает печаль.

Когда легковерен и молод я был,
Младую гречанку я страстно любил.

Прелестная дева ласкала меня;
Но скоро я дожид до черного дня.

Однажды я созвал веселых гостей:
Ко мне постучался презренный еврей.

С тобою пируют (шепнул он) друзья;
Тебе ж изменила гречанка твоя.

Я дал ему злата и проклял его,
И верного позвал раба моего.

Мы вышли: я мчался на быстром коне;
И кроткая жалость молчала во мне.

Едва я завидел гречанки порог,
Глаза потемнели, я весь изнемог...

В покои отдаленный вхожу я один...
Неверную деву лобзал армянин.

Не взвидел я света; булат загремел...
Прервать поцелуя злодей не успел.

Безглавое тело я долго топтал,
И молча на деву, бледнея, взирал.

Я помню моленья, текущую кровь...
Погибла гречанка, погибла любовь.

С главы ее мертвой сняв черную шаль,
Отер я безмолвно кровавую сталь.

Мой раб, как настала вечерняя мгла,
В дунайские волны их бросил тела.

С тех пор не целую прелестных очей,
С тех пор я не знаю веселых ночей.

Гляжу, как безумный, на черную шаль,
И хладную душу терзает печаль.

НЕРЕИДА

Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду,
На утренней заре я видел nereиду.
Сокрытый меж дерев, едва я смел дохнуть:
Над ясной влагою полубогиня грудь
Младую, белую, как лебедь, воздымала
И пену из власов струею выжимала.

* * *

Редеет облаков летучая гряда.
Звезда печальная, вечерняя звезда!
Твой луч осеребрил увядшие равнины
И дремлющий залив, и черных скал вершины.
Люблю твой слабый свет в небесной вышине;
Он думы разбудил, уснувшие во мне.
Я помню твой восход, знакомое светило,
Над мирною страной, где всё для сердца мило,
Где стройны тополи в долинах вознеслись,
Где дремлет нежный мирт и темный кипарис,
И сладостно шумят полуденные волны.
Там некогда в горах, сердечной думы полный,
Над морем я влачил задумчивую лень,
Когда на хижину сходила ночи тень,
И дева юная во мгле тебя искала,
И именем своим подругам называла.

ЭПИГРАММА

Хаврониос! ругатель закоснелый,
Во тьме, в пыли, в презренье поседелый,
Уймись, дружок! к чему журнальный шум
И пасквилей томительная тупость?
Затейник зол, с улыбкой скажет Глупость.
Невежда глуп, зевая, скажет Ум.

ЭПИГРАММА

Когда б писать ты начал сдуру,
Тогда б наверно ты пролез
Сквозь нашу тесную цензуру,
Как видишь в царствие небес.

ЭПИГРАММА

Как брань тебе не надоела!
Расчет короток мой с тобой:
Ну, так, я празден, я без дела,
А ты бездельник деловой.

ЗЕМЛЯ И МОРЕ

Когда по синеве морей
Зефир скользит и тихо веет
В ветрила гордых кораблей
И челны на волнах лелеет, —
Забот и дум слагая груз,
Тогда ленюсь я веселее
И забываю песни муз:
Мне моря сладкий шум милее.
Когда же волны по брегам
Ревут, кипят и пеной плещут,
И гром гремит по небесам,
И молнии во мраке блещут,
Я удаляюсь от морей
В гостеприимные дубровы;
Земля мне кажется верней,
И жалок мне рыбак суровый:
Живет на утлом он челне,
Игралище слепой пучины,
А я в надежной тишине
Внимаю шум ручья долины.

КРАСАВИЦА ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ

Взгляни на милую, когда свое чело
Она пред зеркалом цветами окружает,
Играет локоном, и верное стекло
Улыбку, хитрый взор и гордость отражает.

* * *

Я пережил свои желанья,
Я разлюбил свои мечты;
Остались мне одни страданья,
Плоды сердечной пустоты.

Под бурями судьбы жестокой
Увял цветущий мой венец;
Живу печальный, одинокий,
И жду: придет ли мой конец?

Так, поздним хладом пораженный,
Как бури слышен зимний свист,
Один на ветке обнаженной
Трепещет запоздалый лист.

А. А. ДЕЛЬВИГУ *

Друг Дельвиг, мой парнасский брат,
Твоей я прозой был утешен;
Но признаюсь, барон, я грешен:
Стихам я больше был бы рад.
Ты знаешь, я в минувши годы
У берегов Кастальских вод
Любил марасть поэмы, оды —
Ревнивый зрел меня народ
На кукольном театре моды;
Поклонник правды и свободы,
Бывало, что ни напишу,
Все для иных не Русью пахнет;
О чем цензуру ни прошу,
Ото всего Тимковский ахнет.
Теперь я право чуть дышу,
От воздержанья муза чахнет,
И редко, редко с ней грешу.
.
.
.
К молве болтливой я хладею

* Начало письма от 23 марта 1821 г. из Кишинева.

И из учтивости одной
Доныне волочусь за нею,
Как муж ленивый за женой.
Наскуча муз бесплодной службой,
Другой богиней, тихой дружбой,
Я славы заменил кумир.
Но всё люблю, мои поэты,
Фантазии волшебный мир
И, чуждым пламенем согретый,
Внимаю звуки ваших лир.
Так точно, позабыв сегодня
Проказы, игры прежних дней,
Глядит с лежанки ваша сводня
На пашни молодых - - ...

Н. И. ГНЕДИЧУ *

В стране, где Юлией венчанный
И хитрым Августом изгнанный
Овидий мрачны дни влачил;
Где элегическую лиру
Глухому своему кумиру
Он малодушно посвятил;
Далече северной столицы
Забыл я вечный ваш туман,
И вольный глас моей цевницы
Тревожит сонных молдаван.
Всё тот же я — как был и прежде;
С поклоном не хожу к невежде,
С Орловым спорю, мало пью,
Октавию — в слепой надежде —
Молебнов лести не пою
И дружбе легкие посланья
Пишу без строгого старанья.
Ты, коему судьба дала
И смелый ум, и дух высокий
И важным песням обрекла,

* Начало письма от 24 марта 1821 г. из Кишинева

Отраде жизни одинокой;
О ты, который воскресил
Ахилла призрак величавый,
Гомера музу нам явил
И смелую певицу славы
От звонких уз освободил —
Твой глас достиг уединенья,
Где я сокрылся от гоненья
Ханжи и гордого глупца,
И вновь он оживил певца,
Как сладкий голос вдохновенья.
Избранник Феба! твой привет,
Твои хвалы мне драгоценны;
Для муз и дружбы жив поэт.
Его враги ему презренны —
Он музу битвой площадной
Не унижает пред народом;
И поучительной лозой
Зоила хлещет — мимоходом.

КИНЖАЛ

Лемносский бог тебя сковал
Для рук бессмертной Немезиды,
Свободы тайный страж, карающий кинжал,
Последний судия позора и обиды.

Где Зевсов гром молчит, где дремлет меч закона,
Свершитель ты проклятий и надежд,
Ты кроешься под сенью трона,
Под блеском праздничных одежд.

Как адский луч, как молния богов,
Немое лезвие злодею в очи блещет,
И, озираясь, он трепещет
Среди своих пиров.

Везде его найдет удар нежданный твой:
На суше, на водах, во храме, под шатрами,

За потаенными замками,
На ложе сна, в семье родной.

Шумит под Кесарем заветный Рубикон,
Державный Рим упал, главой поник закон;
Но Брут восстал вольнолюбивый:
Кинжал, ты кровь излил, — и мертв объемлет он
Помпея мрамор горделивый.

Исчадьмятежей подьемлет злобный крик;
Презренный, мрачный и кровавый,
Над трупом вольности безглавой
Палач уродливый возник.

Апостол гибели, усталому Аиду
Перстом он жертвы назначал,
И высший суд ему послал
Тебя и деву Эвмениду.

Свободы мученик, избранник роковой,
О Занд, твой век угас на плахе;
Но добродетели святой
Остался глас в казненном прахе.

Твоей Германии он вечной тенью стал,
Грозя бедой преступной силе —
И на торжественной могиле
Горит без надписи кинжал.

МУЗА

В младенчестве моем она меня любила
И семиствольную цевницу мне вручила;
Она внимала мне с улыбкой; и слегка
По звонким скважинам пустого тростника
Уже наигрывал я слабыми перстами
И гимны важные, внушенные богами,
И песни мирные фригийских пастухов.
С утра до вечера в немой тени дубов

Прилежно я внимал урокам девы тайной;
И, радуя меня наградою случайной,
Откинув локоны от милого чела,
Сама из рук моих свирель она брала.
Тростник был оживлен божественным дыханьем
И сердце наполнял святым очарованьем.

ЧААДАЕВУ

В стране, где я забыл тревоги прежних лет,
Где прах Овидиев пустынный мой сосед,
Где слава для меня предмет заботы малой,
Тебя недостает душе моей усталой.
Врагу стеснительных условий и оков,
Нетрудно было мне отвыкнуть от пиров,
Где праздный ум блестит, тогда как сердце
дремлет,
И правду пылкую приличий хлад объемлет.
Оставя шумный круг безумцев молодых,
В изгнании моем я не жалел о них;
Вздохнув, оставил я другие заблужденья,
Врагов моих предал проклятию забвенья,
И, сети разорвав, где бился я в плену,
Для сердца новую вкушаю тишину.
В уединении мой своенравный гений
Познал и тихий труд, и жажду размышлений,
Владею днем моим; с порядком дружен ум;
Учусь удерживать вниманье долгих дум;
Ищу вознаградить в объятиях свободы
Мятежной младостью утраченные годы
И в просвещении стать с веком наравне.
Богини мира, вновь явились музы мне
И независимым досугам улыбнулись;
Цевницы брошенной уста мои коснулись;
Старинный звук меня обрадовал: и вновь
Пою мои мечты, природу и любовь,
И дружбу верную, и милые предметы,
Пленявшие меня в младенческие леты,
В те дни, когда, еще не знаемый никем,
Не зная ни забот, ни цели, ни систем,

Я пенем оглашал приют забав и лени
И царскосельские хранительные сени.
Но дружбы нет со мной: печальный вижу я
Лазурь чужих небес, полдневные края;
Ни музыки, ни труды, ни радости досуга,
Ничто не заменит единственного друга.
Ты был целителем моих душевных сил;
О неизменный друг, тебе я посвятил
И краткий век, уже испытанный судьбою,
И чувства, может быть, спасенные тобою!
Ты сердце знал мое во цвете юных дней;
Ты видел, как потом в волнении страстей
Я тайно изнывал, страдалец утомленный;
В минуту гибели над бездной потаенной
Ты поддержал меня недремлющей рукой;
Ты другу заменил надежду и покой;
Во глубину души вникая строгим взором,
Ты оживлял ее советом иль укором;
Твой жар воспламенял к высокому любовь;
Терпенье смелое во мне рождалось вновь;
Уж голос клеветы не мог меня обидеть:
Умел я презирать, умея ненавидеть.
Что нужды было мне в торжественном суде
Холопа знатного, невежды при звезде,
Или философа, который в прежни лета
Развратом изумил четыре части света,
Но, просветив себя, загладил свой повор,
Отвыкнул от вина и стал картежный вор;
Оратор Лужников, никем не замечаем,
Мне мало досаждал своим безвредным лаем.
Мне ль было сетовать о толках шалунов,
О лепетанье дам, зоилов и глушцов
И сплетней разбирать игривую затею,
Когда гордиться мог я дружбою твоею?
Благодарю богов: прошел я мрачный путь;
Печали ранние мою теснили грудь;
К печалю я привык, расцелся я с судьбою
И жизнь перенесу стоической душою.
Одно желание: останься ты со мной!
Небес я не томил молитвою другой.
О, скоро ли, мой друг, настанет срок разлуки?
Когда соединим слова любви и руки?

Когда услышу я сердечный твой привет?
Как обниму тебя! Увижу кабинет,
Где ты всегда мудрец, а иногда мечтатель
И ветреной толпы бесстрастный наблюдатель,
Приду, приду я вновь, мой милый домосед,
С тобою вспоминать беседы прежних лет,
Младые вечера, пророческие споры,
Знакомых мертвецов живые разговоры;
Поспорим, перечтем, посудим, побраним,
Вольнолюбивые надежды оживим,
И счастлив буду я: но только, ради бога,
Гоня ты Шеппинга от нашего порога.

КАТЕНИНУ

Кто мне пришлет ее портрет,
Черты волшебницы прекрасной?
Талантов обожатель страстный,
Я прежде был ее поэт.
С досады, может быть, неправой,
Когда одна в дыму кадил
Красавица блистала славой,
Я свистом гимны заглушил.
Погибни злобы миг единый,
Погибни лиры ложный звук:
Она виновна, милый друг,
Пред Селименой и Мойной.
Так легкомысленной душой,
О боги, смертный вас поносит;
Но вскоре трепетной рукой
Вам жертвы новые приносит.

* * *

«Хоть, впрочем, он поэт изрядный,
Эмилий человек *пустой*». —
«Да ты чем *полон*, шут нарядный?
А, понимаю: сам собой;
Ты полон дряни, милый мой!»

В. Л. ДАВЫДОВУ

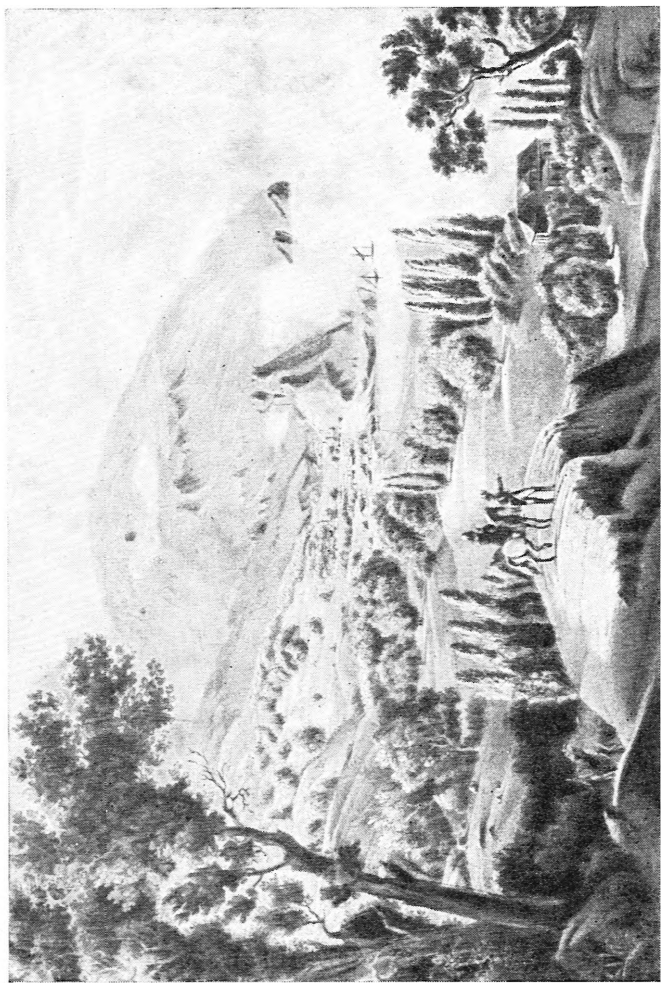
Меж тем как генерал Орлов,
Обритый рекрут Гименей,
Священной страстью пламенея,
Под меру подойти готов;
Меж тем как ты, проказник умный,
Проводишь ночь в беседе шумной,
И за бутылками аи
Сидят Раевские мои,
Когда везде весна младая
С улыбкой распустила грязь,
И с горя на берегах Дуная
Бунтует наш безрукий князь —
Тебя, Раевских и Орлова,
И память Каменки любя,
Хочу сказать тебе два слова
Про Кишинев и про себя.
На этих днях тиран ⟨?⟩ собора,
Митрополит, седой обжора,
Перед обедом невзначай
Велел жить долго всей России...
И с сыном птички и Марии
Пошел христосоваться в рай...
Я стал умен, я лицемерю —
Поцусь, молюсь и твердо верю,
Что бог простит мои грехи,
Как государь мои стихи.
Говеет Инзов, и наемни
Я променял парнасски бредни
И лиру, грешный дар судьбы,
На часослов и на обедни,
Да на сушеные грибы.
Однако ж гордый мой рассудок
Меня порядочно бранит,
А мой ненабожный желудок
Причастья вовсе не варит...
Еще когда бы кровь Христова
Была хоть, например, лафит...
Иль кло д'вужо, тогда б ни слова,
А то — подумать, так смешно —
С водой молдавское вино.

Но я молюсь и воздыхаю,
Крещусь, не внемлю сатане...
А всё невольно вспоминаю,
Давыдов, о твоём вине...

Вот эвхаристия другая,
Когда и ты, и милый брат,
Перед камином надевая
Демократический халат,
Спасенья чашу наполняли
Беспенной, мерзлую струей,
И за здоровье *тех* и *той*
До дна, до капли выпивали!
Но *те* в Неаполе шалят,
А *та* едва ли там воскреснет...
Народы тишины хотят,
И долго их ярем не треснет.
Ужель надежды луч исчез?
Но нет! — мы счастьем насладимся,
Кровавой чашей причастимся —
И я скажу: «Христос воскрес».

К МОЕЙ ЧЕРНИЛЬНИЦЕ

Подруга думы праздной,
Чернильница моя;
Мой век разнообразный
Тобой украсил я.
Как часто друг веселья
С тобою забывал
Условный час похмелья
И праздничный бокал;
Под сенью хаты скромной,
В часы печали тёмной,
Была ты предо мной
С лампадой и мечтой.
В минуты вдохновенья
К тебе я прибегал
И музу призывал
На пир воображенья.



*Гурзуф. Справа внизу дом, в котором жил Пушкин в 1820 г.
Литография К. Рабуса 1822 г.*

Прозрачный легкий дым
Носился над тобою,
И с трепетом живым
В нем быстрой чередою *

.

Сокровища мои
На дне твоём таятся.
Тебя я посвятил
Занятиям досуга
И с ленью примирил:
Она твоя подруга.
С тобой успех узнал
Отшельник неизвестный...
Заветный твой кристалл
Хранит огонь небесный;
И под вечер, когда
Перо по книжке бродит,
Без вялого труда
Оно в тебе находит
Концы моих стихов
И верность выраженья,
То звуков или слов
Нежданное стеченье,
То едкой шутки соль,
То правды слог суровый,
То странность рифмы новой,
Неслыханной дстолю. **
С глумцов сорвав одежду,
Я весело клеймил
Зоила и невежду
Пятном твоих чернил...
Но их не разводил
Ни тайной злости пеной,

* После этого стиха не сохранилось около сорока четырех стихов.
** После этого стиха в рукописи зачеркнуто:

Любовница свободы,	Ты смеху обрекла
Ты с нею заодно	Пустых любимцев моды
Прославила вино	И речи и дела.
И прелесть природы;	

Ни ядом клеветы.
И сердца простоты
Ни лестью, ни изменой
Не замарала ты.

Но здесь, на лоне леги,
Я слышу нежны пени
Заботливых друзей...
Ужели их забуду,
Друзей души моей,
И им неверен буду?
Оставь, оставь порой
Привычные затей,
И дактил, и хорей
Для прозы почтовой.
Минуты хладной скуки,
Сердечной пустоты,
Уныние разлуки,
Всегдашние мечты,
Мои надежды, чувства
Без лести, без искусства
Бумаге передай...
Болтливостью небрежной
И ветреной, и нежной
Их сердце утешай...

Беспечный сын природы,
Пока златые годы
В забвенье трачу я,
Со мною неразлучно
Живи благополучно,
Наперсница моя.

Когда же берет ада
Навек меня возьмет,
Когда навек уснет
Перо, моя отрада,
И ты, в углу пустом
Осиротев, остынешь
И навсегда покинешь
Поэта тихий дом,

Тебя возьмет унылый
Чадаев, друг мой милый;
Последний будь привет
Любимцу прежних лет!
Иссохшая, пустая,
Меж двух его картин
Останься век немая,
Укрась его камин —
Взыскательного света
Очей не привлекай,
Но верного поэта
Друзьям напоминай.

* * *

Кто видел край, где роскошью природы
Оживлены дубравы и луга,
Где весело, синяя, блещут воды
И пышные ласкают берега,
Где на холмы, под лавровые своды,
Не смеют лечь угрюмые снега?
Скажите мне: кто видел край прелестный,
Где я любил, изгнанник неизвестный?

Златой предел! любимый край Эльвины,
Туда летят желания мои!
Я помню гор высокие вершины
И беглых вод веселые струи,
И тень, и шум, и красные долины,
Где бедные простых татар семьи
Среди забот и с дружбою взаимной
Под кровлею живут гостеприимной!

И шелковиц, и тополей прохлада,
В тени олив уснувшие стада,
Вокруг домов решетки винограда,
Монастыри, селенья, города,
Прилива шум и говор водопада,
И средь валов летучие суда,

И яркие лучи золотого Феба,
И синий свод полуденного неба. *

И там, где мирт шумит над падшей урной,
Увижу ль вновь сквозь темные леса
И своды скал, и моря блеск лазурный,
И ясные, как радость, небеса?
Утихнет ли волнение жизни бурной?
Минувших лет воскреснет ли краса?
Приду ли вновь под сладостные тени
Душой уснуть на лоне мирной лени? **

ХРИСТОС ВОСКРЕС

Христос воскрес, моя Реввека.
Сегодня, следуя душой
Закону бога-человека,
С тобой целуюсь, ангел мой.
А завтра к вере Моисея
За поцелуй я, не робея,
Готов, еврейка, приступить

* В рукописи дальше следует зачеркнутая строфа:

Всё мило там красою безмятежной,
Всё путника пленяет и манит,
Как в ясный день дорогою прибрежной
Привычный конь по склону гор бежит.
Повсюду труд веселый и прилежный
Сады татар и нивы богатит.
Холмы цветут, и в листьях винограда
Висит янтарь, ночных пиров отрада.

** В рукописи дальше следует зачеркнутая строфа:

Приду ли вновь, поклонник муз и мира,
Забыв молву и света суеты,
На берегах веселого Салгира
Воспоминать души моей мечты.
В моих руках Овидиева лира,
Счастливая певица красоты;
Певица нег, изгнанья и разлуки,
Найдет ли вновь свои живые звуки?

И то во власть тебе вручить,
Чем можно верного еврея
От православных отличить.

* * *

Раззевавшись от обедни,
К Катакази еду в дом.
Что за греческие бредни,
Что за греческий содом!
Подогнув под - - ноги,
За вареньем, средь прохлад,
Как египетские боги,
Дамы преют и молчат.

«Признаюсь пред всей Европой, —
Хромоногая кричит: —
Маврогений толсто-ый
Душу, сердце мне томит.
Муж! вотще карманы грузно
Ты набил в семье моей,
И вотще ты пятишь гузно,
Маврогений мне милей».

Здравствуй, круглая соседка!
Ты бранчива, ты скупа,
Ты неловкая кокетка,
Ты плешива, ты глупа.
Говорить с тобой нет мочи,
Всё прощаю! бог с тобой;
Ты с утра до темной ночи
Рада в банк играть со мной.

Вот еврейка с Тадарашкой;
Пламя пышет в подлеце,
Лапу держит под рубашкой,
Рыло на ее лице.
Весь от ужаса хладею.
Ах, еврейка, бог убьет!
Если верить Моисею,
Скотоложница умрет!

Ты наказана сегодня,
И тебя пронзил Амур,
О чувствительная сводня,
О краса молдавских дур.
Смотришь: каждая девица
Пред тобою с молодцом,
Ты ж одна, моя вдовица,
С указательным перстом.

Ты умна, велеречива,
Кишиневская Жанлис,
Ты бела, жирна, шутлива,
Пучеюкая Тарсис.
Не хочу судить я строго,
Но к тебе не льнет душа —
Так послушай, ради бога,
Будь глупа, да хороша.

ПОСВЯЩЕНИЕ «ГАВРИИЛИАДЫ»

Вот Муза, резвая болтунья,
Которую ты столь любил;
Раскаялась моя шалунья,
Придворный тон ее пленил;
Ее всевышний осенил
Своей небесной благодатью,
Она духовному занятью
Опасной жертвует игрой.
Не удивляйся, милый мой,
Ее израильскому платью,
Прости ей прежние грехи
И под заветною печатью
Прими опасные стихи...

Примите новую тетрадь.
Вы, юноши, и вы, девицы.
Не веселее ль вам читать
Игривой Музы небыллицы,

Чем пиндарических похвал
Высокопарные страницы
Иль усыпительный журнал,
Который был когда-то в моде,
А ныне так тяжел и груб,
Который вопреки природе
Быть хочет зол и только глуп?

О вы, которые любили
Парнаса тайные цветы,
И своевольные мечты
Вниманьем слабым наградили,
Спасите труд небрежный мой
Под сенью
От рук Невежества слепого,
От взоров Зависти косой.
Картины, думы и рассказы
Для вас я вновь перемешал,
Смешное с важным сочетал
И бешеной любви проказы
В архивах ада отыскал.

* * *

Недавно бедный музульман
В Юрзуфе жил с детьми, с женою;
Душевно почитал священный Алькоран
И счастлив был своей судьбою.
Мехмет (так звался он) прилежно целый день
Ходил за ульями, за стадом
И за домашним виноградом,
Не зная, что такое лень;
Жену свою любил; Селима это знала,
И каждый год ему детей она рожала;
По-нашему, друзья, хоть это и смешно,
Но у татар уж так заведено.
Фатима раз (она в то время
Несла трехмесячное бремя), —

А каждый ведаёт, что в эти времена
И даже самая степенная жена
Имеет прихоти то эти, то другие,
И боже упаси какие! —
Фатима говорит умильно муженьку:
«Мой друг, мне хочется ужасно каймаку.
Теряю память я, рассудок,
Во мне так и горит желудок;
Я не спала всю ночь — и посмотри, душа,
Сегодня, верно, я совсем нехороша.
Всего мне должно опасаться:
Не смею даже почесаться,
Чтоб крошку не родить с сметаной на носу —
Такой я муки не снесу.
Любезный, миленький, красавец мой, дружочек,
Достань мне каймаку, хоть крохотный кусочек».
Мехмет разжалился, собрался;
В кушак завязал,
Детей благословил, жену поцеловал
И в ближнюю долину побежал,
Чтобы порадовать жестокою больную.
Не шел он, а летел. Зато в обратный путь
Пустился по горам, едва-едва шагая;
И скоро стал искать, совсем изнемогая,
Местечка, где бы отдохнуть. *

* Далее незаконченные стихи:

По счастью, на конце долины
Он видит ручеек.
Добрел до берегов и лег в тени ветвей.
Журчанье вод, дерев вершины,
Душистая трава, прохладный бережок,
И тень и ветерок —
Всё нежило, всё говорило:
Люби иль почивай! Люби!
там змей
Мехмету в ум не приходило
вот это мило.
Хоть было бы не спать
Благоразумней и верней,
Всё же Мехмет, как царь, уснул в долине.
Положим, что царям дано
Под балдахином
Хоть это, впрочем, мудрено.

КН. П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

Язвительный поэт, остряк замысловатый,
И блеском колких слов, и шутками богатый,
Счастливый Вяземский, завидую тебе.
Ты право получил, благодаря судьбе,
Смеяться весело над злобою ревнивой,
Невежество разить анафемой игривой.

* * *

В твою светлицу, друг мой нежный,
Я прихожу в последний раз.
Любви, отрады безмятежной
Делю с тобой последний час.
Вперед одна в надежде томной
Не жди меня средь ночи темной,
До первых утренних лучей
Не жги свечей.

ГРОБ ЮНОШИ

...Сокрылся он,
Любви, забав питомец нежный;
Кругом него глубокий сон
И хлад могилы безмятежной...

Любил он игры наших дев,
Когда весной в тени дерев
Они кружились на свободе;
Но нынче в резвом хороводе
Не слышен уж его припев.

Давно ли старцы любовались
Его веселостью живой,
Полупечально улыбались
И говорили меж собой:
«И мы любили хороводы,
Блистали так же в нас умы;

Но погоди, приспеют годы,
И будешь то, что ныне мы;
Как нам, о мира гость игривый,
Тебе постынет белый свет;
Теперь играй...» Но старцы живы,
А он увял во цвете лет.
И без него друзья пируют,
Других уж полюбить успеv;
Уж редко, редко именуют
Его в беседе юных дев.
Из милых жен, его любивших,
Одна, быть может, слезы льет
И память радостей почивших
Привычной думою зовет...
К чему?

Над ясными водами
Гробницы мирною семьею
Под наклоненными крестами
Таятся в роще вековой.
Там, на краю большой дороги,
Где липа старая шумит,
Забыв сердечные тревоги,
Наш бедный юноша лежит.

Напрасно блещет луч денницы,
Иль ходит месяц средь небес,
И вокруг бесчувственной гробницы
Ручей журчит и шепчет лес;
Напрасно утром за малиной
К ручью красавица с корзиной
Идет и в холод ключевой
Пугливо ногу опускает:
Ничто его не вызывает
Из мирной сени гробовой.

ДИОНЕЯ

Хромид в тебя влюблен: он молод, и не раз
Украдкою вдвоем мы замечали вас;
Ты слушаешь его, в безмолвии краснея;

Твой взор потушенный желанием горит,
И долго после, Дионея,
Улыбку нежную лицо твое хранит.

* * *

Умолкну скоро я. Но если в день печали
Задумчивой игрой мне струны отвечали;
Но если юноши, внимая молча мне,
Дивились долгому любви моей мученью;
Но если ты сама, предавшись умиленью,
Печальные стихи твердила в тишине
И сердца моего язык любила страстный;
Но если я любим, — позволь, о милый друг,
Позволь одушевить прощальный лиры звук
Заветным именем любовницы прекрасной.
Когда меня навек обьет смертный сон,
Над урною моей промолви с умилением:
Он мною был любим, он мне был одолжен
И песен, и любви последним вдохновеньем.

* * *

Мой друг, забыты мной следы минувших лет
И младости моей мятежное течение.
Не спрашивай меня о том, чего уж нет,
Что было мне дано в печаль и в наслажденье,
Что я любил, что изменило мне.
Пусть я радости вкушаю не вполне;
Но ты, невинная, ты рождена для счастья.
Беспечно верь ему, летучий миг лови:
Душа твоя жива для дружбы, для любви.
Для поцелуев сладострастья;
Душа твоя чиста: унынье чуждо ей;
Светла, как ясный день, младенческая совесть.
К чему тебе внимать безумства и страстей
Незанятельную повесть?

Она твой тихий ум невольно возмутит;
Ты слезы будешь лить, ты сердцем содрогнешься.
Доверчивой души беспечность улетит,
И ты моей любви, быть может, ужаснешься,
Быть может, навсегда... Нет, милая моя,
Лишиться я боюсь последних наслаждений.
Не требуй от меня опасных откровений:
Сегодня я люблю, сегодня счастлив я.

АЛЕКСЕЕВУ

Мой милый, как несправедливы
Твои ревнивые мечты:
Я позабыл любви призывы
И плен опасной красоты;
Свободы друг миролюбивый,
В толпе красавиц молодых
Я, равнодушный и ленивый,
Своих богов не вижу в них.
Их томный взор, приветный лепет
Уже не властны надо мной.
Забыло сердце нежный трепет
И пламя юности живой.
Теперь уж мне влюбиться трудно,
Вздыхать неловко и смешно,
Надежде верить безрассудно,
Мужей обманывать грешно.
Прошел веселой жизни праздник;
Как мой задумчивый проказник,
Как Баратынский, я твержу:
«Нельзя ль найти подруги нежной?
Нельзя ль найти любви надежной?»
И ничего не нахожу.
Оставя счастья призрак ложный,
Без упоительных страстей,
Я стал наперсник осторожный
Моих неопытных друзей.
Когда любовник иступленный,
Тоскуя, плачет предо мной
И для красавицы надменной
Клянется жертвовать собой;

Когда в жару своих желаний
С восторгом изъясняет он
Неясных, темных ожиданий
Обманчивый, но сладкий сон
И, крепко руку сжав у друга,
Клянет ревнивого супруга
Или докучливую мать, —
Его безумным увереньям
И поминутным повтореньям
Люблю с участием внимать;
Я льщу слепой его надежде,
Я молод юностью чужой
И говорю: так было прежде
Во время оно и со мной.

НАПОЛЕОН

Чудесный жребий совершился:
Угас великий человек.
В неволе мрачной закатился
Наполеона грозный век.
Исчез властитель осужденный,
Могучий баловень побед:
И для изгнанника вселенной
Уже потомство настает.

О ты, чьей памятью кровавой
Мир долго, долго будет полн,
Приосенен твоею славой,
Почий среди пустынных волн!
Великолепная могила...
Над урной, где твой прах лежит,
Народов ненависть почилла,
И луч бессмертия горит.

Давно ль орлы твои летали
Над обесславленной землей?
Давно ли царства упали
При громах силы роковой?
Послушны воле своенравной,

Бедой шумели знамена,
И налагал ярем державный
Ты на земные племена.

Когда надеждой озаренный
От рабства пробудился мир,
И галл десницей разъяренной
Низвергнул ветхий свой кумир,
Когда на площади мятежной
Во прахе царский труп лежал,
И день великий, неизбежный,
Свободы яркий день вставал —

Тогда в волненье бурь народных
Предвидя чудный свой удел,
В его надеждах благородных
Ты человечество презрел,
В свое погибельное счастье
Ты дерзкой веровал душой,
Тебя пленяло самовластье
Разочарованной красой,

И обновленного народа
Ты буйность юную смирил;
Новорожденная свобода,
Вдруг онемев, лишилась сил;
Среди рабов до упоенья
Ты жажду власти утолил,
Помчал к боям их ополченья,
Их цепи лаврами обвил;

И Франция, добыча славы,
Плененный устремила взор,
Забыв надежды величавы,
На свой блистательный позор.
Ты вел мечи на пир обильный;
Всё пало с шумом пред тобой:
Европа гибла; сон могильный
Носился над ее главой.

И се, в величии постыдном
Ступил на грудь ее колосс.

Тильзит!.. (при звуке сем обидном
Теперь не побледнеет росс)
Тильзит надменного героя
Последней славою венчал,
Но скучный мир, но хлад покоя
Счастливец душу волновал.

Надменный, кто тебя подвигнул?
Кто обуял твой дивный ум?
Как сердца русских не постигнул
Ты с высоты отважных дум?
Великодушного пожара
Не предузнав, уж ты мечтал,
Что мира вновь мы ждем, как дара;
Но поздно русских разгадал...

Россия, бранная царица,
Вспомни древние права!
Померкни, солнце Австерлица!
Пылай, великая Москва!
Настали времена другие:
Исчезни, краткий наш позор!
Благослови Москву, Россия!
Война по гроб — наш договор.

Оцепенелыми руками
Схватив железный свой венец,
Он бездну видит пред очами,
Он гибнет, гибнет наконец.
Бежат Европы ополченья;
Окровавленные снега
Провозгласили их паденье,
И тает с ними след врага.

И всё, как буря, закипело;
Европа свой расторгла плен;
Вослед тирану полетело,
Как гром, проклятие племен.
И длань народной Немезиды
Подъяту видит великан:
И до последней все обиды
Отплачены тебе, тиран!

Искуплены его стяжанья
И зло воинственных чудес
Тоскою душного изгнанья
Под сенью чуждою небес.
И знойный остров заточенья
Полнощный парус посетит,
И путник слово примиренья
На оном камне начертит,

Где, устремив на волны очи,
Изгнанник помнил звук мечей
И льдистый ужас полуночи,
И небо Франции своей;
Где иногда, в своей пустыне
Забыв войну, потомство, трон,
Один, один, о милом сыне
В унынье горьком думал он.

Да будет омрачен позором
Тот малодушный, кто в сей день
Безумным возмутит укором
Его развенчанную тень!
Хвала!.. Он русскому народу
Высокий жребий указал
И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал.

ВОЙНА

Война!.. Подъяты наконец;
Шумят знамена бранной чести!
Увижу кровь, увижу праздник мести;
Засвищет вокруг меня губительный свинец.
И сколько сильных впечатлений
Для жаждущей души моей:
Стремленье бурных ополчений,
Тревоги стана, звук мечей
И в роковом огне сражений
Паденье ратных и вождей!

Предметы гордых песнопений
Разбудят мой уснувший гений.
Всё ново будет мне: простая сень шатра,
Огни врагов, их чуждое взыванье,
Вечерний барабан, гром пушки, визг ядра
И смерти грозной ожиданье.
Родишься ль ты во мне, слепая славы страсть,
Ты, жажда гибели, свирепый жар героев?
Венок ли мне двойной достанется на часть,
Кончину ль темную судил мне жребий боев?
И всё умрет со мной: надежды юных дней,
Священный сердца жар, к высокому стремленье,
Воспоминание и брата, и друзей,
И мыслей творческих напрасное волненье,
И ты, и ты, любовь?.. Ужель ни бранный шум,
Ни ратные труды, ни ропот гордой славы,
Ничто не заглушит моих привычных дум?
Я таю, жертва злой отравы:
Покой бежит меня; нет власти над собой,
И тягостная лень душою овладела...
Что ж медлит ужас боевой?
Что ж битва первая еще не закипела?..

К ОВИДИЮ

Овидий, я живу близ тихих берегов,
Которым изгнанных отеческих богов
Ты некогда принес и пепел свой оставил.
Твой безотрадный плач места сии прославил;
И лиры нежный глас еще не онемел;
Еще твоей молвой наполнен сей предел.
Ты живо впечатлел в моем воображенье
Пустыню мрачную, поэта заточенье,
Туманный свод небес, обычные снега
И краткой теплотой согретые луга.
Как часто, увлечен унылых струн игрою,
Я сердцем следовал, Овидий, за тобою:
Я видел твой корабль игралищем валов
И якорь, вверженный близ диких берегов,
Где ждет певца любви жестокая награда.

Там нивы без теней, холмы без винограда;
Рожденные в снегах для ужасов войны,
Там хладной Скифии свирепые сыны,
За Истром утаясь, добычи ожидают
И селам каждый миг набегом угрожают.
Преграды нет для них: в волнах они плывут
И по льду звучному бестрепетно идут.
Ты сам (дивись, Назон, дивись судьбе превратной!),
Ты, с юных лет презрев волнение жизни ратной,
Привыкнув розами венчать свои власы
И в неге провождать беспечные часы,
Ты будешь принужден взложить и шлем тяжелый,
И грозный меч хранить близ лиры оробелой.
Ни дочь, ни жена, ни верный сонм друзей,
Ни музы, легкие подруги прежних дней,
Изгнанного певца не усладят печали.
Напрасно грации стихи твои венчали,
Напрасно юноши их помнят наизусть:
Ни слава, ни лета, ни жалобы, ни грусть,
Ни песни робкие Октавия не тронут;
Дни старости твоей в забвении потонут.
Златой Италии роскошный гражданин,
В отчизне варваров безвестен и один,
Ты звуков родины вокруг себя не слышишь,
Ты в тяжкой горести далекой дружбе пищешь:
«О, возвратите мне священный град отцов
И тени мирные наследственных садов!
О други, Августу мольбы мои несите!
Карающую длань слезами отклоните!
Но если гневный бог досель неумолим,
И век мне не видать тебя, великий Рим,
Последнею мольбой смягчая рок ужасный,
Приблизьте хоть мой гроб к Италии прекрасной!»
Чье сердце хладное, презревшее харит,
Твое уныние и слезы укорит?
Кто в грубой гордости прочтет без умиления
Сии элегии, последние творенья,
Где ты свой тщетный стон потомству передал?

Суровый славянин, я слез не проливал,
Но понимаю их. Изгнанник самовольный,
И светом, и собой, и жизнью недовольный,

С душой задумчивой, я ныне посетил
Страну, где грустный век ты некогда влачил.
Здесь, оживив тобой мечты воображенья,
Я повторил твои, Овидий, песнопенья
И их печальные картины поверял;
Но взор обманутым мечтаньям изменял.
Изгнание твое пленяло втайне очи,
Привыкшие к снегам угрюмой полуночи.
Здесь долго светится небесная лазурь;
Здесь кратко царствует жестокость зимних бурь.
На скифских берегах переселенец новый,
Сын юга, виноград блистает пурпуровый.
Уж пасмурный декабрь на русские луга
Слоями растилал пушистые снега;
Зима дышала там, а с вешней теплотою
Здесь солнце ясное катилось надо мною;
Младую зеленью пестрел увядший луг;
Свободные поля взрывал уж ранний плуг;
Чуть веял ветерок, под вечер холодея;
Едва прозрачный лед, над озером тускнея,
Кристаллом покрывал недвижные струи.
Я вспомнил опыты несмелые твои,
Сей день, замеченный крылатым вдохновеньем,
Когда ты в первый раз вверял с недоуменьем
Шаги свои волнам, окованным зимой:
И по льду новому, казалось, предо мной
Скользила тень твоя, и жалобные звуки
Неслися издали, как томный стон разлуки.

Утешься; не увял Овидиев венец!
Увы, среди толпы затерянный певец,
Безвестен буду я для новых поколений,
И, жертва темная, умрет мой слабый гений
С печальной жизнью, с минутною молвой!..
Но если, обо мне потомок поздний мой
Узнав, придет искать в стране сей отдаленной
Близ праха славного мой след уединенный —
Брегов забвения оставя кладну сень,
К нему слетит моя признательная тень,
И будет мило мне его воспоминанье.
Да сохранится же заветное преданье:
Как ты, враждующей покорствуя судьбе,

Не славой, участью я равен был тебе.
Здесь, лирой северной пустыни оглашая,
Скитался я в те дни, как на берега Дуная
Великодушный грек свободу вызывал,
И ни единый друг мне в мире не внимал;
Но чуждые холмы, поля и рощи сонны,
И музы мирные мне были благосклонны. *

ДЕВА

Я говорил тебе: страшися девы милой!
Я знал: она сердца влечет невольной силой:
Неосторожный друг, я знал: нельзя при ней
Иную замечать, иных искать очей.
Надежду потеряв, забыв измены сладость,
Пылает близ нее задумчивая младость;
Любимцы счастья, наперсники судьбы
Смиренно ей несут влюбленные мольбы;
Но дева гордая их чувства ненавидит
И, очи опустив, не внемлет и не видит.

* * *

Тадарашка в вас влюблен
И для ваших ножек,
Говорят, заводит он
Род каких-то дрожек.
Нам приходит нелегко;
Как неосторожно!
Ох! на дрожках далеко
Вам уехать можно.

* В первоначальной редакции вместо последних шести стихов было два следующих:

Но не унижил век изменой беззаконной
Ни гордой совести, ни лиры непреклонной.

ЭПИГРАММА НА КАЧЕНОВСКОГО

Клеветник без дарованья,
Палок ищет он чутьем,
А дневного пропитанья
Ежемесячным враньем.

ЭПИГРАММА

Поверь мне, быть тебе Панглосом:
Ты болен: это не мечты.
И то-то, братец, будешь с носом,
Когда без носа будешь ты.

ЭПИГРАММА

Оставляя честь судьбе на произвол,
*** живая жертва фурий,
От малых лет любила чуждый пол,
И вдруг беда: казнит ее Меркурий,
Раскаяться приходит ей пора;
Она больна, глаз пухнет понемногу;
Вдруг лопнул он; что ж дама? — слава богу!
Всё к лучшему, вот лишняя дыра!

* * *

Наперсница волшебной старины,
Друг вымыслов игривых и печальных,
Тебя я знал во дни моей весны,
Во дни утех и снов первоначальных.
Я ждал тебя; в вечерней тишине
Являлась ты веселою старушкой
И надо мной сидела в шушуне,
В больших очках и с резвою гремушкой.
Ты, детскую качая колыбель,
Мой юный слух напевами пленила

И меж пелен оставила свирель,
Которую сама заворожила.
Младенчество прошло, как легкий сон;
Ты отрока беспечного любила,
Средь важных муз тебя лишь помнил он,
И ты его тихонько посетила;
Но тот ли был твой образ, твой убор?
Как мило ты, как быстро изменилась!
Каким огнем улыбка оживилась!
Каким огнем блеснул приветный взор!
Покров, клубясь волною непослушной,
Чуть осенял твой стан полувоздушный;
Вся в локонах, обвитая венком,
Прелестницы глава благоухала;
Грудь белая под желтым жемчугом
Румянилась и тихо трепетала...

ГЕНЕРАЛУ ПУЩИНУ

В дыму, в крови, сквозь тучи стрел
Теперь твоя дорога;
Но ты предвидишь свой удел,
Грядущий наш Квирога!
И скоро, скоро смолкнет брань
Средь рабского народа,
Ты молоток возьмешь во длань
И воззовешь: свобода!
Хвалю тебя, о верный брат!
О каменщик почтенный!
О Кишинев, о темный град!
Ликуй, им просвещенный!

ПРИМЕТЫ

Старайся наблюдать различные приметы:
Пастух и земледел в младенческие леты,
Взглянув на небеса, на западную тень,
Умеют уж предречь и ветер, и ясный день.

И майские дожди, молодых полей отраду,
И мразов ранний хлад, опасный винограду.
Так, если лебеди, на лоне тихих вод
Плескаясь вечером, окличут твой приход,
Иль солнце яркое зайдет в печальные тучи,
Знай: завтра сонных дев разбудит дождь ревучий
Иль бьющий в окна град, а ранний селянин,
Готовясь уж косить высокий злак долин,
Услыша бури шум, не выйдет на работу
И погрузится вновь в ленивую дремоту.

КОКЕТКЕ

И вы поверить мне могли,
Как простодушная Аньеса?
В каком романе вы нашли,
Чтоб умер от любви повеса?
Послушайте: вам тридцать лет,
Да, тридцать лет — немногим боле.
Мне за двадцать; я видел свет,
Кружился долго в нем на воле;
Уж клятвы, слезы мне смешны,
Проказы утомить успели;
Вам также с вашей стороны
Измены верно надоели;
Остепенясь, мы охладели,
Некстати нам учиться вновь!
Мы знаем: вечная любовь
Живет едва ли три недели.
Сначала были мы друзья,
Но скука, случай, муж ревнивый...
Безумным притворился я,
И притворились вы стыдливой,
Мы поклялись... потом... увы!
Потом забыли клятву нашу;
Клеона полюбили вы,
А-я наперсницу Наташу.
Мы разошлись; до этих пор
Всё хорошо, благопрестойно,

Могли б мы жить без дальних ссор
Опять и дружно и спокойно...
Но нет! сегодня поутру
Вы вдруг в трагическом жару
Седую воскресили древность —
Вы проповедуете вновь
Покойных рыцарей любовь,
Учтивый жар и грусть и ревность.
Помилуйте — нет, право, нет,
Я не дитя, хоть и поэт.
Когда мы клонимся к закату,
Оставим юный пыл страстей —
Вы старшей дочери своей,
Я своему меньшому брату:
Им можно с жизнью шалить
И слезы впредь себе готовить;
Еще пристало им любить,
А нам уже пора злословить.

М. Е. ЭЙХФЕЛЬДТ

Ни блеск ума, ни стройность платья
Не могут вас обворожить;
Одни двоюродные братья
Узнали тайну вас пленить!
Лишили вы меня покоя,
Но вы не любите меня.
Одна моя надежда — Зоя:
Женюсь, и буду вам родня.

* * *

Не тем горжусь я, мой певец,
Что возбуждать умел стихами
Движенье томное сердец,
Играя смехом и слезами.
Не тем горжусь, что иногда
Мои коварные напевы

Смирjali в мыслях юной девы
Волненье страха и стыда;
Не тем, что у столба сатиры
Разврат и злобу я казнил,
И что грозящий голос лиры
Тирана в ужас приводил;
Не тем, что дерзким вдохновеньем
И бурной юностью моей,
И страстью воли, и гоненьем
Я стал известен меж людей;
Иная высшая награда
Была мне роком суждена;
Самолюбивых дум отрада!
Мечтанья суетного сна!

* * *

Всегда так будет, как бывало;
Таков издревле белый свет:
Ученых много — умных мало,
Знакомых тьма — а друга нет!

ДЕСЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ

Добра чужого не желать
Ты, боже, мне повелеваешь;
Но меру сил моих ты знаешь —
Мне ль нежным чувством управлять?
Обидеть друга не желаю,
И не хочу его села,
Не нужно мне его вола,
На всё спокойно я взираю:
Ни дом его, ни скот, ни раб,
Не лестна мне вся благостыня.
Но ежели его рабыня
Прелестна... Господи! я слаб!
И ежели его подруга
Мила, как ангел во плоти, —

О боже праведный! прости
Мне зависть ко блаженству друга.
Кто сердцем мог повелевать?
Кто раб усилий бесполезных?
Как можно не любить любезных?
Как райских благ не пожелать?
Смотрю, томлюся и вздыхаю,
Но строгий долг умею чтить,
Страшусь желаньям сердца льстить,
Молчу... и втайне я страдаю.

* * *

Иной имел мою Аглаю
За свой мундир и черный ус,
Другой за деньги; понимаю;
Другой за то, что был француз;
Клеон — умом ее страшая;
Дамис — за то, что нежно пел.
Скажи теперь, моя Аглая,
За что твой муж тебя имел?

* * *

У Кларисы денег мало,
Ты богат; иди к венцу:
И богатство ей пристало,
И рога тебе к лицу.

ДРУЗЬЯМ

Вчера был день разлуки шумной,
Вчера был Вакха буйный пир,
При кликах юности безумной,
При громе чаш, при звуке лир.

Так, музы вас благословили,
Венками свыше осеня,
Когда вы, други, отличили
Почетной чашею меня.

Честолюбивой позолотой
Не ослепляя наших глаз,
Она не суетной работой,
Не резьбою пленяла нас;

Но тем одним лишь отличалась.
Что, жажду скифскую поя,
Бутылка полная вливалась
В ее широкие края.

Я пил и думаю сердечной
Во дни минувшие летал
И горе жизни скоротечной,
И сны любви воспоминал.

Меня сменила их измена,
И скорбь исчезла предо мной,
Как исчезает в чашах пена
Под зашипевшую струей.

* * *

Мой друг, уже три дня
Сижу я под арестом
И не видался я
Давно с моим Орестом.
Спаситель молдаван,
Бахметьева наместник,
Законов провозвестник,
Смиренный Иоанн,
За то, что яский пан,
Известный нам болван
Мазуркою, чалмою,
Несносной бородою,
И трус, и грубиян,
Побит немножко мною,
И что бояр пугнул
Я новою тревогой, —
К моей канурке строгой

Приставил караул.*

- - - - -

Невинною игрой,
А именно — мараю
Небрежные черты,
Пишу карикатуры, —
Знакомых столько лиц, —
Восточные фигуры
- - - кукониц
И их мужей рогатых,
Обритых и брадатых!

ПЕСНЬ О ВЕЩЕМ ОЛЕГЕ

Как ныне собирается вещей Олег
Отмстить неразумным хазарам:
Их села и нивы за буйный набег
Обрек он мечам и пожарам.
С дружиной своей, в цареградской-бронь,
Князь по полю едет на верном коне.

Из темного леса навстречу ему
Идет вдохновенный кудесник,
Покорный Перуну старик одному,
Заветов грядущего вестник,
В мольбах и гаданьях прошедший весь век.
И к мудрому старцу подъехал Олег.

«Скажи мне, кудесник, любимец богов,
Что сбудется в жизни со мною?
И скоро ль, на радость соседей-врагов,
Могильной засыплюсь землею?
Открой мне всю правду, не бойся меня:
В награду любого возьмешь ты коня». —

«Волхвы не боятся могучих владык,
А княжеский дар им не нужен;

* После этого стиха не сохранилось нескольких стихов.

Правдив и свободен их вещей язык
И с волей небесною дружен.
Грядущие годы таятся во мгле;
Но вижу твой жребий на светлом челе.

Запомни же ныне ты слово мое:
Воителю слава — отрада;
Победой прославлено имя твое;
Твой щит на вратах Цареграда;
И волны и суша покорны тебе;
Завидует недруг столь дивной судьбе.

И синего моря обманчивый вал
В часы роковой непогоды,
И пращ, и стрела, и лукавый кинжал
Щадят победителя годы...
Под грозной броней ты не ведаешь ран;
Незримый хранитель могущему дан.

Твой конь не боится опасных трудов;
Он, чуя господскую волю,
То смиренный стоит под стрелами врагов,
То мчится по бранному полю.
И холод и сеча ему ничего;
Но примешь ты смерть от коня своего».

Олег усмехнулся; однако чело
И взор омрачились думой.
В молчанье, рукой опершись на седло,
С коня он слезает угрюмый;
И верного друга прощальной рукой
И гладит и треплет по шее крутой.

«Прощай, мой товарищ, мой верный слуга,
Расстаться настало нам время.
Теперь отдыхай: уж не ступит нога
В твое позлащенное стремя.
Прощай, утешайся, да помни меня.
Вы, отроки-друзи, возьмите коня!

Покройте попоной, мохнатым ковром;
В мой луг под уздцы отведите;

Купайте, кормите отборным зерном;
Водой ключевой поите». —
И отроки тотчас с конем отошли,
А князю другого коня подвели.

Пирует с дружиною вещей Олег
При звоне веселом стакана.
И кудри их белы, как утренний снег
Над славной главою кургана...
Они поминают минувшие дни
И битвы, где вместе рубились они.

«А где мой товарищ, — промолвил Олег: —
Скажите, где конь мой ретивый?
Здоров ли? Всё так же ль легок его бег?
Всё тот же ль он бурный, игривый?»
И внемлет ответу: на холме крутом
Давно уж почил непробудным он сном.

Могучий Олег головою поник
И думает: «Что же гаданье?
Кудесник, ты лживый, безумный старик!
Презреть бы твое предсказанье!
Мой конь и доныне носил бы меня». —
И хочет увидеть он кости коня.

Вот едет могучий Олег со двора,
С ним Игорь и старые гости,
И видит: на холме, у берега Днепра,
Лежат благородные кости;
Их моют дожди, засыпает их пыль,
И ветер волнует над ними ковыль.

Князь тихо на череп коня наступил
И молвил: «Спи, друг одинокий!
Твой старый хозяин тебя пережил:
На тризне, уже недалекой,
Не ты под секирой ковыль обагришь
И жаркою кровью мой прах напоишь!

Так вот где таилась погибель моя!
Мне смертью кость угрожала!»

Из мертвой главы гробовая змея
Шипя между тем выползала;
Как черная лента, вокруг ног обвилась,
И вскрикнул внезапно ужаленный князь.

Ковши круговые заежась шипят
На тризне плачевной Олега;
Князь Игорь и Ольга на холме сидят;
Дружина пирует у брега;
Бойцы поминают минувшие дни
И битвы, где вместе рубились они.

* * *

Люблю ваш сумрак неизвестный
И ваши тайные цветы,
О вы, поэзии прелестной
Благословенные мечты!
Вы нас уверили, поэты,
Что тени легкою толпой
От берегов холодной Леты
Слетаются на брег земной
И невидимо навещают
Места, где было всё милей,
И в сновиденьях утешают
Сердца покинутых друзей;
Они, бессмертные вкушая,
Их поджидают в Элизей,
Как ждет на пир семья родная
Своих замедливших гостей...
Но, может быть, мечты пустые,
Быть может, с ризой гробовой
Все чувства брошу я земные,
И чужд мне будет мир земной;
Быть может, там, где всё блистает
Нетленной славой и красотой,
Где чистый пламень пожирает
Несовершенство бытия,
Минутных жизни впечатлений

Не сохранит душа моя,
Не буду ведать сожалений,
Тоску любви забуду я...

ПРИЯТЕЛЮ

Не притворяйся, милый друг,
Соперник мой широкоплечий:
Тебе не страшен лиры звук,
Ни элегические речи.
Дай руку мне: ты не ревнив,
Я слишком ветрен и ленив,
Твоя красавица не дура;
Я вижу всё и не сержусь:
Она прелестная Лаура,
Да я в Петрарки не гожусь.

БАРАТЫНСКОМУ

Я жду обещанной тетради:
Что ж медлишь, милый трубадур!
Пришли ее мне Феба ради,
И награди тебя Амур.

Я. Н. ТОЛСТОМУ *

Горишь ли ты, лампада наша,
Подруга бдений и пиров?
Кипишь ли ты, золотая чаша,
В руках веселых остряков?
Всё те же ль вы, друзья веселья,
Друзья Киприды и стихов?
Часы любви, часы похмелья
Попрежнему ль летят на зов
Свободы, лени и безделья?

* Из письма от 26 сентября 1822 г. из Клязьмына.

В изгнании скучном, каждый час
Горя завистливым желаньем,
Я к вам лечу воспоминаньем,
Воображаю, вижу вас:
Вот он, приют гостеприимный,
Приют любви и вольных муз,
Где с ними клятвою взаимной
Скрепили вечный мы союз,
Где дружбы знали мы блаженство,
Где в колпаке за круглый стол
Садилось милое равенство,
Где своенравный произвол
Менял бутылки, разговоры,
Рассказы, песни шалуна,
И разгорались наши споры
От искр, и шуток, и вина.
Я слышу, верные поэты,
Ваш очарованный язык...
Налейте мне вина кометы,
Желаю мне здоровья, калмык!

АДЕЛИ

Играй, Адель,
Не знай печали.
Хариты, Лель
Тебя венчали
И колыбель
Твою качали.
Твоя весна
Тиха, ясна:
Для наслажденья
Ты рождена.
Час упоенья
Лови, лови!
Младые лета
Отдай любви
И в шуме света
Люби, Адель,
Мою свирель.

ПОСЛАНИЕ ЦЕНЗОРУ

Угрюмый сторож муз, гонитель давний мой,
Сегодня рассуждать задумал я с тобой.
Не бойся: не хочу, прельщенный мыслью ложной,
Цензуру поносить хулой неосторожной;
Что нужно Лондону, то рано для Москвы.
У нас писатели, я знаю, каковы;
Их мыслей не теснит цензурная расправа,
И чистая душа перед тобою права.

Во-первых, искренно я признаюсь тебе,
Нередко о твоей жалею я судьбе:
Людской бессмыслицы присяжный толкователь,
Хвостова, Буниной единственный читатель,
Ты вечно разбирать обязан за грехи
То прозу глупую, то глупые стихи.
Российских авторов нелегкое встревожит:
Кто английский роман с французского предложит,
Тот оду сочинит, потея да кряхтя,
Другой трагедию напишет нам шутя —
До них нам дела нет; а ты читай, бесися,
Зевай, сто раз засни, а после подпишися.

Так — цензор мученик; порой захочет он
Ум чтеньем освежить; Руссо, Вольтер, Бюффон,
Державин, Карамзин манят его желанье,
А должен посвятить бесплодное вниманье
На бредни новые какого-то враля,
Которому досуг петь рощи да поля;
Да связь утрата в них, ищи ее с начала,
Или вымарывай из тощего журнала
Насмешки грубые и площадную брань,
Учтивых остряков затейливую дань.

Но цензор — гражданин, и сан его священный:
Он должен ум иметь прямой и просвещенный;
Он сердцем почитать привык алтарь и трон;
Но мнений не теснит и разум терпит он.
Блюститель тишины, приличия и нравов
Не преступает сам начертанных уставов,
Закону преданный, отечество любя,

Принять ответственность умеет на себя;
Полезной истине пути не заграждает,
Живой поэзии развиться не мешает;
Он друг писателю, пред знатью не труслив,
Благоразумен, тверд, свободен, справедлив.

А ты, глупец и трус, что делаешь ты с нами?
Где должно б умствовать, ты хлопаешь глазами,
Не понимая нас, мараешь и дерешь;
Ты черным белое по прихоти зовешь:
Сатиру — пасквилем, поэзию — развратом,
Глас правды — мятежом, Куницына — Маратом.
Решил — а там поди, хоть на тебя проси.
Скажи, не стыдно ли, что на святой Руси,
Благодаря тебя, не видим книг доселе?
И если говорить задумают о деле,
То, славу русскую и здравый ум любя,
Сам государь велит печатать без тебя.
Остались нам стихи: поэмы, триолеты,
Баллады, басенки, элегии, куплеты,
Досугов и любви невинные мечты,
Воображения минутные цветы.
О варвар! Кто из нас, владельцев русской лиры,
Не проклинал твоей губительной секиры?
Докучным евнухом ты бродишь между муз:
Ни чувства пылкие, ни блеск ума, ни вкус,
Ни слог певца «Пиров», столь чистый, благородный —
Ничто не трогает души твоей холодной.
На всё кидаешь ты косою, неверный взгляд.
Подозревая всё, во всем ты видишь яд.
Оставь, пожалуй, труд, нямало не похвальный:
Парнас не монастырь и не гарем печальный,
И, право, никогда искусный коновал
Излишней пылкости Пегаса не лишал.
Чего боишься ты? Поверь мне, чьи забавы —
Осмеивать закон, правительство иль нравы,
Тот не подвергнется взысканью твоему;
Тот не знаком тебе, мы знаем почему —
И рукопись его, не погибая в Лете,
Без подписи твоей разгуливает в свете.
Барков шутивных од тебе не посылал,
Радищев, рабства враг, цензуры избежал,

И Пушкина стихи в печати не бывали;
Что нужды? их и так иные прочитали.
Но ты свое несешь, и в наш премудрый век
Едва ли Шаликов не вредный человек.
Зачем себя и нас терзаешь без причины?
Скажи, читал ли ты «Наказ» Екатерины?
Прочти, пойми его, увидишь ясно в нем
Свой долг, свои права, пойдешь иным путем.
В глазах монархини сатирик превосходный
Невежество казнил в комедии народной,
Хоть в узкой голове придворного глупца
Кутейкин и Христос два равные лица.
Державин, бич вельмож, при звуке грозной лиры
Их горделивые разоблачал кумиры;
Хемницер истину с улыбкой говорил,
Наперсник Душеньки двусмысленно шутил,
Киприду иногда являл без покрывала —
И никому из них цензура не мешала.
Ты что-то хмуришься; признайся, в наши дни
С тобой не так легко б разделались они.
Кто ж в этом виноват? Перед тобой зеркало:
Дней Александровых прекрасное начало.
Проведай, что в те дни произвела печать.
На поприще ума нельзя нам отступать.
Старинной глулости мы праведно стыдимся,
Ужели к тем годам мы снова обратимся,
Когда никто не смел отечество назвать,
И в рабстве ползали и люди, и печать?
Нет, нет! оно прошло, губительное время,
Когда невежества несла Россия бремя.
Где славный Карамзин снискал себе венец,
Там цензором уже не может быть глупец...
Исправься ж, будь умней и примирился с нами.

«Всё правда, — скажешь ты, — не стану спорить с
вами;

Но можно ль цензору по совести судить?
Я должен то того, то этого падить.
Конечно, вам смешно, а я нередко плачу,
Читаю да крещусь, мараю наудачу —
На всё есть мода, вкус; бывало, например,
У нас в большой чести Бентам, Руссо, Вольтер,

А нынче и Миллот попался в наши сети.
Я бедный человек; к тому ж жена и дети...»

Жена и дети, друг, поверь — большое зло;
От них всё скверное у нас произошло.
Но делать нечего. Так если невозможно
Тебе скорей домой убраться осторожно,
И службою своей ты нужен для царя,
Хоть умного себе возьми секретаря.

К ПОРТРЕТУ КН. П. А. ВЯЗЕМСКОГО

Судьба свои дары явить желала в нем,
В счастливом баловне соединив ошибкой
Богатство, знатный род с возвышенным умом
И простодушие с язвительной улыбкой.

УЗНИК

Сажу за решеткой в темнице сырой.
Вскормленный в неволе орел молодой,
Мой грустный товарищ, махая крылом,
Кровавую пищу клюет под окном.

Клюет и бросает, и смотрит в окно,
Как будто со мною задумал одно;
Зовет меня взглядом и криком своим
И вымолвить хочет: «давай улетим!

Мы вольные птицы; пора, брат, пора!
Туда, где за тучей белеет гора,
Туда, где синеют морские края,
Туда, где гуляем лишь ветер... да я!..»

ГРЕЧАВКЕ

Ты рождена воспламенять
Воображение поэтов,
Его тревожить и пленять

Любезной живостью приветов,
Восточной странностью речей,
Блистаньем зеркальных очей
И этой ножкою нескромной;
Ты рождена для неги томной,
Для упоения страстей.
Скажи: когда певец Леилы
В мечтах небесных рисовал
Свой неизменный идеал,
Уж не тебя ль изображал
Поэт мучительный и милый?
Быть может, в дальней стороне,
Под небом Греции священной,
Тебя страдалец вдохновенный
Узнал, иль вдел, как во сне,
И скрылся образ незабвенный
В его сердечной глубине.
Быть может, лирою счастливой
Тебя волшебник искушал;
Невольный трепет возникал
В твоей груди самолюбивой,
И ты, склонясь к его плечу...
Нет, нет, мой друг, мечты ревнивой
Питать я пламя не хочу;
Мне долго счастье чуждо было,
Мне ново наслаждаться им,
И, тайной грустию томим,
Боюсь: неверно всё, что мило.

БАРАТЫНСКОМУ ИЗ БЕССАРАБИИ

Сия пустынная страна
Священна для души поэта:
Она Державиним воспета
И славой русскою полна.
Еще доньше тень Назона
Дунайских ищет берегов;
Она летит на сладкий зов
Питомцев муз и Аполлона,
И с нею часто при луне

Брожу вдоль берега крутого;
Но, друг, обнять милее мне
В тебе Овидия живого.

Ф. ГЛИЧКЕ

Когда средь оргий жизни шумной
Меня постигнул остракизм,
Увидел я толпы безумной
Презренный, робкий эгоизм;
Без слез оставил я с досадой
Венки пиров и блеск Афин,
Но голос твой мне был отрадой,
Великодушный гражданин!
Пускай судьба определила
Гоненья грозные мне вновь,
Пускай мне дружба изменила,
Как изменяла мне любовь,
В моем изгнанье позабуду
Несправедливость их обид;
Они ничтожны — если буду
Тобой оправдан, Аристид.

* * *

Нет ни в чем вам благодати;
С счастьем у вас разлад:
И прекрасны вы некстати,
И умны вы невпопад.

* * *

Царь Никита жил когда-то
Славно, мирно и богато,
Не творя добра, ни зла,
И земля его цвела.
Царь трудился понемногу,
Кушал, пил, молился богу

И от разных матерей
Прижил сорок дочерей,
Сорок ангелов небесных,
Сорок девушек прелестных,
Милых видом и душой.
Что за глазки — боже мой,
Ротик алый, темный волос,
Ножки — чудо! Нежный голос
Вас с ума свести бы мог.
Словом, с головы до ног
Чувство, душу всё пленяло.
Одного недоставало.
Да чего же одного?
Так, безделки, ничего.
Ничего иль очень мало,
Всё равно — недоставало.
Как бы это изъяснить,
Чтобы нам не прогневить
Богомольной важной дуры
Или чопорной цензуры?

ТАВРИДА

Gieb meine Jugend mir zurück. *

Ты вновь со мною, наслажденье;
В душе утихло мрачных дум
Однообразное волненье!
Воскресли чувства, ясен ум.
Какой-то негой неизвестной,
Какой-то грустью полон я.
Одушевленные поля,
Холмы Тавриды, край прелестный,
Тебя я посещаю вновь,
Пью жадно воздух сладострастья
И будто слышу близкий глас
Давно затерянного счастья...

* Возврати мне мою юность.

Счастливым край, где блещут воды,
Лаская пышные брега,
И светлой роскошью природы
Озарены холмы, луга,
Где скал нахмуренные своды

* * *

Брат милый, отроком расстался ты со мной —
В разлуке протекли медлительные годы.
Теперь ты юноша и полною душой
Цветешь для радостей, для света, для свободы.
Какое поприще открыто пред тобой!
Как много для тебя восторгов, наслаждений
И сладостных забот, и милых заблуждений!
Как юный жар твою волнует кровь!
Ты сердце пробуешь с надеждой торопливой

* * *

Один, один остался я.
Пиры, любовницы, друзья
Исчезли с легкими мечтами,
Померкла молодость моя
С ее неверными дарами.
Так свечи, в долгу ночь горев
Для резвых юношей и дев,
В конце безумных пирований
Еледнеют пред лучами дня —

* * *

Сегодня я поутру дома
И жду тебя, любезный мой,
Приди ко мне на рюмку рома,
Приди — тряхнем мы стариной.
Наш друг Тардиф, любимец Кома,
Поварни полный генерал,

Достойный дружбы и похвал
Ханжи, поэта, балагура —
Тардиф, который Коленкура
И откормил, и обокрал —
Тардиф, полицией гонимый
За неуплатные долги, —
Тардиф умом нестоимый
На entre-mets, * на пироги

* * *

Недавно я в часы свободы
«Устав наездника» читал
И даже ясно понимал
Его искусные доводы;
Узнал я резкие черты
Неподражаемого слога;
Но перевертывал листы
И — признаюсь — роптал на бога.
Я думал: ветреный певец,
Не сотвори себе кумира;
Перебесилась наконец
Твоя проказливая лира,
И, сердцем охладев навек,
Ты, видно, стал в угоду мира
Благоразумный человек!
О горе, молвил я сквозь слезы,
Кто дал Давыдову совет
Оставить лавр, оставить розы?
Как мог унизиться до прозы
Венчанный Музою поэт,
Презрев и славу прежних лет,
И Бурцовой души угрозы!
И вдруг растрепанную тень
Я вижу прямо пред собою,
Пьяна, как в самой смерти день,
Столбом усы, виски горою,
Жестокий ментик за спиною
И кивер чудо набекрень.

* * *

Гречанка верная! не плачь, — он пал героем;
Свинец врага в его вонзился грудь.
Не плачь — не ты ль сама ему пред первым бсом
Назначила кровавой чести путь?
Тогда, тяжелую предчувствуя разлуку,
Супруг тебе простер торжественную руку,
Младенца своего в слезах благословил,
Но знамя черное свободой восшумело.
Как Аристокитон, он миртом меч обвил,
Он в сечу ринулся — и падши совершил
Великое, святое дело.

* * *

Всё так же ль осеняют своды
Сей храм парнасских трех цариц,
Всё те же ль клики юных жриц?
Всё те же ль вьются хороводы?
Ужель умолк волшебный глас
Семеновой, сей чудной музы?
Ужель, навек оставя нас,
Она расторгла с Фебом узы,
И славы русской луч угас?
Не верю! вновь она восстанет,
Ей вновь готова дань сердец.
Пред нами долго не увянет
Ее торжественный венец.
И для нее любовник славы
Младой Катенин воскресит
Эсхила гений величавый
И ей порфиру возвратит.

ИЗ ПИСЬМА К В. П. ГОРЧАКОВУ

Зима мне рыхлою стеною
К воротам заградила путь;
Пока тропинки пред собою
Не протопчу я как-нибудь,
Сижу я дома, как бездельник:
Но ты, душа души моей,
Узнай, что будет в понедельник,
Что скажет наш Варфоломей.

ПТИЧКА

В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старицы:
На волю птичку выпускаю
При светлом празднике весны.
Я стал доступен утешенью;
За что на бога мне роптать,
Когда хоть одному твореаю
Я мог свободу даровать!

* * *

«Внемли, о Геллос, серебряным луком звенящий,
Внемли, боже кларосский, молению старца — погибнет
Ныне, ежели ты не предыдешь слепому вожатым», —
Рек и сел на камне слепец утомленный. Но следом
Три пастуха за ним, — дети страны той пустынной, —

Скоро сбежались на лай собак, их стада стерегущих.
Ярость уняв их, они защитили бессилие старца.
Издали внемля ему, приближались и думали: кто же,
Сей белоглавый старик, одинокий слепой, — уж не бог ли?
Горд и высок; висит на поясе бедном простая
Лира, и голос его возмущает волны и небо.
Вот шаги он услышал, — ухо клонит и смутен
Руки простер для моления, страшен несчастный. —

«Не бойся,

Коли только не скрыт в земном и дряхлеющем теле
Бог, покровитель жизни, столь величавая прелесть
Старость твою украшает, — вещали они незнакомцу; —
Если ж ты смертный, то знай, что вечно тебя
К людям богов»

* * *

Кто, волны, вас остановил,
Кто оковал ваш бег могучий,
Кто в пруд безмолвный и дремучий
Поток мятежный обратил?

Чей жезл волшебный поразил
Во мне надежду, скорбь и радость
И душу бурную и младость
Дремотой лени усыпил?

Вы, ветры, бури, взойте воды,
Разрушьте гибельный оплот —
Где ты, гроза, символ свободы?
Промчись поверх невольных вод.

НОЧЬ

Мой голос для тебя и ласковый, и томный
Тревожит позднее молчанье ночи темной.
Близ ложа моего печальная свеча
Горит; мои стихи, сливаясь и журча,

Текут, ручьи любви, текут полны тобою.
Во тьме твои глаза блистают предо мною,
Мне улыбаются, и звуки слышу я:
Мой друг, мой нежный друг... Люблю... твоя... твоя.

* * *

Простишь ли мне ревнивые мечты,
Моей любви безумное волненье?
Ты мне верна: зачем же любишь ты
Всегда пугать мое воображенье?
Окружена поклонников толпой,
Зачем для всех казаться хочешь милой,
И всех дарит надеждою пустой
Твой чудный взор, то нежный, то унылый?
Мной овладев, мне разум омрачив,
Уверена в моей любви несчастной,
Не видишь ты, когда в толпе их страстной,
Беседы чужд, один и молчалив,
Терзаюсь я досадой одинокой;
Ни слова мне, ни взгляда... друг жестокий!
Хочу ль бежать: с боязнью и мольбой
Твои глаза не следуют за мной.
Заводит ли красавица другая
Двусмысленный со мною разговор, —
Спокойна ты; веселый твой укор
Меня мертвит, любви не выражая.
Скажи еще: соперник вечный мой,
Наедине застав меня с тобой,
Зачем тебя приветствует лукаво?..
Что ж он тебе? Скажи, какое право
Имеет он бледнеть и ревновать?..
В нескромный час меж вечера и света.
Без матери, одна, полуодета,
Зачем его должна ты принимать?..
Но я любим... Наедине со мною
Ты так нежна! Лобзания твои
Так пламенны! Слова твоей любви
Так искренно полны твоей душою!
Тебе смешны мучения мои;
Но я любим, тебя я понимаю.

Мой милый друг, не мучь меня, молю:
Не знаешь ты, как сильно я люблю,
Не знаешь ты, как тяжко я страдаю.

* * *

Изъеде сеятель сеяти семена своя.

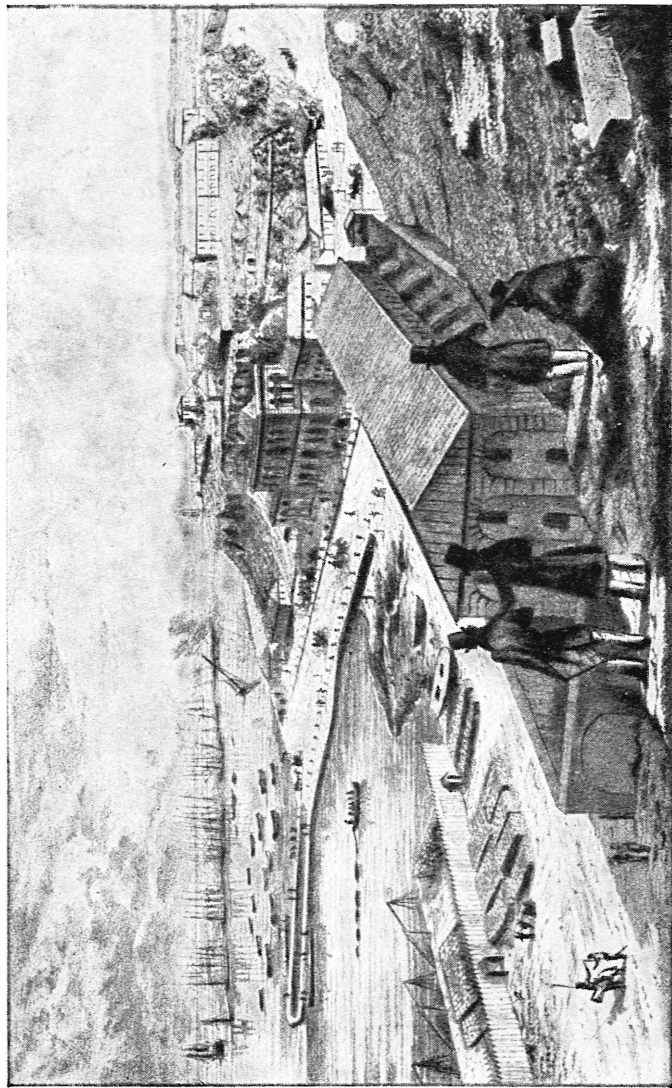
Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя —
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...

Паситесь, мирные народы!
Вас не пробудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.

Ф. Ф. ВИГЕЛЮ *

Проклятый город Кишинев!
Тебя бранить язык устанет;
Когда-нибудь на грешный кров
Твоих запачканных домов
Небесный гром, конечно, грянет —
И не найду твоих следов.
Падут, погибнут, пламенея,
И лавки грязные жидов,
И пестрый дом Варфоломея;
Так, если верить Моисею,
Погиб несчастливый Содом —
Но с этим милым городком
Я Кишинев равнять не смею, —

* Начало черногого письма от 22 октября — 4 ноября 1823 г. из Одессы.



Одесса

Литография 1832 г.

Я слишком с Библией знаком
(И к лести вовсе не привычен!).
Содом — ты знаешь — был отличен
Не только вежливым грехом,
Но просвещением, пирами,
Гостеприимными домами
И красотой нестрогих дев.
Мне жаль, что пламенем, громами
Его сразил Еговы гнев!..
В блаженстве, в развлеченьях света,
Избранный богом человек,
Провел бы я смиренно век
В Париже ветхого завета.
Но в Кишиневе, видишь сам —
Ты не найдешь ни милых дам,
Ни сводни, ни книгопродавца.
Жалея о твоей судьбе,
Не знаю, придут ли к тебе
Под вечер милых три красавца;
На всякий случай, грустный друг,
Лишь только будет мне досуг,
Прощусь с Одессою, явлюся.
Тебе служить я буду рад
Своей беседою шальнойю —
Стихами, прозою, душою,
Но, Вигель, — пощади мой зад!

ДЕМОН

В те дни, когда мне были новы
Все впечатленья бытия —
И взоры дев, и шум дубровы,
И ночью пенье соловья,
Когда возвышенные чувства,
Свобода, слава и любовь
И вдохновенные искусства
Так сильно волновали кровь, —
Часы надежд и наслаждений
Тоской внезапной осеня, —
Тогда какой-то злобный гений
Стал тайно навещать меня.

Печальны были наши встречи:
Его улыбка, чудный взгляд,
Его язвительные речи
Вливали в душу холодный яд.
Неистоимой клеветой
Он провиденье искал;
Он звал прекрасное мечтою;
Он вдохновенье презирал;
Не верил он любви, свободе;
На жизнь насмешливо глядел —
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел.

КН. М. А. ГОЛИЦЫНОЙ

Давно об ней воспоминанье
Ношу в сердечной глубине,
Ее минутное вниманье
Отрадой долго было мне.
Твердил я стих обвороженный,
Мой стих, унынья звук живой,
Так мило ею повторенный,
Замеченный ее душой.
Вновь лире слез и тайной муки
Она с участием вяла —
И ныне ей передала
Свои пленительные звуки...
Довольно; в гордости моей
Я мыслить буду с умилением:
Я славой был обязан ей —
А может быть, и вдохновением.

* * *

1

Недвижный страж дремал на царственном пороге,
Владыка севера один в своем чертоге
Безмолвно бодрствовал, и жребии земли

В увенчанной главе стесненные лежали,
Чредою выпадали
И миру тихую неволю в дар несли.

2

И делу своему владыка сам дивился.
Се благо! думал он, и взор его носился
От тибровых валов до Вислы и Невы,
От царскосельских лип до башен Гибралтара:
Всё молча ждет удара,
Всё пало — под ярем склонились все главы.

3

Свершилось! молвил он. Давно ль народы мира
Паденье славили великого кумира

.
.
.

4

Давно ли ветхая Европа свирепела?
Надеждой новою Германия кипела,
Шаталась Австрия, Неаполь восставал,
За Пиренеями давно ль судьбой народа
Уж правила свобода,
И самовластие лишь север укрывал?

5

Давно ль — и где же вы, зиждители свободы?
Ну что ж? витийствуйте, ищите прав природы,
Волнуйте, мудрецы, безумную толпу —
Вот Кесарь — где же Брут? О грозные витии,
Целуйте жезл России
И вас поправшую железную стопу.

6

Он рек, и некий дух повеял невидимо,
 Повеял и затих — и вновь повеял мимо;
 Владыку севера мгновенный хлад объял,
 На царственный порог вперил смутясь он очи —
 Раздался бой полночи —
 И се внезапный гость в чертог царя предстал.

7

То был сей чудный муж, посланник провиденья,
 Свершитель роковой безвестного веленья,
 Сей всадник, перед кем склонилися цари,
 Мятежной Вольности наследник и убийца,
 Сей хладный кровопийца,
 Сей царь — исчезнувший, как сон, как тень зари.

8

Ни тучной праздности ленивые морщины,
 Ни поступь тяжкая, ни ранние седины,
 Ни пламя бледное нахмуренных очей
 Не обличали в нем изгнанного героя,
 Мучением покоя
 В морях казненного по манию царей.

9

Нет, чудный взор его, живой, неуловимый,
 То вдаль затерянный, то вдруг неотразимый,
 Как боевой перун, как молния сверкал.
 Во цвете здравия, и мужества, и мощи
 Владыке полунощи
 Владыка запада, грозящий, предстоял.

10

Таков он был, когда в равнинах Австерлица
 Дружины севера гнала его десница,
 И русский в первый раз пред гибелью бежал,

Таков он был, когда с победным договором
И с миром и с позором
Пред юным он царем в Тильзите предстоял..

* * *

Как наше сердце своенравно!
томимый вновь,
Я умолял тебя недавно
Обманывать мою любовь,
Участьем, нежностью притворной
Одушевлять свой дивный взгляд,
Играть душой моей покорной,
В нее вливать огонь и яд.
Ты согласилась, негой влажной
Наполнился твой южный взор.
Твой вид задумчивый и важный,
Твой сладострастный разговор
И то, что дозволяешь нежно,
И то, что запрещаешь мне,
Всё впечатлелось неизбежно
В моей сердечной глубине.

* * *

Завидую тебе, питомец моря смелый,
Под сенью парусов и в бурях поседелый!
Спокойной пристани давно ли ты достиг —
Давно ли тишины вкусил отрадный миг?
И снова ты бежишь Европы обветшалой
Для неба дальнего, для неизвестных стран.
Ищу стихий других, земли жилец усталый!..
Приветствую тебя, свободный океан.

* * *

Придет ужасный час... твои небесны очи
Покроются, мой друг, туманом вечной ночи,
Молчанье вечное твои сомкнет уста,

Ты навсегда сойдешь в те мрачные места,
Где прадедов твоих почивают мощи хладны;
Но я, дотоле твой поклонник безотрадный,
В обитель скорбную сойду я за тобой
И сяду близ тебя, печальный и немой.
Лампада бледная твой бледный труп осветит,
Мой взор движения, ни чувства не заметит,
Не поразит меня судьбы моей измена,
Коснусь я хладных ног; себе их на колена
Сложу — и буду ждать но чего?
Чтоб силою мечтанья моего

* * *

Надеждой сладостной младенчески дыша,
Когда бы верил я, что некогда душа,
Могилу пережив, уносит мысли вечны,
И память, и любовь в пучины бесконечны,
Клянусь! давно бы я покинул мрачный мир;
Я сокрушил бы жизнь, уродливый кумир,
Узнал бы я предел свободы, наслаждений,
Предел, где смерти нет, где нет предрассуждений,
Где мысль одна живет в небесной чистоте.
Но тщетно предаюсь пленительной мечте.
Мой ум упорствует, не верит, жить желает.
Меня ничтожеством могила ужасает.
Как! ничего? — ни мысль, ни первая любовь...
Мне страшно, — и на жизнь гляжу печально вновь
И долго жить хочу, чтоб долго образ милый
Таился и пылал в душе моей унылой!

ТЕЛЕГА ЖИЗНИ

Хоть тяжело подчас в ней бремя,
Телега на ходу легка;
Ямщик лихой, седое время,
Везет, не слезет с облучка.

С утра садимся мы в телегу;
Мы рады голову сломать
И, презирая лень и негу,
Кричим: пошел! - - - .

Но в полдень нет уж той отваги;
Порастрясло нас; нам страшной
И косогоры и овраги;
Кричим: полегче, дуралей!

Катит попрежнему телега.
Под вечер мы привыкли к ней,
И дремля едем до ночлега,
А время гонит лошадей.

ЖАЛОБА

Ваш дед портной, ваш дядя повар,
А вы, вы модный господин —
Таков об вас народный говор,
И дива нет — не вы один.
Потомку предков благородных,
Увы, никто в моей родне
Не шьет мне даром фраков модных
И не варит обеда мне.

ЧИНОВНИК И ПОЭТ

«Куда вы? за город, конечно,
Зефиром утренним дышать
И с вашей Музою мечтать
Уединенно и беспечно?» —
«Нет, я собираюсь на базар,
Люблю базарное волнение,
Скуфьи жидов, усы болгар
И спор, и крик, и торга жар,
Нарядов пестрое стеснение.
Люблю толпу, лохмотья, шум
И жадной черни - свободный». —

«Так — наблюдаете? — ваш ум
И здесь вникает в дух народный.
Сопровождать вас рад бы я,
Чтоб слышать ваши замечанья,
Но службы долг зовет меня;
Простите, нам не до гулянья». —
«Куда ж?» —

«В острог. Сегодня мы
Выпроваждаем из тюрьмы
По просьбе Паши
Ва молдаванскую границу
Кирджали».

С
* * *

«Всё кончено: меж нами связи нет» —
В последний раз обняв твои колени,
Произносил я горестные пени.
«Всё кончено», — я слышу твой ответ.

Обманывать себя не стану вновь,
Тебя тоской преследовать не буду,
Прошедшее быть может позабуду.
Не для меня сотворена любовь —

Ты молода, душа твоя прекрасна,
И многими любима будешь ты.

А. Л. ДАВЫДОВУ

Нельзя, мой толстый Аристип:
Хоть я люблю твои беседы,
Твой милый нрав, твой милый хрип,
Твой вкус и жирные обеды,
Но не могу с тобою плыть
К брегам полуденной Тавриды.
Прошу меня не позабыть,
Любимец Вакха и Киприды!
Когда чахоточный отец
Немного тощей Энеиды
Пускался в море наконец,
Ему Гораций, умный льстец,
Прислал торжественную оду,
Где другу Августов певец
Сулил хорошую погоду.
Но льстивых од я не пишу;

Ты не в чахотке, слава богу:
У неба я тебе прошу
Лишь аппетита на дорогу.

ИНОСТРАНКЕ

На языке, тебе невятном,
Стихи прощальные пишу,
Но в заблуждении приятном
Вниманья твоего прошу:
Мой друг, доколе не увяну,
В разлуке чувство погубя,
Боготворить не перестану
Тебя, мой друг, одну тебя.
На чуждые черты взирая,
Верь только сердцу моему,
Как прежде верила ему,
Его страстей не понимая.

* * *

Саранча
Летела, летела —
И села.
Сидела, сидела,
Всё съела
И вновь улетела.

КОРАБЛЮ

Морей красавец окриленный,
Тебя зову — плыви, плыви
И сохрани залог бесценный
Мольбам, надеждам и любви.

Ты, ветер, утренним дыханьем
Счастливым парус напругай
Или незапным колыханьем
Ее груди не утомляй.

* * *

Приют любви, он вечно полн
Прохлады сумрачной и влажной;
Там никогда стесненных волн
Не умолкает гул протяжный.

* * *

Зачем ты послан был, и кто тебя послал?
Чего — добра иль зла ты бранный был
свершитель?
Зачем потух, зачем блистал,
Земли чудесный посетитель?
Вещали книжники, тревожились цари,
Толпа пред ними волновалась,
Разоблаченные пустели алтари,
Свободы буря подымалась
И вдруг нагрянула... Упали в прах и в кровь,
Разбились ветхие скрижали.
Явился муж судеб, рабы затихли вновь,
Мечи да цепи зазвучали,
И гордо меч прошел, и стал разврат,
Порочные сердца застыли,
Отечество рабы в отчаянье забыли,
За злато продал брата брат.
Рекли безумцы: нет Свободы,
И им поверили народы,
Добро и зло — всё стало тенью,
Всё было предано презренью,
Как ветру предан дольний прах.

НА ГР. М. С. ВОРОНЦОВА

Полумилорд, полукупец,
Полумудрец, полуневежда,
Полуподлец, но есть надежда
Что будет полным наконец.

* * *

О Муза пламенной сатиры!
Приди на мой призывный клич!
Не нужно мне гремящей лиры,
Вручи мне Ювеналов бич!
Не подражателям холодным,
Не переводчикам голодным,
Не беззащитным рифмачам
Готовлю язву эпиграм!
Мир вам, несчастные поэты!
Мир вам, смиренные глупцы!
А вы, ребята-подлецы, — *
Вперед! всю вашу сволочь буду
Я мучить казнию стыда,
Но если же кого забуду,
Прошу напомнить, господя!
О, сколько лиц бесстыдно-бледных,
О, сколько лбов широко-медных
Готовы от меня принять
Неизгладимую печать!

ПРОЗЕРПИНА

(ПОДРАЖАНИЕ)

Плещут волны Флегетона,
Своды тартара дрожат:
Кони бледного Плутона
Быстро к нимфам Пелиона
Из Аида бога мчат.
Вдоль пустынного залива
Прозерпина вслед за ним,
Равнодушна и ревнива,
Потекла путем одним.
Пред богинею колена
Робко юноша склонил.

* Повидимому, после этого стиха недостает трех стихов.

И богиням льстит измена:
Прозерпине смертный мил;
Ада гордая царица
Взором юношу зовет,
Обняла, и колесница
Уж к Аиду их несет;
Мчатся, облаком одеты;
Видят вечные луга,
Элизей и томной Леты
Усыпленные брега.
Там бессмертье, там забвенье,
Там утехам нет конца.
Прозерпина в упоенье,
Без порфиры и венца,
Повинуется желаньям,
Предает его лобзаньям
Сокровенные красы,
В сладострастной неге тонет
И молчит, и томно стонет...
Но бегут любви часы;
Плещут волны Флегетона,
Своды тартара дрожат:
Кони бледного Плутона
Быстро мчат его назад.
И Кереры дочь уходит
И счастливица за собой
Из Элизия выводит
Потаенною тропой;
И счастливец отпирает
Осторожною рукой
Дверь, откуда вылетает
Сновидений ложный рой.

А. Н. ВУЛЬФУ *

Здравствуй, Вульф, приятель мой!
Приезжай сюда зимой
Да Языкова поэта

* Начало письма от 20 сентября 1824 г. из Михайловского.

Затащи ко мне с собой
Погулять верхом порой,
Пострелять из пистолета.
Лайон, мой курчавый брат
(Не михайловский приказчик),
Привезет нам, право, клад...
Что? — бутылок полный ящик.
Запируем уж, молчи!
Чудо — жизнь анахорета!
В Троегорском до ночи,
А в Михайловском до света;
Дни любви посвящены,
Ночью царствуют стаканы,
Мы же — то смертельно пьяны,
То мертвецки влюблены.

К ЯЗЫКОВУ

Михайловское, 1824 г.

Издревле сладостный союз
Поэтов меж собой связует:
Они жрецы единых муз;
Единый пламень их волнует;
Друг другу чужды по судьбе,
Они родня по вдохновенью.
Клянусь Овидиевой тенью:
Языков, близок я тебе.
Давно б на дерптскую дорогу
Я вышел утренней порой
И к благосклонному порогу
Понес тяжелый посох мой,
И возвратился б оживленный
Картиной беззаботных дней,
Беседой вольно-вдохновенной
И звучной лирою твоей.
Но злобно мной играет счастье:
Давно без крова я ношусь,
Куда подует самовластье;
Уснув, не знаю, где проснусь.

Всегда гоним, теперь в изгнанье
Влачу закованные дни.
Услышь, поэт, мое призванье,
Моих надежд не обмани.
В деревне, где Петра питомец,
Царей, цариц любимый раб
И их забытый однодомец,
Скрывался прадед мой, арап,
Где, позабыв Елисаветы
И двор, и пышные обеты,
Под сенью липовых аллей
Он думал в охлажденны леты
О дальней Африке своей, —
Я жду тебя. Тебя со мною
Обнимет в сельском шалаше
Мой брат по крови, по душе,
Шалун, замеченный тобою;
И муз возвышенный пророк,
Наш Дельвиг всё для нас оставит,
И наша троица прославит
Изгнанья темный уголок.
Надзор обманем караульный,
Восхвалим вольности дары
И нашей юности разгульной
Пробудим шумные пиры,
Вниманье дружное преклоним
Ко звону рюмок и стихов,
И скуку зимних вечеров
Вином и песнями прогоним.

РАЗГОВОР КНИГОПРОДАВЦА С ПОЭТОМ

К н и г о п р о д а в е ц

Стишки для вас одна забава,
Немножко стоит вам присесть,
Уж разгласить успела слава
Везде приятнейшую весть:
Поэма, говорят, готова,
Плод новых умственных затей.

Итак, решите; жду я слова:
Назначьте сами цену ей.
Стишки любимца муз и граций
Мы вмиг рублями заменим
И в пук наличных ассигнаций
Листочки ваши обратим.
О чем вздохнули так глубоко,
Нельзя ль узнать?

П о э т

Я был далеко:

Я время то вспоминал,
Когда, надеждами богатый,
Поэт беспечный, я писал
Из вдохновенья, не из платы.
Я видел вновь приюты скал
И темный кров уединенья,
Где я на пир воображенья
Бывало Музу призывал.
Там слаще голос мой звучал;
Там доле яркие виденья,
С неизъяснимою красой,
Вились, летали надо мной
В часы ночного вдохновенья.
Всё волновало нежный ум:
Цветущий луг, луны блистанье,
В часовне ветхой бури шум,
Старушки чудное преданье.
Какой-то демон обладал
Моими играми, досугом;
За мной повсюду он летал,
Мне звуки дивные шептал,
И тяжким, пламенным недугом
Была полна моя глава;
В ней грезы чудные рождались;
В размеры стройные стекались
Мои послушные слова
И звонкой рифмой замыкались.
В гармонии соперник мой.
Был шум лесов, иль вихорь буйный,
Иль иволги напев живой,

Иль ночью моря гул глухой,
Иль шопот речки тихоструйной.
Тогда, в безмолвии трудов,
Делиться не был я готов
С толпою пламенным восторгом,
И Музы сладостных даров
Не унижал постыдным торгом;
Я был хранитель их скупой;
Так точно, в гордости немой,
От взоров черни лицемерной
Дары любовницы младой
Хранит любовник суеверный.

Книгопродавец

Но слава заменила вам
Мечтанья тайного отрады:
Вы разошлись по рукам,
Меж тем, как пыльные громады
Лежалой прозы и стихов
Напрасно ждут себе чтецов
И ветреной ее награды.

Поэт

Блажен, кто про себя таил
Души высокие созданья
И от людей, как от могил,
Не ждал за чувства воздаянья!
Блажен, кто молча был поэт
И, терном славы не увитый,
Презренной чернию забытый,
Без имени покинул свет!
Обманчивей и снов надежды,
Что слава? Шопот ли чтеца?
Гоненье ль низкого невежды?
Иль восхищение глупца?

Книгопродавец

Лорд Байрон был того же мненья;
Жуковский то же говорил,
Но свет узнал и раскупил
Их сладкозвучные творенья.

И впрямь завиден ваш удел:
Поэт казнит, поэт венчает;
Злодеев громом вечных стрел
В потомстве дальнем поражает;
Героев утешает он;
С Коринной на киферский трон
Свою любовницу возносит.
Хвала для вас докучный звон;
Но сердце женщин славы просит;
Для них пишите; их ушам
Приятна лесть Анакреона:
В молодые лета розы нам
Дороже лавров Геликона.

П о э т

Самолюбивые мечты,
Утехи юности безумной!
И я среди бури жизни шумной
Искал вниманья красоты.
Глаза прелестные читали
Меня с улыбкою любви;
Уста волшебные лептали
Мне звуки сладкие мои.
Но полно; в жертву им свободы
Мечтатель уж не принесет;
Пускай их юноша поет,
Любезный баловень природы;
Что мне до них? Теперь в глуши
Безмолвно жизнь моя несется;
Стон лиры верной не коснется
Их легкой, ветреной души;
Нечисто в них воображенье:
Не понимает нас оно,
И, признак бога, вдохновенье,
Для них и чуждо, и смешно.
Когда на память мне неволью
Придет внушенный ими стих,
Я так и вспыхну, сердцу больно:
Мне стыдно идолов моих.
К чему, несчастный, я стремился?
Пред кем унижил гордый ум?

Кого восторгом чистых дум
Боготворить не устыдился?

Книгопродавец

Люблю ваш гнев. Таков поэт!
Причины ваших огорчений
Мне знать нельзя; но исключений
Для милых дам ужели нет?
Ужели ни одна не стоит
Ни вдохновенья, ни страстей,
И ваших песен не присвоит
Всесильной красоте своей?
Молчите вы.

Поэт

Зачем поэту
Тревожить сердца тяжкий сон?
Бесплодно память мучит он.
И что ж? Какое дело свету?
Я всем чужой. Душа моя
Хранит ли образ незабвенный?
Любви блаженство знал ли я?
Тоскою ль долгой изнуренный,
Таил я слезы в тишине?
Где та была, которой очи,
Как небо, улыбались мне?
Вся жизнь, одна ли, две ли ночи?

.
И что ж? Докучный стон любви,
Слова покажутся мои
Безумца диким лепетаньем.
Там сердце их поймет одно,
И то с печальным содроганьем:
Судьбою так уж решено.
Ах, мысль о той души завялой
Могла бы юность оживить
И сны поэзии бывалой
Толпою снова возмутить!
Она одна бы разумела
Стихи неясные мои;

Одна бы в сердце пламенела
Лампадой чистою любви.
Увы, напрасные желанья!
Она отвергла заклинанья,
Мольбы, тоску души моей:
Земных восторгов излишня,
Как божеству, не нужно ей.

Книгопродавец

Итак, любовью утомленный,
Наскуча лепетом молвы,
Заране отказались вы
От вашей лиры вдохновенной.
Теперь, оставя шумный свет,
И муз, и ветреную моду,
Что ж изберете вы?

Поэт

Свободу.

Книгопродавец

Прекрасно. Вот же вам совет;
Внемлите истине полезной:
Наш век торгаш; в сей век железный
Без денег и свободы нет.
Что слава? Яркая заплата
На ветхом рубище певца.
Нам нужно злата, злата, злата:
Копите злато до конца!
Предвижу ваше возраженье,
Но вас я знаю, господа:
Вам ваше дорого творенье,
Пока на пламени труда
Кипит, бурлит воображенье;
Оно застынет, и тогда
Постыло вам и сочиненье.
Позвольте просто вам сказать:
Не продается вдохновенье,
Но можно рукопись продать.
Что ж медлить? Уж ко мне заходят
Нетерпеливые чтецы;

Вкруг лавки журналисты бродят,
За ними тощие певцы:
Кто просит пищи для сатиры,
Кто для души, кто для пера;
И, признаюсь, от вашей лиры
Предвижу много я добра.

П о э т

Вы совершенно правы. Вот вам моя
рукопись. Условимся.

К МОРЮ

Прощай, свободная стихия!
В последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые
И блещешь гордою красой.

Как друга ропот заунывный,
Как зов его в прощальный час,
Твой грустный шум, твой шум призывный
Услышал я в последний раз.

Моей души предел желанный!
Как часто по берегам твоим
Бродил я тихий и туманный,
Заветным умыслом томим!

Как я любил твои отзывы,
Глухие звуки, бездны глас
И тишину в вечерний час,
И своенравные порывы!

Смиренный парус рыбарей,
Твоею прихотью хранимый,
Скользит отважно средь зыбей,
Но ты выиграл, неодолимый,
И стая тонет кораблей.

Не удалось навек оставить
Мне скучный, неподвижный брег,
Тебя восторгами поздравить
И по хребтам твоим направить
Мой поэтический побег.

Ты ждал, ты звал... я был окован;
Вотще рвалась душа моя;
Могучей страстью очарован,
У берегов остался я.

О чем жалеть? Куда бы ныне
Я путь беспечный устремил?
Один предмет в твоей пустыне
Мою бы душу поразил.

Одна скала, гробница славы...
Там погружались в хладный сон
Воспоминанья величавы:
Там угасал Наполеон.

Там он почил среди мучений.
И вслед за ним, как бури шум,
Другой от нас умчался гений,
Другой властитель наших дум.

Исчез, оплаканный свободой,
Оставя миру свой венец.
Шуми, взволнуйся непогодой:
Он был, о море, твой певец.

Твой образ был на нем означен,
Он духом создан был твоим:
Как ты, могущ, глубок и мрачен,
Как ты, ничем не укротим.

Мир опустел... Теперь куда же
Меня б ты вынес, океан?
Судьба людей повсюду та же:
Где благо, там уже на страже
Иль просвещенье, иль тиран.

Прощай же, море! Не забуду
Твоей торжественной красы
И долго, долго слышать буду
Твой гул в вечерние часы.

В леса, в пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полн,
Твои скалы, твои заливы
И блеск, и тень, и говор волн.

* * *

О дева-роза, я в оковах;
Но не стыжусь твоих оков:
Так соловей в кустах лавровых,
Пернатый царь лесных певцов,
Близ розы гордой и прекрасной
В неволе сладостной живет
И нежно песни ей поет
Во мраке ночи сладострастной.

КОВАРНОСТЬ

Когда твой друг на глас твоих речей
Ответствует язвительным молчаньем;
Когда свою он от руки твоей,
Как от змеи, отдернет с содроганьем;
Как, на тебя взор острый пригвоздя,
Качает он с презреньем головою;
Не говори: «он болен, он дитя,
Он мучится безумною тоскою»;
Не говори: «неблагодарен он»;
Он слаб и зол, он дружбы недостоин;
Вся жизнь его какой-то тяжкий сон...
Ужель ты прав? Ужели ты спокоен?
Ах, если так, он в прах готов упасть,
Чтоб вымолить у друга примиренье.
Но если ты святую дружбы власть
Употреблял на злобное гоненье;
Но если ты затейливо язвил

Пугливое его воображенье
И гордую забаву находил
В его тоске, рыданьях, униженье;
Но если сам презренной клеветы
Ты про него невидимым был эхом;
Но если цепь ему накинул ты
И сонного врагу предал со смехом,
И он прочел в немой душе твоей
Всё тайное своим печальным взором —
Тогда ступай, не трать пустых речей —
Ты осужден последним приговором.

* * *

Т — прав, когда так верно вас
Сравнил он с радугой живою,
Вы милы, как она, для глаз
И, как она, прменчивы душою;
И с розой сходны вы, блеснувшею весной:
Вы так же, как она, пред нами
Цветете пышною красой
И так же колетесь, бог с вами.
Но более всего сравнение с ключом
Мне нравится — я рад ему сердечно;
Да, чисты вы, как он, и сердцем и умом,
И холодней его конечно.
Сравненья прочие не столько хороши,
Поэт не виноват — сравненья неудобны:
Вы прелестью лица и прелестью души,
К несчастью, бесподобны.

* * *

Мне жаль великия жены,
Жены, которая любила
дым войны,*
И дым парнасского кадила.

* В начале стиха зачеркнуто: «И ради славы».

Там, под заветными скалами,
Теперь она сидит, печальна и одна...
Одна... Никто пред ней не плачет, не тоскует;
Никто ее колен в забвенье не целует;
Одна... ничьим устам она не предает
Ни плеч, ни влажных уст, ни персей белоснежных.

.
.
.

Никто ее любви небесной недостойн.
Не правда ль: ты одна... ты плачешь... я спокоен;

.
Но если

МЛАДЕНЦУ

Дитя, не смею над тобой
Произносить благословенья:
Ты тихий ангел утешенья,
Да будут ясны дни твои,
Как ныне ясен взор

ГРАФУ ОЛИЗАРУ

Певец! издревле меж собою
Враждуют наши племена,
То наша стонет сторона,
То гибнет ваша под грозою.
И вы, бывало, пировали,
Кремля позор и плен,
И мы о камень падших стен
Младенцев ваших избивали,
Когда в кровавый прах топтали
Красу Костюшкиных знамен.

И тот не наш, кто с девой вашей
Кольцом заветным сопряжен;

Не выпьем мы заветной чашей
Здоровье ваших красных жен;
И наша дева молодая,
Привлекши сердце поляка,
Отвергнет гордою душою
Любовь народного врага.

Но глас поэзии чудесной
Сердца враждебные дружит —
Закон волшебный и небесный! —
Вражды закон молчит!
При звуках песен вдохновенья, *

И встают благословенья,
На племена нисходит мир...

П. А. ПЛЕТНЕВУ **

Ты издал дядю моего;
Творец «Опасного соседа»
Достоин очень был того,
Хотя покойная «Беседа»
И не жалела лик его...
Теперь издай меня, приятель,
Плоды пустых моих трудов.
Но ради Феба, мой Плетнев,
Когда ты будешь свой издатель?

* * *

Презрев и толки укоризны,
И зовы сладостных надежд,
Иду в чужбине прах отчизны
С дорожных отряхнуть одежд.

* Следующий стих не написан.

** Начало чернового письма от конца октября 1824 г. из Михайловского.

Умолкни сердца шопот сонный,
Привычки, давной лени глас!
Прости, предел неблагосклонный,
Где свет узрел я в первый раз!
Простите, сумрачные сени,
Где дни мои <текли?> в тиши,
Исполнены страстей и лени,
И снов задумчивых души.
Мой брат, в опасный день разлуки
Все думы сердца о тебе,
С тобой соединим же руки
И покоримся мы судьбе.
Благослови побег поэта.

Умолкнет он под небом дальным,
Один печальным
Угаснет в чуждой стороне.

* * *

Сабуров, ты оклеветал
Мои гусарские затеи.
Так, я с Кавериным гулял,
Бранил Россию с Молоствовым,
С моим Чадаевым читал.
Так, все заботы отгоня,
Провел меж ними год я круглый,
Но Зубов не прельстил меня
Своею - - - - смуглой.

* * *

Как жениться задумал царский арап,
Меж боярынь арап похаживает,
На боярышен арап поглядывает.
Что выбрал арап себе сударушку,

Черный ворон белую лебедушку.
А как он арап чернешенек,
А она-то душа белешенька.

* * *

Ночной зефир
Струит эфир.
Шумит,
Бежит
Гвадалквивир.

Вот взошла луна золотая,
Тихе... чу... гитары звон...
Вот испанка молодая
Оперлася на балкон.

Ночной зефир
Струит эфир.
Шумит,
Бежит
Гвадалквивир.

Скинь мантилью, ангел милый,
И явись, как яркий день!
Сквозь чугунные перилы
Ножку дивную продень!

Ночной зефир
Струит эфир.
Шумит,
Бежит
Гвадалквивир.

* * *

С перегородкою каморки —
Довольно чистенькие норки.
В углу на полке образа,

Под ними вербная лоза
С иссохшей просвирой и свечкой,
Две канареечки над печкой...

* * *

Пока супруг тебя, красавицу младую,
Между шести других еще не заключил,
Ходи к фонтану близ могил
И черпай воду ключевую,
И думай, милая моя:
Как невозвратная струя
Блестит, бежит и исчезает —
Так жизни юность убегает,
В гареме так исчезну я.

ФОНТАНУ БАХЧИСАРАЙСКОГО ДВОРЦА

Фонтан любви, фонтан живой!
Принес я в дар тебе две розы.
Люблю немолчный говор твой
И поэтические слезы.

Твоя серебряная быль
Меня кропит росой хладной:
Ах, лейся, лейся, ключ отрадный!
Журчи, журчи свою мне быль...

Фонтан любви, фонтан печальный!
И я твой мрамор вопрошал;
Хвалу стране прочел я дальней;
Но о Марии ты молчал...

Светило бледное гарема!
И здесь ужель забвенно ты?
Или Мария и Зарема
Одни счастливые мечты?

Иль только сон воображенья
В пустынной мгле нарисовал
Свои минутные виденья,
Души неясный идеал?

ВИНОГРАД

Не стану я жалеть о розах,
Увядших с легкою весной;
Мне мил и виноград на лозах,
В кистях созревший под горой,
Краса моей долины злачной,
Отрада осени златой,
Продолговатый и прозрачный,
Как персты девы молодой.

ПОДРАЖАНИЯ КОРАНУ ¹

посвящено п. а. осиповой

I

Клянусь четой и нечетой,
Клянусь мечом и правой битвой,
Клянуся утренней звездой,
Клянусь вечернею молитвой: ²

Нет, не покинул я тебя.
Кого же в сень успокоенья
Я ввел, главу его любя,
И скрыл от зоркого гоненья?

Не я ль в день жажды напоил
Тебя пустынными водами?
Не я ль язык твой одарил
Могучей властью над умами?

Мужайся ж, презирай обман,
Стезю правды бодро следуй,
Люби сирот и мой Коран
Дрожащей твари проповедуй.

II

О жены чистые пророка,
От всех вы жен отличены:
Страшна для вас и тень порока.
Под сладкой сенью тишины
Живите скромно: вам пристало
Безбрачной девы покрывало.
Храните верные сердца
Для нег законных и стыдливых,
Да взор лукавый нечестивых
Не узрит вашего лица.

А вы, о гости Магомета,
Стекаясь к вечери его,
Брегитесь суетами света
Смутить пророка моего.
В паренье дум благочестивых,
Не любит он велеречивых
И слов нескромных и пустых:
Почтите пир его смиреньем
И целомудренным склоненьем
Его невольниц молодых. ³

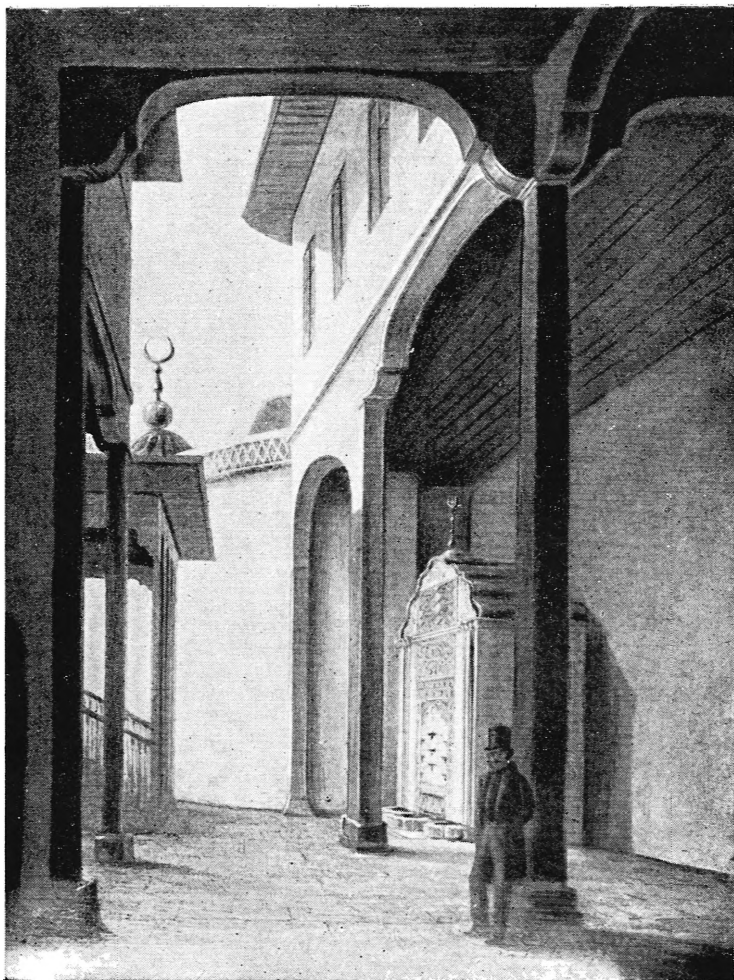
III

Смутясь, нахмурился пророк.
Слепца послышав приближенье: ⁴
Бежит, да не дерзнет порок
Ему являть недоуменье.

С небесной книги список дан
Тебе, пророк, не для строптивых;
Спокойно возвещай Коран,
Не понуждая нечестивых!

Почто ж кичится человек?
За то ль, что наг на свет явился,
Что дышит он недолгий век,
Что слаб умрет, как слаб родился?

За то ль, что бог и умертвит
И воскресит его по воле?



Пушкин в Бахчисарае
Картина Чернецова

Что с неба дни его хранит
И в радостях, и в горькой доле?

За то ль, что дал ему плоды
И хлеб, и финик, и оливу,
Благословив его труды
И вертоград, и холм, и ниву?

Но дважды ангел вострубит;
На землю гром небесный грянет:
И брат от брата побежит,
И сын от матери отпрянет.

И все пред бога притекут,
Обезображенные страхом;
И нечестивые падут,
Покрыты пламенем и прахом.

IV

С тобою древле, о всесильный,
Могучий состязаться мнил,
Безумной гордостью обильный;
Но ты, господь, его смирил.
Ты рек: я миру жизнь дарую,
Я смертью землю наказую,
На всё подъята длань моя.
Я также, рек он, жизнь дарую
И также смертью наказую:
С тобою, боже, равен я.
Но смолкла похвальба порока
От слова гнева твоего:
Подъемлю солнце я с востока;
С заката подыми его.

V

Земля недвижна; неба своды,
Творец, поддержаны тобой,
Да не падут на сушь и воды
И не подавят нас собой. ⁵

Зажег ты солнце во вселенной,
Да светит небу и земле,
Как лен, елеем напоенный,
В лампадном светит хрустале.

Творцу молитесь; он могучий:
Он правит ветром; в знойный день
На небо насылаёт тучи;
Дает земле древесну сень.

Он милосерд: он Магомету
Открыл сияющий Коран,
Да притечем и мы ко свету,
И да падет с очей туман.

VI

Недаром вы приснились мне
В бою, с обритыми главами,
С окровавленными мечами,
Во рвах, на башне, на стене.

Внемлите радостному кличу,
О дети пламенных пустынь!
Ведите в плен молодых рабынь,
Делите бранную добычу!

Вы победили: слава вам,
А малодушным посмеянье.
Они на бранное призванье
Не шли, не веря дивным снам.

Прельстясь добычей боевою,
Теперь в раскаянье своем
Рекут: возьмите нас с собою;
Но вы скажите: не возьмем.

Блаженны падшие в сраженьи:
Теперь они вошли в эдем
И потонули в наслажденьи,
Не отравляемом ничем.

VII

Восстань, боязливый:
В пещере твоей
Святая лампада
До утра горит.
Сердечной молитвой,
Пророк, удали
Печальные мысли,
Лукавые сны!
До утра молитву
Смиренно твори;
Небесную книгу
До утра читай!

VIII

Торгуя совестью пред бледной нищетою,
Не сыпь своих даров расчетливой рукою:
Щедрота полная угодна небесам.
В день грозного суда, подобно ниве тучной,
О сеятель благополучный,
Сторицею воздаст она твоим трудам.

Но, если, пожалев трудов земных стяжанья,
Вручая нищему скупое подаянье,
Сжимаешь ты свою завистливую длань —
Знай: все твои дары, подобно горсти пыльной,
Что с камня моет дождь обильный,
Исчезнут, господом отверженная дань.

IX

И путник усталый на бога роптал:
Он жаждой томился и тени алкал.
В пустыне блуждая три дня и три ночи,
И зноем, и пылью тягчимые очи
С тоской безнадежной водил он вокруг,
И кладезь под пальмою видит он вдруг.

И к пальме пустынной он бег устремил,
И жадно холодной струей освежил

Горевшие тяжко язык и зеницы,
И лег, и заснул он близ верной ослицы;
И многие годы над ним протекли
По воле владыки небес и земли.

Настал пробужденья для путника час;
Встает он и слышит неведомый глас:
«Давно ли в пустыне заснул ты глубоко?»
И он отвечает: «Уж солнце высоко
На утреннем небе сияло вчера;
С утра я глубоко проспал до утра».

Но голос: «О путник, ты долее спал;
Вгляни: лег ты молод, а старцем восстал;
Уж пальма истлела, а кладезь холодный
Иссяк и засохнул в пустыне безводной,
Давно занесенный песками степей;
И кости белеют ослицы твоей».

И, горем объятый, мгновенный старик,
Рыдая, дрожащей главою поник...
И чудо в пустыне тогда совершилось:
Минувшее в новой красе оживилось;
Вновь зыблется пальма тенистой главою;
Вновь кладезь наполнен прохладой и мглой.

И ветхие кости ослицы встают,
И телом оделись, и рев издают;
И чувствует путник и силу, и радость;
В крови заиграла воскресшая младость;
Святые восторги наполнили грудь:
И с богом он дале пускается в путь.

Примечания

¹ «Нечестивые, — пишет Магомет (глава *Награды*), — думают, что Коран есть собрание новой лжи и старых басен». Мнение сих *нечестивых*, конечно, справедливо; но, несмотря на сие, многие нравственные истины изложены в Коране сильным и поэтическим образом. Здесь предлагается несколько вольных подражаний. В подлиннике Алла вежде говорит от своего имени, а о Магомете упоминается только во втором или третьем лице.

² В других местах Корана Алла клянется копытами кобылиц, плодами смоковницы, свободою Мекки, добродетелию и пороком, ангелами и человеком и проч. Странный сей риторический оборот встречается в Коране поминутно.

³ «Мой пророк, — прибавляет Алла, — вам этого не скажет, ибо он весьма учтив и скромен, но я не имею нужды с вами чиниться» и проч. Ревность араба так и дышит в сих заповедях.

⁴ Из книги *Слепец*.

⁵ Плохая физика, но зато какая смелая поэзия!

ИЗ ПИСЬМА К А. Г. РОДЗЯНКЕ *

Прости, украинский мудрец,
Наместник Феба и Приапа!
Твоя соломенная шляпа
Покойней, чем иной венец;
Твой Рим — деревня; ты мой Папа,
Благослови ж меня, певец!

ЧАДАЕВУ

К чему холодные сомненья?
Я верю: здесь был грозный храм,
Где крови жаждущим богам
Дымилась жертвоприношенья;
Здесь успокоена была
Вражда свирепой Эвмениды:
Здесь провозвестница Тавриды
На брата руку занесла;
На сих развалинах свершилось
Святое дружбы торжество,
И душ великих божество
Своим созданием возгордилось.

.
Чадаев, помнишь ли бывшее?
Давно ль с восторгом молодым
Я мыслил имя роковое

* Окончание письма от 8 декабря 1824 г.

Предать развалинам иным?
Но в сердце, бурями смиренном,
Теперь и лень и тишина,
И в умиленье вдохновенном,
На камне, дружбой освященном,
Пишу я наши имена.

ПИСЬМО К Л. ПУШКИНУ

Что же? Будет ли вино?
Лайон, жду его давно.
Знаешь ли какого рода?
Милый мой, мне всё равно,
У меня закон один:
Жажды полная свобода
И терпимость всяких вин.
Погреб мой гостеприимный
Рад мадере золотой
И под пробкой смоляной
Сен-Пере бутылке длинной.
В лета красные мои
Поэтический ай
Нравился мне пеной шумной,
Сим подобием любви
Или юности безумной.
Я вспомнил о поэте,
И наполненный бокал
 всему на свете
Младший брат предпочитал.
Но бургонское густое
Мне понравилось потом.

Ныне нет во мне пристрастья,
Без разбора за столом
- - - * сладострастья
Вина обхожу кругом.

* Два слова не разобраны.

АКВИЛОН

Зачем ты, грозный аквилон,
Тростник болотный долу клонишь?
Зачем на дальний небосклон
Ты облачко столь гневно гонишь?

Недавно черных туч грядой
Свод неба глухо облакался,
Недавно дуб над высотой
В красе надменной величался...

Но ты поднялся, ты взыграл,
Ты прошумел грозой и славой —
И бурны тучи разогнал,
И дуб низвергнул величавый.

Пускай же солнца ясный лик
Отныне радостью блистает,
И облачком зефир играет,
И тихо зыблется тростник.

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К ЦЕНЗУРУ

На скользком поприще Тимковского наследник!
Позволь обнять себя, мой прежний собеседник.
Недавно, тяжкою цензурой притеснен,
Последних, жалких прав без милости лишен,
Со всею братией гонимый совокупно,
Я, вспыхнув, говорил тебе немного крупно,
Потешил дерзостью бранчивую свербежь —
Но извини меня: мне было невтерпеж.
Теперь в моей глуши журналы раздирая
И бедной братии стишонки разбирая
(Теперь же мне читать охота и досуг),
Обрадовался я, по ним заметя вдруг
В тебе и правила, и мысли образ новый!
Ура! ты заслужил венок себе лавровый
И твердостью души, и смелостью ума.
Как изумилася поэзия сама,
Когда ты разрешил по милости чудесной

Заветные слова *божественный*, *небесный*,
И ими назвалась (для рифмы) красота,
Не оскорбляя тем уж господу Христа!
Но что же вдруг тебя, скажи, переменяло
И права твоего кичливость усмирило?
Свои послания хоть очень я люблю,
Хоть знаю, что прочел ты жалобу мою,
Но, подразнив тебя, я переменной сею,
Приятно изумлен, гордиться не посмею.
Отнесся я к тебе по долгу моему;
Но мне ль исправить вас? Нет, ведаю, кому
Сей важной новостью обязана Россия.
Обдумав наконец намеренья благие,
Министра честного наш добрый царь избрал,
Шишков наук уже правленье восприял.
Сей старец дорог нам: друг чести, друг народа,
Он славен славою двенадцатого года;
Один в толпе вельмож он русских муз любил,
Их, незамеченных, созвал, соединил;
Осиротелого венца Екатерины
От хлада наших дней укрыл он лавр единый.
Он с нами сетовал, когда святой отец,
Омара да Гали прияв за образец,
В удобность господу, себе во утешенье,
Усердно задушить старался просвещенье.
Благочестивая, смиренная душа
Карала чистых муз, спасая Бантыша,
И помогал ему Магницкий благородный,
Муж твердый в правилах, душою превосходный,
И даже бедный мой Кавелин-дурачок,
Креститель Галича, Магницкого дьячок.
И вот за все грехи, в чьи пакостные руки
Вы были вверены, печальные науки!
Цензура! вот кому подвластна ты была!

Но полно: мрачная година протекла,
И ярче уж горит светильник просвещенья.
Я с переменою несчастного правленья
Отставки цензоров, признаться, ожидал,
Но, сам не зная как, ты видно устоял.
Итак, я поспешил приятелей поздравить,
А между тем совет на память им оставить.

Будь строг, но будь умен. Не просят у тебя,
Чтоб, все законные преграды истребя,
Всё мыслить, говорить, печатать безопасно
Ты нашим господам позволил самовластно.
Права свои храни по долгу своему.
Но скромной Истине, но мирному Уму
И даже Глупости невинной и довольной
Не заграждай пути заставой своевольной.
И если ты в плодах досужного пера
Порою не найдешь великого добра,
Когда не видишь в них безумного разврата,
Престолов, алтарей и нравов супостата,
То, славы автору желая от души,
Махни, мой друг, рукой и смело подпиши.

* * *

Напрасно ахнула Европа,
Не унывайте, не беда!
От петербургского потопа
Спаслась «Полярная звезда».
Бестужев, твой ковчег на бреге!
Парнаса блещут высоты,
И в благодетельном ковчеге
Спаслись и люди, и скоты.

СОЖЖЕННОЕ ПИСЬМО

Прощай, письмо любви, прощай! Она велела...
Как долго медлил я, как долго не хотела
Рука предать огню все радости мои!..
Но полно, час настал; гори, письмо любви.
Готов я; ничему душа моя не внемлет.
Уж пламя жадное листы твои приемлет...
Минуту!.. вспыхнули... пылают... легкий дым
Вясь теряется с молением моим.
Уж перстня верного утрата впечатленья,
Растопленный сургуч кипит... О провиденье!
Свершилось! Темные свернулись листы;

На легком пепле их заветные черты
Белеют... Грудь моя стеснилась. Пепел милый,
Отрада бедная в судьбе моей унылой,
Останься век со мной на горестной груди...

* * *

Лиде страшно полюбить.
Полно, нет ли тут обмана?
Берегитесь — может быть,
Эта новая Диана
Притаила нежну страсть
И стыдливými глазами
Ищет робко между вами,
Кто бы ей помог упасть.

* * *

Твое соседство нам опасно,
Хоть мило, может быть, оно, —
Так утверждаю не напрасно
И доказать <не мудрено>.
Твой дом, учтивая беседа
И шутки с злостью пополам
Напоминают живо нам
И впрямь «Опасного соседа».

* * *

Сказали раз царю, что наконец
Мятежный вождь Риэго был удушен.
«Я очень рад, — сказал усердный льстец: —
От одного мерзавца мир избавлен».
Все смолкли, все потушили взор,
Всех рассмешил проворный приговор.
Риэго был пред Фердинандом грешен.
Согласен я но он за то повешен.

Пристойно ли, скажите, сгоряча
Ругаться нам над жертвой палача?
Сам государь такого доброхотства
Не захотел улыбкой наградить;
Льстецы, льстецы! старайтесь сохранить
И в подлости осанку благородства.

* * *

Ты вянешь и молчишь; печаль тебя сдает,
На девственных устах улыбка замирает.
Давно твоей иглой узоры и цветы
Не оживлялися. Безмолвно любишь ты
Грустить. О, я знаток в девической печали;
Давно глаза мои в душе твоей читали.
Любви не утаишь: мы любим, и как нас,
Девы нежные, любовь волнует вас.
Счастливы юноши! Но кто, скажи, меж ними
Красавец молодой с очами голубыми,
С кудрями черными?.. Краснеешь? Я молчу,
Но знаю, знаю всё; и если захочу,
То назову его. Не он ли вечно бродит
Вкруг дома твоего и взор к окну возводит?
Ты тайне ждешь его. Идет, и ты бежишь,
И долго вслед за ним незримая глядишь.
Никто на празднике блистательного мая,
Меж колесницами роскошными летая,
Никто из юношей свободней и смелей
Не властвует конем по прихоти своей.

ПРИЗНАНИЕ

к А. И. Осиповой

Я вас люблю, хоть я бешусь,
Хоть это труд и стыд напрасный,
И в этой глупости несчастной
У ваших ног я признаюсь!
Мне не к лицу и не по летам...
Пора, пора мне быть умней!

Но узнаю по всем приметам
Болезнь любви в душе моей:
Без вас мне скучно, — я зеваю;
При вас мне грустно, — я терплю;
И, мочи нет, сказать желаю,
Мой ангел, как я вас люблю!
Когда я слышу из гостиной
Ваш легкий шаг, иль платья шум
Иль голос девственный, невинный,
Я вдруг теряю весь свой ум.
Вы улыбнетесь, — мне отрада;
Вы отвернетесь, — мне тоска;
За день мучения — награда
Мне ваша бледная рука.
Когда за пальцами прилежно
Сидите вы, склонясь небрежно,
Глаза и кудри опустя,
Я в умиленье, молча, нежно
Любуюсь вами, как дитя!..
Сказать ли вам мое несчастье,
Мою ревнивую печаль,
Когда гулять, порой в ненастье,
Вы собираетесь в даль?
И ваши слезы в одиночку,
И речи в уголку вдвоем,
И путешествие в Опочку,
И фортепьяно вечером?..
Алина! сжальтесь надо мною.
Не смею требовать любви:
Быть может, за грехи мои,
Мой ангел, я любви не стою!
Но притворитесь! Этот взгляд
Всё может выразить так чудно!
Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад!

К * *

Ты богоматерь, нет сомненья;
Не та, которая красой
Пленила только дух святой;

Мила ты всем без исключения;
Не та, которая Христа
Родила, не спросясь супруга.
Есть бог другой земного круга —
Ему послушна красота;
Он бог Парни, Тибулла, Мура,
Им мучусь, им утешен я.
Он весь в тебя — ты мать Амура,
Ты богородица моя!

* * *

Охотник до журнальной драки,
Сей усыпительный зоил
Разводит опиум чернил
Слюнею бешеной собаки.

* * *

Лихой товарищ наших дедов,
Он друг Венеры и пиров,
Он на обедах — бог обедов,
В своих садах — он бог садов.

* * *

Пускай увенчанный любовью красоты
В заветном золоте хранит ее черты
И письма тайные, награду долгой муки,
Но в тихие часы томительной разлуки
Ничто, ничто моих не радует очей,
И ни единый дар возлюбленной моей,
Святой залог любви, утеха грусти нежной,
Не лечит ран любви безумной, безнадежной.

* * *

Тимковский царствовал — и все твердили вслух,
Что вряд ли где ослов найдешь подобных двух.
Явился Бируков, за ними вслед Красовский:
Ну, право, их умней покойный был Тимковский!

* * *

Воспитанный под барабаном,
Наш царь лихим был капитаном:
Под Австерлицем он бежал,
В двенадцатом году дрожал;
Зато был фрунтовой профессор!
Но фрунт герою надоел —
Теперь коллежский он ассессор
По части иностранных дел!

ПРИЯТЕЛЯМ

Враги мои, покамест я ни слова...
И, кажется, мой быстрый гнев угас:
Но из виду не выпускаю вас
И выберу когда-нибудь любого:
Не избежит пронзительных когтей,
Как налечу неожиданный, беспощадный.
Так в облаках кружится ястреб жадный
И сторожит индеек и гусей.

НА Ф. Н. ГЛИНКУ

Наш друг *Фита*, Кутейкин в эполетах,
Бормочет нам растянутый псалом:
Поэт Фита, не становись фертом!
Дьячок Фита, ты ижица в поэтах!

* * *

«Что козырь?» — «Черви». — «Мне ходить». —
«Я бью». — «Нельзя ли погодить?» —
«Беру». — «Кругом нас обыграла!
Эй, смерть! Ты право сплutowала». —
«Молчи! ты глуп и молоденец.
Уж не тебе меня ловить!
Ведь мы играем не для денег,
А только б вечность проводить!»

«Кто там?» — «Здорово, господа!» —
«Зачем пожаловал сюда?» —
«Привел я гостя». — «Ах, создатель!..» —
«Вот доктор Фауст, наш приятель!» —
«Живой?» — «Он жив, да наш давно:
Сегодня ль, завтра ль — всё равно!» —
«Об этом думают двояко;
Обычай требовал, однако,
Соизволенья моего,
Но, впрочем, это ничего.
Вы знаете, всегда ли другу
Я рада оказать услугу...»
Г р е х! «Я дамой...» — «Крой!» — «Я бью тузом...» —
«Позвольте, козырь». — «Ну, пойдём...»

Так вот детей земных изгнать?
Какой порядок и молчанье!
Какой огромный сводов ряд.
Но где же грешников варят?
Всё тихо — там, гораздо дале.
Где мы теперь? — В парадной зале.

Сегодня бал у сатаны...
На именины мы званы...
Смотри, как эти два бесенка
На кухню тащат поросенка...
А этот бес — как важен он!
Как чинно выметает вон
Опилки, серу, пыль и кости.
Скажи мне, скоро ль будут гости?

«Вот Коцит, вот Ахерон,
Вот горящий Флегетон.
Доктор Фауст, посмелее,
Там нам будет веселее». —
«Где же мост?» — «Какой тут мост,
На! вот сядь ко мне на хвост».

Кто идет? — Солдат.
Это что? — Парад.
Вот обер-капрал,
Унтер-генерал.

—
Что горит во мгле?
Что кипит в котле?
Фауст, ха, ха, ха,
Посмотри, уха,
Щуки ли, цари —
О вари, вари!..

* * *

Я был свидетелем златой твоей весны;
Тогда напрасен ум, искусства не нужны,
И самой красоте семнадцать лет замена.
Но время протекло, настала перемена,
Ты приближаешься к сомнительной поре,
Как меньше женихов толпятся на дворе,
И тише звук похвал твой слух обворожает,
А зеркало сильней грозит и упрекает.
 утешься и смиришь,
От милых прежних прав заране откажись,
Ищи других побед — успехи пред тобою,
Я счастья тебе желаю всей душою,
 и опытов моих,
Мой дидактический благоразумный стих.

ДРУЖБА

Что дружба? Легкий пыл похмелья,
Обиды вольный разговор,
Обмен тщеславия, безделья,
Иль покровительства позор.

От многоречия отрекшись добровольно,
 В собранье полным слов не вижу пользы я.
 Для счастья души, поверьте мне, друзья,
 Иль слишком мало всех, иль одного довольно.

ОДА ЕГО СИЯТ. ГР. ДМ. ИВ. ХВОСТОВУ

Султан ярится. ¹ Кровь Эллады
 И резвоскачет, ² и кипит.
 Открылись Грекам древни клады, ³
 Трепещет в Стиксе лютый Питт. ⁴
 И се — летит продерзко судно
 И мечет громы обоюдно.
 Се Бейрон, Феба образец,
 Притек — но недуг быстропарный, ⁵
 Строптивый и неблагодарный
 Взнес смерти на него резец.

Певец бессмертный и маститый,
 Тебя Эллада днесь зовет
 На место тени знаменитой,
 Пред коей Цербер днесь ревет.
 Как здесь, ты будешь там сенатор,
 Как здесь, почтенный литератор,
 Но новый лавр тебя ждет там,
 Где от крови земля промокла:
 Перикла лавр, лавр Фемистокла.
 Лети туда, Хвостов наш! сам.

Вам с Бейроном шипела злоба,
 Гремела и правдива лесть.
 Он лорд — граф ты! Поэты оба!
 Се, мнится, явно сходство есть —
 Никак! ты с верною супругой ⁶
 Под бременем Судьбы упругой
 Живешь в любви — и наконец
 Глубок он, но единообразен,

А ты глубок, игрив и разен —
И в шалостях ты впрямь певец.

А я, неведомый Пиита,
В восторге новом воспою
Вослед Пиита знаменита
Правдиву похвалу свою,
Моляся кораблю бегущу,
Да Бейрона он узрит кущу,⁷
И да блюдут твой мирный сон⁸
Нептун, Плутон, Зевс, Цитерея,
Гебея, Псиша, Крон, Астрея,
Феб, Игры, Смехи, Вакх, Харон.

П р и м е ч а н и я

¹ Подражание Г. Петрову, знаменитому нашему лирику.

² Слово, употребленное весьма счастливо Вильгельмом Карловичем Кюхельбекером в стихотворном его письме к Г. Грибоедову.

³ Под словом *клады* должно разуметь правдивую ненависть нынешних Леонидов, Ахиллесов и Мильтадов к жестоким чалмонссцам.

⁴ Г. Питт, знаменитый английский министр и известный противник свободы.

⁵ Горячка.

⁶ Графиня А. И. Хвостова, урожденная княжна Горчакова, достойная супруга маститого нашего Певца. Во многочисленных своих стихотворениях везде называет он ее Темирою (см. последнее замечание к оде: «Заздравный кубок»).

⁷ Подражание его Высокопр. Действ. Тайн. Сов. Ив. Ив. Дмитриеву, знаменитому другу Гр. Хвостова:

К тебе я руки простираю,
Уже из отческих кущи
Взираю на суда бегущи.

⁸ Здесь поэт, увлекаясь воображением, видит уже Великого нашего лирика, погруженного в сладкий сон и приближающегося к берегам благословенной Эллады. Нептун усмиряет перед ним продерзкие волны; Плутон исходит из преисподней бездны, дабы узреть того, кто ниспошлет ему в непродолжительном времени богатую жатву теней поклонников Лже-пророка; Зевес улыбается ему с небес; Цитерея (Венера) осыпает цветами своего любимого певца; Геба подымлет кубок за здоровье его; Псиша, в образе Ипполита Богдановича, ему завидует; Крон удерживает косу, готовую разить; Астрея предчувствует возврат своего царствования; Феб ликует. Игры, Смехи, Вакх и Харон веселою толпою следуют за судном нашего бессмертного Пииты.

ЖИВ, ЖИВ КУРИЛКА!

«Как! жив еще курилка журналист?» —
«Живехонек! всё так же сух и скучен,
И груб, и глуп, и завистью размучен,
Всё тискает в свой nepотpeбный лист
И старый вздор, и вздорную новинку». —
«Фу! надоел курилка журналист!
Как загасить вонючую лучинку?
Как уморить курилку моего?
Дай мне совет». — «Да... плюнуть на него».

КОЗЛОВУ

Певец, когда перед тобой
Во мгле сокрылся мир земной, —
Мгновенно твой проснулся гений,
На всё минувшее возрел,
И в хоре светлых привидений
Он песни дивные запел.

О милый брат, какие звуки!
В слезах восторга внемлю им:
Чудесным пением своим
Он усыпил земные муки.
Тебе он создал новый мир:
Ты в нем и видишь, и летаешь,
И вновь живешь, и обнимаешь
Разбитый юности кумир.

А я, коль стих единый мой
Тебе мгновенье дал отрады,
Я не хочу другой награды:
Недаром темною стезей
Я проходил пустыню мира,
О, нет, не даром жизнь и лира
Мне были вверены судьбой!

ЖЕЛАНИЕ СЛАВЫ

Когда, любовью и негой упоенный,
Безмолвно пред тобой коленопреклоненный,
Я на тебя глядел и думал: ты моя,
Ты знаешь, милая, желал ли славы я;
Ты знаешь: удален от ветреного света,
Скучая суетным прозванием поэта,
Устав от долгих бурь, я вовсе не внимал
Жужжанью дальнему упреков и похвал.
Могли ль меня молвы тревожить приговоры,
Когда, склонив ко мне томительные взоры
И руку на главу мне тихо наложив,
Шептала ты: скажи, ты любишь, ты счастлив?
Другую, как меня, скажи, любить не будешь?
Ты никогда, мой друг, меня не позабудешь?
А я стесненное молчание хранил,
Я наслаждением весь полон был, я мнил,
Что нет грядущего; что грозный день разлуки
Не придет никогда... И что же? Слезы, муки,
Измены, клевета, всё на главу мою
Обрушилося вдруг... Что я, где я? Стою,
Как путник, молнией постигнутый в пустыне,
И всё передо мной затмилось! И ныне
Я новым для меня желанием томим:
Желаю славы я, чтоб именем моим
Твой слух был поражен всечасно, чтоб ты мною
Окружена была, чтоб громкою молвою
Всё, всё вокруг тебя звучало обо мне,
Чтоб, гласу верному внимая в тишине,
Ты помнила мои последние моленья
В саду, во тьме ночной, в минуту разлученья.

EX UNGUE LEONEM *

Недавно я стихами как-то свистнул
И выдал их без подписи моей;
Журнальный шут о них статейку тиснул,
Без подписи ж пустив ее, злодей.

* По когтям узнают льва.

Но что ж? Ни мне, ни площадному шуту
Не удалось прикрыть своих проказ:
Он по когтям узнал меня в минуту,
Я по ушам узнал его как раз.

П. А. ОСИПОВОЙ

Быть может, уж недолго мне
В изгнание мирном оставаться,
Вздыхать о милой старине,
И сельской музе в тишине
Душой беспечной предаваться.

Но и в дали, в краю чужом,
Я буду мыслию всегдашней
Бродить Тригорского кругом,
В лугах, у речки, над холмом,
В саду под сенью лип домашней.

Когда померкнет ясный день,
Одна из глубины могильной
Так иногда в родную сень
Летит тоскующая тень
На милых бросить взор умильный.

АНДРЕЙ ШЕНЬЕ

ПОСВЯЩЕНО Н. Н. РАЕВСКОМУ

*Ainsi, triste et captif, ma lyre toutefois
S'éveillait... **

Меж тем, как изумленный мир
На урну Байрона взирает,
И хору европейских лир
Близ Данте тень его внимает,

* Но хоть и был я печальным пленником, всё же моя лира пробуждалась.

Зовет меня другая тень,
Давно без песен, без рыданий
С кровавой плахи в дни страданий
Сошедшая в могильную сень.

Певцу любви, дубрав и мира
Несу надгробные цветы.
Звучит незнаемая лира.
Пою. Мне внемлет он и ты.

Подъялась вновь усталая секира
И жертву новую зовет.
Певец готов; задумчивая лира
В последний раз ему поет. ¹

Заутра казнь, привычный пир народу;
Но лира юного певца
О чем поет? Поет она свободу:
Не изменилась до конца!

«Приветствую тебя, мое светило!
Я славил твой небесный лик,
Когда он искрою возник,
Когда ты в буре восходило.
Я славил твой священный гром,
Когда он разметал позорную твердыню
И власти древнюю гордыню
Развеял пеплом и стыдом;
Я зрел твоих сынов гражданскую отвагу,
Я слышал братский их обет,
Великодушную присягу
И самовластия бестрепетный ответ.
Я зрел, как их могущи волны
Всё ниспровергли, увлекли,
И пламенный трибун предрек, восторга полный,
Перерождение земли.
Уже сиял твой мудрый гений,
Уже в бессмертный пантеон
Святых изгнанников всходили славны тени,
От пелены предрассуждений

Разоблачался ветхий трон;
Оковы падали. Закон,
На вольность опершись, провозгласил равенство;
И мы воскликнули: *блаженство!*
О горе! о безумный сон!
Где вольность и закон? Над нами
Единый властвует топор.

Мы свергнули царей. Убийцу с палачами
Избрали мы в цари. О ужас! о позор!
Но ты, священная свобода,
Богиня чистая, нет, не виновна ты
В порывах буйной слепоты,
В презренном бешенстве народа,
Сокрылась ты от нас; целебный твой сосуд
Завешен пеленой кровавой;
Но ты придешь опять со мщением и славой,
И вновь твои враги падут;
Народ, вкусивший раз твой нектар освященный,
Всё ищет вновь упиться им;
Как будто Вакхом разъяренный,
Он бродит, жаждою томим.

Так — он найдет тебя. Под сению равенства
В объятиях твоих он сладко отдохнет.
Так, буря мрачная минет!
Но я не узрю вас, дни славы, дни блаженства:
Я плахе обречен. Последние часы
Влачу. Заутра казнь. Торжественной рукою
Палач мою главу подымет за волосы
Над равнодушною толпою.

Простите, о друзья! Мой бесприютный прах
Не будет почивать в саду, где провождали
Мы дни беспечные в науках и в пирах
И место наших урн заране назначали.
Но, други, если обо мне
Священно вам воспоминанье,
Исполните мое последнее желанье:
Оплачьте, милые, мой жребий в тишине;
Страшитесь возбудить слезами подозренье;
В наш век, вы знаете, и слезы преступленья:
О брате сожалеть не смеет ныне брат.
Еще ж одна мольба: вы слушали стократ
Стихи, летучих дум небрежные создания,

Разнообразные, заветные преданья
Всей младости моей. Надежды и мечты,
И слезы, и любовь, друзья, сии листы
Всю жизнь мою хранят. У Авеля, у Фанни ²
Молю, найдите их; невинной Музы дани
Сберите. Строгий свет, надменная молва
Не будут ведать их. Увы, моя глава
Безвременно падет: мой незрелый гений
Для славы не свершил возвышенных творений;
Я скоро весь умру. Но, тень мою любя,
Храните рукопись, о други, для себя!
Когда гроза пройдет, толпою суеверной
Сбирайтесь иногда читать мой свиток верный
И, долго слушая, скажите: это он;
Вот речь его. А я, забыв могильный сон,
Взойду невидимо, и сяду между вами,
И сам заслушаюсь, и вашими слезами
Упьюсь... и, может быть, утешен буду я
Любовью; может быть, и *Узница* моя, ³
Уныла и бледна, стихам любви внимая...»
Но, песни нежные мгновенно прерывая,
Младой певец поник задумчивой главой.
Пора весны его с любовью, тоской
Промчалась перед ним. Красавиц томны очи
И песни, и пиры, и пламенные ночи,
Всё вместе ожило; и сердце понеслось
Далече... и стихов журчанье излилось:

«Куда, куда завлек меня враждебный гений?
Рожденный для любви, для мирных искушений,
Зачем я покидал безвестной жизни тень,
Свободу, и друзей, и сладостную лень?
Судьба лелеяла мою златую младость;
Беспечною рукой меня венчала радость,
И Муза чистая делила мой досуг.
На шумных вечерах друзей любимый друг,
Я сладко оглашал и смехом, и стихами
Сень, охраненную домашними богами.
Когда ж, вакхической тревогой утомясь
И новым пламенем незапно воспалюсь,
Я утром наконец являлся к милой деве
И находил ее в смятении и гневe;

Когда, с угрозами, и слезы на глазах,
Мой проклиная век, утраченный в пирах,
Она меня гнала, бранила и простила —
Как сладко жизнь моя делалась и утекала!
Зачем от жизни сей, ленивой и простой,
Я кинулся туда, где ужас роковой,
Где страсти дикие, где буйные невежды,
И злоба, и корысть? Куда, мои надежды,
Вы завлекли меня! Что делать было мне,
Мне, верному любви, стихам и тишине,
На низком поприще с презренными бойцами!
Мне ль было управлять строптивыми конями
И круто напрягать бессильные бразды?
И что ж оставлю я? Забытые следы
Безумной ревности и дерзости ничтожной.
Погибни, голос мой, и ты, о призрак ложный,
Ты, слово, звук пустой...

О, нет!

Умолкни, ропот малодушный!
Гордись и радуйся, поэт:
Ты не поник главой послушной
Перед позором наших лет;
Ты презрел мощного злодея;
Твой светоч, грозно пламенея,
Жестоким блеском озарил
Совет правителей бесславных; ⁴
Твой бич настигнул их, казнил
Сих палачей самодержавных;
Твой стих свистал по их главам;
Ты звал на них, ты славил Немезиду;
Ты пел Маратовым жрецам
Кинжал и деву-Эвмениду!
Когда святой старик от плахи отрывал
Венчанную главу рукой оцененелой,
Ты смело им обоим руку дал,
И перед вами трепетал
Ареопэг остервенелый.
Гордись, гордись, певец; а ты, свирепый зверь,
Моей главой играй теперь:
Она в твоих когтях. Но слушай, знай, безбожный:
Мой крик, мой ярый смех преследует тебя!
Пей нашу кровь, живи, губя:

Ты всё пигмей, пигмей ничтожный.
И час придет... и он уж недалек:
Падешь, тиран! Негодование
Воспрянет наконец. Отечества рыданье
Разбудит утомленный рок.
Теперь иду... пора... но ты ступай за мною;
Я жду тебя».

Так пел восторженный поэт.
И всё покоилось. Лампады тихий свет
Бледнел пред утренней зарею,
И утро веяло в темницу. И поэт
К решетке поднял важны взоры...
Вдруг шум. Пришли, зовут. Они! Надежды нет!
Звучат ключи, замки, запоры.
Зовут... Постой, постой; день только, день один:
И казней нет, и всем свобода,
И жив великий гражданин
Среди великого народа.⁵
Не слышат. Шествие безмолвно. Ждет палач.
Но дружба смертный путь поэта очарует.⁶
Вот плаха. Он взошел. Он славу именует...⁷
Плачь, Муза, плачь!..

П р и м е ч а н и я

¹ Comme un dernier rayon, comme un dernier zéphyr
Anime le soir d'un beau jour,
Au pied de l'échafaud j'essaie encore ma lyre.

(V. *Les derniers vers d'André Chenier.*)*

² У Авеля, у Фанни.

Abel doux confident de mes jeunes mystères (El. 1): ** один из друзей А. Ш.

Fanni, l'une des maîtresses d'André Chenier. Voyez les odes qui lui sont adressées. ***

* Как последний луч, как последнее дуновение зефира
Оживляет вечер прекрасного дня,
Так, у подножья эшафота, я еще раз берусь за лиру.

(См. *Последние стихи Андрея Шенье.*)

** Авель, важный наперсник моих юношеских тайн (Элегия I).

*** Фанни — одна из возлюбленных Андрея Шенье. См. обращенные к ней стихотворения.

³ *И Узница моя.*

V. La jeune Captive (M-lle de Coigny). *

⁴ Voyez ses iambes.

Chénier avait mérité la haine des factieux. Il avait célébré Charlotte Corday, flétri Collot d'Herbois, attaqué Robespierre. — On sait que le roi avait demandé à l'Assemblée par une lettre pleine de calme et de dignité le droit d'appeler au peuple du jugement qui le condamnait. Cette lettre signée dans la nuit du 17 au 18 janvier est d'André Chénier.

(H. de la Touche.) **

⁵ Он был казнен 8 термидора, т. е. накануне низвержения Робеспьера.

⁶ На роковой телеге везли на казнь с Ан. Шенье и поэта Руше, его друга. Ils parlèrent de poésie à leurs derniers moments: pour eux après l'amitié c'était la plus belle chose de la terre. Racine fut l'objet de leur entretien et de leur dernière admiration. Ils voulurent réciter ses vers. Ils choisirent la première scène d'Andromaque.

(H. de la Touche.) ***

⁷ На месте казни он ударил себя в голову и сказал: pourtant j'avais quelque chose là. ****

А. Г. РОДЗЯНКЕ

Ты обещал о романтизме,
О сем парнасском афеизме,
Потолковать еще со мной,
Полтавских муз поведать тайны,
А пишешь лишь об ней одной...
Нет, это ясно, милый мой,
Нет, ты влюблен, Пирон Украйны!

* См. стихотворение А. Шенье «Юная узница», в котором описана г-жа Куаньи.

** См. «Ямбы» Шенье. Шенье возбудил к себе ненависть партий. Он прославлял Шарлотту Кордэ, осмеивал Колло д'Эрбуа, нападал на Робеспьера. Как известно, король в письме, полном спокойствия и достоинства, требовал у Национального Собрания права апеллировать к народу на свой смертный приговор. Это письмо, подписанное в ночь с 17 на 18 января, было составлено Андреем Шенье.

(А. де Латуш.)

*** В свои последние мгновения они говорили о поэзии: после дружбы то была для них самая прекрасная вещь на земле. Предметом их разговора и их последнего восхищения был Расин. Им хотелось декламировать его стихи, и они выбрали первую сцену из трагедии «Андромаха».

(А. де Латуш.)

**** Всё же у меня там кое-что было.

Ты прав: что может быть важней
На свете женщины прекрасной?
Улыбка, взор ее очей
Дороже злата и честей,
Дороже славы разногласной...
Поговорим опять об ней.

Хвалю, мой друг, ее охоту,
Поотдохнув, рожать детей,
Подобных матери своей.
И счастлив, кто разделит с ней
Сию приятную заботу:
Не наведет она зевоту.
Дай бог, чтоб только Гименей
Меж тем продлил свою дремоту.
Но не согласен я с тобой,
Не одобряю я развода:
Во-первых, веры долг святой,
Закон и самая природа...
А во-вторых, замечу я,
Благопристойные мужья
Для умных жен необходимы:
При них домашние друзья
Иль чуть заметны, иль незримы.
Поверьте, милые мои,
Одно другому помогает,
И солнце брака затмевает
Звезду стыдливую любви.

К А. П. КЕРН

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

В томленьях грусти безнадежной,
В тревогах шумной суеты

Звучал мне долго голос нежный,
И снились милые черты.

Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.

В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви.

Душе настало пробужденье.
И вот опять явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.

* * *

Блестит луна, недвижно море спит,
Молчат сады роскошные Гассана.
Но кто же там во тьме дерев сидит
На мраморе печального фонтана?
Арап-евнух, гарема страж седой,
И с ним его товарищ молодой.
«Мезрур, недуг тоски душевной
Не от меня сокроешь ты.
Твой мрачный взор, твой ропот гневный,
Твои свирепые мечты
Уже давно мне всё сказали.
Я знаю — жизнь тебе тяжка.
А что виной твсей печали?
Мой сын, послушай старика».

ЖЕНИХ

Три дня купеческая дочь
Наташа пропадала,
Она на двор на третью ночь
Без памяти вбежала.
С вопросами отец и мать
К Наташе стали приступать.
Наташа их не слышит,
Дрожит и еле дышит.

Тужила мать, тужил отец,
И долго приступали
И отступились наконец,
А тайны не узнали.
Наташа стала, как была,
Опять румяна, весела,
Опять пошла с сестрами
Сидеть за воротами.

Раз у тесовых у ворот,
С подружками своими,
Сидела девица — и вот
Промчалась перед ними
Лихая тройка с молодцом.
Конями, крытыми ковром,
В санях он стоя правит
И гонит всех, и давит.

Он, поровнявшись, поглядел,
Наташа поглядела,
Он вихрем мимо пролетел,
Наташа помертвела.
Стремглав домой она бежит:
«Он! он! узнала! — говорит, —
Он, точно он! держите,
Друзья мои, спасите!»

Печально слушает семья,
Качая головою.
Отец ей: «Милая моя,
Откройся предо мною.

Обидел кто тебя, скажи,
Хоть только след нам укажи».
Наташа плачет снова
И более ни слова.

На утро сваха к ним на двор
Нежданая приходит.
Наташу хвалит, разговор
С отцом ее заводит:
«У вас товар, у нас купец;
Собою парень молодец,
И статный, и проворный,
Не вздорный, не зазорный.

Богат, умен, ни перед кем
Не кланяется в пояс,
А как боярин, между тем,
Живет, не беспокоясь;
А подарит невесте вдруг
И лисью шубу, и жемчуг,
И перстни золотые,
И платья парчевые.

Катаясь, видел он вчера
Ее за воротами;
Не по рукам ли, да с двора,
Да в церковь с образами?»
Она сидит за пирогом,
Да речь ведет обиняком,
А бедная невеста
Себе не видит места.

«Согласен, — говорит отец: —
Ступай благополучно,
Моя Наташа, под венец:
Одной в светелке скучно.
Не век девицей вековать,
Не всё касатке распевать;
Пора гнездо устроить,
Чтоб детушек покоить».

Наташа к стенке уперлась
И слово молвить хочет —
Вдруг зарыдала, затряслась,
И плачет, и хохочет.
В смятенье сваха к ней бежит,
Водой студеною поит
И льет остаток чаши
На голову Наташи.

Крушится, охает семья.
Опомнилась Наташа
И говорит: «Послушна я,
Святая воля ваша.
Зовите жениха на пир,
Пеките хлебы на весь мир,
На славу мед варите,
Да суд на пир зовите». —

«Изволь, Наташа, ангел мой!
Готов тебе в забаву
Я жизнь отдать!» — И пир горой;
Пекут, варят на славу.
Вот гости честные нашли,
За стол невесту повели;
Поют подружки, плачут,
А вот и сани скачут.

Вот и жених — и все за стол.
Звенят, гремят стаканы;
Заздравный ковш кругом пошел;
Всё шумно, гости пьяны.

Жених. «А что же, милые друзья,
Невеста красная моя
Не пьет, не ест, не служит:
О чем невеста тужит?»

Невеста жениху в ответ:
«Откроюсь наудачу.
Душе моей покоя нет,
И день, и ночь я плачу.
Недобрый сон меня крушит».
Отец ей: «Что ж твой сон гласит?»

Скажи нам, что такое,
Дитя мое родное?» —

«Мне снилось, — говорит она, —
Зашла я в лес дремучий,
И было поздно; чуть луна
Светила из-за тучи;
С тропинки сбилась я; в глуши
Не слышно было ни души,
И сосны лишь да ели
Вершинами шумели.

И вдруг, как будто наяву,
Изба передо мною.
Я к ней, стучу — молчат. Зову —
Ответа нет; с мольбою
Дверь открыла я. Вхожу —
В избе свеча горит; гляжу —
Везде серебро, да золото,
Всё светло и богато».

Жених. «А чем же худ, скажи, твой сон?
Знать, жить тебе богато».

Невеста. «Постой, сударь, не кончен он.
На серебро, на золото,
На сукна, коврики, парчу,
На новгородскую камчу
Я молча любовалась
И диву дивовалась.

Вдруг слышу крик и конский топ...
Подъехали к крылечку.
Я поскорее дверью хлоп
И спряталась за печку.
Вот слышу много голосов...
Взошли двенадцать молодцов,
И с ними голубица
Красавица-девица.

Взошли толпой, не поклонясь,
Икон не замечая;

За стол садятся, не молясь
И шапок не снимая.
На первом месте брат большой,
По праву руку брат меньшей,
По леву голубица
Красавица-девица.

Жених. Крик, хохот, песни, шум и звон,
Разгульное похмелье...»
«А чем же худ, скажи, твой сон?
Вещает он веселье».

Невеста. «Постой, сударь, не кончен он.
Идет похмелье, гром и звон,
Пир весело бушует;
Лишь девица горюет.

Сидит, молчит, ни ест, ни пьет,
И током слезы точит,
А старший брат свой нож берет,
Присвистывая точит;
Глядит на девицу-красу
И вдруг хватает за косу,
Злодей девицу губит,
Ей праву руку рубит». —

«Ну, это, — говорит жених, —
Прямая небылица!
Но не тужи, твой сон не лих,
Поверь, душа-девица».

Она глядит ему в лицо.
«А это с чьей руки кольцо?» —
Вдруг молвила невеста,
И все привстали с места.

Кольцо катится и звенит,
Жених дрожит, бледнея;
Смутились гости. Суд гласит:
«Держи, вязать злодея!»
Злодей окован, обличен
И скоро смертию казнен.
Прославилась Наташа!
И вся тут песня наша.

* * *

Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись!
В день уныния смирись:
День веселья, верь, настанет.

Сердце в будущем живет;
Настоящее уныло:
Всё мгновенно, всё пройдет;
Что пройдет, то будет мило.

ИЗ ПИСЬМА К КН. П. А. ВЯЗЕМСКОМУ *

Сатирик и поэт любовный,
Наш Аристип и Асмодей,
Ты не племянник Анны Львовны,
Покойной тетюшки моей.

Писатель нежный, тонкий, острый,
Мой дядюшка — не дядя твой,
Но, милый, — музы наши сестры,
Итак, ты всё же братец мой.

ВАКХИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ

Что смолкнул веселия глас?
Раздайтесь, вакхальны припевы!
Да здравствуют нежные девы
И юные жены, любившие нас!
Полнее стакан наливайте!
На звонкое дно
В густое вино
Заветные кольца бросайте!
Подыдем стаканы, содвинем их разом!
Да здравствуют музы, да здравствует разум!

* Сентябрь 1825 г. После слов: «Похлопочи обо мне, душа моя, как о брате».

Ты, солнце святое, гори!
Как эта лампада бледнеет
Пред ясным восходом зари;
Так ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума.
Да здравствует солнце, да скроется тьма!

Н. Н.

Примите «Невский Альманах».
Он мил и в прозе, и в стихах:
Вы тут найдете Полевого,
Великопольского, Хвостова;
Княжевич, дальний ваш родня,
Украсил также книжку эту;
Но не найдете вы меня:
Мои стихи скользнули в Лету.
Что слава мира?.. дым и прах.
Ах, сердце ваше мне дороже!..
Но, кажется, мне трудно тоже
Попасть и в этот альманах.

САФО

Счастливый юноша, ты всем меня пленил:
Душою гордою и пылкой, и незлобной,
И первой младости красой женоподобной.

* * *

Цветы последние милей
Роскошных первоцветов полей.
Они унылые мечтанья
Живее пробуждают в нас.
Так иногда разлуки час
Живее сладкого свиданья.

* * *

Брови царь нахмурия,
Говорил: «Вчера
Повалила буря
Памятник Петра».
Тот перепугался.
«Я не знал! — Ужель?»
Царь расхохотался.
«Первый, брат, апрель!»

Говорил он с горем
Фрейлинам дворца:
«Вешают за морем
За два ---!..
То есть разумею, —
Вдруг примолвил он, —
Вешают за шею,
Но жесток закон».

19 ОКТЯБРЯ

Роняет лес багряный свой убор,
Сребрит мороз увянувшее поле,
Проглянет день, как будто поневоле,
И скроется за край окружающих гор.
Пылай, камин, в моей пустынной келье,
А ты, вино, осенней стужи друг,
Пролей мне в грудь отрадное похмелье,
Минутное забвенье горьких мук. *

* Далее следовало:

Товарищи! сегодня праздник наш,
Заветный срок! Сегодня там, далеке,
На пир любви, на сладостное вече
Стеклися вы при звоне мирных чаш —
Вы собрались, мгновенно молодея,
Усталый дух в минувшем обновить,
Поговорить на языке лица
И с жизнью вновь свободно пошалить.

Печален я: со мною друга нет,
С кем долгую занил бы я разлуку,
Кому бы мог пожать от сердца руку
И пожелать веселых много лет.
Я пью один; вотще воображенье
Вокруг меня товарищей зовет;
Знакомое не слышно приближенье,
И милого душа моя не ждет.

Я пью один, и на берегах Невы
Меня друзья сегодня именуют...
Но многие ль и там из вас пируют?
Еще кого не досчитались вы?
Кто изменил пленительной привычке?
Кого от вас увлек холодный свет?
Чей глас умолк на братской переключке?
Кто не пришел? Кого меж вами нет?

На пир любви душой стремлюся я...
Вот вижу вас, вот милых обнимаю,
Я праздника порядок учреждаю...
Я вдохновен, о, слушайте, друзья:
Чтоб тридцать мест нас ожидали снова!
Садитесь, как вы садились там,
Когда места, в тени святого крова,
Отличие приписывало нам.

Спартанскою душой пленяя нас,
Воспитанный суровою Минервой,
Пускай опять Вальховский сядет первый,
Последним я, иль Брогльо, иль Данзас;
Но многие не явятся меж ними...
Пускай, друзья, пустеет место их:
Они придут; конечно, над водами,
Иль на холме, под сенью лип густых,

Они твердят томительный урок,
Или роман украдкой пожирают,
Или стихи влюбленные слагают, —
И позабыт полуденный звонок.
Они придут! — за праздные приборы
Усядутся; напоят свой стакан;
В нестройный хор сольются разговоры,
И загремит веселый наш пэан.

Он не пришел, кудрявый наш певец,
С огнем в очах, с гитарой сладкогласной:
Под миртами Италии прекрасной
Он тихо спит, и дружеский резец
Не начертал над русскою могилой
Слов несколько на языке родном,
Чтоб некогда нашел привет унылый
Сын севера, бродя в краю чужом.

Сидишь ли ты, в кругу своих друзей,
Чужих небес любовник беспокойный?
Иль снова ты проходишь тропик знойный
И вечный лед полуночных морей?
Счастливым путь!.. С лицейского порога
Ты на корабль перешагнул шутя,
И с той поры в морях твоя дорога,
О волн и бурь любимое дитя!

Ты сохранил в блуждающей судьбе
Прекрасных лет первоначальны нравы:
Лицейский шум, лицейские забавы
Средь бурных волн мечталися тебе;
Ты постирал из-за моря нам руку,
Ты нас одних в молодой душе носил
И повторял: на долгую разлуку
Нас тайный рок, быть может, осудил!

Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он, как душа, неразделим и вечен —
Неколебим, свободен и беспечен
Срастался он под сенью дружных муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина
И счастье куда б ни повело,
Всё те же мы: нам целый мир чужбина.
Отечество нам Царское Село.

Из края в край преследуем грозой,
Запутанный в сетях судьбы суровой,
Я с трепетом на лоно дружбы новой,
Устав, приник ласкающей главой...
С мольбой моей печальной и мятежной,
С доверчивой надеждой первых лет,

Друзьям иным душой предался нежной;
Но горек был небратский их привет.

И ныне здесь, в забытой сей глуши,
В обители пустынных вьюг и хлада,
Мне сладкая готовилась отрада:
Троих из вас, друзей моей души,
Здесь обнял я. Поэта дом опальный,
О Пущин мой, ты первый посетил;
Ты усладил изгнанья день печальный,
Ты в день его лица превратил. *

Ты, Горчаков, счастливец с первых дней,
Хвала тебе — фортуны блеск холодный
Не изменил души твоей свободной:
Всё тот же ты для чести и друзей.
Нам разный путь судьбой назначен строгой;
Ступая в жизнь, мы быстро разошлись,
Но невзначай проселочной дорогой
Мы встретились и братски обнялись.

Когда постиг меня судьбины гнев, —
Для всех чужой, как сирота бездомный,
Под бурею главой поник я томной
И ждал тебя, вещун пермесских дев,
И ты пришел, сын лени вдохновенный,
О Дельви́г мой: твой голос пробудил

* Далее в рукописи идет строфа, посвященная Малиновскому:

Что ж я тебя не встретил тут же с ним,
Ты, наш казак и пылкий, и незлобный,
Зачем и ты моей сени надгробной
Не озарил присутствием своим?
Мы вспомнили б, как Ванху приносили
Безмолвную мы жертву в первый раз,
Как мы впервой все трое полюбили,
Наперсники, товарищи проказ!..

Эта строфа прежде начиналась со стиха: «Мы вспомнили б, как Ванху приносили» и кончалась стихами, посвященными Пущину:

И всё прошло — проказы, заблужденья...
Ты, освятив тобой избранный сан,
Ему в очах общественного мнения
Завоевал почтение граждан.

Сердечный жар, так долго усыпленный,
И бодро я судьбу благословил.

С младенчества дух песен в нас горел,
И дивное волнение мы познали;
С младенчества две музы к нам летали,
И сладок был их лаской наш удел:
Но я любил уже рукоплесканья,
Ты, гордый, пел для муз и для души;
Свой дар как жизнь я тратил без вниманья,
Ты гений свой воспитывал в тиши.

Служенье муз не терпит суеты;
Прекрасное должно быть величаво:
Но юность нам советует лукаво,
И шумные нас радуют мечты...
Опомнимся, но поздно! и уныло
Глядим назад, следов не видя там.
Скажи, Вильгельм, не то ль и с нами было,
Мой брат родной по музе, по судьбам?

Пора, пора! душевных наших мук
Не стоит мир; оставим заблужденья!
Сокроем жизнь под сень уединенья!
Я жду тебя, мой запоздалый друг, —
Приди; огнем волшебного рассказа
Сердечные преданья оживи;
Поговорим о бурных днях Кавказа,
О Шиллере, о славе, о любви.

Пора и мне... пируйте, о друзья!
Предчувствую отрадное свиданье;
Запомните ж поэта предсказанье:
Промчится год, и с вами снова я,
Исполнится завет моих мечтаний;
Промчится год, и я явлюся к вам!
О, сколько слез и сколько восклицаний,
И сколько чаш, подъятых к небесам!

И первую полней, друзья, полней!
И всю до дна в честь нашего союза!

Благослови, ликующая Муза,
Благослови: да здравствует лицей! *
Наставникам, хранившим юность нашу,
Всем честию, и мертвым и живым,
К устам подъяв признательную чашу,
Не помня зла, за благо воздадим.

Полней, полней! и сердцем возгоря,
Опять до дна, до капли выпивайте!
Но за кого? о други, угадайте...
Ура, наш царь! так! выпьем за царя.
Он человек! им властвует мгновенье,
Он раб молвы, сомнений и страстей;
Простим ему неправоe гоненье:
Он взял Париж, он основал лицей. **

Пируйте же, пока еще мы тут!
Увы, наш круг час от часу рдеет;
Кто в гробе спит, кто дальний сиротеет.
Судьба глядит, мы вянем; дни бегут;
Невидимо склоняясь и хладея,
Мы близимся к началу своему...
Кому ж из нас под старость день лица
Торжествовать придется одному?

Несчастный друг! среди новых поколений
Докучный гость, и лишний, и чужой,

-
- * Далее в рукописи первоначально было:

Златые дни, уроки и забавы,
И черный стол, и бунты вечеров,
И наш словарь, и плески мирной славы,
И критики лицейских мудрецов!

- ** Далее следовала строфа:

Куницыну дать сердца и вина!
Он создал нас, он воспитал наш пламень,
Поставлен им краеугольный камень,
Им чистая лампада возжена...
Наставникам, хранившим юность нашу

и т. д. (как выше, в 16-й строфе).

Он вспомнит нас и дни соединений,
Закрыв глаза дрожащею рукой...

Пусть же он с отрадой хоть печальной
Тогда сей день за чашей проведет,
Как ныне я, затворник ваш опальный,
Его провел без горя и забот.

И. А. ВЯЗЕМСКОМУ *

В глуши, измучась жизнью постной,
Изнемогая животом,
Я не парю — сижу орлом
И болен праздностью поносной.

Бумаги берегу запас;
Натуги вдохновенья чуждый,
Хожу я редко на Парнас,
И только за большою нуждой.

Но твой затейливый навоз
Приятно мне щекотит нос:
Хвостова он напоминает,
Отца зубастых голубей,
И дух мой снова позовет
Ко испражнению прежних дней.

ДВИЖЕНИЕ

Движенья нет, сказал мудрец брадатый.
Другой смолчал и стал пред ним ходить.
Сильнее бы не мог он возразить;
Хвалили все ответ замысловатый.
Но, господа, забавный случай сей

* Начало письма около 7 ноября 1825 г. из Михайловского.

Другой пример на память мне приводит:
Ведь каждый день пред нами солнце ходит,
Однако ж прав упрямый Галилей.

СОЛОВЕЙ И КУКУШКА

В лесах, во мраке ночи праздной,
Весны певец разнообразный
Урчит и свищет, и гремит;
Но бестолковая кукушка,
Самолюбивая болтушка,
Одно куку свое твердит,
И эхо вслед за нею то же.
Накуковали нам тоску!
Хоть убежать. Избавь нас, боже,
От элегических куку!

СОВЕТ

Поверь: когда слепней и комаров
Вокруг тебя летает рой журнальный,
Не рассуждай, не трать учтивых слов,
Не возражай на писк и шум нахальный:
Ни логикой, ни вкусом, милый друг,
Никак нельзя смирить их род упрямый.
Сердиться грех — но замахнись и вдруг
Прихлопни их проворной эпиграмой.

ПРОЗАИК И ПОЭТ

О чем, прозаик, ты хлопочешь?
Давай мне мысль, какую хочешь:
Ее с конца я заострю,
Летучей рифмой оперю,
Взложу на тетиву тугую,
Послушный лук согну в дугу,
А там пошлю наудалую,
И горе нашему врагу!

* * *

В крови горит огонь желанья,
Душа тобой уязвлена,
Лобзай меня: твои лобзанья
Мне слаще мирра и вина.
Склонись ко мне главою нежной,
И да почию безмятежный,
Пока дохнет веселый день,
И двинется ночная тень.

* * *

-- Вертоград моей сестры,
Вертоград уединенный;
Чистый ключ у ней с горы
Не бежит запечатленный.
— У меня плоды блестят
Наливные, золотые;
У меня бегут, шумят
Воды чистые, живые.
Нард, алой и киннамон
Благовонием богаты:
Лишь повеет аквилон,
И закаплют ароматы.

БУРЯ

Ты видел деву на скале
В одежде белой над волнами,
Когда, бушуя в бурной мгле,
Играло море с берегами,
Когда луч молний озарял
Ее всечасно блеском алым,
И ветер бился и летал
С ее легучим покрывалом?

Прекрасно море в бурной мгле
И небо в блесках без лазури;
Но верь мне: дева на скале
Прекрасней волн, небес и бури.

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя,
То по кровле обветшалой
Вдруг соломой зашумит,
То, как путник запоздалый,
К нам в окошко застучит.

Наша ветхая лачужка
И печальна, и темна.
Что же ты, моя старушка,
Приумолкла у окна?
Или бури завываньем
Ты, мой друг, утомлена,
Или дремлешь под жужжаньем
Своего веретена?

Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.
Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила;
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла.

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя.

Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.

* * *

Всё в жертву памяти твоей:
И голос лиры вдохновенной,
И слезы девы воспаленной,
И трепет ревности моей,
И славы блеск, и мрак изгнанья,
И светлых мыслей красота,
И мщенье, бурная мечта
Ожесточенного страданья.

К БАРАТЫНСКОМУ

Стих каждый в повести твоей
Звучит и блещет, как червонец.
Твоя чухоночка, ей-ей,
Гречанок Байрона милей,
А твой зоил прямой чухонец.

СЦЕНА ИЗ «ФАУСТА»

Берег моря. Фауст и Мефистофель.

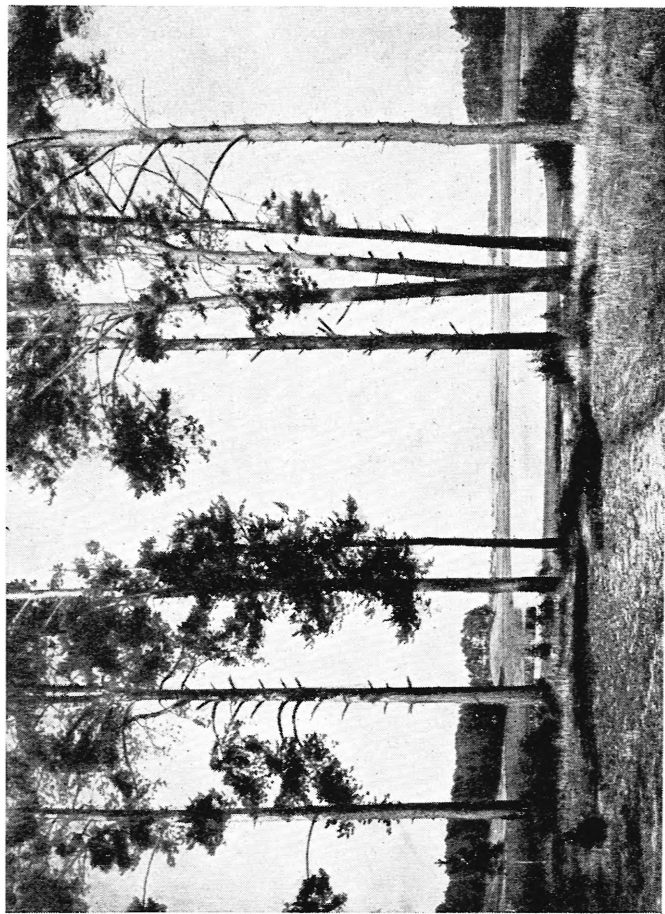
Фауст

Мне скучно, бес.

Мефистофель

Что делать, Фауст?

Таков вам положен предел,
Его ж никто не преступает.
Вся тварь разумная скучает:



Михайловское. Озеро Малое
Фотографии 1937 г.

Иной от лени, тот от дел;
Кто верит, кто утратил веру;
Тот насладиться не успел,
Тот насладился через меру,
И всяк зеваает да живет —
И всех вас гроб, зевая, ждет.
Зевай и ты.

Ф а у с т

Сухая шутка!
Найди мне способ как-нибудь
Рассеяться.

М е ф и с т о ф е л ь

Доволен будь
Ты доказательством рассудка.
В своем альбоме запиши:
Fastidium est quies — скука
Отдохновение души.
Я психолог... о вот наука!..
Скажи, когда ты не скучал?
Подумай, поищи. Тогда ли,
Как над Виргилием дремал,
А розги ум твой возбуждали?
Тогда ль, как розами венчал
Ты благосклонных дев веселья,
И в буйстве шумном посвящал
Им пыл вечернего похмелья?
Тогда ль, как погрузился ты
В великодушные мечты,
В пучину темную науки?
Но, помнится, тогда со скуки,
Как арлекина, из огня
Ты вызвал наконец меня.
Я мелким бесом извивался,
Развеселить тебя старался,
Возил и к ведьмам, и к духам,
И что же? всё по пустякам.
Желал ты славы — и добился,
Хотел влюбиться — и влюбился.
Ты с жизни взял возможную дань,
А был ли счастлив?

Фауст

Перестань,
Не растравляй мне язвы тайной.
В глубоком знанье жизни нет, —
Я проклял знаний ложный свет,
А слава... луч ее случайный
Неуловим. Мирская честь
Бесмысленна, как сон... Но есть
Прямое благо: сочетанье
Двух душ...

Мефистофель

И первое свиданье,
Не правда ль? Но нельзя ль узнать,
Кого изволишь поминать,
Не Гретхен ли?

Фауст

О сон чудесный!
О пламя чистое любви!
Там, там — где тень, где шум древесный,
Где сладко-звонкие струи —
Там, на груди ее прелестной
Покою томную главу,
Я счастлив был...

Мефистофель

Творец небесный!
Ты бредишь, Фауст, наяву!
Услужливым воспоминаньем
Себя обманываешь ты.
Не я ль тебе своим стараньем
Доставил чудо красоты
И в час полуночи глубокой
С тобою свел ее? Тогда
Плодами своего труда
Я забавлялся одинокий,
Как вы вдвоем — всё помню я.
Когда красавица твоя
Была в восторге, в упоенье,
Ты беспокойною душой
Уж погружался в размышленье

(А доказали мы с тобой,
Что размышленье — скуки семя).
И знаешь ли, философ мой,
Что думал ты в такое время,
Когда не думает никто?
Сказать ли?

Фауст

Говори. Ну, что?

Мефистофель

Ты думал: агнец мой послушный,
Как жадно я тебя желал!
Как хитро в деве простодушной
Я грезы сердца возмущал!
Любви невольной, бескорыстной
Невинно предалась она...
Что ж грудь моя теперь полна
Тоской и скукой ненавистной?..
На жертву прихоти моей
Гляжу, упившись наслаждением,
С неодолимым отвращеньем:
Так безрасчетный дуралей,
Вотще решаешь на злое дело,
Зарезав нищего в лесу,
Бранит ободранное тело;
Так на продажную красу,
Насытись ею торопливо,
Разврат косится боязливо...
Потом из этого всего
Одно ты вывел заключенье...

Фауст

Сокройся, адское творенье!
Беги от взора моего!

Мефистофель

Изволь. Задай лишь мне задачу:
Без дела, знаешь, от тебя
Не смею отлучаться я —
Я даром времени не трачу.

Фауст

Что там белеет? говори.

Мефистофель

Корабль испанский трехмачтовый,
Пристать в Голландию готовый;
На нем мерзавцев сотни три,
Две обезьяны, бочки злата,
Да груз богатый шоколата,
Да модная болезнь: она
Недавно вам подарена.

Фауст

Всё утопить.

Мефистофель

Сейчас.

(Исчезает.)

НАЧАЛО I ПЕСНИ «ДЕВСТВЕННОЙ»

Я не рожден святыню славословить,
Мой слабый глас не взлетит до небес,
Но должен я вас ныне приготовить
К услышанью Иоанниных чудес.
Она спасла французские лилеи.
В боях ее девической рукой
Поражены заморские злодеи.
Могучею блистая красотой,
Она была под юбкою герой.
Я признаюсь — вечернею порой
Милее мне смиренная девица —
Послушная, как агнец полевой,
Иоанна же была душою львица,
Среди трудов и бранных непогод
Являлася всех витязей славнее
И что всего чудеснее, труднее,
Цвет девственный хранила круглый год.

О ты, певец сей чудотворной девы,
Седой певец, чьи хриплые напевы,
Нестройный ум и бестолковый вкус
В былые дни бесили нежных муз,
Хотел бы ты, о стихотворец хилый,
Почтить меня скрипицею своею,
Да не хочу. Отдай ее, мой милый,
Кому-нибудь из модных рифмачей.

Н. С. МОРДВИНОВУ

Под хладом старости угрюмо угасал
Единый из седых орлов Екатерины.
В крылах отяжелев, он небо забывал
И Пинда острые вершины.

В то время ты вставал; твой луч его согрел:
Он поднял к небесам и крылья, и зеницы
И с шумной радостью взыграл, и полетел
Во сретенье твоей денницы.

Мордвинов! не вотще Петров тебя любил:
Тобой гордится он и на берегах Коцита.
Ты лиру оправдал: ты ввек не изменил
Надеждам вещего пиита!..

Как славно ты сдержал пророчество его!
Сияя доблестью и славой, и наукой,
В советах, недвижим у места своего,
Стоишь ты, новый Долгорукий!

Так, в пенный поток с вершины гор скатясь,
Стоит седой утес; вотще берега трепещут,
Вотще грохочет гром, и волны, вокруг мутясь,
И увиваются, и плещут.

Один, на рамена поднявши мощный труд,
Ты зорко бодрствуешь над царскою казною;
Вдовицы бедный лепт, и дань сибирских руд
Равно священны пред тобою.

С ПОРТУГАЛЬСКОГО

Там звезда зари взошла,
Пышно роза процвела:
Это время нас, бывало,
Друг ко другу призывало.

На постеле пуховой
Дева сонною рукой
Протирала томны очи,
Удаляя грезы ночи,

И являлася она
У дверей, иль у окна,
Ранней звездочки светлее,
Розы утренней свежее.

Лишь ее завиджу я,
Мнилось, легче вокруг меня
Воздух утренний струился;
Я вольнее становился.

Меж овец деревни всей,
Я красавицы моей
Знал любимую овечку;
Я водил ее на речку,

На тенистые берега,
На зеленые луга;
Я поил ее, лелеял,
Перед ней цветочки сеял.

Дева издали ко мне
Приближалась в тишине.
И я пел, ее встречая,
Пел, гитарою бряцая:

«Девы, радости моей,
Нет! — на свете нет милей!
Кто посмеет под луною
Спорить в счастья со мною?»

Не завидую царям,
Не завидую богам,
Как увижу очи томны,
Тонкий стан и косы темны».

Так я пел, бывало, ей.
И красавицы моей
Сердце песнью любовалось...
Но блаженство миновалось!

Где ж красавица моя?
Одинокий плачу я;
Заменили песни нежны
Стон и слезы безнадежны.

(Gonzago.)

А. Н. ВУЛЬФ

Увы! Напрасно деве гордой
Я предлагал свою любовь:
Ни наша жизнь, ни наша кровь
Ее души не тронет твердой!
Одним страданьем буду сыт,
И пусть мне сердце скорбь расколет.

- - - - -
- - - - -

ИЗ ПИСЬМА К ВЕЛИКОПОЛЬСКОМУ

С тобой мне вновь считаться довелось,
Певец любви, то резвый, то унылый;
Играешь ты на лире очень мило,
Играешь ты довольно плохо в штосс:
Пятьсот рублей, проигранных тобою,
Наличные свидетели тому.
Судьба моя сходна с твоей судьбою;
Сейчас, мой друг, увидишь почему.*

В АЛЬБОМ Е. Н. ВУЛЬФ

Вот, Зина, вам совет: играйте!
Из роз веселых заплетайте
Себе торжественный венец —
И впредь у нас не разрывайте
Ни мадригалов, ни сердец.

* * *

Под небом голубым страны своей родной
Она томилась, увядала...
Увяла наконец, и верно надо мной
Младая тень уже летала;

* Далее: «Сделайте одолжение, пятьсот рублей, которые вы мне должны, возвратите не мне, но Гавриилу Петровичу Назимову, чем очень обяжете преданного вам душевно Александра Пушкина. 3 июня 1826. Преображенское».

Но недоступная черта меж нами есть.
Напрасно чувство возбуждал я:
Из равнодушных уст я слышал смерти весть,
И равнодушно ей внимал я.
Так вот кого любил я пламенной душой
С таким тяжелым напряженьем,
С такую нежною, томительной тоской,
С таким безумством и мученьем!
Где муки, где любовь? Увы, в душе моей
Для бедной, легковерной тени,
Для сладкой памяти невозвратимых дней
Не нахожу ни слез, ни пени.

* * *

Едва уста красноречивы
Тебя коснулись и — вмиг
Его ума огонь игривый
В тебя таинственно проник.

Кристалл, поэтом обновленный,
Украшь мой мирный уголок,
Залог поэзии священной
И дружбы сладостный залог.

В тебе таится жар целебный

ИЗ АРИОСТОВА «ORLANDO FURIOSO»

сanto XXIII ott. 100 *

Пред рыцарем блестит водами
Ручей прозрачнее стекла,
Природа милыми цветами
Тенистый берег убрала
И обсадила древесами.

* Из Ариостова «Неистового Роланда». Песнь XXIII, октава 100.

Луга палит полдневный зной,
 Пастух убогий спит у стада,
 Устал под латами герой —
 Его манит ручья прохлада.
 Здесь мыслит он найти покой.
 И здесь-то, здесь нашел несчастный
 Приют жестокий и ужасный.

Гуляя, он на деревьях
 Повсюду надписи встречает.
 Он с изумленьем в сих чертах
 Знакомый почерк замечает;
 Невольный страх его влечет,
 Он руку милой узнает...
 И в самом деле в жар полдневный
 Медор с китайскою царевной
 Из хаты пастыря сюда
 Сам-друг являлся иногда.

Орланд их имена читает,
 Соединенны вензелём;
 Их буквы каждая гвоздем
 Герою сердце пробивает.
 Стараясь разум усыпить,
 Он сам с собою лицемерит,
 Не верить хочет он, хоть верит,
 Он силится вообразить,
 Что вензеля в сей роще дикой
 Начертаны все — может быть —
 Другой, не этой Анжеликой.

Но вскоре, витязь, молвил ты:
 «Однако ж эти мне черты
 Знакомы очень... разумею,
 Медор сей выдуман лишь ею,

Под этим прозвищем меня
Царевна славила, быть может».
Так басней правду заменя,
Он мыслит, что судьбе поможет.

105

Но чем он более хитрит,
Чтоб утушить свое мученье,
Тем пуще злое подозренье
Возобновляется, горит;
Так в сетке птичка, друг свободы,
Чем больше бьется, тем сильней,
Тем крепче путается в ней.
Орланд идет туда, где своды
Гора склонила на ручей.

106

Кривой, бродящей повиликой
Завешен был тенистый вход.
Медор с прелестной Анжеликой
Любили здесь у свежих вод
В день жаркий, в тихий час досуга
Дышать в объятиях друг друга,
И здесь их имена кругом
Древа и камни сохраняли;
Их мелом, углем иль ножом
Везде счастливы написали.

107

Туда пешком печальный граф
Идет и над пещерой темной
Зрит надпись. В похвалу забав
Медор ее рукою томной
В те дни стихами начертал;
Стихи, чувств нежных вдохновенье,
Он по-арабски написал,
И вот их точное значенье:

«Цветы, луга, ручей живой,
 Счастливыи грот, прохладны тени,
 Приют любви, забав и лени,
 Где с Анжеликой молодой,
 С прелестной дочерью Галофрона,
 Любимой многими — порой
 Я знал утехи Купидона.
 Чем, бедный, вас я награжу?
 Столь часто вами охраненный,
 Одним лишь только услужу —
 Хвалою и просьбою смиренной.

Господ любовников молю,
 Дам, рыцарей и всевозможных
 Пришельцев, здешних иль дорожных,
 Которых в сторону сию
 Фортуна заведет случайно, —
 На воды, луг, на тень и лес
 Зовите благодать небес,
 Чтоб нимфы их любили тайно,
 Чтоб пастухи к ним никогда
 Не гнали жадные стада».

Граф точно так, как по-латыне,
 Знал по-арабски. Он не раз
 Спасался тем от злых проказ,
 Но от беды не спасся ныне.

Два, три раза и пять, и шесть
 Он хочет надпись перечесть;
 Несчастныи силится напрасно
 Сказать, что нет того, что есть;
 Он правду видит, видит ясно,
 И нестерпимая тоска,

Как бы холодная рука,
Сжимает сердце в нем ужасно,
И наконец на свой позор
Вперил он равнодушный взор.

112

Готов он в горести безгласной
Лишиться чувств, оставить свет.
Ах, верьте мне, что муки нет,
Подобной муке сей ужасной.
На грудь опершись бородой,
Склонив чело, убитый, бледный,
Найти не может рыцарь бедный
Ни вопля, ни слезы одной.

ИЗ ПИСЬМА КНЯЗЮ П. А. ВЯЗЕМСКОМУ *

Так море, древний душегубец,
Воспламеняет гений твой?
Ты славил лирой золотой
Нептуна грозного трезубец...

Не славь его. В наш гнусный век
Седой Нептун земли союзник.
На всех стихиях человек
Тиран, предатель или узник.

К ЯЗЫКОВУ

Языков, кто тебе вѣушил
Твое посланье удалое?
Как ты шалишь и как ты мил,
Какой избыток чувств и сил,
Какое буйство молодое!

* Начало письма от 14 августа 1826 г.

Нет, не кастальскою водой
Ты воспойл свою Камену;
Пегас иную Ипокрену
Копытом вышиб пред тобой.
Она не холодной льется влагой,
Но пенится хмельною брагой;
Она разымчива, пьяна,
Как сей напиток благородный,
Слиянье рому и вина,
Без примеси воды негодной,
В Тригорском жаждою свободной
Открытый в наши времена.

ПЕСНИ О СТЕНЬКЕ РАЗИНЕ

1

Как по Волге реке, по широкой
Выплывала востроносая лодка,
Как на лодке гребцы удалые,
Казаки, ребята молодые.
На корме сидит сам хозяин,
Сам хозяин, грозен Стенька Разин,
Перед ним красная девица,
Полоненная персидская царевна.
Не глядит Стенька Разин на царевну,
А глядит на матушку на Волгу.
Как промолвил грозен Стенька Разин:
«Ой ты гой еси, Волга, мать родная!
С глухих лет меня ты воспойла,
В долгу ночь баюкала, качала,
В волновую погоду выносила.
За меня ли молодца не дремала,
Казаков моих добром наделила.
Что ничем еще тебя мы не дарили».
Как вскочил тут грозен Стенька Разин,
Подхватил персидскую царевну,
В волны бросил красную девицу,
Волге-матушке ею поклонился.

Ходил Стенька Разин
 В Астрахань город
 Торговать товаром.
 Стал воевода
 Требовать подарков.
 Поднес Стенька Разин
 Камки хрущатые,
 Камки хрущатые —
 Парчи золотые.
 Стал воевода
 Требовать шубы.
 Шуба дорогая:
 Полы-то новы,
 Одна боброва,
 Другая соболья.
 Ему Стенька Разин
 Не отдает шубы.
 «Отдай, Стенька Разин,
 Отдай с плеча шубу!
 Отдашь, так спасибо;
 Не отдашь — повешу
 Что во чистом поле,
 На зеленом дубе
 Да в собачьей шубе».
 Стал Стенька Разин
 Думати думу:
 «Добро, воевода.
 Возьми себе шубу.
 Возьми себе шубу,
 Да не было б шуму».

Что не конский топ, не людская молвь,
 Не труба трубача с поля слышится,
 А погодушка свищет, гудит,
 Свищет, гудит, заливаётся.
 Зазывает меня, Стеньку Разина,
 Погулять по морю, по синему:
 «Молодец удалой, ты разбойник лихой,
 Ты разбойник лихой, ты разгульный буян,

Ты садись на ладьи свои скорые,
Распусти паруса полотняные,
Побеги по морю, по синему,
Пригоню тебе три кораблика:
На первом корабле красно золото,
На втором корабле чисто серебро,
На третьем корабле душа-девица».

ПРОРОК

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился;
Перстами легкими, как сон,
Моих зениц коснулся он:
Отверзлись вещи зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он,
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник
И вырвал грешный мой язык
И празднословный, и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп, в пустыне я лежал.
И бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».

Е. А. ТИМАШЕВОЙ

Я видел вас, я их читал,
Сии прелестные созданья,
Где ваши томные мечтанья
Боготворят свой идеал.
Я пил отраву в вашем взоре,
В душой исполненных чертах,
И в вашем милом разговоре,
И в ваших пламенных стихах.
Соперницы *запретной розы*
Блажен бессмертный идеал...
Стократ блажен, кто вам внушал
И много рифм, и много прозы!

ПИСЬМО К СОБОЛЕВСКОМУ

9 ноября (1826 г., Михайловское).

Мой милый Соболевский — я снова в моей избе. 8 дней был в дороге, сломал два колеса и приехал на перекладных. Дорогою бранил тебя немилосердно, но в доказательство дружбы (сего священного чувства) посылаю тебе мой *Itinéraire* от Москвы до Новгорода. Это будет для тебя инструкция. Во-первых, запасись вином, ибо порядочного нигде не найдешь. Потом (на голос: «Жил да был петух индейский»):

У Гальяни иль Кольони
Закажи себе в Твери
С пармазаном макарони,
Да яичницу свари.

На досуге отобедай
У Пожарского в Торжке,
Жареных котлет отведай (именно котлет)
И отправься налегке.

Как до Яжельбиц дотащит
Колымагу мужичок,
То-то друг мой растарачит
Сладострастный свой глазок!

Поднесут тебе форели!
Тотчас их варить вели,
Как увидишь: посинели,
Влей в уху стакан шабли.

Чтоб уха была по сердцу,
Можно будет в кипяток
Положить немного перцу,
Луку маленький кусок.

Ажельбицы — первая станция после Валдая. — В Валдае спроси, есть ли свежие сельди; если же нет,

У податливых крестьянок
(Чем и славится Валдай)
К чаю накупи баранок
И скорее поезжай.

На каждой станции советую из коляски выбрасывать пустую бутылку; таким образом ты будешь иметь от скуки какое-нибудь занятие. Прощай, пиши.

* * *

Как счастлив я, когда могу покинуть
Докучный шум столицы и двора
И убежать в пустынные дубравы,
На берега сих молчаливых вод.

О, скоро ли она со дна речного
Подымет, как рыбка золотая?

Как сладостно явление ее
Из тихих волн, при свете ночи лунной!
Опугана зелеными волосами,
Она сидит на берегу крутом.
У стройных ног, как пена белых, волны
Ласкаются, сливаясь и журча.
Ее глаза то меркнут, то блистают,
Как на небе мерцающие звезды.
Дыханья нет из уст ее — но сколь
Пронзительно сих влажных синих уст

Прохладное лобзанье без дыханья —
Томительно и сладко; в летний зной
Холодный мед не столько сладок жажде.
Когда она игривыми перстами
Кудрей моих касается — тогда
Мгновенный хлад, как ужас, пробегает
Мне голову, и сердце громко бьется,
Томительно любовью замирая.
И в этот миг я рад оставить жизнь —
Хочу стонать и пить ее лобзанье —
А речь ее... Какие звуки могут
Сравниться с ней — младенца первый лепет,
Журчанье вод, иль майский шум небес,
Иль звонкие Бояна Славья гусли.

ИЗ ПИСЬМА К Н. С. АЛЕКСЕЕВУ *

Прощай, отшельник бессарабский,
Лукавый друг души моей!
Порадуй же меня не сказочкой арабской,
Но русской правдою твоей.

И. И. ПУЩИНУ

Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.
Молю святое провиденье,
Да голос мой душе твоей
Дарует то же утешенье!
Да озарит он заточенье
Лучом лицейских ясных дней!

* Окончание письма от 1 декабря 1826 г. из Пскова.

СТАВСЫ

В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.

Но правдой он привлек сердца,
Но нравы укротил наукой,
И был от буйного стрельца
Пред ним отличен Долгорукий.

Самодержавною рукой
Он смело сеял просвещение,
Не презирал страны родной:
Он знал ее предназначенье.

То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.

Семейным сходством будь же горд:
Во всем будь пращурю подобен:
Как он, неутомим и тверд,
И памятью, как он, незлобен.

ОТВЕТ Ф. Т***

Нет, не черкешенка она,
Но в доли Грузии от века
Такая дева не сошла
С высот угрюмого Казбека.

Нет, не агат в глазах у ней,
Но все сокровища Востока
Не стоят сладостных лучей
Ее полуденного ока.

ЗИМНЯЯ ДОРОГА

Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна,
На печальные поляны
Льет печально свет она.

По дороге зимней, скучной
Тройка борзая бежит,
Колокольчик однозвучный
Утомительно гремит.

Что-то слышится родное
В долгих песнях ямщика:
То разгулье удалое,
То сердечная тоска...

Ни огня, ни черной хаты...
Глушь и снег... Навстречу мне
Только версты полосаты
Попадаютя одне.

Скучно, грустно... Завтра, Нина,
Завтра, к милой возвратясь,
Я забудусь у камина,
Загляжусь не наглядясь.

Звучно стрелка часовая
Мерный круг свой совершит,
И, докучных удаляя,
Полночь нас не разлучит.

Грустно, Нина: путь мой скучен,
Дремля смолкнул мой ямщик,
Колокольчик однозвучен,
Отуманен лунный лик.

* * *

В еврейской хижине лампада
В одном углу бледна горит,
Перед лампадою старик

Читает Библию. Седые
На книгу падают власы.
Над колыбелию пустой
Еврейка плачет молодая,
Сидит в другом углу, главой
Поникнув, молодой еврей,
Глубоко в думу погруженный;
В печальной хижине старушка
Готовит позднюю трапезу.
Старик, закрыв святую книгу,¹
Застежки медные сомкнул;
Старуха ставит бедный ужин
На стол и всю семью зовет.
Никто нейдет, забыв о пище.
Текут в безмолвии часы,
Уснуло всё под сенью ночи.
Еврейской хижины одной
Не посетил отрадный сон.
На колокольне городской
Бьет полночь. — Вдруг рукой тяжелой
Стучатся к ним. Семья вздрогнула,
Младой еврей встает и дверь
С недоуменьем отворяет —
И входит незнакомый странник.
В его руке дорожный посох

К ИМЕНИННИЦЕ

Хотя стишки на именины
Натальи, Софьи, Катерины
Уже не в моде, может быть;
Но я, ваш обожатель верный,
Я в знак послушности примерной
Готов и ими вам служить...
Но предаю себя проклятью,
Когда я знаю, почему
Вас окрестили *благодатью!*
Нет, нет, по мненью моему,
И ваша речь, и взор унылый,

И ножка (смею вам сказать) —
Всё это чрезвычайно мило,
Но пагуба, не благодать.

ЗОЛОТО И БУЛАТ

«Всё мое», — сказало злато;
«Всё мое», — сказал булат.
«Всё куплю», — сказало злато;
«Всё возьму», — сказал булат.

В СИБИРЬ

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.

Несчастью верная сестра,
Надежда в мрачном подземелье,
Разбудит бодрость и веселье;
Придет желанная пора:

Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас.

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут — и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.

СОЛОВЕЙ И РОЗА

В безмолвии садов, весной, во мгле ночей,
Поет над розою восточный соловей.
Но роза милая не чувствует, не внемлет
И под влюбленный гимн колеблется и дремлет.
Не так ли ты поешь для хладной красоты?
Опомнись, о поэт, к чему стремишься ты?
Она не слушает, не чувствует поэта,
Глядишь — она цветет; зываешь — нет ответа.

ЭПИГРАММА

(из антологии)

Лук звенит, стрела трепещет,
И клубясь издох Пифон;
И твой лик победой блещет,
Бельведерский Аполлон!
Кто ж вступился за Пифона,
Кто разбил твой истукан?
Ты, соперник Аполлона,
Бельведерский Митрофан.

* * *

Какая ночь! Мороз трескучий,
На небе ни единой тучи;
Как шитый полог, синий свод
Пестреет частыми звездами.
В домах всё темно. У ворот
Затворы с тяжкими замками.
Везде покоится народ;
Утих и шум, и крик торговый;
Лишь только лает страж дворовый
Да цепью звонкою гремит.

И вся Москва покойно спит,
Забыв волнение боязни.
А площадь в сумраке ночном
Стоит полна вчерашней казни.
Мучений свежий след кругом:
Где труп, разрубленный с размаха,
Где столп, где вилы; там котлы,
Остывшей полные смолы;
Здесь опрокинутая плаха;
Торчат железные зубцы,
С костями груды пепла тлеют,
На кольях, скорчась, мертвецы
Оцепенелые чернеют...
Недавно кровь со всех сторон
Струею тощей снег багрила,

И подымался томный стон,
Но смерть коснулась к ним, как сон,
Свою добычу захватила.

Кто там? Чей конь во весь опор
По грозной площади несется?
Чей свист, чей громкий разговор
Во мраке ночи раздается?
Кто сей? — Кромешник удалой.
Спешит, летит он на свиданье,
В его груди кипит желанье.
Он говорит: «Мой конь лихой,
Мой верный конь! лети стрелой!
Скорей, скорей!..» Но конь ретивый
Вдруг размахнул плетеной гривой
И стал. Во мгле между столпов
На перекладине дубовой
Качался труп. Ездок суровый
Под ним промчаться был готов,
Но борзый конь под плетью бьется,
Храпит и фыркает, и рвется
Назад. «Куда? мой конь лихой!
Чего боишься? Что с тобой?
Не мы ли здесь вчера скакали,
Не мы ли яростно топтали,
Усердной местию горя,
Лихих изменников царя?
Не их ли кровию омыты
Твои булатные копыты!
Теперь ужель их не узнал?
Мой борзый конь, мой конь удалый,
Несись, лети!..» И конь усталый
В столбы под трупом проскакал.

— — — — —

В АЛЬБОМ КН. П. П. ВЯЗЕМСКОМУ

Душа моя Павел,
Держись моих правил:
Люби то-то, то-то,

Не делай того-то.
Кажись, это ясно.
Прощай, мой прекрасный.

РУССКОМУ ГЕСНЕРУ

Куда ты холоден и сух!
Как слог твой чопорен и бледен!
Как в изобретеньях ты беден!
Как утомляешь ты мой слух!
Твоя пастушка, твой пастух
Должны ходить в овчинной шубе:
Ты их морозишь налегке!
Где ты нашел их: в шустер-клубе,
Или на Красном кабачке?

* * *

Есть роза дивная: она
Пред изумленною Киферой
Цветет румяна и пышна,
Благословенная Венерой.
Вотще Киферу и Пафос
Мертвит дыхание мороза —
Блестит между минутных роз
Неувядаемая роза...

ЕК. Н. УШАКОВОЙ

Когда, бывало, в старину,
Являлся дух иль привиденье,
То прогоняло сатану
Простое это изречение.
«Аминь, аминь, рассысья!» В наши дни
Гораздо менее бесов и привидений;
Бог ведает, куда девались они.
Но ты, мой злой иль добрый гений,

Когда я вижу пред собой
Твой профиль и глаза, и кудри золотые,
Когда я слышу голос твой
И речи резвые, живые —
Я очарован, я горю
И содрогаюсь пред тобою,
И сердцу, полному мечтою,
«Аминь, аминь, рассыпья!» говорю.

КНЯГИНЕ З. А. ВОЛКОНСКОЙ

Среди рассеянной Москвы,
При толках виста и бостона,
При бальном лепете молвы
Ты любишь игры Аполлона.
Царица муз и красоты,
Рукою нежной держишь ты
Волшебный скипетр вдохновений,
И над задумчивым челом,
Двойным увенчанным венком,
И вьется, и пылает гений.
Певца, плененного тобой,
Не отвергай смиренной дани,
Внемли с улыбкой голос мой,
Как мимоездом Каталани
Цыганке внемлет кочевой.

ЕК. Н. УШАКОВОЙ

В отдалении от вас
С вами буду неразлучен,
Томных уст и томных глаз
Буду памятью размучен;
Изнывая в тишине,
Не хочу я быть утешен, —
Вы ж вздохнете ль обо мне,
Если буду я повешен?

К ЯЗЫКОВУ

К тебе сбирался я давно
В немецкий град, тобой воспетый,
С тобой попить, как пьют поэты,
Тобой воспетое вино.
Уж зывал меня с собою
Тобой воспетый Киселев,
И я с веселою душою
Оставить был совсем готов
Неволю невских берегов.
И что ж? Гербовые заботы
Схватили за полы меня,
И на Неве, хоть нет охоты,
Прикованным остался я.
О юность, юность удалая!
Могу ль тебя не пожалеть?
В долгах, бывало, утопая,
Займодавцев убегаю,
Готов был всюду я лететь.
Теперь докучно посещаю
Своих ленивых должников,
Остепенившись, проклиная
Я тяжесть денег и годов.
Прости, певец: играй, пируй,
С Кипридой, Фебом торжествуй,
Не знай сиятельного чванства,
Не знай любезных должников
И не плати своих долгов
По праву русского дворянства.

* * *

В степи мирской, печальной и безбрежной,
Таинственно пробились три ключа:
Ключ юности, ключ быстрый и мятежный,
Кипит, бежит, сверкая и журча;
Кастальский ключ волною вдохновенья
В степи мирской изгнанников поит;
Последний ключ, холодный ключ забвенья,
Он слаще всех жар сердца утолит.

АРИОН

Нас было много на челне;
Иные парус натягали,
Другие дружно упирали
В глубь мощны веслы. В тишине
На руль склонясь, наш кормщик умный
В молчанье правил грузный чолн;
А я — беспечной веры полн,
Пловцам я пел... Вдруг лоно волн
Иамял с налету вихорь шумный...
Погиб и кормщик, и пловец!
Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозою,
Я гимны прежние пою
И ризу влажную мою
Сушу на солнце под скалою.

АНГЕЛ

В дверях эдема ангел нежный
Главой поникшею сиял,
А демон мрачный и мятежный
Над адской бездною летал.

Дух отрицанья, дух сомненья
На духа чистого взирал
И жар невольный умиленья
Впервые смутно познавал.

«Прости, — он рек, — тебя я видел,
И ты недаром мне сиял:
Не всё я в небе ненавидел,
Не всё я в мире презирал».

КИПРЕНСКОМУ

Любимец моды легкокрылой,
Хоть не британец, не француз,
Ты вновь создал, волшебник милый,

Меня, питомца чистых муз, —
И я смеюсь над могилой,
Ушед навек от смертных уз.

Себя, как в зеркале, я вижу,
Но это зеркало мне льстит.
Оно гласит, что не унижу
Пристрастья важных аонид.
Так Риму, Дрездену, Парижу
Известен впредь мой будет вид.

НЯНЕ

Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя!
Одна в глуши лесов сосновых
Давно, давно ты ждешь меня.
Ты под окном своей светлицы
Горюешь, будто на часах,
И медлят поминутно спицы
В твоих наморщенных руках.
Глядишь в забытые вороты
На черный отдаленный путь:
Тоска, предчувствия, заботы
Теснят твою всечасно грудь —
То чудится тебе

АКАФИСТ

ЕКАТЕРИНЕ НИКОЛАЕВНЕ КАРАМЗИНОЙ

Земли достигнув наконец,
От бурь спасенный провиденьем,
Святой владычице пловец
Свой дар несет с благоговеньем;
Так посвящаю с умиленьем
Простой, увядший мой венец

Тебе, высокое светило
В эфирной тишине небес,
Тебе, сияющей так мило
Для наших набожных очес.

ПОЭТ

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен;
Молчит его святая лира,
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.

Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепетается,
Как пробудившийся орел.
Тоскует он в забавах мира,
Людской чуждается молвы,
К ногам народного кумира
Не клонит гордой головы;
Бежит он, дикий и суровый,
И звуков, и смятенья полн,
На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы...

* * *

Близ мест, где царствует Венеция златая,
Один ночной гребец, гондолой управляя,
При свете Веспера по взморью плывет,
Ринальда, Годфреда, Эрминию поет.
Он любит песнь свою, поет он для забавы,
Без дальних умыслов; не ведает ни славы,

Ни страха, ни надежд, и тихой музы полн,
Умеет услаждать свой путь над бездной волн.
На море жизненном, где бури так жестоко
Преследуют во мгле мой парус одинокий,
Как он, без отзыва, утешно я пою
И тайные стихи обдумывать люблю.

19 ОКТЯБРЯ 1827

Бог помочь вам, друзья мои,
В заботах жизни, царской службы
И на пирах разгульной дружбы,
И в сладких таинствах любви!

Бог помочь вам, друзья мои,
И в бурях, и в житейском горе,
В краю чужом, в пустынном море
И в мрачных пропастях земли!

ТАЛИСМАН

Там, где море вечно плещет
На пустынные скалы,
Где луна теплее блещет
В сладкий час вечерней мглы,
Где, в гаремах наслаждаясь,
Дни проводит мусульман,
Там волшебница, ласкаясь,
Мне вручила талисман.

И, ласкаясь, говорила:
«Сохрани мой талисман:
В нем таинственная сила!
Он тебе любовью дан.
От недуга, от могилы,
В бурю, в грозный ураган,
Головы твоей, мой милый,
Не спасет мой талисман.

И богатствами Востока
Он тебя не одарит,
И поклонников пророка
Он тебе не покорит;
И тебя на лоно друга
От печальных чуждых стран
В край родной на север с юга
Не умчит мой талисман...

Но когда коварны очи
Очаруют вдруг тебя,
Иль уста во мраке ночи
Поцелуют не любя —
Милый друг! от преступленья,
От сердечных новых ран,
От измены, от забвенья
Сохранит мой талисман!»

РЕФУТАЦИЯ БЕРАНЖЕРА

T'en souviens tu, disait un capitaine
Au vétéran qui mendiait son pain. *

Ты помнишь ли, ах, ваше благородье,
Мусье француз, - - - капитан,
Как помнятся у нас в простонародьи
Над нехристом победы россиян?
Хоть это нам не составляет много,
Не из иных мы прочих, так сказать;
Но встарь мы вас наказывали строго,
Ты помнишь ли, скажи, - - - ?

Ты помнишь ли, как за горы Суворов,
Перешагнув, напал на вас врасплох?
Как наш старик трепал вас, живодеров,
И вас давил на ноготке, как блох?

* «Ты помнишь ли?» — говорил капитан
Ветерану, просящему милостыню.

Хоть это нам не составляет много,
Не из иных мы прочих, так сказать;
Но встарь мы вас наказывали строго,
Ты помнишь ли, скажи, - - - - ?

Ты помнишь ли, как всю пригнал Европу
На нас одних ваш Бонапарт-буйан?
Французов видели тогда мы многих - -,
Да и твою, - - - капитан!
Хоть это нам не составляет много,
Не из иных мы прочих, так сказать;
Но встарь мы вас наказывали строго,
Ты помнишь ли, скажи, - - - - ?

Ты помнишь ли, как царь ваш от угара
Вдруг одурел, как бубен, гол и лыс,
Как на огне московского пожара
Вы жарили московских наших крыс?
Хоть это нам не составляет много,
Не из иных мы прочих, так сказать;
Но встарь мы вас наказывали строго,
Ты помнишь ли, скажи, - - - - ?

Ты помнишь ли, фальшивый песнопевец,
Ты наш мороз среди родных снегов
И батарей задорный подогревец,
Солдатский штык и петлю казаков?
Хоть это нам не составляет много,
Не из иных мы прочих, так сказать;
Но встарь мы вас наказывали строго,
Ты помнишь ли, скажи, - - - - ?

Ты помнишь ли, как были мы в Париже,
Где наш казак иль полковой наш поп
Морочил вас, к винцу подсев поближе,
И ваших жен похваливал - - ?
Хоть это нам не составляет много,
Не из иных мы прочих, так сказать;
Но встарь мы вас наказывали строго,
Ты помнишь ли, скажи, - - - - ?

Не знаю где, но не у нас,
 Достопочтенный лорд Мидас,
 С душой посредственной и низкой,
 Чтоб не упасть дорогой склизкой,
 Ползком прополз в известный чин
 И стал известный господин.
 Еще два слова об Мидасе:
 Он не хранил в своем запасе
 Глубоких замыслов и дум;
 Имел он не блестящий ум,
 Душой не слишком был отважен;
 Зато был сух, учтив и важен.
 Льстецы героя моего,
 Не зная, как хвалить его,
 Провозгласить решились тонким, и пр.

ЧЕРЕП

Прими сей череп, Дельви́г: он
 Принадлежит тебе по праву.
 Тебе поведаю, барон,
 Его готическую славу.

Почтенный череп сей не раз
 Парам Вакха нагревался;
 Литовский меч в недобрый час
 По нем со звоном ударялся;
 Сквозь эту кость не проходил
 Луч животворный Аполлона;
 Ну, словом, череп сей хранил
 Тяжеловесный мозг барона,
 Барона Дельвига. Барон
 Конечно был охотник славный,
 Наездник, чаши друг исправный;
 Гроза вассалов и их жен.
 Мой друг, таков был век суровый,
 И предок твой крепкоголовый
 Смутился б рыцарской душой,

Когда б тебя перед собой
Увидел без одежды бранной,
С главою, миртами венчанной,
В очках и с лирой золотой.

Покойником в церковной книге
Уж был давно записан он
И с предками своими в Риге
Вкушал непробудимый сон.
Барон в обители печальной
Доволен, впрочем, был судьбой,
Пастора лестью погребальной,
Гербом гробницы феодальной
И эпитафией плохой.
Но в наши беспокойны годы
Покойникам покоя нет.
Косматый баловень природы,
И математик, и поэт,
Буян задумчивый и важный,
Хирург, юрист, физиолог,
Идеолог и филолог,
Короче вам — студент присяжный
С витою трубкою в зубах,
В плаще, с дубиной и в усах
Явился в Риге. Там спесиво
В трактирах стал он пенить пиво,
В дыму табачных облаков;
Бродить над берегами моря,
Мечтать о Лотхен, или с горя
Стихи писать, да бить жидов.
Студент под лестницей трактира
В каморке темной жил один;
Там, в виде зеркал и картин,
Короткий плащ, картуз, рапира
Висели на стене рядком.
Полуизмаранный альбом,
Творенья Фихте и Платона,
Да два восточных лексикона
Под паутиною в углу
Лежали грудой на полу,
Предмет занятий разнородных
Ученого да крыс голодных.

Мы знаем: роскоши пустой
Почтенный мыслитель не ищет;
Смеясь над глупой суетой,
В чулане он беспечно свищет.
Умеренность, вещал мудрец,
Сердце высоких отпечаток.
Студент однако ж наконец
Заметил важный недостаток
В своем быту: ему предмет
Необходимый был... скелет;
Предмет, философам любезный,
Предмет приятный и полезный
Для глаз и сердца, слова нет;
Но где достанет он скелет?
Вот он однажды в воскресенье
Сошелся с кистером градским
И, тотчас взяв в соображенье
Его характер и служенье,
Решился подружиться с ним.
За кружкой пива мой мечтатель
Открылся кистеру душой
И говорит: «Нельзя ль, приятель,
Тебе досужною порой
Свести меня в подвал могильный,
Костями праздными обильный,
И между тем один скелет
Помочь мне вынести на свет?
Клянусь тебе айдеским богом:
Он будет дружбы мне залогом
И до моих последних дней
Красой обители моей».
Смутился кистер изумленный.
«Что за желанье? что за страсть?
Итти в подвал уединенный,
Встревожить мертвых сонм почтенный
И одного из них украсть!
И кто же?.. Он, гробов хранитель!
Что скажут мертвые потом?»
Но пиво, страха усыпитель
И гневной совести смиритель,
Сомненья разрешило в нем.
Ну, так и быть! Дает он слово,

Что к ночи будет всё готово,
И другу назначает час.
Они расстались.

День угас.

Настала ночь. Плащом покрытый,
Стоит герой наш знаменитый
У галлерей гробовой,
И с ним преступный кистер мой,
Держа в руке фонарь разбитый,
Готов на подвиг роковой.
И вот визжит замок заржавый,
Визжит предательская дверь —
И сходят витязи теперь
Во мрак подвала величавый;
Сияньем тощим фонаря
Глухие своды озаря,
Идут — и эхо гробовое,
Смущенное в своем покое,
Протяжно вторит звук шагов.
Пред ними длинный ряд гробов;
Везде щиты, гербы, короны;
В тщеславном тлении кругом
Почиют непробудным сном
Высокородные бароны...

Я бы никак не осмелился оставить рифмы в эту поэтическую минуту, если бы твой прадед, коего гроб попался под руку студента, вздумал за себя вступить, ухватя его за ворот, или погрозив ему костяным кулаком, или как-нибудь иначе оказав свое неудовольствие; к несчастью, похищение совершилось благополучно. Студент по частям разобрал всего барона и набил карманы костями его. Возвратясь домой, он очень искусно связал их проволокою и таким образом составил себе скелет очень порядочный. Но вскоре молва о перенесении бароновых костей из погреба в трактирный чулан разнеслася по городу. Преступный кистер лишился места, а студент принужден был бежать из Риги, и как обстоятельства не позволяли ему брать с собою *будущего*, то, разобрав опять барона, раздарил он его своим друзьям. Большая часть высокородных костей досталась аптекарю. Мой приятель Вульф получил в подарок череп и держал

в нем табак. Он рассказал мне его историю и, зная, сколько я тебя люблю, уступил мне череп одного из тех, которым обязан я твоим существованием.

Прими ж сей череп, Дельвиг: он
Принадлежит тебе по праву.
Обделай ты его, барон,
В благопристойную оправу.
Изделе гроба преврати
В увеселительную чашу,
Вином кипящим освяти,
Да запивай уху да кашу.
Певцу Корсара подражай
И скандинавов рай воинский
В пирах домашних воскрешай,
Или, как Гамлет-Баратынский,
Над ним задумчиво мечтай:
О жизни мертвый проповедник,
Вином ли полный, иль пустой,
Для мудреца, как собеседник,
Он стоит головы живой.

* * *

Храни меня, мой талисман,
Храни меня во дни гоненья,
Во дни раскаянья, волненья:
Ты в день печали был мне дан.

Когда подымет океан
Вокруг меня валы ревучи,
Когда грозою грянут тучи,
Храни меня, мой талисман.

В уединеньи чуждых стран,
На лоне скучного покоя,
В тревоге пламенного боя
Храни меня, мой талисман.

Священный сладостный обман,
Души волшебное светило...
Оно сокрылось, изменило...
Храни меня, мой талисман.

Пуškai же ввек сердечных ран
Не растравит воспоминанье,
Прощай, надежда, спи, желанье,
Храни меня, мой талисман.

* * *

(из ALFIERI)

Сомненье, страх, порочную надежду
Уже в груди не в силах я хранить;
Неверная супруга я Филиппу
И сына я его любить дерзаю!..
Но как же зреть его и не любить?
Нрав пылкий, добрый, гордый, благородный,
Высокий ум, с наружностью прекрасной
Прекрасная душа... Зачем природа
И небеса таким тебя создали?
Что говорю? Ах! так ли я успею
Из глубины сердечной милый образ
Искоренить? — О, если пламень мой
Подозреть он станет! Перед ним
Всегда печальна я; но избегаю
Я встречи с ним. Он знает, что веселье
В Испании запрещено. Кто может
В душе моей читать? Ах, и самой
Не можно мне. И он, как и другие,
Обманется — и станет, как других,
Он убегать меня... Увы, мне, бедной!..
Другого нет мне в горе утешенья,
Окроме слез, и слезы — преступленье.
Иду к себе: там буду на свободе...
Что вижу? Карл! — Уйдем, мне изменить
И речь, и взор, — всё может: ах, уйдем.

* * *

Блажен в златом кругу вельмож
Пиит, внимаемый царями.
Владея смехом и слезами,
Приправя горькой правдой ложь,
Он вкус притупленный щекотит
И к славе спесь бояр охотит.
Он украшает их пиры
И внемлет умные хвалы.
Меж тем, за тяжкими ⟨?⟩ дверями,
Теснясь у черного ⟨?⟩ крыльца,
Народ, толкаемый слугами,
Поодаль слушает певца.

* * *

В рощах карийских, любезных ловцам, таится пещера;
Стройные сосны кругом склонились ветвями, и тенью
Вход ее заслонен на воле бродящим в извивах
Плющем, любовником скал и расселин. С камня на
камень
Звонкой струится дугой, пещерное дно затопляет
Резвый ручей. Он, пробив глубокое русло, вьется
Вдаль по роще густой, веселя ее сладким журчаньем.

* * *

Kennst du das Land?
Wilh. Meist.*

По клюкву, по клюкву,
По ягоду, по клюкву...

Кто знает край, где небо блещет
Неизъяснимой синевою,
Где море теплою волной
Вокруг развалин тихо плещет;

* Ты знаешь край? — Вильгельм Мейстер.

Где вечный лавр и кипарис
На воле гордо разрослись;
Где пел Торквато величавый;
Где и теперь во мгле ночной
Адриатической волной
Повторены его октавы;
Где Рафаэль живописал;
Где в наши дни резец Кановы
Послушный мрамор оживлял,
И Байрон, мученик суровый,
Страдал, любил и проклинал?

.
.

Волшебный край, волшебный край,
Страна высоких вдохновений,
Людмила зрит твой древний рай,
Твои пророческие сени.

На берегу роскошных вод
Порою карнавальных оргий
Кругом ее кипит народ;
Ее приветствуют восторги.
Людмила северной красой,
Всё вместе — томной и живой,
Сынов Авзонии пленяет
И поневоле увлекает
Их пестры волны за собой.
На рай полуденной природы,
На блеск небес, на ясны воды,
На чудеса немых искусств
В стесненье вдохновенных чувств
Людмила светлый взор возводит,
Дивясь и радуясь душой,
И ничего перед собой
Себя прекрасней не находит.
Стоит ли с важностью очей
Пред флорентинскою Кипридой
Их две — и мрамор перед ней
Страдает, кажется, обидой.
Мечты возвышенной полна,
В молчанье смотрит ли она

На образ нежный Форнарины
Или Мадонны молодой,
Она задумчивой красой
Очаровательней картины...
Скажите мне, какой певец,
Горя восторгом умиленным,
Чья кисть, чей пламенный резец
Предаст потомкам изумленным
Ее небесные черты?
Где ты, ваятель безымянный
Богини вечной красоты?
И ты, харитию венчанный,
Ты, вдохновенный Рафаэль?
Забудь еврейку молодую,
Младенца-бога колыбель,
Постигни прелесть неземную,
Постигни радость в небесах,
Пиши Марию нам другую,
С другим младенцем на руках
. . . .

* * *

Я знаю край: там на брега
Уединенно море плещет;
Безоблачно там солнце блещет
На опаленные луга;
Дубрав не видно — степь нагая
Над морем стелется одна.

ДРУЗЬЯМ

Нет, я не льстец, когда царю
Хвалу свободную слагаю:
Я смело чувства выражаю,
Языком сердца говорю.

Его я просто полюбил:
Он бодро, честно правит нами;
Россию вдруг он оживил
Войной, надеждами, трудами.

О нет, хоть юность в нем кипит,
Но не жесток в нем дух державный:
Тому, кого карает явно,
Он втайне милости творит.

Текла в изгнанье жизнь моя;
Влачил я с милыми разлуку,
Но он мне царственную руку
Подал — и с вами снова я.

Во мне почтил он вдохновенье,
Освободил он мысль мою,
И я ль, в сердечном умиленье,
Его хвалой не воспую?

Я льстец! Нет, братья, льстец лукав:
Он горе на царя накличет.
Он из его державных прав
Одну лишь милость ограничит.

Он скажет: презирай народ,
Гнети природы голос нежный!

Он скажет: просвещенья плод —
Страстей и воли дух мятежный!

Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу,
А небом избранный певец
Молчит, потупя очи долу.

**ПОСЛАНИЕ К ВЕЛИКОПОЛЬСКОМУ,
СОЧИНИТЕЛЮ «САТИРЫ НА ИГРОКОВ»**

Так элегическую лиру
Ты променял, наш моралист,
На благочинную сатиру?
Хвалю поэта — дельно миру!
Ему полезен розги свист.
Мне жалок очень твой Арист:
С каким усердьем он молнлся
И как несчастливо играл!
Вот молодежь: погорячился,
Продулся весь и так пропал!
Дамон твой человек ужасный.
Забудь его опасный дом,
Где, впрочем, сознаюся в том,
Мой друг, ты вел себя прекрасно:
Ты никому там не мешал,
Ариста нежно утешал,
Давал полезные советы
И ни рубля не проиграл.
Люблю: вот каковы поэты!
А то, уча безумный свет,
Порой грешит и проповедник.
Послушай, Персиев наследник,
Рассказ мой:
 Некто, мой сосед,
В томленьях благородной жажды,
Хлебнув кастальских вод бокал,
На игроков, как ты, однажды
Сатиру злую написал
И другу с жаром прочитал.

Ему в ответ его приятель
Взял карты, молча стасовал,
Дал снять, и нравственный писатель
Всю ночь, увы! понтировал.
Тебе знаком ли сей проказник?
Но встреча с ним была б мне праздник.
Я с ним готов всю ночь не спать
И до полднего сиянья
Читать моральные посланья
И проигрыш его писать.

* * *

(из ВАЛЕНРОДА)

Сто лет минуло, как тевтон
В крови неверных окупался;
Страной полночной правил он.
Уже прусак в оковы вдался,
Или сокрылся, и в Литву
Понес изгнанную главу.

Между враждебными берегами
Струился Неман; на одном
Еще над древними стенами
Сияли башни, и кругом
Шумели рощи вековые,
Духов пристанища святые.
Символ германца, на другом
Крест веры, в небо возносящий
Свои объятия грозящи,
Казалось, свыше захватить
Хотел всю область Палемона
И племя чуждого закона
К своей подошве привлечь.

С медвежьей кожей на плечах,
В косматой рысьей шапке, с пуком
Каленых стрел и с верным луком,
Литовцы юные, в толпах,

Со стороны одной бродили
И зорко недруга следили.
С другой, покрытый шишаком,
В броне закованный, верхом,
На страже немец, за врагами
Недвижно следуя глазами,
Пищаль с молитвой заряжал:
Всяк переправу охранял.
Ток Немана гостеприимный,
Свидетель их вражды взаимной,
Стал прагом вечности для них;
Сношений дружных глас утих,
И всяк, переступивший воды,
Лишен был жизни иль свободы.
Лишь хмель литовских берегов,
Немецкой тополью плененный,
Через реку, меж тростников,
Переправлялся дерзновенный,
Брегов противных достигал
И друга нежно обнимал.
Лишь соловьи дубрав и гор
По старине вражды не знали
И в остров, общий с давних пор,
Друг к другу в гости прилетали.

**В. С. ФИЛИМОНОВУ, ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
ПОЭМЫ ЕГО «ДУРАЦКИЙ КОЛПАК»**

Вам музы, милые старушки,
Колпак связали в добрый час,
И, прицепив к нему гремушки,
Сам Феб надел его на вас.
Хотелось в том же мне уборе
Пред вами нынче щегольнуть
И в откровенном разговоре,
Как вы, на многое взглянуть;
Но старый мой колпак изношен,
Хоть и любил его поэт;
Он поневоле мной заброшен:
Не в моде нынче красный цвет.
Итак, в знак мирного привета,

Снимая шляпу, бью челом,
Узнав философа-поэта
Под осторожным колпаком.

TO DAWE, ESQR *

Зачем твой дивный карандаш
Рисует мой арапский профиль?
Хоть ты векам его предашь,
Его освищет Мефистофель.

Рисуй Олениной черты.
В жару сердечных вдохновений,
Лишь юности и красоты
Поклонником быть должен гений.

* * *

Увы! язык любви болтливой,
Язык неполный (?) и простой,
Своею прозой нерадивой
Тебе докучен, ангел мой.
Ты любишь мерные напевы,
Ты любишь рифмы гордый звон,
И сладок уху милой девы
Честолюбивый Аполлон.
Тебя страшит любви признанье,
Письмо любви ты разорвешь,
Но стихотворное посланье
С улыбкой нежною прочтешь.
Благословен же будь отныне,
Судьбою вверенный мне дар.
Доселе в жизненной пустыне,
Во мне питая сердца жар,
Мне навлекал одно гоненье, **

Иль клевету, иль заточенье,
И редко — хладную хвалу.

* Господину Дау.

** Следующий стих не написан.

ПРЕДЧУВСТВИЕ

Снова тучи надо мною
Собралися в тишине;
Рок завистливый бедою
Угрожает снова мне...
Сохраню ль к судьбе презренье?
Понесу ль навстречу ей
Непреклонность и терпенье
Гордой юности моей?

Бурной жизнью утомленный,
Равнодушно бури жду:
Может быть, еще спасенный,
Снова пристань я найду...
Но, предчувствуя разлуку,
Неизбежный, грозный час,
Сжать твою, мой ангел, руку
Я спешу в последний раз.

Ангел кроткий, безмятежный,
Тихо молви мне: прости;
Опечалься: взор свой нежный
Подыми иль опусти;
И твое воспоминанье
Заменил душе моей
Силу, гордость, упованье
И отвагу юных дней.

ВОСПОМИНАНИЕ

Когда для смертного умолкнет шумный день,
И на немые стогны града
Полупрозрачная наляжет ночи тень
И сон, дневных трудов награда,
В то время для меня влачатся в тишине
Часы томительного бденья:
В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;

Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток:
И, с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная,
И горько жалуясь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю. *

ТЫ И ВЫ

Пустое *вы* сердечным *ты*
Она, обмолвись, заменила,
И все счастливые мечты
В душе влюбленной возбудила.
Пред ней задумчиво стою;
Свести очей с нее нет силы;
И говорю ей: «как *вы* милы!»
И мыслю: «как *тебя* люблю!»

* В черновой рукописи стихотворение имеет следующее незапоэтизованное предостережение:

Я вижу в праздности, в неистовых пирах,
В безумстве гибельной свободы,
В неволе, в бедности, в изгнании (?), в стенах
Мои утраченные годы.
Я слышу вновь друзей предательский привет
На играх Вакха и Киприды,
Вновь сердцу наносит хладный свет
Неотразимые обиды.
Я слышу вокруг меня жужжанье клеветы,
Решенья глухости лукавой,
И шепот зависти, и легкой суеты
Укор веселый и кровавый.
И нет отрады мне — и тихо предо мной
Встают два призрака младые,
Две тени милые — два данные судьбой
Мне ангела во дни былые.
Но оба с крыльями и с пламенным мечом,
И стерегут... и мстят мне оба,
И оба говорят мне мертвым языком
О тайнах счастья и гроба.

Дар напрасный, дар случайный,
 Жизнь, зачем ты мне дана?
 Иль зачем судьбою тайной
 Ты на казнь осуждена?

Кто меня враждебной властью
 Из ничтожества воззвал,
 Душу мне наполнил страстью,
 Ум сомненьем взволновал?..

Цели нет передо мною:
 Сердце пусто, празден ум,
 И томит меня тоскою
 Однозвучный жизни шум.

В АЛЬБОМ

Я не люблю альбомов модных:
 Их ослепительная смесь
 Аспазий наших благородных
 Провозглашает только спесь.
 Альбом красавицы уездной,
 Альбом домашний и простой,
 Милей болтливостью любезной
 И безыскусной пестротой.
 Ни здесь, ни там, скажу я смело,
 Являться, впрочем, не хочу;
 Но твой альбом другое дело,
 Охотно дань ему плачу.
 Тобой питомцам Аполлона
 Не из тщеславья он открыт:
 Цариц ты любишь Геликона
 И ими сам не позабыт;
 Вхожу в него прямым поэтом,
 Как в дружеский приятный дом,
 Почтив хозяина приветом
 И дар молитвенным стихом.

**ЭПИТАФИЯ МЛАДЕНЦУ
КН. Н. С. ВОЛКОНСКОМУ**

В сиянии и в радостном покое,
У трона вечного творца,
С улыбкой он глядит в изгнание земное,
Благословляет мать и молит за отца.

* * *

Еще дуют холодные ветры
И наносят утренни морозы.
Только что на проталинах весенних
Показались ранние цветочки,
Как из чудного царства воскового
Из душистой келейки медовой
Вылетала первая пчелка.
Полетела по ранним цветочкам
О красной весне поразведать,
Скоро ль будет гостья дорогая,
Скоро ли луга позеленеют,
Скоро ль у кудрявой березы
Распустятся клейкие листочки,
Зацветет черемуха душиста.

* * *

(ИЗ АНАКРЕОНА)

Кобылица молодая,
Честь кавказского тавра,
Что ты мчишься, удалая?
И тебе пришла пора.
Не косись пугливым оком,
Ног на воздух не мечи,
В поле гладком и широком
Своенравно не скачи.
Погоди; тебя заставлю
Я смириться подо мной:
В мерный круг твой бег направлю
Укороченной уздой.

* * *

Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной:
Напоминают мне оне
Другую жизнь и берег дальный.*

Увы, напоминают мне
Твой жестокие напевы
И степь, и ночь, и при луне
Черты далекой бедной девы!..

Я призрак милый, роковой,
Тебя увидев, забываю;
Но ты поешь — и предо мной
Его я вновь воображаю.

Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной:
Напоминают мне оне
Другую жизнь и берег дальный.

ПОРТРЕТ

С своей пылающей душой,
С своими бурными страстями,
О жены Севера, меж вами
Она является порой
И мимо всех условий света
Стремится до утраты сил,
Как беззаконная комета
В кругу расчисленном светил.

* В рукописи после первой строфы имеется зачеркнутая строфа:

Напоминают мне оне
Кавказа гордые вершины,
Лихих чеченцев на коне
И закубанские равнины.

НАПЕРСНИК

Твоих признаний, жалоб нежных
Ловлю я жадно каждый крик:
Страстей безумных и мятежных
Как упоителен язык!
Но прекрати свои рассказы,
Таи, таи свои мечты:
Боюсь их пламенной заразы,
Боюсь узнать, что знала ты!

* * *

Счастлив, кто избран своенравно
Твоей тоскливою мечтой,
При ком любовью млеешь явно,
Чьи взоры властвуют тобой;
Но жалок тот, кто молчаливо,
Сгорая пламенем любви,
Потупя голову ревниво,
Признанья слушает твои.

КИРДЖАЛИ

В степях зеленых Буджака,
Где Прут, заветная река,
Обходит русские владенья,
При бедном устье ручейка
Стоит безвестное селенье.
Семействами болгары тут
В убогой дикости живут,
Храня родительские нравы,
Питаясь трудом,
И не заботятся о том,
Как ратоборствуют державы
И грозно правят их судьбой.

ИЗ ПИСЬМА К КН. П. А. ВЯЗЕМСКОМУ *

А в ненастные дни
Собирались они
Часто.

Гнули, - - - ,
От пятидесяти
На сто.

И выигрывали,
И отписывали
Мелом.

Так в ненастные дни
Занимались они
Делом.

УТОПЛЕННИК

Прибежали в избу дети,
Второпях зовут отца:
«Тятя! тятя! наши сети
Притащили мертвеца». —
«Врите, врите, бесенята, —
Заворчал на них отец: —
Ох, уж эти мне робята!
Будет вам ужо мертвец!

Суд наедет, отвечай-ка;
С ним я ввек не разберусь;
Делать нечего; хозяйка,
Дай кафтан: уж поплетусь...
Где ж мертвец?» — «Вон, тятя, э-вот!»
В самом деле, при реке,
Где разостлан мокрый невод,
Мертвый виден на песке.

* Письмо 1 сентября 1828 г. из Петербурга. Стихам предшествуют слова: «Поса Киселев и Подгораций были здесь, я продолжал образ имени, воспетый мною таким образом».

Безобразно, труп ужасный
Посинел и весь распух.
Горемыка ли несчастный
Погубил свой грешный дух,
Рыболов ли взят волнами,
Али хмельный молодец,
Аль ограбленный ворами
Недогадливый купец, —

Мужику какое дело?
Озираясь, он спешит;
Он потопленное тело
В воду за ноги тащит
И от берега крутого
Оттолкнул его веслом,
И мертвец вниз поплыл снова
За могилой и крестом.

Долго мертвый меж волнами
Плыл качаясь, как живой.
Проводив его глазами,
Наш мужик пошел домой.
«Вы, щенки! за мной ступайте:
Будет вам по калачу,
Да смотрите ж, не болтайте,
А не то поколочу».

В ночь погода зашумела,
Взволновалася река.
Уж лучина догорела
В дымной хате мужика;
Дети спят, хозяйка дремлет,
На полатях муж лежит;
Буря вое; вдруг он внемлет:
Кто-то там в окно стучит.

«Кто там?» — «Эй,пусти, хозяин!» —
«Ну,какая там беда?
Что ты ночью бродишь, Каин?
Чорт занес тебя сюда;
Где возиться мне с тобою?
Дома тесно и темно».

И ленивою рукою
Подымает он окно.

Из-за туч луна катится —
Что же? Голый перед ним:
С бороды вода струится,
Взор открыт и недвижим,
Всё в нем страшно онемело,
Опустились руки вниз,
И в распухнувшее тело
Раки черные впились.

И мужик окно захлопнул;
Гостя голого узнав,
Так и обмер: «чтоб ты лопнул!»
Прошептал он, задрожав.
Страшно мысли в нем мешались,
Трясся ночь он напролет,
И до утра всё стучались
Под окном и у ворот.

Есть в народе слух ужасный:
Говорят, что каждый год
С той поры мужик несчастный
В день урочный гостя ждет;
Уж с утра погода злится,
Ночью буря настанет,
И утопленник стучится
Под окном и у ворот.

* * *

Ворон к ворону летит,
Ворон ворону кричит:
«Ворон, где б нам отобедать?
Как бы нам о том проведать?»

Ворон ворону в ответ:
«Знаю, будет нам обед;
В чистом поле под ракитой
Богатырь лежит убитый.

Кем убит и отчего,
Знает сокол лишь его,
Да кобылка вороная,
Да хозяйка молодая.

Сокол в рощу улетел,
На кобылку недруг сел,
А хозяйка ждет милого,
Не убитого, живого».

19 ОКТЯБРЯ 1323

Усердно помолившись богу,
Лицею прокричав ура,
Прощайте, братцы: мне в дорогу,
А вам в постель уже пора.

ЕЕ ГЛАЗА

В ОТВЕТ НА СТИХИ КНЯЗЯ ВЯЗЕМСКОГО

Она мила — скажу меж нами —
Придворных витязей гроза.
И можно с южными звездами
Сравнить, особенно стихами,
Ее черкесские глаза.
Она владеет ими смело,
Они горят огня живей;
Но, сам признайся, то ли дело
Глаза Олениной моей!
Какой задумчивый в них геней
И сколько детской простоты,
И сколько томных выражений,
И сколько неги и мечты!..
Потупит их с улыбкой Леля —
В них скромных граций торжество;
Поднимет — ангел Рафаэля
Так созерцает божество.

Рифма — звучная подруга
Вдохновенного досуга,
Вдохновенного труда,
Ах, зачем ты улетела,
Изменила навсегда?

Твой приветный, милый лепет
Усмирял сердечный трепет,
Усыплял мою печаль;
Ты ласкалась, ты манила
И от мира уводила
В очарованную даль.

Ты бывало мне внимала,
За мечтой моей бежала,
Как послушное дитя;
То — свободна и ревнива,
Своейравна и ленива —
С нею спорила шутя.

Но с тобой не расставался,
Сколько раз повиновался
Резвым прихотям твоим.
Как любовник добродушный,
Снисходительно послушный,
Был я мучим и любим.

О, когда бы ты явилась
В дни, когда еще толпилась
Олимпийская семья!
Ты бы с ними обитала,
Как бы пышно засияла
Родословная твоя!

Взяв божественную лиру,
Так поведали бы миру
Гезиод или Омир:
Феб однажды у Адмета,
Близ тенистого Тайгета
Стадо пас, угрюм и сир.

Он бродил во мраке леса,
И никто, страшась Зевеса,
Из богинь или из богов
Навещать его не смели —
Бога лиры и свирели,
Бога света и стихов!

Помня первые свиданья,
Утолить его страданья.
Мнемозина притекла,
И подруга Аполлона
В тихой роще Геликона
Плод восторгов родила.*

* * *

Город пышный, город бедный,
Дух неволи, стройный вид,
Свод небес зелено-бледный,
Скука, холод и гранит —
Всё же мне вас жаль немножко...
Потому что здесь порой
Ходит маленькая ножка,
Вьется локоп золотой.

АНЧАР **

В пустыне чахлой и скупой,
На почве, зноем раскаленной,
Анчар, как грозный часовой,
Стоит, один во всей вселенной.

* Далее набросок продолжения:

И младенца восприняли
Боги
И от гневного Зевеса
сокрыла ночь.

** Древо яда. [Примечание Пушкина.]

Природа жаждущих степей
Его в день гнева породила,
И зелень мертвую ветвей
И корни ядом напоила.

Яд каплет сквозь его кору,
К полудню растопись от зною,
И застывает ввечеру
Густой, прозрачною смолою.

К нему и птица не летит,
И тигр нейдет: лишь вихорь черный
На древо смерти набезит —
И мчится прочь уже тлетворный.

И если туча оросит,
Блуждая, лист его дремучий,
С его ветвей уж ядовит
Стекает дождь в песок горячий.

Но человека человек
Послал к анчару властным взглядом, —
И тот послушно в путь потек,
И к утру возвратился с ядом.

Принес он смертную смолу
Да ветвь с увядшими листьями,
И пот по бледному челу
Струился хладными ручьями;

Принес — и ослабел, и лег
Под сводом шалаша на лыки,
И умер бедный раб у ног
Непобедимого владыки.

А царь тем ядом напитал
Свои послушливые стрелы
И с ними гибель разослал
К соседям в чуждые пределы.

ОТВЕТ КАТЕНИНУ

Напрасно, пламенный поэт,
Свой чудный кубок мне подносишь
И выпить за здоровье просишь:
Не пью, любезный мой сосед!
Товарищ милый, но лукавый,
Твой кубок полон не вином,
Но упоительной отравой:
Он заманит меня потом
Тебе вослед опять за славой.
Не так ли опытный гусар,
Вербуя рекрута, подносит
Ему веселый Вакха дар,
Пока воинственный угар
Его на месте не подкосит?
Я сам служивый: мне домой
Пора убраться на покой.
Останься ты в строях Парнасса;
Пред делом кубок наливай
И лавр Корнелия или Тасса
Один с похмелья пожинай.

ОТВЕТ А. И. ГОТОВЦЕВОЙ

И недоверчиво и жадно
Смотрю я на твои цветы.
Кто, строгий стоик, примет хладно
Привет харит и красоты?
Горжуся им, но и робею:
Твой недосказанный упрек
Я разгадать вполне не смею.
Твой гнев ужели я навлек?
О, сколько б мук себе готовил
Красавиц ветренный зоил,
Когда б предательски злословил
Сей пол, которому служил!
Любви безумством и волненьем
Наказан был бы он; а ты
Была всегда б опроверженьем
Его печальной клеветы.

* * *

За Netty сердцем я летаю
В Твери, в Москве —
И *R* и *O* позабываю
Для *N* и *W*.

ПОЭТ И ТОЛПА

Procul este, profani. *

Поэт по лире вдохновенной
Рукой рассеянной брядал.
Он пел, — а хладный и надменный
Кругом народ непосвященный
Ему бессмысленно внимал.

И толковала чернь тупая:
«Зачем так звучно он поет?
Напрасно ухо поражая,
К какой он цели нас ведет?
О чем бренчит? чему нас учит?
Зачем сердца волнует, мучит,
Как своенравный чародей?
Как ветер, песнь его свободна,
Зато, как ветер, и бесплодна.
Какая польза нам от ней?»

П о э т

Молчи, бессмысленный народ,
Поденщик, раб нужды, забот!
Несносен мне твой ропот дерзкий.
Ты червь земли, не сын небес;
Тебе бы пользы всё — на вес
Кумир ты ценишь Бельведерский.
Ты пользы, пользы в нем не зришь.
Но мрамор сей ведь бог!.. Так что же?
Печной горшок тебе дороже:
Ты пищу в нем себе варишь.

* Отъидите, непосвященные.

Чернь

Нет, если ты небес избранник,
Свой дар, божественный посланник,
Во благо нам употребляй:
Сердца собратьев исправляй.
Мы малодушны, мы коварны,
Бесстыдны, злы, неблагодарны;
Мы сердцем хладные скопцы,
Клеветники, рабы, глупцы;
Гнездятся клубом в нас пороки:
Ты можешь, ближнего любя,
Давать нам смелые уроки,
А мы послушаем тебя. *

Поэт

Подите прочь — какое дело
Поэту мирному до вас!
В разврате каменейте смело:
Не оживит вас лиры глас!
Душе противны вы, как гробы.
Для вашей глупости и злобы
Имели вы до сей поры
Бичи, темницы, топоры; **
Довольно с вас, рабов безумных!
Во градах ваших с улиц шумных
Сметают сор — полезный труд! —
Но, позабыв свое служенье,

* В автографе этого стихотворения, озаглавленном «Ямб», последние восемь стихов в первой редакции читались:

Мы малодушны, мы коварны,	Гнездятся клубом в нас пороки,
Безумны, злы, неблагодарны,	Так расточай же, нас любя,
Мы скупы, жадны, мы глупцы,	Сладкоречивые уроки,
Рабы, тираны, подлецы;	А мы послушаем тебя.

** В том же автографе далее следовало:

Довольно с вас. Поэт ли будет
Возиться с вами сгоряча
И лиру гордую забудет
Для гнусной розги палача!
Ему ль казнить, клеймить безумных?

Алтарь и жертвоприношение,
Жрецы ль у вас метлу берут?
Не для житейского волнения,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновения,
Для звуков сладких и молитв.

⟨ИЗ «ЕГИПЕТСКИХ НОЧЕЙ⟩

Чертог сиял. Гремели хором
Певцы при звуке флейт и лир.
Царица голосом и взором
Свой пышный оживляла пир;
Сердца неслись к ее престолу,
Но вдруг над чашей золотой
Она задумалась и долу
Поникла дивною главой...

И пышный пир как будто дремлет.
Безмолвны гости. Хор молчит.
Но вновь она чело подымлет
И с видом ясным говорит:
«В моей любви для вас блаженство.
Блаженство можно вам купить...
Внемлите ж мне: могу равенство
Меж вами я восстановить.
Кто к торгу страстному приступит?
Свою любовь я продаю;
Скажите: кто меж вами купит
Ценою жизни ночь мою?»

Рекла — и ужас всех объемлет,
И страстью дрогнули сердца...
Она смущенный ропот внемлет
С холодной дерзостью лица
И взор презрительный обводит
Кругом поклонников своих...
Вдруг из толпы один выходит,
Вослед за ним и два других.
Смела их поступь; ясны очи;

Навстречу им она встает;
Свершилось: куплены три ночи,
И ложе смерти их зовет.

Благословенные жрецами,
Теперь из урны роковой
Пред неподвижными гостями
Выходят жребии чредой.
И первый — Флавий, воин смелый,
В дружинах римских поседельй;
Снести не мог он от жены
Высокомерного презренья;
Он принял вызов наслажденья,
Как принимал во дни войны
Он вызов ярого сраженья.
За ним Критон, молодой мудрец,
Рожденный в рощах Эпикура,
Критон, поклонник и певец
Харит, Киприды и Амура.
Любезный сердцу и очам,
Как вешний цвет, едва развитый,
Последний имени векам
Не передал. Его ланиты
Пух первый нежно оттенял;
Восторг в очах его сиял;
Страстей неопытная сила
Кипела в сердце молодом...
И грустный взор остановила
Царица гордая на нем.

«Клянусь... о мать наслаждений,
Тебе неслыханно служу,
На ложе страстных искушений
Простой наемницей всхожу.
Внемли же, мощная Киприда,
И вы, подземные цари,
О боги грозного Аида,
Клянусь — до утренней зари
Моих властителей желанья
Я сладострастно утолю
И всеми тайнами лобзанья
И дивной негой утомлю.

Но только утренней порфирой
Аврора вечная блеснет,
Клянусь — под смертною секирой
Глава счастливцев отпадет».

.
И вот уже сокрылся день,
Восходит месяц златорогий.
Александрийские чертоги
Покрыла сладостная тень.
Фонтаны бьют, горят лампы,
Куруется легкий фимиам,
И сладострастные прохлады
Земным готовятся богам.
В роскошном сумрачном покое
Средь обольстительных чудес
Под сенью пурпурных завес
Блещет ложе золотое...

* * *

Всем красны боярские конюшни,
Чистотой, прислугой и конями;
Всем довольны добрые кони,
Кормом, стойлами и надзором.
Сбруя блещет на стойках дубовых,
В стойлах лоснятся борзые кони.
Лишь одним конюшни непригожи —
Домовой повадился в конюшни.
По ночам ходит он в конюшни,
Чистит, холит коней боярских,
Заплетае гриву им в косички,
Туго хвост завязывает в узел.
Как не влюбит он вороного.
На вечерней заре с водоцою
Обойду я боярские конюшни
И зайду в стойло к вороному —
Конь стоит исправен и смирен;
А поутру отопрешь конюшни,
Конь не тих, весь в мыле, жаром пышет,
С морды каплет кровавая пена.

Во всю ночь домовою на нем ездит
По горам, по лесам, по болотам
С полуночи до белого света —
До заката месяца.

Ах ты, старый конюх неразумный,
Разгадаешь ли, старый, загадку?
Полюбил красну девуку молодой конюх,
Младой конюх, разгульный парень —
Он конюшни ночью отпирает,
Потихоньку вороного седлает,
Полегоньку выводит за ворота,
На коня, на борзого садится,
К красной девке в гости скачет.

* * *

Tel j'étais autrefois et tel je suis encor. *

Каков я прежде был, таков и ныне я:
Беспечный, влюбчивый. Вы знаете, друзья,
Могу ль на красоту взирать без умиления,
Без робкой нежности и тайного волнения.
Уж мало ли любовь играла в жизни мной?
Уж мало ль бился я, как ястреб молодой,
В обманчивых сетях, раскинутых Кипридой —
А не исправленный стократною обидой
Я новым идолам несу мои мольбы...

ЦВЕТОК

Цветок засохший, безуханный,
Забытый в книге вижу я;
И вот уже мечтою странной
Душа наполнилась моя.

Где цвел? когда? какой весной?
И долго ль цвел? и сорван кем,

* Таков я был прежде, таков я и ныне.

Чужой, знакомой ли рукою?
И положен сюда зачем?

На память нежного ль свиданья,
Или разлуки роковой,
Иль одинокого гулянья
В тиши полей, в тени лесной?

И жив ли тот, и та жива ли?
И нынче где их уголок?
Или уже они увяли,
Как сей неведомый цветок?

* * *

Уродился я, бедный недоносок;
С глухих лет брожу я сиротою;
Недорослем меня, бедного, женили;
Новая семья не полюбила;
Сударыня жена не приласкала.

* * *

Брадатый староста Авдей
С поклоном барыне своей,
Заместо красного яичка,
Поднес ученого скворца.
Известно вам, такая птичка
Умней иного мудреца.
Скворец, надувшись величаво,
Вздыхал о царствии небес
И приговаривал картаво:
«Христос воскрес! Христос воскрес!» *

* Далее зачеркнуто:

Скворец мой был не пустомеля,
Не врал он всякой чепухи,
Он был учение

* * *

В прохладе сладостной фонтанов
И стен, обрызганных кругом,
Поэт бывало тешил ханов
Стихов гремучим жемчугом.

На нити праздного веселья
Низал он хитрою рукой
Прозрачной лести ожерелья
И четки мудрости златой.

Любили Крым птенцы Саади:
Порой восточный краснобай
Здесь развивал свои тетради
И удивлял Бахчисарай.

Его рассказы растилались,
Как эриванские ковры,
И ими ярко украшались
Гиреев ханские пиры.

Но ни один волшебник милый,
Владелец умственных даров,
Не вымышлял с такою силой
Так хитро сказок и стихов, —

Как прозорливый и крылатый
Поэт той чудной стороны,
Где мужи грозны и косматы,
А жены гуриям равны.

* * *

Как быстро в поле, вокруг открытом,
Подкован вновь, мой конь бежит!
Как звонко под его копытом
Земля промерзлая звучит!
Полезен русскому здоровью
Наш укрепительный мороз:
Ланиты, ярче вешних роз,
Играют холодом и кровью.

—
Печальны лес и дол завялый,
Проглянет день — и уж темно,
И, будто путник запоздалый,
Стучится буря к нам в окно...

Е. Л. Н. УШАКОВОЙ

Вы избалованы природой;
Она пристрастна к вам была,
И наша вечная хвала
Вам кажется докучной одой.
Вы сами знаете давно,
Что вас любить немудрено,
Что нежным взором вы Армида,
Что легким станом вы Сильфида,
Что ваши алые уста,
Как гармоническая роза...
И наши рифмы, наша проза
Пред вами — шум и суета.

Но красоты воспоминае
Нам сердце трогает тайком —
И строк небрежных начертанье
Вношу смиренно в ваш альбом.
Авось на память поневоле
Придет вам тот, кто вас певал
В те дни, как Пресненское поле
Еще забор не заграждал. *

* * *

Подъезжая под Ижоры,
Я взглянул на небеса
И вспомнил ваши взоры,
Ваши синие глаза.
Хоть я грустно очарован
Вашей девственной красотой,
Хоть вампиром именован
Я в губернии Тверской,
Но колен моих пред вами
Преклонить я не посмел
И влюбленными мольбами
Вас тревожить не хотел.
Упиваясь неприятно
Хмелем светской суеты,
Позабуду, вероятно,
Ваши милые черты,
Легкий стан, движений стройность,
Осторожный разговор,

* Первая редакция этого стихотворения относится к 1828 г. и была посвящена А. А. Олениной:

Вы избалованы природой,
Она пристрастна к вам была,
И наша страстная хвала
Вам кажется докучной модой.
Вы сами знаете давно,
Что вас хвалить не мудрено,
Что ваши взоры — сердцу жалы,
Что ваши ножки — очень малы,
Что вы чувствительны, остры,

Что вы умны, что вы добры,
Что можно вас любить сердеч-
но, —
Но вы не знаете, конечно,
Что и болтливая молва
Порою правды не умалит,
Что иногда и сердце хвалит,
Хоть и кружится голова.

Эту скромную спокойность,
Хитрый смех, и хитрый взор.
Если ж нет... по прежню следу
В ваши мирные края
Через год опять заеду
И влюблюсь до ноября.

ПРИМЕТЫ

Я ехал к вам: живые сны
За мной вились толпой игривой,
И месяц с правой стороны
Сопровождал мой бег ретивый.

Я ехал прочь: иные сны...
Душе влюбленной грустно было,
И месяц с левой стороны
Сопровождал меня уныло.

Мечтанью вечному в тиши
Так предаемся мы, поэты;
Так суеверные приметы
Согласны с чувствами души

ЛИТЕРАТУРНОЕ ИЗВЕСТИЕ

В Элизии Василий Тредьяковский
(Преострый муж, достойный много хвал).
С усердием принялся за журнал.
В сотрудники сам вызвался Поповский,
Свои статьи Елагин обещал;
Курганов сам над критикой хлопочет,
Блеснуть умом «Письмовник» снова хочет;
И говорят, на-днях они начнут,
Благословясь, сей преполозный труд, —
И только ждет Василий Тредьяковский,
Чтоб подоспел Михайло Каченовский.

* * *

Когда помилует нас бог,
Когда не буду я повешен,
То буду я у ваших ног,
В тени украинских черешен. *

ЭПИГРАММА

Журналами обиженный жестоко,
Зоил Пахом печалился глубоко;
На цензора вот подал он донос;
Но цензор прав, — нам смех, зоилу нос.
Иная брань, конечно, неприличность,
Нельзя писать: *Такой-то де старик,*
Козел в очках, плюгавый клеветник,
И зол, и подл; все это будет личность.
Но можете печатать, например,
Что господин парнасский старовер,
(*В своих статьях*) бессмыслицы оратор,
Отменно вял, отменно скучноват,
Тяжеловат и даже глуповат;
Тут не лицо, а только литератор.

* * *

Поэт-игрок, о Беверлей-Гораций,
Проигрывал ты кучки ассигнаций,
И серебро, наследие отцов,
И лошадей, и даже кучеров —
И с радостью на карту, на злодейку,
Поставил бы тетрадь своих стихов,
Когда б твой стих ходил хотя в копейку.

* Приписка к письму А. П. Керн, адресованному к ее сестре на Украину.

ЭПИГРАММА

Там, где древний Кочерговский
Над Ролленем опочил,
Дней новейших Тредьяковский
Колдовал и ворожил:
Дурень, к солнцу став спиною,
Под холодный «Вестник» свой
Прыскал мертвою водою,
Прыскал ижицу живой.

* * *

(при посылке бронзового сфинкса)

Кто на снегах возрастил Феокритовы нежные розы?
В веке железном, скажи, кто золотой угадал?
Кто славянин молодой, грек духом, а родом германец?
Вот загадка моя: хитрый Эдип, разреши!

* * *

На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой... Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит — оттого,
Что не любить оно не может.

КАЛМЫЧКЕ

Прощай, любезная калмычка!
Чуть-чуть, на зло моих затей,
Меня похвальная привычка
Не увлекла среди степей

Вслед за кибиткою твоей.
Твои глаза конечно узки,
И плосок нос, и лоб широк,
Ты не лепечешь по-французски,
Ты шелком не сжимаешь ног,
По-английски пред самоваром
Узором хлеба не крошишь,
Не восхищаешься Сен-Маром,
Слегка Шекспира не ценишь,
Не погружаешься в мечтанье,
Когда нет мысли в голове,
Не распеваешь: «Ma dov'è», *
Галоп не прыгаешь в собранье...
Что нужды? — Ровно полчаса,
Пока коней мне запрягали,
Мне ум и сердце занимали
Твой взор и дикая краса.
Друзья! не всё ль одно и то же:
Забыться праздною душой
В блестящей зале, в модной ложе,
Или в кибитке кочевой?

ДЕЛИБАШ

Перестрелка за холмами;
Смотрит лагерь их и наш;
На холме пред казаками
Вьется красный делибаш.

Делибаш! не суйся к *лаве*,
Пожалей свое житье;
Вмиг аминь лихой забаве:
Попадешься на копьё.

Эй, казак! не рвися к бою:
Делибаш на всем скаку
Срежет саблею кривою
С плеч удалую башку.

* «Но где».

Мчатся, сшиблись в общем крике...
Посмотрите! каковы?..
Делибаш уже на пике,
А казак без головы.

ИЗ ГАФИЗА

Не пленяйся бранной славой,
О красавец молодой!
Не бросайся в бой кровавый
С карабахскою толпой!
Знаю: смерть тебя не встретит;
Азраил, среди мечей,
Красоту твою заметит —
И пощада будет ей!
Но боюсь: среди сражений
Ты утратишь навсегда
Скромность робкую движений,
Прелесть неги и стыда!

Лагерь при Евфрате. 1829.

* * *

Критон, роскошный гражданин
Очаровательных Афин,
Во цвете жизни предавался
Всем упоеньям бытия.
Однажды, — слушайте, друзья,
Он по Керамику скитался,
И вдруг из рощи вековой,
Красою девственной блистая,
В одежде легкой и простой
Явилась нимфа молодая.
Пред банею, между колонн,
Она на миг остановилась
И в дом вошла. Недвижим он
Глядит на дверь, куда, как сон,
Его красавица скрылась.

* * *

Зорю бьют... из рук моих
Ветхий Данте выпадает,
На устах начатый стих
Недочитанный затих —
Дух далече улетаёт.
Звук привычный, звук живой,
Сколь ты часто раздавался
Там, где тихо развивался
Я давнишнею порой.

САПОЖНИК

ПРИТЧА

Картину раз высматривал сапожник
И в обуви ошибку указал;
Взяв тотчас кисть, исправился художник.
Вот, подбочась, сапожник продолжал:
«Мне кажется, лицо немного криво...
А эта грудь не слишком ли нага?..»
Тут Аеллес прервал нетерпеливо:
«Суди, дружок, не свыше сапога!»

Есть у меня приятель на примете:
Не ведаю, в каком бы он предмете
Был знатоком, хоть строг он на словах;
Но чорт его несёт судить о свете:
Попробуй он судить о сапогах!

НА КАРТИНКИ К «ЕВГЕНИЮ ОНЕГИНУ» В «НЕВСКОМ АЛЬМАНАХЕ»

1

Вот перешед чрез мост Кокушкин,
Опершись - - о гранит,
Сам Александр Сергееч Пушкин
С мосье Онегиным стоит.

Не удостаивая взглядом
Твердыню власти роковой,
Он к крепости стал гордо задом:
Не плюй в колодец, милый мой.

2

Сосок чернеет сквозь рубашку,
Наружу - - — милый вид!
Татьяна мнет в руке бумажку,
Зане живот у ней болит:
Она затем поутру встала
При бледных месяца лучах
И на - - - изорвала
Конечно «Невский альманах».

* * *

Счастлив ты в прелестных дурах,
В службе, в картах и в пирах;
Ты St.-Priest в карикатурах,
Ты Нелединский в стихах;
Ты прострелен на дуэле,
Ты разрублен на войне —
Хоть герой ты в самом деле,
Но повеса ты вполне.

КАВКАЗ

Кавказ подо мною. Один в вышине
Стою над снегами у края стремнины;
Орел, с отдаленной поднявшись вершины,
Парит неподвижно со мной наравне.
Отселе я вижу потоков рожденье
И первое грозных обвалов движенье.

Здесь тучи смиренно идут подо мной;
Сквозь них, низвергаясь, шумят водопады;



Кавказ, Казетия

Литография В. Чкери по рис. Гагарина

Под ними утесов нагие громады;
Там ниже мох тощий, кустарник сухой;
А там уже рощи, зеленые сени,
Где птицы щебечут, где скачут олени.

А там уж и люди гнездятся в горах,
И ползают овцы по злачным стремнинам,
И пастырь нисходит к веселым долинам,
Где мчится Арагва в тенистых берегах,
И нищий наездник таится в ущелье,
Где Терек играет в свирепом веселье;

Играет и воеет, как зверь молодой,
Завидевший пищу из клетки железной,
И бьется о берег в вражде бесполезной,
И лижет утесы голодной волной...
Вотще! нет ни пищи ему, ни отрады:
Теснят его грозно немые громады. *

МОНАСТЫРЬ НА КАЗБЕКЕ

Высоко над семью гор,
Казбек, твой царственный шатер
Сияет вечными лучами.
Твой монастырь за облаками,
Как в небе реющий ковчег,
Парит, чуть видный, над горами.

Далекий, вожденный брег!
Туда б, сказав «прости» ущелью,
Подняться к вольной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство бога скрыться мне!..

* Далее в рукописи следует незаконченная и не печатавшаяся Пушкиным по цензурным соображениям строфа:

Так буйную вольность Законы теснят,
Так дикое племя под Властью тоскует,
Так ныне безмолвный Кавказ негодует,
Так чуждые силы его тяготят..

К БЮСТУ ЗАВОЕВАТЕЛЯ

Напрасно видишь тут ошибку:
Рука искусства навела
На мрамор этих уст улыбку
И гнев на хладный лоск чела.
Недаром лик сей двуязычен.
Таков и был сей властелин:
К противочувствиям привычен,
В лице и в жизни арлекин.

* * *

«Полюби меня, девица». —
«Что же скажет вся станица?
Я с другим обручена». —

«Твой жених теперь далече».

* * *

Стрекотунья белобока
Под калиткою моей
Скачет пестрая сорока
И пророчит мне гостей.
Колокольчик небывалый
У меня звенит в ушах,
На заре алой,
Серебрится снежный прах.

* * *

Был и я среди донцов,
Гнал и я османов шайку;
В память битвы и шатров
Я домой привез нагайку.

На походе, на войне
Сохранил я балалайку —
С нею рядом, на стене
Я повешу и нагайку.

Что таиться от друзей —
Я люблю свою хозяйку,
Часто думал я об ней
И берег свою нагайку.

ДОН

Блеща средь полей широких,
Вон он льется!.. Здравствуй, Дон!
От сынов твоих далеких
Я привез тебе поклон.

Как прославленного брата,
Реки знают тихий Дон;
От Аракса и Евфрата
Я привез тебе поклон.

Отдохнув от злой погони,
Чуя родину свою,
Пьют уже донские кони
Арпачайскую струю.

Приготовь же, Дон заветный,
Для наездников лихих
Сок кипучий, искрометный
Виноградников твоих.

ДОРОЖНЫЕ ЖАЛОБЫ

Долго ль мне гулять на свете
То в коляске, то верхом,
То в кибитке, то в карете,
То в телеге, то пешком?

Не в наследственной берлоге,
Не средь отческих могил,
На большой мне, знать, дороге
Умереть господь судил,

На камнях под копытом,
На горе под колесом,
Иль во рву, водой размытом,
Под разобранным мостом.

Иль чума меня подцепит,
Иль мороз окостенит,
Иль мне в лоб шлагбаум влечит
Непроворный инвалид.

Иль в лесу под нож злодею
Попадуся в стороне,
Иль со скуки околею
Где-нибудь в карантине.

Долго ль мне в тоске голодной
Пост невольный соблюдать
И телятиной холодной
Трюфли Яра поминать?

То ли дело быть на месте,
По Мясницкой разъезжать,
О деревне, о невесте
На досуге помышлять!

То ли дело рюмка рома,
Ночью сон, поутру чай;
То ли дело, братцы, дома!..
Ну, пошел же, погоняй!..

* * *

Как сатирой безымянной
Лик зоила я пятнал,
Признаюсь: на вызов бранный
Возражений я не ждал.

Справедливы ль эти слухи?
Отвечал он? Точно ль так?
В получении оплеухи
Расписался мой дурак?

ОБВАЛ

Дробясь о мрачные скалы,
Шумят и пенятся валы,
И надо мной кричат орлы,
И ропщет бор,
И блещут средь волнистой мглы
Вершины гор.

Оттоль сорвался раз обвал,
И с тяжким грохотом упал,
И всю теснину между скал
Загородил,
И Терека могущий вал
Остановил.

Вдруг, истошась и присмирив,
О Терек, ты прервал свой рев;
Но задних волн упорный гнев
Прошиб снега...
Ты затопил, освирепев,
Свои берега.

И долго прорванный обвал
Неталой грудю лежал,
И Терек злой под ним бежал
И пылью вод,
И шумной пеной орошал
Ледяный свод.

И путь по нем широкий шел:
И конь скакал, и влекся вол,
И своего верблюда вел
Степной купец,
Где ныне мчится лишь Эол,
Небес жилец.

2 ноября.

Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю
 Слугу, несущего мне утром чашку чаю,
 Вопросами: тепло ль? утихла ли метель?
 Пороша есть иль нет? и можно ли постель
 Покинуть для седла, иль лучше до обеда
 Возиться с старыми журналами соседа?
 Пороша. Мы встаем, и тотчас на коня,
 И рысью по полю при первом свете дня;
 Арапники в руках, собаки вслед за нами;
 Глядим на бледный снег прилежными глазами;
 Кружимся, рыскаем и позднее уж порой,
 Двух зайцев протравив, являемся домой.
 Куда как весело! Вот вечер: вьюга воет,
 Свеча темно горит; стесняясь, сердце ноет;
 По капле, медленно глотаю скуки яд.
 Читать хочу; глаза над буквами скользят,
 А мысли далеко... Я книгу закрываю;
 Беру перо, сажу; насильно вырываю
 У Музы дремлющей несвязные слова.
 Ко звуку звук нейдет... Теряю все права
 Над рифмой, над моей прислужницею странной:
 Стих вяло тянется, холодный и туманный.
 Усталый, с лирою я прекращаю спор;
 Иду в гостиную; там слышу разговор
 О близких выборах, о сахарном заводе;
 Хозяйка хмурится в подобие погоде,
 Стальными спицами проворно шевеля,
 Иль про червонного гадает короля.
 Тоска! Так день за днем идет в уединенье!
 Но если под вечер в печальное селенье,
 Когда за шашками сажу я в уголке,
 Приедет издали в кибитке иль возке
 Нежданная семья: старушка, две девицы
 (Две белокурые, две стройные сестрицы),
 Как оживляется глухая сторона!
 Как жизнь, о боже мой, становится полна!
 Сначала косвенно-внимательные взоры,
 Потом слов несколько, потом и разговоры,
 А там и дружный смех, и песни вечером,

И вальсы резвые, и попот за столом,
И взоры томные и ветреные речи,
На узкой лестнице замедленные встречи;
И дева в сумерки выходит на крыльцо:
Открыта шея, грудь, и вьюга ей в лицо!
Но бури севера не вредны русской розе.
Как жарко поцелуй пылает на морозе!
Как дева русская свежа в пыли снегов!

ЗИМНЕЕ УТРО

Мороз и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь, друг прелестный —
Пора, красавица, проснись;
Открой сомкнуты негой взоры,
Навстречу северной Авроры
Звездою севера явись!

Вечор, ты помнишь, вьюга злилась;
На мутном небе мгла носилась;
Луна, как бледное пятно,
Сквозь тучи мрачные желтела,
И ты печальная сидела —
А нынче... погляди в окно:

Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит,
Прозрачный лес один чернеет,
И ель сквозь иней зеленеет,
И речка подо льдом блестит.

Вся комната янтарным блеском
Озарена. Веселым треском
Трещит затопленная печь.
Приятно думать у лежанки.
Но знаешь: не велеть ли в санки
Кобылку бурую запречь?

Скользя по утреннему снегу,
Друг милый, предадимся бегу

Нетерпеливого коня
И навестим поля пустые,
Леса, недавно столь густые,
И берег, милый для меня.

* * *

Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.

Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.

ЭНИГРАММА

Мальчишка Фебу гимн поднес.
«Охота есть, да мало мозгу.
А сколько лет ему, вопрос?» —
«Пятнадцать». — «Только-то? Эй, розгу!»
За сим принес семинарист
Тетрадь лакейских диссертаций,
И Фебу вслух прочел Гораций,
Кусая губы, первый лист.
Отяжелев, как от дурмана,
Сердито Феб его прервал
И тотчас взрослого болвана
Поставить в палки приказал.

ОЛЕГОВ ЩИТ

Когда ко граду Константина
С тобой, воинственный варяг,
Пришла славянская дружина
И развила победы стяг,

Тогда во славу Руси ратной,
Строптиву греку в стыд и страх,
Ты пригвоздил свой щит булатный
На цареградских воротах.

Настали дни вражды кровавой;
Твой путь мы снова обрели.
Но днесь, когда мы вновь со славой
К Стамбулу грозно притекли,
Твой холм потрясся с бранным гулом,
Твой стон ревнивый нас смутил,
И нашу рать перед Стамбулом
Твой старый щит остановил

* * *

Жил на свете рыцарь бедный,
Молчаливый и простой,
С виду сумрачный и бледный,
Духом смелый и прямой.

Он имел одно виденье,
Непостижное уму,
И глубоко впечатленье
В сердце врезалось ему.

Путешествуя в Женеву,
На дороге у креста
Видел он Марию-деву,
Матерь господа Христа.

С той поры, сгорев душою,
Он на женщин не смотрел,
И до гроба ни с одною
Молвить слова не хотел.

С той поры стальной решетки
Он с лица не подымал,
И себе на шею четки
Вместо шарфа привязал.

Несть мольбы отцу, ни сыну,
Ни святому духу век
Не случилось паладину;
Странный был он человек.

Проводил он целы ночи
Перед ликом пресвятой,
Устремив к ней скорбны очи,
Тихо слезы лья рекой.

Полон верой и любовью,
Верен набожной мечте,
Ave mater Dei * кровью
Написал он на щите.

Между тем как паладины
В встречу трепетным врагам
По равнинам Палестины
Мчались, именуя дам, —

Lumen coelum, sancta rosa! **
Восклицал всех громче он
И гнала его угроза
Мусульман со всех сторон.

Возвратясь в свой замок дальный,
Жил он строго заключен,
Всё влюбленный, всё печальный,
Без причастья умер он;

Между тем как он кончался,
Дух лукавый подоспел,
Душу рыцаря собирался
Бес тащить уж в свой предел;

Он-де богу не молился,
Он не ведал-де поста,
Не путем-де волочился.
Он за матушкой Христа.

* Радуйся, божья мать.

** Свет небесный, святая роза.

Но пречистая сердечно
Заступилась за него
И впустила в царство вечно
Паладина своего.

ВОСПОМИНАНИЯ В ЦАРСКОМ СЕЛЕ

Воспоминаньями смущенный,
Исполнен сладкою тоской,
Сады прекрасные, под сумрак ваш священный
Вхожу с поникшею главой.
Так отрок Библии, безумный расточитель,
До капли истощив раскаянья фиал,
Увидев наконец родимую обитель,
Главой поник и зарыдал.

В пылу восторгов скоротечных,
В бесплодном вихре суеты,
О, много расточил сокровищ я сердечных
За недоступные мечты,
И долго я блуждал, и часто, утомленный,
Раскаяньем горя, предчувствуя беды,
Я думал о тебе, предел благословенный,
Воображал сии сады.

Воображаю день счастливый,
Когда средь вас возник лицей,
И слышу наших игр я снова шум *
И вижу вновь семью друзей.
Вновь нежным отроком, то пылким, то ленивым,
Мечтанья смутные в груди моей тая,
Скитаясь по лугам, по рощам молчаливым,
Поэтом забываюсь я.

И въявь я вижу пред собою
Дней прошлых гордые следы.

* Стих не дописан.

Еще исполнены великою женою,
Ее любимые сады
Стоят населены чертогами, вратами,
Столпами, башнями, кумирами богов
И славой мраморной, и медными хвалами
Екатерининских орлов.

Садятся призраки героев
У посвященных им столпов;
Глядите: вот герой, стеснитель ратных строев,
Перун кагульских берегов.
Вот, вот могучий вождь полуночного флага,
Пред кем морей пожар и плавал и летал.
Вот верный брат его, герой Архипелага,
Вот наваринский Ганнибал.

* * *

Поедем, я готов; куда бы вы, друзья,
Куда б ни вздумали, готов за вами я
Повсюду следовать, надменной убегая:
К подножию ль стены далекого Китая,
В кипящий ли Париж, туда ли, наконец,
Где Тасса не поет уже ночной гребец,
Где древних городов под пеплом дремлют мощи,
Где кипарисные благоухают рощи;
Повсюду я готов. Поедем... но, друзья,
Скажите: в странствиях умрет ли страсть моя?
Забуду ль гордую, мучительную деву,
Или к ее ногам, ее младому гневу,
Как дань привычную, любовь я принесу?

.

* * *

Брожу ли я вдоль улиц шумных,
Вхожу ль во многолюдный храм,
Сижу ль меж юношей безумных,
Я предаюсь моим мечтам.

Я говорю: промчатся годы,
И сколько здесь ни видно нас,
Мы все сойдем под вечны своды —
И чей-нибудь уж близок час.

Гляжу ль на дуб уединенный,
Я мыслю: патриарх лесов
Переживет мой век забвенный,
Как пережил он век отцов.

Младенца ль милого ласкаю,
Уже я думаю: прости!
Тебе я место уступаю:
Мне время тлеть, тебе цвести.

День каждый, каждую годину
Привык я думой провождать,
Грядущей смерти годовщину
Меж их стараясь угадать.

И где мне смерть пошлет судьбина?
В бою ли, в странствии, в волнах?
Или соседняя долина
Мой примет охладелый прах?

И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать;
Но ближе к милому пределу
Мне всё б хотелось почивать.

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять. *

* В рукописи помета: «26 декабря 1829 года. С. Петербург, 3 часа 5 минут».

Еще одной высокой, важной песне
 Внемли, о Феб, и смолкнувшую лиру
 В разрушенном святилище твоём
 Повешу я, да издаёт,*
 Когда столбы его колеблет буря.
 Печальный звук! Еще единый гимн —
 Внемлите мне, пенаты, — вам пою
 Ответный гимн, советники Зевеса,
 Живете ль вы в небесной глубине,
 Иль, божества всевышние, всему
 Причина вы, по мненью мудрецов,
 И следуют торжественно за вами
 Великий Зевс с супругой белоглавой
 И мудрая богиня, дева силы,
 Афинская Паллада, — вам хвала.
 Примите гимн, таинственные силы!
 Хоть долго был изгнанием удален
 От ваших жертв и тихих возлияний,
 Но вас любить не преставал, о боги,
 И в долгие часы пустынной грусти
 Томительно просилась отдохнуть
 У вашего святого пепелища
 Моя душа — там мир.
 Так, я любил вас долго! Вас зову
 В свидетели, с каким святым волнением
 Оставил я людское стадо там,
 Дабы стеречь ваш огонь уединенный,
 Беседуя один с самим собою.
 Часы неизъяснимых наслаждений!
 Они дают мне знать сердечну глубь
 В могуществе и немощах ее.
 Они любить, лелеять научают
 Не смертные, таинственные чувства,
 И нас они науке первой учат —
Чтить самого себя. О, нет, вовек
 Не преставал молить благоговеино
 Вас, божества домашние.

* Далее одно слово не разобрано.

* * *

Меж горных рек несется Терек,
Волнами точит дикий берег,
Клокочет вокруг огромных скал,
То здесь, то там дорогу роет,
Как зверь живой, ревет и воет —
И вдруг утих и смирен стал.

Всё ниже, ниже опускаясь,
Уж он бежит едва живой.
Так, после бури истощаясь,
Поток струится дождевой.
И вот обнажилось
Его кремнистое русло.

* * *

Надеясь на мое презренье,
Седой воил меня ругал,
И, потеряв уже терпенье,
Я эпиграммой отвечал.
Укушенный желаньем славы,
Теперь, надеясь на ответ,
Журнальный шут, холоп лукавый,
Ругать бы также стал. — О, нет!
Пусть он, как бес перед обедней,
Себе покоя не дает:
Лакей, сиди себе в передней,
А будет с барином расчет.

СОБРАНИЕ НАСЕКОМЫХ

Какие крохотны коровки!
Есть, право, менее булавочной головки.
Крылатое.

Мое собрание насекомых
Открыто для моих знакомых:
Ну, что за пестрая семья!

За ними где ни рылся я!
Зато какая сортировка!
Вот <Глинка> — божия коровка,
Вот <Каченовский> — злой паук,
Вот и <Свиньин> — российский жук,
Вот <Олин> — черная мурашка,
Вот <Раич> — мелкая букашка.
Куда их много набралось!
Опрятно за стеклом и в рамках
Они, пронзенные насквозь,
Рядком торчат на эпиграммах.

* * *

Когда твои младые лета
Позорит шумная молва,
И ты по приговору света
На честь утратила права,

Один, среди толпы холодной,
Твои страдания я делю
И за тебя мольбой бесплодной
Кумир бесчувственный молю.

Но свет... Жестоких осуждений
Не изменяет он своих:
Он не карает заблуждений,
Но тайны требует для них.

Достойны равного презренья
Его тщеславная любовь
И лицемерные гоненья —
К забвенью сердце приготовь;

Не пей мучительной отравы,
Оставь блестящий, душный круг;
Оставь безумные забавы:
Тебе один остался друг.

ЭПИГРАММА

Седой Свистов! ты царствовал со славой;
Пора, пора! сложи с себя венец:
Питомец твой молодой, цветущий, здоровый,
Тебя сменит, великий наш певец!
Се: внемлет мне маститый собеседник,
Свершается судьбины произвол;
Является молодой его наследник:
Свистов II вступает на престол!

* * *

И вот ущелье мрачных скал
Пред нами шире становится,
Но тише Терек злой стремится,
Луч солнца ярче засиял.

* * *

Страшно и скучно.
Здесь новоселье,
Путь и ночлег.
Тесно и душно.
В диком ущелье —
Тучи да снег.

Небо чуть видно,
Как из тюрьмы.
Ветер шумит.
Солнцу обидно

* * *

Шумит кустарник... На утес
Олень веселый выбегает.
Пугливо он подножный лес
С вершины острой озирает.

Недвижим, строен он стоит
И чутким ухом шевелит...
Глядит на светлые <луга>,
Глядит на синий свод небесный
И на днепровские брега,
Венчанны чащею древесной.
Вдруг дрогнул он — незаметный звук
Его коснулся — *

* Далее вчеркнуто:

боязливо
Он шею вытянул и вдруг
С вершины прынул

* * *

Язык и ум теряя разом,
Гляжу на вас единым глазом;
Единый глаз в главе моей.
Когда б Судьбы того хотели,
Когда б имел я сто очей,
То все бы сто на вас глядели.

* * *

Что в имени тебе моем?
Оно умрет, как шум печальный
Волны, плеснувшей в берег дальный,
Как звук ночной в лесу глухом.

Оно на памятном листке
Оставит мертвый след, подобный
Узору надписи надгробной
На непонятном языке.

Что в нем? Забытое давно
В волненьях новых и мятежных,
Твоей душе не даст оно
Воспоминаний чистых, нежных.

Но в день печали, в тишине
Произнеси его тоскуя;
Скажи: есть память обо мне,
Есть в мире сердце, где живу я.

ОТВЕТ

Я вас узнал, о мой оракул!
Не по узорной пестроте
Сих недописанных каракул,
Но по веселой остроте,
Но по приветствиям лукавым,
Но по насмешливости злой
И по упрекам... столь неправым
И этой прелести живой.
С тоской невольной, с восхищеньем
Я перечитываю вас
И восклицаю с нетерпеньем:
Пора! в Москву, в Москву сейчас!
Здесь город чопорный, унылый,
Здесь речи — лед, сердца — гранит;
Здесь нет ни ветрености милой,
Ни муз, ни Пресни, ни харит.

* * *

В часы забав иль праздной скуки,
Бывало, лире я моей
Вверял изнеженные звуки
Безумства, лени и страстей.

Но и тогда струны лукавой
Невольно звон я прерывал,
Когда твой голос величавый
Меня внезапно поражал.

Я лил потоки слез нежданных,
И ранам совести моей
Твоих речей благоуханных
Отраден чистый был елей.

И ныне с высоты духовной
Мне руку простираешь ты,

И силой кроткой и любовной
Смирнешь буйные мечты.

Твоим огнем душа палима
Отвергла мрак земных сует,
И внимлет арфе серафима
В священном ужасе поэт.

* * *

Нет, я не дорожу мятежным наслаждением,
Восторгом чувственным, безумством,
исступленьем,
Стенаньем, криками вакханки молодой,
Когда, висясь в моих объятиях змеей,
Порывом пылких ласк и язвою лобзаний
Она торопит миг последних содроганий.

О, как милее ты, смиренница моя,
О, как мучительно тобою счастлив я,
Когда, склонясь на долгие моления,
Ты предаешься мне нежна без упоенья,
Стыдливо-холодна, восторгу моему
Едва отвечаешь, не внимлешь ничему
И разгораешься потом всё боле, боле —
И делишь наконец мой пламень поневоле.

НА БУЛГАРИНА

Не то беда, что ты поляк:
Костюшко лях, Мицкевич лях!
Пожалуй, будь себе татарин, —
И тут не вижу я стыда;
Будь жид — и это не беда;
Беда, что ты Видок Фиглярин.

СОНЕТ

Scorn not the sonnet, critic.

Wordsworth.*

Суровый Дант не презирал сонета;
В нем жар любви Петрарка изливал;
Игру его любил творец Макбета;
Им скорбну мысль Камоэнс облакал.

И в наши дни пленяет он поэта:
Вордсворт его орудием избрал,
Когда вдали от суетного света
Природы он рисует идеал.

Под сенью гор Тавриды отдаленной
Певец Литвы в размер его стесненный
Свои мечты мгновенно заключал.

У нас еще его не знали девы,
Как для него уж Дельвиг забывал
Гекзаметра священные напевы.

К ВЕЛЬМОЖЕ

Москва.

От северных оков освобождая мир,
Лишь только на поля, струясь, дохнет зефир,
Лишь только первая позеленеет липа,
К тебе, приветливый потомок Аристипа,
К тебе явлюся я; увижу сей дворец,
Где циркуль зодчего, палитра и резец
Ученой прихоти твоей повиновались
И вдохновенные в волшебстве состязались.

Ты понял жизни цель: счастливый человек,
Для жизни ты живешь. Свой долгий ясный век
Еще ты смолоду умно разнообразил,
Искал возможного, умеренно проказил;
Чредою шли к тебе забавы и чины.

* Не презирай сонета, критик. Вордсворт.

Посланник молодой увенчанной жены,
Явился ты в Ферней — и циник поседельный,
Умов и моды вождь пронырливый и смелый,
Свое владычество на Севере любя,
Могильным голосом приветствовал тебя.
С тобой веселости он расточал избыток,
Ты лезть его вкусил, земных богов напиток.
С Фернеем распростясь, увидел ты Версаль.
Пророческих очей не простирая вдаль,
Там ликовало всё. Армида молодая,
К веселью, роскоши знак первый подавая,
Не ведая, чему судьбой обречена,
Резвилась, ветренным двором окружена.
Ты помнишь Трианон и шумные забавы?
Но ты не изнемог от сладкой их отравы;
Ученье делалось на время твой кумир:
Уединялся ты. За твой суровый пир
То читатель промысла, то скептик, то безбожник,
Садился Дидерот на шаткий свой треножник,
Бросал парик, глаза в восторге закрывал
И проповедывал. И скромно ты внимал
За чашей медленной афею иль деиству,
Как любопытный скиф афинскому софисту.

Но Лондон звал твое внимание. Твой взор
Прилежно разобрал сей двойственный собор:
Здесь натиск пламенный, а там отпор суровый,
Пружины смелые гражданственности новой.

Скучая, может быть, над Темзою скупой,
Ты думал дале плыть. Услужливый, живой,
Подобный своему чудесному герою,
Веселый Бомарше блеснул перед тобою.
Он угадал тебя: в пленительных словах
Он стал рассказывать о ножках, о глазах,
О неге той страны, где небо вечно ясно,
Где жизнь ленивая проходит сладострастно,
Как пылкий отрока восторгов полный сон,
Где жены вечером выходят на балкон,
Глядят и, не страшась ревнивого испанца,
С улыбкой слушают и манят иностранца.
И ты, встревоженный, в Севиллу полетел.

Благословенный край, пленительный предел!
Там лавры зыблются, там апельсины зреют...
О, расскажи ж ты мне, как жены там умеют
С любовью набожность умильно сочетать,
Из-под мантильи знак условный подавать;
Скажи, как падает письмо из-за решетки,
Как золотом усыплен надзор угрюмой тетки;
Скажи, как в двадцать лет любовник под окном
Трепещет и кипит, окутанный плащом.

Всё изменилось. Ты видел вихорь бури,
Падение всего, союз ума и фурий,
Свободой грозною воздвигнутый закон,
Под гильотиною Версаль и Трианон
И мрачным ужасом смененные забавы.
Преобразился мир при громах новой славы.
Давно Ферней умолк. Приятель твой Вольтер
Превратности судеб разительный пример,
Не успокоившись и в гробовом жилище,
Доныне странствует с кладбища на кладбище.
Барон д'Ольбах, Морле, Гальяни, Дидерот,
Энциклопедии скептический причот,
И колкий Бомарше, и твой безносый Касти,
Все, все уже прошли. Их мненья, толки, страсти
Забыты для других. Смотри: вокруг тебя
Всё новое кипит, бывшее истребя.
Свидетелями быв вчерашнего паденья,
Едва опомнились молодые поколения.
Жестоких опытов собирая поздний плод,
Они торопятся с расходом свесть приход.
Им некогда шутить, обедать у Темиры,
Иль спорить о стихах. Звук новой, чудной лиры,
Звук лиры Байрона развлечь едва их мог.
Один всё тот же ты. Ступив за твой порог,
Я вдруг переношусь во дни Екатерины.
Книгохранилище, кумиры и картины,
И стройные сады свидетельствуют мне,
Что благосклонствуешь ты музам в тишине,
Что ими в праздности ты дышишь благородной.
Я слушаю тебя: твой разговор свободный
Исполнен юности. Влиянье красоты
Ты живо чувствуешь. С восторгом ценишь ты

И блеск Алябьевой, и прелесть Гончаровой.
Беспечно окружась Корреджием, Кановой,
Ты, не участвуя в волнениях мирских,
Порой насмешливо в окно глядишь на них
И видишь оборот во всем кругообразный.

Так, вихорь дел забыв для муз и неги праздной,
В тени порфирных бань и мраморных палат,
Вельможи римские встречали свой закат.
И к ним издалека то воин, то оратор,
То консул молодой, то сумрачный диктатор
Являлись день-другой роскошно отдохнуть,
Вздохнуть о пристани и вновь пуститься в путь.

0

ПОЭТУ

Поэт! не дорожи любовью народной.
Восторженных похвал пройдет минутный шум;
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,
Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.

Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.

Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд;
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
Ты им доволен ли, взыскательный художник?

Доволен? Так пускай толпа его бранит
И плюет на алтарь, где твой огонь горит,
И в детской резвости колеблет твой треножник.

МАДОНА

Не множеством картин старинных мастеров
Украстить я всегда желал свою обитель,
Чтоб суеверно им дивился посетитель,
Внимая важному суждению знатоков.

В простом углу моем, средь медленных трудов
Одной картины я желал быть вечно зритель,
Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков,
Пречистая и наш божественный спаситель —

Она с величием, он с разумом в очах —
Взирали, кроткие, во славе и в лучах,
Одни, без ангелов, под пальмою Сиона.

Исполнились мои желания. Творец
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадона,
Чистейшей прелести чистейший образец.

* * *

Полюбуйтесь же вы, дети,
Как в сердечной простоте
Длинный Фирс играет в *эти*,
Те, те, те и те, те, те.

Черноокая Россети
В самовластной красоте
Все сердца пленяла *эти*,
Те, те, те и те, те, те.

О, какие же здесь сети
Рок нам стелет в темноте?
Рифмы, деньги, дамы *эти*,
Те, те, те и те, те, те.

НОВОСЕЛЬЕ

Благословляю новоселье,
Куда домашний свой кумир
Ты перенес — а с ним веселье,
Свободный труд и сладкий мир.
Ты счастлив: ты свой домик малый,
Обычай мудрости храня,
От злых забот и лени вялой
Застраховал, как от огня.

БЕСЫ

Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
Еду, еду в чистом поле;
Колокольчик дин-дин-дин...
Страшно, страшно поневоле
Средь неведомых равнин!

«Эй! пошел, ямщик!..» — «Нет мочи.
Коням, барин, тяжело;
Вьюга мне слишает очи,
Все дороги занесло;
Хоть убей, следа не видно;
Сбились мы. Что делать нам!
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.

Посмотри: вон, вон играет,
Дует, плюет на меня;
Вон — теперь в овраг толкает
Одичалого коня;
Там верстою небывалой
Он торчал передо мной;
Там сверкнул он искрой малой
И пропал во тьме пустой».

Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
Сил нам нет кружиться доле;
Колокольчик вдруг умолк;
Кони стали... — «Что там в поле?» —
«Кто их знает? пень или волк?»

Вьюга злится, вьюга плачет;
Кони чуткие храпят;
Вот уж он далече скачет;
Лишь глаза во мгле горят;

Кони снова понеслись;
Колокольчик дин-дин-дин...
Вижу: духи собрались
Средь белеющих равнин.

Бесконечны, безобразны,
В мутной месяца игре
Закружились бесы разны,
Будто листья в ноябре...
Сколько их! куда их гонят?
Что так жалобно поют?
Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж выдают?

Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
Мчатся бесы рой за роем
В беспредельной вышине,
Визгом жалобным и воем
Надрывая сердце мне...

ЭЛЕГИЯ

Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье.
Но, как вино — печаль минувших дней
В моей душе чем старе, тем сильней.
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.

Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать,
И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и тревоженья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И может быть — на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной.

ОТВЕТ АНОНИМУ

О, кто бы ни был ты, чье ласковое пенье
Приветствует мое к блаженству возрожденье,
Чья скрытая рука мне крепко руку жмет,
Указывает путь и посох подает;
О, кто бы ни был ты: старик ли вдохновенный,
Иль юности моей товарищ отдаленный,
Иль отрок, музами таинственно храним,
Иль пола кроткого стыдливый херувим,
Благодарю тебя душою умиленной.
Вниманья слабого предмет уединенный,
К доброжелательству досель я не привык —
И странен мне его приветливый язык.
Смешон, участия кто требует у света!
Холодная толпа взирает на поэта,
Как на заезжего фигляра: если он
Глубоко выразит сердечный, тяжкий стон,
И выстраданный стих, пронзительно-унылый,
Ударит по сердцам с неведомою силой —
Она в ладони бьет и хвалит, иль порой
Неблагодарно кивает головой.
Постигнет ли певца незашное волненье,
Утрата скорбная, изгнание, заточенье, —
«Тем лучше, — говорят любители искусств, —
Тем лучше! наберет он новых дум и чувств
И нам их передаст». Но счастье поэта
Меж ними не найдет сердечного привета,
Когда боязненно безмолвствует оно...

ТРУД

Миг вожделенный настал: окончен мой труд многолетний.
Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня?
Или, свой подвиг свершив, я стою, как поденщик
ненужный,
Плату приявший свою, чуждый работе другой?
Или жаль мне труда, молчаливого спутника ночи,
Друга Авроры златой, друга пенатов святых?

ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ СТАТУЯ

Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила.
Дева печально сидит, праздный держа черепок.
Чудо! не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой;
Дева, над вечной струей, вечно печальна сидит.

* * *

В последний раз твой образ милый
Дерзаю мысленно ласкать,
Будить мечту сердечной силой
И с негой робкой и унылой
Твою любовь воспоминать.

Бегут, меняясь, наши лета,
Меняя всё, меняя нас —
Уж ты для страстного поэта
Могильным сумраком одета,
А для тебя поэт угас.

Прими же, дальная подруга,
Прощанье сердца моего,
Как овдовевшая супруга,
Как друг, обнявший молча друга
Перед изгнанием его.

ПАЖ ИЛИ ПЯТНАДЦАТЫЙ ГОД

C'est l'age de Chérubin... *

Пятнадцать лет мне скоро минет;
Дождусь ли радостного дня?
Как он вперед меня подвинет!
Но и теперь никто не кинет
С презреньем взгляда на меня.

* Это возраст Керубино.

Уж я не мальчик — уж над губой
Могу свой ус я защигнуть;
Я важен, как старик беззубый;
Вы слышите мой голос грубый;
Попробуй кто меня толкнуть.

Читал я «Федру» и «Заиру»,
Как злой гусар, сижу верхом
И показать могу я миру,
Что мастерски держу рапиру
И ею правлю, как мячом.

Я нравлюсь дамам, ибо скромн,
И между ими есть одна...
И гордый взор ее так томен,
И цвет ланит ее так темен,
Что жизни мне милей она.

Она строга, властолюбива,
Я сам дивлюсь ее уму —
И ужас как она ревнива,
Зато со всеми горделива
И мне доступна одному.

Вечор она мне величаво
Клялась, что если буду вновь
Глядеть налево и направо,
То даст она мне яду; — право —
Вот какова ее любовь! *

Она готова хоть в пустыню
Бежать со мной, презрев молву.
Хотите знать мою богиню,
Мою севильскую графиню?..
Нет! ни за что не назову!

* Далее зачеркнутая строфа:

Давно я только сплю и вижу,
Чтоб за нее подраться мне;
Вели она — весь мир обижу,
Пройду от Стрельны до Парижу,
Рубясь, пешком иль на коне.

* * *

Я здесь, Инезиля,
Я здесь под окном.
Объята Севилья
И мраком, и сном.

Исполнен отвагой,
Окутан плащом,
С гитарой и шпагой
Я здесь под окном.

Ты спишь ли? Гитарой
Тотчас разбужу.
Проснется ли старый,
Мечом уложу.

Шелковые петли
К окошку привесь...
Что медлишь?.. Уж нет ли
Соперника здесь?..

Я здесь, Инезиля,
Я здесь под окном.
Объята Севилья
И мраком, и сном.

* * *

1 октября 1830. Болдино

Румяный критик мой, насмешник толстопузый,
Готовый век трунить над нашей томной музой,
Поди-ка ты сюда, присядь-ка ты со мной,
Попробуй, сладим ли с проклятою хандрой.
Смотри, какой здесь вид: избушек ряд убогий,
За ними чернозем, равнины скат отлогий,
Над ними серых туч густая полоса.
Где нивы светлые? где темные леса,
Где речка? На дворе у низкого забора
Два бедных деревца стоят в отраду взора,

Два только деревца. И то из них одно
Дождливой осенью совсем обнажено,
И листья на другом, размокнув и желтея,
Чтоб лужу засорить, лишь только ждут Борей.
И только. На дворе живой собаки нет.
Вот, правда, мужичок, за ним две бабы вслед.
Без шапки он; несет подмышкой гроб ребенка
И кличет издали ленивого попенка,
Чтоб тот отца позвал, да церковь отворил.
Скорей! ждать некогда! давно бы схоронил.
Что ж ты нахмурился? — Нельзя ли блажь оставить?
И песенкою нас веселой позабавить? —

Куда же ты? — В Москву — чтоб графских именин
Мне здесь не прогулять.

— Постою — а карантин!

Ведь в нашей стороне индийская зараза.
Сиди, как у ворот угрюмого Кавказа
Бывало сиживал покорный твой слуга;
Что, брат? уж не трунишь, тоска берет — ага!

ОТРОК

Невод рыбак расстилал по берегу студеного моря;
Мальчик отцу помогал. Отрок, оставь рыбака!
Мрежи иные тебя ожидают, иные заботы:
Будешь умы уловлять, будешь помощник царям.

РИФМА

Эхо, бессонная нимфа, скиталась по берегу Пеней.
Феб, увидев ее, страстию к ней воспылал.
Нимфа плод понесла восторгов влюбленного бога;
Меж говорливых наяд, мучась, она родила
Милую дочь. Ее прияла сама Мнемозина.
Резвая дева росла в хоре богинь-аонид,
Матери чуткой подобна, послушная памяти строгой,
Музам мила; на земле Рифмой зовется она.

ЭПИГРАММА

Не то беда, Авдей Флюгарин,
Что родом ты не русский барин,
Что на Парнасе ты цыган,
Что в свете ты Видок Фиглярин:
Беда, что скучен твой роман.

* * *

Стамбул гяуры нынче славят,
А завтра кованой пятой,
Как змия спящего, раздавят
И прочь пойдут — и так оставят.
Стамбул заснул перед бедой.

Стамбул отрекся от пророка;
В нем правду древнего Востока
Лукавый Запад омрачил —
Стамбул для сладостей порока
Мольбе и сабле изменил.
Стамбул отвык от поту битвы
И пьет вино в часы молитвы.

Там веры чистый луч потух,
Там жены по базару ходят,
На перекрестки шлют старух,
А те мужчин в гаремы вводят;
И спит подкушленный евнух.

Но не таков Арзрум нагорный,
Многодорожный наш Арзрум:
Не спим мы в роскоши позорной,
Не черпем чашей непокорной
В вине разврат, огонь и шум.

Постимся мы: струею трезвой
Одни фонтаны нас поят;
Толпой неистойвой и резвой
Джигиты наши в бой летят.

Мы к женам, как орлы, ревнивы;
Гаремы наши молчаливы,
Непроницаемы стоят.

Алла велик!

К нам из Стамбула
Пришел гонимый янычар —
Тогда нас буря долу гнула,
И пал неслыханный удар.
От Рущука до старой Смирны,
От Трапезунда до Тульчи,
Скликая псов на праздник жирный,
Толпой ходили палачи;
Треща в объятиях пожаров,
Валились дома янычаров;
Окровавленные зубцы
Везде торчали; угли тлели;
На кольях скорчась мертвецы
Окоченелые чернели.
Алла велик — тогда султан
Был духом гнева обуян.

ЗАКЛИНАНИЕ

О, если правда, что в ночи,
Когда покоятся живые,
И с неба лунные лучи
Скользят на камни гробовые,
О, если правда, что тогда
Пустеют тихие могилы —
Я тень зову, я жду Леилы:
Ко мне, мой друг, сюда, сюда!

Явись, возлюбленная тень,
Как ты была перед разлукой,
Бледна, хладна, как зимний день,
Искажена последней мукой.
Приди, как дальная звезда,
Как легкий звук иль дуновенье,
Иль как ужасное виденье,
Мне всё равно, сюда! сюда!..

Зову тебя не для того,
Чтоб укорять людей, чья злоба
Убила друга моего,
Иль чтоб изведать тайны гроба,
Не для того, что иногда
Сомненьем мучусь... но тоскуя
Хочу сказать, что всё люблю я,
Что всё я твой: сюда, сюда!

ГЕРОЙ

Что есть истина?

Д р у г

Да, слава в прихотях вольна.
Как огненный язык, она
По избранным главам летает;
С одной сегодня исчезает
И на другой уже видна.
За новизной бежать смиренно
Народ бессмысленный привык;
Но нам уж то чело священно,
Над коим вспыхнул сей язык.
На троне, на кровавом поле,
Меж граждан на чреде иной
Из сих избранных кто всех боле
Твоею властвует душой?

П о э т

Всё он, всё он — пришлец сей бранный,
Пред кем смирились цари,
Сей ратник, вольностью венчанный,
Исчезнувший, как тень зари.

Д р у г

Когда ж твой ум он поражает
Своею чудною звездой?
Тогда ль, как с Альпов он взирает
На дно Италии святой;

Тогда ли, как хватает знамя
Иль жезл диктаторский? тогда ль,
Как водит и кругом и вдаль
Войны стремительное пламя,
И пролетает ряд побед
Над ним одна другой вослед;
Тогда ль, как рать герою плещет
Перед громадой пирамид,
Иль как Москва пустынно блещет,
Его приемля, — и молчит?

П о э т

Нет, не у счастья на лоне
Его я вижу, не в бою,
Не зятем кесаря на троне;
Не там, где на скалу свою
Сев, мучим казнию покоя,
Осмеян прозвищем героя,
Он угасает недвижим,
Плащом закрывшись боевым.
Не та картина предо мною!
Одров я вижу длинный строй,
Лежит на каждом труп живой,
Клейменный мощною чумою,
Царицею болезней... Он,
Не бранной смертью окружен,
Нахмурясь, ходит меж одрами
И хладно руку жмет чуме
И в погибающем уме
Рождает бодрость... Небесами
Клянусь: кто жизньнюю своей
Играл пред сумрачным недугом,
Чтоб ободрить угасший взор,
Клянусь, тот будет небу другом,
Каков бы ни был приговор
Земли слепой...

Д р у г

Мечты поэта —
Историк строгий гонит вас!

Увы! его раздался глас, * —
И где ж очарованье света!

П о э т

Да будет проклят правды свет,
Когда посредственности хладной,
Завистливой, к соблазну жадной,
Он угождает праздно! — Нет!
Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман...
Оставь герою сердце! Что же
Он будет без него? Тиран...

Д р у г

Утешься.....

29 сентября 1830
Москва.

**СТИХИ, СОЧИНЕННЫЕ НОЧЬЮ,
ВО ВРЕМЯ БЕССОННИЦЫ**

Мне не спится, нет огня;
Всюду мрак и сон докучный.
Ход часов лишь однозвучный
Раздается близ меня;
Парки бабье лепетанье,
Спящей ночи трепетанье,
Жизни мышья беготня...
Что тревожишь ты меня?
Что ты значишь, скучный шопот?
Укоризна, или ропот
Мной утраченного дня?
От меня чего ты хочешь?
Ты зовешь или пророчишь?
Я понять тебя хочу,
Смысла я в тебе ищу...

* Mémoires de Bourienne (Мемуары Бурьена). [Примечание Пушкина.]

В начале жизни школу помню я;
Там нас, детей беспечных, было много;
Неровная и резвая семья.

Смиренная, одетая убого,
Но видом величавая жена
Над школою надзор хранила строго.

Толпою нашу окружена,
Приятным, сладким голосом, бывало,
С младенцами беседует она.

Ее чела я помню покрывало
И очи светлые, как небеса.
Но я вникал в ее беседы мало.

Меня смущала строгая краса
Ее чела, спокойных уст и взоров,
И полные святыни словеса.

Дичась ее советов и укоров,
Я про себя превратно толковал
Понятный смысл правдивых разговоров,

И часто я украдкой убежал
В великолепный мрак чужого сада,
Под свод искусственный порфирных скал.

Там нежила меня теней прохлада;
Я предавал мечтам свой юный ум,
И праздномыслить было мне отрада.

Любил я светлых вод и листьев шум,
И белые в тени дерев кумиры,
И в ликах их печать недвижных дум.

Всё — мраморные циркули и лиры,
Мечи и свитки в мраморных руках,
На главах лавры, на плечах порфиры —

Всё наводило сладкий некий страх
Мне на сердце; и слезы вдохновенья;
При виде их, рождались на глазах.

Другие два чудесные творенья
Влекли меня волшебною красой:
То были двух бесов изображенья.

Один (Дельфийский идол) лик молодой —
Был гневен, полон гордости ужасной,
И весь дышал он силой неземной.

Другой женообразный, сладострастный,
Сомнительный и лживый идеал —
Волшебный демон — лживый, но прекрасный.

Пред ним сам себя я забывал;
В груди младое сердце билось — холод
Бежал по мне и кудри подымал.

Безвестных наслаждений томный голод
Меня терзал — уныние и лень
Меня сковали — тщетно был я молод —

Средь отроков я молча целый день
Бродил угрюмый — всё кумиры сада
На душу мне свою бросали тень.

НА ПЕРЕВОД ИЛИАДЫ

Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи;
Старца великого тень чую смущенной душой.

* * *

Для берегов отчизны дальней
Ты покидала край чужой;
В час незабвенный, в час печальный
Я долго плакал пред тобой.
Мои хладающие руки

Тебя старались удержать;
Томленья страшного разлуки
Мой стон молил не прерывать.

Но ты от горького лобзанья
Свои уста оторвала;
Из края мрачного изгнанья
Ты в край иной меня звала.
Ты говорила: «В день свиданья
Под небом вечно голубым,
В тени олив, любви лобзанья
Мы вновь, мой друг, соединим».

Но там, увы, где неба своды
Сияют в блеске голубом,
Где тень олив легла на воды,
Заснула ты последним сном.
Твоя краса, твои страданья
Исчезли в урне гробовой —
А с ними поцелуй свиданья...
Но жду его; он за тобой...

* * *

Пред испанкой благородной
Двое рыцарей стоят,
Оба смело и свободно
В очи прямо ей глядят.
Блещут оба красотою,
Оба сердцем горячи,
Оба мощною рукою
Оперлися на мечи.

Жизни им она дороже
И, как слава, им мила:
Но один ей мил — кого же
Дева сердцем избрала?
«Кто, реши, любим тобою?»
Оба деве говорят
И с надеждой молодою
В очи прямо ей глядят.

Here's, a health to thee, Mary. •

Пью за здравие Мери,
Милой Мери моей.
Тихо запер я двери
И один без гостей
Пью за здравие Мери.

Можно краше быть Мери,
Краше Мери моей,
Этой маленькой пери;
Но нельзя быть милей
Резвой, ласковой Мери.

Будь же счастлива, Мери,
Солнце жизни моей!
Ни тоски, ни потери,
Ни ненастливых дней
Пусть не ведает Мери.

МОЯ РОДОСЛОВНАЯ

Смеясь жестоко над собратом,
Писаки русские, толпой,
Меня зовут аристократом.
Смотри, пожалуй, вздор какой!
Я не лейб-кучер, не асессор,
Я по кресту не дворянин,
Не академик, не профессор;
Я просто русский мещанин.

Понятна мне времен превратность,
Не прекословлю, право, ей:
У нас нова рождением знатность,
И чем новее, тем знатней.

* Твое здоровье, Мери.

Родов дряхлеющих обломок
(И по несчастью не один)
Бояр старинных я потомок;
Я, братцы, мелкий мещанин.

Не торговал мой дед блинами,
Не ваксил царских сапогов,
Не пел с придворными дьячками,
В князя не прыгал из хохлов,
И не был беглым он солдатом
Австрийских пудренных дружин;
Так мне ли быть аристократом?
Я, слава богу, мещанин.

Мой предок Рача мышцей бранной
Святому Невскому служил;
Его потомство гнев венчанный,
Иван IV, пощадил.
Водились Пушкины с царями;
Из них был славен не один,
Когда тягался с поляками
Нижегородский мещанин.

Смирив крамолу и коварство,
И ярость бранных непогод,
Когда Романовых на царство
Звал в грамоте своей народ,
Мы к оной руку приложили;
Нас жаловал страдальца сын,
Бывало, нами дорожили; *
Бывало... но — я мещанин.

Упрямства дух нам всем подгадил: **
В родню свою неукротим,
С Петром мой пращур не поладил
И был за то повешен им.
Его пример будь нам наукой:
Не любит споров властелин.

* Черновой вариант: Но нас Романовы забыли...
** Черновой вариант: Мятельный дух нам всем подгадил:

Счастливл князь Яков Долгорукий,
Умен покорный мещанин.

Мой дед, когда мятеж поднялся
Средь петергофского двора,
Как Миних, верен оставался
Паденью третьего Петра.
Попали в честь тогда Орловы,
А дед мой в крепость в карантин.
И присмирел наш род суровый,
И я родился мещанин.

Под гербовой моей печатью
Я кипу грамот схоронил,
И не якшаюсь с новой знатью,
И крови спесь угомонил.
Я грамотей и стихотворец,
Я Пушкин просто, не Мусин,
Я не богач, не царедворец;
Я сам большой, я мещанин.

Post scriptum. *

Решил Фиглярин, сидя дома,
Что черный дед мой Ганнибал
Был куплен за бутылку рома
И в руки шкиперу попал.

Сей шкипер был тот шкипер славный,
Кем наша двигнулась земля,
Кто придал мощно бег державный
Рулю родного корабля.

Сей шкипер деду был доступен,
И сходно купленный арап
Возрос усерден, неподкупен,
Царю наперсник, а не раб.

И был отец он Ганнибала,
Пред кем средь чесменских пучин

* Приписка.

Громада кораблей вспылала,
И пал впервые Наварин.

Решил Фиглярин вдохновенный:
Я во дворянстве мещанин;
Что ж он в семье своей почтенной?
Он?.. он в Мещанской дворянин.

* * *

Глухой глухого звал к суду судьи глухого;
Глухой кричал: «Моя им сведена корова!» —
«Помилуй, — возопил глухой тому в ответ: —
Сей пустошью владел еще покойный дед».

Судья решил: «Чтоб не было разврата,
Жените молодца, хоть девка виновата».

ЦЫГАНЫ

Над лесистыми берегами,
В час вечерней тишины,
Шум и песни под шатрами,
И огни разложены.

Здравствуй, счастливое племя!
Узнаю твои костры:
Я бы сам в иное время
Провождал сии шатры.

Завтра с первыми лучами
Ваш исчезнет вольный след,
Вы уйдете — но за вами
Не пойдет уж ваш поэт.

Он бродящие ночлеги
И проказы старины
Позабыл для сельской неги
И домашней тишины.

* * *

Мы рождены, мой брат названный,
Под одинаковой звездой.
Киприда, Феб и Вакх румяный
Играли нашею судьбой.

Явились мы рано оба
На ипподром, а не на торг,
Вблизи Державинского гроба,
И шумный встретил нас восторг.

Твой слог могучий и *
Какой-то дразнит пародист,
И стих надеждами <?> *
Жует беззубый журналист.

Но ты, сын Феба беззаботный,
Своих возвышенных затей
Не предавал рукой расчетной
Оценке хитрых торгашей.

В одних журналах нас <ругали,>
Упреки те же слышим мы,
Мы любим славу <?> да в б<окале>
Топить разгульные умы.

Избаловало нас начало,
И в гордой лености своей
Заботились мы оба мало
Судьбой гуляющих детей.

* * *

Когда порой воспоминанье
Грызет мне сердце в тишине,
И отдаленное страданье,

* Одно слово не разобрано.

Под сенью ветхой их вершин
Свобода юная возникла
На гробах Перикла
На мраморных Афин.

Страна героев и богов
Расторгла рабские вериги
При пенье пламенных стихов.
Тиртея, Байрона и Риги.

* * *

Опять увенчаны мы славой,
Опять кичливый враг сражен,
Решен в Арзруме спор кровавый,
В Эдырне мир провозглашен.

И дале двинулась Россия,
И юг державно облегла
В свои объятия тугие,
И пол Эвксина подняла.

* * *

Стою печален на кладбище.
Гляжу кругом — обнажено
Святое смерти пепелище
И степью лишь окружено.
И мимо вечного ночлега
Дорога сельская лежит,
По ней рабочая телега
 изредка стучит.
Одна равнина справа, слева,
Ни речки, ни холма, ни древа,
Кой-где чуть видятся кусты,
Немые камни и могилы
И деревянные кресты,
Однообразны и унылы.



А. С. Пушкин

Карандашный эскиз портрета работы В. Тройнина

МÉДОК

МÉДОК В УАЛЛАХ

Попутный веет ветер. — Идет корабль, —
Во всю длину развиты флаги, вздулись
Ветрила все, — идет, и пред кормой
Морская пена раздается. — Многим
Наполнилася грудь у всех пловцов —
Теперь, когда свершен опасный путь,
Родимый край они узрели снова;
Один стоит, вдаль устремляя взоры,
И в темных очерках ему (?) рисует
Мечта давно знакомые предметы,
Залив и мыс. — пока недвижны очи
Не заболят. Товарищу другой
Жмет руку и приветствует с отчизной,
И господа благодарит рыдая.
Другой, безмолвную творя молитву
Угоднику и деве пресвятой,
И милостынь, и дальних поколений
Старинные обеты обновляет,
Когда найдет он всё благополучно.
Задумчив, нем и ото всех далече
Сам Мёдок погружен в моленьях
О славном подвиге, то в снах надежды,
То в горестных предчувствиях и страхе.
Прекрасен вечер, и попутный ветер
Звучит меж вервей; корабль надежный быстро
Бежит, шумя, меж волн. Садится солнце.

* * *

Зачем я ею очарован?
Зачем расстаться должен с ней?
Когда б я не был избалован
Цыганской жизнью моей

Она глядит на вас так нежно,
Она лепечет так небрежно,
Она так тонко весела,
Ее глаза так полны чувством;
Вечор она с таким искусством
Из-под накрытого стола
Мне свою ножку подала.

* * *

Перед гробницею святой
Стою с поникшею главой.
Всё спит кругом. Одни лампы
Во мраке храма золотят
Столпов гранитные громады
И их знамен нависший ряд.

Под ними спит сей властелин,
Сей идол северных дружин,
Маститый страж страны державной,
Смиритель всех ее врагов,
Сей остальной из стаи славной
Екатерининских орлов.

В твоём гробу восторг живет!
Он русский глас нам издает;
Он нам твердит о той године,
Когда народной веры глас
Возвал к святой твоей седине:
«Иди, спасай!» Ты встал — и спас...

Внемли ж и днесь наш верный глас,
Встань, спаси царя и нас,
О грозный старец! На мгновенье
Явись у двери гробовой,
Явись, вдохни восторг и рвенье
Полкам, оставленным тобой!

Явись и дланию своей
Нам укажи в толпе вождей,

Кто твой наследник, твой избранный!
Но храм — в молчанье погружен,
И тих твоей гробницы бранной
Невозмутимый, вечный сон...

КЛЕВЕТНИКАМ РОССИИ

О чем шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?
Что возмутило вас? волнения Литвы?
Оставьте: это спор славян между собою,
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
Вопрос, которого не разрешите вы.

Уже давно между собою
Враждуют эти племена;
Не раз клонила под грозою
То их, то наша сторона.
Кто устоит в неравном споре:
Кичливый лях, иль верный росс?
Славянские ль ручьи сольются в русском море?
Оно ль иссякнет? вот вопрос.

Оставьте нас: вы не читали
Сии кровавые скрижали;
Вам непонятна, вам чужда
Сия семейная вражда;
Для вас безмолвны Кремль и Прага;
Бессмысленно прельщает вас
Борьбы отчаянной отвага —
И ненавидите вы нас...

За что ж? ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?

Вы грозны на словах — попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постеле,
Не в силах завинтить свой измайльский штык?
Иль русского царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижимого Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?
Так высылайте ж нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов.

БОРОДИНСКАЯ ГОДОВЩИНА

Великий день Бородина
Мы братской тризной поминая,
Твердили: «Шли же племена,
Бедой России угрожая;
Не вся ль Европа тут была?
А чья звезда ее вела!..
Но стали ж мы пятою твердой
И грудью приняли напор
Племен, послушных воле гордой,
И равен был неравный спор.

И что ж? свой бедственный побег,
Кичась, они забыли ныне;
Забыли русский штык и снег,
Погребший славу их в пустыне.
Знакомый пир их манит вновь —
Хмельна для них славянов кровь;
Но тяжко будет им похмелье;
Но долгод будет сон гостей
На тесном, кладном новоселье,
Под знаком северных полей!

Ступайте ж к нам: вас Русь зовет!
Но знайте, прошенные гости!
Уж Польша вас не поведет:
Через ее шагнете кости!..»
Сбылось — и в день Бородина
Вновь наши вторглись знамена
В проломы падшей вновь Варшавы;
И Польша, как бегущий полк,
Во прах бросает стяг кровавый —
И бунт раздавленный умолк.

В боренье падший невредим;
Врагов мы в прахе не топтали;
Мы не напомним ныне им
Того, что старые скрижали
Хранят в преданиях немых;
Мы не сождем Варшавы их;
Они народной Немезиды
Не узрят гневного лица
И не услышат песнь обиды
От лиры русского певца.

Но вы, мутители палат,
Легкоязычные витии;
Вы, черни бедственный набат,
Клеветники, враги России!
Что взяли вы?.. Еще ли россы
Больной, расслабленный колосс?
Еще ли северная слава
Пустая притча, лживый сон?
Скажите: скоро ль нам Варшава
Предпишет гордый свой закон?

Куда отвинем строй твердынь?
За Буг, до Ворсклы, до Лимана?
За кем останется Волянь?
За кем наследие Богдана?
Признав мятежные права,
От нас отторгнется ль Литва?
Наш Киев дрихлый, златоглавый,
Сей пращур русских городов,

Сроднит ли с буйною Варшавой
Святыню всех своих гробов?

Ваш бурный шум и хриплый крик
Смутили ль русского владыку?
Скажите, кто главой поник?
Кому венец: мечу иль крику?
Сильна ли Русь? Война и мор,
И бунт, и внешних бурь напор
Ее, беснуясь, потрясали —
Смотрите ж: всё стоит она!
А вокруг ее волненья пали —
И Польши участь решена...

Победа! сердцу сладкий час!
Россия! встань и возвышайся!
Греми восторгов общий глас!..
Но тише, тише раздавайся
Вокруг одра, где он лежит,
Могучий мститель злых обид,
Кто покорил вершины Тавра,
Пред кем смирилась Эривань,
Кому суворовского лавра
Венок сплела тройная брань.

Восстав из гроба своего,
Суворов видит плен Варшавы.
Вострепетала тень его
От блеска им начатой славы!
Благословляет он, герой,
Твое страданье, твой покой,
Твоих сподвижников отвагу
И весть триумфа твоего,
И с ней летящего за Прагу
Младого внука своего.

ЭХО

Ревет ли зверь в лесу глухом,
Трубит ли рог, гремит ли гром,
Поет ли дева за холмом, —

На всякий звук
Свой отклик в воздухе пустом
Родишь ты вдруг.

Ты внимлешь грохоту громов
И гласу бури и валов,
И крику сельских пастухов —
И плешь ответ;
Тебе ж нет отзыва... Таков
И ты, поэт!

* * *

Чем чаще празднует лицей
Свою святую годовщину,
Тем робче старый круг друзей
В семью стесняется едину,
Тем реже он; тем праздник наш
В своем веселии мрачнее;
Тем глуше звон заздравных чаш,
И наши песни тем грустнее. *

Так дуновенья бурь земных
И нас нечаянно касались,
И мы средь пиршеств молодых
Душою часто омрачались;
Мы возмужали; рок судил
И нам житейски испытанья,
И смерти дух средь нас ходил
И назначал свои закланья.

* В рукописи после первой строфы следует еще одна, зачеркнутая:

Давно ль, дровья?.. Но двадцать лет
Тому прошло, и что же вижу?
Того царя в живых уж нет;
Мы жгли Москву; был плен Парижу;
Угас в тюрьме Наполеон;
Воскресла греков древних слава;
С престола пал другой Бурбон;
Отбунтовала вновь Варшава.

Шесть мест упраздненных стоят,
Шести друзей не узрим боле;
Они разбросанные спят
Кто здесь, кто там на ратном поле,
Кто дома, кто в земле чужой,
Кого недуг, кого печали
Свели во мрак земли сырой,
И надо всеми мы рыдали.

И, мнится, очередь за мной;
Зовет меня мой Дельви́г милый,
Товарищ юности живой,
Товарищ юности унылой,
Товарищ песен молодых,
Пиров и чистых помышлений,
Туда, в толпу теней родных,
Навек от нас утекший гений.

Тесней, о милые друзья,
Тесней наш верный круг составим;
Почившим песнь окончил я,
Живых надеждою поздравим, —
Надеждою некогда опять
В пиру лицейском очутиться,
Всех остальных еще обнять
И новых жертв уж не страшиться.

* * *

Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам. *
Животворящая святыня.
Земля была б без них мертва,
Как пустыня
И как алтарь без божества.

* Далее зачеркнуто:

На них основано от века,
По воле бога самого,

Самостоянье человека,
Залог величия его.

Когда в объятия мои
Твой стройный стан я заключаю,
И речи нежные любви
Тебе с восторгом расточаю,
Безмолвна, от стесненных рук
Освобождая стан свой гибкий,
Ты отвечаешь, милый друг,
Мне недоверчивой улыбкой;
Прилежно в памяти храня
Измен печальные преданья,
Ты без участия и вниманья
Уныло слушаешь меня...
Клянусь коварные старанья
Преступной юности моей,
И встреч условных ожиданья
В садах, в безмолвии ночей.
Клянусь речей любовный шопот,
Стихов таинственный напев,
И ласки легковерных дев,
И слезы их, и поздний ропот.

МАЛЬЧИКУ

(из КАТУЛЛА)

Minister vetuli puer. *

Пьяной горечью Фалерна
Чашу мне наполни, мальчик:
Так Постумия велела,
Председательница оргий.
Вы же, воды, прочь теките
И струей, вину враждебной,
Строгих постников поите:
Чистый нам любезен Бахус.

В АЛЬБОМ А. О. СМИРНОВОЙ

В тревоге пестрой и бесплодной
Большого света и двора
Я сохранила взгляд холодный,
Простое сердце, ум свободный,
И правды пламень благородный
И, как дитя, была добра;
Смеялась над толпою вздорной,
Судила здраво и светло
И шутки злости самой черной
Писала прямо набело.

* Первые слова стихотворения: «Прислужник-мальчик, старым фалернским наполни мне чашу».

В АЛЬБОМ КЖ. А. Д. АБАМЕЛЕК

Когда-то (помню с умилением)
Я смел вас нянчить с восхищеньем;
Вы были дивное дитя.
Вы расцвели: с благоговеньем
Вам ныне поклоняюсь я.
За вами сердцем и глазами
С невольным трепетом ношусь
И вашей славою, и вами,
Как нянька старая, горжусь.

* * *

С Гомером долго ты беседовал один,
Тебя мы долго ожидали,
И светел ты сошел с таинственных вершин
И вынес нам свои скрижали.
И что ж? ты нас обрел в пустыне под шатром
В безумстве суетного пира,
Поющих буйну песнь и скачущих кругом
От нас созданного кумира.
Смутились мы, твоих чуждаясь лучей.
В порыве гнева и печали
Ты проклял ли, пророк, бессмысленных детей,
Разбил ли ты свои скрижали?
О, ты не проклял нас. Ты любишь с высоты
Скрываться в тень долины малой,
Ты любишь гром небес, но также внемлешь ты
Жужжанью пчел над розой алой.
Таков прямой поэт. Он сетует душой
На пышных играх Мельпомены
И улыбается забаве площадной
И вольности лубочной сцены;
То Рим его зовет, то гордый Илион,
То скалы старца Оссана,
И с дивной легкостью меж тем летает он
Вослед Бовы иль Еруслана.

КРАСАВИЦА

(В АЛЬБОМ ГР. Е. М. ЗАВАДОВСКОЙ)

Всё в ней гармония, всё диво,
Всё выше мира и страстей:
Она покоится стыдливо
В красе торжественной своей;
Она кругом себя взирает:
Ей нет соперниц, нет подруг;
Красавиц наших бледный круг
В ее сиянье исчезает.

Куда бы ты ни поспешал,
Хоть на любовное свиданье,
Какое б в сердце ни питал
Ты сокровенное мечтанье;
Но, встретясь с ней, смущенный, ты
Вдруг остановишься невольно,
Благоговевя богомольно
Перед святыней красоты.

К ГР. Н. Л. СОЛЛОГУБ

Нет, нет, не должен я, не смею, не могу
Волнениям любви безумно предаваться;
Спокойствие мое я строго берегу
И сердцу не даю пылать и забываться;
Нет, полно мне любить; но почему ж порой
Не погружуся я в минутное мечтанье,
Когда нечаянно пройдет передо мной
Младое, чистое, небесное созданье,
Пройдет и скроется?.. Ужель не можно мне,
Любуясь девою в печальном сладострастье,
Глазами следовать за ней и в тишине
Благословлять ее на радость и на счастье
И сердцем ей желать все блага жизни сей,
Веселый мир души, беспечные досуги,
Всё — даже счастье того, кто избран ей,
Кто милой деве даст название сурпуги.

В АЛЬБОМ

Гонимый рока самовластьем
От пышной далеко Москвы,
Я буду вспоминать с участием
То место, где цветете вы.
Столичный шум меня тревожит;
Всегда в нем грустно я живу —
И ваша память только может
Одна напомнить мне Москву.

В АЛЬБОМ

Долго сих листов заветных
Не касался я пером;
Виноват, в столе моем
Уж давно без строк приветных
Залежался твой альбом.
В именины, очень кстати,
Пожелать тебе я рад
Много всякой благодати,
Много сладостных отрад,
На Парнасе много грома,
В жизни много тихих дней
И на совести твоей
Ни единого альбома
От красавиц, от друзей.

* * *

Желал я душу освежить,
Бывалой жизнью пожить
В забвеньи сладком близ друзей
Минувшей юности моей.

Я ехал в дальние края;
Не шумных жаждал я,
Искал не злата, не честей
В пыли средь копий и огней,
Не

* * *

I

И дале мы пошли — и страх обнял меня.
Бесенок, под себя поджав свое копыто,
Крутил ростовщика у адского огня.

Горячий капал жир в копченое корыто,
И лопал на огне печеный ростовщик.
А я: «Поведай мне: в сей казни что сокрыто?»

Виргилий мне: «Мой сын, сей казни смысл велик;
Одно стяжание имел всегда в предмете,
Жир должников своих сосал сей злой старик

И их безжалостно крутил на вашем свете».
Тут грешник жареный протяжно возопил:
«О, если б я теперь тонул в холодной Лете!

О, если б зимний дождь мне кожу остудил!
Сто на сто я терплю: процент неизмеримый!» —
Тут звучно лопнул он — я взоры потушил.

Тогда услышал я (о диво!) запах скверный,
Как будто тухлое разбилось яйцо,
Иль карантинный страж курил жаровней серной.

Я, нос себе зажав, отворотил лицо.
Но мудрый вождь тащил меня всё дале, дале —
И, камень приподняв за медное кольцо,

Сошли мы вниз — и я узрел себя в подвале.

II

Тогда я демонов увидел черный рой,
Подобный издали ватаге муравьиной —
И бесы тешились проклятою игрой:

До свода адского касалась вершиной
Гора стеклянная, как Арарат остра —
И разлегалась над темною равниной.

И бесы, раскалив как жар чугун ядра,
Пустили вниз его смердящими когтями;
Ядро запрыгало — и гладкая гора,

Звеня, растрескалась колючими звездами —
Тогда других чертей нетерпеливый рой
За жертвой кинулся с ужасными словами.

Схватили под-руки жену с ее сестрой,
И заголили их, и вниз пихнули с криком —
И обе, сидючи, пустились вниз стрелой...

Порыв отчаянья я внял в их вопле диком;
Стекло их резало, впивалось в тело им —
А бесы прыгали в веселии великом.

Я издали глядел — смущением томим.

* * *

Юноша! скромно пируй, и шумную Вакхову влагу
С трезвой струею воды, с мудрой беседой мешай.

ВИНО

ион хиосский

Злое дитя, старик молодой, властелин добронравный,
Гордость внушающий нам, шумный заступник любви!

* * *

ИЗ КСЕНОФАНА КОЛОФОНСКОГО

Чистый лоснится пол; стеклянные чаши блистают;
Все уж увенчаны гости; иной обоняет, зажмурясь,
Лада на сладостный дым; другой открывает амфору,
Запах веселый вина разливая далече; сосуды
Светлой студеной воды, золотистые хлебы, янтарный
Мед и сыр молодой: всё готово; весь убран цветами
Жертвенник. Хоры поют. Но в начале трапезы, о други,
Должно творить возлиянья, вещать благовещие речи,
Должно бессмертных молить, да сподобят нас чистой душою
Правду блюсти: ведь оно ж и легче. Теперь мы приступим:
Каждый в меру свою напивайся. Беда не велика
В ночь, возвращаясь домой, на раба опираться; но слава
Гостю, который за чашей беседует мудро и тихо!

* * *

ИЗ АФЕНЕЯ

Славная флейта, Феон, здесь лежит. Предводителя хоров
Старец, ослепший от лет, некогда Скирпал родил
И, вдохновенный, нарек младенца Феоном. За чашей
Сладостно Вакха и муз славил приятный Феон.
Славил и Вáтала он, молодого красавца: прохожий!
Мимо гробницы спеша, вымолви: здравствуй, Феон!

ГУСАР

Скребницей чистил он коня,
А сам ворчал, сердясь не в меру:
«Занес же вражий дух меня
На распроклятую квартиру!

Здесь человека берегут,
Как на турецкой перестрелке,
Насилу щей пустых дадут,
А уж не думай о горелке.

Здесь на тебя, как лютый зверь,
Глядит хозяин, а с хозяйкой...
Небось, не выманишь за дверь
Ее ни честью, ни нагайкой.

То ль дело Киев! Что за край!
Валяются сами в рот галушки.
Вином хоть пару поддавай;
А молодицы — молодухи!

Ей-ей, не жаль отдать души
За взгляд красотки *чернобривой*.
Одним, одним не хороши...» —
«А чем же? Расскажи, служивый».

Он стал крутить свой длинный ус
И начал: «Молвить без обиды,

Ты, хлопец, может быть, не трус,
Да глуп, а мы видали виды.

Ну, слушай: около Днепра
Стоял наш полк; моя хозяйка
Была пригожа и добра,
А муж-то помер, замечай-ка.

Вот с ней и подружился я;
Живем согласно, так что любо:
Прибью — Марусинька моя
Словечка не промолвит грубо;

Напьюсь — уложит, и сама
Опохмелиться приготовит;
Мигну бывало: эй, кума! —
Кума ни в чем не прекословит.

Кажись, о чем бы горевать?
Живи в довольстве, безобидно!
Да нет: я вздумал ревновать.
Что делать? враг попутал, видно.

Зачем бы ей, стал думать я,
Вставать до петухов! Кто просит?
Шалит Марусинька моя;
Куда ее лукавый носит?

Я стал присматривать за ней.
Раз я лежу, глаза прищуря
(А ночь была тюрьмы черней,
И на дворе шумела буря),

И слышу: кумушка моя
С печи тихохонько прыгнула,
Слегка обшарила меня,
Присела к печке, уголь вздула

И свечку тонкую зажгла,
Да в уголок пошла со свечкой,
Там с полки скляночку взяла
И, сев на веник перед печкой,

Разделась донага; потом
Из склянки три раза хлебнула,
И вдруг на венике верхом
Взвилась в трубу и улизнула.

Эге! смекнул в минуту я:
Кума-то, видно, басурманка!
Постой, голубушка моя!..
И с печки слез — и вижу: склянка.

Понюхал: кисло! что за дрянь!
Плеснул я на пол: что за чудо?
Прыгнул ухват, за ним лохань,
И оба в печь. Я вижу: худо!

Гляжу: под лавкой дремлет кот;
И на него я брызнул склянкой —
Как фыркнет он! я: брысь!.. И вот
И он туда же за лоханкой.

Я ну кропить во все углы
С плеча, во что уж ни попало;
И всё: горшки, скамьи, столы,
Марш! марш! — всё в печку поскакало.

Кой чорт! подумал я: теперь
И мы попробуем! и духом
Всю склянку выпил; верь не верь —
Но кверху вдруг взвился я пухом.

Стремглав лечу, лечу, лечу,
Куда, не помню и не знаю;
Лишь встречным звездочкам кричу:
Правей!.. и наземь упадаю.

Гляжу: гора. На той горе
Кипят котлы; поют, играют,
Свистят и в мерзостной игре
Жида с лягушкою венчают.

Я плюнул и сказать хотел...
И вдруг бежит моя Маруся:

«Домой! кто звал тебя, пострел?
Тебя съедят!» Но я, не струсая:

«Домой? да! чорта с два! почему
Мне знать дорогу!» — «Ах, он странный!
Вот кочерга, садись верхом
И убирайся, окаянный». —

«Чтоб я, я сел на кочергу,
Гусар присяжный! Ах ты, дура!
Или предался я врагу?
Иль у тебя двойная шкура?

Коня!» — «На, дурень, вот и конь».
И точно: конь передо мною,
Скребет копытом, весь огонь,
Дугою шея, хвост трубою.

«Садись». — Вот сел я на коня,
Ищу уздечки, нет уздечки.
Как взвился, как понес меня —
И очутились мы у печки.

Гляжу: всё так же; сам же я
Сажу верхом, и подо мною
Не конь — а старая скамья:
Вот что случается порою».

И стал крутить он длинный ус,
Прибавя: «Молвить без обиды,
Ты, хлопец, может быть, не трус,
Да глуп, а мы видали виды».

* * *

В славной в Муромской земле,
В Карачарове селе
Жил-был дьяк с своей дьячихой.
Под конец их жизни тихой
Бог отраду им послал —
Сына им он даровал.

Французских рифмачей суровый судия,
 О классик Депрео, к тебе взываю я:
 Хотя, постигнутый неумолимым роком,
 В своем отечестве престал ты быть пророком,
 Хоть дерзких умников простерлася рука
 На лавры твоего густого парика,
 Хотя растрепанный новейшей вольной школой,
 К ней в гневе обратил ты свой затылок голый;
 Но я молю тебя, поклонник верный твой —
 Будь мне вожатаем. Дерзаю за тобой
 Занять кафедру ту, с которой в прежни лета
 Ты слишком превознес достоинства сонета,
 Но где торжествовал твой здравый приговор
 Минувших лет глупцам, вранью тогдашних пор.*

О вы, которые, восчувствовав отвагу,
 Хватаете перо, мараете бумагу,
 Тисненью предавать труды свои спеша,
 Пойдите, наперед узнайте, чем душа
 У вас исполнена — прямым ли вдохновеньем,
 Иль необдуманном одним поползновеньем,
 И чешется у вас рука по пустякам,
 Иль вам не верят в долг, а деньги нужны вам.
 Не лучше ль стало б вам с надеждою смиренной
 Заняться службою гражданской или военной,
 С хваленым Жуковым табачный торг завести
 И снискивать в труде себе барыш и честь,
 Чем объявления совать во все журналы,
 Иль пошлые кропать вельможе мадригалы —
 Над меньшей собратьей в поту лица острясь,
 Иль выше мнения отважно вознесясь,
 С оплошной публики (как некие писаки)
 Подписку собирать — на будущие враки.

* Далее зачеркнуто:

Новейшие врали вралей старинных стоят,
 И слишком уж меня их бредни беспокоят.
 Ужели всё молчать, да слушать. О беда!..
 Нет, всё им выскажу, однажды навсегда.

* * *

Чу, пушки грянули! крылатых кораблей
Покрылась облаком станица боевая.
Корабль вбежал в Неву — и вот среди зыбей
Качаясь плавает, как лебедь молодая.

Ллжует русский флот — широкая Нева
Без ветра в ясный день глубоко взволновалась,
Широкая волна плеснула в острова

* * *

Сват Иван, как пить мы станем,
Непреренно уж помянем
Трех Матрен, Луку с Петром,
Да Пахомовну потом.
Мы живали с ними дружно,
Уж как хочешь — будь что будь —
Этих надо помянуть,
Помянуть нам этих нужно.
Поминать, так поминать,
Начинать, так начинать,
Лить, так лить, разлив разливом.
Начинай же, сват, пора.
Трех Матрен, Луку, Петра
В первый раз помянем пивом,
А Пахомовну потом
Пирогамн да вином,
Да еще ее помянем:
Сказки сказывать мы станем —
Мастерица ведь была
И откуда что брала!
А куды разумны шулки,
Приговорки, прибаутки,
Небылицы, былины
Православной старины!..
Слушать, так душе отраднo.
Кто придумал их так ладно?
И не пил бы и не ел,
Всё бы слушал да глядел..

Стариков когда-нибудь
(Жаль, теперь нам недосужно)
Надо будет помянуть —
Помянуть и этих нужно...
Слушай, сват, начну первой,
Сказка будет за тобой.

БУДРЫС И ЕГО СЫНОВЬЯ

(из мицкевича)

Три у Будрыса сына, как и он, три литвина.
Он пришел толковать с молодцами.
«Дети! седла чините, лошадей проводите,
Да точите мечи с бердышами.

Справедлива весть эта: на три стороны света
Три замышлены в Вильне похода.
Паз идет на поляков, а Ольгерд на прусаков,
А на русских Кестут воевода.

Люди вы молодые, силачи удалые
(Да хранят вас литовские боги!),
Нынче сам я не еду, вас я шлю на победу;
Трое вас, вот и три вам дороги.

Будет всем по награде: пусть один в Новеграде
Поживится от русских добычей.
Жены их, как в окладах, в драгоценных нарядах;
Домы полны; богат их обычай.

А другой от прусаков, от проклятых крыжаков,
Может много достать дорогого,
Денег с целого света, сукон яркого цвета,
Янтаря — что песку там морского.

Третий с Пазом на ляха пусть ударит без страха.
В Польше мало богатства и блеску,
Сабель взять там не худо; но уж верно оттуда
Привезет он мне на дом невестку.

Нет на свете царицы краше польской девицы.
Весела, что котенок у печки,
И, как роза, румяна, а бела, что сметана;
Очи светятся, будто две свечки!

Был я, дети, моложе, в Польшу съездил я тоже
И оттуда привез себе женку;
Вот и век доживаю, а всегда вспоминаю
Про нее, как гляжу в ту сторонку».

Сыновья с ним простились и в дорогу пустились.
Ждет, пождет их старик домовитый,
Дни за днями проводит, ни один не приходит.
Будрыс думал: уж видно убиты!

Снег на землю валится, сын дорогою мчится,
И под буркою ноша большая.
«Чем тебя наделили? что там? Ге! не рубли ли?»
«Нет, отец мой; полячка младая».

Снег пушистый валится; всадник с ношею мчится,
Черной буркой ее покрывая.
«Что под буркой такое? Не сукно ли цветное?»
«Нет, отец мой; полячка младая».

Снег на землю валится, третий с ношею мчится,
Черной буркой ее прикрывает.
Старый Будрыс хлопочет и спросить уж не хочет,
А гостей на три свадьбы сзывает.

ВОЕВОДА

(из мицкевича)

Поздно ночью из похода
Воротился воевода.
Он слугам велит молчать;
В спальню кинулся к постеле;
Дернул полог... В самом деле!
Никого; пуста кровать.

И, мрачнее черной ночи,
Он потушил грозны очи,
Стал крутить свой сивый ус...
Рукава назад закинул,
Вышел вон, замок задвинул;
«Гей, ты, — кликнул, — чортов кус!

А зачем нет у забора
Ни собаки, ни затвора?
Я вас, хамы!.. Дай ружье;
Приготовь мешок, веревку,
Да сними с гвоздя винтовку.
Ну, за мною!.. Я ж ее!»

Пан и хлопец под забором
Тихим крадутся дозором,
Входят в сад — и сквозь ветвей,
На скамейке у фонтана,
В белом платье, видят, панна
И мужчина перед ней.

Говорит он: «Всё пропало,
Чем лишь только я, бывало,
Наслаждался, что любил:
Белой груди воздыханье,
Нежной ручки пожиманье, —
Воевода всё купил.

Сколько лет тобой страдал я,
Сколько лет тебя искал я!
От меня ты отперлась.
Не искал он, не страдал он,
Серебром лишь побряцал он,
И ему ты отдалась.

Я скакал во мраке ночи
Милой панны видеть очи,
Руку нежную пожать;
Пожелать для новоселья
Много лет ей и веселья,
И потом навек бежать».

Панна плачет и тоскует,
Он колени ей целует,
А сквозь ветви те глядят,
Ружья наземь опустили,
По патрону откусили,
Вбили шомполом заряд.

Подступили осторожно.
«Пан мой, целить мне не можно, —
Бедный хлопец прошептал: —
Ветер, что ли, плачут очи,
Дрожь берет, в руках нет мочи,
Порох в полку не попал». —

«Тише ты, гайдучье племя!
Будешь плакать, дай мне время!
Сышь на полку... Наводи...
Цель ей в лоб. Левее... выше.
С паном справлюсь сам. Потипше,
Прежде я; ты погоди».

Выстрел по саду раздался.
Хлопец пана не дождался;
Воевода закричал,
Воевода пошатнулся...
Хлопец, видно, промахнулся:
Прямо в лоб ему попал.

ОСЕНЬ

ОТРЫВОК

Чего в мой дремлющий тогда не входят ум?
Державин.

I

Октябрь уж наступил — уж роща отряхает
Последние листья с нагих своих ветвей;
Дожнул осенний хлад — дорога промерзает.
Журча еще бежит за мельницу ручей,
Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает

В отъезжие поля с охотою своей,
И страждут озими от бешеной забавы,
И будит лай собак уснувшие дубравы.

II

Теперь моя пора: я не люблю весны;
Скучна мне оттепель; вонь, грязь — весной я болен;
Кровь бродит; чувства, ум тоскою стеснены,
Суровою зимой я более доволен.
Люблю ее снега; в присутствии луны
Как легкий бег саней с подругой быстр и волен,
Когда под сободем, согрета и свежа,
Она вам руку жмет, пылая и дрожа!

III

Как весело, обув железом острым ноги,
Скользить по зеркалу стоячих, ровных рек!
А зимних праздников блестящие тревоги?..
Но надо знать и честь; полгода снег да снег,
Ведь это, наконец, и жителю берлоги,
Медведю, надоест. Нельзя же целый век
Кататься нам в санях с Армидами младыми,
Иль киснуть у печей за стеклами двойными.

IV

Ох, лето красное! любил бы я тебя,
Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи.
Ты, все душевные способности губя,
Нас мучишь; как поля, мы страждем от засухи;
Лишь как бы напоить, да освежить себя —
Иной в нас мысли нет, и жаль зимы старухи,
И, проводив ее блинами и вином,
Поминки ей творим мороженым и льдом.

V

Дни поздней осени бранят обыкновенно,
Но мне она мила, читатель дорогой,
Красою тихою, блистающей смиренно.

Так нелюбимое дитя в семье родной
К себе меня влечет. Сказать вам откровенно,
Из годовых времен я рад лишь ей одной;
В ней много доброго; любовник не тщеславный,
Я нечто в ней нашел мечтою своенравной.

VI

Как это объяснить? Мне нравится она,
Как, вероятно, вам чахоточная дева
Порою нравится. На смерть осуждена,
Бедняжка клонится без ропота, без гнева.
Улыбка на устах увянувших видна;
Могильной пропасти она не слышит зева;
Играет на лице еще багровый цвет.
Она жива еще сегодня, завтра нет.

VII

Унылая пора! очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.

VIII

И с каждой осенью я расцветаю вновь;
Здоровью моему полезен русский холод,
К привычкам моему бытия вновь чувствую любовь:
Чредой слетает сон, чредой находит голод;
Легко и радостно играет в сердце кровь,
Желания кипят — я снова счастлив, молод,
Я снова жизни полн — таков мой организм
(Извольте мне простить ненужный прозаизм).

IX

Ведут ко мне коня; в раздолии открытом,
Махая гривую, он всадника несет,

И звонко под его блистающим копытом
Звенит промерзлый дол, и трескается лед.
Но гаснет краткий день — и в камельке забытом
Огонь опять горит — то яркий свет лиет,
То тлеет медленно — а я пред ним читаю,
Иль думы долгие в душе моей питаю.

X

И забываю мир, и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет, и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться, наконец, свободным проявленьем,
И тут ко мне идет незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей. *

XI

И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы легкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута — и стихи свободно потекут.

* После X октавы в белой рукописи следует еще одна, зачеркнутая октава (XI по первоначальному счету):

Стальные рыцари, угрюмые султаны,
Монахи, карлики, Арапские цари,
Гречанки с четками, корсары, богдыханы,
Испанцы в епанчах, жида, богатыри,
Царевны пленные и злые великаны,
И вы, любимицы златой моей зари,
Вы, барышни мои с открытыми плечами,
С висками гладкими и томными очами.

Далее в черновой рукописи следует набросок еще одной строфы:

И тут беру перо. Друзья мои, поэты
(Не вам я говорю — *** и ***,
И не тебе, *** <Вильгельм?>, живая жертва Леты,
И даже не тебе — — — — —)
И тут беру перо — и предметы

Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге,
Но чу! — матросы вдруг кидаются, ползут
Вверх, вниз — и паруса надулись, ветра полны;
Громада двинулась и рассекает волны.

XII

Плывет. Куда ж нам плыть?..

.
.

* * *

Когда б не смутное влеченье
Чего-то жаждущей души,
Я здесь остался б, — наслажденье
Вкушать в неведомой тиши:
Забыл бы всех желаний трепет,
Мечтою б целый мир назвал
И всё бы слушал этот лепет,
Всё б эти ножки целовал...

* * * 

В поле чистом серебрится
Снег волнистый и рябой,
Светит месяц, тройка мчится
По дороге столбовой.

Пой: в часы дорожной скуки,
На дороге, в тьме <ночной>
Сладки мне родные звуки
Звонкой песни удалой.

Пой, ямщик! Я молча, жадно
Буду слушать голос твой.
Месяц ясный светит хладно,
Грустен ветра дальний вой.

Пой: «лучинушка, лучина,
Что же не светло горить?»

* * *

Царь увидел пред собой
Столик с шахматной доской.
Вот на шахматную доску
Рать солдатиков из воску
Он расставил в стройный ряд;
Грозно куколки стоят, —
Подбоченясь на лошадках,
В коленкоровых перчатках,
В оперенных шишачках,
С палашами на плечах.

Тут лохань перед собою
Приказав налить водою,
Плавать он пустил по ней
Тьму прекрасных кораблей,
Барок, каторог и шлюпок
Из ореховых скорлупок.
А прозрачные ветрильца —
Будто бабочкины крыльца,

* * *

Колокольчики звенят,
Барабанчики гремят,
А люди-то, люди —
Ой люшеньки-люди!
А люди-то, люди
На цыганочку глядят.

А цыганочка-то пляшет,
В барабанчики-то бьет
И ширинкой алой машет,
Заливается-поет:
«Я певунья, я певица,
Ворожить я мастерица».

Не дай мне бог сойти с ума.
Нет, легче посох и сума;
Нет, легче труд и глад.
Не то, чтоб разумом моим
Я дорожил; не то, чтоб с ним
Расстаться был не рад:

Когда б оставили меня
На воле, как бы резво я
Пустился в темный лес!
Я пел бы в пламенном бреду,
Я забывался бы в чаду
Нестройных, чудных грез.

И я б заслушивался волн,
И я глядел бы, счастья поля,
В пустые небеса;
И силен, волен был бы я,
Как вихорь, роющий поля,
Ломающий леса.

Да вот беда: сойди с ума,
И страшен будешь, как чума,
Как раз тебя запрут,
Посадят на цепь дурака,
И сквозь решетку, как зверка,
Дразнить тебя придут.

А ночью слышать буду я
Не голос яркий соловья,
Не шум глухой дубров —
А крик товарищей моих
Да брань зрителей ночных,
Да визг, да звон оков.

* * *

Я возмужал среди печальных бурь,
И дней моих поток, так долго мутный,
Теперь утих дремотою минутной
И отразил небесную лазурь.

Надолго ли?.. а кажется прошли
Дни мрачных бурь, дни горьких искушений

* * *

Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит,
Летят за днями дни, и каждый час уносит
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоём
Предполагаем жить, и глядь, как раз умрем.
На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля —
Давно, усталый раб, замыслил я побег.
В обитель дальнюю трудов и чистых нег.*

* * *

Он между нами жил
Средь племени ему чужого, злобы
В душе своей к нам не питал, и мы
Его любили. Мирный, благосклонный,

* В рукописи за стихотворением следует прозаическая программа:
«Юность не имеет нужды в at home, зрелый возраст унасеется своего уединения. Блажен, кто находит подругу — тогда удались он д о м о й».
«О скоро ли перенесу я мои пенаты в деревню — поля, сад, крестьяне, книги; труды поэтические, семья, любовь etc. — религия, смерть».

Он посещал беседы наши. С ним
 Делились мы и чистыми мечтами,
 И песнями (он вдохновен был свыше
 И свысока взирал на жизнь). Нередко
 Он говорил о временах грядущих,
 Когда народы, распри позабыв,
 В великую семью соединятся.
 Мы жадно слушали поэта. Он
 Ушел на запад — и благословеньем
 Его мы проводили. — Но теперь
 Наш мирный гость нам стал врагом — и ядом
 Стихи свои, в угоду черни буйной,
 Он напоет. — Издали до нас
 Доходит голос злобного поэта,
 Знакомый голос!.. боже! осяяти
 В нем сердце правдою твоей и миром
 И возврати ему

* * *

Везувий зев открыл — дым хлынул клубом —
 пламя
 Широко развилось, как боевое знамя.
 Земля волнуется — с шатнувшихся колонн
 Кумиры падают! Народ, гонимый страхом,
 Под каменным дождем, под воспаленным прахом,
 Толпами стар и млад бежит из града вон.

* * *

Ты просвещением свой разум осветил,
 Ты правды лик увидел,
 И нежно чуждые народы возлюбил,
 И мудро свой возненавидел.

Когда безмолвная Варшава поднялась,
 И бунтом оьянела,
 И смертная борьба началась
 При клике: «Польша не згинела!» —

Ты руки потирал от наших неудач,
С лукавым смехом слушал вести,
Когда бежали вскачь,
И гибло знамя нашей чести.

Варшавы бунт
в дыме, —
Поникнул ты и горько возрыдал,
Как жид о Иерусалиме.

ИЗ АНАКРЕОНА

ОТРЫВОК

Узнают коней ретивых
По их выжженным таврам;
Узнают парфян кичливых
По высоким клобукам;
Я любовников счастливых
Узнаю по их глазам:
В них сияет пламень томный —
Наслаждений знак нескромный.

ИЗ АНАКРЕОНА

ОДА LVI

Поредели, побелели
Кудри, честь главы моей,
Зубы в деснах ослабели,
И потух огонь очей;
Сладкой жизни мне немного
Провожать осталось дней;
Парка счет ведет им строго,
Тартар тени ждет моей.
Страшен хлад подземна свода:
Вход в него для всех открыт.
Из него же нет исхода.—
Всяк сойдет и там забыт.

Что же сухо в чаше дно?
 Наливай мне, мальчик резвый;
 Только пьяное вино
 Раствори водою трезвой.
 Мы не скифы, не люблю,
 Други, пьянствовать бесчинно,
 Нет, за чашей я пою
 Иль беседую невинно.

* * *

Что белеется на горе зеленой?
 Снег ли то, али лебеди белы?
 Был бы снег — он уж бы растаял,
 Были б лебеди — они б улетели.
 То не снег и не лебеди белы,
 А шатер Аги Асан-аги.
 Он лежит в нем, весь люто изранен.
 Посетили его сестра и мать,
 Его любя не могла, застыдилась.
 Как ему от боли стало легче,
 Приказал он своей верной любе:
 «Ты не ищи меня в моем белом доме,
 В белом доме, ни во всем моем роде».
 Как услышала мужнины речи,
 Запечалилась бедная Кадуна.
 Она слышит, на двор едут кони;
 Побежала Асан-агница,
 Хочет броситься, бедная, в окошко,
 За ней вопят две малые дочки.
 «Воротися, милая мать наша,
 Приехал не муж Асан-ага,
 А приехал брат твой Пинтор».
 Воротилась Асан-агница,
 И повисла она брату на шею —
 «Братец милый, что за посрамленье!
 Меня гонят от пятерых деток».

Янко Вуич грамоту пишет
 Георгию, своему побратиму:
 «Берегися, Черный Георгий,
 Над тобой подымается туча —
 Ярый враг извести тебя хочет,
 Недруг хитрый, Милош Обренович —
 Он в Хотин подослал потаенно
 Янка младшего с Павлом».

Осердился Георгий Петрович,
 Засверкали черные очи,
 Нахмурились черные брови —

ПОЛКОВОДЕЦ

У русского царя в чертогах есть палата:
 Она не золотом, не бархатом богата;
 Не в ней алмаз венца хранится за стеклом;
 Но сверху донизу, во всю длину, кругом,
 Своею кистью свободной и широкой
 Ее разрисовал художник быстрокий.
 Тут нет ни сельских нимф, ни девственных мадон,
 Ни фавнов с чашами, ни полногрудых жен,
 Ни плясок, ни охот, — а всё плащи, да шпаги,
 Да лица, полные воинственной отваги.
 Толпою тесною художник поместил
 Сюда начальников народных наших сил,
 Покрытых славою чудесного похода
 И вечной памятью двенадцатого года.
 Нередко медленно меж ими я брожу
 И на знакомые их образы гляжу,
 И, мнится, слышу их воинственные клики.
 Из них уж многих нет; другие, коих лики
 Еще так молоды на ярком полотне,
 Уже состарелись и никнут в тишине
 Главою лавровой.

Но в сей толпе суровой
 Один меня влечет всех больше. С думой новой
 Всегда остановлюсь пред ним и не свожу

С него моих очей. Чем долее гляжу,
Тем более томим я грустию тяжелой.

Он писан во весь рост. Чело, как череп голый,
Высоко лоснится, и, мнится, залегла
Там грусть великая. Кругом — густая мгла;
За ним — военный стан. Спокойный и угрюмый,
Он, кажется, глядит с презрительною думой.
Свою ли точно мысль художник обнажил,
Когда он таковым его изобразил,
Или невольное то было вдохновенье, —
Но Доу дал ему такое выраженье.

О вождь несчастливый! Суров был жребий твой:
Всё в жертву ты принес земле тебе чужой.
Непроницаемый для взгляда черни дикой,
В молчанье шел один ты с мыслию великой,
И, в имени твоём звук чуждый не влюбля,
Своими криками преследуя тебя,
Народ, таинственно спасаемый тобою,
Ругался над твоей священной сединою.
И тот, чей острый ум тебя и постигал,
В угоду им тебя лукаво порицал...
И долго, укреплен могущим убежденьем,
Ты был непоколебим пред общим заблужденьем;
И на полу-пути был должен наконец
Безмолвно уступить и лавровый венец,
И власть, и замысел, обдуманый глубоко, —
И в полковых рядах сокрыться одиноко.
Там устарелый вождь, как ратник молодой,
Свинца веселый свист слышавший впервой,
Бросался ты в огонь, ища желанной смерти, —
Вотще! —

.....*

* В беловой рукописи, вместо точек и предшествующих трех стихов:

Там устарелый вождь, как ратник молодой,
Искал ты умереть средь сечи боевой.
Вотще! Соперник твой стяжал успех, сокрытый
В главе твоей. — А ты, непризнанный, забытый,
Винovníк торжества, почил — и в смертный час
С преврещеньем может быть воспоинал о нас.

О люди! жалкий род, достойный слез и смеха!
Жрецы минутного, поклонники успеха!
Как часто мимо вас проходит человек,
Над кем ругается слепой и буйный век,
Но чей высокий лик в грядущем поколенье
Поэта приведет в восторг и в умиление!

ТУЧА

Последняя туча рассеянной бури!
Одна ты несешься по ясной лазури,
Одна ты наводишь унылую тень,
Одна ты печалишь ликующий день.

Ты небо недавно кругом облегала,
И молния грозно тебя обвивала;
И ты издавала таинственный гром
И алчную землю поила дождем.

Довольно, сокройся! Пора миновалась,
Земля освежилась, и буря промчалась,
И ветер, лаская листочки деревьев,
Тебя с успокоенных гонит небес.

ИЗ А. ШЕНЬЕ

Покров, упитанный язвительною кровью,
Кентавра мстящий дар, ревнивою любовью
Алкиду передан. Алкид его приял.
В божественной крови яд быстрый побежал;
Се — ярый мученик, в ночи скитаясь, воеет;
Стопами тяжкими вершину Эты роет;
Гнет, ломит деревья; исторженные пни
Высоко громоздит; его рукой они
В костер навалены; он их зажег; он всходит;
Недвижим на костре он в небо взор возводит;

Под мышцей палица; в ногах немейский лев
Разостлан. Дунул ветер; поднялся свист и рев;
Трещит горит костер; и вскоре пламя, воя,
Уносит к небесам бессмертный дух героя.

* * *

I

На Испанию родную
Призвал мавра Юлиан.
Граф за личную обиду
Мстить решил на королю.

Дочь его Родриг похитил,
Обесчестил древний род;
Вот за что отчизну предал
Раздраженный Юлиан.

Мавры хлынули потоком
На испанские брега.
Царство готфов миновалось,
И с престола пал Родриг.

Готфы пали не бесславно:
Храбро бились они,
Долго мавры сомневались,
Одолеет кто кого.

Восемь дней сраженье длилось;
Спор решен был наконец:
Был на поле битвы пойман
Конь любимый короля;

Шлем и меч его тяжелый
Были найдены в пыли.
Короля почли убитым,
И никто не пожалел.

Но Родриг в живых остался,
Бился он все восемь дней —
Он сперва хотел победы,
Там уж смерти лишь алкал.

И кругом свистали стрелы,
Не касаясь его,
Мимо дротики летали,
Шлема меч не рассекал.

Напоследок, утомившись,
Соскочил с коня Родриг,
Меч с запекшеюся кровью
От ладони отклеил,

Бросил об землю шлем пернатый
И блестящую броню.
И спасенный мраком ночи
С поля битвы он ушел.

II

От полей кровавой битвы
Удаляется Родриг;
Короля опередила
Весть о гибели его.

Стариков и бедных женщин
На распутьях видит он;
Все толпой бегут от мавров
К укрепленным городам.

Все, рыдая, молят бога
О спасеньи христиан;
Все Родрига проклинают;
И проклятья слышит он.

И с поникшею главою
Мимо их пройти спешит,
И не смеет даже молвить:
Помолитесь за него.

Наконец на берег моря
В третий день приходит он,
Видит темную пещеру
На пустынном берегу.

В той пещере он находит
Крест и заступ — а в углу
Труп отшельника и яму,
Им изрытую давно.

Тленье трупа не коснулось;
Он лежит, окостенев,
Ожидая погребенья
И молитвы христиан.

Труп отшельника с молитвой
Схоронил король,
И в пещере поселился
Над могилою его.

Он питаться стал плодами
И водою ключевой;
И себе могилу вырыл,
Как предшественник его.

Короля в уединенье
Стал лукавый искушать
И виденьями ночными
Краткий сон его мутить.

Он проснется с содроганьем,
Полон страха и стыда;
Упоение соблазна
Сокрушает дух его.

Хочет он молиться богу
И не может: бес ему
Шепчет в уши звуки битвы
Или страстные слова.

Он в унынии проводит
Дни и ночи, недвижим,

Устремив глаза на море,
Поминая старину.

III

Но отшельник, чьи останки
Он усердно схоронил,
За него перед всевышним
Застуился в небесах.

В сновиденье благодатном
Он явился королю,
Белой ризою одеян
И сияньем окружен.

И король, объятый страхом,
Ниц повергся перед ним,
И вещал ему угодник:
«Встань — и миру вновь явись».

Ты венец утратил царский,
Но господь руке твоей
Даст победу над врагами,
А душе твоей покой».

Пробудясь, господню волю
Сердцем он уразумел,
И, с пустынею расставшись,
В путь отправился король.

СТРАННИК

I

Однажды странствуя среди долины дикой,
Незапно был объят я скорбью великой
И тяжким бременем подавлен и согбен,
Как тот, кто на суде в убийстве уличен.
Потупя голову, в тоске ломая руки,
Я в воплях изливал души пронзенной муки

И горько повторял, метаясь, как больной:
«Что делать буду я? что станется со мной?»

II

И так я сетуя в свой дом пришел обратно,
Уныние мое всем было непонятно.
При детях и жене сначала я был тих
И мысли мрачные хотел таить от них;
Но скорбь час от часу меня стесняла боле;
И сердце наконец раскрыл я поневоле.

«О горе, горе нам! Вы, дети, ты, жена! —
Сказал я, — ведайте: моя душа полна
Тоской и ужасом; мучительное бремя
Тягчит меня. Идет! уж близко, близко время:
Наш город пламени и ветрам обречен;
Он в угли и золу вдруг будет обращен,
И мы погибнем все, коль не успеем вскоре
Обрести убежище; а где? о горе, горе!»

III

Мои домашние в смущение пришли
И здравый ум во мне расстроенным почли.
Но думали, что ночь и сна покой целебный
Охолодят во мне болезни жар враждебный.
Я лег, но во всю ночь всё плакал и вздыхал
И ни на миг очей тяжелых не смыкал.
Понутру я один сидел, оставя ложе.
Они пришли ко мне; на их вопрос я то же,
Что прежде, говорил. Тут ближние мои,
Не доверяя мне, за: должное почли
Прибегнуть к строгости. Они с ожесточеньем
Меня на правый путь и бранью и презреньем
Старались обратить. Но я, не внемля им,
Всё плакал и вздыхал, унынием тесним.
И наконец они от крика утомились
И от меня, махнув рукою, отступились,
Как от безумного, чья речь и дикий плач
Докучны, и кому суровый нужен врач.

IV

Пошел я вновь бродить — уныньем изнывая
И взоры вокруг себя со страхом обращая,
Как узник, из тюрьмы замысливший побег,
Иль путник, до дождя спешащий на ночлег.
Духовный труженик — влача свою веригу,
Я встретил юношу, читающего книгу.
Он тихо поднял взор — и спросил меня,
О чем, бродя один, так горько плачу я?
И я в ответ ему: «Познай мой жребий злобный:
Я осужден на смерть и позван в суд загробный —
И вот о чем крушусь: к суду я не готов,
И смерть меня страшит».

— «Коль жребий твой таков, —
Он возразил, — и ты так жалок в самом деле,
Чего ж ты ждешь? зачем не убежишь отселе?»
И я: «Куда ж бежать? какой мне выбрать путь?»
Тогда: «Не видишь ли, скажи, чего-нибудь», —
Сказал мне юноша, даль указуя перстом.
Я оком стал глядеть болезненно-отверстым,
Как от бельма врачом избавленный слепец.
«Я вижу некий свет», — сказал я наконец.
«Иди ж, — он продолжал: — держись сего ты света;
Пусть будет он тебе единственная мета,
Пока ты тесных врат спасенья не достиг,
Ступай!» И я бежать пустился в тот же миг.

V

Побег мой произвел в семье моей тревогу,
И дети и жена кричали мне с порогу,
Чтоб воротился я скорее. Крики их
На площадь привлекли приятелей моих;
Один бранил меня, другой моей супруге
Советы подавал, иной жалел о друге,
Кто поносил меня, кто на смех подымал,
Кто силой воротить соседям предлагал;
Иные уж за мной гнались; но я тем боле
Спешил перебежать городское поле,
Дабы скорей узреть — оставя те места,
Спасенья верный путь и тесные врата.

* * *

Кто из богов мне возвратил
Того, с кем первые походы
И браней ужас я делил,
Когда за призраком свободы
Нас Брут отчаянный водил?
С кем я тревоги боевые
В шатре за чашей забывал
И кудри, плющем увитые,
Сирийским мирром умащал?

Ты помнишь час ужасный битвы,
Когда я, трепетный квирит,
Бежал, нечестно брося щит,
Творя обеты и молитвы?
Как я боялся! как бежал!
Но Эрмий сам незапной тучей
Меня покрыл и вдаль умчал
И спас от смерти неминучей.

А ты, любимец первый мой,
Ты снова в битвах очутился...
И ныне в Рим ты возвратился,
В мой домик темный и простой.
Садись под сень моих пенатов.
Давайте чаши. Не жалей
Ни вин моих, ни ароматов —
Венки готовы. Мальчик! лей.
Теперь некстати воздержанье:
Как дикий скиф, хочу я пить.
Я с другом праздную свиданье,
Я рад рассудок утопить.

* * *

В Академии Наук
Заседает князь Дундук.
Говорят, не подобает
Дундуку такая честь;
Почему ж он заседает?
Потому что - - есть.

〈СЦЕНЫ ИЗ РЫЦАРСКИХ ВРЕМЕН〉

Жил на свете рыцарь бедный,
Молчаливый и простой,
С виду сумрачный и бледный,
Духом смелый и прямой.

Он имел одно виденье,
Непостижное уму,
И глубоко впечатленье
В сердце врезалось ему.

С той поры, сгорев душою,
Он на женщин не смотрел;
Он до гроба ни с одною
Молвить слова не хотел.

Он себе на шею четки
Вместо шарфа навязал,
И с лица стальной решетки
Ни пред кем не подымал.

Полон чистою любовью,
Верен сладостной мечте,
А. М. D. своею кровью
Начертал он на щите.

И в пустынях Палестины,
Между тем как по скалам
Мчались в битву паладины
Именуя громко дам, —

Lumen coelum, sancta rosa!
Восклицал он, дик и рьян,
И как гром его угроза
Поражала мусульман.

Возвратясь в свой замок дальный,
Жил он строго заключен;
Всё безмолвный, всё печальный,
Как безумец умер он.

〈СЦЕНЫ ИЗ РЫЦАРСКИХ ВРЕМЕН〉

Воротился ночью мельник...
Женка! что за сапоги?
Ах ты, пьяница, бездельник!
Где ты видишь сапоги?
Иль мутит тебя лукавый?
Это ведра. Ведро? право? —
Вот уж сорок лет живу,
Ни во сне, ни на яву
Не видал до этих пор
Я на ведрах медных шпор.

* * *

В мои осенние досуги,
В те дни, как любо мне писать,
Вы мне советуете, други,
Роман забытый продолжать.
Вы говорите справедливо,
Что странно, даже неучтиво,
Роман, не конча, перервать,
Отдав его уже в печать;
Что должно своего героя
Как бы то ни было женить,
По крайней мере, уморить,
И лица прочие пристроя,
Отдав им дружеский поклон,
Из лабиринта вывести вон.

Вы говорите: «Слава богу,
Покамест твой Онегин жив,
Роман не кончен. Понемногу
Иди вперед, не будь ленив.
Со славы, вняв ее призванью,
Сбирай оброк хвалой и бранью,
Рисуй и франтов городских
И милых барышень своих,
Войну и бал, дворец и хату,
Чердак и келью, и харем,

И с нашей публики меж тем
Бери умеренную плату —
За книжку по пяти рублей —
Налог не тягостный, ей-ей».

* * *

Если ехать вам случится
От **** на *,
Там, где Л. струится
Меж отлогих берегов,
От большой дороги справа,
Между полем и селом,
Вам представится дубрава,
Слева сад и барский дом.

Летом, в час, как за холмами
Утопает солнца шар,
Дом облит его лучами,
Окна блещут, как пожар.

За оградой на балконе
Деревенская семья

И ездой скучая мимо
развлечен,
Путник смотрит невидимо
На семейство, на балкон.

* * *

Я думал, сердце позабыло
Способность легкую страдать,
Я говорил: тому, что было,
Уж не бывать! уж не бывать!

Прошли восторги и печали
И легковерные мечты...
Но вот опять затрепетали
Пред мощной властью красоты.

Гляжу, предаться не дерзая
Волненью грустному души, —

* * *

...Вновь я посетил
Тот уголок земли, где я провел
Изгнанником два года незаметных.
Уж десять лет ушло с тех пор — и много
Переменилось в жизни для меня,
И сам, покорный общему закону,
Переменился я — но здесь опять
Минувшее меня объемлет живо,
И, кажется, вечер еще бродил
Я в этих рощах.

Вот опальный домик,
Где жил я с бедной нянею моей.
Уже старушки нет — уж за стеною
Не слышу я шагов ее тяжелых,
Ни кропотливого ее дозора. *

* В черновых рукописях далее следовало:

И вечером — при завыванье бури —
Ее расказов, мною ватверженных
От малых лет, но всё приятных сердцу,
Как шум привычный и однообразный
Любимого ручья. Вот уголок,
Где для меня безмолвно протекали
Часы печальных дум иль снов отрадных,
Часы трудов, свободно-вдохновенных.
Здесь погруженный в
Я размышлял о грустных заблужденьях,
Об испытаньях юности моей,
О строгом заслуженном осужденье,
О мнимой дружбе, сердце уязвившей
Мне горькой или ветреной обидой.

Вот холм лесистый, над которым часто
Я сиживал недвижим и глядел
На озеро, вспоминая с грустью
Иные берега, иные волны...
Меж нив золотых и пажитей зеленых
Оно, синее, стелется широко, *
Через его неведомые воды
Плывет рыбак и тянет за собой
Убогий невод. По берегам отлогим
Рассеяны деревни — там за ними
Скривилась мельница, насилиу крылья
Ворочая при ветре...

На границе
Владений дедовских, на месте том,
Где в гору подымается дорога,
Изрытая дождями, три сосны
Стоят — одна поодаль, две другие
Друг к дружке близко, — здесь, когда их мимо
Я проезжал верхом при свете лунном,
Знакомым шумом шорох их вершин
Меня приветствовал. По той дороге
Теперь поехал я, и пред собою

Другая редакция того же отрывка:

Не буду вечером под шумом бури
Внимать ее рассказам, затверженным
С издегства мной, но всё приятным уху,
Как песни родины или страницы
Любимой старой книги, в коих знаем
Какое слово где стоит.

Бывало

Ее простые речи и советы
И полные любовью укоривны
Усталое мне сердце ободряли
Отрадой тихой. Я тогда еще
Был молод...

* Далее в рукописи следовало:

Ни тяжкие суда торговли алчной,
Ни корабли, носители громов,
〈Ему〉 кормой не рассекают вод.
У берегов его не видит путник
Ни гавани кипящей, ни скалы,
Венчанной башнями — оно синее
В своих берегах пустынных и смиренных.

Увидел их опять. Они всё те же,
Всё тот же их, знакомый уху, шорох —
Но около корней их устарелых
(Где некогда всё было пусто, голо)
Теперь младая роща разрослась,
Зеленая семья; кусты теснятся
Под сенью их, как дети. А вдали
Стоит один угрюмый их товарищ,
Как старый холостяк, и вокруг него
Попрежнему всё пусто.

Здравствуй, племя

Младое, незнакомое! не я
Увижу твой могучий поздний возраст,
Когда перерастешь моих знакомцев
И старую главу их заслонишь
От глаз прохожего. Но пусть мой внук
Услышит ваш приветный шум, когда,
С приятельской беседы возвращаясь,
Веселых и приятных мыслей полон,
Пройдет он мимо вас во мраке ночи
И обо мне вспомнит. *

* Окончание стихотворения в черновых рукописях:

В разны годы
Под вашу сень, Михайловские рощи,
Являлся я. Когда вы в первый раз
Увидели меня, тогда я был
Веселым юношей; беспечно, жадно
Я приступал лишь только к жизни. Годы
Промчались — и вы во мне прияли
Усталого пришельца. Я еще
Был молод, но уже судьба и страсти
Меня борьбой неравной истомили.
Утрачена в бесплодных испытаньях
Была моя пылающая младость,
И бурные кипели в сердце чувства
И ненависть и грехи мести бледной.
Но здесь меня таинственным щитом
Святое провиденье осенило,
Поэзия, как ангел-утешитель,
Спасла меня, и я воскрес душой.

Первоначальная редакция того же отрывка, начиная со стиха: «Утрачена в бесплодных испытаньях»:

Я был ожесточен; в уныньи часто
Я помышлял о юности моей,
Утраченной в бесплодных испытаньях,

* * *

О бедность! Затвердил я наконец
Урок твой горький! Чем я заслужил
Твое гоненье, властелин враждебный,
Довольства враг, суровый сна мутитель?

Что делал я, когда я был богат,
О том упоминать я не намерен:
В молчании добро должно твориться,
Но нечего об этом толковать.

Здесь пищу я найду для дум моих,
Я чувствую, что не совсем погиб
Я с участью моей —

Садится солнце —

* * *

Поэт идет: открыты вежды,
Но он не видит никого;
А между тем за край одежды
Прохожий дергает его...
«Скажи: зачем без цели бродишь?»
Едва достиг ты высоты
И вот уж долу взор низводишь
И низойти стремишься ты.
На стройный мир ты смотришь смутно;
Бесплодный жар тебя томит,
Предмет ничтожный поминутно
Тебя тревожит и манит,
Стремиться к небу должен гений;
Обязан истинный поэт
Для вдохновенных песнопений
Избрать возвышенный предмет *

О строгости заслуженных упреков,
О дружбе, заплатившей мне обидой
За жар души доверчивой и нежной,
И горькие кипели в сердце чувства.

* В черновой рукописи имеется такое продолжение стихотворения:

Таков поэт: как Аквилон
Что хочет, то и носит он.

* * *

Когда владыка ассирийский
Народы казнию казнил,
И Олоферн весь край азийский
Его деснице покорил, —
Высок смиреньем терпеливым
И крепок верой в бога сил,
Перед сатрапом горделивым
Израил выи не склонил;
Во все пределы Иудеи
Проникнул трепет. Иереи
Одели вретищем алтарь;
Главу покрыв золой и прахом,
Народ завыл, объятый страхом,
И вял ему всевышний царь.

Притек сатрап к ущельям горным
И зрит: их узкие врата
Замком замкнуты непокорным,
Стеной, как поясом узорным,
Препоясалась высота.
И над тесниной торжествуя,
Как муж на страже, в тишине,
Стоит, белеясь, Ветилуя
В недостижимой вышине.

Сатрап смутился изумленный,
И гнев в нем душу помрачил,
И свой совет разноплеменный
Он любопытный спросил:
«Кто сей народ? — и что их сила
И кто им вождь и отчего
Сердца их дерзость воспалила,
И их надежды на кого?» —

Орлу подобно, он слетает,
И не спросясь ни у кого,
Как Дездемона, избирает
Кумир для сердца своего.

И встал тогда сынов Аммона
Военачальник Ахиор
И рек, и Олоферн со трона
К нему склонил и слух и взор.

НА ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ ЛУКУЛЛА

ПОДРАЖАНИЕ ЛАТИНСКОМУ

Ты угасал, богач молодой!
Ты слышал плач друзей печальных.
Уж смерть являлась за тобой
В дверях сеней твоих хрустальных.
Она, как втершийся с утра
Займодавец терпеливый,
Торча в передней молчаливой,
Не трогалась с ковра.

В померкшей комнате твоей
Врачи угрюмые шептались.
Твоих нахлебников, цирцей
Смущеньем лица омрачались;
Вздыхали верные рабы
И за тебя богов молили,
Не зная в страхе, что сулили
Им тайные судьбы.

А между тем наследник твой,
Как ворон к мертвечине падкий,
Бледнел и трясся над тобой,
Знобим стяжанья лихорадкой.
Уже скупой его сургуч
Пятнал замки твоей конторы;
И мнил загресть он злата горы
В пыли бумажных куч.

Он мнил: «теперь уж у вельмож
Не стану нянчить ребятишек;
Я сам вельможа буду тож,
В подвалах, благо, есть излишек.

Теперь мне честность — трын-трава!
Жену обсчитывать не буду
И воровать уже забуду
Казенные дрова!»

Но ты воскрес. Твои друзья,
В ладони хлопая, ликуют;
Рабы, как добрая семья,
Друг друга в радости целуют;
Бодрится врач, подняв очки;
Гробовый мастер взоры клонит;
А вместе с ним приказчик гонит
Наследника в толчки.

Так жизнь тебе возвращена
Со всею прелестью своею;
Смотри: бесценный дар она;
Умей же пользоваться ею;
Укрась ее; года летят,
Пора! Введи в свои чертоги
Жену красавицу — и боги
Ваш брак благословят.

* * *

От меня вечер Леила
Равнодушно уходила.
Я сказал: «Постой! куда?»
А она мне возразила:
«Голова твоя седа».
Я насмешнице нескромной
Отвечал: «Всему пора!
То, что было мускус темный,
Стало нынче камфора».
Но Леила неудачным
Посмеялася речам
И сказала: «Знаешь сам:
Сладок мускус новобрачным,
Камфора годна гробам».

ПИР ПЕТРА ПЕРВОГО

Над Невою резво вьются
Флаги пестрые судов;
Звучно с лодок раздаются
Песни дружные гребцов;
В царском доме пир веселый;
Речь гостей хмельна, шумна;
И Нева пальбой тяжелой
Далеко потрясена.

Что пирует царь великий
В Питербурге-городке?
Отчего пальба и клики
И эскадра на реке?
Озарен ли честью новой
Русский штык иль русский флаг?
Побежден ли швед суровый?
Мира ль просит грозный враг?

Иль в отъятый край у шведа
Прибыл Брантов утлый бот,
И пошел навстречу деда
Всей семьей наш юный флот,
И воинственные внуки
Стали в строй пред стариком,
И раздался в честь Науки
Песен хор и пушек гром?

Годовщину ли Полтавы
Торжествует государь,
День, как жизнь своей державы
Спас от Карла русский царь?
Родила ль Екатерина?
Именинница ль она,
Чудотворца-исполина
Чернобровая жена?

Нет! Он с подданным мирится;
Виноватому вину
Отпуская, веселится;
Кружку пенит с ним одну;

И в чело его целует,
Светел сердцем и лицом;
И прощенье торжествует,
Как победу над врагом.

Оттого-то шум и клики
В Питербурге-городке,
И пальба, и гром музыки,
И эскадра на реке;
Оттого-то в час веселый
Чаша царская полна,
И Нева пальбой тяжелой
Далеко потрясена.

* * *

Альфонс садится на коня;
Ему хозяин держит стремя.
«Сеньор, послушайте меня:
Пускаться в путь теперь не время;
В горах опасно, ночь близка,
Другая вента далека.
Останьтесь здесь: готов вам ужин;
В камине разложен огонь;
Постеля есть, покой вам нужен,
А к стойлу тянется ваш конь». —
«Мне путешествие привычно
И днем и ночью — был бы путь, —
Тот отвечает, — неприлично
Бояться мне чего-нибудь.
Я дворянин: ни чорт, ни воры
Не могут удержать меня,
Когда спешу на службу я». —
И дон Альфонс коню дал шпоры,
И едет рысью. Перед ним
Одна идет дорога в горы
Ущельем тесным и глухим.
Вот выезжает он в долину;
Какую ж видит он картину?
Кругом пустыня, дичь и голь,

А в стороне торчит глаголь,
И на глаголе том два тела
Висят. Закаркав, отлетела
Ватага черная ворон,
Лишь только к ним подъехал он.
То были трупы двух гитанов,
Двух славных братьев-атаманов,
Давно повешенных и там
Оставленных в пример ворам.
Дождями небо их мочило,
А солнце знойное сушило,
Пустынный ветер их качал,
Клевать их ворон прилетал.
И шла молва в простом народе,
Что, обрываясь по ночам,
Они до утра на свободе
Гуляли, мстя своим врагам.

Альфонсов конь всхрапел и боком
Прошел их мимо, и потом
Понесся резво, легким скоком,
С своим бесстрашным седоком.

И дон Альфонс далече скачет

* * *

Царей потомок, Меценат,
Мой покровитель стародавний,
Иные колесницу мчат
В ристалище под пылью славной
И, заповеданной оградой
Касаясь жгучим колесом,
Победной ждут себе награды
И делят с божеством.

Другие на свою главу
Сбирают титла знамениты;
Непостоянные квириды
Им продают молву.

ПОДРАЖАНИЕ АРАБСКОМУ

Отрок милый, отрок нежный,
Не стыдись, навек ты мой;
Тот же в нас огонь мятежный,
Жизнью мы живем одной.
Не боюсь я насмешек —
Мы сдвоились меж собой,
Мы точь-в-точь двойной орешек
Под единой скорлупой.

* * *

Юношу, горько рыдая, ревнивая дева бранила.
К ней на плечо преклонен, юноша вдруг задремал.
Дева тотчас умолкла, сон его легкий лелея,
И улыбалась ему, тихие слезы лия.

* * *

На это скажут мне с улыбкою неверной:
Смотрите, вы поэт уклонный, лицемерный,
Вы нас морочите — вам слава не нужна,
Смешной и суетной вам кажется она:
Зачем же пишете? — Я? для себя. — За что же
Печатаете вы? — Для денег. — Ах, мой боже!
Как стыдно! — Почему ж?

* * *

Бог веселый винограда
Позволяет нам три чаши
Выпивать в пиру вечернем.
Первую во имя граций
Обнаженных и стыдливых;
Посвящается вторая
Краснощекому здоровью,
Третья дружбе многолетней.

Мудрый после третьей чаши
Все венки с главы слагает
И творит уж возлиянья
Благодатному Морфею.

ОТРЫВОК

Не розу пафосскую,
Росой оживленную,
Я ныне пою;
Не розу феосскую,
Вином окропленную,
Стихами хвалю;
Но розу счастливую,
На персях увядшую
Элизы моей...

* * *

— Не видала ль, девица,
Коня моего?
— Я видала, видала
Коня твоего.
— Куда, красна девица,
Мой конь пробежал?
— Твой конь пробежал
На Дунай реку —

Бежал твой конь,
Тебя проклинал

* * *

Еще в ребячестве бессмысленно лукавом
Я встретил старика с плешивой головой,
С очами быстрыми, зеркалом мысли зыбкой,
С устами, сжатыми наморщенной улыбкой.

Д. В. ДАВЫДОВУ

ПРИ ПОСЫЛКЕ «ИСТОРИИ ПУГАЧЕВСКОГО БУНТА»

Тебе певцу, тебе герою!
 Не удалось мне за тобою
 При громе пушечном, в огне
 Скакать на бешеном коне.
 Наездник смиренного Пегаса,
 Носил я старого Парнаса
 Из моды вышедший мундир:
 Но и по этой службе трудной,
 И тут — о мой наездник чудный,
 Ты мой отец и командир.
 Вот мой Пугач; при первом взгляде
 Он виден: плут, казак прямой;
 В передовом твоём отряде
 Урядник был бы он лихой.

ХУДОЖНИКУ

Грустен и весел вхожу, ваятель, в твою мастерскую:
 Гипсу ты мысли даешь, мрамор послушен тебе;
 Сколько богов и богинь, и героев!.. Вот Зевс
 громовержец,
 Вот исподлобья глядит, дуя в цевницу, сатир.
 Здесь зачинатель Барклай, а здесь совершитель Кутузов,
 Тут Аполлон-идеал, там Ниобея-печаль...
 Весело мне. Но меж тем в толпе молчаливых кумиров
 Грустен гуляю: со мной доброго Дельвига нет;
 В темной могиле почил художников друг и советник.
 Как бы он обнял тебя! Как бы гордился тобой!

* * *

Напрасно я бегу к сионским высотам,
Грех алчный гонится за мною по пятам;
Так, ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий,
Голодный лев следит оленя бег пахучий.

ИЗ ПИНДЕМОНТИ

Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова;
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспоривать налоги,
Или мешать царям друг с другом воевать;
И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.
Всё это, видите ль, *слова, слова, слова.* *
Иные, лучшие мне дороги права;
Иная, лучшая потребна мне свобода:
Зависеть от царя, зависеть от народа —
Не всё ли нам равно? Бог с ними. Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать, для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи,
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья.
Вот счастье! вот права...

* * *

Отцы-пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольных бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв.

* Hamlet. [Примечание Пушкина.]

Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей —
Но дай мне зреть мои, о боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.

* * *

Когда за городом, задумчив, я брожу
И на публичное кладбище захожу,
Решетки, столбики, нарядные гробницы,
Под коими гниют все мертвецы столицы,
В болоте кое-как стесненные рядком,
Как гости жадные за нищенским столом,
Купцов, чиновников усопших мавзолей,
Дешевого резца нелепые затеи,
Над ними надписи и в прозе и в стихах
О добродетелях, о службе и чинах;
По старом рогаче вдовицы плач амурный,
Ворами со столбов отвинченные урны,
Могилы склизкие, которы также тут
Зеваючи жильцов к себе на утро ждут —
Такие смутные мне мысли всё наводит,
Что злое на меня уныние находит.
Хоть плюнуть да бежать.

Но как же люблю мне
Осеннею порой, в вечерней тишине,
В деревне посещать кладбище родовое,
Где дремлют мертвые в торжественном покое.
Там неукрашенным могилам есть простор;
К ним ночью темною не лезет бледный вор;
Близ камней вековых, покрытых желтым мохом,
Проходит селянин с молитвой и со вздохом;

На место праздных урн и мелких пирамид,
Безносых гениев, растрепанных харит
Стоит широко дуб над важными гробами,
Колеблясь и шумя... *

* * *

Exegi monumentum. **

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит —
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий
Тунгуз, и друг степей калмык.

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал. ***

Веленью божию, о Муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,

* В рукописи помета: «14 августа. Каменный остров».

** Я воздвиг памятник.

*** Первоначальная редакция четвертой строфы:

И долго буду тем любезен я народу,
Что звуки новые для песен я обрел,
Что вслед Радищеву восславил я свободу
И милосердие воспел.

Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспаривай глупца. *

* * *

От западных морей до самых врат восточных
Не многие умы от благ прямых и прочных
Зло могут отличить... рассудок редко нам
Внушает

«Пошли мне долгу жизнь и многие года!»
Зевеса вот о чем и всюду и всегда
Привыкли вы молить — но сколькими бедами
Исполнен долог век! Во-первых, как рубцами
Лицо морщинами покроеся — оно
превращено

Мартышка старая
Которая в лесах Табрации
Кривляясь чешется

* * *

Ценитель умственных творений исполинских,
Друг бардов английских, любовник муз латинских
Ты к мощной древности опять меня манишь.
Ты снова мне велишь,
Простясь с мечтой и с бледным (?) идеалом,
Я приготовился бороться с Ювеном,
Чьи строгие стихи, неопытный поэт,
Стихами перевести я было дал обет;
Но, развернув его суровые творенья,
Не мог я одолеть пугливого смущенья...
Стихи бесстыдные Прияпами торчат,
В них звуки странною гармонией трещат

* В рукописи помета: «1836. Авг. 21. Кам. остр.».

РОДОСЛОВНАЯ МОЕГО ГЕРОЯ

ОТРЫВОК ИЗ САТИРИЧЕСКОЙ ПОЭМЫ

Начнем ab ovo: *

Мой Езерский
Происходил от тех вождей,
Чей в древни веки парус дерзкий
Поработил брега морей.
Одульф, его начальник рода,
Вельми бе грозен воевода
(Гласит софийский хронограф).
При Ольге сын его Варлаф
Приял крещение в Цареграде
С приданным греческой княжны.
От них два сына рождены,
Якуб и Дорофей. В засаде
Убит Якуб, а Дорофей
Родил двенадцать сыновей.

Ондрей, по прозвищу Езерский,
Родил Ивана да Илью
И в лавре схимился Печерской.
Отсель фамилию свою
Ведут Езерские. При Калке
Один из них был схвачен в свалке,
А там раздавлен, как комар,
Задами тяжкими татар.
Зато со славой, хоть с уроном,
Другой Езерский, Елизар,
Упился кровию татар,
Между Непрядвою и Доном
Ударя с тыла в табор их
С дружиной суздальцев своих.

В века старинной нашей славы,
Как и в худые времена,
Крамомл и смут во дни кровавы
Блестят Езерских имена.
Они и в войске, и в совете,

* От самого корня.

На воеводстве, и в ответе *
Служили доблестно царям.
Из них Езерский Варлаам
Гордыней славился боярской;
За спор то с тем он, то с другим
С большим бесчестьем выводим
Бывал из-за трапезы царской,
Но снова шел под тяжкий гнев
И умер, Сидких *пересев*. **

Когда от Думы величавой
Приял Романов свой венец,
Как под отеческой державой
Русь отдохнула наконец,
А наши вóроги смирились,
Тогда Езерские явились
В великой силе при дворе.
При императоре Петре...
Но извините: статья может,
Читатель, вам я досадил;
Ваш ум дух века просветил,
Вас спесь дворянская не гложет,
И нужды нет вам никакой
До вашей книги родовой.

Кто б ни был ваш родоначальник,
Мстислав, князь Курбский, иль Ермак,
Или Митюшка целовальник,
Вам всё равно. Конечно, так:
Вы презираете отцами,
Их славой, честью, правами
Великодушно и умно;
Вы отреклись от них давно,
Прямого просвещенья ради,
Гордясь (как общей пользы друг)
Красою *собственных заслуг*,
Звездой двоюродного дяди,
Иль приглашением на бал
Туда, где дед ваш не бывал.

* В посольстве. [Примечание Пушкина.]

** *Пересеть кого* — старинное выражение, значит занять место выше.
[Примечание Пушкина.]

Я сам — хоть в книжках и словесно
Собратья надо мной трунят —
Я мещанин, как вам известно,
И в этом смысле демократ;
Но каюсь: новый Ходаковский, *
Люблю от бабушки московской
Я толки слушать о родне,
О толстобрюхой старине.
Мне жаль, что нашей славы звуки
Уже нам чужды; что спростá
Из бар мы лезем в tiers-état, **
Что нам не в прок пошли науки,
И что спасибо нам за то
Не скажет, кажется, никто.

Мне жаль, что тех родов боярских
Бледнеет блеск и никнет дух;
Мне жаль, что нет князей Пожарских,
Что о других пропал и слух,
Что их поносит и Фиглярин,
Что русский ветренный боярин
Считает грамоты царей
За пыльный сбор календарей,
Что в нашем тереме забытом
Растет пустынная трава,
Что геральдического льва
Демократическим копытом
Теперь лягает и осел:
Дух века вот куда зашел!

Вот почему, архивы роя,
Я разбирал в досужный час
Всю родословную героя,
О ком затеял свой рассказ
И здесь потомству заповедал.
Езерский сам же твердо ведал,
Что дед его, великий муж,
Имел двенадцать тысяч душ;

* Известный любитель древности, умерший несколько лет тому назад.
[Примечание Пушкина.]

** Третье сословие.

Из них отцу его досталась
Осьмая часть, и та сполна
Была давно заложена
И ежегодно продавалась;
А сам он жалованьем жил
И регистратором служил.

* * *

Была пора: наш праздник молодой
Сиял, шумел и розами венчался,
И с песнями бокалов звон мешался,
И тесною сидели мы толпой.
Тогда душой беспечные невежды
Мы жили все и легче и смелей,
Мы пили все за здравие надежды
И юности и всех ее затей.

Теперь не то: разгульный праздник наш
С приходом лет, как мы, перебесился,
Он присмирел, утих, остепенился,
Стал глуше звон его заздравных чаш;
Меж нами речь не так игриво льется,
Просторнее, грустнее мы сидим,
И реже смех среди песен раздается,
И чаще мы вздыхаем и молчим.

Всему пора: уж двадцать пятый раз
Мы празднуем лица день заветный.
Прошли года чредою незаметной,
И как они переменяли нас!
Недаром — нет! — промчалась четверть века!
Не сгуйте: таков судьбы закон;
Вращается весь мир вокруг человека, —
Ужель один недвижим будет он?

Припомните, о други, с той поры,
Когда наш круг судьбы соединили,
Чему, чему свидетели мы были!
Игралица таинственной игры,

Метались смущенные народы;
И высились и падали цари;
И кровь людей то славы, то свободы,
То гордости багрила алтари.

Вы помните: когда возник лицей,
Как царь для нас открыл чертог царицын,
И мы пришли; и встретил нас Куницын
Приветствием меж царственных гостей.
Тогда гроза двенадцатого года
Еще спала. Еще Наполеон
Не испытал великого народа —
Еще грозил и колебался он.

Вы помните: текла за ратью рать,
Со старшими мы братьями прощались
И в сень наук с досадой возвращались,
Завидуя тому, кто умирать
Шел мимо нас... И племена сразились,
Русь обняла кичливого врага,
И заревом московским озарились
Его полкам готовые снега.

Вы помните, как наш Агамемнон
Из пленного Парижа к нам примчался.
Какой восторг тогда пред ним раздался!
Как был велик, как был прекрасен он,
Народов друг, спаситель их свободы!
Вы помните — как оживились вдруг
Сии сады, сии живые воды,
Где проводил он славный свой досуг.

И нет его — и Русь оставил он,
Взнесенцу им над миром изумленным,
И на скале изгнанником забвенным,
Всему чужой, угас Наполеон.
И новый царь, суровый и могучий,
На рубеже Европы бодро стал,
И над землей сошлись новы тучи
И ураган их

НА СТАТУЮ ИГРАЮЩЕГО В СВАЙКУ

Юноша, полный красоты, напряженья, усилия чуждый,
Строен, легок и могуч, — тешится быстрой игрой!
Вот и товарищ тебе, дискобол! Он достоин, клянуса,
Дружно обнявшись с тобой, после игры отдыхать.

НА СТАТУЮ ИГРАЮЩЕГО В БАБКИ

Юноша трижды шагнул, наклонился, рукой о колено
Бодро оперся, другой поднял меткую кость.
Вот уж прицелился... прочь! раздайся, народ
любопытный,
Врозь расступись; не мешай русской удалой игре.

* * *

О, нет, мне жизнь не надоела,
Я жить люблю, я жить хочу.
Душа не вовсе охладела,
Утрата молодость мою.
Еще хранятся наслажденья
Для любопытства моего,
Для милых снов воображенья,
Для чувств всего.

ПЕСНИ ЗАПАДНЫХ СЛАВЯН

ПРЕДИСЛОВИЕ

Большая часть этих песен взята мною из книги, вышедшей в Париже в конце 1827 г., под названием *La Guzla, ou choix de Poésies Illyriques, recueillies dans la Dalmatie, la Bosnie, la Croatie et l'Herzégovine*. * Неизвестный издатель говорил в своем предисловии, что, собирая некогда безыскусственные песни полу-дикого племени, он не думал их обнародовать, но что потом, заметив распространяющийся вкус к произведениям иностранным, особенно к тем, которые в своих формах удаляются от классических образцов, вспомнил он о собрании своем и, по совету друзей, перевел некоторые из сих поэм, и проч. Сей неизвестный собиратель был не кто иной, как Мериме, острый и оригинальный писатель, автор «Театра Клары Газюль», «Хроники времен Карла IX», «Двойной Ошибки» и других произведений, чрезвычайно замечательных в глубоком и жалком упадке нынешней французской литературы. Поэт Мицкевич, критик зоркий и тонкий и знаток в славянской поэзии, не усумнился в подлинности сих песен, а какой-то ученый немец написал о них пространную диссертацию.

Мне очень хотелось знать, на чем основано изобретение странных сих песен: С. А. Соболевский, по моей просьбе, писал о том к Мериме, с которым был он коротко знаком, и в ответ получил следующее письмо:

Paris. 18 Janvier 1835.

Je croyais, Monsieur, que la Guzla n'avait eu que sept lecteurs, vous, moi et le prote compris; je vois avec bien du plaisir que j'en puis compter deux de plus ce qui forme un joli total de neuf et confirme le proverbe que nul n'est prophète en son pays. Je répondrai candidement à vos questions. La Guzla a été composée par moi pour deux motifs, dont le premier était de me moquer de la couleur locale dans laquelle nous nous jetions à plein collier vers l'an de grâce 1827. Pour vous rendre compte de l'autre motif je suis obligé de vous conter une histoire. En cette même année 1827, un de mes amis et moi nous avons formé le projet

* *Гузла*, или избранные иллирийские стихотворения, собранные в Далмации, Боснии, Кроации и Герцеговине.

de faire un voyage en Italie. Nous étions devant une carte traçant au crayon notre itinéraire; arrivés à Venise, sur la carte s'entend, et ennuyés des anglais et des allemands que nous rencontrons, je proposai d'aller à Trieste, puis de là à Raguse. La proposition fut adoptée, mais nous étions fort légers d'argent et cette «douleur nonpareille» comme dit Rabelais nous arrêta au milieu de nos plans. Je proposai alors d'écrire d'avance notre voyage, de le vendre à un libraire et d'employer le prix à voir si nous nous étions beaucoup trompés. Je demandai pour ma part à colliger les poésies populaires et à les traduire, on me mit au défi, et le lendemain j'apportai à mon compagnon de voyage cinq ou six de ces traductions. Je passais l'automne à la campagne. On déjeunait à midi et je me levais à dix heures; quand j'avais fumé un ou deux cigares ne sachant que faire, avant que les femmes ne paraissent au salon, j'écrivais une ballade. Il en résulta un petit volume que je publiai en grand secret et qui mystifia deux ou trois personnes. Voici les sources où j'ai puisé cette couleur locale tant vantée: d'abord une petite brochure d'un consul de France à Bonialouka. J'en ai oublié le titre, l'analyse en serait facile. L'auteur cherche à prouver que les Bosniaques sont de fiers cochons, et il en donne d'assez bonnes raisons. Il cite par-ci par-là quelques mots illyriques pour faire parade de son savoir (il en savait peut-être autant que moi). J'ai recueilli ces mots avec soin et les ai mis dans mes notes. Puis j'avais lu le chapitre intitulé «*Dei costumi dei Morlachi*» dans «*Le voyage en Dalmatie*» de Fortis. Il a donné le texte et la traduction de la complainte de la femme de Hassan Aga qui est réellement illyrique; mais cette traduction était en vers. Je me donnais une peine infinie pour avoir une traduction littérale en comparant les mots du texte qui étaient répétés avec l'interprétation de l'abbé Fortis. A force de patience, j'obtins le mot à mot, mais j'étais embarrassé encore sur quelques points. Je m'adressai à un de mes amis qui sait le russe. Je lui lisais le texte en le prononçant à l'italienne, et il le comprit presque entièrement. Le bon fut, que Nodier qui avait détérré Fortis et la ballade de Hassan Aga, et l'avait traduite sur la traduction poétique de l'abbé, en la poétisant encore dans sa prose, Nodier cria comme un aigle que je l'avais pillé. Le premier vers illyrique est:

Scto se bieli u gorje zelenoi

Fortis a traduit:

Che mai biancheggia nel verde Bosco.

Nodier a traduit bosco par *plaine verdoyante*; c'était mal tomber, car on me dit que *gorje* veut dire colline. Voilà mon histoire. Faites mes excuses à M. Pouchkine. Je suis fier et honteux à la fois de l'avoir attrapé, и проч. *

Париж, 18 января 1835 г.

* Я думал, милостивый государь, что у Гузлы было только семь читателей, в том числе вы, я и корректор; с большим удовольствием узнаю, что могу причислить к ним еще двух, что составляет в итоге приличное число девять

ВИДЕНИЕ КОРОЛЯ 1

Король ходит большими шагами
 Взад и вперед по палатам;
 Люди спят — королю лишь не спится.
 Короля султан осаждает,
 Голову отсечь ему грозитя
 И в Стамбул отослать ее хочет.

Часто он подходит к окошку;
 Не услышит ли какого шума?
 Слышит, воет ночная птица,
 Она чует беду неминучу;

И подтверждает поговорку — никто не пророк в своем отечестве. Ответу на ваши вопросы чистосердечно. Гузлу я написал по двум мотивам: во-первых, я хотел посмеяться над «местным колоритом», в который мы слепо ударились в лето от рождества Христова 1827. Для объяснения второго мотива расскажу вам следующую историю. В том же 1827 году мы с одним из моих друзей задумали путешествие по Италии. Мы набрасывали карандашом по карте наш маршрут. Так мы прибыли в Венецию — разумеется, на карте, — где нам надоели встречавшиеся англичане и немцы, и я предложил отправиться в Триест, а оттуда в Рагузу. Предложение было принято, но кошелек наши были пусты, в это «несравненная скорбь», как говорил Рабля, остановила нас на полдороге. Тогда я предложил сначала описать наше путешествие, продать издателю и вырученные деньги употребить на то, чтобы проверить, во многом ли мы ошиблись. На себя я взял собрание народных песен и перевод их; мне было выражено недоверие, но на другой же день я доставил моему товарищу по путешествию пять или шесть переводов. Осень я проводил в деревне. Завтрак у нас был в полдень, я же вставал в десять часов; выкурив одну или две сигары и не зная, чем заняться до прихода дам в гостиную, я писал балладу. Из них составилась томик, который я издал под большим секретом и мистифицировал им двух или трех лиц. Вот источники, откуда я почерпнул этот столь превознесенный «местный колорит»: во-первых, небольшая брошюра одного французского консула в Банялуке. Ее заглавие я позабыл, но дать о ней понятие не трудно. Автор старается доказать, что босяки — настоящие свиньи, и приводит этому довольно убедительные доводы. Местами он приводит иллирийские слова, чтобы похвастать своим знанием (на самом деле, быть может, он знал не больше моего). Я старательно собрал все эти слова и поместил их в примечания. Затем я прочел главу: «*Dei costumi dei Morlachi*» (Об обычаях морлаков) из «Путешествия по Далмации» Фортиса. Там я нашел текст и перевод чисто иллирийской заплячки жены Ассана-Аги; но песня эта переведена стихами. Мне стоило большого труда получить построчный перевод, для чего приходилось сопоставлять повторяющиеся слова самого подлинника с переложением аббата Фортиса. При некотором терпении, я получил дословный перевод, но относительно некоторых мест все еще затруднялся. Я обратился к одному из моих друзей, знающему по-русски, прочел ему подлинник, выговаривая его на итальянский манер, и он почти вполне понял его. Но самое замечательное то, что Нодье, который откопал Фортиса и балладу Ассана-Аги и перевел с поэтического перевода аббата, еще более опозитивировал его в своей прозе, прокричал на всех перекрестках, что я обокрал его. Вот первый стих в иллирийском тексте: «*Scto se bieli u gorje zelenoi*». Фортис перевел «*Che mai biancheggia nel verde Bosco*» («Которая белеет средь зеленого леса»). Нодье перевел *Bosco* — зеленеющая равнина; это было невпапад, потому что, как мне объяснили, *gorje* означает: гора. Вот и вся история. Передайте г. Пушкину мои извинения. Я горжусь и стыжусь вместе с тем, что надул его, и проч.

Скоро ей искать новой кровли
Для своих птенцов горемычных.

Не сова воеет в Ключе-граде,
Не луна Ключ-город озаряет,
В церкви божией гремят барабаны,
Вся свечами озарена церковь.

Но никто барабанов не слышит;
Никто света в церкви божией не видит,
Лишь король то слышал и видел;
Из палат своих он выходит
И идет один в божью церковь.

Стал на паперти, дверь открывает...
Ужасом в нем замерло сердце,
Но великую творит он молитву
И спокойно в церковь божью входит.

Тут он видит чудное виденье:
На помосте валяются трупы,
Между ими хлещет кровь ручьями,
Как потоки осени дождливой.
Он идет, шагая через трупы,
Кровь по щиколку ² ему достягает..

Горе! в церкви турки и татары
И предатели, враги *богумилы*. ³
На амвоне сам султан безбожный;
Держит он на-голо саблю,
Кровь по сабле свежая струится
С вострия до самой рукояти.

Короля незапный обнял холод:
Тут же видит он отца и брата.
Пред султаном старик бедный справа,
Униженно стоя на коленях,
Подает ему свою корону;
Слева, также стоя на коленях,
Его сын, Радивой окаянный,
Басурманскою чалмою покрытый
(С тою самую веревкою, которой
Удавил он несчастного старца),

Край полы у султана целует,
Как холоп, наказанный *фалангой*.⁴

И султан безбожный, усмехаясь,
Взял корону, растоптал ногами
И промолвил потом Радивою:
«Будь над Боснией моей ты властелином,
Для гяур-християн беглербеем». ⁵
И отступник бил челом султану,
Трижды пол окровавленный целуя.

И султан прислужников кликнул
И сказал: «Дать кафтан Радивою! ⁶
Не бархатный кафтан, не парчевый,
А содрать на кафтан Радивоя
Кожу с брата его родного».
Басурмане на кброля наскочили,
До-нага всего его раздели,
Атаганом ему кожу вспороли,
Стали драть руками и зубами,
Обнажили и мясо и жилы,
И до самых костей ободрали,
И одели кожею Радивоя.

Громко мученик господу взмолился:
«Прав ты, боже! меня наказуя!
Плоть мою предай на растерзанье,
Лишь помилуй мне душу, Иисусе!»

При сем имени церковь задрожала,
Всё внезапно утихнуло, померкло,
Всё исчезло — будто не бывало.

И король ощупью в потемках
Кое-как до двери добрался,
И с молитвою на улицу вышел.

Было тихо. С высокого неба
Город белый луна озаряла.
Вдруг взвилась из-за города бомба,
И пошли басурмане на приступ.

ЯНКО МАРНАВИЧ

Что в разъездах бей Янко Марнавич?
 Что ему дома не сидится?
 Отчего двух ночей он сряду
 Под одною кровлей не ночует?
 Али недруги его могучи?
 Аль боится он кровомщенья?

Не боится бей Янко Марнавич
 Ни врагов своих, ни кровомщенья.
 Но он бродит, как гайдук бездомный,
 С той поры, как Кирила умер.

В церкви Спаса они братовались, ⁸
 И были по богу братья;
 Но Кирила несчастливый умер
 От руки им избранного брата.

Веселое было пиrowанье,
 Много пили меду и горелки;
 Охмелели, обезумели гости,
 Два могучие беи побранились.

Янко выстрелил из своего пистоля,
 Но рука его пьяная дрожала,
 В супротивника своего не попал он,
 А попал он в своего друга.
 С того времени он тоскуя бродит,
 Словно вол, ужаленный змиею.

Наконец он на родину воротился
 И вошел в церковь святого Спаса;
 Там день целый он молился богу,
 Горько плача и жалостно рыдая.
 Ночью он пришел к себе на дом
 И отужинал со своей семьею,
 Потом лег и жене своей молвил:
 «Посмотри, жена, ты в окошко.
 Видишь ли церковь Спаса отселе?»
 Жена встала, в окошко поглядела

И сказала: «На дворе полночь,
За рекою густые туманы,
За туманом ничего не видно».
Повернулся Янко Марнавич
И тихонько стал читать молитву.

Помолившись, он опять ей молвил:
«Посмотри, что ты видишь в окошко?»
И жена, поглядев, отвечала:
«Вижу, вон, малый огонечек
Чуть-чуть брезжит в темноте за рекою».
Улыбнулся Янко Марнавич
И опять стал тихонько молиться.

Помолясь, он опять жене молвил:
«Отвори-ка, женка, ты окошко:
Посмотри, что там еще видно?»
И жена, поглядев, отвечала:
«Вижу я на реке сиянье,
Близится оно к нашему дому».
Бей вздохнул и с постели свалился.
Тут и смерть ему приключилась.

8

БИТВА У ЗЕНИЦЫ-ВЕЛИКОЙ 9

Радивой поднял желтое знамя:
Он идет войной на басурмана.
А далматы, завидя наше войско,
Свои длинные усы закрутили,
Набекрень надели свои шапки
И сказали: «Возьмите нас с собою: 10
Мы хотим воевать басурманов».
Радивой дружелюбно их принял
И сказал им: «Милости просим!»
Перешли мы заповедную речку,
Стали жечь турецкие деревни,
А жидов на деревьях вешать. 11
Беглербей со своими бошняками
Против нас пришел из Банялуки; 12
Но лишь только заржали их кони,

И на солнце их кривые сабли
Засверкали у Зеницы-Великой,
Разбежались изменники далматы;
Окружили мы тогда Радивоя
И сказали: «Господь бог поможет,
Мы домой воротимся с тобою
И расскажем эту битву нашим детям».
Стали биться мы тогда жестоко,
Всяк из нас троих воинов стоил;
Кровью были покрыты наши сабли
С острия по самой рукояти.
Но когда через речку стали
Тесной кучкою мы переправляться,
Селихтар ¹³ с крыла на нас ударил
С новым войском, с конницею свежей.
Радивой сказал тогда нам: «Дети,
Слишком много собак-басурманов,
Нам управиться с ними невозможно.
Кто не ранен, в лес беги скорее
И спасайся там от селихтара».
Всех-то нас оставалось двадцать,
Все друзья, родные Радивою,
Но и тут нас пало девятнадцать.
Закричал Георгий Радивою:
«Ты садись, Радивой, поскорее
На коня моего вороного;
Через речку вплавь переправляйся,
Конь тебя из погибели вымчит».
Радивой Георгия не послушал,
Наземь сел, поджав под себя ноги.
Тут враги на него наскочили,
Отрубили голову Радивою.

4

ФЕОДОР И ЕЛЕНА

.
.

Стамати был стар и бессилен,
А Елена молода и проворна;
Она так-то его оттолкнула,

Что ушел он охая да хромая.
Поделом тебе, старый бесстыдник!
Ай да баба! отделалась славно!

Вот Стамати стал думать думу:
Как ему погубить бы Елену?
Он к жиду лиходею приходит,
От него он требует совета.
Жид сказал: «Ступай на кладбище,
Отыщи под камнями жабу
И в горшке сюда принеси мне».

На кладбище приходит Стамати,
Отыскал под камнями жабу ¹⁴
И в горшке жиду ее приносит.
Жид на жабу проливает воду,
Нарекает жабу Иваном
(Грех велик христианское имя
Нареши такой поганой твари!).
Они жабу всю потом искололи,
И ее — ее ж кровью напоили;
Напоивши, заставили жабу
Облизать поспелую сливу.

И Стамати мальчику молвил:
«Отнеси ты Елене эту сливу
От моей племянницы в подарок».
Принес мальчик Елене сливу,
А Елена тотчас ее съела.

Только съела поганую сливу,
Показалось бедной молодежи,
Что змия у ней в животе шевелится.
Испугалась молодая Елена;
Она кликнула сестру свою меньшую.
Та ее молоком напоила,
Но змея в животе всё шевелилась.

Стала пухнуть прекрасная Елена,
Стали баить: Елена брюхата.
Каково-то будет ей от мужа,
Как воротится он из-за моря!

И Елена стыдится и плачет,
И на улицу выйти не смеет;
День сидит, ночью ей не спится;
Поминутно сестрице повторяет:
«Что скажу я милому мужу?»

Круглый год проходит, и — Феодор
Воротился на свою сторонку.
Вся деревня бежит к нему навстречу,
Все его приветно поздравляют;
Но в толпе не видит он Елены,
Как ни ищет он ее глазами.
«Где ж Елена?» наконец он молвил.
Кто смутился, а кто усмехнулся,
Но никто не отвечал ни слова.

Пришел он в дом свой, — и видит,
На постеле сидит его Елена.
«Встань, Елена», говорит Феодор.
Она встала, — он взглянул сурово.
«Господин ты мой, клянусь богом
И пречистым именем Марии,
Пред тобою я не виновата,
Испортили меня злые люди».

Но Феодор жене не поверил:
Он отсекал ей голову по плечи.
Отсекши, он сам себе молвил:
«Не сгублю я невинного младенца,
Из нее выну его живого,
При себе воспитывать буду.
Я увижу, на кого он походит,
Так наверно отца его узнаю
И убью своего злодея».

Распорол он мертвое тело.
Что ж! — на место милого дитяти,
Он черную жабу находит.
Взвыл Феодор: «Горе мне, убийце!
Я сгубил Елену понапрасну:
Предо мной она была невинна,
А испортили ее злые люди».

Поднял он голову Елены,
Стал ее целовать умиленно,
И мертвые уста отворились,
Голова Елены провещала:

«Я невинна. Жид и старый Стамати
Черной жабой меня окормили».
Тут опять уста ее сомкнулись,
И язык перестал шевелиться.

И Феодор Стамати зарезал,
А жида убил, как собаку,
И отпел по жене панихиду.

5

ВЛАХ В ВЕНЕЦИИ ¹⁵

Как покинула меня Парасковья,
И как я с печали промотался,
Вот далмат пришел ко мне лукавый;
«Ступай, Дмитрий, в морской ты город,
Там цехины, что у нас каменя.

Там солдаты в шелковых кафтанах,
И только что пьют да гуляют:
Скоро там ты разбогатеешь
И воротись в шитом долимане
С кинжалом на серебряной цепочке.

И тогда-то играй себе на гуслях;
Красавицы побегут к окошкам
И подарками тебя закидают.
Эй, послушайся! отправляйся морем;
Воротись, когда разбогатеешь».

Я послушался лукавого далмата.
Вот живу в этой мраморной лодке,
Но мне скучно, хлеб их мне, как камень,
Я неволен, как на привязи собака.

Надо мною женщины смеются,
Когда слово я по-нашему молвлю;

Наши здесь язык свой позабыли,
Позабыли и наш родной обычай.
Я завял, как пересаженный кустик.

Как у нас бывало кого встречу,
Слышу: «Здравствуй, Дмитрий Алексеич!»
Здесь не слышу доброго привета,
Не дождуся ласкового слова;
Здесь я точно бедная мурашка,
Занесенная в озеро бурей.

6

ГАЙДУК ХРИЗИЧ

В пещере, на острых каменьях
Притаился храбрый гайдук Хризич.¹⁸
С ним жена его Катерина,
С ним его два милые сына,
Им нельзя из пещеры выйти, —
Стерегут их недруги злые.
Коли чуть они голову подымут,
В них прицелятся тотчас сорок ружей.
Они три дня, три ночи не ели,
Пили только воду дождевую,
Накопленную во впадине камня.
На четвертый взошло красно-солнце,
И вода во впадине иссякла.
Тогда молвила, вздохнувши, Катерина:
«Господь бог! помилуй наши души!»
И упала мертвая на землю.
Хризич, глядя на нее, не заплакал,
Сыновья плакать при нем не смели;
Они только очи отирали,
Как от них отворачивался Хризич.
В пятый день старший сын обезумел,
Стал глядеть он на мертвую мать,
Будто волк на спящую козу.
Его брат, видя то, испугался.
Закричал он старшему брату:
«Милый брат! не губи свою душу;
Ты напейся горячей моей крови,

А умрем мы голодною смертью,
Станем мы выходить из могилы
Кровь сосать наших недругов спящих». ¹⁷
Хризич встал и промолвил: «Полно!
Лучше пуля, чем голод и жажда». —
И все трое со скалы в долину
Сбежали, как бешеные волки.
Семерых убил из них каждый,
Семью пулями каждый из них прострелен;
Головы враги у них отсекли
И на копья свои насадили, —
А и тут глядеть на них не смели.
Так им страшен был Хризич с сыновьями.

7

ПОХОРОННАЯ ПЕСНЯ

ИАКИНФА МАГЛАНОВИЧА ¹⁸

С богом, — в дальнюю дорогу!
Путь найдешь ты, слава богу.
Светит месяц; ночь ясна;
Чарка выпита до дна.

Пуля легче лихорадки;
Волен умер ты, как жил.
Враг твой мчался без оглядки;
Но твой сын его убил.

Вспоминай нас за могилой,
Коль сойдетесь как-нибудь;
От меня отцу, брат милый,
Поклониться не забудь!

Ты скажи ему, что рана
У меня уж зажила;
Я здоров, — и сына Яна
Мне хозяйка родила.

Деду в честь он назван Яном,
Умный мальчик у меня;
Уж владеет атаганом
И стреляет из ружья.

Дочь моя живет в Лизгоре;
С мужем ей не скучно там.
Тварк ушел давно уж в море;
Жив иль нет, — узнаешь сам.

С богом, в дальнюю дорогу!
Путь найдешь ты, слава богу.
Светит месяц; ночь ясна;
Чарка выпита до дна.

8

МАРКО ЯКУБОВИЧ

У ворот сидел Марко Якубович;
Перед ним сидела его Зоя,
А мальчишка их играл у порогу.
По дороге к ним идет незнакомец;
Бледен он и чуть ноги волочит,
Просит он напиться, ради бога.
Зоя встала и пошла за водою,
И прохожему вынесла ковшик,
И прохожий до дна его выпил.
Вот, напившись, говорит он Марке:
«Это что под горою там видно?»
Отвечает Марко Якубович:
«То кладбище наше родовое».
Говорит незнакомый прохожий:
«Отдыхать мне на вашем кладбище,
Потому что мне жить уж недолго».
Тут широкий развил он пояс,
Кажет Марке кровавую рану.
«Три дня, — молвил, — ношу я под сердцем
Басурмана свинцовую пулю.
Как умру, ты зарой мое тело
За горой, под зеленою ивой.
И со мной положи мою саблю,
Потому что я славный был воин».

Поддержала Зоя незнакомца,
А Марко стал осматривать рану.
Вдруг сказала молодая Зоя:

«Помоги мне, Марко, я не в силах
Поддержать гостя нашего доле».
Тут увидел Марко Якубович,
Что прохожий на руках ее умер.

Марко сел на коня вороного,
Взял с собою мертвое тело
И поехал с ним на кладбище.
Там глубокую вырыли могилу
И с молитвой мертвеца схоронили.
Вот проходит неделя, другая,
Стал худеть сыночек у Марка;
Перестал он бегать и резвиться,
Всё лежал на рогоже да охал.
К Якубовичу калуер приходит, —
Посмотрел на ребенка и молвил:
«Сын твой болен опасною болезнью;
Посмотри на белую его шею:
Видишь ты кровавую ранку?
Это зуб вурдалака, ¹⁹ поверь мне».

Вся деревня за старцем калуером
Отправилась тотчас на кладбище;
Там могилу прохожего разрыли,
Видят, — труп румяный и свежий,
Ногти выросли, как вороны когти,
А лицо обросло бороною,
Алой кровью вымазаны губы,
Полна крови глубокая могила.
Бедный Марко колом замахнулся,
Но мертвец завизжал и проворно
Из могилы в лес бегом пустился.
Он бежал быстрее, чем лошадь,
Стременами острыми язвима;
И кусточки под ним так и гнулись,
А суки дерев так и трещали,
Ломаясь, как замерзлые прутья.

Калуер могильною землею ²⁰
Ребенка больного всего вытер,
И весь день творил над ним молитвы.
На закате красного солнца

Зоя мужу своему сказала:
«Помнишь? ровно тому две недели,
В эту пору умер злой прохожий».

Вдруг собака громко завyla,
Отворилась дверь сама собою,
И вошел великан, наклонившись;
Сел он, ноги под себя поджавши,
Потолка головою касаясь.
Он на Марко глядел неподвижно,
Неподвижно глядел на него Марко,
Очарован ужасным его взором;
Но старик, молитвенник раскрывши,
Запалил кипарисную ветку,
И подул дым на великана.
И затрясся вурдалак проклятый,
В двери бросился и бежать пустился,
Будто волк, охотником гонимый.

На другие сутки в ту же пору
Пес залаял, дверь отворилась,
И вошел человек незнакомый.
Был он ростом, как цесарский рекрут.
Сел он молча и стал глядеть на Марко;
Но старик молитвой его прогнал.
В третий день вошел карлик малый, —
Мог бы он верхом сидеть на крысе,
Но сверкали у него злые глазки.
И старик в третий раз его прогнал,
И с тех пор уж он не возвращался.

9

БОНАПАРТ И ЧЕРНОГОРЦЫ

«Черногорцы? что такое? —
Бонапарте спросил: —
Правда ль: это племя злое,
Не боится наших сил?»

Так расскаются ж нахалы:
Объявить их старшинам,

Чтобы ружья и кинжалы
Все несли к моим ногам».

Вот он шлет на нас пехоту
С сотней пушек и мортир,
И своих мамлюков роту,
И косматых кирасир.

Нам сдаваться нет охоты, —
Черногорцы таковы!
Для коней и для пехоты
Камни есть у нас и рвы...

Мы засели в наши норы
И гостей незваных ждем, —
Вот они вступили в горы,
Истребляя всё кругом.

.
.

Идут тесно под скалами.
Вдруг, смятение!.. Глядят:
У себя над головами
Красных шапок видят ряд.

«Стой! пали! Пусть каждый сбросит
Черногорца одного.
Здесь пощады враг не просит:
Не щадите ж никого!»

Ружья грянули, — упали
Шапки красные с шестов:
Мы под ними ниц лежали,
Притаясь между кустов.

Дружным залпом отвечали
Мы французам. — «Это что? —
Удивясь, они сказали: —
Эхо, что ли?» Нет, не то!

Их полковник повалился.
С ним сто двадцать человек.

Весь отряд его смутился,
Кто, как мог, пустился в бег.

И французы ненавидят
С той поры наш вольный край
И краснеют, коль завидят
Шапку нашу невзначай.

10

СОЛОВЕЙ

Соловей мой, соловейко,
Птица малая лесная!
У тебя ль, у малой птицы,
Незаменные три песни,
У меня ли, у молодца,
Три великие заботы!
Как уж первая забота, —
Рано молодца женили;
А вторая-то забота, —
Ворон конь мой притомился;
Как уж третья-то забота, —
Красну-девицу со мною
Разлучили злые люди.
Вы копайте мне могилу
Во поле, поле широком,
В головах мне посадите
Алы цветики-цветочки,
А в ногах мне проведите
Чисту воду ключевую.
Пройдут мимо красны девки,
Так сплетут себе веночки.
Пойдут мимо стары люди,
Так воды себе зачерпнут.

11

ПЕСНЯ О ГЕОРГИИ ЧЕРНОМ

Не два волка в овраге грызутся,
Отец с сыном в пещере бранятся.
Старый Петре сына укоряет:

«Бунтовщик ты, злодей проклятый!
Не боишься ты господ бога,
Где тебе с султаном тягаться,
Воевать с белградским пашою!
Аль о двух головах ты родился?
Пропадай ты себе, окаянный,
Да зачем ты всю Сербию губишь?»
Отвечает Георгий угрюмо:
«Из ума, старик, видно, выжил,
Коли лаешь безумные речи».
Старый Петро пуще осердился,
Пуще он бранится, бушует.
Хочет он отправиться в Белград,
Туркам выдать ослушного сына,
Объявить убежище сербов.
Он из темной пещеры выходит;
Георгий старика догоняет:
«Воротися, отец, воротися!
Отпусти мне невольное слово».
Старый Петро не слушает, грозитя:
«Вот ужю, разбойник, тебе будет!»
Сын ему вперед забегает,
Старику кланяется в ноги.
Не взглянул на сына старый Петро.
Догоняет вновь его Георгий
И хватает за сивую косу.
«Воротись, ради господ бога;
Не введи ты меня в искушенье!»
Отпихнул старик его сердито
И пошел по белградской дороге.
Горько, горько Георгий заплакал,
Пистолет из-за пояса вынул,
Взвел курок, да и выстрелил тут же.
Закричал Петро, зашатавшись:
«Помоги мне, Георгий, я ранен!»
И упал на дорогу бездыханен.
Сын бегом в пещеру воротился;
Его мать вышла ему навстречу.
«Что, Георгий, куда делся Петро?»
Отвечает Георгий сурово:
«За обедом старик пьян напился
И заснул на белградской дороге». ²¹

Догадалась она, завопила:
«Будь же богом проклят ты, черный,
Коль убил ты отца родного!»
С той поры Георгий Петрович
У людей прозывается Черный.

12

ВОЕВОДА МИЛОШ

Над Сербией смилуйся ты, боже!
Заедают нас волки-янычары!
Без вины нам головы режут,
Наших жен обижают, позорят,
Сыновей в неволю забирают,
Красных девок заставляют в насмешку
Распевать зазорные песни
И плясать басурманские пляски.
Старики даже с нами согласны:
Унимать нас они перестали, —
Уж и им нестерпимо насилье.
Гусляры нас в глаза укоряют:
Долго ль вам мирволить янычарам?
Долго ль вам терпеть оплеухи?
Или вы уж не сербы, — цыганы?
Или вы не мужчины, — старухи?
Вы бросайте ваши белые дома,
Уходите в Велийское ущелье, —
Там гроза готовится на турок,
Там дружину свою собирает
Старый сербин, воевода Милош.

13

БУРДАЛАК

Трусоват был Ваня бедный:
Раз он позднею порой,
Весь в поту, от страха бледный,
Через кладбище шел домой.

Бедный Ваня еле дышит,
Спотыкаясь, чуть бредет

По могилам; вдруг он слышит,
Кто-то кость, ворча, грызет.

Ваня стал; — шагнуть не может.
Боже! думает бедняк,
Это верно кости гложет
Красногубый вурдалак.

Горе! малый я не сильный;
Съест упырь меня совсем,
Если сам земли могильной
Я с молитвою не съем.

Что же? вместо вурдалака —
(Вы представьте Вани злость!)
В темноте пред ним собака
На могиле гложет кость.

14

СЕСТРА И БРАТЯ ²³

Два дубочка выростали рядом,
Между ими тонковерхая елка.
Не два дуба рядом выростали,
Жили вместе два братца родные:
Один Павел, а другой Радула,
А меж ими сестра их Елица.
Сестру братья любили всем сердцем,
Всякую ей оказывали милость;
Напоследок ей нож подарили
Золоченый в серебряной оправе.
Огорчилась молодая Павлиха
На золовку, стало ей завидно;
Говорит она Радуловой любе:
«Невестушка, по богу сестрица!
Не знаешь ли ты зелия такого,
Чтоб сестра омерзела братьям?»
Отвечает Радулова любя:
«По богу сестра моя, невестка,
Я не знаю зелия такого;
Хоть бы знала, тебе б не сказала;
И меня братья мои любили,

И мне всякую оказывали милость».
Вот пошла Павлиха к водопою,
Да зарезала коня вороного
И сказала своему господину:
«Сам себе на зло сестру ты любишь,
На беду даришь ей подарки:
Извела она коня вороного».
Стал Елицу допытывать Павел:
«За что это? Скажи бога ради».
Сестра брату с плачем отвечает:
«Не я, братец, клянусь тебе жизнью,
Клянусь жизнью твоей и моею!»
В ту пору брат сестре поверил.
Вот Павлиха пошла в сад зеленый,
Сивого сокола там заколола
И сказала своему господину:
«Сам себе на зло сестру ты любишь,
На беду даришь ты ей подарки:
Ведь она сокола заколола».
Стал Елицу допытывать Павел:
«За что это? Скажи бога ради».
Сестра брату с плачем отвечает:
«Не я, братец, клянусь тебе жизнью,
Клянусь жизнью твоей и моею!»
И в ту пору брат сестре поверил.
Вот Павлиха по вечеру поздно
Нож ukrала у своей золовки
И ребенка своего заколола
В колыбельке его золоченой.
Рано утром к мужу прибежала,
Громко воя и лицо терзая.
«Сам себе на зло сестру ты любишь,
На беду даришь ты ей подарки:
Заколола у нас она ребенка.
А когда еще ты мне не веришь,
Осмотри ты нож ее злаченный».
Вскочил Павел, как услышал это,
Побежал к Елице во светлицу:
На перине Елица почивала,
В головах нож висел злаченный.
Из ножен вынул его Павел, —
Нож злаченный весь был окровавлен.

Дернул он сестру за белу руку:
«Ой, сестра, убей тебя боже!
Извела ты коня вороного
И в саду сокола заколола,
Да за что ты зарезала ребенка?»
Сестра брату с плачем отвечает;
«Не я, братец, клянусь тебе жизнью,
Клянусь жизнью твоей и моею!
Коли ж ты не веришь моей клятве,
Выведи меня в чистое поле,
Привяжи к хвостам коней борзых,
Пусть они мое белое тело
Разорвут на четыре части».
В ту пору брат сестре не поверил;
Вывел он ее в чистое поле,
Привязал ко хвостам коней борзых
И погнал их по чистому полю.
Где попала капля ее крови,
Выросли там алые цветочки;
Где осталось ее белое тело,
Церковь там над ней соорудилась.
Прошло малое после того время,
Захворала молодая Павлиха.
Девять лет Павлиха всё хворает, —
Выросла трава сквозь ее кости,
В той траве лютый змей гнездится,
Пьет ей очи, сам уходит к ночи.
Люто страждет молода Павлиха;
Говорит она своему господину:
«Слышишь ли, господин ты мой, Павел,
Сведи меня к золовкиной церкви,
У той церкви авось исцелюся».
Он повел ее к сестриной церкви,
И как были они уже близко,
Вдруг из церкви услышали голос:
«Не входи, молодая Павлиха,
Здесь не будет тебе исцеленья».
Как услышала то молодая Павлиха,
Она молвила своему господину:
«Господин ты мой! прошу тебя богом,
Не веди меня к белому дому,
А вяжи меня к хвостам твоих коней

И пусти их по чистому полю». Своей любви послушался Павел, Привязал ее к хвостам своих коней И погнал их по чистому полю. Где попала капля ее крови, Выросло там тернье да крапива; Где осталось ее белое тело, На том месте озеро провалило. Ворон конь по озеру выплывает, За конем золоченая люлька, На той люльке сидит сокол-птица, Лежит в люльке маленький мальчик: Рука матери у него под горлом, В той руке теткин нож золоченый.

18

ЯНЫШ КОРОЛЕВИЧ 23

Полюбил королевич Яныш Молодую красавицу Елицу, Любит он ее два красные лета, В третье лето вздумал он жениться На Любусе, чешской королевне. С прежней любой идет он проститься. Ей приносит с червонцами черес, Да гремучие серьги золотые, Да жемчужное тройное ожерелье; Сам ей вдел он серьги золотые, Навязал на шею ожерелье, Дал ей в руки с червонцами черес, В обе щеки поцеловал молча И поехал своею дорогой. Как одна осталася Елица, Деньги наземь она пометала, Из ушей выдернула серьги, Ожерелье на-двое разорвала, А сама кинулась в Мораву. Там на дне молодая Елица Водяною царицей очнулась И родила маленькую дочку, И ее нарекла Водяницей.

Вот проходят три года и более,
Королевич ездит на охоте,
Ездит он по берегу Моравы;
Захотел он коня вороного
Напоить студеною водою.
Но лишь только запененную морду
Сунул конь в студеную воду,
Из воды вдруг высунулась ручка:
Хвать коня за узду золотую!
Конь отдернул голову в испуге,
На узде висит Водяница,
Как на уде пойманная рыбка, —
Конь кружится по чистому лугу,
Потрясая уздой золотою;
Но стряхнуть Водяницы не может.
Чуть в седле усидел королевич,
Чуть сдержал коня вороного,
Осадив могучею рукою.
На траву Водяница прыгнула.
Говорит ей Яныш королевич:
«Расскажи, какое ты творенье:
Женщина ль тебя породила,
Иль богом проклятая Вила?»
Отвечает ему Водяница:
«Родила меня молодая Елица,
Мой отец Яныш королевич,
А зовут меня Водяницей».
Королевич при таком ответе
Соскочил с коня вороного,
Обнял дочь свою Водяницу
И, слезами заливаясь, молвил:
«Где, скажи, твоя мать Елица?
Я слыхал, что она потонула».
Отвечает ему Водяница:
«Мать моя царица водяная;
Она властвует над всеми реками,
Над реками и над озерами;
Лишь не властвует она синим морем,
Синим морем властвует Див-Рыба».
Водянице молвил королевич:
«Так иди же к водяной царице
И скажи ей: Яныш королевич

Ей поклон усердный посылает
И у ней свидания просит
На зеленом берегу Моравы.
Завтра я заеду за ответом». .
Они после того расстались.

Рано утром, чуть заря зарделась,
Королевич над рекою ходит;
Вдруг из речки, по белые груди,
Поднялась царица водяная
И сказала: «Яныш королевич,
У меня свидания просил ты:
Говори, чего еще ты хочешь?»
Как увидел он свою Елицу,
Разгорелись снова в нем желанья,
Стал манить ее к себе на берег.
«Люба ты моя, млада Елица,
Вьдь ко мне на зеленый берег,
Поцелуй меня попрежнему сладко.
Попрежнему полюблю тебя крепко».
Королевичу Елица не внимает,
Не внимает, головою кивает:
«Нет, не выду, Яныш королевич,
Я к тебе на зеленый берег.
Слаще прежнего нам не целоваться,
Крепче прежнего меня не полюбишь.
Расскажи-ка мне лучше хорошенько,
Каково, счастливо ль поживаешь
С новой любой, с молодой женою?»
Отвечает Яныш королевич:
«Против солнышка луна не пригреет,
Против милой жена не утешит».

16

КОНЬ

«Что ты ржешь, мой конь ретивый,
Что ты шею опустил,
Не потряхиваешь гривой,
Не грызешь своих удил?
Али я тебя не холю?»

Али ешь овса не вволю?
Али сбруя не красна?
Аль поводья не шелковы,
Не серебряны подковы,
Не злачены стремена?»

Отвечает конь печальный:
«Оттого я присмирел,
Что я слышу топот дальний,
Трубный звук и пенье стрел;
Оттого я ржу, что в поле
Уж не долго мне гулять,
Проживать в красе и в холе,
Светлой сбруей щеголять,
Что уж скоро враг суровый
Сбрую всю мою возьмет
И серебряны подковы
С легких ног моих сдерет;
Оттого мой дух и ноет,
Что наместо чапрака
Кожей он твоей покроет
Мне вспотевшие бока».

Примечания

¹ Фома I был тайно умерщвлен своими двумя сыновьями Стефаном и Радивоем в 1460 году. Стефан ему наследовал. Радивой, негодуя на брата за похищение власти, разгласил ужасную тайну и бежал в Турцию к Магомету II. Стефан по внушению папского легата решился воевать с турками. Он был побежден и бежал в Ключ-город, где Магомет осадил его. Захваченный в плен, он не согласился принять магометанскую веру, и с него содрали кожу.

² *Щиколодка*, по московскому наречию щиколка.

³ Так называют себя некоторые иллирийские раскольники.

⁴ *Фаланга*, палочные удары по пятам.

⁵ Радивой никогда не имел этого сана; и все члены королевского семейства истреблены были султаном.

⁶ Кафтан, обыкновенный подарок султанов.

⁷ Анахронизм.

⁸ Трогательный обычай *братования* у сербов и других западных славян освящается духовными обрядами.

⁹ Неизвестно, к какому происшествию относится эта песня.

¹⁰ Потеря сражения приписывается далматам, ненавистным для влахов.

¹¹ Жиды в турецких областях суть вечные предметы гонения и ненависти. Во время войны им доставалось от мусульман и христиан. Участь их, замечает В. Скотт, походит на участь летучей рыбы. — М(ериме).

¹² *Банялука*, прежняя столица Боснийского пашалыка.

¹³ *Селихтар*, меченосец.

¹⁴ Все народы почитали жабу ядовитым животным.

¹⁵ Мицкевич перевел и украсил эту песню.

¹⁶ *Гайдук*, глава, начальник. Гайдуки не имеют пристанища и живут разбоями.

¹⁷ Западные славяне верят существованию *упырей* (vampire). См. песню о *Марке Якубовиче*.

¹⁸ Мериме поместил в начале своей *Guzla* известие о старом гусляре Иакинфе Маглановиче; неизвестно, существовал ли он когда-нибудь; но статья его биографа имеет необыкновенную прелесть оригинальности и правдоподобия. Книга Мериме редка, и читатели, думаю, с удовольствием найдут здесь жизнеописание славянина-поэта.

Notice sur Hyacinthe Maglanovich

Hyacinthe Maglanovich est le seul joueur de guzla que j'aie vu, qui fût aussi poète; car la plupart ne font que répéter d'anciennes chansons, ou tout au plus ne composent que des pastiches en prenant vingt vers d'une ballade, autant d'une autre, et liant le tout au moyen de mauvais vers de leur façon.

Notre poète est né à Zvonigrad, comme il le dit lui-même dans sa ballade intitulée *L'Aubépine de Veliko*. Il était fils d'un cordonnier, et ses parents ne semblent pas s'être donné beaucoup de mal pour son éducation, car il ne sait ni lire ni écrire. A l'âge de huit ans il fut enlevé par des *tchingénchs* ou bohémiens. Ces gens le menèrent en Bosnie, où ils lui apprirent leurs tours et le convertirent sans peine à l'islamisme, qu'ils professent pour la plupart. * Un *ayun* ou maire de Livno le tira de leurs mains et le prit à son service où il passa quelques années.

Il avait quinze ans, quand un moine catholique réussit à le convertir au christianisme, au risque de se faire empaler s'il était découvert: car les Turcs n'encouragent point les travaux des missionnaires. Le jeune Hyacinthe n'eut pas de peine à se décider à quitter un maître assez dur, comme sont la plupart des Bosniaques; mais, en se sauvant de sa maison, il voulut tirer vengeance de ses mauvais traitements. Profitant d'une nuit orageuse, il sortit de Livno, emportant une pelisse et le sabre de son maître, avec quelques sequins qu'il put dérober. Le moine qui l'avait rebaptisé l'accompagna dans sa fuite, que peut-être il avait conseillée.

De Livno à Scign en Dalmatie il n'y a qu'une douzaine de lieues. Les fugitifs s'y trouvèrent bientôt sous la protection du gouvernement vénitien et à l'abri des poursuites de l'ayan. Ce fut dans cette

* Tous ces détails m'ont été donnés en 1817 par Maglanovich lui-même.

ville que Maglanovich fit sa première chanson: il célébra sa fuite dans une ballade, qui trouva quelques admirateurs et qui commença sa réputation. *

Mais il était sans ressources d'ailleurs pour subsister, et la nature lui avait donné peu de goût pour le travail. Grâce à l'hospitalité morlaque, il vécut quelque temps de la charité des habitants des campagnes, payant son écot en chantant sur la guzla quelque vieille romance qu'il savait par coeur. Bientôt il en composa lui-même pour des mariages et des enterrements, et sut si bien se rendre nécessaire, qu'il n'y avait pas de bonne fête si Maglanovich et sa guzla n'en étaient pas.

Il vivait ainsi dans les environs de Scign, se souciant fort peu de ses parents, dont il ignore encore le destin, car il n'a jamais été à Zuonigrad depuis son enlèvement.

A vingt-cinq ans c'était un beau jeune homme, fort, adroit, bon chasseur et de plus poète et musicien célèbre; il était bien vu de tout le monde, et surtout des jeunes filles. Celle qu'il préférait se nommait Marie et était fille d'un riche morlaque, nommé Zlarinovich. Il gagna facilement son affection et, suivant la coutume, il l'enleva. Il avait pour rival une espèce de seigneur du pays, nommé Uglian, lequel eut connaissance de l'enlèvement projeté. Dans les moeurs illyriennes l'amant dédaigné se console facilement et n'en fait pas plus mauvaise mine à son rival heureux: mais cet Uglian s'avisa d'être jaloux et voulut mettre obstacle au honneur de Maglanovich. La nuit de l'enlèvement, il parut accompagné de deux de ses domestiques, au moment où Marie était déjà montée sur un cheval et prête à suivre son amant. Uglian leur cria de s'arrêter d'une voix menaçante. Les deux rivaux étaient armés suivant l'usage. Maglanovich tira le premier et tua le seigneur Uglian. S'il avait eu une famille, elle aurait épousé sa querelle, et il n'aurait pas quitté le pays pour si peu de chose; mais il était sans parents pour l'aider, et il restait seul exposé à la vengeance de toute la famille du mort. Il prit son parti promptement et s'enfuit avec sa femme dans les montagnes où il s'associa avec des heyduques. **

Il vécut longtemps avec eux, et même il fut blessé au visage dans une escarmouche avec les pandours. *** Enfin, ayant gagné quelque argent d'une manière assez peu honnête, je crois, il quitta les montagnes, acheta des bestiaux et vint s'établir dans le Kotar avec sa femme et quelques enfants. Sa maison est près de Smocovich, sur le bord d'une petite rivière ou d'un torrent, qui se jette dans le lac de Vrana. Sa femme et ses enfants s'occupent de leurs vaches et de leur petite ferme; mais lui est toujours en voyage; souvent il va voir ses anciens amis les heyduques, sans toutefois prendre part à leur dangereux métier.

Je l'ai vu à Zara pour la première fois en 1816. Je parlais alors très facilement l'illyrique, et je désirais beaucoup entendre un poète en réputation. Mon ami, l'estimable voïvode Nicolas***, avait rencontré à Biograd, où il demeure, Hyacinthe Maglanovich, qu'il

* J'ai fait de vains efforts pour me la procurer. Maglanovich lui-même l'avait oublié, ou peut-être eut-il honte de me réciter son premier essai dans la poésie.

** Espèce de bandits.

*** Soldats de la police.

connaissait déjà, et sachant qu'il allait à Zara, il lui donna une lettre pour moi. Il me disait que si je voulais tirer quelque chose du joueur de guzla, il fallait le faire boire; car il ne se sentait inspiré que lorsqu'il était à peu près ivre.

Hyacinthe avait alors près de soixante ans. C'est un grand homme, vert et robuste pour son âge, les épaules larges et le cou remarquablement gros: sa figure est prodigieusement basanée; ses yeux sont petits et un peu relevés du coin; son nez aquilin, assez enflammé par l'usage des liqueurs fortes, sa longue moustache blanche et ses gros sourcils noirs forment un ensemble que l'on oublie difficilement quand on l'a vu une fois. Ajoutez à cela une longue cicatrice qu'il porte sur le sourcil et sur une partie de la joue. Il est très extraordinaire qu'il n'ait pas perdu l'oeil en recevant cette blessure. Sa tête était rasée, suivant l'usage presque général, et il portait un bonnet d'agneau noir: ses vêtements étaient assez vieux, mais encore très propres.

En entrant dans ma chambre, il me donna la lettre du voïvode et s'assit sans cérémonie. Quand j'eus fini de lire: vous parlez donc l'illyrique, me dit-il d'un air de doute assez méprisant. Je lui répondis sur le champ dans cette langue que je l'entendais assez bien pour pouvoir apprécier ses chansons, qui m'avaient été extrêmement vantées. Bien, bien, dit-il; mais j'ai faim et soif: je chanterai quand je serai rassasié. Nous dînâmes ensemble. Il me semblait qu'il avait jeûné quatre jours au moins, tant il mangeait avec avidité. Suivant l'avis du voïvode, j'eus soin de le faire boire, et mes amis, qui étaient venus nous tenir compagnie sur le bruit de son arrivée, remplissaient son verre à chaque instant. Nous espérions que quand cette faim et cette soif si extraordinaires seraient apaisés, notre homme voudrait bien nous faire entendre quelques-uns de ses chants. Mais notre attente fut bien trompée. Tout d'un coup il se leva de table et se laissant tomber sur un tapis près du feu (nous étions en décembre), il s'endormit en moins de cinq minutes, sans qu'il y eût moyen de le réveiller.

Je fus plus heureux une autre fois: j'eus soin de le faire boire seulement assez pour l'animer et alors il nous chanta plusieurs des ballades que l'on trouvera dans ce recueil.

Sa voix a dû être fort belle; mais alors elle était un peu cassée. Quand il chantait sur sa guzla, ses yeux s'animaient et sa figure prenait une expression de beauté sauvage, qu'un peintre aimerait à exprimer sur la toile.

Il me quitta d'une façon étrange: il demeura depuis cinq jours chez moi, quand un matin il sortit, et je l'attendis inutilement jusqu'au soir. J'appris qu'il avait quitté Zara pour retourner chez lui: mais en même temps je m'aperçus qu'il me manquait une paire de pistolets anglais qui, avant son départ précipité, étaient pendus dans ma chambre. Je dois dire à sa louange qu'il aurait pu emporter également ma bourse et une montre d'or qui valaient dix fois plus que les pistolets, qu'il m'avait pris.

En 1817 je passai deux jours dans sa maison, où il me reçut avec toutes les marques de la joie la plus vive. Sa femme et tous ses enfants et petits-enfants me sautèrent au cou et quand je le quittai, son fils aîné me servit de guide dans les montagnes pendant plusieurs jours, sans qu'il me fût possible de lui faire accepter quelque récompense.

⟨Перевод:⟩

З а м е т к а о б И а к и н ф е М а г л а н о в и ч е

Иакинф Магланович — единственный мне знакомый гусляр, который в то же время был поэтом, ибо большинство гусляров повторяют старые песни, или — самое большее — сочиняют попури, заимствуя стихов двадцать из одной баллады, столько же из другой, и связывая всё это при помощи сдверных стихов собственного изделия.

Поэт наш родился в Звониграде, как он сам говорит об этом в балладе «Шиповник в Велико». Он был сыном сапожника, и его родители, повидимому, не сильно беспокоились об его образовании, ибо он не умеет ни читать, ни писать. В возрасте восьми лет он был похищен *чинженегами* или цыганами. Эти люди увели его в Боснию, где и обучали своему искусству и без труда обратили его в магометанство, исповедуемое большинством среди них. * Один *аян* или старшина в Ливне отнял его у цыган и взял к себе в услужение, где он и пробыл несколько лет.

Ему было пятнадцать лет, когда один католический монах обратил его в христианство, рискуя быть посаженным на кол в случае обнаружения этого, ибо турки отнюдь не поощряют миссионерской деятельности. Юный Иакинф, недолго раздумывая, покинул своего хозяина, достаточно сурового, как и большинство босняков; но убегая из его дома, он задумал отомстить за дурное обращение. Однажды ночью, в грозу, он ушел из Ливно, захватив с собою шубу и саблю хозяина, с несколькими цехинами, какие ему удалось похитить. Монах, окрестивший его, сопровождал его в бегстве, совершенном, вероятно, по его совету.

От Ливно до Синя, в Далмации, всего миль двенадцать. Беглецы скоро прибыли туда, под покровительство венецианского правительства, в безопасности от преследований аяна. В этом городе Магланович и сочинил свою первую песню; он воспел свое бегство в балладе, которая нашла поклонников и положила начало его известности. **

Но у него не было средств к существованию, а природа не наградила его склонностью к труду. Благодаря морлацкому гостеприимству, некоторое время он жил щедротами сельских жителей, платя им тем, что распевал, подыгрывая на *гузле*, заученные им старинные романсы. Вскоре он сочинил несколько новых песен на случаи свадеб и погребений, и его присутствие стало настолько необходимым, что ни один праздник не считался удачным, если на нем не было Маглановича с его *гузлой*.

Так он жил в окрестностях Синя, мало беспокоясь о своих родных, судьба которых ему доньше осталась неизвестной, так как он со дня похищения ни разу не бывал в Звониграде.

* Все эти подробности были сообщены мне в 1817 году самим Маглановичем.

** Я тщетно разыскивал эту балладу. Сам Магланович ее забыл, или, может быть, стыдился петь мне первый свой поэтический опыт.

В двадцать пять лет это был красивый молодой человек, сильный, ловкий, прекрасный охотник и сверх того знаменитый поэт и музыкант; все его ценили, в особенности девушки. Та, которой он отдавал предпочтение, звалась Марией и была дочерью богатого морлака, по имени Зларинович. Он легко добился взаимности и, по обычаю, похитил ее. У него был соперник — своего рода местный сеньор, по имени Ульян, который проведаль о готовящемся похищении. Иллирийские нравы таковы, что отвергнутый любовник легко утешается и не косится на своего счастливого соперника; но этот Ульян вздумал ревновать и захотел помешать счастью Маглановича. В ночь похищения он явился с двумя слугами в ту минуту, когда Мария уже села на лошадь, чтобы следовать за возлюбленным. Ульян угрожающим голосом закричал, чтобы они остановились. Соперники, по обычаю, были вооружены. Магланович выстрелил первый и убил сеньора Ульяна. Если бы у него была семья, то она поддержала бы его, и он не покинул бы страны из-за таких пустяков; но одинокий и лишенный всякой опоры, он был беззащитен против мести со стороны всей семьи убитого. Он быстро принял решение и бежал с женой в горы, где присоединился к гайдукам. *

Он долго жил с ними и даже был однажды ранен в лицо при схватке с пандурами. ** Наконец, заработав немного денег, как я полагаю, не особенно честным способом, он оставил горы, купил скот и поселился в Катаро с женой и детьми. Дом его находится около Смоковича, на берегу речки или потока, впадающего в озеро Врана. Жена и дети заняты коровами и маленькой фермой, сам же он вечно странствует, часто посещает своих старых друзей-гайдуков, но не принимает уже участия в их опасном промысле.

Я впервые встретился с ним в Заре в 1816 г. В то время я свободно говорил по-иллирийски и очень хотел послушать какого-нибудь известного поэта. Мой друг, уважаемый воевода Николай ***, встретил в Белграде, где он проживает, Иакинфа Маглановича, уже раньше ему известного, и зная, что он направляется в Зару, снабдил его письмом ко мне. Он писал мне, что если я желаю заставить гуслиря показать свое искусство, то должен сперва подпитать его, потому что вдохновение нисходит на него лишь тогда, когда он бывает порядком пьян.

Иакинфу было в то время около шестидесяти лет. Это — высокий человек, очень крепкий и сильный для своего возраста, широкоплечий, с необычайно толстой шеей: у него удивительно загорелое лицо и маленькие глаза, слегка приподнятые по углам, орлиный нос, довольно красный от крепких напитков, длинные белые усы и густые черные брови: все это вместе создает образ, не забываемый для того, кто видел его хоть раз. Прибавьте к этому шрам через бровь и вдоль щеки. Непостижимо, как он не лишился глаза при таком ранении. Голова у него была бритая, по всеобщему почти обычаю, и носил он черную барашковую шапку, платье его было очень поношенное, но весьма опрятное.

Войдя ко мне в комнату, он передал мне письмо воеводы и присел

* Род разбойников.

** Полицейские солдаты.

без стеснения. Когда я прочел письмо, он сказал тоном довольно презрительного сомнения: «Так вы говорите по-иллирийски?» Я ответил немедленно на этом языке, что достаточно понимаю по-иллирийски, чтобы оценить его песни, которые мне очень хвалили. «Ладно, ладно, — отвечал он, — но я проголодался и хочу пить; когда я поем, я вам спую». Мы вместе пообедали. Мне показалось, что он голодал по меньшей мере дня четыре — с такой жадностью он ел. По совету воеводы, я подливал ему, и друзья мои, которые, услышав о его приходе, пришли ко мне, наполняли его стакан ежеминутно. Мы надеялись, что когда этот необычайный голод и жажда будут удовлетворены, наш гость соблаговолит нам что-нибудь спеть. Но ожидания наши оказались напрасны. Он вдруг встал из-за стола и, опустившись на ковер у огня (дело было в декабре), встал в пять минут, и не было никакой возможности разбудить его.

Я был удачливее в другой раз: я постарался напоить его лишь настолько, чтобы воодушевить, и тогда он спел мне некоторые из баллад, находящихся в этом сборнике.

Должно быть, голос его прежде был хорош, но в ту пору он уже был несколько разбит. Когда он пел, играя на гузле, глаза его разгорались, и лицо принимало выражение дикой красоты, которую художник охотно бы передал на холсте.

Он со мной расстался довольно странным способом: пять дней жил он у меня, а затем вышел утром, и я напрасно прождал его до вечера. Мне сказали, что он ушел из Зары к себе домой; но в то же время я заметил исчезновение пары английских пистолетов, которые, до его поспешного ухода, висели у меня в комнате. Я должен добавить, к его чести, что он мог унести заодно мой кошелек и золотые часы, которые стоили раз в десять дороже, чем взятые им пистолеты.

В 1817 году я провел два дня в его доме, где он принял меня, выказав живейшую радость. Жена его и все дети и внуки окружили меня и обнимали, а когда я ушел от них, старший сын служил мне проводником в горах в течение нескольких дней, причем невозможно было уговорить его принять какое-либо вознаграждение.)

¹⁹ Вурдалаки, вуднодлаки, упыри, мертвецы, выходящие из своих могил и сосущие кровь живых людей.

²⁰ Лекарством от укушения упыря служит земля, взятая из его могилы.

²¹ По другому преданию, Георгий сказал товарищам: «Старик мой умер; возьмите его с дороги».

²² Прекрасная эта поэма взята мною из Собрания сербских песен Вука Стефановича.

²³ Песня о Яныше королевиче в подлиннике очень длинна и разделяется на несколько частей. Я перевел только первую, и то не всю.

ПРИМЕЧАНИЯ

Редакция текста лицейских стихотворений (1814—1817 гг.) и примечания к ним — А. Л. Слонимского. Редакция текста стихотворений 1817—1820 гг. и примечания к ним — Н. В. Измайлова. Редакция текста стихотворений 1821—1825 гг. и примечания к ним — Н. И. Мордовченко. Редакция текста стихотворений 1826—1830 гг. и примечания к ним — Б. С. Мейлаха. Редакция текста стихотворений 1831—1836 гг. и примечания к ним — Н. В. Измайлова.

ЛИЦЕЙСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ (1814—1817)

Первое печатное стихотворение Пушкина — послание «К другу стихотворцу», появившееся в «Вестнике Европы» в 1814 г. (№ 13). Номер журнала с пушкинским стихотворением вышел в субботу, 4 июля. Стихотворение это было получено редакцией еще в апреле, но издатель В. В. Измайлов не хотел его печатать, не узнав прежде имени автора. Запрос об этом был напечатан в апрельской книжке «Вестника Европы» (№ 8), причем издатель давал обещание, что «не откроет тайны имени, когда автору угодно скрыть его от публики». Стихотворение было напечатано за подписью: «Александр Н. к. ш. п.» (анаграмма согласных, составляющих фамилию Пушкина). В следующем номере «Вестника Европы» (№ 4) появилось с той же подписью новое стихотворение молодого поэта: «Кольна» (подражание Оссиану). В 1815 г. Пушкин печатался в журнале «Российский Музеум». Здесь напечатано пятнадцать его стихотворений и три эпиграммы. Одно стихотворение («Наполеон на Эльбе») напечатано в «Сыне Отечества» (1815, № 25—26). Подписывался Пушкин шифром («1 14—16», «1 17—14», «1 14—17») или сокращенной анаграммой («Александр Н.-П.», «Александр Нкшп»). Впервые полная подпись («Александр Пушкин») появилась под стихотворением «Воспоминания в Царском Селе», читанным на экзамене в присутствии Державина 8 января 1815 г. и напечатанным в том же году в «Российском Музеуме» (№ 4). В 1816 г. Пушкин ничего не печатал. В 1817 г. четыре его стихотворения и одна эпиграмма появились в «Северном Наблюдателе» М. Н. Загоскина. В «Трудах Общества любителей словесности» (Москва) в 1817—1818 гг. напечатаны три стихотворения..

Лицейские стихотворения много раз переделывались Пушкиным позднее, в 1818—1825 гг.* Однако только двенадцать из них, притом в значительно переработанном виде, вошли в собрание стихотворе-

* В позднейшей переделке печатаются в данном издании следующие стихотворения: 1815 г. — «Старик», «Лицинию», «К Галичу» («Когда печальный стихотвор»), «Роза», «Гроб Анакреона»; 1816 г. — «Усы», «Элегия» («Счастливы, кто в страсти»), «К Морфею», «Подражание» («Я видел смерть»), «Желание», «Друзьям», «Заздравный кубок», «Амур и Гименей», «Шашкову», «Пробуждение», «Любопытный»; 1817 г. — «К Каверину», «Элегия» («Опять я ваш»), «В. Л. Пушкину», «Дельвиугу», «Стансы» («Ты мне велишь»), «Письмо к Лиде», «Кюхельбекеру». Все эти стихотворения отмечены в тексте звездочкой.

ний, изданное им в 1826 г.; потом они перепечатаны были в 1829 г. в первом томе нового издания стихотворений. Помимо этого некоторые из лицейских стихотворений печатались вплоть до 1835 г., иногда без ведома Пушкина, в различных альманахах и журналах («Невский Зритель», 1820, «Соревнователь Просвещения и Благотворения», 1821, «Полярная Звезда», 1824, «Мнемозина», 1824, «Памятник Отечества Муз», 1827, «Московский Вестник», 1828, «Листки Граций», 1829, «Северные Цветы», 1829, «Эвтерпа», 1831, «Весенние Цветы», 1835).

В лицейские годы Пушкин являлся по преимуществу лириком, хотя и обращался к другим литературным жанрам, стихотворным и прозаическим — шутовой поэме («Монах», 1813, «Бова», 1815), стихотворной комедии («Философ», 1815), философскому роману в прозе («Фатам, или Разум человеческий», 1815, «Цыган», 1815). Из них сохранились только незаконченные поэмы «Монах» и «Бова».

Лицейская лирика Пушкина не выходила за пределы тех жанров, которые культивировались карамзинистами и господствовали тогда в поэзии. Это были, — не считая баллад, составлявших специальность Жуковского, — послания, элегии, песни, романсы и так называемые «разные стихотворения», включавшиеся обычно в отдел «смеси» (шуточные, анакреонтические и др.), а также «мелкие»: записи в альбом, эпитафии, надписи, эпиграммы и т. д. Все эти жанры представлены и в поэзии Пушкина-лицейца. В 1814—1815 гг. в лирике его преобладают дружеские послания, писанные трехстопным, четырехстопным, иногда шестистопным ямбом (каноническим и для классических посланий). Сюда относятся: «К другу стихотворцу», «К сестре», «К Батюшкову» («Философ резвый и пиит»), «Городок» («К ***»), «Лицинию», «Послание к Галичу» («Где ты, ленивец мой»), «Моему Аристарху», «Послание к Юдину» и др. Вместе с тем Пушкин пишет стихотворения типа «романса» («Жаза», «Слеза», «Под вечер, осенью ненастной»). Значительное место при этом занимают стихотворения смешанного жанра (типа «разных стихотворений»), среди которых есть и в анакреонтическом роде («Гроб Анакреона»), и шуточные («Пирующие студенты»), и элегические («Мечтатель»). В 1816 г. господствующим жанром для Пушкина становится элегия в духе Парни и Мильвуа («Счастлив, кто в страсти», «К Морфею», «Любовь одна», «Я видел смерть», «Желание»). К лицейскому времени относится также ряд «мелких» стихотворений — эпиграмм, надписей и пр.

Лицейская поэзия Пушкина развивалась под влиянием Батюшкова и Жуковского, причем особенно заметно было влияние Батюшкова, поэзия которого, пластическая и ясная, была очень близка молодому поэту. Батюшковские мотивы уединенной жизни, беспечных любовных наслаждений, простодушной дружбы, мягкой грусти и т. д. повторяются и у Пушкина. Правда, оба черпали их из одного и того же источника — из Парни; но художественная обработка их у Батюшкова имела для молодого поэта самостоятельное значение. В частности, стихи Батюшкова сыграли крупную роль в формировании пушкинского поэтического языка. Пушкин шел тем же путем, что и Батюшков. Подобно Батюшкову, он обращался к материалу Оссиана и скандинавских

поэм Парни. «Кольна» (1814) представляет собой переделку песен Оссиана, которого Пушкин знал по прозаическому переводу Кострова (1792). * Единство литературного направления обоих поэтов, Пушкина и Батюшкова, сказалось и в почти одновременном обращении их к русскому сказочному материалу. В 1815 г., по словам Пушкина, Батюшков «отвоевал» у него сюжет «Бовы».

Влияние Жуковского труднее поддается точному определению, так как оно обнаруживается не в частностях, не в одинаковости литературных источников, не в сходстве мотивов, а в более общих свойствах лицейской поэзии Пушкина — в напевной мелодике его стиха, в лирической глубине тона, в серьезности эмоций, которая временами проявляется и в его стихотворениях «легкого» батюшковского жанра. Так, например, «Городок» (1815) — подражание «Мойм пенатам» Батюшкова и аналогичным посланиям Грессе. ** Однако изображение минуты вечернего вдохновения звучит совсем не по-батюшковски и не по-грессетовски. В эмоциональной насыщенности стиха, всерьезности тона, в едином речевом потоке, охватывающем длинный период («Когда же на закате... мой гений невидимкой летает надо мной, и я в тиши ночной сливаю голос свой с пастушьей волынкой»), ясно слышится Жуковский. То же мы видим и в мотиве поэтического бессмертия, предваряющем «Памятник» («Не весь я предан тленью; с моей, быть может, тенью мой правянок просвещенный беседовать придет»). Мотив этот восходит к Державину и Горацию, но передан Пушкиным в мечтательно-лирической манере Жуковского. Ближе всего к Жуковскому стихотворение «Мечтатель» (1815), напоминающее его и формой строфы, и размером (чередование четырехстопных и трехстопных ямбов), и возвышенно-романтической трактовкой поэзии как «случицы» от колыбели до «врат могилы». Стихотворение это не связано ни с каким определенным произведением Жуковского; в сборниках Жуковского 1815 и 1818 гг. нет прямых соответствий пушкинским высказываниям. Но этим возвышенно-романтическим представлением о поэзии проникнуто все творчество Жуковского в целом. Напоминает Жуковского и язык пушкинского стихотворения: «Певца ты осенила... И, горним светом озарясь, влетала в скромну келью и чуть дышала, преклонясь над детской колыбелью... Летай с мечтаньем надо мной, расправля легки крылы...» (ср. в «Светлане»: «Встрепенулся! Развернул *легкие он крылы...*»). Сам Пушкин считал для себя наиболее существенным именно влияние Жуковского. К нему он обращал заключительную строфу «Воспоминаний в Царском Селе» (1814), называя его: «скальд России вдохновенный». О Батюшкове он судил впоследствии с полной свободой, оценивая его критически. Совершенно иначе говорил он о Жуковском. При всем отличии идейного содержания своей поэзии от поэзии Жуковского (отличии, которое

* В описании пира в «Кольне» (песнь барда, кубок «в пене», который «кругом несетя чередой», любовное нетерпение Тоскара) намечается уже описание пира в начале «Руслана» («двигались кругом... серебряные чаши с кипящим пивом и вином», «все смолкли, слушают баяна», «не ест, не пьет Руслан влюбленный»).

** См. работу В. В. Томашевского «Пушкин и французская литература», «Литературное Наследство», № 31—32, М., 1937, стр. 49.

он прекрасно понимал), он все же безоговорочно признавал Жуковского своим учителем. Так, в 1825 г., по поводу статьи Вяземского, он писал ему: «Но ты слишком бережешь меня в отношении Жуковского. Я не следствие, а точно ученик его... Никто не имел и не будет иметь слога, равного в могуществе и разнообразии слогу его. В борнях с трудностью силач необычайный». Лучшими Пушкин считал, однако, эпические произведения Жуковского: «Светлану», «Людмилу» и «Громобоя».

Из числа старших современников-поэтов, влиянию которых подчинялся Пушкин, следует отметить также и Дениса Давыдова, пользовавшегося большой популярностью в Лицее. Поэзия Давыдова — простая, непосредственная, иногда сверкавшая энергичными оборотами народной речи, — отразилась в целом ряде пушкинских лицейских стихотворений: и в романах «Казак» и «Слеза», и в строфе «Пирующих студентов», обращенной к Малиновскому, и в гусарских мотивах «Послания к Юдину», и в прощальных стихотворениях 1817 г., где говорится о военной службе. Пушкин ценил в Давыдове отсутствие искусственности, жеманства, манерности — всего того, что он определял впоследствии выражением «цирлих-манирлих».

Между молодым поэтом-лицеистом и его учителями, Жуковским и Батюшковым, была существенная разница. Те, культивируя пренебреженные классической поэтикой стихотворные жанры и отчасти вводя новые, все же мирно уживались с классической системой, укладывались в ее рамки. Между тем Пушкин принципиально отрицал ее. Так, в 1814 г., в послании к Горчакову, своему лицейскому товарищу, он полемически противопоставляет торжественной «лире», разумей под этим классическую оду, свое «гусиное перо». Пушкин отвергал классическую поэзию не только формально, как анахронизм, но и идейно. Его задорное вольтерянство, выходы против «нахмуренных попов» и «сельских иереев» («Городок», «К Пушкину»), резкая политическая сатира («Лицинию») — все это колебало самые основы эпигонского классицизма, который в начале 10-х годов представлял собой оплот не только литературной, но и идейной реакции. Чисто литературному спору карамзинистов с шишковистами Пушкин придавал иное, более серьезное значение. Торжественная классическая поэзия ассоциировалась у него с поэзией «придворной», как об этом свидетельствует послание к Горчакову 1814 г. («Пускай, не знаясь с Аполлоном, поэт, придворный философ, вельможе знатному с поклоном подносит оду в двести строф» и пр.).

Отвергая эпигонов классицизма, Пушкин в то же время иронизировал в послании к Дельвигу («Послушай, муз невинных», 1815) над сентиментальными поэтами, воспевающими «ручейки», «василечек, и тихий ветерочек, и рощи, и цветки». Послание это написано в ответ на послание Дельвига «А. С. Пушкину», напечатанное в «Российском Музеуме» после пушкинского триумфа на экзамене. *

Ранняя зрелость ума сказалась в той твердости, с какой Пушкин отстаивал свои литературные позиции даже от своих учителей в поэзии. Когда Батюшков, под влиянием наметившегося у него в 1814—1815 гг. поворота к идейной и литературной реакции, советовал

* См. вступительную статью, стр. XII.

юному Пушкину приняться за героическую эпопею, то Пушкин отвечал обычной у него в таких случаях лукавой отговоркой: «Бреду своим путем — будь каждый при своем» * («Батюшкову», 1815).

Жуковский и Батюшков создавали новую условность — романтическую. Их авторское «я» отделено было от реальной авторской личности и заменялось отвлеченным образом романтического поэта, пребывающего в мечтательном романтическом мире. Поэтому живая действительность мало отражалась в их поэзии. Между тем уже в первых произведениях Пушкина видна ориентация на реальную действительность. Они носят отпечаток его личности, отражают до известной степени окружающую его житейскую обстановку. Лицейская его поэзия индивидуальна, почти автобиографична. Язык ее ближе к разговорному, чем язык Жуковского и Батюшкова, и заключает в себе некоторые элементы народной речи.

Займствуя чужое, Пушкин перерабатывал его по-своему, придавая ему иной смысл, часто противоположный. В его «Городке» (1815) вполне выдержана условная форма послания эпикурейского типа, повторяется весь план «Моих пенатов» Батюшкова (связанных, в свою очередь, с аналогичными посланиями Грессе), сохраняются почти все батюшковские мотивы (уединенный домик, воин, возлюбленная, поэзия и пр.). Однако эти два произведения резко отличаются друг от друга. У Батюшкова неопределенная полуантичная обстановка, «явное смешение древних обычаев мифология с обычаями жителя подмосковной деревни», как отмечал впоследствии Пушкин (заметки на полях «Опытов» Батюшкова). А у Пушкина — реальное Царское Село с его пейзажами и обитателями. В «Моих пенатах» — условный «воин», «трикраты уязвленный на приступе штыком», играющий на «двуструнной балалайке» и пр. В пушкинском «Городке», вместо этого, гораздо более конкретный «добрый сосед семидесяти лет, уволенный от службы майором отставным», «с очаковской медалью на раненой груди», рассказывающий «за дедовскою кружкой» о «баталье», «где роты впереди» и т. д. Такой же бытовой характер носит и портрет старушки, рассказчицы городских новостей. Самая речь принимает здесь бытовой колорит («В котором огороде капуста цвет дала, Фома свою хозяйку не за что наказал, Антошка балалайку, играя, разломал» и пр.).** Условная форма послания наполняется при этом субъективным лирическим содержанием. Полка книг в уединении, впервые воспетая в «Городке» (у Батюшкова только имена авторов, а не конкретные книги), повторяется потом, как субъективный авторский мотив, в словах Татьяны в VIII главе «Евгения Онегина» («За полку книг, за дикий сад»). Такой же субъективный оттенок имеет описание момента вдохновения и размышления о поэтическом бессмертии. Таким образом, Пушкин подчиняет заимствованный поэтический материал своей мысли, своему поэтическому ме-

* Последний стих — цитата из послания Жуковского к Батюшкову (1812), примененная здесь с иронической переменной смысла.

** См. А. С. О р л о в, «Пушкин — создатель русского народного языка», «Временник Пушкинской комиссии», т. III, стр. 26—27.

тоду и своим личным эмоциям. Его «Городок» — не только мастерское по своему времени поэтическое произведение, но и кусок его биографии.

То же самое мы видим и в романе «Казак» (1814). Он написан под влиянием романа Батюшкова «Разлука» («Гусар, на саблю опираясь»), который впоследствии оценен был Пушкиным такой заметкой на полях: «Цирлих-манирлих. С Д. Давыдовым не должно и спорить». В основу пушкинского романа положена подлинная украинская песня.* Сюжет обработан в народном духе, гусар-офицер заменен донским казаком, действие перенесено в деревенскую обстановку («Вот пред ним две, три избушки, выломан забор; здесь — дорога к деревушке, там — в дремучий бор...»). Окончание в духе народного романа: «Был ей верен две недели, в третью изменил».

Насколько сильна была у молодого Пушкина реалистическая тенденция, которую он противопоставлял своим учителям-романтикам, об этом свидетельствует его «Романс» («Под вечер, осенью ненастной», 1814). В то время как для Батюшкова существовала только эпикурейская сторона эротики, пятнадцатилетнему Пушкину она открывается и с другой стороны — со стороны социальной. Пушкинский «Романс» навеян двумя стихотворениями Жуковского, написанными в 1813 г. («Сиротка» и переведенная с французского «Песня матери над колыбелью сына»). Тема брошенного ребенка трактуется у Жуковского в сентиментально-оптимистическом плане. Стихотворение «Сиротка» посвящено восхвалению благотворительной деятельности императрицы Марии Федоровны в связи с французским нашествием: ребенок, оставленный «родимой» матерью, находит мать «добрую» в лице императрицы, которая и устраивает его в «гостеприимную обитель», т. е. в воспитательный дом. Содержание «Песни матери» составляет, главным образом, тоска об изменившем возлюбленном (стихотворение французского сентиментального поэта XVIII в. Беркена, послужившее оригиналом Жуковскому, так и озаглавлено: «Les plaintes d'une femme, abandonnée par son amant»). Финал у Жуковского более или менее благополучен: мать обещает сыну быть «хранителем» его «нежных лет», в уверенности, что и тот будет ей «яна старость утешитель». Пушкин вносит в эту концепцию реалистическую поправку, и сентиментальная тема Жуковского в его обработке превращается в протест против социальной несправедливости: «Закон неправедный, ужасный к страданью присуждает нас».

Благодаря бытовой остроте темы, а также простоте языка и мелодичности стиха, отроческое стихотворение Пушкина приобрело широкую популярность. «Романс» стал народным романсом, вошел во все песенники, перекладывался на музыку и получил огромное распространение в лубочных изданиях.

Хотя же условные жанры и мотивы оживают у Пушкина, обогащаясь реалистическими деталями и личными авторскими эмоциями. Уже в первом печатном дебюте Пушкина — риторическом

* Подзаголовок в первоначальной редакции: «подражание малороссийскому».

послании «К другу стихотворцу» (1814), типичном для караинской школы, — выражается его оригинальность. Он вводит в послание реалистическую сценку между пьяным священником и мужиками, сценку, в которой обнаруживает свои вольтерианские антицерковные настроения. Ода «Воспоминания в Царском Селе» (1814), написанная для экзамена, примыкает к державинской традиции и, вместе с тем, связана с патриотическими произведениями Жуковского («Песнь барда над гробом славян победителей», 1806, и «Певец во стане русских воинов», 1812). По строфическому строению и размеру она близка к эпическим элегиям Батюшкова «На развалинах замка в Швеции» и «Переход через Рейн». Однако и здесь, в чуждом для себя жанре, Пушкин обнаруживает известную самостоятельность. Он по-своему комбинирует строфу из четырехстопных и шестистопных ямбов, придает конкретный характер пейзажу и вводит автобиографический элемент (детские воспоминания о «краях Москвы»). Все мотивы «Послания к Юдину» (1815) — вражда к роскоши и руссоистские мечты о деревне, гусарские подвиги и возлюбленная раненого героя — условны, как условна самая форма послания. Но личный тон Пушкина, его темперамент, конкретные детали придают всему этому новизну и свежесть. Деревня здесь — не вообще деревня, а конкретное Захарово: «Мне видится мое селенье; мое Захарово...».

Особенно ярко отражается личность юности Пушкина в стихотворениях «легкого» жанра: «К Наташе» (1814), «Пирующие студенты» (1814), «Воспоминание» (1815) и др. Стихотворение «К Наташе», несомненно, автобиографично; сравнивая себя с «чижигом в клетке тесной», Пушкин имеет в виду свою лицейскую келью. «Пирующие студенты» — шутливая пародия на «Певца во стане русских воинов», откуда заимствованы и размер и строфа; вместо перечисляемых у Жуковского героев 1812 г. здесь фигурируют лицейские друзья Пушкина, каждому из которых дается четкая характеристика (профессор Галич, «остряк» Илличевский, «красавец» Горчаков, «друг прямой» Пушин, «забавный поэт» Яковлев, «головорез» Малиновский, «милый певец» Корсаков, снова Яковлев — «Роде записной»).

Значительное место в лицейской поэзии занимают литературные вопросы — характеристики старых и новых авторов, русских и иностранных, нападки на классицистов-рутинеров и т. д. В послании «Моему Аристарху» (1815) Пушкин энергично защищает свободу вдохновения, иронизируя над своими критиками-педантами и намеренно, в полемических целях, преувеличивая небрежность своей работы над стихами, которые будто бы у него «текут и так и сяк». По устному преданию, послание адресовано лицейскому профессору Н. Ф. Кошанскому. Это отчасти подтверждается тем, что в черновиках «Руслана» (тетр. 2364, л. 51) мы находим несколько подписей: «Н. Кошанский», сделанных рукою Пушкина, — повидимому, Пушкин, когда писал свою поэму, мысленно представлял себе критику, которой она подверглась бы со стороны его лицейского наставника. Впрочем, послание в какой-то мере относится и к Кюхельбекеру. Изображаемый здесь вдохновенный поэт, который «ерошит волосы клоаки», «сверкает грозными очами» и после трех ночей высиживает «трехстопный вздор», по всей вероятности,

намек на Кюхельбекера. «Холодные песенки» Кюхельбекера, которые он писал гекзаметром, и его пристрастие к Тредьяковскому Пушкин вышучивал в послании «К другу стихотворцу» («другой отец второй Телемахиды»). В ряде посланий и эпиграмм Пушкин высмеивает деятелей «Беседы» («К другу стихотворцу», 1814, «К Батюшкову», 1814, «Городок», 1814, «К Жуковскому», 1816, и др.). Главными объектами его насмешек являются граф Д. И. Хвостов («Графов», «Свистов» и т. д.), князь Ширинский-Шихматов («Рифматов»), тогда уже умерший С. С. Бобров («Бибрус»), князь А. А. Шаховской («Шутовской») и глава «Беседы» А. С. Шишков.

В лицейской поэзии нашли себе отражение и общественно-политические интересы Пушкина. Прежде всего это были отклики на события 1812—1815 гг., которые оценивались им с точки зрения принципов «естественного права», усвоенных на лекциях Куницына. Наполеона Пушкин характеризует как похитителя прав народных. В его глазах он — «тиран», «злодей», «ужас мира» и т. д. («Воспоминания в Царском Селе», 1814, «Бова», 1815, «Наполеон на Эльбе», 1815, «На возвращение государя императора из Парижа в 1815 г.»). Борьба с ним — это борьба за свободу, «свободы ярый бой». Александр I восхваляется Пушкиным только как защитник свободы, давший клятву «от ига оградить страну свою родную». Отношения царя с народом Пушкин рассматривает так, как этого требовала теория «общественного договора» и «договора подданства». В оде «На возвращение государя императора из Парижа в 1815 г.» он напоминает царю о его обязанностях, вытекающих из «договора подданства», и призывает его «склонить на свой народ смиренья полный взгляд», т. е. позаботиться об участии «селянина», о расширении торговли и т. д. Под видом похвал шестнадцатилетний поэт диктовал царю программу действий. Передовые круги ожидали внутренних реформ по окончании войны, и пушкинская ода явилась выражением этих надежд. Одним из первых печатных образцов политического свободомыслия в поэзии было пушкинское послание «Лицинию» (1815), написанное в духе классического республиканства. Тирады «философа» Дамета против Рима, где продажно все: «законы, правота», * представляли собой явную сатиру на русские порядки. Послание заканчивалось грозным указанием на то, что государство, основанное на рабстве, обречено на гибель: «Свободой Рим возрос, а рабством погублен». Оба политические стихотворения Пушкина связаны были с курсом Куницына, который начат был осенью 1814 г.

Пушкин воспитывался на французской литературе XVII—XVIII вв., с которой основательно познакомился еще дома. Лицейские наставники с самого начала отмечали, как характерную черту, его прекрасное знание французских поэтов, многие произведения которых он помнил наизусть. Но знакомство его с французской литературой не ограничивалось одной поэзией: повидимому, еще до поступления в Лицей он успел прочитать и сочинения философов-просветителей XVIII в.

* Так в первоначальной редакции 1815 г. В позднейшей обработке прибалены «и консул и трибун», а «философ» заменен «другом истины».

Наибольшее значение для Пушкина имел Вольтер — и как поэт и как мыслитель. Отпечаток «вольтерианства» лежит на всем раннем творчестве Пушкина. К Вольтеру он обращается, как к своему идейно-художественному руководителю, и в «Бове», и в «Городке». Он для него «муж единственный», «поэт в поэтах первый». При этом ценит он в нем прежде всего беспощадную критическую мысль. «Фернейский злой крикун» — вот характеристика, которую он дает Вольтеру. Сильнее всего воздействовали на Пушкина те произведения Вольтера, в которых ярче всего выразился свойственный ему дух иронии — его сказки, романы, поэма «La Pucelle». * Вольтеровской иронией проникнут первый эпический опыт Пушкина — незаконченная поэма «Монах» (около 1813 г.). Поэма «Бова» (1814), начатая под двойным воздействием Вольтера и Радищева, должна была развернуться, повидимому, в широкую политическую аллегорию на русском сказочном материале. Тема переворотов, образы низложенного и убитого монарха Бендокира Слабоумного, узурпатора Дадона, «тирана неусыпного», и законного наследника престола, героя Бовы, запертого под замком, — все это служило намеком на актуальные политические проблемы как в Европе (казнь Людовика XVI и диктатура Наполеона), так и в России (убийство Павла I).

Несомненно также и раннее знакомство Пушкина с Руссо. Имя Руссо упомянуто и в послании «К сестре» (1814), и среди любимых авторов Пушкина в «Городке» (1815), где он поставлен рядом с Карамзиным. В обоих случаях Пушкин имеет в виду Руссо-романиста, автора «Новой Элоизы», «Исповеди» (а может быть, и «Эмилия»), основоположника интимно-психологической, сентиментальной школы в литературе. Однако ему известен был, конечно, и Руссо-теоретик, автор «Общественного договора», хотя бы потому, что на Руссо основывал свой курс «естественного права» Куницын. Руссоистский характер носят картины простой, уединенной жизни в «Послании к Юдину» («Туда зарею поспеваю с смиренным заступом в руках») и тирады против богатства и света («Смотрю с улыбой сожаленья на пышность бедных богачей»). Все это общие места тогдашней поэзии; но Пушкин вносит в них ту страстность и искренность, какие имели они у Руссо.

Идейное влияние Вольтера и Руссо сопровождалось широким художественным воздействием всей французской поэзии в целом.

Это воздействие выражалось и в некоторых переводах (очень немногочисленных), и в более или менее близких подражаниях, но, главное, в заимствовании стихотворной техники. Первая печатная вещь Пушкина — послание «К другу стихотворцу» — навеяна сатирическими посланиями Буало, в частности, посланием «А mon esprit», которое послужило образцом и для Кантемира (чем и объясняются некоторые совпадения у Пушкина с Кантемиром). Из Ж. Б. Руссо переведена эпиграмма «Супругою твоей я так пленился» (1814). «Старик» (1814—1816) — перевод из Маро. По образцу посланий Грессе написаны пушкинские послания

* Из Вольтера переведены Пушкиным «Стансы» (1817).

«К сестре» и «Городок», связанные, вместе с тем, и с русскими посланиями Батюшкова, Жуковского, В. Л. Пушкина и др. «Амур и Гименей» (1816) является, как указал Б. В. Томашевский, продолжением басни Лафонтена «L'Amour et la Folie». *

С 1815 г. становится особенно заметно влияние Парни, который первоначально привлекал Пушкина своими скандинавскими мотивами и пародийными антицерковными поэмами («La guerre des dieux» и др.). Теперь Пушкин обращается к его любовной лирике, собранной в книге «Любвных стихотворений» («Poésies érotiques», 1778). От Парни Пушкин заимствовал форму элегии, краткой, но эмоционально подвижной, и общее эпикурейское настроение, в котором мотивы легких любовных наслаждений смешиваются с мотивами грусти и разочарования. Стихотворения «К живописцу» (1815) и «К Морфею» (1816) являются вольным подражанием «Portrait d'une religieuse» и «A la nuit» Парни. Духом Парни проникнута и элегия «Любовь одна». Реминисценции из Парни встречаются у Пушкина и в позднейшие годы. Так, строфа в III главе «Евгения Онегина» «Кокетка судит хладнокровно...» представляет собой переложение стихотворения Парни «La main» («Tableaux», II).

В пушкинских элегиях 1816 г. сказывается также влияние позднейшего французского лирика Мильвуа, элегии которого чужды эпикурейской легкости Парни и проникнуты чувством безнадежного уныния. Таким же унынием проникнуто и послание Пушкина к Горчакову 1817 г. («Встречаюсь я с осьмнадцатой весной»), три стиха которого заимствованы из Жильбера, другого автора унылых элегий («Мне кажется на жизненном пиру» и следующие). Однако послание заканчивается призывом к бодрости. Индивидуалистическая грусть преодолевается мыслью о своем призвании и о «счастьи друзей». Такое разрешение характерно для Пушкина: частное побеждается общим, как и во многих позднейших его произведениях («Брожу ли я» и др.). В тоне уныния написаны также элегия «Опять я ваш, о милые друзья!» (1817) и послание «К Дельвигу» (1817).

Впрочем, эти унылые мотивы являются у Пушкина только эпизодом. Рядом идут иные мотивы, отражающие политическое возбуждение эпохи. В прощальном стихотворении «Товарищам» высказывается пренебрежение к служебной карьере: «Не рвусь я грудью в напитки и не ползу в ассессора»; для себя Пушкин избирает «красный колпак», символ свободы. «Вечный союз» и «святое братство», о которых говорится в прощальных обращениях к Пушкину и Кюхельбекеру, обозначали не только школьное товарищество, но и общность политических целей. Пушкинское послание к Кюхельбекеру, напечатанное в 1820 г. в «Невском Зрителе», вызвало поэтому негодование В. Н. Каразина, указывавшего в письме к министру внутренних дел на противоправительственный

* О влиянии французской поэзии на Пушкина см. работы Б. В. Томашевского «Пушкин — читатель французских поэтов» («Пушкинский сборник памяти С. А. Венгеровой», М.—П., 1923, стр. 210—228) и «Пушкин и французская литература» («Литературное Наследство», № 31—32, М., 1937).

характер лицейского «святого братства» и «союза». * Политический смысл имело также и послание к Каверину (1817); «ум высокий» на языке того времени обозначал прежде всего «свободный образ мыслей», критическую оценку действительности.

В конце 1816 — начале 1817 г. Пушкин готовил издание своих стихотворений, которые для этой цели были переписаны в особую тетрадь — частью им самим, частью товарищами; тетрадь озаглавлена «Стихотворения Александра Пушкина» и помечена 1817 г. (это так называемая «Лицейская тетрадь»). Издание это не осуществилось. Через два года, в 1819 г., когда вновь возникла мысль о сборнике, часть лицейских стихов была уже откинута. И только двенадцать вошли, после значительной переделки, в сборник 1826 г. Пушкин очень сурово отзывался впоследствии о своих лицейских стихах и сердился, когда они случайно попадали в печать. Он писал в 1830 г.: «Я начал писать с тринадцатилетнего возраста и печатать почти с того же времени. Многие желал бы я уничтожить, как недостойное даже и моего дарования, каково бы оно ни было» («Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений»). Так же резко оценивал он и французскую поэзию, которой увлекался в Лицее. «Как можно ей подражать? — писал он. — Ее глупое стихосложение — робкий, бледный язык — вечно на помочах» (набросок 1822—1824 гг.). «Манерность, бледность, робость» были, с его позднейшей точки зрения, «вредными последствиями» французского влияния.

Это французское влияние ослабевает у Пушкина уже с конца лицейского периода. Он становится свободнее в выборе жанров, метров, строфических соединений, приноворяет их к своим вкусам и замыслам, обретает собственный голос.

СТИХОТВОРЕНИЯ 1817—1820 гг.

Период творчества Пушкина от окончания Лицея до ссылки на юг (вторая половина 1817 — начало 1820 г.) продолжает, в основных чертах, творчество лицейской эпохи. Расширяется и меняется тематика в зависимости от новых интересов, новых впечатлений и новых общественных отношений; растет самостоятельность поэта в обращении с материалом, и он быстро совершенствуется формально; но самые поэтические жанры, в которых он пишет, в основном не меняются. В лирике этого периода преобладают у него интимные, дружеские жанры: послания, кружковые стихи, не предназначенные для печати. Но основные творческие силы Пушкина полностью отдаются одному крупному произведению — его первой поэме «Руслан и Людмила».

Естественно, что количество напечатанных за эти годы стихотворений очень невелико: с конца 1817 г. до высылки из Петербурга Пушкин напечатал в разных журналах («Северный Наблю-

* После ссылки Кюхельбегера стихотворение это печаталось под названием «Разлука» (сборники 1826 и 1829 гг.).

датель», «Сын Отечества», «Труды Общества любителей российской словесности», «Благонамеренный», «Соревнователь Просвещения и Благотворения», «Невский Зритель») всего четырнадцать стихотворений; из них восемь — еще лицейского времени и только шесть — написанных в 1818—1820 гг. Очень рано у Пушкина возникла мысль об издании собственного отдельного сборника: сохранившийся в его рукописях первый список произведений, подлежащих включению в него, составлен был еще в Лицее, в конце 1816 г. В переписке знакомых поэта в конце 1818 г. имеются сведения о предполагаемом издании. К концу следующего, 1819 г. проект издания сложился окончательно. В начале 1820 г. была изготовлена рукопись (писарская копия) сборника и началась продажа «билетов» на будущую книгу, которых разошлось (по подсчету самого Пушкина) около тридцати — сорока. Но изданию не суждено было осуществиться. В начале мая 1820 г. Пушкин был выслан из Петербурга, а несколько раньше — вероятно, в апреле, и уже зная о собирающейся над ним грозе — он «полу-продал, полу-проиграл» свою рукопись, т. е. право на издание ее, приятелю своему Н. В. Всеволожскому. * В отсутствие Пушкина издание не состоялось — вероятно, по цензурным соображениям, вследствие опального положения автора — и лишь в самом конце 1825 г. вышли в свет «Стихотворения А. Пушкина» (СПб., 1826) в значительно измененном, переработанном и дополненном виде. В сборнике 1820 г. должны были войти всего восемнадцать стихотворений 1818—1819 гг. Некоторые из них появились в журналах и альманахах позднейших лет; четырнадцать произведений вошли в издание 1826 г., с прибавлением еще трех пьес, написанных в начале 1820 г. и не успевших войти в «тетрадь Всеволожского». Последняя объединила все наиболее значительные (и многие мелкие) произведения этого периода, возможные для печати и приемлемые для цензуры, ради которой некоторые из них были обработаны и смягчены.

Творчество Пушкина от окончания Лицея до ссылки очень точно отражает, в тематическом, а отчасти и жанровом отношении, интересы, занимавшие в это время его и те общественные круги, в которых он вращался. Ряд посланий, обращенных к друзьям, составляет едва ли не центральную часть его творчества; те же дружеские, светские и литературные отношения отражают многочисленные мелкие стихотворения — мадригалы, надписи, эпиграммы, эпикурейские и эротические пьесы; элегии занимают второстепенное место, причем чистых (в жанровом смысле) элегий, подобных лицейскому элегическому циклу 1816 г., почти не встречается. По этим же крупным отделам (элегии, послания, разные стихотворения или смесь, куда входят и мадригалы, эпиграммы и надписи, и более крупные вещи, не укладываемые в первые два) строятся и сборники стихотворений Пушкина, от списка 1816 г. до сборника 1826 г., с которым закончился период более или менее строгого раз-

* Отсюда название, принятое в литературе для этой рукописи: «тетрадь Всеволожского». См. работы о ней Б. В. Томашевского в «Литературном Наследстве», № 16—18, 1934, и в «Летописях Гос. Литературного Музея», кн. 1, «Пушкина», 1936.

деления лирических жанров. Но уже в 1818—1819 гг. чувствуется искусственность точного жанрового деления, почему нельзя целиком придерживаться его при обзоре творчества этих лет.

И прежде всего выделение такой важной, первостепенной для этого времени темы, как политическая, требует внежанрового ее рассмотрения. Чисто политические произведения у Пушкина немногие. Но общественно-политической тематикой проникнут ряд стихотворений, разных по жанрам и по заданиям, и тем не менее требующих объединения. Пушкин в эти годы — участник кружка, собиравшегося около братьев Тургеневых, и близкий друг Чаадаева; с 1819 г. он член общества «Зеленая лампа», представлявшего собою не только кружок веселящейся молодежи, любителей театра и литературы, легких любовных приключений и игры в карты, но и негласный филиал Союза благоденствия, где готовились будущие члены Тайного общества; в то же время Пушкин близок и к кружку Ф. Н. Глинки, т. е. к одному из филиалов правого крыла Союза благоденствия. Он использовал все виды поэтического творчества для выражения своих политических настроений.

Вскоре после выхода из Лицея написана ода «Вольность» (или «Ода на свободу») — одно из значительнейших политических произведений эпохи. Написанная как подражание оде «Вольность» Радищева и по форме строго выдержанная в традициях классической оды (строфическое членение с постоянной рифмовкой, обилие античных образов, обилие славянизмов, традиционно-одические приемы изображения и конструкция всей оды), она по существу отражала воззрения кружка братьев Тургеневых — прежде всего, конечно, Н. И. Тургенева, — а еще более — конституционно-правовое учение лицейского профессора А. П. Куницына. Ода утверждала право, закон, как источник происхождения власти, стоящий над нею и которому цари должны подчиняться; она клеймила нарушителей закона, поправших народные вольности, кто бы ни были те, кому «законом властвовать возможно»: «народ» или цари. Заключение оды, представляющее как бы ее мораль, говорит об ограничении деспотической власти законом в духе А. П. Куницына и французских политических мыслителей (Монтескье). При расширении и углублении деятельности тайных обществ, в начале 1820-х годов, ода «Вольность» стала одним из важных средств политического воспитания, распространялась во множестве списков, особенно в среде армейского офицерства, и воспринималась чисто революционно, как лозунг восстания против тирании и как оправдание активной борьбы народов с тиранами. Угроза оды «тиранам мира»: «трепещите!» и воззвание к народам: «Восстаньте, падшие рабы!» воспринимались как призывы к революционному действию (хотя буквально: «восстаньте!» значило только «воспряньте»). Помимо этого изображение в оде убийства Павла I, при совершении которого, как все знали, за «убийцами в лентах и звездах» стоял тогдашний наследник, а теперешний император — Александр, было прямым вызовом последнему. В этом отношении ода «Вольность» была одним из первых проявлений лично-отрицательного отношения Пушкина к Александру I, и, когда она (повидимому, не ранее конца 1819 г.) дошла до правительства, она явилась важным мотивом высылки Пушкина из Петербурга.

Другим чисто политическим и агитационным стихотворением, написанным, повидимому, в 1818 г. и связанным с «Зеленой лампой», был «ноэль» («Noël», т. е. рождественская песенка, в популярном тогда жанре французских песен) — «Сказки», направленный непосредственно против Александра I и высмеивавший конституционные обещания, высказанные им при открытии польского сейма в Варшаве 15 марта 1818 г. Позднее приятель Пушкина, бывший член «Зеленой лампы» А. Г. Родзянко, отойдя от либеральных идей и иронически отзываясь о политической поэзии Пушкина, писал о нем в какой-то, не дошедшей до нас полностью, сатире:

И все его права: * иль два, иль три ноэля,
Гимн Занду на устах, в руке портрет Лувеля.

Таким образом, пушкинских ноэлей было, повидимому, несколько (в десятой главе «Онегина» сам Пушкин говорит о своих «ноэлях»), но из них сохранился только один. Эти песенки широко распространялись в списках и служили целям политической агитации наравне с одою «Вольность» и с эпиграммами, но разгром движения 14 декабря 1825 г. уничтожил в значительной части этот подпольный род литературы. Из многих политических эпиграмм, несомненно написанных тогда Пушкиным и сыгравших решающую роль при его удалении в 1820 г. из Петербурга, не сохранилось почти ничего; и, напротив, в списках дошло до нас под его именем много эпиграмм, ему не принадлежащих.

К 1818 г. относится «Ответ на вызов написать стихи в честь имп. Елизаветы Алексеевны» — стихотворение, отражающее отношение Пушкина к «Обществу Елизаветы» — кружку, примыкавшему к правому крылу Союза благоденствия и возглавляемому членом Союза Ф. Н. Глинкою, в журнале которого («Соревнователь Просвещения и Благотворения») оно и было напечатано; «Общество Елизаветы» высказывалось за устранение Александра I, выдвигая вместо него кандидаткой на престол его жену Елизавету Алексеевну, именем которой рассчитывали править в конституционном духе члены общества.

Освободительные воззрения выражены и в наиболее известном и популярном из политических стихотворений Пушкина того времени — «Деревня». Начинаясь каноническим для карамзинистов описанием природы и блаженства поэта в деревенской глуши, оно дает во второй своей части проникнутое негодованием изображение крепостного права и кончается призывом к освобождению крестьян «по манию царя» и к установлению «свободы просвещенной», т. е. конституционного правления. Распространяясь в бесчисленных списках среди передовой молодежи, среди членов тайных обществ, стихотворение переосмыслялось зачастую в революционную стору; характерной является редакция предпоследних стихов в одном из списков, восходящая, конечно, не к Пушкину и дающая такой текст:

Увижу ли, друзья, народ не угнетенный
И рабство падшее, и падшего царя...

* Т. е. права на славу политического поэта.

Самым резким и революционным по духу из политических стихотворений Пушкина является послание «К Чаадаеву» (неопределенно датированное 1818—1819 гг., эпохой наибольшей близости Пушкина с П. Я. Чаадаевым). И оно, как и названные выше, распространялось во множестве списков, служа целям агитации и являясь как бы революционным гимном будущих декабристов. Характерно, что некоторые списки подписывают его именем К. Ф. Рыльева, вождя Северного тайного общества, и адресуют А. А. Бестужеву, его ближайшему другу и товарищу.

Помимо этих прямо-политических произведений, многие другие стихотворения Пушкина, в особенности связанные с «Зеленой лампой», содержат высказывания, намеки, по большей части сатирического характера, на политические темы. Таковы послания к членам этого общества В. В. Энгельгардту («Я ускользнул от Эскулапа», 1819) и Н. В. Всеволожскому («Прости, счастливый сын пиров», 1819), послания к генералу А. Ф. Орлову («О ты, который сочетал») и к лицейскому товарищу А. М. Горчакову («Питомец мод, большого света друг» — оба 1819 г.), подпись к портрету Чаадаева («Он высшей болею небес», 1817?) и пр. Все они отражают свободомыслие поэта и его резко критическое отношение к современному общественному строю России и к русскому обществу, в особенности высшему.

Конкретно-автобиографическая тематика занимает в эти, послелицейские годы несравненно большее место в творчестве Пушкина, чем в предыдущий и в последующие периоды: кончилась лицейская пора, пора ученичества и отвлеченной лирики, и еще не наступило время, когда стихотворение, лишенное жанровых признаков, станет свободной формой для самой разнообразной, не только лирико-субъективной, но и объективированной реалистической тематики. Интимность и замкнутость лирического творчества являются в эти годы основным требованием. Даже обращенное к Жуковскому послание 1818 г. («Когда, к мечтательному миру») выражает согласие с мыслями самого Жуковского — о том, что истинный поэт должен творить «для немногих», для друзей таланта, искренних ценителей поэзии. Молодой Пушкин еще не задумывается над вопросом о значении поэзии и о роли поэта. Он живет полной и беспечною жизнью и выражает свои настроения в ряде стихотворений, связанных с обществом «Зеленая лампа». Автографы некоторых из этих песен сохранились именно в бумагах «Зеленой лампы», хотя дошедшие до нас (далеко не полностью) протоколы собраний общества не дают сведений об участии в них Пушкина и о чтении им своих стихов. Послания и другие стихотворения воспевают веселье, легкую чувственную любовь, дружеские пиры, беспечное ивольное существование, свободное от условностей света, религии и узкой морали. В этом отношении многие стихотворения Пушкина периода «Зеленой лампы», при всем их внешнем легкомыслии, имели определенное значение протеста против мистической религиозности и ханжеской морали, насаждавшихся Александром I. С обществом «лампистов» связаны послания и дружеские записки в стихах, обращенные к Ф. Ф. Юрьеву («Здорово, Юрьев именинник», 1819, и «Любимец ветреных Лаис», 1820), к В. В. Энгельгардту («Я ускользнул от Эскулапа», 1819), М. А. Щербинину («Житье тому, любезный друг», 1819), Н. В. Всеволожскому («Прости, счастливый сын пиров»,

1819), Я. Н. Толстому («Философ ранний, ты бежишь», 1819), П. Б. Мансурову («Мансуров, закадычный друг», 1819), а также стихотворения «27 мая 1819» («Веселый вечер в жизни нашей») и «Веселый пир» («Я люблю вечерний пир», 1819). Эпикурейские настроения отражаются и в некоторых других посланиях (А. И. Тургеневу — «Тургенев, верный покровитель», принадлежащее еще к раннему послелицейскому времени, так как датировано 8 ноября 1817 г.; Н. И. Кривцову — «Не пугай нас, милый друг», относящееся к концу 1817 г., и другое — «Когда сожмешь ты снова руку», датированное 2 марта 1818 г.; А. М. Горчакову — «Питомец мод, большого света друг», 1819).

Кроме посланий, характерным для этого времени литературным жанром являются эпиграммы; их сохранилось немало, но было, вероятно, несравненно больше, не дошедших до нас. О политических эпиграммах было уже сказано. Остальные же написаны на темы литературные («История стихотворца», не имеющая, впрочем, определенного адресата; «На Каченовского» — «Бессмертной рукой раздавленный зойл»), театральные («На А. М. Колосову» — «Всё пленяет нас в Эсфири»; «Нимфодоре Семеновой» — «Желал бы быть твоим, Семенова, покровом»), * имеющие эпизодический или личный характер. Значительная часть перечисленных эпиграмм, однако, лишь приписывается Пушкину с большей или меньшей вероятностью. Многие из них, в особенности театральные, связаны, конечно, с «Зеленой лампой».

Легкая любовь, занимавшая большое место в жизни молодежи того же круга, и ее героини — петербургские «прелестницы», среди которых любил вращаться Пушкин, — прославляются в ряде стихотворений: в элегии «Выздоровление», посвященной, по преданию, одной из петербургских «дев веселья» — Елизавете Шот-Шедель, которая навестила Пушкина во время его тяжелой болезни (в начале 1818 г.), переодетая гусаром; в стихотворениях «Платоническая любовь» (1819) и «Ольга, крестница Киприды» (посвящено другой «прелестнице», Ольге Массон, и предположительно датируется 1819 г.); наконец, во многих посланиях, связанных с «Зеленой лампой», и в ряде мелких стихотворений эпикурейского характера. Это настроение, проникнутое бурной жизнерадостностью, вытесняет почти совершенно медитативную элегию в духе Мильвуа, господствовавшую в лицейском творчестве 1816—1817 гг. Последним отзвуком ее является стихотворение, датированное в рукописи 27 ноября 1817 г.: «К ***» («Не спрашивай, зачем унылой думой»). О более серьезных чувствах, чем мимолетные увлечения «прелестницами», говорят такие стихотворения, как элегия «К ней» («В печальной праздности я лиру забывал»), предположительно датируемое концом 1817 г. по тематической связи со стихотворением «К ***», и элегический отрывок 1819 г. «Воспоминаньем упоенный» («К Кагульскому памятнику»). Адресаты этих стихотворений, однако, неизвестны. Несколько других произведений того же порядка являются как бы антитезой по отношению к эпикурейским настроениям и к воспеванию наслаждений, пиров и легкой любви. Они со-

* А также театральные мадригалы, как «В альбом Е. А. Сосницкой».

держат мотивы бегства в природу, успокоения в деревенской тишине от суеты города, резкого отрицания чувственных городских наслаждений. Об утомлении городом, об удалении в деревню, о любви к сельской природе и жизни говорится в стихотворении, написанном тотчас после окончания Лицея и посвященном с. Тригорскому: «Простите, верные дубравы» (датированном 17 августа 1817 г.); позднее — в черновом наброске 1818 г. «Дубравы, где в тиши свободы»; в послании к В. В. Энгельгардту («Я ускользнул от Эскулапа», написанном при отъезде в деревню после болезни, в начале июля 1819 г.); в одновременном с ним (4 июля) послании к А. Ф. Орлову («О ты, который сочетал»); в стихотворении «Домовому» («Поместья мирного незримый покровитель»), написанном во время пребывания в деревне в июле — августе 1819 г., и в особенности в первой части «Деревни», посвященной описанию Михайловского и в нем и написанной. Во всех этих произведениях столько же искреннего чувства и подлинных настроений поэта, сколько следования литературным традициям, западным, идущим от Руссо, и русским, карамзинским. Примыкает в известной мере к этим вещам стихотворение «Возрождение» («Художник-варвар кистью сонной», 1819). Отрицательно морализирующее отношение к продажной любви выражено в стихотворении 1819 г. «Прелестнице».

Обзор творчества Пушкина 1817—1819 гг. показывает, что оно тематически и формально (в отношении разрабатываемых жанров, приемов, изображения, стиля и лексики) шло, в общем, по пути продолжения и завершения поэтической линии, в России представленной Батюшковым, а на Западе — французской поэзией XVIII в., от Вольтера до Парни и эпигонов классицизма, старших современников Пушкина. Французское влияние у Пушкина решительно преобладает, и чувствуется не только сдержанное, но и ироническое отношение его к опытам Жуковского в области усвоения немецких и английских поэтов. Как противопоставление — но уже с другой стороны — немецко-английской балладе Жуковского следует рассматривать и стихотворение 1819 г. «Русалка» («Над озером в глухих дубровах») — полусерьезный, полуиронический опыт «русской» баллады, относящийся, по видимому, ко времени сближения Пушкина с противником Жуковского — П. А. Катениным. Но «Русалка» — явление единичное, французские же отражения довольно многочисленны. В послании Н. И. Кривцову («Когда сожмешь ты снова руку», 1818) прославляется поэт Вольтера «La Pucelle» («Девственница»); «ноэль» «Сказки» («Урал в Россию скачет», 1818) представляет собою воспроизведение французских рождественских детских и сатирических песенок; из Э. Парни (1753—1814) переведено стихотворение «Добрый совет» («Давайте пить и веселиться», 1817; у Парни «A. mes amis» — «Моим друзьям»), а «Платоническая любовь» («Я знаю, Лидишка, мой друг», 1819) близко напоминает некоторые стихи из его же поэмы «Coup d'oeuil sur Cythère» («Взгляд на Цитеру»); из А. Арно (1768—1834) переведено стихотворение «Уединение» («Блажен, кто в отдаленной сени», 1819, у Арно — «La solitude»); стихотворение «К ***» («Счастлив, кто близ тебя, любовник упоенный») близко по теме к стихотворению «L'amant timide» («Робкий любовник») Леонара (1744—1793); через французские подражания XVIII в. воспринимал в эти годы Пушкин и антич-

ную поэзию — Анакреона и Горация (близко к стихотворению последнего «К фавну» стихотворение «Домовому», 1819); написанное, вероятно, вскоре после окончания Лицея «Торжество Вакха» воспроизводит мотивы, чрезвычайно распространенные во французском искусстве XVII—XVIII вв. — и в поэзии, и в живописи, и в тканях (гобеленах); в оде «Вольность» (1817) поэт хочет идти по следам «возвышенного Галла», т. е. французского поэта эпохи революции, но не вполне ясно, какого именно: Андре Шенье, или его брата Мари Жозефа Шенье, или Экушара Лебрена. На рубеже 1819—1820 г. в западной ориентации творчества Пушкина происходит резкий перелом: он знакомится с только что вышедшими, неизвестными до тех пор антологическими стихотворениями Андре Шенье (1762—1794), этого нео-классика, порвавшего с традициями французского классицизма, чтобы вернуться к первоисточникам — к поэзии греков и римлян, и на основе их создать новую, своеобразную элегию. Под его влиянием в конце 1819 или самом начале 1820 г. написаны «Дориде» («Я верю: я любим; для сердца нужно верить»), где последний стих — точный перевод одного стиха А. Шенье, и «Дорида» («В Дориде нравятся и локоны золотые»), начинающие новую струю в поэзии Пушкина, — струю, не слабеющую даже под воздействием другого мощного впечатления, открывшегося Пушкину во время путешествия на Кавказ — впечатления поэзии Байрона. Первым отражением Байрона в пушкинской лирике является элегия «Погасло дневное светило», напоминающее прощание с родиной Чайльд-Гарольда.

СТИХОТВОРЕНИЯ 1821—1825 гг.

За период южной ссылки и ссылки в Михайловское Пушкин сотрудничал в передовых журналах Петербурга и Москвы. Стихотворения его появлялись в «Сыне Отечества» 1821 и 1824 гг. («Муза», «Чаадаеву» — «В стране, где я забыл тревоги прежних лет», и др.), в «Соревнователе Просвещения и Благотворения» 1821 и 1825 гг. («Я говорил тебе, страшися девы милой», «Мила красавица, когда свое чело», «Желание славы» и др.), в «Новостях Литературы» 1822—1825 гг. («Дориде», «Я пережил свои желанья», «Море и земля» и др.), в «Полярной Звезде» А. А. Бестужева и К. Ф. Рыльева 1823—1825 гг. («Овидию», «Гречанке», «Мечта воина», «Друзьям», «Нереида», «Простишь ли мне ревнивые мечты», послание к Алексею, отрывки из «Кавказского пленника», из «Цыганов», из «Братьев-разбойников» и др.), в «Северных Цветах» А. А. Дельвига 1825 г. («Песнь о вещем Олеге», «Демон», «Прозерпина», отрывки из II главы «Евгения Онегина»), в «Мнемозине» В. К. Кюхельбекера и В. Ф. Одоевского 1824—1825 гг. («Вечер», «Мой демон», «К морю»). Пушкин сотрудничал также во вновь организованном с 1825 г. «Московском Телеграфе» («Телега жизни», «Журнальным приятелям», «Ex ungue leonem» и др.), принимал участие в «Литературных Листках» 1824 г. (вторично элегия «Простишь ли мне ревнивые мечты», «Нереида») и во вновь основанной с 1825 г. «Северной Пчеле» («К Чаадаеву» — «К чему холодные сомненья»).

К 1825 г. относится подготовка к печати первого сборника ли-

рики Пушкина. Из лицейских стихотворений Пушкин отобрал для этого сборника менее десятой части; тщательной правке подверглись также стихотворения, печатавшиеся в журналах и альманахах. 8 декабря 1825 г. сборник «Стихотворений Александра Пушкина» был подписан к печати цензором, а 30 декабря он вышел в свет с датой 1826 г. Сборник имел латинский эпиграф из Проперция — «Aetas prima sanat veneres, extrema tumultus» («Юность поет любовь, старость — сражения») — и открывался небольшим предисловием «от издателей». Из цензурных изъятий в тексте сборника важнейшими были следующие: три строфы (4, 5 и 6) в стихотворении «Наполеон»; монолог Шенья в стихотворении «Андрей Шенья» (от стиха «Приветствую тебя, мое светило» до «И буря мрачная минет») и, наконец, купюры в 13 строфе стихотворения «К морю». Всего в сборник 1826 г. вошло около ста стихотворений, распределенных на шесть отделов: Элегии, Разные стихотворения, Эпиграммы и надписи, Подражания древним, Послания, Подражания Корану. Образцом, от которого отталкивался Пушкин в построении своего сборника, были «Опыты» К. Н. Батюшкова (1817) с их разделением на отделы: Элегии, Послания, Смесь. Жанровое распределение стихотворений у Пушкина свидетельствовало о живой еще связи его поэтики с традиционной поэтикой, несмотря на то, что уже в эту пору Пушкин нарушал традицию и смешивал лирические жанры. Однако решительный отказ от разделения на жанры произошел у Пушкина только через несколько лет: две части следующего его издания стихотворений, выпущенного в 1829 г., давали произведение в хронологическом порядке, подчеркивая этим самым лирическую эволюцию поэта. *

В сборник 1826 г. не вошел ряд стихотворений, при жизни Пушкина вообще не печатавшихся, — «К моей чернильнице», «Дельвигу», «К Гнедичу», «Ода его сиятельству графу Хвостову», «Н. С. Мордвинову» и др. В этой группе главное место занимают политические стихотворения («Кинжал», «В. Л. Давыдову», «Генералу Пушкину», «Я. Н. Толстому», «Послание цензору», «Свободы сеятель пустынный», «Недвижный страж дремал на царственном пороге», «Кто, волны, вас оставил», «Сказали раз царю», «Второе послание цензору», «На гр. Воронцова»), из которых некоторые («Кинжал» и два послания цензору) были предназначены Пушкиным для распространения в списках.

Стихотворения, объединенные в сборнике 1826 г., целиком вошли затем в издание 1829 г., в состав которого Пушкин включил также свыше двух десятков стихотворений, написанных за годы 1821—1825, но не вошедших в сборник 1826 г. («Хоть, впрочем, он поэт изрядный», «Баратынскому из Бессарабии», второе послание ему же, «Люблю ваш сумрак неизвестный», «Коварность», «Ночной зефир», «Прозаик и поэт», «Движение», «Дружба», «Соловей и кукушка»,

* История подготовки сборника 1826 г. освещена в статье Б. В. Томашевского «Материалы по истории первого собрания стихотворений Пушкина» (1826) в «Литературном Наследстве», № 16—18, М., 1934, стр. 825—868. Ср. книгу Б. В. Томашевского «Пушкин. Современные проблемы историко-литературного изучения», Л., 1925, стр. 6—10 и 108—110.

«Совет», «Под небом голубым страны своей родной», «19 октября», «Жених», «В крови горит огонь желанья», «Сцена из Фауста» и др.). Особо следует выделить «Разговор книгопродавца с поэтом», напечатанный в 1825 г. в качестве предисловия к I главе «Евгения Онегина».

Поворот в творческом развитии Пушкина, совпадающий с началом ссылки, был обусловлен новыми жизненными и литературными впечатлениями. Влияние общеевропейского и русского революционного подъема, сменившегося победой реакции; встречи и идейное общение с южными декабристами; впечатления от экзотической природы Кавказа и Крыма, наконец, от Кишинева с его разнообразным населением — все это широко и глубоко отразилось в творчестве Пушкина.

В 1822 г. в набросках статьи о русской прозе Пушкин замечал, что «не мешало бы нашим поэтам иметь сумму идей гораздо познавательнее, чем у них обыкновенно водится. С воспоминаниями о протекавшей юности, — добавлял он, — литература наша далеко вперед не подвинется». Поэзия Пушкина резкой чертой отделялась от творчества многих его современников прежде всего тем, что Пушкин был мастером такой художественной формы, которая составляла единое целое с выраженным ею жизненным содержанием. Источник его поэзии, как указывал Белинский, «заключался уже не в одном безотчетном стремлении к поэзии, но в том, что почвою поэзии Пушкина была живая действительность и всегда плодотворная идея».*

Во время своего пребывания на юге Пушкин не только наблюдал, но и изучал живую действительность, в то же время усиленно работая над пополнением своего образования. Он вел дневник и писал автобиографию (впоследствии уничтоженную), занимался русской историей, собирал народные песни, легенды, этнографические материалы, много читал на русском и иностранных языках. На юге он изучал Байрона, Руссо, на юге же у него пробудился интерес к классическому миру, возбужденный чтением Шенье и Овидия.

В 1819 г. вышло в свет собрание стихотворений А. Шенье (первое французское издание, осуществленное А. де Латушем), а через год, в 1820 г., на русском языке появилась брошюра «О греческой антологии» со статьей С. С. Уварова и с образцами переводов из антологии, принадлежащими К. Н. Батюшкову. Цикл «Подражаний древним», явившийся важным этапом для дальнейшего реалистического пути Пушкина, сложился у него под несомненным влиянием не только Шенье, но и Батюшкова.** Этот цикл в сборнике 1826 г. объединял двенадцать стихотворений (I. Муза. II. Дориде. III. Редеет облаков. IV. Юноша. V. Нереида. VI. Дионея. VII. Дориды. VIII. Дева. IX. Ночь. X. Приметы. XI. Земля и море. XII. Краса-

* В. Г. Белинский, Сочинения Александра Пушкина. Изд. 2-е, дополн., Л., 1939, стр. 212. Все дальнейшие цитаты из статей Белинского даны по этому изданию.

** Характерно, что в критическом разборе брошюры «О греческой антологии» В. К. Кюхельбегер не решился безоговорочно определить автора стихов, вошедших в антологию (брошюра была издана анонимно, причем имена Уварова и Батюшкова были скрыты под инициалами их арзамасских прозвищ «Ст.» и «А.»), т. е. «Старушка» и «Ахилл»). Высказываясь в конечном счете за

вица перед зеркалом), причем большинство из них относилось к 1820—1821 гг.

Первым стихотворением, написанным Пушкиным в жанре элегий А. Шенье, было стихотворение «Дориде» (1820). Заключительная строка этого стихотворения являлась точным переводом одного стиха элегии Шенье — «*Et des noms caressants la mollesse enfantine*». «Никто более меня не уважает, не любит этого поэта — но он истинный грек, из классиков классик, — писал Пушкин в письме к П. А. Вяземскому от 4 ноября 1823 г. — *C'est un imitateur savant et rien de plus* [Это ученый подражатель и ничего более]. От него так и пышет Феокритом и Анфологиею. Он освобожден от итальянских soncetti и от французских Antithèses — но романтизма в нем нет еще ни капли». Перерабатывая мотивы и образы Шенье, Пушкин создавал совершенно оригинальные лирические произведения, проникнутые подлинным эллинским духом. Стихотворениям из цикла «Подражаний древним» Белинский давал такую оценку: «Простота и обаяние их красот выше всякого выражения: это музыка в стихах и скульптура в поэзии. Пластическая рельефность выражения, строгий классический рисунок мысли, полнота и оконченность целого, нежность и мягкость отделки в этих песнях, обнаруживают в Пушкине счастливого ученика мастеров древнего искусства. А между тем, он не знал по-гречески, и вообще многосторонний, глубокий художнический инстинкт заменял ему изучение древности». Белинский совершенно правильно подчеркивал, что таких эллинских и артистических стихотворений, как, например, «Муза» или «Нереида», «несмотря на счастливые опыты Батюшкова в антологическом роде», «еще не бывало на Руси до Пушкина». «Нельзя не дивиться в особенности тому, что он (Пушкин) умел сделать из шестистопного ямба — этого несчастного стиха, доведенного до пошлости русскими эпиками и трагиками доброго старого времени. За него уже было отчаялись, как за стих неуклюжий и монотонный, а Пушкин воспользовался им, словно дорогим паросским мрамором, для чудных изваяний, *видимых слухом*». Прочитав «Нереиду», Белинский заключал: «*Прислушайтесь к этим звукам, — и вам покажется, что вы видите перед собою превосходную античную статую*». *

Отправляясь от поэтики Шенье, Пушкин стремился к подлинной античности. В связи с этим темы и образы античных фрагментов Шенье продолжали привлекать внимание Пушкина и в позднейшие годы. В 1823 г. Пушкин начал перевод (незаконченный) идиллии Шенье «Слепец» — «Внемли, о Гелиос, серебряным луком звенящий»; через год, используя мотивы другой элегии Шенье («*Jeune fille, ton coeur avec nous veut se taire*»), Пушкин создает стихотворение «Ты вянешь и молчишь, печаль тебя снедает». Так же, как и в «Под-

авторство Батюшкова, Кюхельбекер все же колебался между Батюшковым и «молодым певцом Руслана», т. е. Пушкиным, отмечая, что, «судя по наслаждению, которое чувствуешь, читая его стихи, по сладостной мелодии каждого из них, особенно по удивительному искусству в образовании и сохранении пиятического перевода, высочайшего совершенства в просодии», переводы могли привлекать только кому-либо из этих двух поэтов (см. «Сын Отечества», 1820, ч. 62, № 23, стр. 146).

* В. Г. Белинский, Соч., стр. 268—269.

ражаниях древним», в этом стихотворении, говоря словами Белинского, «счастливо сочетались изящно-гуманное чувство с пластически изящною формою».*

Интерес к миру классической поэзии выразился у Пушкина не только в его увлечении лирикой Шенье, но и в том, что он внимательно изучал (преимущественно по французским переводам) Овидия.** Судьбу знаменитого римского поэта, сосланного Октавианом Августом на побережье Черного моря, Пушкин любил сопоставлять с своей судьбой изгнанника. Впервые Пушкин сопоставил себя с Овидием в письме к Н. И. Гнедичу, назвав здесь Овидия «Юлией венчаным» в соответствии с мнением Вольтера, полагавшего, что римский поэт был отправлен в ссылку за связь с дочерью императора Юлией!*** Имя Овидия упоминалось в послании «Чаадаеву» (стих «Где прах Овидия пустынный мой сосед»); в другом стихотворении Пушкин высказывал желание, чтобы «Овидиева лира, счастливая певица красоты, певица нег, изгнанья и разлуки» нашла бы вновь «живые звуки» в его творчестве (зачеркнутая строфа стихотворения «Кто видел край, где росношью природы»). После поездки Пушкина в декабре 1821 г. в Измаил и Аккерман было написано большое послание «К Овидию», материалом для которого послужили две книги римского поэта: «Скорби» и «Письма с Понта», а также и предания о ссылке Овидия, слышанные Пушкиным в Бессарабии. Насколько внимательно изучал Пушкин сочинения Овидия, видно по целому ряду реминисценций из Овидия в пушкинских письмах, по упоминанию его имени в стихотворениях «Баратынскому из Бессарабии» и «К Языкову», по специальному примечанию об Овидии к I главе «Евгения Онегина», наконец, по позднейшей статье Пушкина в «Современнике» о стихотворениях Теплякова, где Пушкин вновь обращался к Овидиевой тени.

Послание «К Овидию» Пушкин чрезвычайно ценил и считал одним из лучших своих стихотворений. Образом римского поэта выражая чувства своего изгнания, Пушкин подчеркивал и свое различие с Овидием без всякого, однако, расчета на эффектную антитезу. Отправляя послание в Петербург для помещения его в «Полярной Звезде», Пушкин предвидел препятствия со стороны цензуры. «Но старушку можно и должно обмануть, ибо она очень глупа, — писал Пушкин А. Бестужеву 21 июня 1822 г., — пови-

* О влиянии Шенье на Пушкина см. в этюде Л. П. Гроссмана «Пушкин и Андре Шенье» в его сборнике «От Пушкина до Блока», М., 1926, стр. 15—51. Сводку заметок Пушкина о Шенье см. в статье Н. К. Козьмина «Пушкин и Виктор Гюго об Андрее Шенье» («Язык и литература», Л., 1926, т. I, вып. 1—2, стр. 351—360).

** В библиотеке Пушкина имелось шесть изданий Овидия: два на русском, три на французском и одно на латинском языках: №№ 260, 273, 621, 1231, 1232, 1233 (см. «Пушкин и его современники», вып. 9—10, СПб., 1910, «Библиотека Пушкина» — библиографическое описание, сост. Б. Л. Модзалевским). Параллели пушкинских стихов со стихотворениями Овидия даны в работе А. И. Малейна «Пушкин и Овидий» («Пушкин и его современники», вып. 23—24, П., 1916, стр. 45—66). Ср. также статью Д. П. Якубовича «К стихотворению «Гайтис пещера» в «Пушкинском сборнике памяти С. А. Венгерова», М.—П., 1922, стр. 282—294.

*** В примечании об Овидии к I главе «Евгения Онегина» Пушкин опровергал эту версию.

димому ее настрашали моим именем; не называйте меня, а поднесите ей мои стихи под именем кого вам угодно. Послание было напечатано с двумя звездочками вместо подписи. «Каковы стихи к Овидию? — спрашивал Пушкин брата в письме от 30 января 1823 г., увидев свое послание напечатанным: — душа моя, и Руслан, и Пленник, и Ноё! и всё дрянь в сравнении с ними...» В «Цыганах» в уста старика-цыгана Пушкин вложил рассказ об Овидии, во многом близкий к его любимому посланию.

Мотивы разочарования и недовольства жизнью (элегия «Я пережил свой желанья», предназначенная для включения в поэму «Кавказский пленник» и др.) отнюдь не являются основными мотивами лирики ссыльного Пушкина. Чувства изгнанничества не ослабили преданности поэта идеям свободы и просвещения. В послании «Чаадаеву» Пушкин писал о благотворности уединения, о тихом труде и жажде размышлений, о своем стремлении «в просвещении стать с веком наравне», наконец, о прежних «вольнлюбивых надеждах» (строка, не пропущенная цензурой). Почти одновременно с посланием «Чаадаеву» было написано стихотворение «К моей чернильнице», в котором поэт обобщал свою деятельность, заключая стихи воспоминаниями о Чаадаеве.

Бодростью и душевным спокойствием проникнуты все дружеские послания Пушкина периода ссылки. В послании к Я. Н. Толстому («Горишь ли ты, лампада наша») Пушкин вспоминал о вольнолюбивом кружке «Зеленая лампа» и о заседаниях кружка в квартире Н. В. Всеволожского. * Характерна та теплота, с которой поэт говорил о «милом равенстве», упоминая также и о «колпаке», являвшемся для всех участников кружка символом революции и свободы (фригийскую шапочку во время французской революции носили санкюлоты и якобинцы). В ответ на послание Пушкина Толстой сообщал ему, что «Зеленая лампа» больше уже не собирается: вскоре же после высылки Пушкина из Петербурга кружок распался.

Из всех членов кружка только один Ф. Н. Глинка имел мужество печатно обратиться к ссыльному поэту со словами приветия и утешения. В сентябре 1820 г., когда Пушкин был уже в ссылке, Ф. Н. Глинка опубликовал стихотворение, обращенное «К Пушкину» по поводу выхода в свет «Руслана и Людмилы»:

О Пушкин, Пушкин! кто тебя
Учил пленять в стихах чудесных?
Какой из жителей небесных
Тебя младенцем полюбил...
Судьбы и времени седого
Не бойся, молодой певец!
Следы исчезнут поколений,
Но жив талант, бессмертен гений!.. **

* Реставрация ранней редакции стихотворения «Горишь ли ты, лампада наша» сделана в работе С. М. Бонди «Неосуществленное послание Пушкина к «Зеленой лампе» («Пушкин. Временник Пушкинской комиссии», т. I, Л., 1936, стр. 33—52).

** «Сын Отечества», 1820, ч. 64, № 38, стр. 231—233. Общая характеристика Ф. Н. Глинки, как поэта декабристского круга, дана в очерке В. Базанова «О поэзии Глинки» («Литературный Критик», 1938, № 9—10, стр. 293—306).

В ответ на эти стихи Пушкин написал послание к Ф. Н. Глинке, говоря в этом послании об измене дружбы, о «презренном робком эгоизме» и о великодушии Глинки. Отправляя послание в Петербург, Пушкин просил брата показать его Глинке и добавлял: «Обними его за меня и скажи ему, что он все-таки почтеннейший человек эдешнего мира» (письмо от 1—10 января 1823 г.). Через несколько лет, иронизируя над его стихотворными переложениями библейских гимнов (ср. эпиграмму 1825 г. «Наш друг Фита, Кутейкин в эполетах»), Пушкин, однако, не забыл благородства Глинки. Когда, после расправы над декабристами, Глинка находился в ссылке, Пушкин напечатал сочувственную рецензию на его поэму «Карелия» (1830).

В 1821—1822 гг. в лирике Пушкина высшей точки достигают революционные настроения, обусловленные революционным подъемом в Европе и России. Большую роль для идейного развития Пушкина имели его встречи и беседы с южными декабристами. * С воспоминаниями о пребывании Пушкина в Каменке связано его послание к декабристу В. Л. Давыдову. Послание писалось в апреле 1821 г., во время великого поста, одновременно с «Гавриилиадой», с которой оно перекликается атеистическими мотивами. В первой части послания Пушкин издевался над православной «эвхаристией», потому что он вынужден был лицемерно говеть; во второй части говорилось о «другой эвхаристии», о другом причастии, принять которое Пушкин был готов. Намекая на поражение неаполитанской революции («А *та* едва ли там воскреснет») и высказывая сомнение, что народы действительно восстанут («Народы тишины хотят»), Пушкин, однако с горячим сочувствием говорил о *тех* — революционерах-карбонариях, и о *той*, т. е. о политической свободе. В заключительных стихах послания выражена уверенность в неминуемости наступления революции и в России.

Известия о подавлении революционного движения и победах реакции на Западе глубоко волновали Пушкина. В стихотворении «Кинжал» он поэтизировал образ К. Занда и воспевал его как «мученика свободы». Пушкин, однако, не видел в убийстве действительного средства политической борьбы. Наоборот, кинжал у Пушкина — только «последний судия позора и обиды». Тень Занда, погибшего на плахе, Пушкин называет «вечной тенью» для Германии потому, что эта тень стала напоминанием и угрозой «преступной силе» реакции. Революционизирующее значение «Кинжала», разошедшегося в многочисленных нелегальных списках, было огромно. Знаменательно, что это стихотворение декабрист М. П. Бестужев-Рюмин читал на собрании Общества соединенных славян, когда это общество присоединялось к Южному тайному обществу. ** Как и другие «вольные» стихотворения Пушкина, «Кинжал» поднимал у декабристов революционный дух и звал на борьбу за политическое раскрепощение России.

* См. статью С. Я. Гессена «Пушкин в Каменке», «Литературный Современник», 1935, № 1, стр. 191—205.

** См. статью М. В. Нечкиной «О Пушкине, декабристах и их общих друзьях (по неисследованным архивным материалам)», «Каторга и Ссылка», 1930, кн. 4(65).

Внимательно следя за европейскими делами и международной политикой, Пушкин приходил к пересмотру некоторых своих прежних убеждений и взглядов. Так, в 1821 г. он углубляет свое понимание исторического значения Наполеона. В лицейские годы Наполеон рисовался Пушкину только как «губитель» и «хищник» (ср. «Наполеон на Эльбе», 1815). В стихотворении «Наполеон», написанном под впечатлением известия о смерти Наполеона, Пушкин также характеризует его как тирана своей страны, но вместе с тем подчеркивает и его положительное, прогрессивное значение в истории Европы и России. Наполеон указал русскому народу его «высокий жребий», поскольку поход Наполеона на Россию пробудил народный героизм и национальное сознание. Наполеон завещал миру «вечную свободу», ибо завоевательные войны Наполеона породили освободительное движение в странах угнетенной Наполеоном Европы. В 1821 г. Пушкину становится ясным противоречивый, двойственный характер деятельности Наполеона.

Пушкин с восторгом принял известия о революционном движении в Греции, на Балканском полуострове, в Молдавии и Валахии. Он встречался в Кишиневе с вождем гетеристов «безруким князем» Ипсиланти. В самый разгар восстания, в Петербурге даже распространились слухи о бегстве поэта в лагерь восставших. Среди откликов Пушкина на греческое восстание выделяются два его стихотворения — «Война» и «Генералу Пушину». В первом стихотворении Пушкин выражал надежду увидеть «праздник мести» и услышать «звук мечей». Он не только горячо сочувствовал повстанцам, но и ожидал, что русские войска помогут им. Вероятно, в связи с предположениями, что 16-я пехотная дивизия, расквартированная в Кишиневе, должна выступить на помощь грекам, Пушкин и написал послание командиру дивизии, своему знакомцу П. С. Пушину, члену местной ячейки Союза благоденствия и руководителю масонской ложи («каменщик почтенный»). Пушкин указывал в послании, что теперь дорога Пушина — «в дыму, в крови, сквозь тучи стрел».

Разгром революционного движения в Европе и усиление реакции в России вызвали у Пушкина кризис его политического сознания, наиболее ярко отразившийся в стихотворении «Свободы сеятель пустынный». Посылая эти стихи в письме к А. И. Тургеневу 1 декабря 1823 г., Пушкин характеризовал их как «подражание басне умеренного демократа Иисуса Христа (Изыде сеятель сеяти семена свои)». Скептические мотивы, связанные с разочарованием в революционных перспективах, звучат у Пушкина и в стихотворении «Недвижный страж дремал на царственном пороге», где дана широкая картина итогов реакционной политики Священного союза. Пушкин пришел к выводу, что реакция 20-х годов была намного сильнее революции и что народ еще неспособен был добиться политического раскрепощения. Этот вывод имел большое значение в развитии мировоззрения Пушкина, не приводя его, однако, ни на один момент к примирению с реакцией. Характерно, что наряду с «подражанием басне Иисуса Христа» он пишет вдохновенный гимн свободе в неотделанном черновом наброске «Кто, волны, вас остановил». Крушение революционных надежд обогащало идейный опыт Пушкина, укрепляя его в сознании противоречивости действительности, помогая росту реалистического отношения к истории и ее законам.

На современников Пушкина большое впечатление произвело его стихотворение «Демон». Самый образ «Демона» был связан с личностью друга Пушкина А. Н. Раевского, о чем вскоре же и стало известно в литературных кругах. Чтобы опровергнуть толки о том, что «Демон» списан с реального лица, Пушкин заготовил специальную заметку (оставшуюся ненапечатанной), где указывал, что в своем стихотворении он хотел олицетворить дух отрицания и сомнения. «В лучшее время жизни сердце, еще не охлажденное опытом, — писал он в этой заметке, — доступно для прекрасного. Оно легковерно и нежно. Мало-помалу вечные противоречия сущности рождают в нем сомнение — чувство мучительное, но непродолжительное. Оно исчезает, уничтожив навсегда надежды и лучшие поэтические предрассудки души. Недаром великий Гете называет вечного врага человечества духом отрицающим».

Мотивы пушкинского «Демона» продолжали, с одной стороны, мотивы стихотворения «Свободы сеятель пустынный» («Демон» и «Свободы сеятель пустынный» в первоначальной редакции составляли одно стихотворение), с другой стороны — «Демон» находился в ближайшей связи с набросками I главы «Евгения Онегина». В характеристике Онегина Пушкин использовал те черты, которыми он рисовал «Демона».*

Теме сомнения и отрицания не только в творческом развитии Пушкина, но, в связи с Пушкиным, в истории русской поэзии вообще, исключительное значение придавал Белинский, многократно касавшийся пушкинского «Демона» и объединявший это стихотворение со «Сценой из Фауста». В статье о «Стихотворениях Лермонтова» 1841 г. Белинский писал: «Литература в первый раз начала быть выражением общества. Это новое направление литературы вполне выразилось в дивном создании Пушкина — «Демон»... Это демон сомнения, это дух размышления, рефлексии, разрушающей всякую полноту жизни, отравляющей всякую радость. Странное дело: пробудилась жизнь, и с нею об руку пошло сомнение — враг жизни! «Демон» Пушкина с тех пор остался у нас вечным гостем, и с злою насмешливою улыбкой показывается то тут, то там».**

Как автор «вольных» стихотворений Пушкин выражал декабристские революционные лозунги и был литературным знаменем декабризма. Но направление поэтических интересов и симпатий Пушкина вызывало опасения у декабристов. Они систематически и настойчиво стремились воздействовать на Пушкина в смысле ограничения диапазона его творчества гражданской тематикой, которая с их

* На связь «Демона» с стихотворением «Свободы сеятель пустынный» и с некоторыми строфами I главы «Евгения Онегина» впервые указал Л. Поливанов в статье «Демон Пушкина на основании нового пересмотра рукописей поэта» («Русский Вестник», 1886, кн. 8, стр. 827—850). Новейшее исследование данного вопроса сделано И. Н. Медведевой.

** В. Г. Белинский, Соч., стр. 627. В связи с эволюцией Белинского в его отношении к творчеству Пушкина, через несколько лет изменилась и его трактовка «Демона»: «Знакомое с демоном другого поэта (Лермонтова) наше время с улыбкою смотрит на пушкинского чертенка — замечал Белинский в 1846 г. (см. там же, стр. 510 и по указателю). Выдвигая тему сомнения и отрицания в творчестве Лермонтова, Белинский стал явно недооценивать пушкинского «Демона», историко-литературную связь которого с «Демоном» Лермонтова сам же впервые констатировал.

точки зрения только и могла оправдать истинное назначение поэзии. В этом отношении особенно характерны были встречи и беседы Пушкина с одним из вождей бессарабской ячейки Союза благоденствия, «первым декабристом» майором В. Ф. Раевским. Последовательный демократ-революционер, «спартанец», как называл его Пушкин, Раевский был прекрасным знатоком политики, истории и русского эпоса. Он защищал национальное содержание в поэзии, указывал на необходимость обращения к древнерусской истории, требовал от поэта боевого гражданского пафоса. И. П. Липранди в своих мемуарах, сообщая о беседах Пушкина с Раевским, отмечал, «что Пушкин не соглашался с Раевским, когда этот утверждал, что в русской поэзии не должно приводить имена ни из мифологии, ни исторических лиц древней Греции и Рима, — что у нас и то и другое есть свое и т. п.» * Раевский был явно неудовлетворен тем направлением, в каком развивалась поэзия Пушкина. Можно предполагать, что «первый декабрист» осуждал пушкинское увлечение античностью, а в частности цикл антологических стихотворений Пушкина.

В стихотворном послании «К друзьям в Кишиневе» (середина 1822 г.), написанном уже из крепости, Раевский обращался к Пушкину с таким воззванием:

Оставь другим певцам любовь.
 Любовь ли петь, где льется кровь,
 Где власть с насмешкой и улыбой
 Терзает нас кровавой пыткой,
 Где слово, мысль, невольный взор
 Влекут, как явный заговор,
 Как преступление, на плаху,
 И где народ, подвластный страху,
 Не смеет шопотом роптать.
 Пора, мой друг, пора воззвать
 Из мрака век полночной славы,
 Царя-народа дух и нравы
 И те священны времена,
 Когда гремело наше вече
 И гуло звуком издали
 Царей кичливых рамена.

Ответом на стихи Раевского, обращенные к Пушкину, явился набросок «Недаром ты ко мне воззвал из глубины глухой темницы».

Пушкин с большим вниманием относился к советам Раевского; вероятно, под его воздействием он занимался в Кишиневе русской историей, начал поэму о Вадиме (см. во II томе отрывок «Свод неба мраком обложился»), задумал поэму о князе Мстиславе, написал «Песнь о вещем Олеге», записывал народные сказки и т. д. ** Общение с Раевским и другими южными декабристами (М. Ф. Орловым, П. И. Пестелем и др.), способствовавшее углублению исторических интересов Пушкина, в то же время толкало его к изучению рус-

* «Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников», ред. С. Я. Гессена, Л., 1936, стр. 206.

** Поэму о Вадиме Пушкин начал после того, как оставил замысел политической трагедии, в центре которой стоял все тот же героический образ Вадима Новгородского, борца за гражданскую свободу (см. комментарии А. Л. Слонимского в Полн. собр. соч. Пушкина, т. VII, изд. Акад. Наук, 1935, стр. 659—664).

ского языка и русской народности. В результате бесед с южными декабристами Пушкин сделал для себя ряд заметок, среди которых была и следующая замечательная запись 1822 г.: «Только революционная голова, подобная М. Ор(лову?) или П(естелю), может любить Россию — так, как писатель только может любить язык. Все должно творить в этой России и в этом русском языке». В тот же период, пересматривая вопрос о сравнительном значении русской и французской литературы, в наброске «О французской словесности» Пушкин отмечал: «Не решу, какой словесности отдать предпочтение, но есть у нас свой язык; смелее! — обычаи, история, песни, сказки — и проч.».

При всем несомненном влиянии южных декабристов на Пушкина, его обращение к народности, а также и линия его исторических интересов далеко выходили за рамки декабристской идеологии. Так, установкам Раевского уже не соответствовала, например, «Песнь о вещем Олеге», создавая которую Пушкин несомненно исходил из круга идей «первого декабриста».

Характерно, что в декабристских и около-декабристских кругах пушкинская баллада, будучи опубликована, была встречена с полусуждением. Не нравилась историческая конкретность «Песни»; в ней не было романтического пафоса, которым отличались произведения поэтов-декабристов, но который Пушкиным преодолевался. Анонимный критик «Сына Отечества» (Н. И. Греч?) писал по поводу «Песни», что в ней «видна какая-то холодность, совершенно противоположная тем порывам чувства и воображения, которые нас восхищают и, так сказать, увлекают в мир, всегда удачно создаваемый поэтом; но эта пьеса, в сравнении с произведениями одного только Пушкина, может иметь недостатки: она составила бы славу многих наших так называемых первоклассных поэтов; в ней есть все, кроме пылкости Пушкина и той обворожительной прелести, игривости в стихах, которую мы лучше постигаем, нежели умеем выразить». * Сходную оценку «Песни о вещем Олеге» дал, вероятно, и декабрист А. Бестужев в его недошедшем до нас письме к Пушкину. «Тебе, кажется, Олег не нравится; напрасно, — отвечал Пушкин А. Бестужеву в конце января 1825 г.: — Товарищеская любовь старого князя к своему коню и заботливость о его судьбе — есть черта трогательного простодушия, да и происшествие само по себе в своей простоте имеет много поэтического».

Обращение к народности и истории, тема сомнения и отрицания, с большой силой прозвучавшая у Пушкина, — все это было плодотворно для дальнейших все расширявшихся его творческих исканий, для отражения в поэзии всей полноты жизни, для раскрытия человеческой психологии в ее многообразии и противоречивости. Все это отражалось и в любовных стихотворениях Пушкина. Начиная с 1823 г., цикл любовных стихотворений становится важной линией его лирического творчества. К 1823 г. относится стихотворение «Простишь ли мне ревнивые мечты», связанное с именем

* «Сын Отечества», 1825, т. III, стр. 308—309 («Письма на Кавказ»); ср. упоминание об этом отзыве в письме П. А. Плетнева Пушкину от 7 февраля 1825 г.

Амалии Ризнич; к ней же обращено, вероятно, и другое стихотворение того же года — «Ночь». * В 1825 г. Пушкин создает стихотворение, посвященное А. П. Керн («Я помню чудное мгновенье»). Целый цикл стихотворений Пушкина предположительно связывается с именем Е. К. Воронцовой. Из этого цикла следует выделить стихотворения: «Ненастный день потух», «Сожженное письмо», «Желание славы» и позднейшие (1827) — «Ангел» и «Талисман».

Расхождения Пушкина по эстетическим вопросам с декабристами (сначала с В. Ф. Раевским, а затем с Кюхельбекером, А. Бестужевым и Рылевым) не означали, конечно, что Пушкин исключал боевую гражданскую тематику из сферы своего творчества. Силу поэтического слова как орудия общественной борьбы Пушкин никогда не переставал ценить, учитывая огромные возможности «Ювеналова бича» и «пламенной сатиры» (см. стих. «О, муза пламенной сатиры», написанное «онегинской строфой»).

Однако Пушкин перерастал декабристскую романтическую эстетику; он пришел к глубокому пониманию действительности в ее противоречиях, освободился от всяких оптимистических иллюзий. Вот почему он уже не создавал больше произведений, аналогичных «Вольности» или «Кинжалу». Вот почему он обратился к Шекспиру, придя к выводу об односторонности и отвлеченности мятежной поэзии Байрона. Как и во всем творчестве Пушкина, в области его лирики усилилась и окончательно победила реалистическая струя.

Стихотворение «Недвижный страж дремал на царственном пороге», «Сказали раз царю, что наконец», эпиграмма на Александра I («Воспитанный под барабаном») и «Андрей Шенье» — таковы важнейшие политические стихотворения Пушкина 1823—1825 гг. А. Шенье, у которого Пушкин учился проникновению в тайны древнего классического искусства, не переставал привлекать поэта на протяжении многих лет. «André Chénier погиб жертвою французской революции на тридцать первом году от рождения» — отметил Пушкин в одном из своих неоконченных набросков. Шенье — «из классиков классик» — дорог был Пушкину и как поэт, прославивший «священный гром» революционной бури. В стихотворении «Андрей Шенье», написанном в Михайловском за несколько месяцев до восстания декабристов (в рукописи стихотворение было озаглавлено «Андрей Шенье в темнице»), Пушкин использовал некоторые элегии Шенье. Стихотворение построено таким образом, что его идеи и образы, относящиеся непосредственно к Шенье, в то же время характеризовали положение самого Пушкина как ссыльного поэта и выражали пушкинские политические взгляды. На это имеется и собственное указание Пушкина из его письма к П. А. Вяземскому от 13 июля 1825 г.: «Читал ли ты моего Шенье в темнице? Суди об нем как езуит по намерению». Заключительная часть монолога, который Пушкин вложил в уста Шенье

* Памяти А. Ризнич, скончавшейся в 1826 г. во Флоренции, Пушкин посвятил стихотворение «Под небом голубым страны своей родной». Воспоминаниями о Ризнич вдохновлена и позднейшая пушкинская элегия «Для берегов отчизны дальней» (1830).

(«И час придет... и он уж недалек. Падешь, тиран!..»), легко переосмыслилась в предсказание близкого конца царствования Александра I. «Андрей Шенье» явился действительно политической декларацией Пушкина. Образом Шенье, воспевшего «крушение трона» и «священную свободу», посылавшего «свободе, разуму торжественный привет», Пушкин раскрывал свое понимание трагических противоречий Великой французской революции. Пушкин принимал революцию только ее первоначального периода — периода конституции 1791 г. Второй период революции — эпоху Конвента — Пушкин отрицал, считая, что «бешенством народа», «в порывах буйной слепоты», была совершена серьезная историческая ошибка. Но поэт верил, что «буря мрачная минет» и «свобода» придет «опять со мщением и славой».

К циклу политических стихотворений Пушкина следует отнести и два его послания цензору, имеющие определенное декларативное значение. Оба послания были обращены к цензору А. С. Бирюкову, который наряду с А. И. Красовским был одним из проводников реакционной политики конца царствования Александра I. «Вся литература сделалась рукописной благодаря Красовскому и Бирюкову» — вспоминал впоследствии Пушкин. В первом «Послании цензору», написанном еще в конце 1822 г. для распространения в списках, Пушкин ставил своей задачей протестовать против цензурного давления, достигшего в это время исключительных размеров. Ряд утверждений в этом послании отнюдь не выражал взглядов Пушкина, а имел лишь тактическое значение. Тактическим приемом было и самое обращение к цензору, и мысль о том, «что нужно Лондону, то рано для Москвы», и, наконец, идеализация цензурного режима Екатерины II и начала царствования Александра I, что не соответствовало мнениям Пушкина. Представляя в послании некий образ идеального цензора, восходящий к идеям защитников свободы печати, в частности к идеям Бенжамена Констана, Пушкин пользуется этим образом для того, чтобы усилить обличение цензурного произвола. Перечисляя в послании ряд авторов, произведения которых распространялись в рукописях или были изданы без просмотра цензурой, Пушкин, вслед за Радищевым, называет и свою фамилию. Здесь, разумеется, он имеет в виду не себя самого, а своего дядю В. Л. Пушкина, фривольная стихотворная повесть которого «Опасный сосед» распространялась в списках.

«Второе послание к цензору», написанное Пушкиным через два года после первого и также не предназначенное для печати, было вызвано отставкой мракобеса и мистика Голицына и назначением на пост министра народного просвещения адмирала А. С. Шишкова. Зная реакционные взгляды Шишкова, как председателя «Беседы», Пушкин, однако, ожидал от него изменений в области цензурной политики. Пушкину была известна враждебность Шишкова Голицыну, а также и то, что Шишков еще при Голицыне выступал с докладной запиской, в которой отмечался цензурный произвол. В письме к Вяземскому от 25 января 1825 г. Пушкин, цитируя сочувственные строки о Шишкове из своего второго послания к цензору, подчеркивал: «Так Арзамасец говорит ныне о деле Шишкове, tempora altri!». И дальше Пушкин добавлял: «Я же подли-

чал благонамеренно — имея в виду пользу нашей словесности и усмирение кичливого Красовского».

В связи с общей идейно-художественной эволюцией Пушкина, перед ним в 1823—1824 гг. со всей остротой вставали вопросы о месте литературы в общественной жизни, о назначении и задачах поэта. Борьба за независимость и свободу слова, лежавшая в основе двух его посланий к цензору, связывалась у Пушкина с большой проблемой о взаимоотношении искусства и общества. Обсуждая с Вяземским методы противодействия произволу цензуры, Пушкин в письме к нему от марта 1823 г. указывал: «Должно смотреть на поэзию, с позволения сказать, как на ремесло». Тема профессионализации писательского труда была одной из основных тем, которые Пушкин усиленно дебатировал в переписке с друзьями на протяжении нескольких лет. Пушкин боролся с романтическим представлением о вдохновении поэта, якобы несовместимом с «прозой» жизни. С полемическим азартом он доказывал, что «на конченную свою поэму» он смотрит, «как сапожник на пару своих сапог: продаю с барышом». В письме к брату от января — начала февраля 1824 г., цитируя стихотворение Ламартина из «Умирающего поэта»: «*Mais pourquoi chantais-tu? (Но почему ты пел?)*» — Пушкин заявлял: «На сей вопрос Ламартина отвечаю — я пел, как булочник печет, портной шьет, Козлов пишет, лекарь морит — за деньги, за деньги, за деньги — таков я в наготе моего цинизма». В этом высказывании Пушкина была сформулирована тема «Разговора книгопродавца с поэтом», напечатанного в качестве предисловия к I главе «Евгения Онегина». Образ поэта в «Разговоре» был связан с романтическими представлениями о роли вдохновения, восходящими в известной мере к воззрениям Ламартина. Образ книгопродавца, противопоставленного поэту, не отождествляясь с самим Пушкиным, выражал и его мысли. «Разговор» был сопровожден специальным авторским примечанием, которое гласило следующее: «Заметим для щекотливых блюстителей приличий, что Книгопродавец и Поэт — оба лица вымышленные. Похвалы первого — не что иное, как светская вежливость, притворство, необходимое в разговоре, если не в журнале».

Впечатление от «Разговора» в литературных кругах было едва ли не бóльшим, чем от I главы «Евгения Онегина», предисловием к которому он являлся. «Я уже не говорю о стихах, — писал Пушкину П. А. Плетнев 22 января 1825 г., — меня убивает твоя логика. Ни один немецкий профессор не удержит в пудовой диссертации столько порядка, не поместит столько мыслей и не докажет так ясно своего предложения. Между тем какая свобода в ходе!» Очень характерны были отзывы о «Разговоре» поэтов-декабристов. В то время как сам Пушкин преодолевал романтическое представление о поэте и поэтическом творчестве (ср. об этом в письме к А. И. Казначееву от начала июня 1824 г.), декабристами восторженно был принят именно романтический образ поэта. А. Бестужев в своем отзыве, выделив в I главе «Онегина» те строфы, «где говорит чувство, где мечта уносит поэта из прозы описываемого общества», по поводу «Разговора» заключал: «Особенно разговор с книгопродавцем, вместо предисловия (это счастливое подражание Гете), кипит благородными порывами человека, чувствующего себя чело-

веком». * Еще более любопытна оценка «Разговора» В. К. Кюхельбекером. В письме к В. Ф. Одоевскому от 5 апреля 1825 г. он писал по поводу I главы «Онегина»: «Господина Онегина (иначе же нельзя его назвать) читал, есть места живые, блистательные, но ужели это поэзия? Разговор с книгопродавцем в моих глазах не в пример выше всего остального». **

Оценка Кюхельбекером «Разговора» и I главы «Онегина» — это только один из моментов литературно-эстетических споров Кюхельбекера с Пушкиным, относящихся к 1824—1825 гг. Как поэт и теоретик литературы Кюхельбекер боролся против мелочных интересов в поэзии, за ее гражданское содержание, за ее политическую направленность. В связи с этими задачами он доказывал необходимость восстановления старинной оды взамен господствовавших в 20-е годы сентиментальных элегий. Откликом на дискуссии вокруг статьи Кюхельбекера («О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие» в «Мнемозине») явилось стихотворение Пушкина «Соловей и кукушка». Противопоставляя соловья, певца разнообразного, бестолковой кукушке, Пушкин, вслед за Кюхельбекером, осуждал элегический жанр. Однако в вопросе о воскрешении оды Пушкин решительно и резко разошелся со своим другом. «Ода стоит на низших ступенях творчества, — писал Пушкин, — она исключает постоянный труд, без коего нет истинно-великого. Трагедия, комедия, сатира — все более ее требуют творчества, фантазии, воображения, знания природы». «Ода его сиятельству гр. Д. И. Хвостову» была полемически направлена Пушкиным против теоретико-литературных установок Кюхельбекера. Пародируя в этом стихотворении канонические приемы оды и адресуя свои стихи графу Д. И. Хвостову, имя которого в 20-х годах было синонимом бездарного метромана, Пушкин имел в виду, однако, не самого Хвостова, а именно новейших одописцев. Так, в ст. 1—2 — «Кровь Эллады и резвоскачет, и кипит» — пародически намекалось на выражение Кюхельбекера «резвоскачущая кровь» из его послания к А. С. Грибоедову; рифма — «промокла — Фемистокла» (ст. 18—19) была взята из стихотворения Рылеева «На смерть Байрона».

Сюжетной схемой «Оды» Пушкина явилась смерть Байрона, вызвавшая в России ряд поэтических откликов. Среди этих откликов были стихотворения и поэтов-декабристов — Кюхельбекера («Смерть Байрона») и Рылеева («На смерть Байрона»). И то и другое стихотворение, при всем их различии по языку и стилю, представляло собой по конструкции каноническую оду.

На смерть Байрона откликнулся и Пушкин, причем его стихотворение («К морю») было как бы сознательным уклонением от одического канона. *** «Свободная стихия» Черного моря, «гробница славы» и угасающий Наполеон, наконец, «оплаканый свободой» «другой властитель наших дум» — таковы образы пушкинского стихотворения, созданного в связи с отъездом Пушкина из Одессы

* «Полярная Звезда на 1825 год».

** «Русская Старина», 1904, № 2, стр. 380.

*** Ю. Н. Тынянов, Архаисты и новаторы, Л., 1929, стр. 206—229.

в конце июля 1824 г. В стихотворении «К морю» Пушкин подводит итоги своему увлечению Байроном и руссоистской проповеди о возвращении к природе (ср. строки «Где благо, там уже на страже иль просвещение иль тиран»), также его волновавшей на юге.

В период михайловской ссылки Пушкин продолжал углубленное изучение истории и народности, начатое в Кишиневе под влиянием южных декабристов. Полнота усвоения стиля и языка русской народной поэзии позволили Пушкину создать такие произведения, как «Жених» и «Зимний вечер». Вслед за Катениным Пушкин смело вводил «в круг возвышенной поэзии язык и предметы простонародные». В балладе «Жених», пользуясь поэтическим языком фольклора, Пушкин создал «простонародную сказку». Несмотря на то, что сюжет «Жениха» был почерпнут Пушкиным из сказок Гриммов, а форма стихотворения (размер, строфы) воспроизводила форму знаменитой «Леноры» Бюргера, в «Женихе» ярко отразились русский народный быт и народные представления.

Для своего творчества Пушкин черпал сюжеты и в народной поэзии, и в европейской литературе («Сцена из Фауста»); его вдохновляли и «Песнь песней» Соломона («В крови горит огонь желанья»), и священные суры мусульманского Востока («Подражания Корану»). Он создал гимн солнцу и разуму («Вакхическая песня»); темами его лирики были любовь, дружба и товарищество («19 октября» и др.). Свободное выражение самых разнообразных человеческих чувств становится отныне единственным законом пушкинской поэзии.

СТИХОТВОРЕНИЯ 1826—1830 гг.

В годы 1826—1830 лирика Пушкина достигает высочайшей степени художественного реалистического воплощения действительности. В эти годы значительно расширяется тематический диапазон его поэзии, укрепляются связи с фольклором, завершается предыдущий этап работы над углублением семантической емкости слова. В соответствии с дальнейшим ростом реалистического мастерства Пушкина в его поэтическом творчестве окончательно стираются жанровые рамки. Композиция стихотворений подчиняется строго логическому развитию основной лирической темы: отсюда и отраженное в рукописях стремление к сокращению количества строк в стихотворении и удалению из него побочных мотивов. В годы 1826—1830 Пушкиным созданы такие стихотворения, как, например, «В Сибирь», как цикл стихотворений, посвященных роли поэта, как великолепные по реалистической трактовке темы стихотворения «Румяный критик мой», «Утопленник», «Бесъ», или исключительные своей эмоциональной насыщенностью лирические миниатюры «Для берегов отчизны дальней», «Не пой, красавица, при мне», «Заклинание» и др.

Издатели журналов и альманахов в этот период добивались неперемennого печатания произведений Пушкина в своих изданиях. В эти годы стихотворения Пушкина печатались в «Московском Телеграфе», «Московском Вестнике», «Литературной Газете», в альманахах «Северные Цветы», «Альбом Северных Муз», «Литературный Музеум», «Славянин», «Памятник Отечественных Муз».

«Эвтерпа», «Галатей», «Невский Альманах», «Подснежник», «Листок Граций» и др. Одно стихотворение («Ex ungue leonem») было напечатано в «Северной Пчеле». Стихотворения Пушкина занимают видное место в разного рода хрестоматиях, антологиях и широко распространенных сборниках песен. Композиторы соревнуются в сочинении музыки на слова Пушкина. В эти годы печатаются «Черкесская песня» (музыка Алябьева и Геништы), «Ворон к ворону летит» (музыка Алябьева и Виельгорского), «Черная шаль» (музыка Геништы и Виельгорского), «Талисман», «Певец», «Фонтан любви» (музыка Титова) и др.

В 1829 г. выходят «Стихотворения Александра Пушкина» в двух частях. В этом сборнике стихотворения расположены не по жанровым признакам, а в хронологическом порядке. В первой части объединены стихотворения 1815—1824 гг. Вторая часть открывается стихотворением «Андрей Шенье» и содержит стихотворения 1825—1829 гг. с заключительным отделом стихотворений «разных годов».

В поэзии Пушкина 1826—1830 гг. художественно отражены важнейшие политические темы и события, волновавшие передовые слои русского общества. Здесь прежде всего должна быть отмечена тема декабризма, в разработке которой Пушкиным отразились и скорбь друга декабристов об их трагической судьбе, и твердая уверенность в грядущей победе начатой ими борьбы за свободу. В письме к П. А. Вяземскому от 14 августа 1826 г. Пушкин писал: «Повешенные повешены, но каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна». А в 1827 г. Пушкин создает ставшее одним из распространеннейших в революционно-демократической среде стихотворение «В Сибирь» и пересылает его сосланным на каторгу декабристам через жену декабриста Н. М. Муравьева, выехавшую из Москвы к мужу в Петровский завод. Это послание явилось своего рода символической перекличкой между ссыльными декабристами и лучшими людьми, оставшимися верными передовым идеям 20-х годов. Послание Пушкина вызвало ответное стихотворение поэта-декабриста А. И. Одоевского:

Струн вещей пламенные звуки
До сердца нашего дошли!
К мечам рванулись ваши руки,
Но лишь оковы обрели.
Но будь покоен, бард: пепямя,
Своей судьбой гордимся мы
И за затворами тюрьмы
В душе смеемся над царями.
Наш скорбный труд не пропадет:
Из искры возгорится пламя —
И православный наш народ
Сберется под святое знамя.
Мечи скуем мы из цепей
И вновь зажжем огонь свободы;
И с нею грянем на царей, —
И радостно вздохнут народы.

Другим стихотворением Пушкина, посвященным теме декабризма, является «Арион» («Нас было много на челне»), написанное также в 1827 г. Стихотворение основано на частичном использовании предания о древнегреческом поэте и музыканте VII—VI вв.

до н. э. — Арионе. Согласно этому преданию, корабельщики хотели убить Ариона, плывшего из Италии в Грецию, овладев его богатством. Арион выпросил у них позволение спеть перед смертью и затем бросился в море, но дельфин, очарованный его пением, вынес певца на берег. В настоящее время можно считать окончательно принятым исследователями мнение о том, что в этом стихотворении Пушкин аллегорически изобразил свое спасение во время разгрома восстания декабристов. Эта точка зрения должна быть подтверждена также тем, что море и ранее являлось для Пушкина устойчивым символом, которым он постоянно пользовался в разработке революционных тем. «Арион», так же как и послание «В Сибирь», явился своеобразной декларацией верности поэта освободительным идеалам («Я гимны *прежние* пою»).

Мотивы близости поэта к декабристам, его кровной заинтересованности в их судьбе проходят и в ряде других стихотворений. К 1826 г. относится стихотворение «Так море, древний душегубец», написанное в связи со слухами (оказавшимися ложными), что деятель тайного общества Н. И. Тургенев арестован в Англии и пересылается морем в Петербург. В послании декабристу И. И. Пущину («Мой первый друг, мой друг бесценный»), повидимому, отправленном на каторгу вместе с посланием «В Сибирь», Пушкин вспоминает приезд к нему «первого друга» в Михайловское в 1825 г. Наконец, в написанном к лицейской годовщине стихотворении «19-октября 1827 г.» в последнем стихе вспоминаются друзья, находившиеся на каторге — «в мрачных пропастях земли».

В лирике Пушкина 1826—1830 гг. отчетливо отразилось тяжелое положение поэта, вынужденного жить в атмосфере постоянных подозрений со стороны царя и III отделения, поэта, оставшегося в одиночестве после разгрома движения декабристов. Отражающие эти настроения мотивы проскальзывают в ряде стихотворений этих лет, окрашивают трагизмом даже такие стихотворения мадригального характера, как, например, «Ек. Н. Ушаковой» («В отдалении от вас») с неожиданной концовкой:

Вы вздохнете ль обо мне,
Если буду я повешен?

При всей, казалось бы, необоснованности этой сентенции, все же она не была случайной. Через два года — в 1829 г. — Пушкин почти дословно повторяет ее в четверостишии, обращенном к сестре А. П. Керн («Когда помилует нас бог»). Тяжелое самочувствие Пушкина раскрывается в посланиях к друзьям. В одном из таких посланий, обращенном к Н. Языкову, тогда остро переживавшему трагические события 1825 г., характерно признание о «неволе невских берегов», к которым, «хоть не от охоты», остался «прикованным» Пушкин. Отчаяние Пушкина достигло высшей степени в 1828 г., в связи с привлечением его к секретному следствию по делу о поэме «Гавриилиада». «Ты зовешь меня в Пензу, — писал Пушкин Вяземскому в сентябре этого года, — а того и гляди, что поеду я далее, *прямо, прямо на восток*». Настроения Пушкина в этот момент нашли отражение в стихотворении «Предчувствие» («Снова тучи надмною»).

Изучение этого тематического комплекса помогает уяснить все существо пушкинской поэзии 1826—1830 гг. Нашедшие отражение в стихотворении «Предчувствие» размышления поэта о двух путях человеческой жизни — борьбе или смирении перед «роком» * — могут быть поняты только в свете тех противоречий, с которыми Пушкин столкнулся после ставшего рубежом для всей передовой России этого времени — 14 декабря 1825 г. Дилемма — «протест или смирение» — органически воплощена в пушкинских стихотворениях этого периода и поднята им на философскую высоту. Таково философски-насыщенное стихотворение «В степи мирской, печальной и безбрежной». Здесь симпатии поэта принадлежат не «быстрому и мятежному» ключу юности и не Кастальскому ключу, а холодному ключу забвенья: «Он слаще всех жар сердца утолит». К этой теме примыкают стихотворения «Ангел» («В дверях эдема ангел нежный»), «Воспоминание» («Когда для смертного умолкнет шумный день»), «Дар напрасный, дар случайный», «Монастырь на Казбеке» и др.

Однако, как заметил еще Белинский, Пушкин видел выход из диссонансов жизни и примирение с трагическими законами судьбы не в заоблачных мечтаниях, а «в опирающейся на самое себя силе духа». Противоречия действительности, породившие охарактеризованный нами цикл его стихотворений, преодолевались присущим ему историческим оптимизмом, глубоким пониманием непрерывности исторического прогресса, верой в могучие силы своего народа. Именно поэтому в эти же годы он создает жизнеутверждающие, полные мужественного романтизма произведения — «Каков я прежде был, таков и ныне я», «Брожу ли я вдоль улиц шумных», элегия «Безумных лет угасшее веселье», с ее характерным лирическим признанием: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать». В плане активного жизнеутверждения освещается Пушкиным привлекавшая его повышенное внимание в эти годы «вечная тема» мировой поэзии — тема смерти. В этом отношении характерно упомянутое выше стихотворение «Брожу ли я вдоль улиц шумных», где трагизм смерти преодолевается идеей непрерывности развития, преемственности поколений. Та же идея исторического развития выражена в стихотворении «К вельможе». В этом стихотворении, обращенном к кн. Н. Б. Юсупову в ответ на приглашение приехать в подмосковную усадьбу, дано «изображение целой эпохи в лице одного из замечательнейших ее представителей» (Белинский). Идеиное господство французских просветителей во всех концах Европы, французская революция и последовавшая за ней контрреволюция, «жестокые опыты» истории (среди которых имеется в виду, конечно, и восстание декабристов) — таковы намеченные в стихотворении вехи исторического развития, законом которого является, по словам поэта, «оборот во всем кругообразный». Стихотворение «К вельможе» не было понято современниками. Н. Полевой встретил его резкой пародией «Утро в кабинете знатного

* Сохраню ль и судьбе презренье?
Понесу ль навстречу ей
Непренлонность и терпенье
Гордой юности моей?

барина», где изображал Пушкина в виде низкопоклонника-стихотворца.

Не было понято в эти годы и другое значительнейшее по своему содержанию стихотворение «Стансы» («В надежде славы и добра»), в котором великая реформаторская деятельность Петра I приводилась как пример Николаю I. Самое возникновение замысла стихотворения несомненно было связано с слухами об учреждении секретного комитета для проведения некоторых важных правительственных мероприятий в области политики и просвещения. Как горячий патриот своей родины Пушкин пытался воздействовать силой своего творчества на общественное мнение, склонить царя и правительство на путь необходимых реформ. Иных путей изменения действительности Пушкин в те годы, годы жестокой реакции и общественного индифферентизма, не видел. В конце «Стансов» содержался намек на необходимость смягчения участи осужденных декабристов. Но «Стансы» вызвали резкое недовольство со стороны друзей поэта. В ответ на это Пушкин написал стихотворение «Друзьям» («Нет, я не льстец, когда царю»). В последних строфах этого стихотворения упреки друзей тонко опровергались указанием на обстоятельство, при которых лесть могла бы быть принята царем: это были бы призывы к «презрению народа», к подавлению просвещения и ограничению «милости».

Отразившиеся и в «Стансах» и в стихотворении «Друзьям» иллюзии Пушкина относительно возможности царских реформ быстро рассеялись. Одним из свидетельств этого является романтически весьма сложное стихотворение 1830 г. «Герой», написанное в связи с приездом Николая I в Москву во время холерной эпидемии. Поэт воспевает Наполеона, посетившего во время египетского похода госпиталь больных чумой. «Друг» поэта прерывает его репликой о несоответствии мечтаний поэта исторической правде. Поэт, не опровергая сомнений «друга», защищает право на иллюзии, ибо герой без сердца — тиран. Несмотря на то, что Пушкин осторожно ссылается в стихотворении на мемуары Бурьенна, опровергавшие эту легенду о Наполеоне,* замысел «Героя» для нас ясен. В образе поэта отразились мысли и настроения самого Пушкина, еще недавно приветствовавшего царя в неосуществившейся «надежде славы и добра». В «Стансах» поэт мечтал о том, что Николай может быть схожим с «вечным работником» на троне Петром I. А в дневнике 1834 г., дневнике, который Пушкин писал как «историк строгий», былые иллюзии поэта опровергаются краткой формулировкой: «В нем много от прапорщика и немножко от Петра Великого».

В политической лирике Пушкина 1826—1830 гг. должно быть отмечено стихотворение «Ответ Катенину» («Напрасно, пламенный поэт»). История этого стихотворения такова. Поэт и драматург П. А. Катенин, один из деятелей ранних декабристских организаций, прислал Пушкину в 1828 г. балладу «Старая быль». В балладе рассказывалось о двух певцах, из которых один — женоподобный грек — получает за преисполненную лести песню первую награду от великого князя киевского Владимира. Вторую награду — кубок —

* Впоследствии эти мемуары оказались фальсификацией.

получает старый русский воин, отказавшийся соревноваться с греком в прославлении князя. В посвящении, приложенном к балладе, Катенин предлагал Пушкину подражать второму певцу. Смысл баллады, таким образом, обнажался: позиция льстивого грека отождествлялась с позицией Пушкина по отношению к царю. Вместе с тем Пушкин призывался к «грозной войне», в которой был добыт кубок.

В «Ответе Катенину» Пушкин отказывался от кубка, предложенного Катениным («Не пью, любезный мой сосед»). Автору «Старой были», в свое время связанному с тайным обществом, Пушкин отвечает: «Я сам служивый:* мне домой пора убраться на покой». Еще более острым был содержащийся в стихотворении намек на то, что, предлагая Пушкину кубок воина, Катенин сам «с похмелья» (т. е. после символизировавшего революционную борьбу питья) отошел от своего прошлого и остался лишь в «строгах Парнаса» (где он терпел неудачи). **

В годы 1826—1830 Пушкина остро интересуют вопросы о роли поэта и функции искусства. Стихотворения, посвященные этим темам («Пророк», «Поэт», «Близ мест, где царствует Венеция златая», «Чернь», *** «Поэту», «Ответ Анониму»), на протяжении многих лет рассматривались в буржуазно-дворянском литературоведении и в критике как свидетельство приверженности Пушкина к ортодоксальной эстетике субъективного идеализма, противопоставляющей искусству реальной действительности поиски чистой красоты. Впервые обоснованная П. В. Анненковым, рассматривавшим путь Пушкина как эволюцию от жизненной борьбы к пассивному, чисто эстетическому созерцанию, и подтвержденная воспоминаниями С. П. Шевырева о влиянии московских и еллингянцев на Пушкина, эта точка зрения была подхвачена реакционными сторонниками «чистого искусства», использовавшими ее в борьбе против обличительной демократической литературы 60-х годов, затем канонизирована в учебно-популярной литературе и, наконец, пространно развита символистами, считавшими, что вся история русской литературы есть «история борьбы за пушкинскую культуру с нахлынувшей волной демократического варварства» (Мережковский). Антиисторизм и игнорирование конкретного анализа стихотворений о «поэте» и «толпе» были характерны и для некоторых новейших исследований, в которых рецидивы теорий о верности Пушкина идеям «искусства для искусства» выражены с достаточной ясностью. Вопрос этот, привлекавший усиленное внимание исследователей, имеет значение не только для понимания данного цикла стихотворений, но и для правильного представления об основах пушкинской эстетики, а также для характеристики борьбы вокруг Пушкина в истории русской литературы.

Генезис стихотворений Пушкина о «поэте» и «толпе» по ряду причин не мог быть окончательно выяснен ни Белинским, ни пол-

* «Служивый» здесь надо понимать, разумеется, в смысле: в прошлом связанный с революционной борьбой.

** См. Ю. Н. Тынянов, *Архаисты и новаторы*, Л., 1929, стр. 160—177.

*** Подготавливая в 1836 г. новое издание стихотворений, Пушкин для стихотворению «Чернь» название «Поэт и толпа». Таким образом, название «Чернь» следует считать отмененным поэтом.

ностью принявшими его установки в этой области Чернышевским и Добролюбовым. Необходимо учитывать, что Белинский не располагал многими получившими известность значительно позднее материалами, объясняющими «теневые» стороны биографии Пушкина. Так, неясны были до конца истинные отношения между Пушкиным и Николаем I, вследствие чего Белинский в знаменитом письме к Гоголю приводил Пушкина в качестве примера падения популярности великих талантов, искренно или неискренно отдающих себя «в услужение православию, самодержавию и народности». Не имея возможности благодаря этому (а также благодаря подцензурности своих статей) раскрыть смысл социально-эстетических позиций Пушкина после 1825 г., Белинский, в то же время, оставил нам намеки, свидетельствующие о понимании им реального исторического содержания протестов Пушкина против претензий «толпы» на свободу «поэта». В статье 1841 г. «Стихотворения Лермонтова» Белинский, обличая консерватизм враждебной свободному искусству толпы (под которой, разумеется, имел в виду не народные массы и не «чувствующих и мыслящих людей нового поколения»), безоговорочно использовал пушкинскую трактовку отношений между «поэтом» и «толпой» (с соответствующими цитатами из стихотворения «Чернь»). Однако гегельянская фразеология и следы прежнего увлечения идеалистической эстетикой Шеллинга помешали Белинскому вскрыть в этой статье конкретное содержание идей Пушкина о свободе поэта. Более удачны в этом отношении его позднейшие статьи о Пушкине, в которых нашли блестящее выражение материалистические взгляды критика.

Цитируя в пятой статье о Пушкине заключительную строфу «Черни», Белинский заметил: «Действительно смешны и жалки те глупцы, которые смотрят на поэзию как на искусство втискивать в размеренные строчки с рифмами разные нравоучительные мысли и требуют от поэта непрестанно, чтобы он воспевал им все любовь, да дружбу и проч., и которые не способны увидеть поэзию в самом вдохновенном произведении, если в нем нет общих нравоучительных мест». В то же время Белинский здесь подвергает критике трактовку отношений между «поэтом» и «толпой» в том виде, в каком ее понимала критика 40-х годов. Ведь эти стихотворения Пушкина для середины 40-х годов не были историко-литературными фактами, а сохраняли всю свою остроту и использовались в живой литературной борьбе. Именно поэтому Белинский не пошел до конца в намеченном им же разграничении истинного содержания «Черни» от принятой тогда интерпретации этого стихотворения как отказа поэта от служения народу. Однако, несмотря на все это, Белинский сделал первый шаг к расшифровке конкретного адреса стихотворения. Точка зрения Белинского, еще в «Литературных мечтаниях» признававшего, что Пушкин был «сыном своего века», «представителем современного ему человечества», не имеет ничего общего с нигилистической критикой Писарева, впоследствии расшифровавшего пушкинское обличение «черни» как клевету на «неимущих соотечественников». Любопытно, что Писарев, громивший не реального, а фальсифицированного реакционными эстетам Пушкина, все же не мог совершенно обойти вопрос о генезисе стихотворения «Чернь», заметив: «Можно предполагать даже, что все стихотворе-

ние Пушкина было вызвано какой-нибудь тупой и пошлой критической статьей Булгарина, упрекавшего его в безнравственности и требовавшего от него поучительных стихотворений и слезоточивых рассказов». Но это, брошенное мельком, замечание послужило критику лишь поводом для новых «обличений» Пушкина.

Заслуга перенесения вопроса об отношении Пушкина к теории «чистого искусства» на конкретную историческую почву принадлежит Плеханову (статьи «Литературные взгляды Белинского» и «Искусство и общественная жизнь»). Исползуя новейший материал об отношении «светского общества» к Пушкину, Плеханов утверждал, что стихотворение «Чернь» адресовано не настоящему «народу», а «светской толпе, которая впоследствии своей тупостью и погубила нашего великого поэта» (т. XIV, стр. 173). Однако с тем, что Пушкин был апологетом теории искусства для искусства, Плеханов все же согласился. Словно не замечая противоречия между провозглашенным в стихотворении «Чернь» принципом и всем, тесно связанным с реальной действительностью и жизненной борьбой творчеством поэта, он писал: «Пушкину вполне естественно было сделаться сторонником теории искусства для искусства». Кроме того Плеханов считал, что при жизни Пушкина теория «чистого искусства» носила прогрессивный характер, что совершенно не соответствует действительности. Теория эта на всех этапах своего развития сознательно противопоставлялась ее апологетами деятельности прогрессивных писателей, считавших искусство одним из средств активного изменения существовавших социальных порядков. Именно так отразилась теория «чистого искусства» в произведениях Жуковского, считавшего поэзию «таинственным посетителем» с небес, а также в литературно-эстетической программе органа шеллингианцев — «Московский Вестник».

Для понимания действительного смысла поэтических деклараций Пушкина о свободе искусства необходимо учитывать, что мотивы отталкивания от «толпы непросвещенной», от «черни слепой», «холопа знатного в звезде» появляются в лирике Пушкина, начиная с 1815—1819 гг. Эти мотивы были свойственны не только Пушкину, но являлись характерными почти для всех поэтов прогрессивного романтизма декабристского периода и были связаны с пониманием «высокой» роли поэта, призванного творить в условиях враждебного отношения к нему «толпы». А. Бестужев, критик-декабрист, посвятил развитию этой темы специальное место в одной из своих статей, напечатанных в «Полярной Звезде». В поэзии В. Кюхельбекера она занимает виднейшее место; ее затронул и Рылев в «Послании к Н. И. Гнедичу». И недаром А. Бестужев, цитируя в «Полярной Звезде» пушкинские строки из «Разговора книгопродавца с поэтом» о поэте, который «про себя таил души высокие создания» и был забыт «презренной чернью», одобрительно заметил: «Разговор книгопродавца с поэтом» кипит благородными порывами человека, чувствующего себя человеком».

Выраженный в стихотворении «Поэт и толпа» отказ Пушкина от «пользы» поэзии, от служения «толпе», находит точное объяснение в фактах литературно-политической борьбы 20-х годов. С момента возвращения из ссылки Пушкин испытывал все усиливавшееся давление со стороны правительства и реакционных литературных

кругов, требовавших от него перестройки не на словах, а на деле. В 1826 г. Бенкендорф передает Пушкину многозначительные слова царя: «Его величество изволил заметить, что принятое вами правило, будто бы просвещение и гений служат исключительно основанием совершенству, есть правило опасное для общего спокойствия, завлекшее вас самих на край пропасти. Это означало, что пресловутая «свобода поэта» должна быть забыта. Вскоре ожесточенную травлю Пушкина начинает «Вестник Европы». Подходя к поэзии Пушкина с характерным для поэтики классицизма догматическим критерием «пользы», этот журнал характеризовал ее как бесполезную, а самого Пушкина называл «стихотворцем», ловким мастером никчемных «фигурных баляс» (статья Н. И. Надеждина). Наконец, во время военных кампаний царизма 1828—1829 гг. Пушкину предъявлялись прямые требования «воспеть успехи нашего оружия» и «великие подвиги современных русских героев». Стихотворение «Поэт и толпа», являясь как бы прямым ответом на все эти «социальные заказы», атаковало широко распространенные тогда догматические правила, обязывавшие художника к реакционно-тенденциозному восхвалению «добродетели» и обличению «пороков». В стихотворении приведено (в буквальном формулировке распространенных в эти годы «правил стихотворства») требование от поэта «пользы». Интересно отметить, что стихотворение «Сердца собратьев исправляй» имеет вариант «Пороки наши исправляй». * И если Пушкин отказывался служить своей лирой «клеветникам», «рабам», «глупцам», то это не было отказом от высокой гражданской роли искусства и не было призывом к уходу от «прозы жизни» в мир мистического «откровения». Недаром в автографе «Поэта и толпы» (озаглавленном «Ямб») он приравнял деятельность поэтов, служащих «тиранам», «подлецам», «клеветникам» и «сметавших сор» с «улиц шумных», к «гнусной» работе палача.

Вполне оправдано реальными историческими фактами и возникновение замысла стихотворения 1830 г. «Поэту», темой которого является одиночество поэта, оскорбленного толпой («...толпа его бранит, и плюет на алтарь...») и ищущего утешение в своем трудовом подвиге. Равнодушные, а иногда злобные отзывы большинства журналов о напечатанных отрывках из «Бориса Годунова», издательская резолюция Николая I об этом произведении («передать в историческую повесть»), наконец, резко отрицательная оценка критикой вышедшей в марте VII главы «Евгения Онегина» — таков биографический фон истории создания этого стихотворения. Любопытно, что тематический мотив стихотворения «Поэту» («Услышишь суд глупца и смех толпы холодной») находит параллель в замечаниях Пушкина по поводу оценок «Бориса Годунова» («Тем и кончился строгий суд почтеннейшей публики»). Подтверждением того, что стихотворение «Поэту» было ответом на этот «суд», является следующий факт. 21 января 1831 г. в выходящей в Петербурге газете «Le Furet» появилась резко отрицательная заметка о «Бори-

* Ср., например, в «Правилах стихотворства» Г. Сокольского (1816) указание на то, что цель поэта «делать порок гнусным, чтобы его избегали, и слабости смешными, чтобы от них исправлялись».

се Годунове». В следующем же номере (25 января) в качестве прямого ответа на эту заметку помещен перевод стихотворения «Поэту». Тема одиночества поэта становится устойчивой в поэтических произведениях Пушкина. Ей посвящен «Ответ Анониму», написанный в ответ на приветственное стихотворение, анонимно посланное Пушкину ученым египтологом И. А. Гуляновым в связи с предстоящей женитьбой Пушкина. Она же звучит и в переводе стихотворения А. Шенье «Близ мест, где царствует Венеция златая», и в позднейшем стихотворении «Из Пиндемонти» (источник «Из Пиндемонти» был указан Пушкиным фиктивный, для отвлечения внимания цензуры). Окончательное разрешение эта тема находит в стихотворении «Я памятник себе воздвиг нерукотворный, как бы подводящем итог деятельности поэта.

Мы полагаем, что поиски непосредственных источников заимствований Пушкиным идей о «высокой» роли поэта и независимости искусства не могут быть указаны. «Избранник небес», «божественный посланник», «жертвоприношение», «вдохновение» — все эти выражения превратились в штампованные формулы, которыми пестрила массовая стихотворная и критическая продукция. Лишь гений Пушкина мог по-новому претворить эти формулы в высокую патетику поэтической декларации. Поэтому задача заключается не в указании конкретных источников этих формул, а в раскрытии их содержания. Утверждение о влиянии философско-эстетической платформы «Московского Вестника» должно быть отвергнуто, поскольку отрицательное отношение Пушкина к ней твердо установлено. На интерпретацию Пушкиным идей о «поэте» и «толпе» наложила несомненный отпечаток философия французских просветителей, с их учением о «толпе» и «гёнии», а также преломление этих идей в поэзии Андре Шенье.*

Насколько чуждыми были Пушкину идеи «чистого искусства» — свидетельствует то, что именно в годы создания цикла стихотворений о «поэте» и «толпе» он работает над лирическими произведениями, органически связанными с политикой, с реальной действительностью, с «прозой жизни». Жанр баллад, привлекающий его повышенное внимание в 1826—1830 гг. («Утопленник», «Анчар», «Делибаш», «Жил на свете рыцарь бедный», «Бесь», а также неоконченные — «В еврейской хижине лампада», «Какая ночь! Мороз трескучий»), используется им для дальнейшего утверждения народности и реализма в поэзии. В отличие от баллад Жуковского, с их однотипным кругом эпитетов и метафор, условностью изображаемого быта и мистицизмом, баллады Пушкина характеризуются реалистической точностью, стремлением к замене принятых в произведениях этого рода «гладких», «изысканных» выражений «прелестью нагой простоты, свободной от условных украшений стихотворства». С реалистической интерпретацией сюжетов этих баллад связано и употребление «низких», «престонародных» выражений и образов. Интересно отметить, что в эти годы внимание Пушкина привлекают английские поэты «озерной школы». В заметке «В зре-

* Подробнее об этом — в книге В. Мейлаха «Пушкин и русский романтизм», Л., 1937, стр. 183—200.

лой словесности приходит время (1828) он положительно отзывался о произведениях Вордсворта и Кольриджа, которые «исполнены глубоких чувств и поэтических мыслей, выраженных языком честного простолюдина», и сопоставляет «Убийцу» Кагенина с лучшими произведениями Бюргера и Соувея (т. е. Соути — В. М.). Широко используются Пушкиным в эти годы фольклорно-песенные темы и мотивы. Таковы, например, «Песни о Стеньке Разине», «Зимняя дорога», «Бесы», «Утопленник» (впервые опубликовано Пушкиным с подзаголовком «Простонародная песня»). Сюда относятся и неоконченные наброски «Всем красны боярские конюшни», «Уродился я, бедный недоносок» и др. В поэзии этих лет должны быть отмечены несколько стихотворений на исторические темы. Своеобразным по замыслу является начатое Пушкиным произведение балладного типа «Какая ночь! Мороз трескучий...», использующее, повидимому, материал времени царствования Ивана Грозного. В стихотворении «Олегов щит», написанном в связи с русско-турецкой войной 1828—1829 гг., Пушкин вспоминает поход киевского князя Олега на столицу Византии («Град Константина»).

Ряд стихотворений Пушкин посвящает в эти годы темам, связанным с жизнью и бытом различных национальностей. Национально-освободительному движению греков в связи с Адрианопольским миром (согласно которому Турция признала политическую независимость Греции) посвящен набросок «Восстань, о Греция, восстань». Сочувствие угнетенным народам Кавказа выражено в последней (незаконченной по цензурным соображениям) строфе стихотворения «Кавказ». К этому кругу стихотворений примыкают стихотворения «Калмычке» и «Цыганы». Исключительный интерес по эмоциональной насыщенности представляет стихотворение «Стамбул гяуры нынче славят», введенное в «Путешествие в Арарум» в несколько измененной редакции и без последней строфы, повествующей о кровавом усмирении восстания янычар. Повидимому, началом большого стихотворного произведения является черновой набросок «В еврейской хижине лампада», в котором дана великолепная лирическая зарисовка быта еврейской семьи.

Стихотворения Пушкина 1826—1830 гг., посвященные теме любви, по сравнению с предыдущими годами, немногочисленны. Элегия «Под небом голубым страны своей родной» написана в связи со смертью Амалии Ризнич, умершей в 1825 г. в Италии. Ек. Н. Ушаковой, московской знакомой Пушкина, в которую он одно время был влюблен, посвящено несколько стихотворений («Когда бывало в старину», «В отдалении от вас», «Вы избалованы природой»), так же как и А. Ф. Закревской («Портрет», «Наперсник», «Счастлив, кто избран своенравно»). Одно из лучших стихотворений на любовные темы — сонет «Мадона» — Пушкин посвятил своей невесте Н. Н. Гончаровой, которой писал 30 июля 1830 г.: «Я утешаю себя, проводя целые часы перед белокурой мадоной, похожей на вас, как две капли воды». Как заметил Белинский, Пушкин «не мог не быть художником даже в светском комплименте, в приветствии, возложенном приличием». Поэтому и стихотворения, написанные по случайному поводу (как, например, стихотворение «Подъезжая под Ижору», обращенное к Е. В. Вельяшевой, с которой Пушкин встретился в 1828 г. в Тверской губ.), находятся на огром-

ной художественной высоте. Типичной для пушкинской поэзии простотой отличаются и его альбомные надписи («Я видел вас, я их читал», вписанное в альбом поэтессе Е. А. Тимашевой; * «За Netty сердцем я летаю» — пустячок, посвященный А. И. Вульф, и др.) и даже стихи «Язык и ум теряя разом», написанные для дочери Е. М. Хитрово Е. Ф. Тизенгаузен, которая читала их на маскараде в костюме циклопа (отсюда стих «Гляжу на вас единым глазом»).

Абсолютно неправильным является существующее мнение о мнимом затухании сатирической тематики в поэзии Пушкина второй половины 20-х годов. К сатирическому жанру относится одно из лучших произведений пушкинской поэзии — «Румяный критик мой», написанное в 1830 г. и во многом предвещающее революционно-демократическую лирику Некрасова. Из сатирических «вольнолюбивых» (в прямом смысле слова этого) стихотворений Пушкина нам известна лишь эпиграмма 1829 г. «К бюсту завоевателя», задуманная как надпись к бюсту Александра I работы датского скульптора Торвальдсена. Ряд других эпиграмм и сатирических стихотворений направлен против литераторов, с которыми Пушкин вел борьбу: М. Каченовского («Литературное известие», «Журналами обиженный жестоко», «Там, где древний Кочерговский»), Н. Надеждина («Сапожник», «Как сатирой безымянной», «Мальчишка Фебу гимн поднес», «Надеясь на мое презренье», «В журнал совсем не европейский»), Булгарина («Не то беда, что ты поляк»). Обилие эпиграмм против редактора «Вестника Европы» Каченовского и его сотрудника Надеждина объясняется тем, что этот журнал вел ожесточенную травлю Пушкина чуть ли не как вождя «литературного нигилизма», покушающегося ниспровергнуть до основания «священный оплот общественного порядка и благоустройства» и порожденного смутным временем «всеобщего треволнения» (т. е. декабрьским восстанием). Эпиграмма на Булгарина была написана Пушкиным одновременно со статьей «О записках Видока». Используя популярное в то время имя французского сыщика Видока, Пушкин обличал Булгарина («Фиглярина») как полицейского шпиона. Из других литературных эпиграмм эпиграмма «Поэт-игрок, о Беверлей-Гораций» направлена против И. Е. Великопольского (автора «Сатиры на игроков»), «Русскому Гесснеру» — против автора идиллий Панаева. Эпиграмма «Собрание насекомых» пока не может считаться расшифрованной: с уверенностью можно говорить лишь о втором из обозначенных звездочками имени — Каченовском и третьем — Свиныне. Любопытным образцом использования мифологических образов с сатирической целью является эпиграмма «Лук звенит, стрела трепещет», осмеивающая поэта А. Н. Муравьева, который однажды нечаянно отбил руку у гипсовой статуи Аполлона. Наконец, к сатирическому жанру примыкает стихотворение «Моя родословная», написанное в ответ на появившуюся в «Северной Пчеле» пасквильную статью Булгарина о предках Пушкина. Первая строфа «Моей родословной» содержит указа-

* Упомынаемая здесь «запретная роза» — прозвание племянницы Е. А. Тимашевой.

ние на журнальную травлю Пушкина и его товарищей по «Литературной Газете» как литературных «аристократов».

Эволюция поэзии Пушкина 1826—1830 гг., развитие реалистических тенденций в его творчестве опирались не только на всю предшествовавшую ему русскую культуру и на фольклор, но и на всю мировую поэзию. В эти годы он работает над переводами из Ариосто (перевод из «Неистового Орланда»), А. Шенье («Близ мест, где царствует Венеция златая»), Альфиери (перевод монолога «Сомнение, страх, порочную надежду» из трагедии «Филипп II»), Мицкевича («Сто лет минуло» — из «Конрада Валленрода»). Стихотворение «Золото и булат» представляет собою перевод французской эпиграммы XIX в., автор которой неизвестен. Начавшаяся еще в лицейский период любовь Пушкина к античной поэзии, помимо переводов из Анакреона, выразилась и в оригинальном стихотворении «Присылке бронзового сфинкса», где дана характеристика Дельвига, — автора высоко ценившихся Пушкиным идиллий. Отмеченный выше интерес Пушкина к английским поэтам «озерной школы» нашел отражение в создании им стихотворения «Анчар», тематически связанного отчасти с произведением Кольриджа «Кемorse» («Сожаление»), в переработке сонета Вордсворта («Суровый Дант не презирал сонета») и в наброске перевода начала поэмы Соути «Медок». В эти же годы Пушкин заинтересовался английским поэтом Барри Корнуолом. Стихотворение Пушкина «Закливание» связано по теме с «Заклинанием» Барри Корнуола. Серьезность изучения Пушкиным английской поэзии подтверждается также переводом шотландской народной песни «Ворон к ворону летит». Перерабатывая лучшие образцы английской лирики, Пушкин полагал, что для русской поэзии она «будет полезнее влияния французской поэзии, робкой и жеманной». Таким образом и в его работе над переводами решались творческие задачи, имевшие важное значение для развития всей русской литературы.

СТИХОТВОРЕНИЯ 1831—1836 гг.

Последний период творчества Пушкина — 1831—1836 гг. — многими чертами резко отличается от периода 20-х годов. Стихотворные жанры, в силу целого ряда личных и общих причин, к началу 30-х годов теряют свое центральное значение в общественно-литературной деятельности поэта, уступая место прозе — художественной, исторической, критико-публицистической. Это не значит, что он перестал писать стихи или писал их мало. Но наиболее значительные и законченные стихотворения остаются в его портфеле, а многие и не доводятся до окончательной обработки. Количество напечатанных стихотворений этих лет совершенно ничтожно сравнительно с количеством оставшихся неизданными, и притом в печать попадают преимущественно произведения либо строго эпические, либо злободневные по своей политической и общественной тематике, но не содержащие высказываний личного, интимного значения, или содержащие их глубоко-скрытыми. Участие Пушкина в журналах и альманахах почти прекращается; в этом отношении последним является 1831 г., когда Пушкин печатает стихо-

творения, написанные в 1830 г. и отчасти в более ранние годы, в ряде изданий (в «Литературной Газете», «Телескопе», «Сиротке», «Деннице», «Альционе», «Северных Цветах»). Сборник, изданный в начале 1832 г. («Стихотворения А. Пушкина», ч. 3), завершает и подытоживает творчество 20-х годов, кончая болдинской осенью 1830 г.; из произведений 1831 г. в него вошли лишь два политических стихотворения — «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина», уже напечатанные и широко известные, и стихотворение «Эхо», тоже ранее бывшее в печати. Кроме этих вещей, Пушкин за целых два года — 1832 и 1833 — не напечатал ни одного стихотворения, несмотря на то, что им написано было очень много и очень вначительных вещей. В следующем, 1834 г., занятый обработкой и печатанием «Истории Пугачева», Пушкин не написал почти ни одного стихотворения, зато много печатал, вступив деятельным сотрудником в новый журнал книгопродавца Смирдина — «Библиотеку для Чтения»; здесь помещены были баллады 1833 г. («Гусар», «Будрыс и его сыновья», «Воевода»), одно альбомное стихотворение 1832 г. («Красавица»), два «Подражания древним» и, наконец, одно чисто лирическое стихотворение, но более раннего периода — осени 1830 г. — элегия «Безумных лет угасшее веселье». В начале следующего, 1835 г. в «Библиотеке для Чтения» были напечатаны все «Песни западных славян», но вскоре, с усилением влияния О. И. Сенковского в редакции журнала, участие в нем Пушкина оборвалось. Две публикации в новом журнале московского кружка любителей — «Московском Наблюдателе» — были вполне эпизодичны: первая, «Туча», явилась в силу дружественных отношений Пушкина с редакцией журнала, другая — «На выздоровление Лукулла» — в силу необходимости, за отсутствием другого органа, который бы напечатал оду, и за невозможностью провести ее через петербургскую цензуру. Сборник 1835 г. — «Стихотворения А. Пушкина», ч. 4 — заключил в себе всё напечатанное в «Библиотеке для Чтения», но не дал ничего нового (из вещей 30-х годов).

Основанный Пушкиным в 1836 г. трехмесячный журнал «Современник» дал ему новую возможность печатать свои стихи. Но главное содержание журнала составили прозаические статьи, отчасти — стихотворения разных авторов; количество напечатанных здесь стихотворений самого издателя крайне ничтожно: I том был открыт политически-программным «Пиром Петра Первого», а кроме него содержал лишь антологическое подражание А. Шенье и — в тексте «Путешествия в Арзрум» — стихотворение «Стамбул гяуры нынче славят» как отрывок из «сатирической поэмы, сочиненной янычаром Амином-Оглу». Во II томе не было ни одного стихотворения Пушкина, в III — три произведения разных лет: «Родословная моего героя (Отрывок из сатирической поэмы)» (1833),* «Полководец» (1835) и эпиграмма «Сапожник» (1829). В IV томе был помещен лишь отрывок из стихотворения «Перед гробницею святой» (1831), и то не самостоятельно, а в тексте «Объяснения» по поводу «Полководца». Кроме того два стихотворения 1836 г. («На статуи») и одно, более раннее («Аквилон», 1824), были помещены

* См. «Еверский» в т. II наст. издания, стр. 255—261.

в случайных журналах: первые два — в «Художественной Газете», в тексте редакционной критической статьи о выставке в Академии Художеств, где были статуи, послужившие темой для стихотворений, третье — в № 1 «Литературных прибавлений к Русскому Инвалиду» за 1837 г., по просьбе их редактора А. А. Краевского.

«Современник» при своем продолжении в 1837 г. должен был, вероятно, включить ряд важнейших стихотворений Пушкина последних лет. По крайней мере, сохранился список, составленный не ранее конца августа и не позднее декабря 1836 г., такого содержания:

Из Вилуан (т. е. «Странник», 1835).

Гладбище (т. е. «Когда за городом, задумчив, я брожу», 1836).

Мне не спится (т. е. «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы», 1830—1835).

Молитва (т. е. «Отцы пустытники и жены непорочны», 1836).

Сосны (т. е. «Вновь я посетил», 1835).

Осень в деревне (т. е. «Осень», 1833).

Не дорого ценю (т. е. «Из Пиндемонта», 1836).

Зачем ты, бурный Аквилон (т. е. «Аквилон», написанный в 1824 г. и отделанный в 1830-м). *

Этот список представляет известного рода тематическое и жанровое единство, хотя и не очень определенное. Печатаемая вскоре вошедший в него «Аквилон», Пушкин либо отказался от сохранения списка, как целого, либо хотел отбросить самую раннюю из входящих в него вещей. На сохранившихся беловых автографах трех стихотворений 1836 г. находим следы другого, предположенного к напечатанию списка, не совпадающего с первым и пронумерованного (подобно помещенным в «Современнике» «Стихотворениям, присланным из Германии» Тютчева). Стихотворение «Отцы пустытники» обозначено в автографе цифрой II, «Подражание итальянскому» («Как с древа сорвался предатель-ученик») — цифрой III, «Из Пиндемонта» — цифрой VI; остальные, входившие сюда, стихотворения (I, IV, V, может быть, VII и следующие) нам неизвестны. Напечатание их в «Современнике» не было осуществлено. Не было также выполнено (очевидно, вследствие смерти поэта) предположение об издании книгопродавцем Плюшаром сборника стихотворений Пушкина в одном томе; но и в этот сборник, судя по сохранившейся рукописи, не должно было войти ни одно неизданное ранее стихотворение. Таким образом, огромное большинство произведений, написанных Пушкиным в 1831—1836 гг., осталось ненапечатанным до его смерти и не было известно читателям. Обстоятельства — внешние и внутренние — сделали Пушкина в эти годы поэтом почти исключительно «для себя».

Основные черты поэзии Пушкина 30-х годов сводятся к следующему. Господствуют лирические стихотворения неопределенного и разнообразного типа, очень широкие и свободные по своей тематике и формам. Они возникают еще в 20-х годах на основе старой

* «Аквилон» напечатан в начале 1837 г. (см. выше), чем определяется отчасти хронология списка. Кроме того в список включено (очевидно, по ошибке) и вычеркнуто стихотворение «Туча», напечатанное в 1835 г., но тематически близкое к «Аквилону».

«медитативной» элегии после того, как потеряло значение прежнее разделение лирических жанров. Любовная тематика, занимавшая видное место в лирическом творчестве 20-х годов, теперь почти совершенно исчезает или меняет свой характер. Наряду с лирикою развиваются малые эпические формы — баллады и национальные исторические песни литературного и фольклорного происхождения; наконец, большое (даже большее, чем прежде) значение получают в эти годы усвоение и передача, в переводах и подражаниях, образцов мировой поэзии, в особенности античной.

Изменению характера лирического творчества Пушкина 30-х годов соответствуют изменения и в метрике и в стиле. Четырехстопный ямб теряет свое значение за счет более длинных ямбических стихов — пяти- и шестистопного ямба, в особенности — александрийского стиха, получающего большое развитие, силу и равнообразие, и как бы осуществляющего намерение, высказанное в конце 1830 г. в «Домике в Коломне»; пяти- и шестистопные ямбы употребляются в сложных строфических сочетаниях, вошедших в поэзию Пушкина с 1830 г.: в терцинах («И дале мы пошли») и в октавах («Осень»); наиболее часты, однако, эти размеры с вольною рифмовкою, особенно подходящие для поэтических медитаций. Кроме того в нескольких лирических стихотворениях применяется пятистопный белый ямб с вольными цезурами (драматический ямб), следуя в этом за опытами Жуковского, но представляя новшество в поэзии Пушкина («Вновь я посетил», «Он между нами жил»). Многочисленные переводы и подражания греческим поэтам вызывают развитие античных метров — гекзаметра и элегического дистиха (сочетания гекзаметра с пентаметром). В других случаях греческие стихи передаются четырехстопным хореем и — редким у Пушкина — двухстопным амфибрахием («Не рожу пафосскую»). Четырехстопный хорей применяется и для передачи балладных и фольклорных тем («Воевода», некоторые из «Песен западных славян», «На Испанию родную»). Наряду с ним культивируется Пушкиным народный (литературно-обработанный) песенный размер. В основе он заимствован от предложившего его А. Х. Востокова; первые опыты в нем у Пушкина относятся к 1827—1828 гг.; это — глубоко модифицированный пятистопный хорей, обращенный в трехчастный стих с тремя основными ударениями и с перемежающимися двух- и трехсложными (дактилическими) стопами, богатый пеонами и очень гибкий, с исключительно женскими (хорейческими) окончаниями стихов (трехударный дольник). Этим размером написана большая часть «Песен западных славян», а также «Сказка о рыбаке и рыбке».

Среди стихотворений 30-х годов особое место занимают немногочисленные, но очень значительные политические стихотворения Пушкина; хронологически это прежде всего те, которые составляют так называемую «польскую трилогию» 1831 г. Первое из них, «Перед гробницею святой» — обращенные к фельдмаршалу кн. М. И. Кутузову размышления у гроба его в Казанском соборе в Петербурге, внушенные поэту неудачами русской армии в войне против восставшей Польши и угрозой европейской интервенции, позволявшей сопоставлять положение России в 1831 г. с положением 1812 г.; стихотворение написано было в конце мая — начале июня

1831 г., «в такой момент, когда позволено было утратить бодрость» (как говорит поэт в письме к дочери Кутузова, Е. М. Хитрово, от середины сентября того же года). Второе — «Клеветникам России» — написано в конце лета (датировано 2 августа), в то время, когда вопрос об иностранном вмешательстве в русско-польские дела стоял особенно остро и реально. Оно обращено к французским (прежде всего) политическим деятелям и имеет в виду их выступления против России в печати и с парламентской трибуны. Третье, наконец, — «Бородинская годовщина» — написано 5 сентября, тотчас по получении известия о взятии приступом Варшавы, происшедшем 26 августа, в годовщину Бородинского боя. Первое из этих трех стихотворений, пессимистическое и полное сомнений в способностях николаевских полководцев, не было тогда напечатано и появилось (и то не полностью) лишь в 1836 г. Два других, имевших живое и злободневное политическое значение (хотя актуальность «Клеветникам России» после падения Варшавы значительно ослабела), были по желанию Николая I тотчас (в середине сентября 1831 г.) напечатаны отдельной брошюрой, вместе со стихотворением Жуковского «Старая песня на новый лад», под заглавием «На взятие Варшавы. Три стихотворения В. Жуковского и А. Пушкина». Эти стихи внешним образом знаменовали собою момент наибольшего «сближения» Пушкина с правительством Николая I. Но внутренний их смысл заключался в стремлении поэта выразить чувства и мнения русского общества (т. е. культурного дворянства) по поводу польского восстания и проектов интервенции, независимые от правительственных указаний, и противопоставить их общественному мнению Европы. Этим он частично осуществлял пожелания, высказанные в записке об издании газеты, поданной Бенкендорфу в июле того же года. Пушкин выступал не как правительственный одописец, но как полномочный представитель русского народа. Только в этом свете становится понятен восторженный отзыв об антипольских стихах Пушкина со стороны П. Я. Чаадаева, несмотря на все его западноевропейские и католические симпатии и резко отрицательное отношение к русской действительности. Позднее Пушкин коснулся русско-польских отношений в стихотворении «Он между нами жил», говорящем о Мицкевиче и датированном 10 августа 1834 г., но вчерне написанном, вероятно, еще осенью 1833 г., под влиянием стихотворений Мицкевича «Петербург» и «К друзьям русским», и, как ответ на них, вовущем к примирению через поэзию;* второе стихотворение — набросок «Ты просвещением свой разум осветил», написанный в конце 1831—1834 гг. и обращенный к неизвестному русскому стороннику Польши (возможно — к кн. П. А. Вяземскому); набросок остался необработанным и, за утратою автографа, не может быть связано восстановлен.

Вне польской темы в творчестве Пушкина 30-х годов нет чисто политических стихотворений. Политические воззрения поэта находили себе в эти годы более полное выражение в публицисти-

* См. стихотворение «Графу Олизару» (1824) и в т. II примечания в «Медному всаднику».

ческой и исторической, а частью и в художественной прозе. Но политические моменты содержатся и в стихах, посвященных другим темам; так, «Пир Петра Первого», написанный, вероятно, осенью 1835 г. и открывающий I том «Современника», представляет собою не только историко-бытовую картину из эпохи Петра, но и политическую программу, подсказываемую поэтом правительству — программу «примирения» царя с подданными, т. е. с декабристами, об амнистии которых шли слухи в конце 1835 г. — перед десятилетием со дня восстания. Стихотворение «Из Пиндемонти» выражает отношение поэта к зависимости «от властей», а по черновому тексту стиха 13, измененному, очевидно, ради цензуры и восставленному в настоящем издании, — к зависимости «от царя», — отношение, изменившееся в резко-отрицательную сторону с 1831 г. до 1836-го; вместе с тем поэт не терпит и зависимости «от народа», т. е. отрицает современные формы буржуазного парламентаризма. В так называемом «Памятнике» («Я памятник себе воздвиг нерукотворный») содержится декларация политического назначения поэзии как прославления свободы и призыва к милости «к падшим», т. е. к тем же декабристам. Наконец, значение политической сатиры имеет ода «На выздоровление Лукулла», носящая, из-за цензурных соображений, подзаголовок «Подражание латинскому». Она написана в конце октября — начале ноября 1835 г. и направлена против политического и общественного врага Пушкина — влиятельного сановника, министра народного просвещения С. С. Уварова, идеологического вождя реакции и вдохновителя учения «официальной народности». В этой оде, к которой только очень условно можно применить это жанровое обозначение, использованы вполне реальные, общеизвестные факты и ходившие в обществе анекдоты (намек на вопрос графа Литты Уварову в заседании Государственного совета: «А вы-то? у вас лихорадка ожидания?» в стихе «Знобим стяжання лихорадкой» и пр.). Впечатление от оды было чрезвычайно сильно, и Пушкин, помимо официальных объяснений и оправданий перед Бенкендорфом, выдержал ряд тяжелых столкновений и упреков в светском обществе.

Любовная тема в собственном смысле из лирики Пушкина 30-х годов исчезает. Немногие стихи, носящие характер любовных элегий, говорят о происшедшем в нем психологическом переломе. В них звучит отречение от прежних увлечений ради новой, последней любви (стихотворение «Когда в объятия мои», датированное 1831 г., как обращенное к жене, но которое можно отнести и к 1830 г. — к периоду жениховства Пушкина); сознание невозможности новых увлечений, проникнутое новым для него, грустным, но умудренным и внешне успокоенным чувством при взгляде на возможный, но теперь запретный предмет любви, сквозь которое всё же прорывается прежняя способность страстно увлекаться («Нет, нет, не должен я, не смею, не могу», относящееся к концу сентября — началу октября 1832 г. и обращенное к молодой девушке, гр. Н.Л. Соллогуб); отказ от любви во имя иных стремлений звучит и в отрывке 1833 г. «Когда б не смутное влеченье», помеченном в утраченной теперь рукописи «1833, дорога, сентябрь»; адресатка этого обращения остается, однако, нераскрытой. Лишь в одном необработанном отрывке выражается внезапно и неожиданно для са-

мого поэта чувство — мгновенное увлечение, а вместе и сожаление о слишком поздно явившемся образе, т. е. опять-таки сознание невозможности новой любви: это — стихотворение «Я думал, сердце позабыло», обращенное, повидимому, в последней своей редакции, написанной в сентябре 1835 г., в Тригорском, к М. И. Осиповой, но другая, ранняя рукопись которого относится к январю 1831 г. и не поддается истолкованию; очевидно, здесь — не единственный у Пушкина случай перемены объекта стихотворения в двух последовательных редакциях.*

Ряд альбомных записей мадригального характера, относящийся к 1832 г., не содержит уже никаких элементов любовной лирики. Стихотворения эти следующие: «Красавица», написанное в альбом графини Е. М. Завадовской и представляющее собою чисто антологическое, почти отвлеченное изображение; «Гонимый рока самовластьем» — обращенное, возможно, к той же гр. Н. Л. Соллогуб; «В тревоге пестрой и бесплодной» — запись в виде эпитафии в тетради, подаренной Пушкиным А. О. Смирновой для ее предположенных «Исторических записок», дающая полную и верную ее характеристику; «Когда-то (помню с улыбеньем)» — запись в альбоме княжны А. Д. Абамелек, позднее, по мужу, Баратынской. Также мадригальная запись в альбом неизвестного (предположительно — М. Л. Яковлева) «Долго сих листов заветных». Характер дружески-хвалебного мадригала имеет и послание Д. В. Давыдову при посылке «Истории Пугачевского бунта» («Тебе певцу, тебе герою»), набросанное в начале 1835 г., а законченное и переданное Давыдову в январе 1836 г., где выражено сочувственное отношение Пушкина к «лихости» Пугачева.

Наиболее обширную и значительную группу в творчестве Пушкина 30-х годов составляют стихотворения, лишенные определенных жанровых признаков, которые можно условно назвать «медитациями» (раздумьями), не обнимая этим термином всей полноты их содержания, но лишь указывая на эмоционально-окрашенное размышление как на их основной характер. Возникнув на основе элегии начала 20-х годов, они далеко выходят за ее границы и в жанровом, и в стилистическом, и в тематическом отношениях, включая в себя элементы послания, сатиры, оды, элементы описательные и эпические, теряя всякую жанровую определенность, но всегда сохраняя значительность темы и философскую настроенность. Тематическое их рассмотрение наиболее реально и целесообразно. Прежде всего выделяется одна основная проблема, доминирующая в ряде стихотворений, и притом крупнейших: это — отношение поэта вообще и поэта Пушкина в частности к окружающему его обществу, в более общем смысле — отношение к обществу мыслящей личности.

Проблеме поэтического творчества, а также назначения и роли поэта в обществе посвящены стихотворения: «Эхо» (1831); «С Гомером долго ты беседовал один» (1832), обращенное к Н. И. Гне-

* Ср. наименование адресата стихотворения «Вы избалованы природой» в первой редакции (май 1823 г.), обращенного к А. А. Олдиной, а во второй (январь 1829 г.) — к В. Н. Ушановой.

дичу, переводчику «Илиады», в ответ на его приветствие «по прочтении сказки про царя Салтана»; «Осень», датированное 1833 г., но задуманное и, вероятно, вчерне начатое еще в 1830 г.; в нем отражены впечатления осенней природы и деревенской помещицкой жизни в Болдине и творческий подъем, испытываемый поэтом в осеннее время, о чем он неоднократно говорит в своих письмах (к Плетневу — 31 августа 1830 г., к Дельвигу — 4 ноября 1830 г., к жене — в октябре 1833 г., в сентябре—октябре 1835 г. и пр.); в сатирическом, оставшемся необработанным, стихотворении 1833 г., обращенном к Буало, — «Французских рифмачей суровый судия» — проводится глубокое различие между истинным, вдохновенным, независимым поэтом и ремесленником-стихотворцем, с рядом намеков на определенные фигуры современной русской словесности; к 1833—1835 гг. относится ряд набросков послания Плетневу и другим литературным друзьям в ответ на их убеждения продолжать «Евгения Онегина» («В мои осенние досуги» и пр.), с ироническим расчетом материальных выгод этого предприятия; к этим наброскам примыкает по теме и другой отрывок, также датируемый предположительно 1835 г., — «На это скажут мне с улыбкою неверной», где повторяется мысль, высказанная еще в 1824 г. в «Разговора книгопродавца с поэтом», о независимости поэтического творчества, совмещаемой с практическим использованием его как профессии; свобода выбора темы и героя заявляется и в «Родословной моего героя» (1833—1836), извлеченной из неоконченной поэмы.* Переработку нескольких других ее строф представляет собою стихотворение «Поэт идет: открыты вежды» (1835), предназначенное, как можно предполагать, для включения в «Египетские ночи» в качестве первой импровизации итальянца на тему, предложенную Чарским: «Поэт сам избирает предметы для своих песен; толпа не имеет права управлять его вдохновением». Наконец, общее воззрение Пушкина на назначение поэта и на свое собственное значение, как певца свободы, выражено в стихотворении «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», датированном 21 августа 1836 г. и являющемся переложением оды Горация «Ad Melpomenam» («К Мельпомене» — музе трагической поэзии); это стихотворение близко повторяет некоторые стихи более раннего подражания Горацию — оды Державина «Памятник» (1796), характерно отходясь от обеих тем, что именно ставит себе поэт в заслугу перед потомством. Последняя, пятая строфа стихотворения прибавлена Пушкиным совершенно независимо и от Горация и от Державина: тема ее — одиночество поэта, его равнодушие к хвале и клевете, непонимание его окружающим обществом.** Тема эта, присущая поэзии Пушкина еще с 20-х годов (начиная с «Разговора книгопродавца с поэтом»), в 30-х годах особенно подчеркивается, теряя свой отвлеченно-романтический характер и превращаясь в тему социального одиночества мыслящей личности в современной России. Для

* См. в т. II примечания к «Езерскому».

** Одиночество поэта, не находящего яндре отзыва на свои душевные движения, выражено и в стихотворении «Эхо» (1831), продолжающем ряд стихотворений, посвященных той же теме в 20-х годах, начиная «Отвечом Анониму» (1830).

развития этой очень интимной темы Пушкин использует образы, казалось бы, от нее далекие и имеющие только исторический смысл: образ фельдмаршала М. Б. Барклая-де-Толли, первого главнокомандующего русскими армиями в войну 1812 г., проводившего план отступления в глубь России без боя и за это обвиненного общественным мнением в измене («Полководец», датированный 7 апреля 1835 г.); изображая одиночество непонятого современниками выдающегося, героического деятеля, Пушкин, конечно, думал и о себе, о своей судьбе в последние годы жизни. Другой образ — морально-религиозного протестанта, порывающего с непонимающим его обществом и с семьей, — показан в «Страннике», датированном 26 июня (или июля) 1835 г. и представляющем стихотворное предложение I главы прозаического сочинения английского мистического проповедника-сектанта XVII в. Джона Беньяна «Путешествие странника» (J. Bunyan, «The pilgrim's progress»), очень распространенного в среде русских масонов и мистиков в конце XVIII и начале XIX в.; образ этот для Пушкина получает чисто личное значение, призывая к разрыву и уходу от общества, к выходу в новую жизнь. Та же тема ухода вполне конкретно и реально, как переселение из Петербурга в деревню, ставится в стихотворении «Пора, мой друг, пора! покоя сердца просит», с прозаической программой продолжения; его можно датировать летом 1834 г. по связи с неудачной попыткой Пушкина выйти в отставку; о том же стремлении к деревенской вольной жизни, во всем, даже в смерти, противоположной давящему городу, говорит и стихотворение «Когда за городом, задумчив, я брожу», написанное 14 августа 1836 г. и навеянное реальными впечатлениями прогулок по городским кладбищам Петербурга. Проблема воли, индивидуальной независимости от общества, почитаемой обществом за сумасшествие, лежит в основе неоконченного стихотворения «Не дай мне бог сойти с ума», датируемого, согласно введенной Анкеевым традиции, осенью 1833 г., по его тематической близости к писавшимся в это время «Медному всаднику» и «Пиковой даме», где в обоих — изображенные безумия (тема, впрочем, не новая в творчестве Пушкина, со вниманием и интересом и раньше изображавшего сумасшествие). Та же проблема воли и независимости ставится в стихотворении «Из Пиндемонти»; здесь вполне конкретизируется понятие той общественной среды, которая давит на поэта и от которой он мечтает освободиться: это — современное дворянско-буржуазное общество, в России скованное самодержавием, а на Западе — условностями и лицемерием буржуазного строя. Протестом против лицемерия и полицейской опеки является и стихотворение «Мирская власть», написанное не задолго до «Из Пиндемонти». Свободно жить, свободно мыслить и проявлять свою творческую личность — вот чего не хватало Пушкину во всю его сознательную жизнь и чего он особенно страстно, упорно и напрасно желал в последние годы.

На рубеже 1830 и 1831 г., вследствие ряда личных и общих причин, завершился один период жизни Пушкина — период скитальчества и начался новый — период оседлости и, казалось, спокойных трудов. Сознание этого перехода в новую жизнь выразилось в стихотворении, посвященном лицейской годовщине 1831 г.

и оставшемся неотделанным, хотя законченным: в нем — подведение итогов предшествующего десятилетия, как общеполитических (в откинутой второй строфе), так и личных; только что пережитые политические потрясения и недавняя смерть Дельвига придадут стихотворению пессимистический тон; здесь высказываются печальные предчувствия, которые, однакоже, в конце покрываются другим, оптимистическим мотивом: присущей Пушкину жаждой жизни и надеждой на будущее (ср. стихотворение «О, нет, мне жизнь не надоела», неопределенно датированное 1830-ми годами; письмо к Плетневу от 22 июля 1831 г.; набросок «Я возмужал среди печальных бурь», относящийся к началу 1834 г., в котором, однако, чувство спокойствия и тишины после бурь представляется временным и непрочным; жажда спокойствия после бури, после пережитых в молодости и в самое недавнее время — в 1834 г. — потрясений выражена и в стихотворении 1835 г. «Туча»). Ретроспективный взгляд на свою прошлую жизнь является темой и стихотворения «Вновь я посетил», написанного 26 сентября 1835 г. в Михайловском, куда Пушкин впервые после осени 1827 г. приехал надолго. Помимо необычайно точного, совершенно реалистического описания окрестностей Михайловского (ср. письма его к жене этого времени — в особенности от 25 сентября 1835 г.), стихотворение содержит ряд размышлений поэта о своем прошлом, о своих молодых годах (впрочем, большую часть этих размышлений, слишком интимных для печати, а частью и представлявшихся ему длиннотами, Пушкин вычеркнул при переделке). Итогам прошедшего двадцатипятилетия (1811—1836) посвящено стихотворение 1836 г. «Была пора: наш праздник молодой», где воспоминание об историческом времени, пережитом в Лице, воссоздавая тогдашние настроения, заслоняет даже обычно отрицательное отношение поэта к Александру I. Это стихотворение — одно из последних, написанных Пушкиным, — проникнуто глубочайшей грустью и вполне отражает общее настроение Пушкина в последние месяцы его жизни. Легенда о том, что Пушкин, начав его читать на праздновании лицейской годовщины, не мог кончить от волнения и слез, вполне гармонирует и с тоном стихотворения и с настроением поэта, предчувствовавшего свой близкий конец.

Народно-эпические мотивы занимают важное место в творчестве Пушкина 30-х годов. Интерес его к русскому и славянскому фольклору, выразившийся в создании сказок и в записях песен, проявляется и в многочисленных стихотворных переводах, подражаниях и самостоятельных композициях. На основе украинских фольклорных мотивов, частью, вероятно, воспринятых лично еще во время пребывания на юге, частью через посредство повести О. М. Сомова «Киевские ведьмы» («Новоселье», 1833), написана баллада «Гусар» (18 апреля 1833 г.), в противоположность романтическим балладам Жуковского проникнутая юмором и реалистически мотивированная. Две баллады были в том же 1833 г. переложены Пушкиным из Мицкевича: «польская баллада» «Воевода» («Czaty») и «литовская баллада» «Будрыс и его сыновья» («Trzech Budrysów»). Обращение к творчеству Мицкевича вообще характерно для 1833 г. (см. примечания к «Медному всаднику», т. II). Переводы его баллады, Пушкин отступил от подлинника в некоторых деталях и

именах, но сохранил общую фабульную схему и национальный колорит. Русский фольклор (песенный и «раёшный») нашел себе отражение в нескольких набросках, оставшихся незаконченными: «Свят Иван, как пить мы станем», «Колокольчики звенят» (1833) и др.; в самом начале остановилось и переложение в сказочном размере (наподобие «Царя Салтана» и др.) былины об Илье Муромце («В славиой в Муромской земле», 1833). Но главным трудом Пушкина в поисках создания народно-песенной формы явились «Песни западных славян», написанные приблизительно в 1823—1833 гг., а напечатанные в начале 1835-го, после чего, однако, работа над ними не прекратилась. Непосредственным источником большей части песен явилось литературное произведение, пригом преследовавшее цели литературной мистификации — сборник изложенных прозою песен, якобы записанных в Сербии, составленный французским поэтом П. Мериме: «La Guzla, ou choix de poésies illyriques, recueillies dans la Dalmatie, la Bosnie, la Croatie et l'Herzégovine» («Гузла (т. е. «Гусли»), или избранные иллирийские стихотворения, собранные в Далмации, Боснии, Кроации и Герцеговине», Париж, 1827). Мериме не был в Сербии, не знал славянских языков и сам не записывал песен. Тем не менее его сборник — не просто мистификация, как он сам это утверждает: основой его послужило всё же изучение, хотя и поверхностное, материалов подлинной сербской народной поэзии, почерпнутых из книги итальянского аббата Д.-Б. Фортиса «Путешествие по Далмации» (1774) и из других печатных, а частью и устных источников. Пушкин не знал происхождения песен «Гузль», когда начал ими заниматься, но сквозь литературную обработку почувствовал подлинные народные черты. Прозу их он передал песенным стихом, выработанным на основе опытов Востокова. Сохраняя их фабулу, он большую часть песен сжал и переработал, вложил много своего в их лексику, стиль и композицию и создал из них подлинно народные произведения. Позднее, уже зная их происхождение, он не усомнился их напечатать, поместив в предисловии объяснительное письмо Мериме: этой публикацией утверждалась их народность. Таким образом, были из частью переведены, частью обработаны: одиннадцать песен из Мериме (I—IX, XIII и XVI) и три другие (X — «Соловей», XII — «Воевода Милош», XIV — «Сестра и братья»), взятые непосредственно из сербского сборника песен Вука Караджича. Источники двух остальных (XI — «Песня о Георгии Черном» и XV — «Яныш королевич») не установлены, хотя сам Пушкин указывает для второй из них какой-то «подлинник», с которого он переводил; о Георгии Черном он мог узнать еще, живя в Кишиневе, а позднее — из большой литературы о борьбе греков и сербов против Турции. Из этих же источников заимствована, повидимому, начатая позднее вторая песня о Георгии Черном («Янко Вуч грамоту пишет», набросок 1834—1835 гг.); из «Путешествия» Фортиса переведена (но не закончена) песня об Асан-Агнице (конец 1834 — начало января 1835 г.).

Рассмотрение лирического творчества Пушкина 30-х годов доказывает, что в эту последнюю эпоху поэт не менее, а скорее даже более, чем прежде, обращался к иностранным литературам — античным, западноевропейским, славянским и восточным, пере-

водя из них образцы, перекладывая их или используя как материал. Уже в предыдущем обзоре был отмечен ряд заимствований из литератур других народов: из польской (баллады Мицкевича), сербской («Песни западных славян», большею частью), однако, через посредство французского и итальянского источников), английской («Странник», из Беньяна), римской («Я памятник себе воздвиг», восходящее к Горацию). Продолжая этот обзор в хронологическом порядке и по отдельным национальностям, нужно отметить следующее.

Из числа древнегреческих авторов Пушкиным переводились Анакреон и некоторые другие поэты, доступные ему во французских переводах. Эти переводы глубоко отличны от анакреонтических стихотворений ранних лет, передававших не столько античную поэзию, сколько французские ее отражения XVIII в.: теперь Пушкин пользуется буквальными переводами и перекладывает их в стихи, где старается передать и метрическую форму и дух подлинников.

Из Анакреона им переведены в начале января 1835 г. три оды — LV («Узнают коней ретивых»), LVI («Поредели, побелели»), LVII («Что же сухо в чаше дно»); из позднейшего хрестоматийного сборника «Пир софистов», составленного грамматиком и ритором III в. н. э. Афением, извлечены стихотворения Ксенофана Колофонского («Чистый лоснится пол») и Гедила («Славная флейта, Феон»), объединенные под названием «Подражания древним»; оба перевода сделаны в конце 1832 — начале 1833 г. Из того же сборника Афения вольно переведен стихами прозаический отрывок («Бог веселый винограда»), датируемый так же, как и первые два (Пушкин в печати поместил переводы из Афения 1832 г.); из Иона Хиосского сделан вольный перевод дистиха «Вино» («Злое дитя, старик молодой»).

С переводами из греческих поэтов связаны антологические отрывки, не имеющие прямых соответствий в греческой поэзии. Таковы: дистих «Юноша! скромно пируй»; «Не розу пафосскую» — стихи, набросанные, повидимому, еще в Болдине осенью 1830 г., но обработанные значительно позднее; «Юношу, горько рыдая, ревнивая дева бранила», предположительно относящееся к 1835 г. Античным размером (элегическим дистихом) написаны кроме того и некоторые, совершенно самостоятельные стихотворения: «Художнику» («Грустен и весел вхожу», 1836), обращенное к скульптору Б. И. Орловскому, автору памятников Барклаю-де-Толли и Кутузову (перед Казанским собором в Ленинграде); «На статую играющего в свайку» и «На статую играющего в бабки» — одни из последних стихотворений, если не самые последние стихотворения Пушкина, изображающие выставленные осенью 1836 г. в Академии Художеств скульптуры А. В. Логановского и Н. С. Пименова.

Из римских поэтов Пушкин переводил Катулла (стихотворение «Мальчику», датированное в рукописи «18 февраля 1832») и Горация, из которого, помимо использования темы памятника, вольно переведена VII ода 2-й книги «К Помпею Вару» («Кто из богов мне возвратил») и набросан вчерне перевод начала I оды 1-й книги «К Мекенату» («Царей потомок, Мекенат»). Перевод оды к Помпею, так же как и переводы LV и LVI од Анакреона, предназначались Пушкиным для включения в начатую в первой половине 1835 г.

повесть из римской жизни («Цесарь путешествовал. Мы с Титом Петронием»), оставшуюся неоконченной и неотделанной.

В 1836 г., по совету кн. П. Б. Козловского, дилетанта-математика и латиниста, сотрудника «Современника», Пушкин занялся Ювеналом и начал переводить отрывками его X сатиру («От западных морей до самых врат восточных»), а самому Козловскому стал набрасывать послание о Ювенале («Ценитель умственных творений исполинских»). Ни то ни другое не было доведено до конца.

Обращаясь к поэзии восточных народов, Пушкин написал «Подражание арабскому» («Отрок милый, отрок нежный», предположительно — 1835), заимствовав заключительные стихи из сборника «Гюлистан» Саади; из французского сборника прозаических переводов арабских песен (*Mélanges de littérature orientale et française*, par J. Agoub) — «Сборник отрывков восточной и французской литературы» Ж. Агуба, Париж, 1835) он переложил стихами один отрывок — «От меня вечер Леила», относящийся к ноябрю—декабрю 1835 г.

Необходимо отметить и переложение стихами (очень сокращенное и вольное) начала одного из библейских сказаний — «Книги Юдифь» («Когда владыка ассирийский»), сделанное вчерне в ноябре 1835 г. В нем переданы лишь самые первые главы книги, но сомнительно, чтобы Пушкин имел намерение переложить ее всю, хотя бы и эпизодически, и написать поэму крупных размеров.

На темы «Божественной комедии» Данте Алигьери (XVII, XVIII, XXI, XXII) написаны два отрывка («И дале мы пошли» и «Тогда я демонов увидел черный рой»), датруемые условно 1832 г., но, возможно, и более поздние; они сохраняют размер подлинника (терцины), но вводят новые, самостоятельные образы грешников и их мучений, выбор которых, быть может, определялся личным чувством поэта (ростовщик и «жена с ее сестрой» — повидимому, сводницы).

Из новых итальянских поэтов Пушкин перевел стихотворение Франческо Джизани (1760—1822) «Sonetto sopra Giuda» («Подражание итальянскому» — «Как с древа сорвался предатель-ученик», помеченное 22 июня 1836 г.). Заглавие «Из Пиндемонти», заменившее собою заглавие «Из Alfred Musset» в стихотворении того же времени «Недорого цену я громкие права» (5 июля 1836 г.), не может быть принято буквально как указание на определенный источник: хотя и в поэзии А. Мюссе, и у Ипп. Пиндемонти есть мотивы, сходные со стихами Пушкина, всё же это заглавие имеет целью охранить вольнолюбивое произведение от цензуры, и самая замена одного поэта другим указывает на нереальность ссылки.

Французская поэзия представлена в эти годы переводом антологического стихотворения А. Шенье (1762—1794) «Oeta, mont ennoblí par cette nuit ardente» — у Пушкина «Покров, упитанный явительною кровью»; перевод начат еще в 1825 г., в период написания элегии «Андрей Шенье», но закончен и отделан лишь 20 апреля 1835 г. К французской литературе нужно причислить и роман польского писателя гр. И. О. Потоцкого, написанный по-французски, «Les trois pendus» («Трое повешенных», Париж, 1813—1814), из второй части которого «Dix journées de la vie d'Alphonse Van Worden»

Пушкин передал начало одного эпизода в стихотворении «Альфонс садится на коня», оставшемся неотделанным и незаконченным (датируется приблизительно второй половиной 1835—1836 гг.).

Несколько английских и англо-американских авторов привлекали к себе Пушкина. Кроме указанного уже выше Беньяна, это были: Соути (1774—1843), из поэмы которого «Roderick, the last of the Goths» («Родриг, последний из готов») он перевел несколько начальных отрывков (стихотворение «На Испанию родную», 1835), передав их размером испанских народных романсов; другой отрывок, связанный с темой о Родриге («Чудный сон мне бог послал»), которого нет у Соути, взят Пушкиным, вероятно, непосредственно из испанских романсов, известных ему в переводах на французский язык. Из Барри Корнуола (1787—1874) Пушкиным начат перевод начального монолога героя драматической сцены «The Falcon» («Сокол»): «О бедность! Затвердил я наконец» (1835). Наконец, из книги американского писателя Вашингтона Ирвинга (1783—1859) «Альгамбра», известной Пушкину во французском переводе («Les contes d'Alhambra, précédés d'un voyage dans la province de Grenade», P., 1832), сделан набросок перевода одного эпизода из «Легенды об арабском звездочете», послужившей также ближайшим источником «Сказки о золотом петушке» — «Царь увидел пред собой» (предположительно датируется 1833 г.).

Большая часть перечисленных переводов и подражаний не закончена и не отделана, но они свидетельствуют о громадной широте интересов Пушкина и о непрекращавшихся у него до последних дней исканиях новых форм и новых поэтических тем.

Реализм, как свобода в выборе предметов творчества и простота выражения, и народность, понимаемая во внешнем образе, не как простонародность и лексическая стилизация, но как проникновение в дух народа, в его жизнь и мировоззрение, — являются основными принципами творчества Пушкина уже со второй половины 20-х годов. Лирическое стихотворение служит Пушкину формой выражения всевозможных человеческих чувств и эмоций, вызываемых действительностью, формой передачи мыслей и впечатлений во всей их широте и во всем разнообразии, не ограниченной никакими жанровыми рамками. С середины 20-х и в 30-х годах творчество Пушкина достигает той степени совершенства, о которой говорит Гоголь: «Тут всё — и наслаждение, и простота, и мгновенная высота мыслей, вдруг объемлющая священным холодом вдохновения читателя. Здесь нет этого каскада красноречия, увлекающего только многословием, в котором каждая фраза потому только сильна, что соединяется с другими, и оглушает падением всей массы, но если отделить ее, она становится слабою и бесильною. Здесь нет красноречия, здесь одна поэзия; никакого наружного блеска, всё просто, всё исполнено внутреннего блеска, который раскрывается не вдруг; всё лаконизм, каким всегда бывает чистая поэзия. Слов немного, но они так точны, что обозначают всё. В каждом слове бездна пространства; каждое слово необъятно, как поэт. Отсюда происходит то, что эти мелкие сочинения перечитываешь несколько раз, тогда как достоинства этого не имеет сочинение, в котором слишком просвечивает одна главная идея».

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- «А в ненастные дни». См. Из письма к кн. П. А. Вяземскому.
- Адели («Играй, Адель») 210
- Агафист Екатерине Николаевне Карамзиной («Земли достигнув наконец») 335
- Аквилон («Зачем ты, грозный аквилон») 263
- Алексееву («Мой милый, как несправедливы») 188
- «Альфоне садится на коня» 492
- Амур и Гименей («Сегодня, добрые мужья») 402
- Ангел («В дверях эдема ангел нежный») 334
- Андрей Шенье. Посвящено Н. Н. Раевскому («Меж тем, как изумленный мир») 278
- Анчар («В пустыне чахлой и скупой») 365
- «Арист! и ты в толпе служителей Парнаса!» См. К другу стихотворцу 131.
- Арион («Нас было много на челне») 334
- Бакуниной Е. П. («Напрасно воспевать мне ваши именины») 155
- Баратынскому («Я жду обещанной тетради») 209
- Баратынскому из Бессарабии («Сия пустынная страна») 215
- Батюшкову («В пещерах Гелионе») 54
- «Беги, сокройся от очей». См. Вольность. Ода.
- «Безумных лет угасшее веселье». См. Элегия.
- «Бессмертною рукою раздавленный воил». См. На Каченовского.
- Бесы («Мчатся тучи, вьются тучи») 411
- Битва у Зеницы-Великой («Радивой подвлял желтое знамя»). См. Песни западных славян.
- «Благослови, поэт!.. В тиши парнасской сени». См. К Жуковскому.
- «Благословляю новоселье». См. Новоселье.
- «Блажен в златом кругу вельмож» 346
- «Блажен, кто в отдаленной сени». См. Уединение.
- «Блажен, кто в шуме городском». См. Из письма к кн. П. А. Вяземскому.
- «Блестит луна, недвижно море спит» 286
- «Блеца средь полей широких». См. Дон.
- «Близ мест, где царствует Венеция златая» 336
- Бова. Отрывок из поэмы («Часто, часто я беседовал») 21
- «Бог веселый винограда» 494
- «Бог помочь вам, друзья мои». См. 19 октября 1827
- «Богами вам еще даны». См. Друзьям.
- Бонапарт и черногорцы («Черногорцы? что такое?»). См. Песни западных славян.

- Бородинская годовщина («Великий день Бородина») 437
- «Брадатый староста Авдей» 374
- «Брат милый, отроком расстался ты со мной» 218
- «Брови царь нахмура» 294
- «Брожу ли я вдоль улиц шумных» 396
- Будрыс и его сыновья. Из Мицкевича («Три у Будрыса сына, как и он, три литвина») 456
- «Буря мглою небо кроет». См. Зимний вечер.
- Буря («Ты видел деву на скале») 302
- «Бывало, прежних лет герой». См. На Рыбушкина.
- «Был и я среди донцов» 386
- «Была пора: наш праздник молодой» 505
- «Быть может, уж недолго мне». См. Осиповой П. А.
- «В Академии Наук» 480
- В альбом («Гонимый рока самовластьем») 446
- В альбом («Долго сих листов заветных») 446
- В альбом («Я не люблю альбомов модных») 356
- В альбом кж. А. Д. Абамелек («Когда-то помню с умиленьем») 444
- В альбом («Пройдет любовь, умрут желанья») 115
- В альбом Е. Н. Вульф («Вот, Зина, вам совет: играйте!») 312
- В альбом кн. П. П. Вяземскому («Душа моя Павел») 330
- В альбом Илличевскому («Мой друг! не славный я поэт») 116
- В альбом И. И. Пущину («Взглянув когда-нибудь на тайный сей листок») 116
- В альбом А. О. Смирновой («В тревоге пестрой и бесплодной») 443
- В альбом Е. Я. Сосницкой («Вы соединить могли с холодностью сердечной») 136
- «В безмолвии садов, весной, во мгле ночей». См. Соловей и роза.
- «В глуши, измучась жизнью постоной». См. Вяземскому П. А.
- В дверях эдема ангел нежный. См. Ангел.
- «В Дориде нравятся и локоны златые». См. Дорида.
- «В дыму, в крови, сквозь тучи стрел». См. Генералу Пущину.
- «В еврейской хижине лампада» 325
- «В жизни мрачной и презренной». См. Эпиграмма.
- «В крови горит огонь желанья» 302
- «В лесах, во мраке ночи праздной». См. Соловей и кукушка.
- «В младенчестве моем она меня любила». См. Муза.
- «В мои осенние досуги» 482
- «В надежде славы и добра». См. Стансы.
- «В начале жизни школу помню я» 423
- «В неволе скучной увядает». См. Наслаждение.
- «В нем пунша и войны кипит всегдашний жар». См. К портрету Каверина.
- «В отдалении от вас». См. Ушаковой Ек. Н.
- «В печальной праздности я лиру забывала». См. К ней.
- «В пещерах Геликона». См. Батюшкову.
- «В пещере на острых камнях». См. Песни западных славян. Гайдук Хризич.
- «В поле чистом серебрится» 463
- «В последний раз, в сени уединенья». См. Кюхельбекеру.
- «В последний раз твой образ милый» 414
- «В прохладе сладостной фонтанов» 375
- «В пустыне чахлой и скудной». См. Анчар.

- «В рощах карийских, любезных
ловцам, таится пещера» 346
- В Сибирь («Во глубине сибир-
ских руд») 328
- «В сиянии и радостном покое».
См. Эпитафия младенцу кн.
Н. С. Волконскому.
- «В славной, в Муромской зе-
мле» 453
- «В степи мирской, печальной и
безбрежной» 333
- «В степях зеленых Буджака».
См. Кирджали.
- «В стране, где Юлней венчаный».
См. Гнедичу Н. И.
- «В стране, где я забыл трево-
ги прежних лет». См. Чаа-
даеву.
- «В твою светлицу, друг мой неж-
ный» 185
- «В те дни, когда мне были новы».
См. Демон.
- «В тревоге пестрой и бесплод-
ной». См. В альбом А. О.
Смирновой.
- «В часы забав иль праздно
скуки» 404
- «В чужбине свято наблюдаю».
См. Птичка.
- «В Элизии Василий Тредьяков-
ский». См. Литературное из-
вестие.
- Вакхическая песня («Что смолк-
нул веселия глас?») 292
- «Вам, музы, милые старушки».
См. Филимонову В. С., при
получении поэмы его «Ду-
рацкий колпак».
- «Ваш дед портной, ваш дядя по-
вар». См. Жалоба.
- «Везувий зев открыл — дым хлы-
нул клубом — пламя» 467
- «Великий день Бородина». См.
Бородинская годовщина.
- «Вертоград моей сестры» 302
- «Веселый вечер в жизни нашей».
См. 27 мая 1819.
- «Веселый пир («Я люблю вечер-
ний пир») 146
- «Вечерняя заря в пучине дого-
рала». См. Наполеон на Эльбе
(1815).
- «Взгляни на милую, когда свое
чело». См. Красавица перед
зеркалом.
- «Взглянув когда-нибудь на тай-
ный сей листок». См. В аль-
бом И. И. Пущину.
- Вигелю Ф. Ф. («Проклятый го-
род Кишинев!») 224
- Видение короля («Король ходит
большими шагами»). См. Пе-
сни западных славян.
- Вино. Ион Хиосский («Злое дитя,
старик молодой, властелин
добронравный») 449
- Виноград («Не стану я жалеть
о розах») 255
- Влах в Венеции («Как покинула
меня Парасковья»). См. Пе-
сни западных славян.
- «Внемли, о Гелиос, серебряным
луком звенящий» 221
- «Внимает он привычным ухом».
См. История стихотворца.
- «Вновь я посетил» 484
- «Во глубине сибирских руд». См.
В Сибирь.
- Вода и вино («Люблю я в пол-
день воспаленный») 50
- Воевода (Из Мицкевича) («Поз-
дно ночью из похода») 457
- Воевода Милош («Над Сербией
смилуйся ты, боже!»). См.
Песни западных славян.
- Возрождение («Художник-вар-
вар кистью сонной») 152
- Война («Война!.. Подъяты нако-
нец») 192
- Волконской З. А. княгине
(«Среди рассеянной Москвы») 332
- Вольность. Ода («Беги, сокройся
от очей») 126
- «Ворон к ворону летит» 362
- «Воротился ночью мельник».
См. «Сцены из рыцарских
времен».
- «Воспитанный под барабаном»
270
- Воспоминание («Когда для смерт-
ного умолкнет шумный день») 354

Воспоминания в Царском Селе («Воспоминаньями смущенный») 395

Воспоминания в Царском Селе («Навис покров угрюмой ночи») 32

Воспоминание. К Пушкину («Помнишь ли, мой брат по чаше») 62

«Воспоминаньем упоенный». См. Элегия.

«Воспоминаньями смущенный». См. Воспоминания в Царском Селе.

«Восстань, боязливый». См. Подражания Корану.

«Восстань, о Греция, восстань» 431

«Вот Вилия — он любовью дышит» 107

«Вот зеркало мое — прими его, Киприда!». См. Лаиса Венере, посвящая ей свое зеркало.

«Вот, Зина, вам совет: играйте!» См. В альбом Е. Н. Вульф.

«Вот Муза, реваая болтунья». См. Посвящение «Гавриилиады».

«Вот перешед чрез мост Кокушкин». См. На картинке к «Евгению Онегину» в «Невском альманахе».

«Враги мой, покамест я ни слова». См. Приятелям.

«Всё в жертву памяти твоей» 304

«Всё в ней гармония, всё диво». См. Красавица.

«Всё в таинственном молчаньи». См. Гроб Анакреона.

«Всё кончено: меж нами связи нет» 233

«Всё миновалось!» См. Измены.

«Всё мое, — сказало злато». См. Золото и булат.

«Всё пленяет нас в Эфири». См. Эпиграмма на Колосову.

«Всё так же ль осеняют своды» 220

Всеволожскому («Прости, счастливыи сыз пиров») 144

«Всегда так будет, как бывало» 201

«Всей России притеснитель». См. На Аракчеева.

«Всем красны боярские конюшни» 372

«Встречаюсь я с осемнадцатой весной». См. Послание кн. А. М. Горчакову.

Второе послание к цензору («На скользком поприще Тимковского наследник!») 263

Вульф А. Н. («Увы! Напрасно деве гордой») 311

Вульф А. Н. («Здравствуй, Вульф, приятель мой!») 237

Вурдалак («Трусоват был Ваня бедный»). См. Песни западных славян.

«Вчера был день разлуки шумной». См. Другьям.

«Вчера за чашей пуншевою». См. Слеза.

«Вы избалованы природой». См. Ушаковой Ел. Н.

«Вы съединить могли с холодностью сердечной». См. В альбом Е. Я. Сосницкой.

Выздоровление («Тебя ль я видел, милый друг?») 130

«Высоко над семьею гор». См. Монастырь на Казбене.

Вяземскому П. А. («В глуши, измучась жизнью постной») 300

Вяземскому П. А. кн. («Язычительный поэт, остряк замысловатый») 185

«Вянет, вянет лето красно». См. К Наташе.

Гайдук Хризич («В пещере, на острых каменьях»). См. Песни западных славян.

«Где наша роза?» См. Роза.

«Где ты, ленивец мой?» См. Послание к Галичу.

Генералу Пушкину («В дыму, в крови, сквозь тучи стрел») 198

Герой («Да, слава в прихотях вольна») 420

«Глава сносив на ус кудрявый». См. Усы. Философическая ода.

- Глянке Ф. («Когда средь оргий жизни шумной») 216
- «Глухой глухого звал к суду судьи глухого» 429
- «Гляжу, как безумный, на черную шаль». См. Черная шаль.
- Гнедичу Н. И. («В стране, где Юлией венчанный») 169
- Голицыной М. А. кн. («Давно об ней воспоминанье») 226
- Голицыной кн. Посылая ей оду «Вольность» («Простой воспитанник природы») 129
- «Гонимый рока самовластьем». См. В альбом.
- «Горишь ли ты, лампада наша». См. Толстому Я. Н.
- «Город пышный, город бедный» 365
- Городок. К*** («Прости мне, милый друг») 39
- Горчакову А. М. князю («Пускай, не ввязь с Аполлоном») 15
- Графу Олизару. См. Олизару графу.
- «Гречанка верная! не плачь, — он пал героем» 220
- Гречанке («Ты рождена воспламенять») 214
- Гроб Анакреона («Всё в таинственном молчаньи») 76
- Гроб юноши («Скрылся он») 185
- «Гроза луны, свободы воин». См. Дочери Карагеоргия.
- «Грустен и весел вхожу, ваятель, в твою мастерскую». См. Художнику.
- Гусар («Скребницей чистил он коня») 450
- «Да, слава в прихотях вольная». См. Герой.
- «Давайте пить и веселиться». См. Добрый совет.
- «Давно об ней воспоминанье». См. Голицыной М. А. кн.
- Давыдову А. Л. («Нельзя, мой толстый Аристип») 233
- Давыдову В. Л. («Меж тем как генерал Орлов») 175
- Давыдову Д. В. При посылке «Истории Пугачевского бунта» («Тебе певцу, тебе герою!») 496
- «Дар напрасный, дар случайный» 356
- «Два дубочка вырастали рядом». См. Песни западных славян. Сестра и братья.
- «Два чувства дивно близки нам» 441
- 27 мая 1819. («Веселый вечер в жизни нашей») 138
- Движение («Движенья нет, скавал мудрец бородатый») 300
- Дева («Я говорил тебе: страшися девы милой!») 196
- 19 октября («Роняет лес багряный свой убор») 294
- 19 октября 1827 («Бог помочь вам, друзья мои») 337
- 19 октября 1828 («Усердно помолвившись богу») 363
- Делибаш («Перестрелка за холмами») 381
- Дельвигу А. А. («Друг Дельвиг, мой парнасский брат») 168
- Дельвигу («Любовью, дружеством и ленью») 110
- Демон («В те дни, когда мне были новы») 225
- Деревня («Приветствую тебя, пустынный уголок») 142
- Десятая заповедь («Добра чужого не желать») 201
- Дионея («Хромид в тебя влюблен: он молод, и не раз») 186
- «Дитя, не смею над тобой». См. Младенцу.
- «Дитя харит и вображенья». См. К живописцу.
- «Для берегов отчизны дальней» 424
- «Добра чужого не желать». См. Десятая заповедь.
- Добрый совет («Давайте пить и веселиться») 125
- Добрый человек («Ты прав, несносен Фирс ученый») 155
- «Долго ль мне гулять на свете». См. Дорожные жалобы.
- «Долго сих листов заветных». См. В альбом.

- Домовому («Поместья мирного незримый покровитель») 143
- Дон («Блеща средь полей широких») 387
- Дорида («В Дориде нравятся и локоны золотые») 158
- Дориде («Я верю: я любим; для сердца нужно верить») 158
- Дорожные жалобы («Долго ль мне гулять на свете») 387
- Дочери Карагеоргия («Гроза луны, свободы воин») 163
- «Дробясь о мрачные скалы». См. Обвал.
- «Друг Дельвиг, мой парнасский брат». См. Дельвигу А. А.
- Дружба («Что дружба? Легкий пыл похмелья») 273
- «Друзья, досужный час настал». См. Пирующие студенты.
- Друзьям («Богами вам еще даны») 98
- Друзьям («Вчера был день разлуки шумной») 203
- Друзьям («Нет, я не льстец, когда царю») 349
- «Духовной жаждою томим». См. Пророк.
- «Душа моя Павел». См. В альбом кн. П. П. Вяземскому.
- «Его стихов пленительная сладость». См. К портрету Жуковского.
- «Едва уста красноречивы» 313
- Ее глаза. В ответ на стихи князя Вяземского («Она мила — скажу меж нами») 363
- «Если ехать вам случится» 483
- «Если жизнь тебя обманет» 292
- «Есть роза дивная: она» 331
- «Еще в ребячестве (бессмысленно лукавом)» 495
- «Еще дуют холодные ветры» 357
- «Еще одной высокой, важной песне» 393
- Жалоба («Ваш дед портной, ваш дядя повар») 231
- «Желал я душу освежить» 446
- Желание («Я слезы лью; мне слезы утешенье») 98
- Желание славы («Когда, любовью и негой упоенный») 277
- Жених («Три дня купеческая дочь») 287
- Жив, жив курилка! («Как! жив еще курилка журналист?») 276
- «Жил на свете рыцарь бедный» 393
- «Жил на свете рыцарь бедный». См. <Сцены из рыцарских времен>.
- «Житье тому, любезный друг». См. К Щербинину.
- Жуковскому («Когда, к мечтательному миру») 131
- «Журналами обиженный жестоко». См. Эпиграмма.
- «За Netty сердцем я летаю» 363
- «Забудь, любезный мой Каверин». См. К Каверину.
- «Завидую тебе, питомец моря смелый» 229
- Заздравный кубок («Кубок янтарный») 99
- Заклинание («О, если правда, что в ночи») 419
- Записка к Жуковскому («Раевский, *молодец* прежний») 148
- «Зачем безвременную скуку». См. К***.
- «Зачем, забывши славу». См. Вяземскому П. А. кн.
- «Зачем твой дивный карандаш». См. То Dawe, Esq.-г.
- «Зачем ты, грозный аквилон». См. Аквилон.
- «Зачем ты послан был, и кто тебя послал?» 235
- «Зачем я ею очарован?» 433
- «Здесь Пушкин погребен; он с Музой молодою». См. Моя эпитафия.
- «Здорово, Юрьев именинник!». См. К Юрьеву Ф. Ф.
- «Здравствуй, Вульф, приятель мой!» См. Вульфу А. Н.

- «Земли достигнув наконец». См. Анафист Екатерине Николаевне Карамзиной.
- Земля и море («Когда по синеве морей») 167
- «Земля недвижна; неба своды». См. Подражания Корану.
- «Зима мне рыхлою стеною». См. Из письма к В. П. Горчакову.
- «Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю» 390
- Зимнее утро («Мороз и солнце; день чудесный») 391
- Зимний вечер («Буря мглою небо кроет») 303
- Зимняя дорога («Сквозь волнистые туманы») 325
- «Злое дитя, старик молодой, властелин добронравный». См. Вино.
- Золото и булат («Всё мое, — сказало злато») 327
- «Зорю бьют... из рук мсих» 383
- «И вот ущелье мрачных скал» 401
- «И вы поверить мне могли». См. Кокетке.
- «И дале мы пошли — и страх обнял меня» 447
- «И недоверчиво и жадно». См. Ответ А. И. Готовцевой.
- «И путник усталый на бога роптал». См. Подражания Корану.
- «И ты, любезный друг, оставил». См. К Н. Г. Ломоносову.
- «И я слышал, что божий свет» 137
- «Играй, Адель». См. Адели. (Из Alfieri). См. «Сомнение, страх, порочную надежду».
- Из Анакреона. Ода LVI («Поредали, побелели») 469
- Из Анакреона. Ода LVII («Что же сухо в чаше дно?») 470
- Из Анакреона. Отрывок («Узнают иконей ретивых») 469 (Из Анакреона). См. «Кобылица молодая».
- Из Ариостова «Orlando Furioso» («Пред рыцарем блещит водами») 313
- Из Афедея. См. «Славная флейта, Феон, здесь лежит. Предводителя хоров».
- (Из Валленрода). См. «Сто лет минуло, как тевтон».
- Из Гафиза («Не пленяйся бранной славою») 382
- Из дневника («Итак, я счастлив был, итак, я наслаждался») 86 (Из «Египетских ночей») («Чертог силл. Гремели хором») 370
- Из Ксенофана Колофонского. См. «Чистый лоснится пол; стеклянны чаши блистают».
- Из Пиндемонти («Не дорогоценю я громкие права») 498
- Из письма к Н. С. Алексею («Прощай, отшельник бессарабский») 323
- Из письма к Великопольскому («С тобой мне вновь считаться довелось») 312
- Из письма к кн. П. А. Вяземскому («А в ненастные дни») 360
- Из письма к кн. П. А. Вяземскому («Блажен, кто в шуме городском») 87
- Из письма к князю П. А. Вяземскому («Так море, древний душегубец») 317
- Из письма к кн. П. А. Вяземскому («Сатирик и поэт любовный») 292
- Из письма к Гнедичу («В стране, где Юлией венчанный») 169
- Из письма к В. П. Горчакову («Зима мне рыхлою стеною») 221
- Из письма к В. Л. Пушкину («Христос воскрес, питомец Феба!») 88
- Из письма к А. Г. Родзянке («Прости, украинский мудрец») 261
- Из письма к С. А. Соболевскому («У Гальяни или Кольони») 321
- Из А. Шенье («Покров, упитанный язвительною кровью») 473

- «Издревле сладостный союз». См. К Языкову.
- Измены («Всё миновалось!») 50
- Именины («Умножайте шум и радость») 125
- «Иной имел мою Аглаю» 203
- «Иностранке («На языке тебе невнятном») 234
- «История стихотворца («Внимает он привычным ухом») 126
- «Источник быстрый Каломоны». См. Кольна.
- «Итак, я счастлив был, итак, я наслаждался». См. Из дневника.
- К*** («Счастлив, кто близ тебя, любовник упоенный») 134
- К*** («Зачем безвременную скуку») 162
- К*** («Не спрашивай, зачем унылой думой») 121
- К А. Б*** («Что можем нас скоро стихами молвить ей?») 126
- К А. П. Керн («Я помню чудное мгновенье») 285
- К Баратынскому («Стих нарядный в повести твоей») 304
- К Батюшкову («Философ резвый и пиит») 28
- К бюсту завоевателя («Напрасно видишь тут ошибку») 386
- К вельможе («От северных оков освобождая мир») 406
- К Галичу («Когда печальный стихотвор» 59
- К гр. Н. Л. Соллогуб. См. К Соллогуб Н. Л. гр.
- К Дельвигу («Послушай, муз невинных») 68
- К другу стихотворцу («Арист! и ты в толпе служителей Парнаса!») 3
- К живописцу («Дитя харит и воображенья») 85
- К Жуковскому («Благослови, поэт!.. В тиши парнасской сени») 89
- К имениннице («Хотя стишки на именины») 326
- К Каверину («Забудь, любезный мой Каверин») 108
- К Н. Г. Ломоносову («И ты, любезный друг, оставил») 31
- К моей чернильнице («Подруга думы праздной») 176
- К молодой вдове («Лида, друг мой неизменный») 169
- К Морфею («Морфей, до утра дай отраду») 95
- К морю («Прощай, свободная стихия!») 245
- К Наташе («Вянет, вянет лето красно») 17
- К ней («В печальной праздности я лиру забывал») 124
- К ней («Эльвина, милый друг, приди, подай мне руку») 63
- К Овидию («Овидий, я живу близ тихих берегов») 193
- К Огаревой, которой митрополит прислал плодов из своего сада («Митрополит, хвастун бесстыдный») 119
- К портрету кн. П. А. Вяземского («Судьба свои дары явить желала в нем») 214
- К портрету Жуковского («Его стихов пленительная, сладость») 133
- К портрету Каверина («В нем пунша и войны кипит всегдашний жар») 118
- К портрету Чаадаева («Он вышней волею небес») 126
- К Пущину. 4 мая («Любезный именинник») 57
- К сестре («Ты хочешь, друг бесценный») 10
- К Соллогуб Н. Г. гр. («Нет, нет, не должен я, не смею, не могу») 445
- «К тебе сбирался я давно». См. К Языкову
- К Чаадаеву («Любви, надежды, тихой славы») 136
- «К чему нескромным сим убором». См. Прелестнице.
- «К чему холодные сомненья?» См. Чаадаеву.
- К Щербинину («Житье тому, любезный друг») 139

- К Ф. Ф. Юрьеву («Здорово, Юрьев именинник!») 144
- К Языкову («Издревле сладостный союз») 238
- К Языкову («К тебе собирался я давно») 333
- К Языкову («Языков, кто тебе внушил») 317
- Кавказ («Кавказ подо мною. Один в вышине») 384
- Казак («Раз, полунощной порою») 13
- «Как брань тебе не надоела!» См. Эпиграмма.
- «Как быстро в поле, вокруг открытом» 376
- «Как жениться задумал царский арап» 252
- «Как! жив еще курилка журналист?» См. Жив, жив курилка!
- «Как наше сердце своенравно!» 229
- «Как ныне собирается вещей Олег». См. Песнь о вещем Олеге.
- «Как по Волге реке, по широкой». См. Песни о Стеньке Разине.
- «Как покинула меня Парасковья». См. Песни западных славян. Влах в Венеции.
- «Как с древа сорвался предатель-ученик». Подражание итальянскому 497
- «Как сатирой безымянной» 388
- «Как счастлив я, когда могу покинуть» 322
- «Какая ночь! Мороз трескучий» 329
- «Каков я прежде был, таков и ныне я» 373
- Калмычке («Прощай, любезная калмычка») 380
- «Картину раз высматривал сапожник». См. Сапожник.
- Катенину («Кто мне пришлет ее портрет») 174
- Кинжал («Лемносский бог тебя сковал») 170
- Кипренскому («Любимец моды легкокрылой») 334
- Кирджали («В степях зеленых Буджака») 359
- «Клеветник без дарованья». См. Эпиграмма на Каченовского.
- Клеветникам России («О чем шумите вы, народные витии?») 436
- «Клянусь четой и нечетой». См. Подражания Корану.
- Княгине З. А. Волконской. См. Волконской З. А. княгине.
- Князю А. М. Горчакову. См. Горчакову А. М. князю.
- «Кобылица молодая» (Из Анакреона) 357
- Коварность («Когда твой друг на глас твоих речей») 247
- «Когда б не смутное влеченье» 463
- «Когда б писать ты начал сдуру». См. Эпиграмма.
- «Когда, бывало, в старину». См. Ушаковой Ек. Н.
- «Когда в объятия мои» 442
- «Когда великое свершалось торжество». См. Мирская власть.
- «Когда владыка ассирийский» 488
- «Когда для смертного умолкнет шумный день». См. Воспоминание.
- «Когда за городом, задумчив, я брожу» 499
- «Когда, к мечтательному миру». См. Жуковскому.
- «Когда ко граду Константина». См. Олегов щит.
- «Когда, любовию и негой упоенный». См. Желание славы.
- «Когда печальный стихотвор». См. К Галичу.
- «Когда по синеве морей». См. Земля и море.
- «Когда помилует нас бог» 379
- «Когда порой воспоминанье» 430
- «Когда сожмешь ты снова руку» 130
- «Когда средь оргий жизни шумной». См. Глинке Ф.
- «Когда-то (помню с умиленьем)». См. В альбом кж. А. Д. Абамелек.

«Когда твои младые лета» 400
«Когда твой друг на глас твоих речей». См. Коварность.
Козлову («Певец, когда перед тобой») 276
Кокетке («И вы поверить мне могли») 199
«Колокольчики звенят» 464
Кольна. Подражание Оссиану. («Источник быстрый Каломоны») 6
Конь («Что ты ржешь, мой конь ретивый»). См. Песни западных славян.
Кораблю («Морей красавец окрпленный») 234
«Король ходит большими шагами». См. Песни западных славян. Видение короля.
«Краев чужих неопытный любитель» 121
Красавица. В альбом гр. Е. М. Завадской («Всё в ней гармония, всё диво») 445
Красавица перед зеркалом («Вгляни на милую, когда свое чело») 167
Кривцову («Не пугай нас, милый друг») 121
«Критон, роскошный гражданин» 382
«Кто видел край, где роскошью природы» 179
«Кто, волны, вас остановил» 222
«Кто знает край, где небо блещет» 346
«Кто на богов мне возвратил» 480
«Кто мне пришлет ее портрет». См. Катенину.
«Кто на снегах возрастил Феокритовы нежные розы?» (При посылке бронзового сфинкса) 380
«Кто с минуту переможет». См. Опытность.
«Кубок янтарный». См. Задранный кубок.
«Куда вы? за город, конечно». См. Чиновник и поэт.
«Куда ты холоден и сух!» См. Русскому Геснеру.
Кюхельбекеру («В последний раз, в сени уединенья») 118

Лаиса Венере, посвящая ей свое зеркало («Вот зеркало мое — прими его, Киприда!») 17
«Лемносский бог тебя сковал». См. Кинжал.
«Лида, друг мой неизменный». См. К молодой вдове.
«Лиде страшно полюбить» 266
Лиле («Лила, Лила, я страдаю») 147
Литературное известие («В Элизии Василий Тредьяковский») 378
«Лихой товарищ наших дедов») 269
Лицинию («Лициний, зришь ли ты: на быстрой колеснице») 52
«Лишь благосклонный мрак раскиснет». См. Письмо к Лиде.
«Лук звенит, стрела трепещет». См. Эпиграмма (Из Антологии).
«Любви, надежды, тихой славы». См. К Чаадаеву.
«Любезный именинник». См. К Пуцину.
«Любимец ветреных Лаис». См. Юрьеву.
«Любимец моды легкокрылой». См. Кипренскому.
«Люблю ваш сумрак неизвестный» 206
«Люблю я в полдень воспаленный». См. Вода и вино.
«Любовь одна — веселье жизни хладной» 95
«Любовью, дружеством и ленью». См. Дельвигу.
Любопытный («Что ж нового?» — «Ей-богу ничего») 106
Мадона («Не множеством картин старинных мастеров») 409
Мадригал М—ой («О вы, которые любовью не горели») 155
Мальчику (Из Катуллы) («Пьяной горечью Фалерна») 443

«Мальчишка Фебу гимн поднес». См. Эпиграмма.
 Мансурову П. Б. («Мансуров, закадычный друг») 154
 Марко Якубович («У ворот сидел Марко Якубович»). См. Песни западных славян.
 Мёдок. Мёдок в Уаллах («Попутный веет ветр. — Идет корабль») 433
 «Меж горных рек несется Терек» 399
 «Меж тем как генерал Орлов». См. Давыдову В. Л.
 «Меж тем как изумленный мир». См. Андрей Шенье.
 Мечтатель («По небу крадется луна») 60
 Мечтателю («Ты в страсти горестной находишь наслажденье») 133
 «Мечты, мечты!» См. Пробужденье.
 «Миг возделенный настал: окончен мой труд многолетний». См. Труд.
 Мирская власть («Когда великое свершалось торжество») 497
 «Митрополит, хвостун бесстыдный». См. К Огаревой, которой митрополит прислал плодов из своего сада.
 Младенцу («Дитя, не смею над тобой») 250
 «Младой Дафнис, гоняясь за Доридой». См. Рассудок и любовь.
 «Мне бой знаком — люблю я звук мечей» 158
 «Мне вас не жаль, года весны моей» 161
 «Мне жаль великия жены» 248
 «Мне не спится, нет огня». См. Стихи, сочиненные ночью, во время бессонницы.
 «Мне скучно, бес». См. Сцена из «Фауста».
 Мое завещание (Друзьям). («Хочу я завтра умереть») 77
 «Мое собрание насекомых». См. Собрание насекомых.

Моему Аристарху («Помилуй, треввый Аристарх») 73
 «Мой голос для тебя и ласковый, и томный». См. Ночь.
 «Мой друг, забыты мной следы минувших лет» 187
 «Мой друг! не славный я поэт». См. В альбом Илличевскому.
 «Мой друг, уже три дня» 204
 «Мой милый, как несправедлив». См. Алексееву.
 «Мой первый друг, мой друг бесценный» См. Пуццину И. И.
 Монастырь на Казбеке («Высоко над семьею гор») 385
 Мордвинову Н. С. («Под хладом старости угрюмо угасал») 309
 «Морей красавец окриленный». См. Кораблю.
 «Мороз и солнце; день чудесный!» См. Зимнее утро.
 «Морфей, до утра дай отраду». См. К Морфею.
 Моя родословная («Смеясь жестоко над собратом») 426
 Моя эпитафия («Здесь Пушкин погребен; он с Музой молодой») 67
 Муза («В младенчестве моем она меня любила») 171
 «Мчатся тучи, вьются тучи». См. Бесы.
 «Мы рождены, мой брат названный» 430

Н. Н. («Примите «Невский альманах») 293
 На Аракчеева («Всей России притеснитель») 160
 На Булгарина («Не то беда, что ты поляк») 405
 На возвращение государя императора из Парижа в 1815 году («Утихла брань племен; в пределах отделенных») 70
 На гр. М. С. Воронцова («Полумилорд, полукупец») 235
 На выздоровление Лукулла. Подражание латинскому («Ты угасал, богач молодой») 489

- На Ф. Н. Глянку («Наш друг *Фита*, Кутейкин в эполетах») 271
- «На Испанию родную» 474
- На картинку к «Евгению Онегину» в «Невском альманахе»:
1. «Вот перешед чрез мост Кокушкин» 383
 2. «Сосок чернеет сквозь рубашку» 384
- На Каченовского («Бессмертную рукою раздавленный зойл») 133
- «На лире скромной, благородной». См. Ответ на вызов написать стихи в честь ее императорского величества государыни императрицы Елисаветы Алексеевны.
- На перевод Илиады («Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи») 424
- На Рыбушкина («Бывало, прежних лет герой») 31
- «На скользком поприще Тимковского наследник!» См. Второе послание к цензору.
- На статую играющего в бабки («Юноша трижды шагнул») 507
- На статую играющего в свайку («Юноша, полный крась») 507
- На Стурдзу («Холоп венчанного солдата») 138
- «На холмах Грузии лежит ночная мгла» 380
- «На это скажут мне с улыбкою неверной» 494
- «На языке, тебе невяжном». См. Иностранке.
- «Навис покров угрюмой ночи». См. Воспоминания в Царском Селе.
- «Над лесистыми берегами». См. Цыганы.
- «Над Невою резво вьются». См. Пир Петра Первого.
- «Над озером, в глухих дубровах». См. Русалка.
- «Над Сербией смилуйся ты, боже!» См. Песни западных славян. Воевода Милош.
- «Надеждой сладостной младенчески дыша» 230
- «Надеясь на мое презренье». 399
- Надпись к беседке («С благоговейною душой») 106
- Наперник («Твоих признаний, жалоб нежных») 359
- «Наперсница волшебной старины» 197
- Наполеон («Чудесный жребий совершился») 189
- Наполеон на Эльбе (1815) («Вечерняя заря в пучине догорала») 55
- «Напрасно ахнула Европа» 265
- «Напрасно видишь тут ошибку». См. К бюсту завоевателя.
- «Напрасно воспевать мне ваши именины». См. Бакуниной Е. П.
- «Напрасно, пламенный поэт». См. Ответ Катенину.
- «Напрасно я бегу к сионским высотам» 498.
- «Нас было много на челне». См. Арион.
- Начало 1 песни «Девственницы» («Я не рожден святыню славословить») 308
- «Начнем ab ovo: мой Езерский». См. Родословная моего героя.
- «Наш друг *Фита*, Кутейкин в эполетах». См. На Ф. Н. Глянку.
- «Не видала ль, девица» 495
- «Не дай мне бог сойти с ума» 465
- «Не два волка в овраге грызутся». См. Песни западных славян. Песня о Георгии Черном.
- «Не дорого ценю я громкие права». См. Из Пиндемонти.
- «Не знаю где, но не у нас» 340
- «Не множеством картин старинных м. теров». См. Мадона.
- «Не пленяйся бранной славой». См. Из Гафиза.
- «Не пой, красавица, при мне» 358
- «Не притворяйся, милый друг». См. Приятелю.

«Не пугай нас, милый друг». См. Кривцову.
 «Не розу пафосскую». См. Отрывок.
 «Не спрашивай, зачем унылой думой». См. К***
 «Не стану я жалеть о розах». См. Виноград.
 «Не тем горжусь я, мой певец» 200
 «Не то беда, Авдей Флюгарин». См. Эпиграмма.
 «Не то беда, что ты поляю». См. На Булгарина.
 «Невод рыбак расстилал по берегу студеного моря». См. Отрок.
 «Недавно бедный музульман» 483.
 «Недавно я в часы свободы» 219
 «Недавно я стихами как-то свистнул». См. *Ex ungue leonem*.
 «Недаром вы приснились мне». См. Подражания Корану.
 «Недвижный страж дремал на царственном пороге» 226
 Недоконченная картина («Чья мысль восторгом угадала») 149
 «Нельзя, мой толстый Аристип». См. Давыдову А. Л.
 «Ненастный день потух; ненастной ночи мгла» 249
 Нереида («Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду») 165
 «Нет, не черкешенка она». См. Ответ Ф. Т***
 «Нет, нет, не должен я, не смею, не могу». См. К Соллогуб Н. Л. гр.
 «Нетни в чем вам благодати» 216
 «Нет, я не дорожу мятежным наслаждением» 405
 «Нет, я не лстец, когда царю». См. Друзьям.
 «Ни блеск ума, ни двойность платья». См. Эйхфельдт М. Е.
 «Но я не тот, мои золотые годы» 153
 Новоселье («Благословляю новоселье») 410
 «Ночной зефир струит эфир» 253

Ночь («Мой голос для тебя и ласковый, и томный») 222
 Noël. См. Сказки.
 Няне («Подруга дней моих суровых») 335

«О бедность! Затвердил я наконец» 487
 «О вы, которые любили». См. Посвящение «Гавриилиады».
 «О вы, которые любовью не горели». См. Мадригал М—ой.
 «О дева-роза, я в оковах» 247
 «О, если правда, что в ночи». См. Заклинание.
 «О жены чистые пророка». См. Подражания Корану.
 «О, кто бы ни был ты, чье ласковое пенье». См. Ответ Анониму.
 «О муза пламенной сатиры!» 236
 «О, нет, мне жизнь не надоела». 507
 «О ты, который сочетал». См. Орлову.
 «О чем, прозаик, ты хлопчешь?» См. Прозаик и поэт.
 «О чем шумите вы, народные витии?» См. Клеветникам России.
 Обвал («Дробясь о мрачные скалы») 389
 «Овидий, я живу близ тихих берегов». См. К Овидию.
 Ода его сият. гр. Дм. Ив. Хвостову («Султан ярится. Кровь Эллады») 274
 «Один, один остался я» 218
 «Однажды странствуя среди долины дикой». См. Странник.
 «Октябрь уж наступил — уж роща отряхает». См. Осень.
 Олегов щит («Когда ко граду Константина») 392
 Олизару графу («Певец! издревле меж собою») 250
 «Ольга, крестница Кипридь» 154
 «Он вышней волею небес». См. К портрету Чаадаева.
 «Он между нами жил» 466

«Она мила — скажу меж нами». См. Ее глаза.

Опытность («Кто с минуту пере-
может») 16

«Опять увенчаны мы славой» 432

«Опять я ваш, о юные друзья!»
См. Элегия.

Орлову («О ты, который соче-
тал») 140

Осень. Отрывок («Октябрь уж
наступил — уж роща отря-
хает») 459

Осиповой П. А. («Быть может,
уж недолго мне») 278

«Оставя честь судьбе на произ-
вол». См. Эпиграмма.

«От западных морей до самых
врат восточных» 501

«От меня вечор Леила» 490

«От многогочия отрекшись доб-
ровольно» 274

«От северных оков освобождая
мир». См. К вельможе.

Ответ («Я вас узнал, о мой ора-
кул!») 404

Ответ Анониму («О, кто бы ни
был ты, чье ласковое пенье») 413

Ответ А. И. Готовцевой («И не-
доверчиво и жадно») 367

Ответ Катенину («Напрасно,
пламенный поэт») 367

Ответ на вызов написать стихи
в честь ее императорского
величества государыни импе-
ратрицы Елисаветы Алек-
сеевны («На лире скромной,
благородной») 134

Ответ Ф. Т*** («Нет, не чер-
кешенка она») 324

«Откуда чудный шум, неистовые
кликлы?» См. Торжество Вакха.

«Отрок милый, отрок нежный».
См. Подражание арабскому.

Отрок («Невод рыбак расстилал
по берегу студеного моря») 417

Отрывок («Не розу пафосскую») 495

«Отцы-пустынники и жены не-
порочны» 498

«Охотник до журнальной дра-
ки» 269

Паж или пятнадцатый год («Пят-
надцать лет мне скоро ми-
нет») 414

Певец («Слыхали ль вы за рощей
глас ночной») 94

«Певец! издревле меж собою»
См. Олизару графу.

«Певец, когда перед тобой».
См. Козлову.

«Перед гробницею святой»
435

«Перестрелка за холмами». См.
Делибаш.

Песни западных славян:

1. Видение короля («Король
ходит большими шага-
ми») 510
2. Янко Марнавич («Что в
разездах бей Янко Мар-
навич?») 513
3. Битва у Зеницы-Великой
(«Радивой поднял желтое
знамя») 514
4. Феодор и Елена («Стама-
ти был стар и бессилен») 515
5. Влах в Венеции («Как
покинула меня Парас-
ковья») 518
6. Гайдук Хризич («В пе-
щере, на острых камень-
ях») 519
7. Похоронная песня Иакин-
фа Маглановича («С бо-
гом, в дальнюю дорогу!») 520
8. Марко Якубович («У во-
рот сидел Марко Якубо-
вич») 521
9. Бонапарт и черногорцы
(«Черногорцы? что та-
кое?») 523
10. Соловей («Соловей мой,
соловейко») 525
11. Песня о Георгии Черном
(«Не два волка в овраге
грызутся») 525
12. Воевода Милош («Над
Сербией смилуйся ты,
боже!») 527
13. Вурдалак («Трусават был
Ваня бедный») 527

14. Сестра и братья («Два дубочка выросли рядом») 528
15. Яныш королевич («Полубил королевич Яныш») 531
16. Конь («Что ты ржешь, мой конь ретивый») 533
- Песни о Стеньке Разине:
1. «Как по Волге реке, по широкой» 318
 2. «Ходил Стенька Разин» 319
 3. «Что не конский топ, не людская мольва» 319
- Песнь о вешем Олеге («Как ныне собирается веший Олег») 205
- Песня о Георгии Черном («Не два волка в овраге грызутся»). См. Песни западных славян.
- Пир Петра Первого («Над Невою резво вьются») 491
- Пирующие студенты («Друзья, досужный час настал») 18
- Письмо к Лиде («Лишь благосклонный мрак раскинет») 113
- Письмо к Л. Пушкину («Что же? Будет ли вино?») 262
- Письмо к Соболевскому («У Гальяни иль Кольони») 321
- «Питомец мод, большого света друг». См. Послание к кн. А. М. Горчакову.
- Платоническая любовь («Я знаю. Лидинька, мой друг») 147
- Плетневу П. А. («Ты издал дядю моего») 251
- «Плещут волны Флегетона». См. Прозерпина.
- «По небу крадется луна». См. Мечтатель.
- «Поверь: когда слепней и комаров». См. Совет.
- «Поверь мне, быть тебе Панглом». См. Эпиграмма.
- «Погасло дневное светило» 161
- «Под вечер, осенью ненастной». См. Романс.
- «Под небом голубым страны своей родной» 312
- «Под хладом старости угрюмо угасал». См. Мордвинову Н. С.
- Подражание арабскому («Отрок милый, отрок нежный») 494
- Подражание итальянскому. См. «Как с древа сорвался предатель-ученик».
- Подражание Корану (Посвящено П. А. Осиповой):
- I. «Клянусь четой и нечетой» 255
 - II. «О жены чистые пророка» 256
 - III. «Смутясь, нахмурился пророк» 256
 - IV. «С тобою древле, о все-сильный» 257
 - V. «Земля недвижна; неба своды» 257
 - VI. «Недаром вы приснились мне» 258
 - VII. «Восстань, боязливый» 259
 - VIII. «Торгуя совестью пред бледной нищетою» 259
 - IX. «И путник усталый на бога роптал» 259
- Подражание («Я видел смерть; она сидела») 97
- «Подруга дней моих суровых». См. Няне.
- «Подруга думы праздной». См. К моей чернильнице.
- «Подъезжая под Ижорь» 377
- «Поедем, я готов; куда бы вы, друзья» 396
- «Поздно ночью из похода». См. Воевода.
- «Пока не требует поэта». См. Поэт.
- «Пока супруг тебя, красавицу младую» 254
- «Покойник Клит в раю не будет». См. Эпиграмма на смерть стихотворца.
- «Покров, упитанный язвительною кровью». См. Из А. Шенье.
- Полководец («У русского царя в чертогах есть палата») 471
- «Полумилорд, полукупеш». См. На гр. М. С. Воронцова.
- «Полуби меня, девица» 386
- «Полубил королевич Яныш». См. Песни западных славян. Яныш королевич.

- Полубуйтесь же вы, дети» 410
 «Поместья мирного незримый покровитель». См. Домовому.
 «Помилуй, трезвый Аристарх». См. Моему Аристарху.
 «Помнишь ли, мой брат по чаше». См. Воспоминание. К Пушкину.
 «Попутный веет ветр. — Идет корабль». См. Мёдок.
 «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит» 466
 «Поредели, побелели». См. Из Анакреона. Ода LVI.
 Портрет («С своей пылающей душой») 358
 Посвящение «Гавриилиады» («Вот Муза, резвая болтунья» 182; «Примите новую тетрадь» 182; «О вы, которые любили» 183
 Послание к Великопольскому, сочинителю «Сатиры на игроков» («Так элегическую лиру») 350
 Послание к Галичу («Где ты, ленивец мой?») 64
 Послание кн. А. М. Горчакову («Встречаюсь я с осьмнадцатой весной») 113
 Послание к кн. А. М. Горчакову («Питомец мод, большого света друг») 152
 Послание к Юдину («Ты хочешь, милый друг, узанать») 79
 Послание Лиде («Тебе, наперсница Венеры») 100
 Послание к А. И. Тургеневу («Тургенев, верный покровитель») 119
 Послание цензору («Угрюмый сторож муз, гонитель давний мой») 211
 «Последняя туча рассеянной бури». См. Туча.
 «Послушай, муз невинных». См. К Дельвигу.
 Похоронная песня Иакинфа Маглановича («С богом, в дальнюю дорогу!»). См. Песни западных славян.
 «Поэт-игрок, о Беверлей-Гораций» 379
 «Поэт идет: открыты вежды» 487
 Поэт и толпа («Поэт по лире вдохновенной») 368
 «Поэт! не дорожи любовью народной». См. Поэту.
 «Поэт по лире вдохновенной» См. Поэт и толпа.
 Поэт («Пока не требует поэта») 336
 Поэту («Поэт! не дорожи любовью народной») 409
 «Пред гробницу святой» 435
 «Пред испанкой благородной» 425
 «Пред рыцарем блещит водами». См. Из Ариостова «Orlando Furioso».
 Предчувствие («Снова тучи надо мною») 354
 «Презрев и толки укоризны» 251
 Прелестнице («К чему нескромным сим убором») 135
 «Прибежали в избу дети». См. Утопленник.
 «Приветствую тебя, пустынный уголок». См. Деревня.
 «Придет ужасный час... твои небесны очи» 229
 Признание. К А. И. Осиповой («Я вас люблю, хоть я бешусь») 267
 Приметы («Старайся наблюдать различные приметы») 198
 Приметы («Я ехал к вам: живые сны») 378
 «Прими сей череп, Дельвиг: он». См. Череп.
 «Примите «Невский альманах». См. Н. Н.
 «Примите новую тетрадь». См. Посвящение «Гавриилиады».
 «Приют любви, он вечно полн» 235
 Приятелю («Не притворяйся, милый друг») 209
 Приятелям («Враги мои, покамест я ни слова») 271
 Пробуждение («Мечты, мечты!») 104
 Прозаик и поэт («О чем, прозаик, ты хлопчешь?») 301
 Прозерпина (Подражание) («Плещут волны Флегетона») 236

- «Пройдет любовь, умрут желанья». См. В альбом.
- «Проклятый город Кишинев!» См. Вигелю Ф. Ф.
- «Промчались годы заточенья». См. Товарищам.
- Прорек («Духовной жаждою томим») 320
- «Прости мне, милый друг». См. Городок. К***
- «Прости, счастливый сын пиров». См. Всеволожскому.
- «Прости, украинский мудрец». См. Из письма к А. Г. Родзянке.
- «Простите, верные дубравы!» 118
- «Простишь ли мне ревнивые мечты» 223
- «Простой воспитанник природы». См. Голицыной кн. Посылая ей оду «Вольность».
- «Прощай, любезная калмычка!» См. Калмычке.
- «Прощай, отшельник бессарабский». См. Из письма к Н. С. Алексею.
- «Прощай, письмо любви, прощай! Она велела». См. Сожженное письмо.
- «Прощай, свободная стихия!» См. К морю.
- Птичка («В чужбине свято наблюдаю») 221
- «Пускай, не знаясь с Аполлоном». См. Горчакову А. М. князю.
- «Пускай увенчанный любовью красоты» 269
- «Пустое *вы* сердечным *ты*». См. Ты и вы.
- Пушкину В. Л. («Тебе, о Нестор Арзамаса») 92
- Пушкину В. Л. («Что восхитительней, живей») 112
- Пушкину И. И. («Мой первый друг, мой друг бесценный!») 323
- «Пью за здравие Мери» 426
- «Пьяной горечью Фалерна». См. Мальчику.
- «Пятнадцать лет мне скоро минет». См. Паж или пятнадцатый год.
- «Радивой поднял желтое знамя». См. Песни западных славян. Битва у Зеницы-Великой.
- «Раевский, *молодец* прежний». См. Записка к Жуковскому.
- Разговор книгопродавца с поэтом («Стишки для вас одна забава») 239
- «Раззевавшись от обедни» 181
- «Раз, полунощной порою». См. Казак.
- Рассудок и любовь («Младой Дафнис, гоняясь за Доридой») 9
- «Ревет ли зверь в лесу глухом». См. Эхо.
- «Редеет облаков летучая гряда» 165
- Рефутация Беранжера («Ты помнишь ли, ах, ваше благородье») 338
- Рифма («Эхо, бессонная нимфа, скиталась по берегу Пеня») 417
- «Рифма — звучная подруга» 364
- Родзянке А. Г. («Ты обещал о романтизме») 284
- Родословная моего героя. Отрывок из сатирической поэмы («Начнем *ab ovo*: мой Езерский») 502
- Роза («Где наша роза?») 69
- Романс («Под вечер, осенью ненастной») 36
- «Роняет лес багряный свой убор». См. 19 октября.
- «Румяный критик мой, насмешник толстопузый» 416
- Русалка («Над озером, в глухих дубровах») 149
- Русскому Геснеру («Куда ты холоден и сух!») 331
- «С благоговейною душой». См. Надпись к беседке.
- «С богом, в дальнюю дорогу!» См. Песни западных славян. Похоронная песня Иакинфа Маглановича.
- «С Гомером долго ты беседовал один» 444

- «С перегородною каморки» 253
 С португальского («Там звезда вари взошла») 310
 «С своей пылающей душой». См. Портрет.
 «С тобой мне вновь считается довелось». См. Из письма к Великопольскому.
 «С тобою древле, о всеильный». См. Подражания Корану.
 «Сабуров, ты оклеветал» 252
 Сапожник. Притча («Картину раз высматривал сапожник») 383
 «Саранча летела, летела» 234
 «Сатирик и поэт любовный». См. Из письма к кн. П. А. Вяземскому.
 Сафо («Счастливым юноша, ты всем меня пленил») 293
 «Сват Иван, как пить мы станем» 455
 «Свободы сеятель пустынный» 224
 «Се самый Дельвиг тот, что нам всегда твердил» 160
 «Сегодня, добрые мужья». См. Амур и Гименей.
 «Сегодня я поутру дома» 218
 «Седой Свистов! ты царствовал со славой». См. Эпиграмма.
 «Сестра и братья («Два дубочка выростали рядом»). См. Песни западных славян.
 «Сижу за решеткой в темнице сырой». См. Узник.
 «Сия пустынная страна». См. Баратынскому из Бессарабии.
 «Сказали раз царю, что наконец» 266
 «Сказки. Ноё! («Ура! в Россию скачет») 132
 «Сквозь волнистые туманы». См. Зимняя дорога.
 «Скребницей чистил он коня». См. Гусар.
 «Славная флейта, Феон, здесь лежит. Предводителя хоров». Из Афедея 450
 Слеза («Вчера за чашей пуншевою») 72
 Слово милой («Я Лилу слушал у клавира») 95
 «Слыхали ль вы за рощей глас ночной». См. Певец.
 «Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи». См. На перевод Илиады.
 «Смеясь жестоко над собратом». См. Моя родословная.
 «Смутясь, нахмурился пророк». См. Подражания Корану.
 «Снова тучи надо мною». См. Предчувствие.
 Собрание насекомых («Мое собрание насекомых») 399
 Совет («Поверь: когда слепней и комаров») 301
 Сожженное письмо («Прощай, письмо любви, прощай! Она велела») 265
 «Сокрылся он». См. Гроб юноши.
 Соловей и роза («В безмолвии садов, весной, во мгле ночей») 328
 Соловей («Соловей мой, соловейку»). См. Песни западных славян.
 Соловей и кукушка («В лесах, во мраке ночи праздной») 301
 «Соловей мой, соловейку». См. Песни западных славян. Соловей.
 «Сомненье, страх, порочную надежду» (Из Alfieri) 345
 Сонет («Суровый Дант не презирал сонета») 406
 «Сосок чернеет сквозь рубашку». См. На картинки к «Евгению Онегину» в «Невском альмахе».
 «Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду». См. Нереида.
 «Среди рассеянной Москвы». См. Волконской З. А. княгине.
 «Стамати был стар и бессилен». См. Песни западных славян. Феодор и Елена.
 «Стамбул гяуры нынче славят» 418
 Стансы («В надежде славы и добра») 324

- Стансы («Ты мне велишь пылать душою») 111
- Стансы Толстому («Философ ранний, ты бежишь») 151
- «Старайся наблюдать различные приметы». См. Приметы.
- Старик («Уж я не тот любовник страстный») 39
- «Стих каждый в повести твоей». См. К Баратынскому.
- Стихи, сочиненные ночью, во время бессонницы («Мне не спится, нет огня») 422
- «Стишки для вас одна забава». См. Разговор книгопродавца с поэтом.
- «Сто лет минуло, как тевтон» (Из Валероде) 351
- «Стою печален на кладбище» 432
- Странник («Однажды странствуя среди долины дикой») 477
- «Страшно и скучно» 401
- «Стрелотунья белобока» 386
- «Судьба свои дары явить желала в нем». См. К портрету кн. П. А. Вяземского.
- «Султан ярится. Кровь Эллады». См. Ода его сият. гр. Дм. Ив. Хвостову.
- «Супругою твоей я так пленился». См. Эпиграмма. Подражание французскому.
- «Суровый Дант не презирал сонета». См. Сонет.
- Сцена из «Фауста» («Мне скучно, бес») 304
- ⟨Сцены из рыцарских времен⟩ («Воротился ночью мельник») 482
- ⟨Сцены из рыцарских времен⟩ («Жил на свете рыцарь бедный») 481
- «Счастлив, кто близ тебя, любовник упоенный». См. К***.
- «Счастлив, кто в страсти сам себе». См. Элегия.
- «Счастлив, кто избран своенравно» 359
- «Счастлив ты в прелестных дугах» 384
- «Счастливей юноша, ты всем меня пленил». См. Сафо.
- «Т — прав, когда так верно вас» 248
- Таврида («Ты вновь со мною, наслажденье») 217
- «Тадарашка в вас влюблен» 196
- «Так море, древний душегубец». См. Из письма князю П. А. Вяземскому.
- «Так элегическую лиру». См. Послание к Великопольскому, сочинителю «Сатиры на игроков».
- Талисман («Там, где море вечно плещет») 337
- «Там, где древний Кочерговский». См. Эпиграмма.
- «Там, где море вечно плещет». См. Талисман.
- «Там звезда зари взошла». См. С португальского.
- «Твое соседство нам опасно» 266
- «Твоих признаний, жалоб нежных». См. Наперсник.
- «Тебе, наперсница Венеры». См. Послание Лиде.
- «Тебе, о Нестор Арзамаса». См. Пушкину В. Л.
- «Тебе певцу, тебе герою!» См. Давыдову Д. В.
- «Тебя ль я видел, милый друг?» См. Выздоровление.
- Телега жизни («Хоть тяжело подчас в ней бремя») 230
- Тимашевой Е. А. («Я видел вас, я их читал») 321
- «Тимковский царствовал — и все твердили вслух» 270
- Товарищам («Промчались годы заточенья») 115
- То Dawe, Esq-г («Зачем твой дивный карандаш») 353
- Толстому Я. Н. («Горишь ли ты, лампада наша») 209
- «Торгуя совестью пред бледной нищетою». См. Подражания Корану.
- Торжество Ванха («Откуда чудный шум, неистовые клики?») 122
- «Три дня купеческая дочь». См. Жених.

«Три у Будрыса сына, как и он, три литвина». См. Будрыс и его сыновья.

Труд («Миг возжеланный настал: окончен мой труд многолетний») 413

«Трусоват был Ваня бедный». См. Песни западных славян. Вурдалак.

«Тургенев, верный покровитель». См. Послание к А. И. Тургеневу.

Туча («Последняя туча рассеянной бури») 473

«Ты богат, я очень беден». См. Ты и я.

«Ты богоматерь, нет сомненья» 268

«Ты в страсти горестной находишь наслажденье». См. Мечтателю.

«Ты видел деву на скале». См. Буря.

«Ты вновь со мною, наслажденье». См. Таврида.

«Ты вянешь и молчишь; печаль тебя сдает» 267

Ты и вы («Пустое вы сердечным ты») 355

Ты и я («Ты богат, я очень беден») 155

«Ты издал дядю моего». См. Плетневу П. А.

«Ты мне велишь пылать душою». См. Стансы.

Ты обещал о романтизме». См. Родзянке А. Г.

«Ты помнишь ли, ах, ваше благородье». См. Рефутация Беранжера.

«Ты прав, несносен Фирс ученый». См. Добрый человек.

«Ты просвещением свой разум осветил» 467

«Ты рождена воспламенять». См. Гречанке.

«Ты угасал, богач молодой!» См. На выздоровление Лукулла.

«Ты хочешь, друг бесценный». См. К сестре.

«Ты хочешь, милый друг, узнать». См. Послание к Юдину.

«У ворот сидел Марко Якубович». См. Песни западных славян. Марко Якубович.

«У Гальяни иль Кольони». См. Письмо к Соболевскому.

«У Кларисы денег мало» 203

«У русского царя в чертогах есть палата». См. Полководец.

«Увы, зачем она блистает» 160

«Увы! Напрасно дева гордой». См. Вульф А. Н.

«Увы! язык любви болтливой» 353

«Угрюмый сторож муз, гонитель давний мой». См. Послание цензору.

«Угрюмых тройка есть певцов» 73

Уединение («Блажен, кто в отдаленной сени») 147

«Уж я не тот любовник страстный». См. Старик.

«Узнают коней ретивых». См. Из Анакреона. Отрывок.

Узник («Сижу за решеткой в темнице сырой») 214

«Умножайте шум и радость». См. Именины.

«Умолкну скоро я. Но если в день печали» 187

«Урал в Россию скачет». См. Сказки. Noël.

«Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила». См. Царско-сельская статуя.

«Уродился я, бедный недоносок» 374

«Усердно помолившись богу». См. 19 октября 1828.

Усы. Философическая ода («Глава скосив на ус кудрявый») 87

«Утихла брань племен; в пределах отдаленных». См. На возвращение государя императора из Парижа в 1815 году.

Утопленник («Прибежали в избу дети») 360

Ушаковой Ек. Н. («В отдалении от вас») 332

- Ушаковой Ек. Н. («Когда, бывало, в старину») 331
- Ушаковой Ел. Н. («Вы избалованы природой») 376
- Феодор и Елена («Стамати был стар и бессилен»). См. Песни западных славян.
- Филимонову В. С., при получении поэмы его «Дурацкий колпак» («Вам, музы, милые старушки») 352
- «Философ ранний, ты бежишь». См. Стансы Толстому.
- «Философ резвый и пиит». См. К Батушкову.
- Фонтану Бахчисарайского дворца («Фонтан любви, фонтан живой») 254
- «Французских рифмачей суровый судия» 454
- «Хаврониос! ругатель закоснелый». См. Эпиграмма.
- «Ходил Стенька Разин». См. Песни о Стеньке Разине.
- «Холоп венчанного солдата». См. На Стурдзу.
- «Хоть, впрочем, он поэт изрядный» 174
- «Хоть тяжело подчас в ней бремя». См. Телега жизни.
- «Хотя стишки на именины». См. К именинице.
- «Хочу я завтра умереть». См. Мое завещание (Друзьям).
- «Храни меня, мой талисман» 344
- «Хранитель милых чувств и прошлых наслаждений». См. Царское Село.
- Христос воскрес («Христос воскрес, моя Реввена») 180
- «Христос воскрес, питомец Феба!» См. Из письма к В. Л. Пушкину.
- «Хромид в тебя влюблен: он молод, и не раз». См. Дионеня.
- «Художник-варвар кистью сонной». См. Возрождение.
- Художнику («Грустен и весел вхожу, ваятель, в твою мастерскую») 496
- «Царей потомок, Меценат» 493
- Царское Село («Хранитель милых чувств и прошлых наслаждений») 156
- Царскосельская статуя («Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила») 414
- «Царь Никита жил когда-то» 216
- «Царь увидел пред собой» 464
- Цветок («Цветок засохший, безуханный») 373
- «Цветы последние милей» 293
- «Ценитель умственных творений исполинских» 501
- Цыганы («Над лесистыми брегами») 429
- «Чаадаеву («В стране, где я забыл тревоги прежних лет») 172
- Чаадаеву («К чему холодные сомненья?») 261
- «Часто, часто я беседовал». См. Бова (Отрывок из поэмы).
- «Чем чаще празднует лицей» 440
- Череп («Прими сей череп, Дельвиг: он») 340
- Черная шаль («Гляжу, как безумный, на черную шаль») 163
- «Черногорцы? что такое?» См. Песни западных славян. Бонапарт и черногорцы.
- «Чертог сиял. Гремели хором». См. (Из Египетских ночей).
- Чиновник и поэт («Куда вы? ва город, конечно») 231
- «Чистый лоснится пол; стекланные чаши блистают». Из Ксенофана Колофонского 449
- «Что белеется на горе зеленой?» 470
- «Что в имени тебе моем?» 403

- «Что в разъездах бей Янко Марнавич?» См. Песни западных славян. Янко Марнавич.
- «Что восхитительней, живей». См. Пушкину В. Л.
- «Что дружба? Легкий пыл похмеля». См. Дружба.
- «Что ж нового?» — «Ей богу ничего». См. Любопытный.
- «Что же? Будет ли вино?» См. Письмо к Л. Пушкину.
- «Что же сухо в чаше дно?» См. Из Анакреона. Ода LVII.
- «Что козырь?» — «Черви». — «Мне ходить» 271
- «Что можем наскоро стихами молвить ей?» См. К. А. Б***.
- «Что не конский топ, не людская молвь». См. Песни о Стеньке Разине.
- «Что смолкнул веселия глас?» См. Вакхическая песня.
- «Что ты ржешь, мой конь ретивый». См. Песни западных славян. Конь.
- «Чу, пушки грянули! крылатых кораблей» 455
- «Чудесный жребий совершился». См. Наполеон.
- «Чья мысль восторгом угадала». См. Недоконченная картина.
- Ш**ишкову («Шалун, увенчанный Эратой и Венерой») 103
- «Шумит кустарник... На утес» 401
- Э**йхфельдт М. Е. («Ни блеск ума, ни стройность платья») 200
- Элегия («Безумных лет угасшее веселье») 412
- Элегия («Воспоминаям упоенный») 157
- Элегия («Опять я ваш, о юные друзья!») 108
- Элегия («Счастлив, кто в страсти сам себе») 94
- Элегия («Я думал, что любовь погасла навсегда») 98
- «Эльвина, милый друг, приходи, подай мне руку». См. К ней.
- Энгельгардту В. В. («Я ускользнул от Эскулапа») 140
- Эпиграмма («В жизни мрачной и презренной») 160
- Эпиграмма («Журналами обиженный жестоко») 379
- Эпиграмма (Из Антологии) («Лук звенит, стрела трепещет») 329
- Эпиграмма («Как брань тебе не надоела!») 166
- Эпиграмма («Когда б писать ты начал сдуру») 166
- Эпиграмма («Мальчишка Фебу гимн поднес») 392
- Эпиграмма («Не то беда, Авдей Флюгарин») 418
- Эпиграмма («Оставя честь судьбе на произвол») 197
- Эпиграмма («Поверь мне, быть тебе Панглосом») 197
- Эпиграмма («Седой Свистов! ты царствовал со славой») 401
- Эпиграмма («Там, где древний Кочерговский») 380
- Эпиграмма («Хавроннос! ругатель закоснелый») 165
- Эпиграмма на Каченовского («Клеветник без дарованья») 197
- Эпиграмма на Колосову («Всё пленяет нас в Эсфири») 138
- Эпиграмма на смерть стихотворца («Покойник Клит в раю не будет») 106
- Эпиграмма. Подражание французскому («Супругою твоей я так пленился») 30
- Эпитафия младенцу кн. Н. С. Волконскому («В сиянии и в радостном покое») 357
- «Эхо, бессонная нимфа, скиталась по берегу Пенея». См. Рифма.
- Эхо («Ревет ли зверь в лесу глухом») 439
- Ex ungue leonem («Недавно я стихами как-то свистнул») 277

- «Юноша, полный красы, напряженья, усилил чуждый». См. На статую играющего в свайку.
- «Юноша! скромно пируй, и шумную Вакхову влагу» 449
- «Юноша трижды шагнул, наклонился, рукой о колени». См. на статую играющего в бабки.
- «Юношу, горько рыдая, ревнивая дева бранила» 494
- Юрьеву («Любимец ветреных Лаис») 159
- «Я был свидетелем златой твоей весны» 273
- «Я вас любил: любовь еще, быть может» 392
- «Я вас люблю, хоть я бешусь». См. Признание. К А. И. Осиповой.
- «Я вас узнал, о мой оракул!» См. Ответ.
- «Я верю: я любим; для сердца нужно верить». См. Дориде.
- «Я видел вас, я их читал». См. Тимашевой Е. А.
- «Я видел смерть; она сидела». См. Подражание.
- «Я возмужал среди печальных бурь» 466
- «Я говорил тебе: страшися девы милой!» См. Дева.
- «Я думал, сердце позабыло» 483
- «Я думал, что любовь погасла навсегда». См. Элегия.
- «Я ехал к вам; живые сны». См. Приметы.
- «Я жду обещанной тетради». См. Баратынскому.
- «Я здесь, Инезилья» 416
- «Я знаю край: там на брега» 348
- «Я знаю, Лидинька, мой друг». См. Платоническая любовь.
- «Я Лилу слушал у клавира». См. Слово милой.
- «Я люблю вечерний пир». См. Веселый пир.
- «Я не люблю альбомов модных». См. В альбом.
- «Я не рожден святыню славословить». См. Начало 1 песни «Девственницы».
- «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» 500
- «Я пережил свои желанья» 168
- «Я помню чудное мгновенье». См. К А. П. Керн.
- «Я слезы лью; мне слезы утешенье». См. Желание.
- «Я ускользнул от Эскулапа». См. Энгельгардту В. В.
- «Язвительный поэт, остряк замысловатый». См. Вяземскому П. А. кн.
- «Язык и ум теряя разом» 403
- «Языков, кто тебе внушил». См. К Языкову.
- «Янко Вуич грамоту пишет» 471
- Янко Марнович («Что в разездах бей Янко Марнович?»). См. Песни западных славян.
- Яныш королевич («Полюбил королевич Яныш»). См. Песни западных славян.

СОДЕРЖАНИЕ

От редактора	V
А. С. Пушкин. Вступительная статья А. Слонимского	VII

1814

К другу стихотворцу	3
Кольна (Подражание Оссиану)	6
Рассудок и любовь	9
К сестре («Ты хочешь, друг бесценный»)	10
Казак	13
Князю А. М. Горчакову («Пускай, не знаясь с Аполлоном»)	15
Опытность	16
Лаиса Венере, посвящая ей свое зеркало	17
К Наташе («Вянет, вянет лето красно»)	17
Пирующие студенты	18
Бова (Отрывок из поэмы)	21
К Батюшкову («Философ резвый и пиит»)	28
Эпиграмма («Супругою твоей я так пленился»)	30
К Н. Г. Ломоносову («И ты, любезный друг, оставил»)	31
На Рыбушкина («Бывало, прежних лет герой»)	31
Воспоминания в Царском Селе («Навис покров угрюмой ночи»)	32
Романс («Под вечер, осенью ненастной»)	36

1815

Старик	39
Городок. К ***	39
Вода и вино	50
Измены	50
Лицинию («Лициний, зришь ли ты: на быстрой колеснице»).	52
Батюшкову («В пещерах Геликона»)	54
Наполеон на Эльбе (1815)	55
К Пушкину («Любезный именинник»)	57
К Галичу («Когда печальный стихотвор»)	59
Мечтатель	60
Воспоминание (К Пушкину) («Помнишь ли, мой брат по чаше»)	62
К ней («Эльвина, милый друг, приди, подай мне руку»)	63
Послание к Галичу («Где ты, ленивец мой?»)	64

Моя эпитафия	67
К Дельвигу («Послушай, муз невинных»)	68
Роза	69
На возвращение государя императора из Парижа в 1815 году	70
Слеза	72
«Угрюмых тройка есть певцов»	73
Моему Аристарху («Помилуй, трезвый Аристарх»)	73
Гроб Анакреона	75
Мое завещание (Друзьям)	77
Послание к Юдину («Ты хочешь, милый друг, узнать»)	79
К живописцу («Дитя харит и вображенья»)	85
Из дневника («Итак, я счастлив был, итак, я наслаждался»)	86

1816

Усы (Философическая ода)	87
Из письма к кн. П. А. Вяземскому («Блажен, кто в шуме городском»)	87
Из письма к В. Л. Пушкину («Христос воскрес, питомец Феба!»)	88
К Жуковскому («Благослови, поэт!.. В тиши парнасской сени»)	89
В. Л. Пушкину («Тебе, о Нестор Арзамаса»)	92
Элегия («Счастлив, кто в страсти сам себе»)	94
Певец	94
К Морфею	95
Слово милой	95
«Любовь одна — веселье жизни хладной»	95
Подражание («Я видел смерть; она сидела»)	97
Желание («Я слезы лью; мне слезы утешенье»)	98
Друзьям («Богами вам еще даны»)	98
Элегия («Я думал, что любовь погасла навсегда»)	98
Завдравный кубок	99
Послание Лиде («Тебе, наперсница Венеры»)	100
Амур и Гименей	102
Шишкову («Шалун, увенчанный Эратой и Венерой»)	103
Пробужденье	104

1814—1816

Надпись к беседе	106
Эпиграмма на смерть стихотворца	106
Любопытный	106
«Вот Виля — он любовью дышит»	107

1817

К Каверину («Забудь, любезный мой Каверин»)	108
Элегия («Опять я ваш, о юные друзья!»)	108
К молодой вдове	109
Дельвигу («Любовью, дружеством и ленью»)	110

Стансы («Ты мне велишь пытать душою»)	111
В. Л. Пушкину (Отрывок) («Что восхитительней, живей») . .	112
Письмо к Лиде («Лишь благосклонный мрак раскинет»). . . .	113
Послание кн. А. М. Горчакову («Встречаюсь я с осьмнадцатой весной»)	113
В альбом («Пройдет любовь, умрут желанья»)	115
Товарищам («Промчались годы заточенья»)	115
В альбом Илличеевскому («Мой друг! не славный я поэт») . .	116
В альбом И. И. Пущину («Взглянув когда-нибудь на тайный сей листок»)	117
Кюхельбекеру («В последний раз, в сени уединенья»).	118
К портрету Каверина («В нем пунша и войны кипит всегдашний жар»).	118
Простите, верные дубравы!».	198
К Огаревой, которой митрополит прислал плодов из своего сада	119
Послание к А. И. Тургеневу («Тургенев, верный покровитель») .	119
К *** («Не спрашивай, зачем унылой думой»)	121
«Краев чужих неопытный любитель»	121
Кривцову («Не пугай нас, милый друг»)	121
Торжество Вакха	122
К ней («В печальной праздности я лиру забывал»)	124
Именины	125
Добрый совет	125
К. А. Б *** («Что можем наскоро стихами молвить ей?») . . .	126
История стихотворца	126
К портрету Чаадаева («Он вышней волею небес»)	126
Вольность (Ода)	126
Кн. Голицыной (Посылая ей оду «Вольность»).	129

1818

«Когда сожмешь ты снова руку»	130
Выздоровление	130
Жуковскому («Когда, к мечтательному миру»)	131
Сказки. Noël	132
К портрету Жуковского («Его стихов пленительная сладость») .	133
На Каченовского («Бессмертною рукою раздавленный Зоил») .	133
Мечтателю («Ты в страсти горестной находишь наслажденье») .	133
К *** («Счастлив, кто близ тебя, любовник упоенный»)	134
Ответ на вызов написать стихи в честь ее императорского величества государыни императрицы Елисаветы Алексеевны	134
Прелестнице («К чему нескромным сим убором»)	135
К Чаадаеву («Любви, надежды, тихой славы»)	136
В альбом Е. Я. Сосницкой («Вы съединить могли с холодностью сердечной»)	136
И я слышал, что божий свет»	137

1819

Эпиграмма на Колосову («Все пленяет нас в Эсфири»)	138
27 мая 1819 («Веселый вечер в жизни нашей»)	138

На Стурдау («Холоп венчанного солдата»)	138
К Щербинину («Житие тому, любезный друг»)	139
В. В. Энгельгардту («Я ускользнул от Эскулапа»)	140
Орлову («О ты, который сочелал»)	140
Деревня	142
Домовому	143
К Ф. Ф. Юрьеву («Здорово, Юрьев именинник!»).	144
Всеволожскому («Прости, счастливый сын пиров»)	144
Веселый пир	146
Уединение	147
Лиле («Лила, Лила, я страдаю»)	147
Платоническая любовь	147
Записка к Жуковскому («Раевский, <i>молодонец</i> прежний»)	148
Недоконченная картина	149
Русалка	149
Стансы Толстому («Философ ранний, ты бежишь»)	151
Возрождение	152
Послание к кн. А. М. Горчакову («Питомец мод, большого света друг»)	152
«Но я не тот, мои золотые годы»	153
«Ольга, крестница Киприды»	154
П. Б. Мансурову («Мансуров, закадычный друг»)	154
Добрый человек	155
Мадригал М—ой («О вы, которые любовью не горели»)	155
Е. П. Вакуиной («Напрасно воспевать мне ваши именины»)	155
Ты и я («Ты богат, я очень беден»)	155
Царское Село («Хранитель милых чувств и прошлых насла- ждений»)	156
Элегия («Воспомянем упоенный»)	157

1820

Дориде («Я верю: я любим; для сердца нужно верить»)	158
Дорида («В Дориде нравятся и локоны золотые»)	158
«Мне бой знаком — люблю я звук мечей»	158
Юрьеву («Любимец ветреных Лаис»)	159
На Аракчеева («Всей России притеснитель»).	160
«Се самый Дельвиг тот, что нам всегда твердил»	160
Эпиграмма («В жизни мрачной и презренной»)	160
«Увы, зачем она блистает»	160
«Мне вас не жаль, года весны моей»	161
«Погасло дневное светило»	161
К *** («Зачем безвременную скуку»)	162
Дочери Карагеоргия («Гроза луны, свободы воин»)	163
Черная шаль	163
Нереида («Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду»)	165
«Редает облаков летучая гряда»	165
Эпиграмма («Хаврониос! ругатель закоснелый»)	165
Эпиграмма («Когда б писать ты начал сдуру»)	166
Эпиграмма («Как брань тебе не надоела!»)	166

Земля и море	167
Красавица перед зеркалом	167
«Я пережил свои желанья»	168
А. А. Дельвигу («Друг Дельвиг, мой парнасский брат»)	168
Н. И. Гнедичу («В стране, где Юлией венчанный»)	169
Кинжал	170
Муза	171
Чаадаеву («В стране, где я забыл тревоги прежних лет»)	172
Катенину («Кто мне пришлет ее портрет»	174
«Хоть, впрочем, он поэт изрядный»	174
В. Л. Давыдову («Меж тем как генерал Орлов»)	175
К моей чернильнице	176
«Кто видел край, где роскошью природы»	179
Христос воскрес	180
«Раззевавшись от обедни»	181
Посвящение «Гавриилиады».	182
«Недавно бедный музульман»	183
Кн. П. А. Вяземскому («Язвительный поэт, остряк замыслова- тый»).	185
«В твою светлицу, друг мой нежный».	185
Гроб юноши	185
Дионея («Хромид в тебя влюблен: он молод, и не раз»)	186
«Умолкну скоро я. Но если в день печали»	187
«Мой друг, забыты мной следы минувших лет»	187
Алексееву («Мой милый, как несправедливы»).	188
Наполеон.	189
Война	192
К Овидию («Овидий, я живу близ тихих берегов»).	193
Дева	196
«Тадарашка в вас влюблен»	196
Эпиграмма на Каченовского («Клеветник без дарованья»)	197
Эпиграмма («Поверь мне, быть тебе Панглосом»)	197
Эпиграмма («Оставя честь судьбе на произвол»)	197
«Наперсница волшебной старины».	197
Генералу Пущину («В дыму, в крови, сквозь тучи стрел»).	198
Приметы («Старайся наблюдать различные приметы»)	198
Кокетке («И вы поверить мне могли»)	119
М. Е. Эйхфельдт («Ни блеск ума, ни стройность платья»)	200
«Не тем горжусь, я, мой певец»	200
«Всегда так будет, как бывало»	201
Десятая заповедь	201

«Иной имел мою Аглаю».	203
«У Кларисы денег мало»	203
Друзьям («Вчера был день разлуки шумной»)	203
«Мой друг, уже три дня»	204
Песнь о вещем Олеге.	205

«Люблю ваш сумрак неизвестный»	208
Приятелю («Не притворяйся, милый друг»)	209
Баратынскому («Я жду обещанной тетради»)	209
Я. Н. Толстому («Горишь ли ты, лампада наша»)	209
Адели («Играй, Адель»)	210
Послание цензору («Угрюмый сторож муз, гонитель давний мой»)	211
К портрету кн. П. А. Вяземского («Судьба свои дары явить желала в нем»)	214
Увник	214
Гречанке («Ты рождена воспламенять»)	214
Баратынскому из Бессарабии («Сия пустынная страна»)	215
Ф. Глинке («Когда средь оргий жизни шумной»)	216
«Нет ни в чем вам благодати»	216
«Царь Никита жил когда-то»	216
Таврида	217
«Брат милый, отроком расстался ты со мной»	218
«Один, один остался я»	218
«Сегодня я поутру дома»	218
«Недавно я в часы свободы»	219
«Гречанка верная! не плачь, — он пал героем»	220
«Всё так же ль осеняют своды»	220

1825

Из письма к В. П. Горчакову («Зима мне рыхлою стеною»)	221
Птичка	221
«Внемли, о Гелиос, серебряным луком звенящий»	221
«Кто, волны, вас остановил»	222
Ночь («Мой голос для тебя и ласковый, и томный»)	222
«Простишь ли мне ревнивые мечты»	223
«Свободы сеятель пустынный»	224
Ф. Ф. Вигелю («Проклятый город Кишинев!»)	224
Демон	225
Кн. М. А. Голицыной («Давно об ней воспоминанье»)	226
«Недвижный страж дремал на царственном пороге»	226
«Как наше сердце своенравно!»	229
«Завидую тебе, питомец моря смелый»	229
«Придет ужасный час... твои небесны очи»	229
«Надеждой сладостной младенчески дыша»	230
Телега жизни	230
Жалоба	231
Чиновник и поэт	231

1824

«Всё кончено: меж нами связи нет»	233
А. Л. Давыдову («Нельзя, мой толстый Аристип»)	234
Иностранке («На языке, тебе невнятном»)	234
«Саранча летела, летела»	234

Кораблю («Морей красавец окриленный»)	234
«Приют любви, он вечно полн»	235
«Зачем ты послан был, и кто тебя послал?»	235
На гр. М. С. Воронцова («Полумилорд, полукупец»)	235
«О Муза пламенной сатиры!»	236
Прозерпина (Подражание)	236
А. Н. Вульфю («Здравствуй, Вульф, приятель мой!»)	237
К Языкову («Издrevле сладостный союз»)	238
Разговор книгопродавца с поэтом	239
К морю («Прощай, свободная стихия!»)	245
«О дева-роза, я в оковах»	247
Коварность	247
«Т — прав, когда так верно вас»	248
«Мне жаль великия жены»	248
«Ненастный день потух; ненастной ночи мгла»	249
Младенцу («Дитя, не смею над тобой»)	250
Графу Олизару («Певец! издревле меж собою»)	250
П. А. Плетневу («Ты издал дядю моего»)	251
«Презрев и толки укоризны»	251
«Сабуров, ты оклеветал»	252
«Как жениться задумал царский арап»	252
«Ночной зефир струит эфир»	253
«С перегородкою каморки»	253
«Пока супруг тебя, красавицу младую»	254
Фонтану Бахчисарайского дворца	254
Виноград	255
Подражания Корану (Посвящено П. А. Осиповой)	255
Из письма к А. Г. Родзянке («Прости, украинский мудрец»)	261
Чаадаеву («К чему холодные сомненья?»)	261
Письмо к Л. Пушкину («Что же? Будет ли вино?»)	262
Аквилон	263
Второе послание к цензору («На скользком поприще Тимков- ского наследник!»)	263
«Напрасно ахнула Европа»	265
Сожженное письмо	265
«Лиде страшно полюбить»	266
«Твое соседство нам опасно»	266
«Сказали раз царю, что наконец»	266
«Ты вянешь и молчишь; печаль тебя снедает»	267
Признание («Я вас люблю, хоть я бешусь»)	267
К ** («Ты богоматерь, нет сомненья»)	268
«Охотник до журнальной драки»	269
«Лихой товарищ наших дедов»	269
«Пускай увенчанный любовью красоты»	269
«Тимковский царствовал — и все твердили вслух»	270
«Воспитанный под барабаном»	270

1825

Приятелям («Враги мои, покамест я ни слова»)	271
На Ф. Н. Глинку («Наш друг <i>Фита</i> , Кутейкин в эполетах»)	271

«Что козырь?» — «Черви». — «Мне ходить»	271
«Я был свидетелем золотой твоей весны»	273
Дружба	273
«От многогочения отречись добровольно»	274
Ода его сият. гр. Дм. Ив. Хвостову («Султан ярится. Кровь Эллады»)	274
Жив, жив курилка!	276
Козлову («Певец, когда перед тобой»)	276
Желание славы	277
Ех ungue leopard («Недавно я стихами как-то свистнул»)	277
П. А. Осиповой («Быть может, уж недолго мне»)	278
Андрей Шенье	273
А. Г. Родзянке («Ты обещал о романтизме»)	284
К А. П. Керн («Я помню чудное мгновенье»)	285
«Блестит луна, недвижно море спит»	286
Жених	287
«Если жизнь тебя обманет»	292
Из письма к кн. П. А. Вяземскому («Сатирик и поэт любовный»)	292
Вакхическая песня	292
Н. Н. («Примите «Невский альманах»).	293
Сафо	293
«Цветы последние милей»	293
«Брови царь нахмуря»	294
19 октября («Роняет лес багряный свой убор»)	294
П. А. Вяземскому («В глуши, измучась жизнью постной»)	300
Движение	300
Соловей и кукушка	301
Совет	301
Прозаик и поэт	301
«В крови горит огонь желанья»	302
«Вертоград моей сестры»	302
Буря	302
Зимний вечер	303
«Все в жертву памяти твоей»	304
К Баратынскому («Стих каждый в повести твоей»)	304
Сцена из «Фауста»	304
Начало 1 песни «Девственницы»	308
Н. С. Мордвинову («Под хладом старости угрюмо угасал»)	309
С португальского («Там звезда вари взошла»)	310
А. Н. Вульф («Увы! Напрасно деве гордой»)	341

1826

Из письма к Великопольскому («С тобой мне вновь считаться довелось»)	342
В альбом Е. Н. Вульф («Вот, Зина, вам совет: играйте!»)	342
«Под небом голубым страны своей родной»	342
«Едва уста красноречивы»	343
Из Ариостова «Orlando furioso» («Пред рыцарем блестит водами»)	343

Из письма князю П. А. Вяземскому («Так море, древний душе- губец»)	317
К Языкову («Языков, кто тебе внушил»)	317
Песни о Стеньке Разине	318
Пророк	320
Е. А. Тимашевой («Я видел вас, я их читал»)	321
Письмо к Соболевскому («У Гальяни или Кольони»)	321
«Как счастлив я, когда могу покинуть»	322
Из письма к Н. С. Алексееву («Прощай, отшельник бессарабский»)	323
И. И. Пущину («Мой первый друг, мой друг бесценный!»)	323
Стансы («В надежде славы и добра»)	324
Ответ Ф. Т. *** («Нет, не черкешенка она»)	324
Зимняя дорога	325
«В еврейской хижине лампада»	325
К имениннице («Хотя стишки на именины»)	326
Золото и булат	327

1827

В Сибирь	328
Соловей и роза	328
Эпиграмма («Лук звенит, стрела трепещет»)	329
«Какая ночь! Мороз трескучий»	329
В альбом кн. П. П. Вяземскому («Душа моя Павел»)	330
Русскому Геснеру («Куда ты холоден и сух!»)	331
«Есть роза дивная: она»	331
Ек. Н. Ушаковой («Когда, бывало, в старину»)	331
Княгине З. А. Волконской («Среди рассеянной Москвы»)	332
Ек. Н. Ушаковой («В отдалении от вас»)	332
К Языкову («К тебе собирался я давно»)	333
«В степи мирской, печальной и безбрежной»	333
Арион	334
Ангел	334
Кипренскому («Любимец моды легкокрылой»)	334
Няне («Подруга дней моих суровых»)	335
Анафист Екатерине Николаевне Карамзиной («Земли достигнув наконец»)	335
Поэт («Пока не требует поэта»)	336
«Близ мест, где царствует Венеция златая»	336
19 октября 1827 («Бог помочь вам, друзья мои»)	337
Талисман («Там, где море вечно плещет»)	337
Рефутация Беранжера	338
«Не знаю где, но не у нас»	340
Череп	340
«Храни меня, мой талисман»	344
«Сомненье, страх, порочную надежду»	345
«Блажен в златом кругу вельмож»	346
«В рощах карийских, любезных ловцам, таится пещера»	346
«Кто знает край, где небо блещет»	346
«Я знаю край: там на берега»	348

Друзьям («Нет, я не льстец, когда царю»)	349
Послание к Великопольскому, сочинителю «Сатиры на иг- роков» («Так элегическую лиру»)	350
«Сто лет минуло, как тевтон»	351
В. С. Филимонову, при получении поэмы его «Дурацкий кол- пак» («Вам музы, милые старушки»)	352
То Dawe, Esq-r («Зачем твой дивный карандаш»)	353
«Увы! язык любви болтливой»	353
Предчувствие	354
Воспоминание («Когда для смертного умолкнет шумный день»)	354
Ты и вы	355
«Дар напрасный, дар случайный»	356
В альбом («Я не люблю альбомов модных»)	356
Эпитафия младенцу кн. Н. С. Волконскому («В сиянии и в радост- ном покое»)	357
«Еще дуют холодные ветры»	357
«Кобылица молодая»	357
«Не пой, красавица, при мне»	358
Портрет («С своей пылающей душой»)	358
Наперсник	359
«Счастлив, кто избран своенравно»	359
Кирджали	359
Из письма к кн. П. А. Вяземскому («А в ненастные дни»)	360
Утопленник	360
«Ворон к ворону летит»	362
19 октября 1828 («Усердно помолившись богу»)	363
Ее глаза («Она мила — скажу меж нами»)	363
«Рифма — звучная подруга»	364
«Город пышный, город бедный»	365
Анчар	365
Ответ Катенину («Напрасно, пламенный поэт»)	367
Ответ А. И. Готовцевой («И недоверчиво и жадно»)	367
«За Netty сердцем я летаю»	368
Поэт и толпа	368
«Из «Египетских ночей»» («Чертог сиял. Гремели хором»)	370
«Всем красны боярские конюшни»	372
«Каков я прежде был, таков и ныне я»	373
Цветок	373
«Уродился я, бедный недоносок»	374
«Брадатый староста Авдей»	374
«В прохладе сладостной фонтанов»	375

«Как быстро в поле, вокруг открытом»	376
Ел. Н. Ушаковой («Вы избалованы природой»)	376
«Подъезжая под Ижоры»	377

Приметы («Я ехал к вам: живые сны»)	378
Литературное известие	378
«Когда помилует нас бог»	379
Эпиграмма («Журналами обиженный жестоко»)	379
«Поэт-игрок, о Беверлей Гораций»	379
Эпиграмма («Там, где древний Кочерговский»)	380
«Кто на снегах возрастил Феокритовы нежные розы?» (При посылке бронзового сфинкса)	380
«На холмах Грузии лежит ночная мгла»	380
Калмычке («Прощай, любезная калмычка!»)	380
Делибаш	381
Из Гафиза («Не пленяйся бранной славой»)	382
«Критон, роскошный гражданин»	382
«Зорю бьют... из рук моих»	383
Сапожник (Притча)	383
На картинку к «Евгению Онегину» в «Невском альманахе»	383
«Счастливы ты в прелестных дурах»	384
Кавказ	384
Монастырь на Казбеке	385
К бюсту завоевателя («Напрасно видишь тут ошибку»)	386
«Полюби меня, девица»	386
«Стрекотунья белобока»	386
«Был и я среди донцов»	386
Дон	387
Дорожные жалобы	387
Как сатирой безымянной	388
Обвал	389
«Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю»	390
Зимнее утро	391
«Я вас любил: любовь еще, быть может»	392
Эпиграмма («Мальчишка Фебу гимн поднес»)	392
Олегов щит	392
«Жил на свете рыцарь бедный»	393
Воспоминания в царском селе («Воспоминаньями смущен- ный»)	395
«Поедем, я готов; куда бы вы, друзья»	396
«Брожу ли я вдоль улиц шумных»	396
«Еще одной высокой, важной песне»	398
«Меж горных рек несется Терек»	399
«Надеясь на мое презренье»	399
Собрание насекомых	399
«Когда твои молодые лета»	400
Эпиграмма («Седой Свистов! ты царствовал со славой»)	401
«И вот ущелье мрачных скал»	401
«Страшно и скучно»	401
«Шумит кустарник... На утес»	401

1850

«Язык и ум теряя разом»	403
«Что в имени тебе моем?»	403

Ответ («Я вас узнал, о мой оракул!»)	404
«В часы забав иль праздной скуки»	404
«Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем»	405
На Булгарина («Не то беда, что ты поляк»)	405
Сонет («Суровый Дант не презирал сонета»)	406
К Вельможе («От северных оков освобождая мир»)	406
Поэту («Поэт! не дорожи любовью народной»)	409
Мадона	409
«Поллюбуйтесь же вы, дети»	410
Новоселье	410
Бесы	411
Элегия («Безумных лет угасшее веселье»)	412
Ответ Анониму	413
Труд	413
Царскосельская статуя	414
«В последний раз твой образ милый»	414
Паж или пятнадцатый год	414
«Я здесь, Иневиля»	416
«Румяный критик мой, насмешник толстопузый»	416
Отрок	417
Рифма	417
Эпиграмма («Не то беда, Авдей Флюгарин»)	418
«Стамбул гяуры нынче славят»	418
Закливание («О, если правда, что в ночи»)	419
Герой	420
Стихи, сочиненные ночью, во время бессонницы	422
«В начале жизни школу помню я»	423
На перевод Илиады	424
«Для берегов отчизны дальней»	424
«Пред испанкой благородной»	425
«Пью за здравие Мери»	426
Моя родословная	426
«Глухой глухого ввал к суду судьи глухого»	429
Цыганы	429
«Мы рождены, мой брат названный»	430
«Когда порой воспоминанье»	430
«Восстань, о Греция, восстань»	431
«Опять увенчаны мы славой»	432
«Стою печален на кладбище»	432
Мёдок (Мёдок в Уаллах)	433
«Зачем я ею очарован?»	433

1851

«Перед гробницею святой»	435
Клеветникам России	436
Бородинская годовщина	437
Эхо	439
«Чем чаще празднует лицей»	440
«Два чувства дивно близки нам»	441
«Когда в объятия мой»	442

1832

Мальчику (Из Катуллы) («Пьяной горечью Фалерна»)	443
В Альбом А. О. Смирновой («В тревоге пестрой и бесплодной»)	443
В Альбом кж. А. Д. Абаemelек («Когда-то (помню с умилением»)	444
«С Гомером долго ты беседовал один»	444
Красавица (В альбом гр. Е. М. Завадовской)	445
К гр. Н. Л. Соллогуб («Нет, нет, не должен я, не смею, не могу»).	445
В Альбом («Гонимый рока самовластьем»)	446
В Альбом («Долго сих листов заветных»)	446
«Желал я душу освежить»	446
«И дале мы пошли — и страх обнял меня»	447

1835

«Юноша! скромно пируй, и шумную Вакхову влагу»	449
Вино (Ион Хиосский)	449
«Чистый доснится пол; стеклянные чаши блистают» (Из Ксенофана Колофонского)	449
«Славная флейта, Феон, здесь лежит. Предводителя хоров» (Из Афеня)	450
Гусар	450
В славной в Муромской земле	453
Французских рифмачей суровый судия	454
«Чу, пушки грянули! крылатых кораблей»	455
«Сват Иван, как пить мы станем»	455
Будрыс и его сыновья (Из Мицкевича)	456
Воевода (Из Мицкевича)	457
Осень (Отрывок) («Октябрь уж наступил — уж роща отряхает»)	459
«Когда б не смутное влеченье»	463
«В поле чистом серебрится»	463
«Царь увидел пред собой»	464
«Колокольчики звенят»	464
«Не дай мне бог сойти с ума»	465

1834

«Я возмужал среди печальных бурь»	466
«Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит»	466
«Он между нами жил»	466
«Везувий зев открыл — дым хлынул клубом — пламя»	467
«Ты просвещением свой разум осветил»	467

1833

Из Анакреона (Отрывок) («Узнают коней ретивых»)	469
Из Анакреона	469
Ода LVI («Поредели, побелели»)	469
Ода LVII («Что же сухо в чаше дно?»)	470

«Что белеется на горе зеленой?»	470
«Янко Вуич грамоту пишет»	471
Полководец	471
Туча	473
Из А. Шенье («Покров, упитанный явительною кровью»)	473
«На Испанию родную»	474
Странник	477
«Кто из богов мне возвратит»	480
«В Академии Наук»	480
(Сцены из рыцарских времен) («Жил на свете рыцарь бед- ный»)	481
(Сцены из рыцарских времен) («Воротился ночью мель- ник»)	482
«В мои осенние досуги»	482
«Если ехать вам случится»	483
«Я думал, сердце позабыло»	483
«Вновь я посетил»	484
«О бедность! Затвердил я наконец»	487
«Поэт идет: открыты вежды»	487
«Когда владыка ассирийский»	488
На выздоровление Лукулла	489
«От меня вечер Лейла»	490
Пир Петра Первого	491
«Альфонс садится на коня»	492
«Царей потомок, Меценат»	493
Подражание Арабскому	494
«Юношу, горько рыдая, ревнивая дева бранила»	494
«На это скажут мне с улыбною неверной»	494
«Бог веселый винограда»	494
Отрывок («Не розу пафосскую»)	495
«Не видала ль, девица»	495
«Еще в ребячестве (бессмысленно лукавом)»	495

1856

Д. В. Давыдову (При посылке «Истории Пугачевского бунта»)	496
(«Тебе певцу, тебе герою!»)	496
Художнику («Грустен и весел вхожу, ваятель, в твою мастер- скую»)	496
Мирская власть	497
«Как с древа сорвался предатель-ученик» (Подражание итальянскому)	497
«Напрасно я бегу к сионским высотам»	498
Из Пиндемонти («Не дорого ценю я громкие права»)	498
«Отцы-пустынники и жены непорочны»	498
«Когда за городом, задумчив, я брожу»	499
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный»	500
«От западных морей до самых врат восточных»	501
«Ценитель умственных творений исполинских»	501
Родословная моего героя (Отрывок из сатирической поэмы)	502
«Была пора: наш праздник молодой»	505

На статую играющего в свайку	507
На статую играющего в бабки	507
«О, нет, мне жизнь не надоела»	507

1832—1835

Песни западных славян	
1. Видение короля	510
2. Янко Марнавич	513
3. Битва у Зеницы-Великой	514
4. Феодор и Елена	515
5. Влах в Венеции	518
6. Гайдук Хривич	519
7. Похоронная песня Иакинфа Маглановича	520
8. Марко Якубович	521
9. Бонапарт и черногорцы	523
10. Соловей	525
11. Песня о Георгии Черном	525
12. Воевода Милош	527
13. Вурдалак	527
14. Сестра и братья	528
15. Яныш королевич	531
16. Конь	533
П р и м е ч а н и я	541

Ответств. редактор Ю. Тынянов
Технич. редактор А. Кирнарская
Корректор Р. Векетова. Художник
М. Кирнарский. М17553. С. П.—
49/Л. Тираж: 5000. Сдано в на-
бор 5/V 1939 г. Подписано к матрици-
рованию 9/XII 1939 г. Подписано к
печати 23/VIII 1940 г. Печ. л. 43 $\frac{1}{4}$.
Уч.-а. л. 48,8. Бум. л. 10 $\frac{3}{4}$. Формат
бумаги 82×108 $\frac{3}{32}$. Кол. знаков в 1
бум. листе 152800. Заказ № 1019.
Набрано в тип. „Печатный Двор“
имени А. М. Горького. Ленинград,
Гатчинская, 26
Отпечатано в типографии № 2 Лен-
индата. Ленинград, Социалистич. 14.
Заказ № 3675.

17 р. Переплет 2 р.

Ленинградское отделение издательства «Советский Писатель» просит читателей дать отзыв о книге, как о содержании, так и об оформлении, указав свой точный адрес. Библиотечных работников издательство просит организовать учет спроса на книгу и сбор читательских отзывов

Все материалы направлять по адресу: Ленинград, внутри Гостиного двора, 122.

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

<i>Стр.</i>	<i>Строка</i>	<i>Напечатано</i>	<i>Следует читать</i>
Фронтиспис	* 2	работы В. Тропинина (масло)	работы В. Тропинина (масло) 1827 г.
Между 61—65	2	Гравюра Е. Гейтмана	Гравюра Е. Гейтмана 1823 г.
251	12 сл.	Твоя серебряная быль	Твоя серебряная пыль
Между 432—433	2	работы В. Тропинина	работы В. Тропинина 1827 г.

Публика т. I.